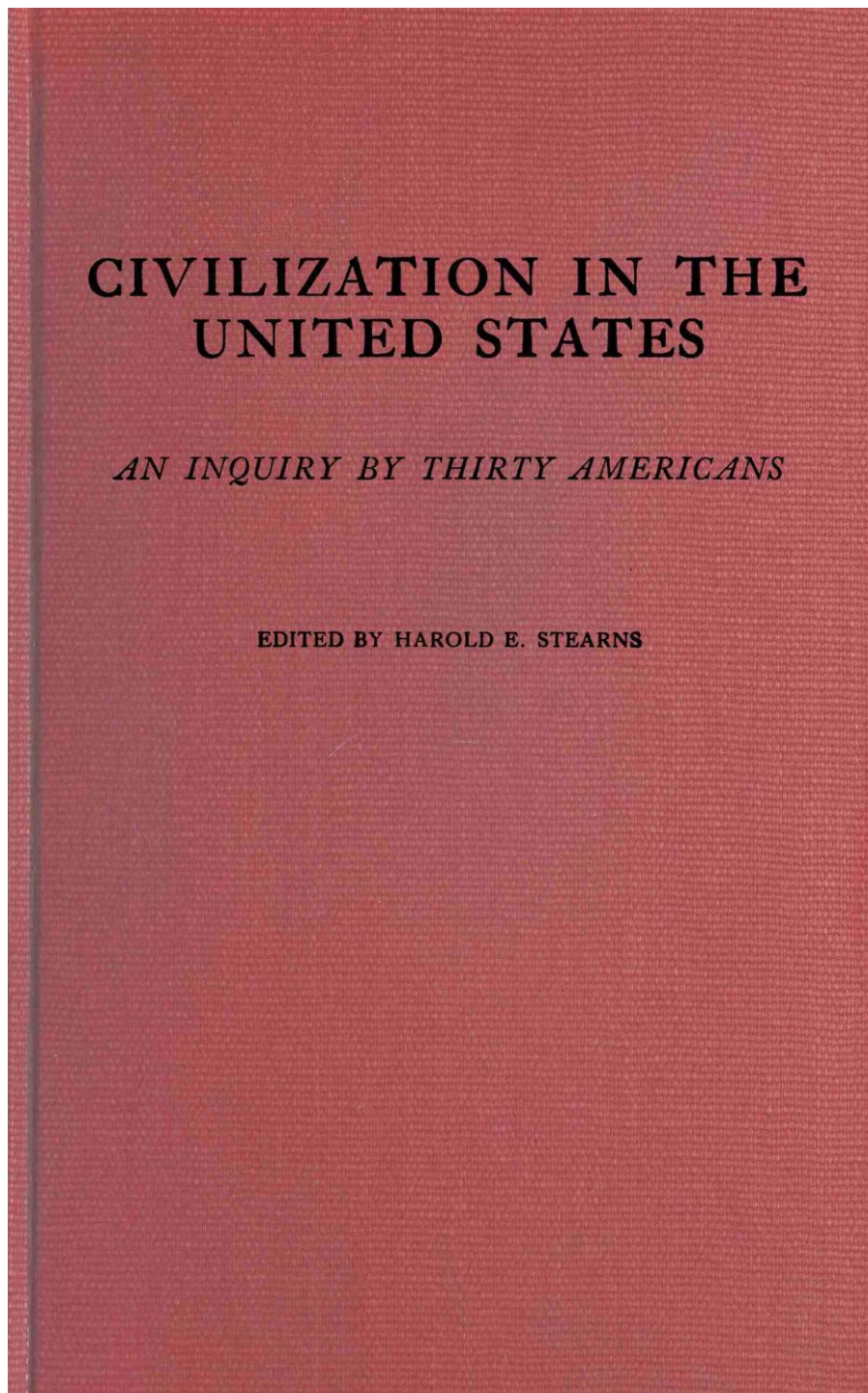


Цивилизация в Соединенных Штатах: исследование тридцати американцев

Гарольд Стернс



Проект "Электронная книга Гутенберга о цивилизации в Соединенных Штатах": исследование тридцати американцев

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Цивилизация в Соединенных Штатах: исследование тридцати американцев

Редактор: Гарольд Стернс

Дата выхода: 23 июня 2022 г. [Электронная книга № 68385]

Последнее обновление: 18 октября 2024 г.

Язык: Английский

Оригинальная публикация: США: Harcourt, Brace and Company, 1922

Авторские права: Эммануэль Аккерман, Чарли Ховард и команда онлайн-корректоров по адресу <https://www.pgdp.net> (Этот файл создан на основе изображений, щедро предоставленных интернет-архивом)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА "ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ ГУТЕНБЕРГА" В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ: ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИДЦАТИ АМЕРИКАНЦЕВ ***

Примечание переписчика

Изображение обложки, созданное переписчиком с использованием части изображения титульного листа оригинальной книги и размещенное в общественном достоянии.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

ЗАПРОС ТРИДЦАТИ АМЕРИКАНЦЕВ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ГАРОЛЬДА Э. СТЕРНСА



НЬЮ-ЙОРК
ХАРКОРТ, БРЕЙС И КОМПАНИЯ

АВТОРСКОЕ ПРАВО, 1922,
HARCOURT, BRACE AND COMPANY, INC.

НАПЕЧАТАНО В США
КОМПАНИЕЙ QUINN & BODEN
RAHWAY, Нью-Джерси

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга была приключением в интеллектуальном сотрудничестве. Если бы это был просто сборник случайных эссе, собранных вместе для проведения обычного симпозиума, это имело бы лишь незначительное значение. Но это было преднамеренным и организованным результатом общих усилий мужчин и женщин-единомышленников, направленных на то, чтобы увидеть проблему современной американской цивилизации в целом и путем тщательной критики осветить особый аспект этой цивилизации, с которым индивид знаком лучше всего. Личный контакт помог исправить чрезмерный акцент, а медленный и тщательный отбор членов группы, которая к настоящему времени разрослась примерно до тридцати с лишним человек, придал этой работе единство подхода и атаки, которого в противном случае у нее просто не могло быть.

Ядро этой группы было объединено общей работой, общими интересами и более или менее общими предположениями. Еще осенью прошлого года мы с мистером Ван Виком Бруксом обсуждали возможность того, что некоторые из нас, которые были заняты примерно таким же критическим исследованием нашей цивилизации, соберутся вместе, чтобы обменяться идеями, прояснить наши индивидуальные области и обнаружить, в чем они совпадают, накладываются друг на друга или расходятся. Первоначальное желание было скромным - дать нам возможность избежать работы над противоречащими целями. Я предложил встретиться у меня дома, что некоторые из нас и сделали, и с тех пор до отправки этого тома издателям мы встречались каждые две недели. Уже при нашей первой встрече мы обнаружили, что наши точки зрения имеют так много общего, что наше стремление к неформальным и приятным дискуссиям переросло в более серьезное желание внести определенный и ощутимый вклад в развитие интеллектуальной жизни в Америке. Мы хотели рассказать правду об американской цивилизации, какой мы ее видели, чтобы внести свой вклад в создание реальной цивилизации, поскольку, я думаю, у всех нас было общее предположение, что поле нельзя вспахать, пока оно не будет очищено от камней, и что конструктивная критика вряд ли может существовать, пока не будет чего—то, на чем можно строить.

Естественно, первой возникшей проблемой был вопрос о путях и средствах. Если дух и темперамент французских энциклопедистов 18 века нам очень импонировали, то, безусловно, их метод продвижения знаний был неприменим в нашем веке. Культурные явления, которые мы предлагали исследовать, были слишком сложными и обширными; кроме того, мы хотели внести определенный вклад того или иного рода, пока, так сказать, еще было время. Сплоченность группы, добродушная терпимость и радостное жертвование временем были в какой-то степени следствием интеллектуального краха, наступившего в истерические дни после перемирия, когда было легче, чем в обычные времена, собрать вместе умных и цивилизованных мужчин и женщин для совместной защиты от общего врага реакции. Мы хотели воспользоваться этой стратегической ситуацией для дальнейшего развития нашего совместного предприятия и, в конце концов, решили, что самый простой план будет наилучшим. Каждый из нас должен был написать одно короткое эссе на особую тему, которую знал наиболее досконально; мы должны были продолжать наши встречи, чтобы быть в курсе хода нашей работы и следить за тем, чтобы не было дублирования; мы должны были расширить список тем, которые законно влияют на нашу культурную жизнь, и выбирать авторов по общему согласию; мы должны были поддерживать связь друг с другом, чтобы книга имела ту внутреннюю согласованность, которая могла возникнуть только при непосредственном знакомстве с тем, что каждый из нас планировал.

Было еще несколько простых правил, которые мы изложили в самом начале. Желая избежать просто неуместной критики и сосредоточить внимание на нашем реальном подходе к нашим предметам, а не на наших личностях, мы предусмотрели, что все авторы книги должны быть гражданами США. По той же причине мы также предусмотрели, что в списке не должно быть профессиональных пропагандистов — за исключением тех случаев, когда кто-то является пропагандистом своих собственных идей, — никаких мучеников и никого, кто был просто недоволен. Поскольку нашей целью было дать бескомпромиссный и, следовательно, в некоторых моментах неизбежно резкий анализ, мы хотели, чтобы тон был добродушным, а характер вежливым. Сначала эти важные вопросы политики решались по общему согласию или, в некоторых случаях, большинством голосов, и до конца я не решал ни одного важного вопроса без консультаций со столькими членами группы, к которым я мог обратиться в течение

ограниченного времени, которое мы договорились предоставить этому тому в руки издателя. Но в связи с расширением объема книги, переговорами с издателем и массой сложностей и деталей, неизбежных в столь сложном предприятии, полномочия решать конкретные вопросы и обычные редакторские полномочия были для удобства делегированы мне при содействии комитета из трех человек. Следовательно, я был в состоянии постоянно видеть книгу в целом и вносить предложения по дифференциации, когда казалось, что повторение неизбежно, или по объединению, когда расхождение было достаточно резким, чтобы быть истолкованным некоторыми как противоречие. Принимая во внимание как тот факт, что каждый автор имеет полную свободу мнений, так и то, что личности и точки зрения, выраженные в эссе, в высшей степени индивидуалистичны, основополагающее единство, которое объединяет этот том, действительно удивительно.

Может показаться странным, что в книге о цивилизации в Соединенных Штатах нет конкретной статьи о религии, и это упущение заслуживает отдельного абзаца объяснений. За пределами крупных городов, конечно, никто не может понять социальную структуру современной американской жизни без тщательного изучения организации и власти церкви. Говоря в целом, мы - народ, посещающий церковь, и, по крайней мере, на первый взгляд, разнообразие сект и вероучений, абсолютная необъятность физического аппарата, с помощью которого выражается религиозный импульс, казалось бы, доказывают, что наш интерес к религиозному опыту и эмоциональная тяга к нему огромны. Но это упущение произошло не из-за какого-либо высокомерия с нашей стороны по отношению к самому предмету; напротив, я полагаю, что вложил в это эссе, которое еще не было написано, больше мысли и энергии, чем в любую другую проблему, связанную с книгой. Откровенная правда в том, что было практически невозможно заставить кого-либо написать на эту тему; большинство людей, к которым я обращался, уклонялись — было действительно трудно заставить их вообще говорить об этом. Почти единодушно, когда мне удалось узнать у них мнение, они заявили, что настоящее религиозное чувство в Америке исчезло, что церковь стала чисто социальным и политическим институтом, что страна находится во власти того, что Анатолий Франс метко назвал протестантским клерикализмом, и что, в конце концов, их не интересует эта тема. Точность этих наблюдений (за исключением последнего) Я, конечно, не могу ручаться, но довольно поразительно, что они были идентичны. В любом случае, тему как таковую пришлось опустить; но ею не пренебрегают, поскольку в нескольких эссе эта тема обсуждается непосредственно — в частности, в “Философии” и “Нервах” - и во многих косвенно. В свое время мистер Джеймс Харви Робинсон согласился написать статью — и это была бы поучительная работа, — но, к сожалению, плохое самочувствие и давление служебных обязанностей сделали эту задачу для него невыполнимой в самые сжатые сроки, какие только могли быть установлены.

Я уже говорил о единстве, лежащем в основе этого тома. Когда я вспоминаю все эти эссе и пытаюсь свести воедино главные темы, проходящие через них, либо путем четкого изложения, либо в качестве некоего основного ритма для всех, чтобы оправдать сильное впечатление единства, я нахожу три основных утверждения, которые можно назвать базовыми, — утверждения тем более значимые, что они были непреднамеренными и пришли к ним, так сказать, случайно, а не преднамеренно. Это:

Во-первых, почти в каждой сфере американской жизни существует резкая дихотомия между проповедью и практикой; мы не позволяем нашей правой руке знать, что делает наша левая. Достаточно любопытно, что никто не считает это, и фактически никто сознательно не

воспринимает это как лицемерие — есть определенные абстракции и догмы, которые священны для нас, и если мы не соответствуем этим внешним стандартам в нашей личной жизни, это не повод подвергать их новому исследованию; скорее, мы должны поклоняться им более громогласно, чтобы показать наше чувство греховности. Таким образом, независимо от теоретического совершенства или глупости этих стандартов, на реальной практике моральный кодекс сводится к одной кардинальной ереси - быть разоблаченным, с главной санкцией, подкрепляющей его, - страхом перед тем, что скажут люди.

Во-вторых, какой бы ни была американская цивилизация, она не является англосаксонской, и что мы никогда не достигнем подлинного националистического самосознания, пока мы позволяем определенным финансовым и социальным меньшинствам убеждать нас, что мы все еще английская колония. Пока мы не начнем серьезно оценивать и горячо лелеять разнородные элементы, из которых состоит наша жизнь, и не увидим общий элемент, пронизывающий их все, мы не сделаем даже шага к истинному единству; мы останемся, по классово сознательному и горькому, но поучительному выражению Рузвельта, пансионом для полиглотов. Любопытно, как книга об американской цивилизации на самом деле возвращает человека к убеждению, что мы, в конце концов, американцы.

В-третьих, самым трогательным фактом современной общественной жизни Америки является эмоциональный и эстетический голод, красноречивыми стигматами которого являются мания мелочного регулирования, вождение, регламентация и муштра, тайное общество и его гротескные регалии, твердое понимание несущественности материальной организации наших удовольствий и забав. У нас нет наследия или традиций, за которые можно было бы цепляться, кроме тех, которые уже увяли в наших руках и превратились в прах. Можно почувствовать, что вся промышленная и экономическая ситуация настолько неадекватна первичным и простым потребностям мужчин и женщин, что тщетность рационалистической атаки на этот инфантилизм компенсации становится очевидной. В каком-то смысле должен быть совершенно новый расклад карт; мы должны изменить наши сердца. Ибо только так, если не через смирение бедствий или напастей, могут вырасти в Америке истинное искусство, истинная религия и истинная личность, с их врожденной теплотой, капризом и весельем, чтобы изгнать этих нарисованных дьяволов, которых мы создали, чтобы отпугнуть нас от признания нашей духовной бедности.

Если эти основные утверждения кажутся серьезными или пессимистичными, ответ должен быть таким: мы пишем не для того, чтобы угодить; мы стремимся только понять и изложить как можно яснее. Ибо американская цивилизация все еще находится в зачаточной стадии, обладая богатыми и катастрофическими возможностями роста. Но первый шаг во взрослении - это осознанное и намеренно критическое изучение самих себя, без сентиментальности и страха. Мы не можем даже разработать, не говоря уже о контроле, принципы, которые должны направлять наше будущее развитие, пока это предварительное понимание не войдет с убедительной силой в сознание обычного человека. По нашему убеждению, эта книга является подлинным и ценным вкладом в это самопонимание. Возможно, мы не всегда были мудры; мы всегда старались быть честными. И если наша попытка поможет подбодрить других к столь же откровенному выражению своих убеждений, возможно, со временем придет мудрость.

Я рад, что, какими бы серьезными мы ни были, в этих эссе мы никогда не бываем торжественными. На самом деле, часто мы довольно веселы, и только лишенный чувства юмора человек не смог бы прочесть многие из них, даже когда они направлены на него самого, с тем смехом, который, по словам Рабле, присущ мужчине. Какими бы ни были наши недостатки, у нас, американцев, есть одно достоинство и, возможно, спасительное — мы все еще умеем смеяться над собой.

Его превосходительство

Нью-Йорк, четвертое июля 1921 года.

Содержание

		СТРАНИЦА
Предисловия	<i>Редактора</i>	iii
The City	<i>Льюиса Мамфорда</i>	3
Политика	<i>Х. Л. Менкена</i>	21
Журналистика	<i>Джона Мэйси</i>	35
Закон	<i>Захарии Чафи-младшего</i>	53
Образование	<i>Роберта Морсса Ловетта</i>	77
Наука и критика	<i>Дж. Э. Спингарна</i>	93
Школьная и студенческая жизнь	<i>Кларенса Бриттена</i>	109
Интеллектуальная жизнь	<i>Гарольда Э. Стернс</i>	135
Наука	<i>Роберт Х. Лоуи</i>	151
Философия	<i>Гарольд Чепмен Браун</i>	163
Литературная жизнь	<i>Ван Вик Брукс</i>	179
Музыка	<i>Димс Тейлор</i>	199
Поэзия	<i>Конрад Эйкен</i>	215
Искусство	<i>Уолтер Пах</i>	227
Театр	<i>Джордж Джин Натан</i>	243
Экономические взгляды	<i>Уолтер Х. Гамильтон</i>	255
Радикализм	<i>Джордж Соул</i>	271
Маленький городок	<i>Луи Рэймонд Рид</i>	285
История	<i>Х. У. Ван Луна</i>	297
Секс	<i>Элси Кльюз Парсонс</i>	309
Семья	<i>Кэтрин Энтони</i>	319
Инопланетянин	<i>Фредерик К. Хоу</i>	337
Расовые меньшинства	<i>Герой Танкуори Робинсон</i>	351
Реклама	<i>Дж. Торн Смит</i>	381

Бизнес	<i>Гарет Гарретт</i>	397
Инженерия	<i>О. С. Бейер-младший</i>	417
Нервы	<i>Альфред Б. Каттнер</i>	427
Медицина	<i>Анонимно</i>	443
Спорт и развлечения	<i>Ринг У. Ларднер</i>	457
Юмор	<i>Фрэнк М. Колби</i>	463
Американская цивилизация с точки зрения иностранцев		
Я Как это видит англичанин	<i>Генри Л. Стюарт</i>	469
II Как это видит ирландец	<i>Эрнест Бойд</i>	489
III Как это видит итальянец	<i>Рафаэлло Пикколи</i>	508
Библиографические заметки		527
Кто есть кто из авторов		557
Индекс		565

ЦИВИЛИЗАЦИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

ГОРОД

Вокруг нас, в городе, каждая эпоха в Америке была сконцентрирована и выкристаллизовалась. При строительстве наших городов мы лишили девственности дикую природу. Сегодня более половины населения Соединенных Штатов живет в среде, которую в значительной степени создали строители, спекулянты недвижимостью, подрядчики по укладке дорожного покрытия и промышленники. Породили ли мы цивилизацию? Это вопрос, на который обзор американского города поможет нам ответить.

Если рассматривать американскую историю с точки зрения исследователя городов, то она условно делится на три части. Первый был провинциальным периодом, который длился от основания Манхэттена до открытия океанской торговли после войны 1812 года. За этим последовал коммерческий период, который начался с прокладки каналов и закончился расширением железнодорожной системы по всему континенту, и индустриальный период, который набрал силу на атлантическом побережье в тридцатых годах и до сих пор является доминирующей экономической фазой нашей цивилизации. Эти периоды не следует рассматривать как строго последовательные или исключаящие друг друга: названия просто грубо выражают главный аспект каждой эпохи. Можно проследить историю колониальной экспансии Америки и промышленной эксплуатации, проследив за материальным ростом и культурным обнищанием американского города в ходе его преобразований.

Динамика развития провинциального города сохранялась вплоть до Гражданской войны. Экономической основой этого периода было сельское хозяйство и мелкая торговля: его

гражданским выражением, как правило, был небольшой городок в Новой Англии с центральной площадью, вокруг которой были сгруппированы церковь — уместно названная молитвенным домом — школа и, возможно, ратуша. Его главная улица была бы обсажена высокими изящными вязами и окаймлена сдержанными белыми домами почти такого же дизайна, как те, что разбросаны по сельской местности. В растущих городах побережья эта культура была ниспровергнута прежде, чем у нее появился шанс адекватно выразить себя ни в институтах, ни в людях, и поэтому она расцвела довольно поздно в маленьких городках Конкорде и Кембридже между 1820 годом и Гражданской войной. Сегодня мы знаем его по большей части анонимной архитектуре и по литературе, созданной писательской школой, носящей название главного города. К несчастью для дальнейшего развития того, что мы могли бы назвать культурой Конкорда, сельскохозяйственная основа этой цивилизации переместилась на Запад, где выращивали пшеницу; и в результате каналы торговли были перенаправлены из Бостона в порты, которые выходили на более богатые, более имперские внутренние районы. То, что осталось от провинциального городка в Новой Англии, было футляром для мумий.

Цивилизация города Новой Англии распространилась на заселение долины Огайо и обширных территорий за ее пределами. Ни в одном из новых центров, *как в провинциальных городах*, не было никакого нового вклада. Культуре Новой Англии потребовалось более трех столетий, прежде чем она принесла свои плоды Конкорда, и история западного движения каким-то образом отражена в легенде о Джонни Эпплсиде, который сажал сухие яблочные семечки вместо побегов с живого дерева и огораживал дороги, по которым он путешествовал, дикими яблоками, жесткими, хилыми и несъедобными. Цинциннати и Питтсбург перескочили от безнадежного провинциализма к машинной эре; и поэтому долгое время они оставались лишенными институтов, необходимых для продолжения процессов цивилизации.

К западу от Аллегани коммону с его церковью и школой не суждено было доминировать в городском пейзаже: их место заняли железнодорожная станция и коммерческий отель. Это действительно был универсальный признак нового индустриализма, столь же очевидный в Оксфорде 19 века, как и в Хобокене. Однако в первом американском городе не было ни одного из культурных учреждений, которые были созданы в Европе во время великих взрывов Средневековья и Возрождения, и в результате его нищета была обнаженной и очевидной. Это правда, что каждый город — который развивался в основном в 19 веке, — как Манчестер, так и Милуоки — страдал от отсутствия гражданских институтов. Особенность Нового Света заключалась в том, что возможности для заимствования у старых центров были значительно более ограниченными. Лондон мог экспортировать Мэдокса Брауна в Манчестер для создания фресок в ратуше: Нью-Йорку еще предстояло создать свои художественные школы, прежде чем у него появятся работы Мэдокса Брауна, которые можно было бы экспортировать.

С началом 19 века рыночные центры, которые поначалу охватывали только свой непосредственный регион, начали проникать все дальше во внутренние районы страны и простирались за океан не только для грузовых перевозок, но и для иммигрантов. Глупая игра в подсчет голов вошла в моду, и в литературе тридцатых годов обнаруживается, что в каждом коммерческом городе был свой юрист-статистик, который был достаточно смел, чтобы предсказать его лидерство по “численности населения и богатству” еще до конца столетия. Главной гордостью американского города были его предполагаемые размеры.

Теперь город Новой Англии был настоящим сообществом. Поскольку у сообщества Новой Англии была общая социальная, политическая и религиозная жизнь, город выражал это. С другой стороны, город, который был представителем второго периода, изначально был торговым фортом, и главным занятием его основателей была жизнь за товаром, а не за хорошей жизнью. Нью-Йорк, Питтсбург, Чикаго и Сент-Луис имеют эту общую основу. Они не состояли из корпоративных организаций, так сказать, марширующих к Новому Иерусалиму: они были просто сборищем индивидуумов “в процессе становления”. При такой традиции, придающей ей импульс, неудивительно, что авантюристичность коммерческого периода была исчерпана случайностями и соблазнами торговли. Преобладало состояние интеллектуальной анестезии. Достаточно сравнить сборник Cist в Цинциннати с "Циферблатом Эмерсона", чтобы понять, на каком низком уровне находились города Среднего Запада.

Поскольку в суматохе зарождающегося коммерческого города не было ни товарищества, ни социальной стабильности, ни защищенности, особое учреждение должно было посвятить себя евангелию "радостной руки". Так, историк Питтсбурга сообщает об основании масонской ложи еще в 1785 году, вскоре после постройки церкви, и в каждом американском городе, маленьком или большом, Чудаки, Мистические святилища, дровосеки, Лоси, Рыцари Колумба и другие ордена без числа со временем находили для себя видное место. (Их женскими коллегами были D.A.R. и W.C.T.U., их юниорами были студенческие братства греческой буквы.) В то время как тщетно искать в американских городах храмы труда, которые сегодня можно обнаружить в Европе от Бельгии до Италии, можно обнаружить, что братская ложа в целом занимает достойное и важное место. Несомненно, было много веских причин для странного распространения профессионального братства в американском городе, но, возможно, самой веской причиной было отсутствие какого-либо другого вида братства. Социальный центр и общинный центр, которые исключительно усердно и сознательно стремились организовать общение и взаимопомощь на различных условиях, являются продуктами последнего десятилетия.

Пожалуй, единственным важным гражданским институтом, который поддерживали коммерческие города, был лицей - предшественник слоновьего Чаутокуа. Лекция в лицее, однако, воспринималась скорее как снотворное, чем как стимулятор, и если она пробуждала какой-то аппетит к искусству, философии или науке, то в среде коммерческого города не было ничего, что могло бы его удовлетворить. Точно так же, как посещение церкви стало заменой религии, автоматическое посещение лицея стало заменой мысли. Это были молитвенные колеса озабоченного коммерциализма.

Контраст между провинциальным и коммерческим городом Америки был хорошо отражен в их планах. Рассмотрим различия между Кембриджем и Нью-Йорком. Вплоть до начала 19 века Нью-Йорк, расположенный на оконечности острова Манхэттен, имел ту же застенчивую, беспорядочную планировку, что и Кембридж. В этом старом типе городской планировки улицы никуда не ведут, кроме как к зданиям, которые выходят на них: за пределами основных дорог условия для движения транспорта настолько неадекватны, что кажутся чуть ли не мерами по предотвращению дорожного движения. Тихие улицы, приятный внешний вид, достаточные бытовые удобства были желанными чертами провинциального городка; дорожное движение, спекуляция недвижимостью и экспансия были присущи новой эпохе. Это стало очевидным, как только Эмпайр-Сити начал реализовывать свое “явное предназначение”, разработав в 1808 году план своего будущего развития.

Уполномоченные по городскому планированию Нью-Йорка приступили к своей работе с едва скрываемой целью увеличить трафик и повысить стоимость недвижимости. Удобства городской жизни мало что значили в их схеме вещей: обсуждая, “следует ли им ограничиться прямолинейными и прямоугольными улицами или же им следует перенять некоторые из предполагаемых улучшений в виде кругов, овалов и звезд”, они решили, исходя из соображений экономии, не допускать каких-либо отклонений от схемы сетки. Именно под влиянием того же стимула эти замечательные обыватели имели самодовольство планировать развитие города вплоть до 155-й улицы. Однако здесь нас интересуют результаты реализации прямоугольного плана, а не мотивы, стоящие за его принятием по всей стране.

Основной эффект плана сети состоит в том, что каждая улица становится магистралью, и что каждая магистраль потенциально является торговой улицей. Тенденция к передвижению в таком городе значительно перевешивает тенденцию к заселению. В результате прогрессивных изменений в численности населения, из-за изменений, которым коммерческая конкуренция подвергает использование земли, основные учреждения города, вместо того чтобы объединяться естественным образом — как музеи, галереи, театры, клубы и государственные учреждения, группирующиеся в центре Вестминстера, — рассредоточены во всех направлениях. Ни Колумбийского университета, ни Нью-Йоркского университета, ни библиотеки Астора, ни Национальной академии дизайна — если привести лишь несколько примеров — нет на его первоначальном сайте. И все же, если бы Колумбийский университет остался на Пятидесятой улице, у него могли бы быть какие-то эффективные рабочие отношения с огромным хранилищем книг, которое сейчас занимает часть Брайант—парка на Сорок второй улице; или, в качестве альтернативы, если бы библиотека Астора осталась на своем старом месте, она могла бы иметь какую-то связь с Нью-Йоркским университетом - если бы это учреждение, в свою очередь, не переехало!

То, что называлось ростом коммерческого города, на самом деле было проявлением отсутствия дизайна в плане сетки. Прямоугольное деление земли способствовало спекуляции земельными единицами и легкому обмену недвижимостью: это не имело никакого отношения к основным целям, ради которых существует город. Немаловажно, что Чикаго, Цинциннати и Сент-Луис, в первоначальных планах каждого из которых были отведены помещения для общественных целей, передали эти гражданские владения игроку, занимающемуся недвижимостью, еще до окончания половины 19 века. Коммон был не центром всесторонней общественной жизни, как в Новой Англии, а центром спекуляции землей, которая была одновременно бизнесом, местом отдыха и религией коммерческого города. Под влиянием Нью-Йорка скэддеры, с которыми столкнулся Мартин Чезлвит, возводили свои Новые Эдемы по всей стране.

* * * * *

Именно в коммерческий период произошла эволюция Набережной, подобной той, что существовала в Нью-Йорке в Бэттери-парке. Новая набережная была уже не парком, а застроенной магазинами улицей Бродвей. Для более одомашненной половины общества шопинг стал захватывающим, сбивающим с толку развлечением; и из сочетания “представлений” янки, рекламы в духе Барнума и авторитетной организации возник *omnium gatherum* коммерции - универсальный магазин. Вряд ли возможно преувеличить роль, которую Бродвей — я использую этот термин в общем смысле — сыграл в американском городе. Это не просто Агора, но и Акрополь. Когда заводской гудок завершает неделю и рабочие Камдена,

Питтсбурга или Бриджпорта высыпают из зданий и частоколов, в которых они проводят наиболее изматывающую половину своей жизни, именно через Бродвей ищет выхода большая часть их подавленности. И название, и само учреждение распространены по всему континенту от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Вверх и вниз по этим улицам, торгующим подержанным товаром, с часу дня до десяти вечера снует более или менее бесцельная масса людей, стремящихся извлечь как можно больше радости из зрелищ в витринах, контактов с другими людьми, случайного или систематического флирта, а также риска и приключений, связанных с покупкой.

На заре развития Бродвея развлечения были случайными. Даже в настоящее время, несмотря на повсеместное распространение кино, многолюдная улица сама по себе, по крайней мере в небольших населенных пунктах, является основным источником развлечений. Теперь, при нормальных условиях, для значительной части населения фабричного города одним из главных инстинктов, подлежащих подавлению, является инстинкт приобретения (коллекционирования). Дело не только в том, что средний фабричный рабочий не может позволить себе роскошь жизни: хуже всего то, что ему приходится дважды подумать, прежде чем покупать предметы первой необходимости. Из этой ситуации возникло одно из самых счастливых достижений Бродвея: магазин за пять и десять центов. В пяти- и десятицентовом магазине ограниченный фабричный рабочий может создать иллюзию неограниченных расходов — и даже расточительности, — на самом деле не нанося непоправимой ренты своему кошельку. Таким образом, Бродвей является, во многих смыслах, великим компенсаторным устройством американского города. Ослепительно белые огни, цветные электрические вывески, алебастровая архитектура дворцов кинотеатров, эстетическая привлекательность витрин магазинов — все это олицетворяет элементы, которые не вписываются в серые перспективы промышленного города. Люди, которые не знают, как потратить свое время, должны получать максимальное удовлетворение от траты своих денег. Вот почему, хотя пяти- и десятицентовые магазины сами по себе, возможно, в основном являются институтом для пролетариата, привычки и предрасположенности, которые они поощряют, универсальны. Главное развлечение Атлантик-Сити, этого роскошного пристройки к отелям Нью-Йорка и Филадельфии, заключается не в пляже и океане, а в магазинах, которые тянутся вдоль бесконечного Бродвея, известного как Boardwalk.

Бродвей, в общем, — это фасад американского города: фальшивый фасад. Высшие достижения нашей материальной цивилизации — а в лучшем случае наши отели, универмаги и башни Вулворт тауэрс являются достижениями — являются многими симптомами ее духовного краха. Чтобы закрыть проблему получения и траты в наших городах, мы изобрели тысячу новых способов получения и траты. Как следствие, наша жизнь становится внешней. Основные институты американского города — это всего лишь отвлекающие факторы, которые отвлекают наш взгляд от окружающей среды, вместо инструментов, которые помогли бы нам творчески формировать ее, немного приближая к человеческим надеждам и желаниям.

О рождении индустриализма в Америке было объявлено на открытии Хрустального дворца в Брайант-парке, Манхэттен, в 1853 году. Между выставкой в Хрустальном дворце и Всемирной выставкой в Чикаго в 1893 году проходит период, недостатки которого частично усугубились истощением, последовавшим за Гражданской войной. Упадок американского города в этот период можно прочесть почти в каждом возведенном здании. Влияние колониальной архитектуры практически исчезло в течение первой половины столетия. Затем последовал

период эклектичных экспериментов, в ходе которых были допущены всевозможные египетские, византийские, готические и арабесковые неумелости, — период, абсурдности которого мы начали избегать только в последние годы. Домашний стиль с течением столетия становился все более ограниченным. Исчезли мелкие штрихи в дверях, лепнине, фрамугах и балюстрадах, и, наконец, мастерство исполнения вообще вышло из моды, а его место заняла претенциозная архитектурная пышность. “Эпоха хороших чувств” была эпохой дурного вкуса.

Питтсбург, Сент-Луис и Чикаго, пожалуй, наиболее ярко раскрывают характеристики промышленного города. В начале этого периода существовало два учреждения, которые наложили свой отпечаток. Одним из них был Зал Механиков. Обычно это было здание из красного кирпича, конструкционного железа и стекла, чье уникальное уродство делает его типичным продуктом эпохи угольной промышленности, которое должно быть возведено рядом с “курилками” железнодорожных вокзалов. Другим заведением был немецкий пивной сад - единственное яркое пятно на краю городского пейзажа, который неуклонно становился все более тусклым и унылым. Города, возникшие в этот период, едва ли могли похвастаться каким-либо другим гражданским аппаратом. Представьте себе Питтсбург без Шенли-парка, без Института Карнеги, без Библиотеки, Музея или Концертного зала, а также без учреждений, выросших на протяжении жизни последнего поколения вокруг его Субакрополя, - и перед вами возникнет картина Прогресса и бедности, которую Генри Джордж мог бы нарисовать для иллюстрации. Промышленный город не олицетворял созидательные ценности цивилизации: он олицетворял новую форму человеческого варварства. В угольных городах Пенсильвании, сталелитейных поселках Огайо и его притоков, а также в заводских поселках пролива Лонг-Айленд и залива Наррагансетт окружающая среда была гораздо более суровой, враждебной и brutальной, чем все, с чем сталкивались пионеры. Отсутствовало даже фальшивое оживление торгового города.

Реакция против промышленного города выражалась по-разному. Недостаток этих реакций заключался в том, что они формулировались в терминах бегства от окружающей среды, а не в ее реконструкции. Симптомом этого бегства по одному конкретному переулку была архитектура Ричардсона и его учеников, Маккима и Уайта. Ни один человек, разбирающийся в тонкостях красивой архитектуры, не сможет избежать шока, обнаружив монументальное здание в романском стиле у подножия грязного “Горба” Питтсбурга или едва ли не менее чудовищную красоту церкви Святой Троицы в Бостоне, когда приближаешься к ней со стороны железнодорожных депо, расположенных с одной стороны от нее. Склонен полагать, что Ричардсон не случайно вернулся к романскому стилю незадолго до того, как Генри Адамс начал исследовать Мон-Сен-Мишель и Шартр. Оба мужчины искали специфическое средство против лихорадки индустриализма, и архитекторы, подобные Ричардсону, обращались к архаичной красоте, поскольку человек, слегка больной, мог прибегнуть к хинину в надежде, что его болезнь имеет достаточное сходство с малярией, чтобы быть вылеченным ею.

Правда в том, что дозы экзотической архитектуры, которые Ричардсон и его школа стремились привнести в американский город, были скорее обезболивающими, чем специфическими. Модели латинского Возрождения Маккима и Уайта — Бостонская публичная библиотека и Мэдисон—сквер-Гарден, например, - возможно, немного лучше соответствовали конкретным требованиям нового века; но они все еще были далеки от того идеального соответствия современным привычкам и образу мышления, которое было зафиксировано в зданиях вроде Индепенденс-холла. Почти до последнего десятилетия лучшие здания индустриального

периода оставались анонимными и едва ли когда-либо признавались за свою красоту. Элеватор здесь, склад там, офисное здание, гараж — в этих зданиях обещали строгий, спортивный, классический стиль архитектуры, который воплотит все, что есть хорошего в Эпоху Машин: точность, чистоту, яркое освещение, непоколебимую логику. Диккенс однажды подшутил над архитектурой Коктауна, потому что его лазарет был похож на тюрьму, а тюрьма — на ратушу. Но шутка была остроумной только потому, что все эти здания были прискорбно лишены эстетического вдохновения. В месте и в эпоху, достигших всесторонней и сбалансированной культуры, мы должны ожидать, что тот же дух будет выражен в самом простом коттедже и самом величественном общественном здании. Так мы находим, например, в скромных рыночных городках средневековья: нет одного типа архитектуры для Шефтсбери 15 века и другого для Лондона; также нет одного стиля для публичного Лондона и совсем другого для домашнего Лондона. Наши архитекторы в Америке только начали перестать считать готический стиль особенно подходящим для церквей и школ, в то время как они отдают предпочтение римскому стилю для судов и, возможно, византийскому для офисов. Даже уникальная красота башни терминала Буш скомпрометирована “стилизованным” под старину интерьером.

С началом второго десятилетия нынешнего столетия появились некоторые свидетельства попытки создать из индустриализма подлинную культуру — вместо попыток убежать от индустриализма в культуру, которая, хотя и, несомненно, достаточно подлинная, имеет несчастье умереть. Здания школ в Гэри, штат Индиана, обладают некоторыми лучшими качествами, присущими сталелитейному заводу в Гэри. Этот признак говорит только о хорошем. Возможно, это указывает на то время, когда сталелитейный завод в Гэри будет обладать некоторыми образовательными достоинствами школы в Гэри. Одна из вещей, которая превратила индустриальную эпоху в ужас в Америке, — это представление о том, что в ее проявлениях есть что-то постыдное. Идея о том, что никто никогда не приблизится к промышленному предприятию, кроме как в состоянии стресса от голода, частично ответственна за кучи мусора и ржавого металла, за общий беспорядок и мерзость, которые все еще характеризуют обширные территории наших фабричных районов. Ничто, кроме щелочной пустыни, не сравнится с безлюдьем обычного американского промышленного города. Эти качества свидетельствуют о том, что мы сосредоточили внимание не на процессе, а на отдаче; не на задаче, а на вознаграждении; не на том, что мы можем получить от нашей работы, а на том, чего мы можем достичь, когда отойдем от нашей работы. Наш индустриализм находился во власти бизнеса, и наши промышленные города и их учреждения проявляли большую озабоченность бизнесом. Принудительное подавление безличной механической техники компенсировалось всепроникающей волей к власти — или, по крайней мере, волей к комфорту — коммерциализма.

Мы уклонились от решения проблемы, связанной с попытками хорошо жить при режиме, который занимается производством Т-образных балок, зубных щеток и тротила. В результате мы не смогли творчески отреагировать на окружающую среду с чем-либо подобным вдохновению, которое можно было бы найти в группе средневековых крестьян, строящих собор. Городской рабочий избегает механической рутины своей повседневной работы только для того, чтобы найти столь же механическую замену жизни, росту и опыту в своих развлечениях. Веселый Уайт-Уэй с его потрясающим сиянием огней и Кони-Айленд с его вызывающими страх американскими горками и спусковыми горками — характерными побочными продуктами эпохи, которая отказалась от задачи активного очеловечивания машин и создания среды, в которой

могут быть выражены все плодотворные импульсы общества. Фильмы, "Белые пути" и "Кони-Айлендс", которыми в той или иной форме может похвастаться почти каждый американский город, являются средствами, позволяющими пресыщенным и подавленным людям ощутить, что они живут без непосредственного опыта жизни, — своего рода духовной мастурбацией. Короче говоря, у нас была альтернатива: очеловечить промышленный город или дегуманизировать население. Пока что мы дегуманизировали население.

* * * * *

Внешняя реакция против промышленного города достигла апогея на Всемирной выставке в Чикаго. В этой странной и головокружительной смеси Парнаса и Кони-Айленда родилась новая концепция города — белого, просторно спроектированного, освещенного электричеством, изобилующего памятниками, увенчанного общественными зданиями и величественного благодаря сияющей архитектуре. Люди, планировавшие экспозицию, кое-что знали о лучшей стороне просторных перспектив, которые Осман спроектировал для Наполеона III. Не принимая во внимание фундаментальные условия индустриализма или характерные факты экономики, они инициировали то, что вскоре стало известно как движение за красоту города. Пару десятилетий муниципальные художественные общества процветали. В их программе были недостатки режима, с которыми он пытался бороться. Его основные усилия состояли в том, чтобы выставить себя напоказ — украсить Мэйн-стрит и сделать ее более привлекательной магистралью. Здесь, в эстетике, как и везде в образовании, сохранялся брахманический взгляд на культуру: идея о том, что красота — это нечто такое, что может быть приобретено любым, кто готов вложить деньги; что она не возникает естественным образом из хорошей жизни, а является чем-то, что можно налепить на бедную жизнь; короче говоря, что это косметика.

Пока Питтсбургский опрос 1908 года не укололся о поверхностные попытки благоустройства муниципалитета, те, кто стремился переделать американский город, упускали из виду необходимость исправления его экономической основы. Убогость, неравномерная застройка и перегруженность американских городов были, по крайней мере, в какой-то степени показателем той глубокой болезни спекуляций недвижимостью, которая, как уже отмечалось, привела к тому, что такие города, как Чикаго, лишились земли, первоначально отведенной для общественных нужд. Поскольку подобные факты игнорировались ради какого-то небольшого сиюминутного результата, события, которые первые реформаторы набрались смелости обрисовать в общих чертах, все еще лежат в сфере безнадежной фантазии — тонкой игры воображения, подобной "Эдемскому проспекту" Скэддера. Здесь, как и везде, за последнее десятилетие появились многочисленные многообещающие признаки; но сомнительно, что они все еще достаточно многочисленны или достаточно глубоки, чтобы изменить общую картину.

В лучшем случае улучшения, которые были произведены в американском городе, были не центральными, а вспомогательными. Они были улучшениями, как сказал бы Аристотель, в материальных основах хорошей жизни: они не были улучшениями в искусстве жить. Рост американского города за прошедшее столетие означал расширение мощеных улиц, канализации и газопроводов, а также постепенное возведение офисных зданий и многоквартирных домов. Затраты на тротуары, канализацию, системы электрического освещения и водопровод были колоссальными; но что бы ни думали о них Ротари-клубы и Торговые палаты, эти механические изобретения не являются признаками цивилизации. В Америке существует любопытная путаница между ростом и улучшением. Мы используем фразу

“больше и лучше”, как если бы это сочетание было неизбежным. На самом деле, существует мало свидетельств того, что огромный рост населения в каждом городском районе сопровождался чем-либо вроде необходимого увеличения количества школ, университетов, театров, мест встреч, парков и так далее. Тот факт, что в 1920 году у нас было шестьдесят четыре города с населением более 100 000 человек, тридцать три с населением более 200 000 человек и двенадцать с населением более 500 000 человек, не означает, что ресурсы государства, культуры и искусства соответственно увеличивались. Рост американских городов привел не столько к установлению цивилизованных стандартов жизни, сколько к расширению Пригородов.

“Пригород” используется здесь как в общепринятом, так и в более буквальном смысле. С одной стороны, я имею в виду тот факт, что рост мегаполиса бросает огромное количество людей в отдаленные общезития, где, по большому счету, жизнь протекает без дисциплины сельских профессий и без культурных ресурсов, которые Центральный район города все еще сохраняет в виде своих художественных выставок, театров, концертов и тому подобного. Но наши мегаполисы порождают Пригороды не только по причине того факта, что люди, работающие в офисах, бюро и на фабриках, живут как граждане на отдаленной территории, возможно, в другом штате: они также способствуют возникновению Пригородов в другом смысле. Я имею в виду, что качество жизни огромной массы людей, живущих в политических границах самого мегаполиса, уступает тому, которое способен обеспечить город с соответствующим оборудованием и тщательной реализацией творческих потребностей сообщества. В этом смысле “пригород” под названием Бруклин является настоящим городом, в то время как большая часть “города Бостона” является пригородом. Мы едва приступили к надлежащему распределению библиотек, мест встреч, парков, спортивных залов и подобного оборудования, без которого городская жизнь, как правило, протекает на низком уровне рутины — как физически, так и умственно. (Откровенно конфиденциальная реклама средств от запоров на всех рекламных щитах рассказывает важную историю.) При любом разумном выделении парковой площади, как указал в 1911 году Комитет по перегруженности Нью-Йорка, для парков в нижнем Ист-Сайде требовалось большее количество акров, чем было занято всем населением. Этот случай экстремальный, но показательный.

Таким образом, особенность нашей столичной цивилизации заключается в том, что, несмотря на огромные ресурсы, черпаемые со всех концов земли, у нее недостаточно гражданского оборудования, а то, чем она обладает, используется лишь временно. Те города, в которых есть зачатки соответствующего оборудования, как, например, Нью—Йорк - более вопиющего примера не подобрать — предлагают его в основном тем, кто занимается путешествиями. Как город для путешественников Нью-Йорк близок к совершенству. Ассоциация продавцов сигар или международный конгресс социологов, собравшись в одном из залов большого отеля, обедая вместе, общаясь в холле и находя развлечения в близлежащих театрах, обнаруживает среду, которая в своих пределах упорядочена до совершенства. Именно об этом отеле и театральном районе мы должны милосердно вспоминать, когда испытываем искушение рассказать о триумфах американского города. Несмотря на многочисленные дефекты, возникающие из-за отсутствия планировки, это настоящий гражданский центр американского мегаполиса. Что мы должны упускать из виду при этой характеристике, так это длинные мили трущоб, которые простираются спереди, сзади и по обе стороны от этого района, — кварталы, в которых, несмотря на огромные усилия поселенцев, организаторов кварталов и районных

ассоциаций, нет постоянного учреждения, кроме государственной школы или сектантской церкви, чтобы напоминать жителям, что у них общая жизнь и общая судьба.

Гражданская жизнь, в целом, жизнь разумного объединения и совместных действий, жизнь, выцветший узор которой все еще сохраняется в старом городе Новой Англии, - это не то, чем мы наслаждаемся ежедневно, работая в офисе или на фабрике. Это скорее временное состояние, которого мы иногда достигаем, затрачивая много времени, хлопот и затрат. Город находится не вокруг нас, не в нашем маленьком городке, пригороде или микрорайоне: он находится вне нас, в конце поездки на метро или по железной дороге. Мы являемся гражданами время от времени: мы жители пригорода (*жители, идиоты*) по заведенному порядку. Неудивительно, что ванны, системы отопления и подобное оборудование играют такую большую роль в нашем представлении о хорошей жизни.

Метрополия в Америке представляет собой, с культурной точки зрения, реакцию на грубую и бесплодную сельскую местность, которая была скорее ободрана, чем обработана неугомонным, индивидуалистичным, самоутверждающимся американским первопроходцем. Постоянная тяга к Нью-Йорку и стремление менее удачно расположенных городов подражать достоинствам и недостаткам Нью-Йорка объясняются не чем иным, как желанием в какой-то мере пользоваться благами городской жизни. Поскольку до настоящего времени нам не удавалось развить подлинные региональные культуры, те, кто не хочет оставаться варварами, должны стать митрополитами. Это означает, что они должны приехать в Нью-Йорк или подражать манерам, которые модны в Нью-Йорке. Здесь открывается разрыв, который начал расширяться между мегаполисом и сельской местностью в Америке. Сельский житель, который не может пользоваться преимуществами метрополии, у которого нет собственного центра, на который он мог бы с гордостью указать, возмущен привилегиями, которыми пользуется метрополия. Отсюда периодические крестовые походы Законодательных органов наших штатов, в основном состоящих из сельских представителей, против пороков, коррупции и безумия, на которые сельский житель с завистью смотрит как на особое достояние большого города. Возможно, зависть и негодование фермерского населения вызваны подлинным экономическим недовольством крупными городами — особенно их банками, страховыми компаниями и спекулятивными посредниками. Если концентрация власти, славы и привилегий в мегаполисе продолжится, вполне возможно, что город окажется в экономической осаде. Если наши города не могут оправдать свое существование своими творческими достижениями, демонстрацией эффективности и изящества корпоративной жизни, сомнительно, смогут ли они убедить страну поддержать их, как только будут нарушены чисто традиционные договоренности, с помощью которых город запугивает сельскую местность. Это, однако, приводит нас в царство социальных спекуляций; и тот, кто хочет вступить в него, должен отказаться от всего, кроме надежды.

* * * * *

Метрополия бывает двух порядков. В лучшем виде она представлена в Нью-Йорке, буквальном метрополисе Америки. В худшем своем проявлении это проявляется в метрополиях, которые так обильно плодились с восьмидесятых годов. Если мы хотим понять возможности и ограничения других крупных городов Америки, мы должны сначала взвесить значение Нью-Йорка.

Силы, которые сделали Нью-Йорк доминирующим, присущи нашей финансовой и промышленной системе; в других местах те же силы, действуя несколькими иными способами,

создали Лондон, Рим, Париж, Берлин, Вену, Петроград и Москву. В промышленных городах Америки произошло то, что доходы, полученные от земли, капитала и ассоциаций, пошли не на обогащение местного сообщества, а тем, кто имел законное право собственности на землю и производственную технику. Другими словами, успехи, достигнутые в Питтсбурге, Спрингфилде, Дейтоне и десятке других городов, ставших важными в индустриальную эпоху, были реализованы в основном в Нью-Йорке, положение которого еще до начала века утвердилось как центра торговли и финансов. (По данным переписи населения 1850 года, Нью-Йорк преодолел отметку в 500 000 человек.) Возможно, именно поэтому в семидесятые и восьмидесятые годы, десятилетия ужасной депрессии в промышленных центрах, в Нью-Йорке появились признаки надежды и обнадеживания: были построены Музеи искусства и естественной истории; были основаны Life и Puck, а также ряд газет; были построены Метрополитен-опера и Карнеги-холл; и появилась дюжина других свидетельств активной гражданской жизни. За короткое время Нью-Йорк стал зеркалом моды и образцом формы, и благодаря стандартизации, специализации и централизации, которые сопровождают машинный процесс, Мегалополис в конце концов превратился в центр рекламы, кредитора по закладным на фермы, распространителя новостей о бойлерных плитах, штаб-квартиру популярного журнала, издательский центр и, наконец, в главного распространителя пьес и кинофильмов в Америке. Образовательные основы, которые эксплуататор "Кодака" заложил в Рочестере, не были характерны для ранней части индустриального периода — в противном случае возвышению Нью-Йорка, возможно, был бы брошен решительный вызов, прежде чем оно стало, в своем роде, неоспоримым. Сталелитейный завод мистера Карнеги построил музыкальный зал в Нью-Йорке задолго до того, как был создан Институт Карнеги в Питтсбурге. Другими словами, повсеместные попытки американского провинциала уехать из своего промышленного города в Нью-Йорк сводятся к чему-то похожему на попытку вернуть из Нью-Йорка то, что было ранее украдено из промышленного города.

Будущее наших городов зависит от того, насколько постоянны силы, которые перекачивают деньги, энергию и мозги из различных регионов Америки в двенадцать крупных городов, которые сейчас доминируют в сельской местности, и, в свою очередь, перекачивают лучшее, что есть в этих метрополиях, в Нью-Йорк. Сегодня наши города находятся на пересечении путей. После переписи населения 1910 года начала проявляться новая тенденция, и самыми быстрыми темпами росли города с населением от 25 000 до 100 000 человек. Количественно это, возможно, хороший знак. Это может указывать на то, что тенденция к перемещению в пригороды идет на убыль. Однако гораздо труднее оценить качественные возможности нового режима; гораздо труднее оценить вероятность создания в течение одного-двух следующих поколений подлинных региональных культур, которые займут место псевдонациональной культуры, которая сейчас механически исходит из Нью-Йорка. До сих пор наша провинциальная культура была врожденной и стерильной: наши провинциальные города заменили достижения стимулом, разумное планирование - причудливыми спекуляциями, а конструктивное мышление - безумным оптимизмом. Эти привычки сделали их легкой добычей метрополии, поскольку в период ее самого низкого расцвета в Нью-Йорке всегда присутствовала определенная доля организованного интеллекта и развитого воображения — хотя бы потому, что это главный пункт соприкосновения Европы и Америки. Гофер-Прери еще не принял близко к сердцу басню о лягушке, которая пыталась раздуться до размеров быка. Когда Гофер-Прери усвоит уроки Бергена и Аугсбурга, Монпелье и Гренобля, вопрос

“метрополитанизм против регионализма” может стать таким же актуальным в Америке, как сейчас в Европе.

У тех из нас, кто является жителями метрополии, может возникнуть соблазн подумать, что надежда на цивилизацию в Америке связана с сохранением метрополии. Однако, по сути, это взгляд кривой на культуру и общество, и наш обзор развития городов в Америке должен был как-то ослабить их самоуверенное самодовольство. Наша цивилизация мегаполисов не имеет успеха. Это дикая местность, отличная от той, которую мы лишили девственности, но доминирует скорее дикое, чем человеческое качество: это все еще дикая местность. Города Америки должны научиться перестраивать наш механический и финансовый режим, поскольку, если метрополитанизм сохранится, им, вероятно, суждено пасть под его тяжестью.

Льюис Мамфорд

Политика

Ни одно лицо не может быть представителем, который ... при избрании не должен быть жителем того штата, в котором он должен быть избран.... Ни одно лицо не может быть сенатором, который ... не должен, будучи избран, быть жителем того государства, от которого он будет избран.

Специалисты по политической археологии узнают эти предложения: они взяты из разделов 2 и 3 статьи I конституции Соединенных Штатов. Я слышал и забыл, как они туда попали; без сомнения, причина крылась в яростной зависти Штатов. Но каков бы ни был факт, у меня есть мнение, что есть несколько положений конституции, которые оказали более глубокое влияние на характер практической политики в Республике или, косвенно, на общий колорит американского мышления в политическом департаменте. Они неуклонно добивались местничества в законодательстве, безопасности и процветания мелких местных боссов и механизмов, умножения карманных и прогнивших районов худшего сорта и, прежде всего, прогрессирующего вырождения честности и отличия представителей. Они смазали пути для дрянного и неблагородного парня, который стремится попасть в Конгресс, и перекрыли их для человека здравомыслящего, достойного и уважающего себя. Возможно, в большей степени, чем любое другое отдельное влияние, они были ответственны за нынешнее распутное и деградировавшее состояние двух домов, и особенно нижнего. Найдите мне самую плохую задницу в Конгрессе, и я покажу вам человека, которому они помогли попасть туда и остаться там. Найди мне самого бесстыдного негодяя, и я покажу тебе другого.

Насколько мне удалось выяснить, такого центристского мандата нет в основном законе какой-либо другой страны, практикующей представительную систему. Англичанин, если амбиции ведут его к Сент-Стивенсу, может отправиться на охоту за желающими избирателями везде, где охота выглядит лучше всего, а если у него ничего не получится в Центральных Графствах, он может попробовать снова на Юге, или на Севере, или в Шотландии, или в Уэльсе. Француз, мечтающий о подобном, имеет ту же привилегию; единственное условие, добавленное после девятнадцати лет Третьей республики, заключается в том, что он не может быть кандидатом в двух или более округах одновременно. То же самое с немцем, итальянцем или испанцем. Но не

так с американцем. Он должен быть настоящим жителем штата, который он стремится представлять в Вашингтоне. Более того, он должен быть, во всех случаях, кроме исключительных, фактическим жителем избирательного округа, поскольку здесь, в соответствии с характерным американским процессом, основной закон подкрепляется обычаем. Действительно, это последнее требование не закреплено конституцией. Для тридцать пятого округа Нью-Йорка с центром в Сиракузах было бы совершенно законно искать своего конгрессмена на Манхэттене или даже в Синг-Синге. На самом деле, в различных иконоборческих государствах это время от времени делалось. Но не часто; недостаточно часто, чтобы произвести какой-либо заметный эффект. Типичный конгрессмен остается чисто местным магнifico, безвкусным членом какого-нибудь маленького и обычно далеко не аппетитного скотного двора. Его ранг и достоинство как человека измеряются провинциальными стандартами самого ребяческого толка, а его способность выполнять разнообразные и обременительные служебные обязанности оценивается почти исключительно с точки зрения его способности удерживать контроль над местной партийной машиной.

Если у него есть настоящие способности, это своего рода случайность. Если он до конца честен, это граничит с чудом. Из 430 с лишним представителей, которые так усердно и непристойно работают в Вашингтоне, создавая законы и определяя политику для крупнейшей свободной нации, когда-либо существовавшей в мире, нет и двух дюжин, чьи взгляды по любому вопросу под солнцем имеют какой-либо вес за пределами их собственных полномочий, и нет и дюжины тех, кто достигает чего-либо, приближающегося к несомненной силе и оригинальности. В подавляющем большинстве своем они поверхностные люди, невежественные в серьезных вопросах, с которыми имеют дело, и слишком глупые, чтобы учиться. Если, как часто предлагается, Соединенные Штаты примут план парламентской ответственности и министерство будет набираться из нижней палаты, тогда без радикального изменения методов выборов будет трудно привлечь даже такие бледные таланты и скромные порядочности, которые были собраны для своих кабинетов господами Дж. Уилсон и Хардинг. Безусловно, конгрессмены лучшего сорта приобретают после долгой службы большое техническое мастерство. Они знают традиции и прецеденты двух палат; они могут проникнуть в любую крысиную нору Капитолия и выбраться из нее; им можно доверять в более или менее четком ведении законодательной рутины. Такого рода специалисты выставляются напоказ в газетах — по тарифам, по военным делам, по международным отношениям и так далее. Со временем они узнают почти столько же, сколько вашингтонский корреспондент или один из клерков их собственного комитета. Но средний конгрессмен не достигает таких высот проницательности. Он довольствуется тем, что его ведут фугельмены и жоаки. Изучите его на досуге, и вы обнаружите, что он некомпетентен и слабоумен, и не только некомпетентен и слабоумен, но и неизлечимо нечестен. Первые принципы цивилизованного законотворчества ему совершенно недоступны; он заканчивает, как и начинал, местным политиком, заинтересованным только в работе. Его знания — это знания третьеразрядного сельского юриста, которым он часто и является на самом деле. Его интеллект — это интеллект редактора сельской газеты или евангельского священника. Его стандарты чести — это стандарты сельского банкира, которым он часто и является. Требовать от такого человека здравого смысла, или обширной и точной информации, или тонкого чувства общественных и частных приличий — значит чрезмерно напрягать его части тела.

Действие конституции, конечно, прекращается с участием Конгресса, но его влияние, естественно, велико внутри Штатов, и доказательства этого факта можно найти со всех сторон.

Повсюду требуются титанические усилия, чтобы сломить даже наихудшие последствия этого влияния; преобладающей тенденцией по-прежнему является обнаружение таинственной добродетели в должностном лице, которое родилось и выросло в штате, или округе, или городе, или приходе. Судья должен быть выходцем из коллегии суда, который он должен украшать; мэр должен быть неотъемлемой частью местной машины; даже технические работники, такие как инженеры и уполномоченные по здравоохранению, находятся под конституционным упадком. Все началось с веры в местное самоуправление, старейшее из всех надежных лекарств от деспотизма. Но постепенно оно приобрело характер правления местными политиками, то есть людьми, совершенно неспособными понять самые элементарные проблемы государства и нации и не способными по природе решать их честно и патриотически, даже если бы они могли их понять. Точно так же, как цивилизованным меньшинствам, собравшимся в больших городах вопреки их наиболее энергичному и упорному противодействию, был навязан сухой закон, те же самые меньшинства, когда дело доходит до внутригосударственных дел, постоянно находятся во власти хищнических банд сельских политиков. Если и есть какой-нибудь крупный американский город, особые проблемы которого компетентно и справедливо решаются законодательным собранием штата, то я должен признаться, что за двадцать лет работы в журналистике я ничего об этом не знал. Бесконечная борьба за более справедливые отношения идет в каждом штате, где есть крупные города, и каждая уступка их благосостоянию достигается только ценой гигантских усилий. Законодательное собрание штата никогда не бывает разумным; оно представляет собой лишь средний ум руководителей графств, которых заботит только работа. Машины, которые они представляют, полностью политизированы, но у них нет политических принципов в каком-либо рациональном смысле. Их единственная цель и функция - поддерживать своих приверженцев на государственных должностях или каким-либо другим способом получать для них долю государственных средств. Они вполне готовы принять любую новую доктрину, какой бы фантастической она ни была, или отказаться от любой старой, как бы долго ее ни поддерживали, если только бизнес будет способствовать развитию их торговли и таким образом обеспечит их власть.

Такая концентрация высшей государственной власти в руках небольших групп узких, невежественных и бессовестных манипуляторов неизбежно ведет к деградации фактического должностного лица или, что то же самое, к тому, что занятие должности становится запретительным для всех людей, которые еще не деградировали. Почти невозможно представить человека, по-настоящему уважающего себя и достойного, предлагающего себя в качестве кандидата в нижнюю палату — или, поскольку прямые первичные выборы снизили этот уровень до общепринятого, в верхнюю палату — в среднестатистическом американском избирательном округе. Его необходимые отношения с самими избирателями и с идиотами, которые пытаются более или менее честно руководить ими, были бы достаточно отвратительными, но еще хуже была бы его необходимость договариваться с профессиональными политиками его партии — боссами местной машины. Эти боссы, естественно, максимально используют конституционное ограничение; оно мощно работает в их пользу. Местный аристократ, открыто восстающий против них, может иногда победить их, апеллируя напрямую к избирателям, но в девяти случаях из десяти, когда есть какие-либо признаки такой катастрофы, они спешат разыграть билет, выдвинув другого местного аристократа, который находится в безопасности и здравом уме, то есть послушен и надежен. Это делается постоянно; это рутинный процесс; им занимаются большинство сельских банкиров, владельцев газет, железнодорожных юристов, владельцев цементных заводов и

других подобных деревенских воротил в нижней палате. Здесь все работает на пользу боссам. Не так часто знатный бунтарь оказывается настолько безвкусным, чтобы закрыть глаза простым людям на высокие достоинства своего более покладистого противника. Они видят его слишком близко и знают слишком хорошо. В нем нет ни капли того экзотического очарования, которое на другом плане объясняет экзогамию. В нем нет никакой странности, никакой загадочности, а главное, никакой новизны.

Я утверждаю, что эта мертвая хватка местных органов власти была бы значительно менее жесткой, если бы ей можно было бросить вызов не только мятежникам внутри избирательного округа, но и видным деятелям извне. Президентские кампании, действительно, дают множество прямых доказательств этого. В ходе этих кампаний странные доктрины и странные люди часто навязывают себя практичным политикам в целых регионах страны, несмотря на их постоянные усилия сохранить верность своих последователей известному. Такие политики с самого начала выступают против любых изменений, какого бы то ни было рода, будь то в лидерах или идеях, но раз за разом они вынуждены соглашаться и приветствовать их. Брайан, как всем известно, навязал себя Демократической партии, обратившись непосредственно к народу; политики, в основном, были яростно настроены против него, пока дальнейшее сопротивление не стало бесполезным, и они снова напали на него, как только он начал слабеть, и, наконец, избавились от него. Так и с Вильсоном. Было бы абсурдно утверждать, что политики его партии — и особенно боссы старых машин в избирательных округах — поддерживали его в 1912 году. На самом деле они были против него почти единогласно. Он обошел их бдительность и сломал их решение выдвинуть какого-нибудь более заслуживающего доверия кандидата, воздействуя непосредственно на эмоции избирателей. По какой-то причине, которая так и не была достаточно объяснена, он стал наследником духа восстания, поднятого Брайаном шестнадцать лет назад, и получил прямую и очень эффективную помощь от самого Брайана. Точно таким же образом Рузвельт навязал себя республиканской партии. Боссы прилагали героические усилия, чтобы отвлечь его, убрать в долгий ящик, избавиться от него любыми средствами, кроме убийства, но его смелые предприятия и колоритная личность очаровывали людей, и если бы не экстравагантные вольности, которые он позволял себе в последние годы своей популярности, он мог бы сохранить ее до самой смерти.

Я полагаю, что такая же возможность вывести политиков из-под контроля существует даже в самой маленькой избирательной группе. Все, что нужно, — это шанс привлечь человека. Подунк не может произвести его на свет сама, разве что каким-то чудом. Если она действительно зачала его, то к тому времени, когда он достигнет своего полного роста и блеска, он будет уже далеко — в ближайшем большом городе, в Чикаго или Нью-Йорке. Подунк гордится им, и многие другие подунки, возможно, взволнованы его идеями, его отношениями, его прекрасными фразами — но он живет, скажем, в каком-нибудь манхэттенском избирательном округе, где есть достопочтенный. Патрик Гуган является его представителем по божественному праву, и поэтому нет никакого способа провести его в залы Конгресса. На его место идет достопочтенный. Джон П. Болдердаш, прокурор штата в течение пяти лет, сенатор штата на два срока и судья округа на короткий срок — и всегда ехидный и мелочный малый, всегда в наилучших отношениях с местными боссами, всегда стремящийся получить работу на любых условиях, которые они выдвинут. Деревенщина голосует за достопочтенного мистера Болдердэша не потому, что восхищается им, а потому, что их единственный выбор — между ним и достопочтенным. Джеймс Бош. Если бы что-то, хотя бы отдаленно напоминающее первоклассного человека, могло вступить в борьбу, если бы для них было законно избавиться от

своей повторяющейся дилеммы, заручившись интересом такого человека, тогда они достаточно часто возвысили бы свою мощь и вынудили бы своих приходских правителей, как выражаются англичане, усыновить его. Но конституция защищает этих властителей в их бизнесе, и в долгосрочной перспективе избиратели отказываются от всякой мысли об освобождении. Таким образом, борьба остается борьбой между мелкими людьми, и интерес к ней угасает. Большинство мужчин, которые проходят в нижнюю палату, занимают третье место, даже в их собственных узких кругах. В моем собственном избирательном округе, расположенном в части большого города, за те двадцать лет, что я голосую, ни разу не было кандидата от какой-либо партии, который был бы выше интеллектуального уровня бакалейщика на углу. Ни один успешный кандидат в этом округе никогда не произносил речи в Конгрессе (или вне его), достойной внимания, или иным образом не вносил ни одной здоровой идеи в решение какой-либо общественной проблемы. Все до единого они ограничили себя исключительно торговлей рабочими местами. Все до единого они были шифрами в доме и перед страной.

Что ж, возможно, я слишком настаиваю на своем. В конце концов, это не важно. Главное - это простой факт, что среднестатистический представитель моего округа типичен для Конгресса — что, во всяком случае, он превосходит обычного конгрессмена наших дней. Этот нормальный конгрессмен, год за годом, склонен опускаться до таких глубин ребячества, до таких бездн мелкого стяжательства, что он становится оскорбительным как для интеллекта, так и для носа. Его мировоззрение, когда оно честное, обычно ребяческое - и оно очень редко бывает честным. Продукт политической системы, которая делает упор на вознаграждение за государственную должность, он готов пойти на любые жертвы достоинством, принципами, честью, чтобы сохранить эти награды. У него нет ни смелости, ни интеллектуальной *любви к себе*, ни горячей веры во что-либо, кроме своей работы и работы своих друзей. Уилсону было легко заставить его действовать в соответствии с военным вопросом; сторонникам запрета было легко запугать его и обратить в паническое бегство; любому решительному человеку или группе людей легко поступить так же. Я добросовестно читаю Протоколы заседаний Конгресса и делаю это в течение многих лет. Во время дебатов в Сенате, среди океана вздора, я иногда сталкиваюсь с проблесками остроумия или здравого смысла; прямые выборы еще не сделали своего дела. Но в нижней палате редко встречается что-либо, кроме болтливости и невыносимого идиотизма. Обсуждение мер первостепенной важности — законопроектов, от которых зависят безопасность и процветание всей нации, — ведется в духе чаутокуа и сельского тупика. Проходят целые дни, и ни один конгрессмен не произносит, скажем, ничего столь же умного, как те реплики, которые иногда можно встретить в "Нью-Йорк Геральд" или даже в "Нью-Йорк таймс". Газеты, к сожалению, не дают адекватной картины этого бизнеса. Ни один американский журнал не освещает ежедневные дебаты всесторонне, как о дебатах в Палате общин сообщают лондонские Times, Daily Telegraph и Morning Post. Все, о чем мы слышим, как правило, - это предпринятые действия, и слишком часто предпринятые действия, даже если о них сообщается честно, непонятны без предварительного обсуждения. Если кто-нибудь из читающих это захочет узнать, на что похожа такая дискуссия, то я советую ему пойти в ближайшую публичную библиотеку, попросить отчет за 1918 год и прочитать о дебатах в нижней палате по Закону Волстеда. Я полагаю, это была обычная дискуссия, причем на тему первостепенной важности. Это было, от начала до конца, почти сказочно в своем уклонении от прямого ответа, в своей невероятной робости и глупости, в своем грубом шарлатанстве и

нечестности. Не двадцать человек выступили в нем как люди чести и самоуважения. Не десять внесли в него какую-либо идею, которая не была бы глупой и устаревшей.

Эти дебаты заслуживают гораздо большего изучения, чем они когда-либо получают от историков американской политики, почти все из которых, независимо от того, склоняются они вправо или влево, ослеплены экономической интерпретацией истории и поэтому стремятся объяснить все политические явления с точки зрения динамики урожая, шкалы заработной платы и паники на Уолл-стрит. Мне кажется, что эта одержимость ослепляет их от факта первостепенной важности, а именно от того факта, что политические идеи, как при демократии, так и при монархии, возникают наверху так же часто, как и внизу, и что их популярность в такой же степени зависит от особых классовых интересов профессиональных политиков, как и от лежащих в основе экономических интересов реальных избирателей. Конечно, верно, как я уже утверждал, что люди могут навязывать идеи политикам при наличии могущественных лидеров неполитического (или, во всяком случае, немашинного) толка, но столь же верно и то, что на пути этого процесса существуют серьезные препятствия, и что очень часто он неуспешен. В повседневной практике взлет и падение политических взглядов определяется личными интересами практичных политиков страны, и хотя они, естественно, пытаются привести бизнес в гармонию с любыми крупными народными движениями, которые могут возникать спонтанно, они ни в коем случае не ждут и не выпрашивают мандатов, когда таковых громогласно не предлагается, но смело продвигаются вперед за свой счет, надеясь увлечь за собой общественное мнение и таким образом сохранить свои рабочие места. Таково происхождение многих волнующих вопросов, которые позже стали дороги миллионам простых людей. Таков был процесс, при котором стране был навязан сухой закон путем внесения конституционных поправок, к разочарованию солидного большинства, выступавшего против него, и к удивлению меньшинства, выступавшего за него.

Что скрывалось за внезапным и мелодраматичным успехом агитаторов—запретителей, так это просто их открытие неизлечимой трусости и продажности нормального американского политика - их пронизательный отказ от логичной и доказательной пропаганды в пользу прямого политического действия. Годами их дело терпело крах. Время от времени штат или часть штата засыхали, но часто через несколько лет они снова становились влажными. Это были безмятежные дни митингов с белыми лентами, массовых подписаний обязательств, лекций обращенных пьяниц, оргиастических собраний в отдаленных баптистских и методистских церквях, детской уверенности в аргументах, которые привлекали только пьяных мужчин и их жен, и которые становились все слабее по мере того, как страна становилась более трезвой. Это едва ли можно было назвать даже досадной помехой; оно неуклонно опускалось до уровня шутки. За президента проголосовали около четверти миллиона сторонников запрета; казалось невозможным довести это число до внушительной цифры, несмотря на колоссальный труд тысяч красноречивых дервишей, мирян и священнослужителей, мужчин и женщин. Но затем, из ниоткуда, возникла Лига борьбы с салунами, и — сестренка! бум! ах! Затем произошел внезапный перенос огня с народа на политиков — и сразу же наметился быстрый прогресс. Людей можно было только обхаживать и одурачивать, но политикам можно было угрожать; их власть над своими рабочими местами могла быть поколеблена; их можно было обратить в свою веру оптом и в результате *форс-мажорных обстоятельств*. Старые плакальщики и булькающие были совершенно неспособны на это предприятие, но новые янычары Лиги против салунов - ловкие юристы, священнослужители, слишком амбициозные, чтобы колотить по кафедрам, политики—преступники, ищущие пути обратно к кормушке, - были экспертами во

всех трюках, которых это требовало. Они поняли душу американского политика. К нему они применили экономическую интерпретацию истории, решительно и с большой долей добродушного юмора. Они знали, что вся его политика, вся его философия, вся его концепция честности и благородства заключались в его единственном и ненасытном стремлении к работе, и они показали ему, как, играя с ними, он может получить ее и сохранить, и как, противостоя им, он может ее потерять. Сухой закон был втиснут в конституцию, победив политиков; люди в целом были поражены, когда это было достигнуто; могут потребоваться годы, чтобы примирить их с этим.

Именно партийная система дала манипуляторам Лиги борьбы с Салунами их шанс, и они воспользовались им с большой смелостью и умом. Две великие партии делят страну почти поровну; трудно предсказать, наберет ли в данном году та или иная наибольшее количество голосов. Это разделение сводится к низшим избирательным единицам; даже в тех отсталых районах, где одна партия обладает божественной милостью, а другая - от дьявола, существуют фракционные различия, которые сводятся к одному и тому же. Другими словами, среднестатистический американский политик никогда не бывает до конца уверен в своей работе. Выборы (а если не сами выборы, то первичные) всегда подвергают его определенному риску, и он стремится уменьшить его, заручаясь помощью извне, независимо от того, какой ценой для принципов, которые он обычно исповедует. Здесь кроется возможность для меньшинств, желающих торговать на реалистичной политической основе. В старые времена сторонники запрета на торговлю отказывались, и, как следствие, на них не обращали внимания, поскольку их верность своим собственным гротескным кандидатам защищала кандидатов обеих обычных партий. Но с приходом Антисалонной лиги они отказались от этой верности и начали торговаться в откровенной и беззастенчивой манере, быстро понятной всем профессиональным политикам. То есть они просили обещания по одному конкретному вопросу и были готовы принять любые обязательства по другим вопросам. Если Вельзевул, баллотирующийся по одному билету, соглашался поддержать сухой закон, а Архангел Гавриил, баллотирующийся по другому билету, обнаруживал, что у него возникли добросовестные сомнения, они немедленно и твердо выступали за Вельзевула, и они не только давали ему голоса, которые они напрямую контролировали, но и давали ему преимущество в поддержке кампании, которая была безжалостной, настойчивой, необычайно изобретательной и подавляюще эффективной. Вельзевул, каким бы свинством он ни отличался в остальном, был омыт святыми маслами; именем Гавриила стали пугать детей.

Очевидно, предложенная таким образом поддержка была особенно заманчива для политика, который столкнулся с общественным подозрением из—за своей общей политической практики - короче говоря, для худшего профессионала машинного дела. Такой политик всегда остро осознает, что не положительные заслуги обычно приводят человека на государственную должность в Соединенных Штатах, а просто отсутствие защиты. Даже когда дело доходит до выдвижения кандидатуры президента, качества, которые ищут две великие партии, в основном отрицательные; им нужен не кандидат с сильными и непоколебимыми идеями, а тот, чьи идеи расплывчаты и не слишком прочны, и в личности которого нет ничего, что могло бы встревожить или оскорбить население. Из двух кандидатов обычно побеждает тот, кто меньше всего вызывает недоверия у огромных масс недифференцированных людей. Это преимущество безопасного и здравомыслящего, бесцветного и непровоцирующего, внешне нудного и

заурядного человека распространяется на самые тривиальные соревнования, и политики стремятся им воспользоваться. Таким образом, соискатель работы, окруженный ореолом прошлых политических проступков, стремился получить христианскую неприкосновенность, которую так щедро предлагали ему сторонники запрета, и в первые годы своей борьбы они имели дело почти исключительно с такими ребятами. Он, со своей стороны, обещал просто голосовать за сухой закон — даже, в большинстве случаев, не притворяться, что лично верит в это. Сторонники запрета, со своей стороны, пообещали передать ему голоса своих последователей в день выборов, восхвалять его как человека, спасенного сияющим светом, и, что самое важное, объявить его оппонента агентом ада. Согласно этому соглашению, он был свободен заниматься своими обычными политическими делами в обычном режиме. Сторонники запрета не просили у него покровительства. Они не обременяли его проектами других реформ. Все, что они требовали, — это чтобы он подал свой голос, как было условлено, когда ему подадут сигнал.

Поначалу, конечно, такие негодяи часто нарушали свои договоренности. На Юге, в частности, один сухой законодательный орган за другим распродавался алкогольному лобби, у которого в те дни еще было много денег. Член ассамблеи избирался с помощью сторонников запрета, произносил несколько сентиментальных речей против проклятия алкоголя, а затем, в последнюю минуту, голосовал за "мокрый" по какой-нибудь надуманной причине или вообще без признанной причины. Но сторонники сухого закона, как я уже говорил, были превосходными политиками, и поэтому они знали, как пресечь подобную измену. На следующих выборах они перешли в пользу кандидата от оппозиции, и поскольку он был свидетелем избрания предателя на последних выборах, он, как правило, очень хотел заняться бизнесом. Наказание за государственную измену было снисходительным и безжалостным. Сухие подстрекатели черни, миряне и священнослужители, раструбили весть об этом из конца в конец округа. То, что было новым и приносящим удовлетворение отсутствием защиты, превратилось в уязвимость худшего рода; изменником стал графство Гарри Оттепель, Оскар Уайльд, капитан Бой-Эд и Дебс. Несколько таких благотворных примеров, и государственная измена стала редкостью. Сторонники запрета, действительно, стали предпочитать иметь дело с такими жертвами своих репрессий. Они могли полностью доверять им, как только усвоили урок; на самом деле им можно было доверять больше, чем честным верующим, поскольку у последних обычно были собственные идеи и они вмешивались в официальные планы кампании. Таким образом, в конце концов, профессиональные политики обеих партий оказались под гнетом. Финальная битва в Конгрессе вышла за рамки всех партийных рамок; демократы и республиканцы одинаково боролись за места в оркестре. Спектакль содержал глубокий и не лишенный юмора комментарий к партийной системе и не в меньшей степени к чести американских политиков. По меньшей мере две трети голосов за поправку подали люди, которые в нее не верили и которые до последнего момента искренне надеялись, что какое-то Божье действие приведет к ее провалу.

Подобные вспышки откровенности и порядочности, безусловно, не редкость в американской политике; напротив, они излучают нормальность. Типичная законодательная ситуация среди нас — и типичная административная ситуация также — это ситуация, в которой люди, полностью лишенные внутренней целостности, сталкиваются с меньшинством, которое твердо намерено добиться своей воли, отказаться от своих идей, своей свободы и своей чести, чтобы сохранить свою работу. Я говорю также об административной ситуации; я имею в виду, что в наши более поздние дни малодушию фактического законодателя полностью соответствует

малодушие сотрудника правоохранительных органов, будь то скромный помощник окружного прокурора или могущественный судья. Война, с ее уничтожением привычных предлогов и ослаблением основных сил, придала всему процессу рельефный характер. В течение почти двух долгих лет наблюдался полный отказ от здравого смысла и самоуважения. Подгоняемые и запугиваемые меньшинствами, которые в конце концов объединились в неистовое большинство, законодатели позволяли принуждать себя к идиотизму за идиотизмом, а административные чиновники, включая некоторых из высших судей страны, бестолково следовали за ними. В нижней палате Конгресса был один человек — уже забытый, — который проявил себя как настоящий мужчина. Он сложил с себя полномочия и вернулся домой, к своему самоуважению. У остальных не было никакого самоуважения, к которому можно было бы вернуться домой. Стремясь изо всех сил удержать свои позиции, чего бы это ни стоило принципам, и с тревогой сознавая свою уязвимость перед нападением, каким бы бешеным и несправедливым оно ни было, они униженно и неоднократно сдавались — Белому дому, газетам, любой группе, достаточно предприимчивой, чтобы отдавать им приказы, и достаточно решительной, чтобы размахивать перед ними оружием. Это было зрелище, полное непристойности — сегодня даже конгрессмены краснеют, когда вспоминают об этом, — но, тем не менее, это было типичное зрелище. Политическая удача в том виде, в каком она сложилась сейчас, делает чрезвычайно вероятным, что каждый новобранец на государственной должности будет именно таким трусом. Шансы огромны в его пользу и огромны против человека чести. Такой человек чести может иногда проникать внутрь, застигнутый почти врасплох какой-нибудь политической случайностью, но именно напористый, напыщенный, бессовестный хвостун постоянно *борется* за то, чтобы попасть внутрь, и слишком часто ему это удается. Правила игры составлены с учетом его вкуса и талантов. Он может выжить, как свинья на помойке.

Зайдите в Справочник Конгресса и изучите происхождение и прошлую деятельность нынешних членов нижней палаты — нашего типичного собрания типичных политиков, краеугольного камня всей нашей представительной системы, символа нашей демократии. Вы обнаружите, что более половины из них - малоизвестные юристы, школьные учителя и спекулянты ипотечными кредитами из почти безымянных городков — люди с обычными традициями, низменными устремлениями и вообще без достижений. Все до единого члены этого большинства — и это неизменно, независимо от того, какая партия находится у власти, — увешаны медными украшениями более бруммагических братских орденов. Все без исключения они лишены какого-либо контакта с тем, что считается культурой, даже в своих отдаленных провинциях. Все без исключения их карьеры лишены цивилизующего влияния.... Таков американский *Витенагемот* на этом 146-м году Республики. Таковы люди, которые устанавливают законы, которым все мы должны подчиняться, и которые ведут наши дела с миром. Пойдите на их дебаты, и вы увидите, какое оборудование они привносят в свой высокий бизнес. Все, что они знают о здоровой литературе, - это то, что можно почерпнуть из "Пятого ридера" Макгаффи. Все, что они знают о политической науке, - это бессмыслица, проповедуемая в "чаутокуа" и "На пне". Все, что они знают об истории, - это ребяческие штучки, которым учат в начальных школах. То, что они знают об искусствах и науках — обо всей огромной совокупности знаний, составляющих главный интеллектуальный багаж современного человека, — абсолютно ничего.

Х. Л. Менкен

ЖУРНАЛИСТИКА

Согласно "Всемирному альманаху" за 1921 год, ежедневный тираж газет в крупных городах Соединенных Штатов в 1914 году (очевидно, это самый последний год, за который были собраны данные) составлял более сорока миллионов экземпляров. За шесть месяцев, закончившихся 1 апреля 1920 года, средний ежедневный тираж пяти утренних и одиннадцати вечерних газет в Большом Нью-Йорке составлял, как показали показания под присягой, более трех с третью миллионов экземпляров. Эти статистические данные охватывают только ежедневные газеты, а не еженедельные или ежемесячные журналы; и данные по Нью-Йорку не включают газеты на других языках, кроме английского. Американец, безусловно, покупает газеты. В какой степени он их читает, определить невозможно. Но мы можем справедливо предположить, что подавляющее большинство грамотных жителей Соединенных Штатов всех возрастов каждый день в той или иной мере подвергаются влиянию газеты. Ни одно другое учреждение не приближается к газете по универсальности, постоянству, непрерывности влияния. Не государственная школа, а все другие школы, добавленные к ней, имеют такую власть над национальным сознанием; ибо в жизни большинства людей формальное школьное образование длится относительно недолго и прекращается с подростковым возрастом или раньше. Церковь? Миллионы людей никогда не ходят в церковь, и тот день, когда духовенство доминировало в человеческой мысли, ушел навсегда. Если мы добавим к ежедневной прессе еженедельные и ежемесячные периодические издания общим тиражом в двести миллионов экземпляров (за 1914 год), мы не сильно ошибемся, сказав, что журналист, обладающий способностями, стоящими за ним, может сделать больше, добра или зла, чем представитель любой другой профессии, в создании и формировании мыслей масс. По сравнению с ним учитель, проповедник, художник, политик, человек науки ограничены, прерывисты, непрямы в достижении умов своих собратьев.

Таким образом, при оценке возможностей и содержания американского разума, который у нас нет средств разложить по полочкам в его сотнях миллионов индивидуальных проявлений и исследовать непосредственно, анализ американской газеты является довольно грубым методом. То, что читают все, не рассказывает всей истории о том, кто каждый из нас такой, но это говорит о многом. Более того, нет необходимости анализировать какую-либо одну газету или отделять ее клиентуру от клиентуры любой другой газеты. Ибо, хотя всем известно, что "Нью-Йорк Трибюн" и "Нью-Йорк Уорлд" обладают различными качествами, которые отличают их друг от друга, что некоторые газеты лучше, а некоторые хуже, все же в целом американская газета удивительно однородна от Портленда, штат Мэн, до Портленда, штат Орегон. Это действительно более или менее единое учреждение, питаемое одними и теми же новостными службами и руководствующееся родственными финансовыми интересами. Если вы много путешествуете, как это делают актеры, не интересуясь местными делами, то, подойдя утром к газетному киоску отеля, вы не сможете определить по общему виду газеты, которую берете в руки, в каком городе вы находитесь; а в маленьком городе это, скорее всего, столичная газета, проехавшая за ночь сотню миль или больше. Действительно, это первое, что можно узнать об американце, изучая его газеты, - ему не хватает индивидуальности, он утомительно однообразен и скроен по одному интеллектуальному шаблону. У него может быть своя "любимая" газета, и, не чувствуя, что его признание в привычках постыдно, он может написать редактору, что постоянно читал ее в течение сорока лет. Но если она прекратит свое

существование, как его любимая марка жевательной резинки или сигарет, не останется щемящей пустоты, которую не смог бы с комфортом заполнить выживший конкурент. Редакторы, за исключением тех, кто отвечает за местные новости, с легкостью переезжают из одного города в другой; это все та же старая работа за другим столом.

Стандартизация читателя газеты и стандартизация журналиста - это два аспекта одного и того же. Как гражданин, рабочий, человеческое существо, журналист - просто один из нас, жертва конформизма, охватившего американца. Когда мы говорим о влиянии журналиста, мы говорим не о личности, а о "силах, стоящих за ним", для которых он не что иное, как наемный слуга, столь же бессильный и неважный, рассматриваемый как индивидуум, как рабочий на мельнице. Журналистика в Америке больше не является профессией, с помощью которой человек может занять достойное место среди своих соседей. Если бы у нас сегодня был Гораций Грили, он не был бы редактором газеты. Он не хотел бы быть таким, и ему не позволили бы быть таким. Конечно, его энергичная честность не была бы допущена современным недостойным преемником газеты, которую он основал. Редактор газеты, без сомнения, часто является человеком умным и опытным, и ему может хорошо платить, как менеджеру универмага; но обычно он погружен в анонимность, за исключением того, что время от времени закон требует, чтобы газета публиковала его имя. Его подчиненные, помощники редактора, обозреватели новостей, репортеры и все остальные, столь же безымянны, как уборщики этажей, клерки экспедиторов, продавщицы и дамы, занятые более древними формами торговли.

Это правда, что в течение жизни последнего поколения в газете наметилась тенденция "освещать" отдельных людей, таких как карикатуристы, ведущие рубрик, писатели о спорте, драматические критики и так далее. Но эти люди - художники, некоторые из них очень умные, которые не имеют никакого отношения к новостям, но вносят в газету свой вклад в водевильное развлечение. Во время войны значительно увеличилось количество подписанных телеграмм и корреспонденции. Это было связано с необходимостью процветающей газеты продемонстрировать свою предприимчивость и убедить своих читателей в том, что у нее есть люди с особыми способностями, находящиеся в тесном контакте с дипломатами и генерал-майорами, которые собирают и передают по телеграфу за большие деньги интимную информацию и экспертное мнение. Обстоятельства были настолько тяжелыми, что самый мудрый и честный человек мало что мог сделать, кроме как потерять свою должность, и никто не будет винить корреспондентов. Но знаменательно, что из конфликта не вышел ни один американский корреспондент, который запомнился бы, с точки зрения более или менее внимательного читателя, как отличавшийся от остальных. Если бы из разнородной подборки вырезок мы вычеркнули даты, предполагаемое место происхождения и имена корреспондентов, никто, кроме редактора с долгой и подробной памятью, не смог бы сказать, от кого именно, или быть уверенным, было ли сообщение от мистера Джонса, специального корреспондента Christian Science Monitor (авторские права принадлежат Chicago News) или анонимная телеграмма из лондонского офиса Associated Press. И даже редактор, который, как можно предположить, знает имена сотен своих коллег и конкурентов, начал бы свою попытку идентификации с изучения стиля шрифта, чтобы понять, похожа ли она на колонку из Sun или из the World. Почти все военные новости представляли собой безнадежную путаницу впечатлений, сообщений о том, что, по словам кого-то другого, "обладающего неоспоримым авторитетом", было услышано из надежных источников, и чистой лжи, приспособленной к сиюминутным предрассудкам отдельного главного редактора, американской прессы в целом и

американского народа. И это примерный рецепт для всех новостей даже в мирное время, поскольку война лишь усугубила распространенные болезни газет.

Поскольку цель этой книги - обсудить особенности Америки, следует сразу сказать, что тенденция газеты уничтожать журналиста как лицо, непосредственно ответственное перед обществом, характерна не только для Америки. Экономические условия в Европе и Америке в корне схожи, и современная газета в каждой стране должна быть коммерческим учреждением с высокой капитализацией и направленным на получение прибыли. В Англии упадок журналистики как профессии и расцвет "трюковой" прессы были отмечены и осуждены англичанами. Много лет назад быть редактором лондонской "Таймс" что-то значило, и назначение нового человека на эту должность было событием не менее важным, чем смена кабинета министров. Кто сейчас является редактором "Таймс", не имеет значения, разве что для человека, получающего чек на зарплату. Английская журналистика находится почти в таком же тяжелом положении, как и американская. В Англии, однако, есть по крайней мере одно исключение, не имеющее аналогов в Америке, - "Манчестер Гардиан"; этой замечательной газете посчастливилось принадлежать людям, которые настолько богаты, что не обязаны, и настолько честны, что не желают продавать ее. Именно этот факт предоставил мистеру Скотту, главному редактору на протяжении почти полувека, возможность, соответствующую его мужеству и способностям. В Англии таких возможностей немного, а в Америке - ни одной. Даже Спрингфилдский республиканец в значительной степени утратил свой прежний характер.

Что касается континентальных газет, тот, кто не читает ни одну из них регулярно, не в том положении, чтобы судить. В 1900 году Уильям Джеймс, проникательный наблюдатель, написал в письме: "Континентальные газеты, конечно, находятся "ниоткуда". Что касается наших желтых газет — в каждой стране есть свои преступные классы, и у нас и во Франции они просто пришли в журналистику как часть своей профессиональной эволюции, и с ними нужно покончить. Мистер Босанке где-то говорит, что пока что "темные века" не закончились, мы находимся только в начале нового периода темных веков. Он имеет в виду, что невежество и бескультурие, которые тогда были просто жестокими, теперь четко сформулированы и обрели литературную окраску, а борьба перенесена с полей, замков и городских стен на 'органы публичности'." Это всего лишь мимолетное замечание в неофициальном письме. Но это частичное объяснение американской желтой журналистики, которая за двадцать лет заполонила всю прессу, включая газеты, претендующие на респектабельность, и это показывает, каково было и остается положение вещей во Франции.

Следует, однако, отметить, что личная журналистика во Франции не исчезла полностью, что редактора все еще можно привлечь к ответственности, иногда под дулом пистолета, за ложь и клевету, и что молодой французский *литератор*, прежде чем он добьется успеха в поэзии, драматургии или художественной литературе, может считать журналистику почетным занятием, в котором стоит сделать себе имя.

С упадком во всех странах, особенно в Америке, журналиста как профессионала в благородном ремесле, можно было бы, по-видимому, добиться объективности, правильного вида безличности. Анонимность могла бы обеспечить беспристрастную верность фактам. Но такой выгоды не было. Ответственность перешла от журналиста к его работодателям, и он изо всех сил старается угодить своим работодателям, развивать в себе все возможные для

журналистики достоинства: точность, ясность выражения, рвение в поиске и интерпретации фактов - только в той мере, в какой этого требуют его работодатели, только в той мере, в какой от этого зависят его средства к существованию и шансы на продвижение по службе. Обычный журналист, будучи обычным человеком, должен предпочитать выполнять честную работу, потому что во лжи нет удовольствия, хотя есть соблазн заполнить пространство голословными или непроверенными заявлениями. И если его менеджер прикажет ему найти историю, в которой ее нет, или найти историю определенного рода, где факты приводят к истории другого рода, он не вернется с пустыми руками, чтобы не уйти с пустыми руками в день зарплаты. Любой, кто работал в редакции газеты, знает, что пожилые люди, скорее всего, утомлены и циничны, а молодые люди делятся на два класса: те, кто слишком глуп, чтобы быть недовольными каким-либо аспектом своего положения, кроме размера своей зарплаты, и те, кто надеется либо подняться до более высокооплачиваемых должностей, либо “перейти”, как они выражаются, из повседневной журналистики в другие виды литературной работы.

Таким образом, журналист должен быть оправдан за большинство ошибок журналистики. Мистер Уолтер Липпманн говорит в своей небольшой разумной книге “Свобода и новости”: “Соппротивление инерции профессии, ересь по отношению к институту и готовность скорее быть уволенным, чем писать то, во что вы не верите, - все это требует только личного мужества”. Это немного похоже на утверждение, что блудница может прекратить блудодеяние, отказавшись заниматься своим ремеслом, — что действительно является позицией некоторых людей в комфортных обстоятельствах. Я сомневаюсь, что мистер Липпманн писал бы так же, как он писал, если бы ему когда-либо приходилось рассчитывать на то, что его ужин угодит главному редактору, если бы он с самого начала своей блестящей карьеры не был редактором либерально настроенного журнала, в котором он может свободно выражать свои убеждения. Большинство газетчиков бедны и не блестящи. Корреспонденты, которых мистер Липпманн называет “выдающимися личностями на довольно плоском плато”, почти все являются людьми, преуспевшими в другой работе, помимо газетной корреспонденции, и если бы ни одна газета в мире не захотела их нанять, большинство из них могли бы позволить себе показывать нос Оксам, Рейдам и Хармсюртам. Личное мужество, безусловно, является личным делом, и оно редко может быть эффективным в исправлении злоупотреблений учреждения, особенно когда учреждение может нанять множество людей с адекватными, если не равными способностями, чтобы занять место человека упрямой честности. Я знаю одного журналиста, который потерял должность главного редактора двух богатых газет, одной в Бостоне, другой в Нью-Йорке, во-первых, потому что он отказался напечатать ложное и трусливое опровержение, продиктованное акционером, которому главный редактор хотел служить, во-вторых, потому что он отказался исказить военные новости. Но что хорошего принесло его восстание в одиночку, кроме как заставить нескольких друзей гордиться им? Потеряла ли какая-нибудь газета хотя бы одного скорбящего подписчика? Пострадал ли отдел рекламы? Отнюдь нет. Его место занял другой человек, не обязательно менее честный, но с более покладистым темпераментом. На мутных водах журналистики не было ни малейшей ряби. Парадоксально, но журналист - это единственный человек, который мало или вообще ничего не может сделать для улучшения журналистики. Предположение г-на Липпманна о том, что наше спасение заключается “в конечном счете во внедрении в новостную структуру людей с новой подготовкой и мировоззрением”, является, как ему известно, выражением смутной надежды, слишком отдаленной от конечной, чтобы иметь практическое отношение к реальной ситуации. Человек с образованием и мировоззрением, особенно с кругозором, - самый несчастный человек,

работающий в газете. Его спасение, если не наше, заключается в том, чтобы оставить газетную работу и применить свои способности и видение в какой-нибудь профессии, которая не препятствует именно тем достоинствам, которые должно развивать честное учреждение. Это не просто мнение критически настроенного непрофессионала, но и точный, если не буквально, совет, данный мне успешным редактором и автором специальных статей. “В этой игре, - сказал он, - ты теряешь свою душу”.

Истории людей, которые пытались вести себя достойно в газетной работе и были уволены, могли бы быть ценными, если бы их сопоставили и если бы лучшие журналисты объединились, чтобы фактически заложить основу для большего количества подобных историй. Но от профессии, ремесла, которое так мало осознает свои собственные интересы, что даже не создает эффективного профсоюза (конечно, организация газетных писателей имела некоторый успех, особенно в Бостоне, но сегодня организация практически исчезла) для поддержания своей заработной платы, никогда нельзя ожидать объединения в безличных интересах истины и интеллектуального достоинства. От человека, который выдвигает обвинения против огромного непоколебимого института, опираясь на свой личный опыт, слишком легко избавиться как от больной головы, и, вероятно, над ним будут смеяться даже его коллеги-журналисты, которые знают, что в основном он прав.

Это случилось с мистером Аптоном Синклером. Я внимательно изучил “Медный чек” с эгоистичной целью получить достаточно материала, чтобы написание этой главы было не чем иным, как работой ленивого человека по расшифровке текста, не говоря уже о благородной этической цели реформирования газеты путем разоблачения ее беззаконий. Признаюсь, я разочарован. “Медный чек” - это смесь автобиографии, по-своему ценной для тех, кто восхищается мистером Синклером, как искренне восхищаюсь им я, и свидетельств, которые, хотя и являются по-настоящему личными, должны рассматриваться объективно. Я озадачен тем, что человек “воспитания и кругозора”, который продемонстрировал по крайней мере в одном из своих романов превосходное чувство построения, мог собрать воедино такую мешанину из достоверных свидетельств, совершенно изобличающих его оппонентов, и наивных банальностей, утверждений, ненадежно обоснованных и не важных, если они были хорошо обоснованы. Я настолько уверен, что мистер Синклер в целом прав, что мне не хочется критиковать его в штыки, создавать тень поощрения настоящему противнику, который беспринципен и надежно окопался. Но как журналист “training and outlook” я сожалею, что другой журналист, обладающий гораздо большими способностями, опытом и информацией, не должен был проделать лучшую работу по отбору и построению своего материала. Как сказал адвокат своему клиенту: “Вы святой, и вы правы, но зал суда - не место для святого, а вы чертовски плохой свидетель”. Однако доказательств мистера Синклера достаточно, чтобы их мог собрать любой, у кого хватит воли и терпения. Если одна десятая из них достоверна, а девять десятых сомнительны, то одной десятой достаточно, чтобы показать зловещие силы, стоящие за газетами, и объяснить некоторые причины, по которым газеты ненадежны, трусливы и нечестны.

Хотя мистер Синклер рассказывает несколько порочащих историй о грехах анонимных репортеров и проституции писателей, таких как покойный Элберт Хаббард, у которого не было оправданий ничему, кроме честности и независимости, все же мистер Синклер в целом согласился бы со мной, что главная ответственность за пороки журналистики лежит не на журналисте. Он пытается разместить это прямо там, где ему и место, - на владельцах прессы и

владельцах владельцев. Но трудно определить, как распределяется тяжесть вины, поскольку пресса - это монстр, у которого больше двух ног.

Часть ответственности лежит на читателе, если только читатель действительно виноват в том, что он легковверный дурак и покупает дрянные товары. Г-н Липпманн говорит: "Повсюду нарастает гневное разочарование в прессе, растет ощущение того, что они сбиты с толку и введены в заблуждение". И мистер Синклер говорит: "Люди хотят новостей; люди жаждут новостей". Оба эти утверждения могут быть правдой. Но где ученые врачи находят симптомы? Некоторые из нас, проявляющие какой-то особый интерес к прессе, публичности, политическим проблемам, разочарованы и обижены. Вероятно, каждый говорил или слышал, как кто-то другой говорил: "Это всего лишь газетная статья" или "Вы не можете верить всему, что читаете". Но такой умеренный скептицизм не обещает разрастания гневного требования со стороны этой неопределенной совокупности, Народа, к лучшим, более честным газетам, к такому гневному требованию, которое вы действительно можете услышать в любом доме, в который вы входите, к более дешевой одежде и более низким налогам.

Если мы сделаем грубый подсчет количества проданных газет и числа людей в основных экономических классах, то очевидно, что газеты большого тиража должны миллионами поступать к трудящимся. Итак, есть ли какие-либо признаки растущего гнева в сердцах честных тружеников против газет, против газет мистера Херста, которые поливают их соками лицемерного сочувствия, не говоря уже о газетах, которые откровенно несправедливо трактуют новости лейбористов? Или рассмотрим более процветающие классы. В вагоне для курящих любого пригородного поезда, направляющегося в Нью-Йорк однажды утром после восьми часов, посмотрите на окружающих вас мужчин, деловых людей, из тех, что работают или делают что-то в офисах. Они читают "Таймс" и "Трибюн". Возможно, кто-то ворчит по поводу чего-то в дневных новостях, чего-то, что произошло на фондовой бирже, или глупого броска на третью базу во вчерашней игре. Но есть ли какой-нибудь ропот недовольства самой газетой? Я не нахожу никаких свидетельств широко распространенного отвращения к газете такой, какая она есть, и сопутствующей жажды чего-то лучшего. Читатель, публика нема, если не сказать бесславна, и некритично принимает то, что сообщает ежедневная пресса. У читателя не так много возможностей выбрать лучшее из худшего. Если он отказывается от одной газеты, он должен взять другую, которая так же плоха. Он находится между дьяволом и морской пучиной, как когда он отдает свой голос за демократа или республиканца. И если он проголосует за социалиста, то получит замечательную газету New York Call, которая является не столько газетой, сколько средством пропаганды. Когда одна газета немного честнее и умнее своих конкурентов, разница настолько незначительна, что об этом знают только те, кто особенно интересуется проблемами прессы. Например, обсуждая эти проблемы с газетчиками, с критически настроенными читателями прессы, с лицами, по какой-либо причине разумно заинтересованными в этих проблемах, я ни разу не встретил ни одного, у кого не нашлось бы доброго слова в адрес "Нью-Йорк Глоуб". Она настолько заметно приличнее других нью-йоркских газет, что я почти могу простить ей то, что она сунула мне под нос доктора Фрэнка Крейна, когда я рассматривал забавные фотографии мистера Фонтейна Фокса, — газетный "водевиль" обязан предлагать трюки на любой юношеский вкус. И все же на Земном шаре нет шумной толпы, готовой вознаградить его за превосходство над соседями, которое, я допускаю, слишком незначительно, чтобы дафферс смог разглядеть. Американский читатель газет, то есть почти каждый, в том, что касается газеты, — простофиля, некритичный, послушный, лишь кротко недоверчивый. Возможно, "люди" получают такие хорошие газеты, какие они хотят и

заслуживают, точно так же, как говорят, что они получают такое хорошее правительство, какое они хотят и заслуживают. Конечно, если читатели газет, по-видимому, не требуют ничего лучшего, у производителей газет нет стимула предлагать им что-либо лучшее. Но это ни на йоту не приближает нас к решению проблемы и лишь указывает на то, что какая-то смутно неопределимая часть ответственности за зло, причиняемое газетами, должна лежать на людях, которые их покупают.

От покупателя к продавцу - это самый короткий шаг. Газета - это производственный концерн, производящий товары для продажи с прибылью; это также универмаг, и у него есть некоторые характеристики, которые наводят на мысль о варьете и борделе. Но газета отличается от всех других товаров тем, что она живет не за счет того, что получает от потребителя, который ее покупает. Три цента, умноженные в миллион раз, не поддерживают газету. Ценной частью газеты с точки зрения производителя, а также в значительной степени с точки зрения читателя, является реклама. Колонки в так называемых "материалах для чтения" - это не более чем приманка, призванная привлечь достаточное количество читателей, чтобы сделать газету ценным средством размещения рекламы. Для руководства не имеет значения, содержит ли данная колонка новости из Вашингтона или Москвы, правдивые или ложные, скандал или забавную историю, до тех пор, пока она привлекает внимание нескольких тысяч человеческих глаз к ней и, следовательно, к соседним колонкам, в которых излагаются достоинства безопасной бритвы, автомобильной шины или пятидесятидолларового костюма по цене тридцать девять с половиной долларов. В колонках материалов для чтения должно быть большое разнообразие и определенный баланс интересов, чтобы привлечь внимание самых разных людей. Это объясняет две вещи: большое развитие в газете чистого или нечистого развлечения, более или менее умных статей в ущерб пространству, которое могло бы быть отведено новостям, а также тенденцию ставить повествовательный интерес выше всех других видов интереса. Шеф никогда не посылает репортера за информацией, но всегда, на офисном жаргоне, за "историей". Это здравая психология. Всем нравятся истории, и лишь немногие души в мире жаждут за завтраком получить информацию. Критиковать газету за сенсационность - значит забывать, что все великие истории мира, от любовных подвигов Елены Троянской и Клеопатры до скандальных приключений миссис Блэк, жены банкира, сенсационны и к ним следует относиться соответственно. Руководителю газеты безразличны все качества своих новостных колонок, кроме их способности привлекать читателя, тем самым обеспечивая тираж и доставляя удовольствие рекламодателю. А рекламодатель в первую очередь заинтересован только в том, чтобы привлечь внимание определенного числа людей к достоинствам своих подтяжек, ботинок и успокаивающего сиропа.

Но у рекламодателя второстепенный интерес. Газета волей-неволей имеет дело с идеями такими, какие они есть. В статье не должно допускаться никаких идей, враждебных бизнесу рекламодателя или в целом бизнес-системе, зависимой частью которой он является. Следовательно, все газеты контролируются отделом рекламы, то есть бухгалтерией. Они контролируются негативно и положительно. Мы обсуждаем общие характеристики и не имеем места для подробных доказательств. Но одного или двух случаев будет достаточно.

Пример принуждения газеты со стороны рекламодателя недавно привел the philadelphia press. Братья Гимбел, владельцы универмага, были обвинены правительственными чиновниками

Соединенных Штатов в спекуляции. Единственной газетой в Филадельфии, которая что-то сделала с этой историей, была the Press, принадлежащая мистеру Ванамейкеру из конкурирующего универмага. Другие газеты проигнорировали статью или поместили ее в одном выпуске, а затем отозвали. Если происходит авария лифта в обычном офисном здании, об этом сообщается. Если происходит аналогичная авария в универмаге, о ней обычно не сообщается. Когда "Нью-Йорк таймс" (25 апреля 1921 г.) публикует краткий отчет об опыте четырех студентов колледжа Уэллсли, которые, скрыв свое интеллектуальное превосходство, устроились на работу в универмаги, заголовок сообщает нам, что они "Обнаружили, что могут жить на заработки", хотя материал под заголовком этого не подтверждает. Возможно, не повредит замалчивать или не публиковать новости о несчастных случаях и приводить веские доводы в пользу условий жизни и работы продавщиц. Это второстепенные темы в "Мировых новостях", и их важность проявилась бы только в том случае, если бы они были собраны в их утомительно объемную массу.

Позитивная коррупция газеты со стороны рекламодателя идет глубже и исходит от более крупных экономических сил, чем отдельные торговцы. Во всем мире идет грандиозное экономическое соперничество между классами работодателей и классами, получающими заработную плату. Драматическим проявлением этого соперничества является забастовка. Почти всегда новости о забастовке если и не фальсифицируются, то составляются таким образом, чтобы быть неблагоприятными для рабочих. В "Нью-Йорк Нэйшн" от 5 января 1921 года мистер Чарльз Г. Миллер, бывший редактор "Кливленд Плейн Дилер", разоблачает ложь питтсбургских газет во время забастовки металлургов. За две недели Питтсбургские газеты опубликовали более тридцати страниц платной рекламы, осуждающей руководство забастовки и призывающей к "американизму" против радикализма и синдикализма. Новости и редакционная позиция газет совпадали с рекламными объявлениями и создавали впечатление, что бастующие были нелояльными, неамериканскими, большевистскими. Они хранили молчание по реальным спорным вопросам, таким как часы работы, оплата, условия труда. И отравлена была не только Питтсбургская пресса, но и пресса всей страны. Ибо Associated Press и другие новостные службы - это не независимые организации, поставляющие новости своим клиентам, а просто взаимосвязанные газеты, обменивающиеся ложью друг друга. Денверские газеты контролируют все новости, которые читают в Бостоне об угольных шахтах в Колорадо. Бостонские газеты контролируют все новости, которые читают в Сан-Франциско о текстильных фабриках Новой Англии. Глава местного бюро Associated Press - это не репортер; он просто более или менее искусный компилятор и извлекатель, который рассылает по стране, по всему миру материалы, которыми его снабжают газеты его округа. Так что обычно он может поднять руку и поклясться в честности своей службы; он похож на курьера, который отправляет ящик того, что он считает консервированной кукурузой, и не его вина, если в ящике спрятан опиум.

Способность рекламодателя сделать газету раболепной и правильной в своих мнениях не ограничивается местным универмагом или специальной отраслью, действующей через районную прессу. Это также не ограничивается негативным наказанием в виде изъятия рекламы таких товаров, как чулочно-носочные изделия, жевательная резинка и банковские услуги, из газет, которые оскорбляют их владельцев. Есть еще один способ проявить эту власть, и он заключается в покупке рекламного пространства, в котором можно излагать идеи, рассчитанные на то, чтобы повлиять на общественное мнение. Вот целая страница из нью-йоркской газеты, содержащая карикатуру и текст, основная идея которого заключается в том, что труд и капитал должны работать вместе. Оно подписано "Рекламная ассоциация "Америка

прежде всего” и представляет собой Бюллетень № 115 из серии “обязательно прочтите их все”. Этот полностраничный бюллетень, которых уже вышло более сотни, появился во многих газетах — я не знаю, во скольких; а целая страница стоит немалых денег. Какова цель этого патриотического объединения? Преобладающая тема бюллетеней, которые я видел, - “Трудитесь хорошо! Боритесь с большевизмом! Берегитесь агитатора!” На кого повлияют эти бюллетени? Только не на рабочего. Он знает, чего хочет, и если он обманут агитаторами и ложными теориями, эти проповеди никогда не смогут его спасти. Не капиталист. Он знает, чего хочет, и получает это. Возможно, маленький представитель среднего класса сможет проглотить такой коктейль в своем ежедневном путешествии между своим офисом и домом в пригороде. Но он уже интеллектуально развращенный слуга классов работодателей, и не стоит сотен тысяч долларов, чтобы завершить и подтвердить его развращенность. Основная цель рекламы - поддерживать “хорошую” газету, поощрять ее редакционные отделы через отдел рекламы не опускаться ниже 99 и 44/100% чистого американизма или допускать идеи, враждебные общим интересам торговых палат, ассоциаций производителей и других хранителей общественного блага. Я подозреваю, что какой-то умный рекламщик ужалил джентльменов, которые выделяют деньги на эту образовательную кампанию, но что для них значат несколько миллионов? Человек, который лучше всего может позволить себе рассмеяться, - это коммерческий директор газеты, когда он смотрит на чек и размышляет о легких деньгах некоторых своих клиентов по рекламе и легкой доверчивости некоторых своих читающих клиентов.

Можно возразить, что газета, которая является бизнесом, должна контролироваться, прямо или косвенно, деловыми интересами; и, конечно, если мы позволим коммерческим силам управлять нашими поставками продовольствия, транспортом и жильем, это относительно незначительный вопрос, если те же самые силы будут доминировать в нашей прессе. Точно так же, если мы терпимо относимся к нечестным правительствам, мы имеем дело всего лишь с эпифеноменом, когда рассматриваем нечестное и неэффективное освещение в прессе общественных дел, национальных и международных. Все новости о политике, дипломатии, войне, мировой торговле исходят от правительственных чиновников или от тех, кто заинтересован в том, чтобы обратить действия чиновников в свою пользу. Бизнес стоит за правительством, а правительство стоит за бизнесом; то, что стоит на первом месте, не имеет значения, как проблема курицы и яйца. Это мошенническое партнерство, и хотя детали отношений бесконечно сложны, сами по себе отношения легки для понимания и довольно просто объясняют тот факт, что мировые новости являются наиболее сильно загрязненными из всех многочисленных видов новостей. Попытки торговца сохранить доброе имя своего универмага или группы производителей сорвать забастовку являются слабыми и даже разумными, поскольку они используют газеты, по сравнению с дерзким искажением правды группой закоренелых преступников, правительства и международного бизнеса.

Ярким примером современности является текущая газетная история России. Газета "Нью-Йорк Нэйшн" от 6 марта 1920 года опубликовала статью, показывающую, что в колонках "Нью-Йорк Таймс" Ленин умер один раз, трижды был почти убит и бесчисленное количество раз падал и бежал. Газета New Republic опубликовала 4 августа 1920 года приложение Липпманна и Мерца, в котором кратко излагались новости, опубликованные Times о России за три года, предшествовавших марту 1920 года. Анализ показывает почти непрерывное ежедневное искажение программы, целей и силы российского правительства и постоянный ложный “оптимизм”, как мягко называют это авторы, по поводу военных подвигов врагов России, “белых надежд”, Колчака и Денекина. Авторы прямо заявляют, что выбрали "Таймс" не потому, что она

хуже других газет, а, напротив, потому, что это “одна из действительно великих газет мира”. “Богатый” или “могущественный” было бы лучшим словом, чем “великий”. Источниками ошибок в Times были Associated Press, специальные корреспонденты Times, правительственные чиновники и политические группировки, враждебные нынешнему российскому режиму. Среди нарушителей было правительство Соединенных Штатов или фабрика журналистских фальшивок в Государственном департаменте или рядом с ним. На момент написания статьи в New Republic прошло почти год, а в The Nation - больше года. Справедливо предположить, что они были замечены менеджерами Times и другими влиятельными журналистами, что, если бы имело место какое-либо искажение, еженедельные журналы были бы вынуждены отречься, чего они не сделали, и что, если бы у руководителей газетного мира была хоть капля совести, они были бы, по крайней мере, более осторожны после таких разрушительных разоблачений. Но игра в “Ложь о Ленине” весело продолжается.

Американское правительство и американская пресса не были более лживыми в своем обращении с Россией, чем правительства и пресса других стран, но они были более упорно глупыми и необучаемыми перед лицом фактов. Британское правительство предприняло ловкое зигзагообразное отступление со своей первоначальной позиции отказа от сношений с Россией, и когда лондонская газета “Лейбористский вестник” разоблачила уловку Ллойд Джорджа, которая заключалась в печатании и рассылке *из России* пропаганды против советского правительства, принц политических лжецов был вынужден прекратить это мошенничество. С другой стороны, одним из первых действий нашей новой администрации было идиотское подтверждение мистером Хьюзом позиции старой администрации, и он предоставил газетам настоящие новости, поскольку мнения госсекретаря, какими бы глупыми они ни были, являются настоящими новостями, чтобы добавить к их предыдущему накоплению невежества и лжи, и тем самым поощрял их на их порочных путях. Если правительство состоит из лапши на уши и жуликов, то пресса, которая освещает деятельность правительства и мнения его чиновников, лишь во вторую очередь несет ответственность за обман общественности. Редакторы могли бы быть более критичными в отделении истины от лжи. Но у газеты нет мотива пытаться исправить врожденные пороки бизнеса и правительства; она не порождает эти пороки, а просто соглашается с ними и отражает их. Газета в первую очередь несет ответственность только за глупость и лживость своих корреспондентов и редакторов. Это не независимое учреждение со своей собственной этикой, не имеющее ни желаний, ни полных возможностей служить истине, а лишь симптом и выражение огромной коррупции, которая стоит за ним, и дремучего народного невежества, которое стоит перед ним зияющим.

The *Данциада* Прессы не заканчивается во всеобщей тьме. Над горизонтом виднеется слабый свет. Новая организация под названием Federated Press, которая стремится “получать новости вопреки газетам и крупным информационным агентствам”, объявляет, что ее услугами уже пользуются двести редакторов по всему миру. Слишком рано говорить, насколько успешным будет это предприятие, но это луч надежды, потому что это объединение работающих журналистов, а не смутное стремление реформаторов и вдохновителей. Пока какая-нибудь такая организация не станет могущественной и практическим трудом не произведет впечатления на ежедневную газету, нам придется полагаться в плане просвещения на несколько еженедельных и ежемесячных периодических изданий относительно небольшого тиража. Большинство популярных еженедельников и ежемесячников по-своему так же плохи, как и газеты, но их цель в основном развлекательная; их трактовка новостей в специальных статьях и передовицах является второстепенным делом, и их главный грех - не нечестность, а

банальность. Периодические издания, которые публикуют новости, всегда честно, обычно с умом, the Nation, the New Republic, the Freeman и одно или два других, должны обладать влиянием большим, чем можно измерить их тиражом; ибо, хотя гигантская пресса смеется над капризными маленькими Дэвидами с их порочными радикальными идеями, и хотя она слишком сильна, чтобы ее можно было убить или даже серьезно ранить, все же она не может быть совершенно бесчувственной к камням, которые летят из этих доблестных пращей. Однако тот факт, что совокупный тираж этих журналов, на которые, к тому же, в основном подписываются одни и те же читатели, меньше, чем у газеты во второсортном городе, свидетельствует о низком интеллектуальном уровне Америки. Двое из них обеспечены или субсидируются либеральными состоятельными людьми, и ни один из них не является блестяще процветающим. Разумное население купило бы их миллионами. Поэтому мы оставляем ответственность там, где, в конце концов, она и должна быть. Американская пресса - это точный измеритель американского разума.

Джон Мэйси

ЗАКОН

“Первое, что мы сделаем, давайте убьем всех юристов”. Этот вопль последователей Джека Кейда о том, что исчезновение всей профессии было первым шагом в продвижении человека к лучшему миру, будет подхвачен в Соединенных Штатах современными революционерами, а также многими солидными бизнесменами, у которых нет ничего общего со средневековыми агитаторами, за исключением, возможно, желания увидеть, как из фонтанов течет вино, и объявить уголовным преступлением употребление алкоголя, близкого к пиву. Действительно, почти каждый бросает вызов закону. Врачей и священников можно избегать, если они нам не нравятся, но судья имеет надежную власть над всеми нами. Он тащит нас к себе против нашей воли; никакая власть в стране не может отменить его решение, но потерпевшие поражение стороны в судебном процессе, разочарованные социологи и неудачливые кандидаты на первичных выборах - все они присоединяются к продолжительному воплю: “Убейте судью”.

Там, где есть дым, есть и огонь. Под всей этой агитацией скрываются глубоко укоренившиеся подозрения и неудовлетворенность, вызванные адвокатурой и всем механизмом правосудия. Это существует, несмотря на факт, отмеченный Брайсом, что наша система писаных конституций создала в людях ярко выраженный правовой дух и приучила их смотреть на все вопросы с юридической точки зрения — характерный пример, когда другие народы оценивали Пакт Лиги Наций как выражение широкой политики и чаяний столетия, в то время как мы повторяли его слово за словом с помощью анатомического ножа и микроскопа, как если бы это было завещание миллионера или Закон о подоходном налоге. Более того, хотя юристы как класс непопулярны, они избираются на половину мест в законодательных органах и в парламентах. Конгресс. Профессия, которой не мог похвастаться ни один английский премьер-министр в столетии между Персивалем и Асквитом, воспитала каждого президента, который не был генералом, за исключением Хардинга. Возможно, сам тот факт, что юристы получают государственные должности пропорционально своей численности, частично объясняет предубеждение, которое испытывают к ним люди других профессий.

Враждебность к юристам и судебной практике - не новое явление в этой стране. Пуритане и квакеры прибыли с неприятными воспоминаниями об английской скамье подсудимых и баре, которые вынудили их покинуть свои дома. Для них закон означал судебные процессы за ересь, и впечатление, которое они оставляли в умах своих жертв, было навсегда закреплено Баньяном в судебном преследовании верующих на Ярмарке Тщеславия. Колонисты стремились пересадить какого-нибудь лорда Хейт-гуда, его советников и его книги законов на наши берега не больше, чем Юджин В. Дебс стремился бы установить судебные запреты и статуты о подстрекательстве к мятежу, если бы он основывал социалистическое содружество в Южных морях. Популярное отношение к юристам было восстановлено духовенством, которое, естественно, не желало, чтобы их огромное моральное и интеллектуальное влияние оспаривалось людьми, готовыми нанять самих себя, чтобы отстаивать любую сторону по любому вопросу. Министры, правившие Массачусетсом и Коннектикутом по Закону Моисея, не хотели, чтобы соперники оспаривали их решения, опираясь на авторитет Брэктона и Кока. И повсюду, за исключением, возможно, южных плантаций, сложная структура феодальных доктрин, составлявших такую значительную часть английского права в 18 веке, была столь же непригодна для колониальных обычаев и нужд, как готический собор в дикой местности. Жизнь была такой напряженной, времени было так мало, рабочей силы так мало, что единственный закон, который мог быть принят, должен был быть настолько простым, чтобы поселенцы могли применять его сами. Хотя Justice Story широко распространила веру в то, что наши предки принесли Общее право в Новую Англию на *"Мэйфлауэре"*, правда в том, что до нас дошло лишь несколько фрагментов. Они были быстро дополнены правилами, основанными на условиях первопроходцев. Произошло во многом то же явление, что и в Калифорнии 1849 года, где шахтеры проигнорировали водный закон атлантического побережья, который предоставлял каждому человеку, живущему на берегу ручья, некоторую долю воды, и вместо этого приняли обычай, более подходящий для новой страны: кто пришел, того и обслужили. Едва ли не самой ранней задачей основателей Колонии было урегулирование споров, возникающих в примитивной цивилизации, с помощью краткого законодательного кодекса, касающегося преступлений, деликтов и простейших контрактов, во многом напоминающего приговоры англосаксонских королей. Пробелы в этих кодексах заполнялись не на основе Общего права, как это имело бы место сегодня, а по усмотрению магистрата, или в некоторых колониях, в первые дни, на основе Библии. Земельные законы и порядок передачи прав были просты — основополагающий английский принцип первородства был полностью отменен несколькими колониальными хартиями, а споры о праве собственности уменьшились благодаря замечательной системе регистрации документов. Такой закон не требовал юристов, и неудивительно, что даже магистратами обычно были непрофессионалы. Главный судья Род-Айленда еще в 1818 году был кузнецом. Часто законодательный орган выносил спор на рассмотрение суда и разрешал его специальным статутom. Таким образом, вместо английского и современного американского закона, принятого судьями, колонисты получили по большей части исполнительную и законодательную справедливость и жили по протоплазменному народному праву, где Общее право было лишь одним из его многочисленных компонентов.

О подготовке немногих колонистов, которые все-таки стали юристами, можно судить по подготовке первого генерального прокурора Род-Айленда:

“Когда он решил изучать юриспруденцию, он пошел в сад, чтобы проявить свои таланты в обращении к суду и присяжным. Затем он выбрал пять кочанов капусты в одном ряду для судей и двенадцать в другом ряду для присяжных. Попробовав там свои силы, он смело отправился в

суд и взял на себя обязанности адвоката, и небольшое наблюдение и приобретенный там опыт убедили его, что в здании суда были те же самые кочаны капусты, которые, как ему казалось, он оставил в саду, — пять в одном ряду и двенадцать в другом ”.

Естественное отчуждение таких адвокатов от тонкостей английского права усугублялось случайными конфликтами между этой системой и колониальными законами или концепциями правосудия. Превосходный закон Коннектикута о распоряжении землей умершего был признан недействительным Тайным советом в Лондоне как противоречащий законам Англии, и попытка губернатора Нью-Йорка и судей обеспечить соблюдение отвратительного английского закона о клевете при судебном преследовании Питера Зенгера, чтобы подавить критику государственных должностных лиц в прессе, увенчалась бы успехом, если бы присяжные намеренно не отвергли юридические определения, данные судом.

Общее право стало несколько более популярным, когда принципы прав личности, которые блокировали угнетение Стюартов, были использованы против Георга III. Однако после революции оно пострадало вместе со всем английским. Многие юристы были лоялистами. Коммерческая депрессия превратила коллегия адвокатов в коллекторов долгов. Великие решения лорда Мэнсфилда, заложившие основы современного делового права, были отвергнуты Джефферсоном и многими другими американцами из-за реакционной политики этого судьи по отношению к Колониям. Многие штаты фактически приняли законодательство, запрещающее использовать английские дела в качестве авторитетных в наших судах. Применение Общего права о подстрекательстве к мятежу и уголовной клевете судьями, многие из которых получили образование в Англии, отождествляло Общее право с подавлением свободы слова. Тем не менее, старых простых колониальных правил было недостаточно для решения сложных коммерческих вопросов, которые постоянно возникали, особенно в морских сделках. Помощь должна была быть получена от какой-либо зрелой правовой системы.

В этот момент соперником Общему праву стал кодекс Наполеона 1804 года, привлекательный для населения только потому, что он был французским, а для многих коллегий адвокатов - из-за его логической организации и потому, что, в отличие от английских юристов, они были хорошо знакомы с римским и современным континентальным правом. Какое-то время было действительно сомнительно, что юридическая помощь, в которой нуждались американские судьи, будет оказана из Англии или Франции. В судах цитировались французские писатели, и Ливингстон разработал кодекс по образцу наполеоновского для Луизианы. Английский закон имел, однако, одно большое преимущество. Он был написан на нашем родном языке. Более того, группа исключительно способных судей, таких как Джозеф Стори и Джеймс Кент, своими решениями и трудами фактически импортировали большую часть Общего права в эту страну и переработали его в соответствии с американскими условиями. Тем не менее, этот закон был чем-то пришедшим извне и не вырос полностью из жизни и мыслей нашего собственного народа, так что он никогда не значил для американцев того, что английский закон значит для англичан, для которых он такой же продукт их собственной страны, как парламентское правление или пьесы Шекспира.

Еще одна причина враждебного отношения американцев к закону была обнаружена на границе. Первопроходец, проникнутый убеждением, что у него есть право на землю, которую он расчистил, вспахал и засеял, часто ввергаемый неурожаем в долги перед торговцами в городе, возмущался законом как чем-то, что было навязано ему людьми, которые вели легкую жизнь,

которые отобрали у него землю из-за какого-то технического дефекта права собственности, лишили права выкупа закладных, вынудили его платить за товары по высоким ценам и низкого качества, подавили наследственную вражду и заменили массу книжных знаний, которые он был слишком невежествен или слишком занят, чтобы читать, на простые принципы честной игры, которые казались для него этого было достаточно. Привычное подчинение закону было духом, который не мог развиваться у людей, которые в основном были скваттерами и которые с самого начала нашей национальной истории игнорировали постановления Конгресса, которые требовали, чтобы государственные земли были обследованы до их заселения. Иногда, как в этом случае, сопротивление поселенцев закону оказывалось успешным. Чаще они оказывались подавленными силой цивилизации и подчинялись закону угрюмыми и неубежденными.

Старая граница исчезла, возникла новая граница. Место встречи недружественных рас переместилось на восток от Миссури к Мерримаку. Современные пионеры часто приезжали из автократических стран, где закон был чем-то навязанным им сверху, и они не спешили рассматривать наш закон как нечто иное по своему характеру. Это не было частью их самих. Более того, они не нашли в Америке энергичной полицейской организации, которая заставляла их повиноваться в Европе. Люди, создавшие нашу систему законов, были обучены пуританством тому, что обязанности, провозглашенные теми, кто законно находится у власти, должны выполняться добровольно. Закон, когда-то существовавший в книгах, получил большую жизненную силу благодаря этому духу и социальному давлению однородных оседлых сообществ, несмотря на трудности обеспечения соблюдения на границе. Эти силы, стоящие за законом, ослабли, когда население было разделено на многочисленные и разнообразные расы в результате мощного прилива иммиграции. Повиновение закону, которое никогда не было у нас автоматическим, теперь стало способно полностью прекратиться всякий раз, когда человек считал закон неразумным или был совершенно уверен, что его не разоблачат.

Эта вера в то, что закон перестает быть обязательным, когда становится нецелесообразным ему подчиняться, распространяется далеко за пределы недавно появившихся элементов нашего населения. Например, богатый человек с несколькими поколениями американцев за плечами, который работал в жюри присяжных по делу о несчастном случае, встал на стул, как только присяжные вошли в совещательную комнату, и призвал их игнорировать все, что им сказал судья о неспособности истца возместить ущерб, если он, как и ответчик, проявил халатность. “Эта доктрина халатности, связанной с пособничеством, - сказал этот образованный присяжный, - не соответствует законодательству Франции, Германии или какой-либо другой страны на Европейском континенте. Ряд выдающихся авторов согласны с тем, что это совершенно плохой закон. Давайте не будем иметь к этому никакого отношения”. Излишне говорить, что истец выздоровел. Эта концепция более высокого закона, чем тот, что прописан в книгах, возможно, в чем-то обязана вере аболиционистов в то, что они не были связаны законами, защищающими бесчеловечный институт рабства. Многие добросовестные люди все еще считают, что человек не должен быть наказан за неподчинение закону, который, по их мнению, является аморальным. К счастью, поправку к этой опасной доктрине внутреннего правового освещения можно найти в словах ведущего аболициониста, судьи Эбенезера Роквуда Хоара, обвиняющего Большое жюри в буйном сопротивлении закону о беглых рабах, хотя сам он считал его порочным законодательством:

“Человек, чья личная совесть побуждает его не подчиняться закону, признанному обществом, должен отвечать за последствия этого неповиновения. Это дело исключительно между ним и

его Создателем. Он должен хорошенько позаботиться о том, чтобы не ошибиться, чтобы его частное мнение не было результатом страсти или предубеждения, но, если он считает своим долгом не подчиниться, он должен быть готов подчиниться результату; и законы в том виде, в каком они приняты и утверждены официальными властями как конституционные и действительные, должны исполняться, хотя это может нанести ему серьезный вред. Государственным властям не следует признавать его частное мнение в качестве оправдания его действий”.

Неуважение к закону усугубилось изменением функций юриста после Гражданской войны. В сороковые и пятидесятые годы он выделялся как лидер в своем сообществе, возвышенный образованием над массой граждан, часто на глазах у публики в зале суда и выбранный из-за своего судебного красноречия для произнесения многих из тех обязательных речей, которых постоянно требуют американцы, выдвинутых судебными процессами тех дней как мститель за преступления, защитник несправедливо заключенных, освободитель сбежавших рабов или отстаивающий какое-то важное общественное право от имени своего города или штата - строительство бесплатного моста через Чарльз, поддержание хартии справедливости. Дартмутский колледж. После 1870 года этому превосходству бросили вызов новые капитаны промышленности, и их появление сопровождалось изменениями в работе многих способных юристов, которые вскоре заслонили его от массового воображения. Создание крупного бизнеса все больше и больше требовало навыков, которыми он обладал. Вознаграждение за составление проектов и консультации становилось больше, чем за судебные разбирательства, которые становились утомительными и дорогостоящими, так что его клиенты по возможности избегали их. Следовательно, он превратился из адвоката в “заботящегося о клиентах”, которого люди редко видели и который часто ассоциировался в их сознании с могущественными и ненавистными корпорациями, которые он представлял. Большая часть предубеждений против “юристов корпораций” была несправедливой, и развитие бизнеса в наши дни было бы невозможно без мастерства в организации и реорганизации крупных предприятий, которое они продемонстрировали за последние полвека. Однако общественное мнение о классе неизбежно основывается не на всех его членах, а на немногих заметных, и юридическая карьера, описанная в книге Уинстона Черчилля “Далекая страна”, была достаточно распространенной, чтобы дать данные для пагубных обобщений. В любом случае, снижение общественного влияния адвокатуры было неизбежным, особенно с учетом того, что некоторые предприятия продолжали пользоваться эксклюзивными юридическими услугами штата мужчин, так что можно было сказать: “Раньше у юристов были клиенты; теперь у клиентов есть адвокаты”.

Конечно, в тот период было много юристов, добившихся заметного успеха, ведя дела против корпораций. Эти адвокаты по несчастным случаям были, однако, не более популярны, чем их оппоненты, даже среди рабочих, которых они представляли. Небольшие средства их клиентов делали маловероятным какое-либо вознаграждение с их стороны, если только ущерб не был возмещен. Следовательно, адвокат соглашался ничего не брать в случае поражения, но для уравнивания ситуации настаивал на значительной части присужденной суммы, обычно на одной трети или даже больше, в случае победы. Поэтому он боролся не просто за справедливость и своего клиента, но и за свой собственный гонорар, и искушение победить всеми возможными способами было велико. Бизнесмены поспешили навесить на него ярлык недобросовестного, в то время как рабочие были возмущены, когда значительная часть денег, которые присяжные дали им в качестве справедливой меры за пожизненную инвалидность, исчезла в карманах какого-то юриста.

Не было предложено удовлетворительной замены условному гонорару, но предубеждение, созданное системой и неприязнью юристов корпораций, было слишком велико, чтобы его могли развеять многие члены коллегии адвокатов, чья практика не касалась ни одной из этих двух областей. И действительно, профессия в целом не может освободиться от вины за некоторые вполне определенные пороки, о которых вскоре пойдет речь. К сожалению, давний антагонизм между юристами и непрофессионалами отвлек мысли обеих сторон от ошибок, которые должны быть и могут быть устранены, и обратил их к нескончаемым спорам по проблемам относительно небольшой важности. Например, почти любой непрофессионал начнет обсуждение функции юриста с осуждения профессии за то, что она защищает преступников, о виновности которых известно. Решить эту проблему непросто, но она не стоит и сотой доли того внимания, которое ей уделяется, поскольку она практически никогда не возникает. Уголовное право - это небольшая часть всего закона, и юристы, которые всю свою жизнь проработали в этой области, заявляли, что они не были уверены в виновности ни одного клиента. Гораздо более важная проблема заключается в том, должен ли юрист выступать за принятие законодательства, которое он лично считает порочным. Действительно, основной вопрос, которому должны посвятить себя юристы и непрофессионалы, заключается в следующем. В какой степени государство может определить надлежащий курс действий, ограничиваясь заслушиванием оплачиваемых представителей лиц, непосредственно заинтересованных в финансовом или ином отношении; или государство также должно вызывать и заплатить обученным людям за независимое расследование вопроса? Решение этого вопроса затронет не только юристов, но и другие профессии. Медицинские эксперты, например, могут перестать наниматься миллионерами для доказательства их невменяемости или прокурором с противоположной целью, но могут быть наняты судом для проведения беспристрастного расследования психического состояния заключенного. Короче говоря, возможно, мы так далеко продвинули представление о судебном процессе как о состязании умов между двумя сторонами, что интересы общества не были должным образом защищены.

Если непрофессионалы допустили ошибку, сосредоточившись на второстепенных моментах, то юристы были слишком готовы отказать непрофессионалам в каком-либо праве обсуждать закон вообще. Это точно так же, как если бы школьные учителя утверждали, что родителей и граждан в целом не волнуют проблемы образования. Пришло время преодолеть пропасть в американской жизни между профессией юриста и людьми, которые руководствуются законами. Закон - это поверхность соприкосновения, где давление общества оказывается на индивида. Несомненно, он приписывает закону многие черты этого давления, против которых он возражает, тогда как на самом деле они являются результатом самой социальной структуры. Мужчина, который чувствует себя оскорбленным судебным преследованием за двоеженство или за кражу хлеба, когда он голодает из-за отсутствия работы, не может рассчитывать на изменение закона, не изменив также взглядов общества на моногамный брак и организацию производства. Эти институты общества проявляются в законе точно так же, как прожилки в мраморной глыбе проявляются на поверхности, но для него так же бесполезно обвинять закон в "капитализме", частной собственности или наших нынешних полупостоянных браках, как пытаться избавиться от прожилок, соскабливая поверхность мрамора. С другой стороны, существуют аспекты права, которые не соответствуют никаким существующим социальным требованиям, и у непрофессионала есть веские основания высказать свое мнение. И к нему, возможно, стоит прислушаться. Сторонний наблюдатель часто видит большую часть игры. Хотя неспециалисту может не хватать технических знаний, он может оценить связь права с его

собственной сферой человеческой деятельности — бизнесом, социальным обслуживанием, здравоохранением — способами, которые трудны для юриста, поглощенного насущными задачами каждого дня. Более того, привычная и необходимая обязанность юриста соответствовать существующим законам, естественно, склоняет его не замечать их недостатков, которые очевидны для тех, кто может потратить на беспристрастную критику то же время, которое ему требуется для практического применения. Современная медицина была создана Пастером, который не был врачом; современное английское право - Бентамом, который был юристом до такой степени, что рассматривал одно дело, и которое редактировал Милль, философ и экономист.

Знания больше не являются вопросом водонепроницаемых отсеков. “Вся хорошая работа - это одно целое”, - говорит Уэллс в “Джоан и Питере”. Право затрагивает психологию в лечении дефективных и душевнобольных, медицину и хирургию при несчастных случаях на производстве и болезнях, политологию в муниципальных корпорациях, экономику в налогообложении, философию в выборе целей, к достижению которых оно должно стремиться. И это скудный список. Величайшей потребностью американского законодательства является создание средств для разумного взаимопонимания и эффективного сотрудничества не только между юристами и экспертами в таких других областях, как упомянутые, но и между юристами и массой нашего населения, которые заполняют тюрьмы, платят налоги, пьют городскую воду, получают травмы на заводах, покупают, продают, инвестируют, строят дома и оставляют все это своим детям после смерти.

Потому что эти мужчины и женщины имеют право жаловаться на наш закон. Его пороки заключаются не в том, что обычно осуждается, адвокатах, защищающих виновных, опоре на прецеденты вместо здравого смысла, подкупленных судьях. Настоящий недостаток - это неспособность идти в ногу со временем. Многие существующие правовые нормы имеют тот же недостаток, что и наземные вагоны Нью-Йорка перед метро или паромы Хобокена перед метро. В свое время они были хороши, но это прошло, и они не справляются с дорожным движением. Система, сформулированная Стори и Кентом, хорошо работала на фермах, небольших фабриках и небольших банках того времени, но стремительное развитие национальных ресурсов и перенаселенные города создали новые ситуации, неподходящие для старых правовых норм, и оставляли людей слишком занятыми для конструктивного досуга, необходимого для обдумывания новой системы. Закон превратился в пустую болтовню, решая каждую отдельную проблему по мере ее возникновения, и часто решая ее неправильно. И все же юристы были довольны законом, так же как бизнесмены - бизнесом. Затем последовали волнения последних пятнадцати лет, которые, по крайней мере, вызвали у нас недовольство по многим вопросам. Следующая задача состоит в том, чтобы перестать обзывать друг друга, сесть вместе, продумать все до конца и работать сообща, чтобы завершить процесс, который продвинулся дальше, чем мы думаем, по созданию системы общего права сельскохозяйственного населения столетней давности для удовлетворения потребностей современной Америки, населенной городами.

Первым шагом к сотрудничеству было бы более активное обсуждение закона в прессе. Несколько лет назад Чарльз Э. Хьюз в публичном выступлении сказал, что одной из причин, по которой суды и адвокаты так непопулярны в этой стране, является незнание людьми того, что они делают. За исключением уголовных преследований, разводов и крупных конституционных дел, газеты уделяют очень мало внимания правовым вопросам, и даже эти дела представлены фрагментарно, почти без попыток представить их историческую подоплеку и общие принципы,

о которых идет речь. Ничто не сравнится с резюме судебных процессов и решений, которое издается в день появляется в лондонской "Таймс", никакое популярное изложение юридических проблем, подобное тому, что Вудс Хатчинсон сделал для медицины, или многочисленные авторы для достижений Эйнштейна. Конечно, закон можно сделать таким же понятным и интересным для обычного образованного читателя, как теория относительности. Она настолько глубоко проникает в человеческие отношения, что некоторые знания о ней очень важны не как руководство в конкретных сделках, относительно которых следует проконсультироваться с юристом, а как часть ментального запаса хорошо информированного гражданина. Более широкое осознание трудностей работы судей и адвокатов привело бы к более дружелюбному и полезному отношению населения.

Общественность могла бы понять, например, почему юриспруденция развивается не так заметно и быстро, как медицина или инженерное дело. Часть вины, без сомнения, лежит на юристах, которые были менее активны, чем представители других профессий, в обсуждении и применении новых идей, но сама природа предмета является препятствием для быстрых изменений. Согласно закону, прогресс требует коллективных действий; отдельный человек мало чего может достичь. Врач, открывший новый антидот, хирург, изобретший новый метод оперирования при язвенной болезни желудка, всегда может, если его репутация упрочится, найти какого-нибудь пациента, на котором можно было бы опробовать свою концепцию. Его превосходство или недостатки могут быть быстро доказаны как ему самому, так и любому опытному наблюдателю. А новые идеи, если они здоровые, означают более широкую практику и деньги в его кармане. Юрист не получает такого вознаграждения за улучшение законодательства и не имеет таких возможностей для экспериментов. Если он убежден наблюдением, обширной начитанностью и долгими размышлениями в том, что арест за долги должен быть отменен, или собственность расточителя должна быть защищена законом от его кредиторов, или суд присяжных отменен, за исключением уголовных процессов, он не может опробовать эти теории на каком-либо клиенте. Он должен пожертвовать днями своей обычной работы, чтобы убедить весь законодательный орган протестировать его идею на тысячах граждан, и если идея окажется плохой, эксперимент обернется широкомасштабной катастрофой. Следовательно, правовая реформа всегда сталкивается с инстинктивным и обескураживающим противодействием законодательных органов. Даже после того, как все штаты, за исключением двух, приняли Единый закон об оборотных инструментах, законодательное собрание Джорджии отказалось это сделать, поскольку Закон отменил льготные дни - старый обычай, разрешающий должнику на три дня превышать срок платежа, указанный в его записке. Они сказали, что когда человек обещал выплатить долг 1 мая, было не по-американски не позволить ему ждать до 4 мая. Опять же, комитет, состоящий из очень способных юристов Нью-Йорка, недавно разработал краткий Практический акт, устанавливающий основные требования к ведению судебного процесса и оставляющий детали на усмотрение судей, которые, как можно предположить, знают о своей работе больше, чем законодательный орган. Аналогичные законы уже давно успешно действуют в Англии, Массачусетсе и Коннектикуте, в то время как существующий Гражданско-процессуальный кодекс штата Нью-Йорк с его тысячами разделов был досадным источником задержек и споров в ходе городских судебных разбирательств. Новая мера была замечательной и тщательной работой, одобренной ассоциациями адвокатов города Нью-Йорка и штата в целом. Однако она была убита вековым противостоянием страны городу. Юристы из северной части штата, которых меньше беспокоил старый Кодекс из-за малолюдных сельских дел, возражали против того,

чтобы делиться своими знаниями о существующей системе и тратить время на изучение новой, более совершенной. Законодательный орган терпеть не мог наделять суды большими полномочиями. В результате новый законопроект был отменен, и после многих лет агитации ничего не было сделано, кроме как изменить нумерацию разделов старого Кодекса с некоторыми улучшениями.

Еще одним фактором правовой реформы является существование пятидесяти правовых систем в одной стране. Даже если закон будет модернизирован в одном штате, нежелательное старое правило останется в других сорока семи, пока их законодательные органы не убедят с помощью того же утомительного процесса. С другой стороны, такое разнообразие имеет свои достоинства. Некоторые прогрессивные западные государства служат экспериментальными станциями для тестирования новых правовых и правительственных схем. Что еще более важно, ограничения на правовые эксперименты в некоторой степени компенсируются возможностями для наблюдения за действием различных правовых норм в соседних государствах. Возможности этого сравнительного метода для определения наилучшего решения юридической проблемы еще не были использованы в полной мере. Например, долгое время бушевал спор о том, желательно ли принуждать врача раскрывать профессиональные секреты при свидетелях без согласия пациента. Примерно половина штатов требует от него хранить молчание. Приведенные причины заключаются в том, что пациенты будут обращаться за медицинской помощью менее свободно, если их конфиденциальность может быть раскрыта; врачи будут лгать, чтобы защитить своих пациентов; некоторые врачи нанимаются работодателями для лечения рабочих, пострадавших в результате несчастных случаев, и будут пытаться получить доказательства от имени работодателей, если им разрешат давать показания. До сих пор дискуссия вращалась вокруг вероятности или невероятности того, что эти аргументы отражают факты, и ни одна из сторон не собрала эти факты. Обсуждение могло бы быть перенесено на землю расследованием в Нью-Йорке, который имеет такую привилегию, и Массачусетсе, где секретность не соблюдается. С врачами в Массачусетсе меньше консультируются, лжесвидетельствуют ли они, заискивают ли перед рабочими, чтобы оспорить последующие иски о несчастных случаях? Статистические данные, личные интервью с судьями и врачами и изучение стенографических записей судебных процессов должны оказать ценную помощь в определении того, в какой половине штатов действует лучшее правило.

Поскольку реформа законодательства требует высокоорганизованных групповых действий, на кого-то следует возложить ответственность за организацию. В настоящее время это дело каждого. Судьи весь день слушают дела, а ночью пишут заключения, и у них нет законодательной позиции, как в Англии, где они могут составлять законопроекты и представлять их в Палате лордов. Отдельные юристы имеют небольшой вес. Ассоциации адвокатов достигли многого, но работа их членов в перерывах между практикой выполняется бесплатно, и у них нет официального статуса. Генеральный прокурор обязательно является сторонником, представляющим сторону государства в судебном процессе, у которого нет ни времени, ни обязанности улучшать закон в целом. Соединенные Штаты и более крупные штаты остро нуждаются в министре юстиции. Все жалобы на неэффективность судебной системы поступали бы к нему, и он постоянно собирал бы статистику дел в судах и их социальных последствий, наблюдал бы за процедурой лично или через группу опытных помощников, совещался бы с судьями и ассоциациями адвокатов, разрабатывал или изучал меры, влияющие

на отправление правосудия, и представлял бы свое мнение о них законодательному органу, и на него была бы возложена общая обязанность выяснять, может ли каждый человек найти в законах определенное средство правовой защиты от всех травм или несправедливостей, добиваясь права и справедливости свободно и без покупки, полностью и без отказа, быстро и без задержек.

Пока мы не назначим такого должностного лица, мы можем полагаться на три инструмента юридического продвижения, каждый из которых может быть точкой соприкосновения юристов и непрофессионалов. О первой из них, Коллегиях адвокатов, кое-что уже было сказано. Вторая - судебная система. К сожалению, тенденция американского антагонизма к закону концентрироваться на личных темах исказила продолжительную дискуссию в этой ветви нашего правительства в течение последних десяти лет, и, действительно, с 1789 года. Обвинения в коррупции и некомпетентности, выдвинутые против отдельных судей, а также методы отстранения плохого судьи от скамьи подсудимых полностью затмили проблему привлечения на скамью подсудимых хороших судей. Право судей объявлять законы неконституционными и недействительными делает их контролирующим фактором в нашем правительстве, однако нет страны, где их отбору и подготовке уделялось бы меньше внимания. Бесполезно отзываться плохого судью всенародным голосованием, если люди горят желанием поставить на его место кого-то из того же типа. Ничего не нужно добавлять к оценке Брайсом "Современных демократий" неравномерности судейского персонала. Наиболее очевидной необходимостью для повышения квалификации судей низшего звена до уровня лучших является повышение заработной платы. Но одного этого недостаточно, чтобы побудить лидеров коллегии адвокатов стать судьями. Никакая зарплата не может быть такой высокой, как доход успешных столичных юристов. Пришло время для большей готовности с их стороны оставить крупную практику в среднем возрасте и посвятить свои таланты судебной работе. И даже это будет бесполезно, если отбор не будет основан на заслугах. Наша система выборной судебной власти, вероятно, слишком глубоко укоренилась, чтобы от нее можно было полностью отказаться, хотя ясно, что юридический талант - это не то качество, которое, подобно способностям руководителя, легко может быть оценено электоратом. С другой стороны, нет полной уверенности в том, что губернаторы штатов будут назначать судей без учета партийных соображений. Был предложен интересный компромиссный план, согласно которому должен быть Главный судья, избираемый народом, который фактически должен быть уже описанным министром юстиции. Все остальные судьи будут назначаться им пожизненно или на длительный срок, в то время как его ответственность за разумный выбор будет обеспечена коротким сроком или даже отзывом. Губернатор выполняет так много задач, что назначения на должности судей не играют большой роли в общественном мнении о его послужном списке, но Главный судья будет стоять или падет в зависимости от того, насколько эффективно осуществляется правосудие под его руководством.

Более того, мы несправедливо относимся к судьям, выбранным в соответствии с существующими системами. После того, как они будут отобраны, у них должно быть больше возможностей изучить особые обязанности, связанные с их должностью, прежде чем приступить к работе, и больше досуга среди судебных процессов и заключений для общего юридического чтения и наблюдения за сложностями современной жизни, которые неизбежно связаны с их решениями, особенно по конституционным вопросам. Большинство судебных разбирательств связано с городскими и промышленными условиями, с которыми судьи верховного суда штата могут легко потерять связь, если они постоянно остаются в здании штата

в небольшом городке на севере штата, таком как Спрингфилд, Олбани или Сакраменто, не имея возможности посещать фабрики и многоквартирные дома Чикаго, Нью-Йорка и Сан-Франциско. Можно также усомниться в мудрости нашей обычной системы, которая ограничивает одних судей судебными процессами, а других - апелляционной работой; случайная смена одного на другое является одновременно освежающей и поучительной. Судьи часто жалуются на монотонность своей работы в окружении нескольких коллег со схожими умственными интересами, так что атмосфера может приобрести раздражающий характер пансиона. Обычно не понимают, насколько судьи отрезаны от других мужчин. Тесная близость с их бывшими друзьями по бару или с богатыми бизнесменами, у которых могут быть дела на рассмотрении, обязательно вызовет разговоры. Предложение Грэма Уолласа о временном переходе к активной работе полусудебного характера, подобной председательству судьи Сэнки в Английской угольной комиссии, кажется ценным. Наша Межгосударственная торговая комиссия предоставила бы такую возможность. Наконец, существующая пропасть между судами и юридическими школами могла бы быть сокращена благодаря летним конференциям, посвященным точкам роста в юриспруденции, где каждая сторона могла бы поделиться своим опытом с другой.

Оставшийся инструмент прогресса - юридические школы. "Юридическое образование, - говорит Брайс, - вероятно, нигде не является таким тщательным, как в Соединенных Штатах". Главных причин этого успеха две: профессиональный преподаватель права, заменивший ушедшего в отставку судью, и практикующий юрист, читавший лекции в свободное время; и система преподавания, основанная на рассмотрении конкретных дел. Этот метод не является, как принято считать, заучиванием учащимися фактов из бесчисленных случаев. Она излагает правовые принципы не на основании высказываний учебника или профессора, а путем изучения и обсуждения фактических источников этих принципов - решений судов. Тот же метод в Континентальном праве привел бы к обсуждению кодексов в классе и комментаторам, которые являются там источниками. Одним из наиболее интересных признаков его успеха является его распространение из права в другие науки, такие как медицина. Книги, основанные на изучении конкретных ситуаций, используются в государственных школах для изучения географии и гигиены, а благотворительные общества разрабатывают общие потребности общества исходя из проблем отдельных семей. Эта система заменила во всех ведущих юридических школах старые методы чтения лекций и трактатов. Его наиболее заметная услуга - это, конечно, профессиональная подготовка мужчин, советам которых клиент может смело следовать. В некоторых штатах уже требуется диплом юридической школы в качестве условия поступления в коллегия адвокатов, и старое бессистемное обучение в юридической конторе в конечном итоге исчезнет, хотя вопрос о том, насколько человеку, зарабатывающему себе на жизнь, должно быть разрешено изучать право в свободное время в вечерней юридической школе, стандарты которой обычно должны быть ниже, чем в школе с полной занятостью, остается сложной проблемой в демократической стране. Эффективность обучения вступает в противоречие с равенством возможностей. Вторая услуга ведущих юридических вузов - модернизация права посредством выпуска книг. Прекрасным примером этого является "Трактат о доказательствах" Джона Х. Вигмора, декана Северо-Западной юридической школы, который каждый день оказывает влияние на суды и обновляет самую устаревшую часть общего права.

В последние годы стала очевидной необходимость свежих изменений в методе. Христофор Колумб Лэнгделл, изобретатель судебной системы, выдвинул два фундаментальных положения: "Во-первых, что юриспруденция - это наука; во-вторых, что все доступные материалы этой науки

содержатся в печатных книгах”. Опыт доказал, что он был прав, полагая, что посещение адвокатской конторы или судебных заседаний не является необходимым условием для получения юридического образования. Но сфера юридических исследований теперь должна выходить за рамки печатных книг, и уж точно за рамки юридических справочников. Поскольку право - это не изолированная область знаний, а система правил для регулирования человеческой жизни, истинность этих правил должна быть проверена многими фактами за пределами прошлых разбирательств судов и законодательных органов. Необходимо учитывать не только закон в книгах, но и закон в действии, и после изучения принципов, выработанных в процессе включения и исключения в решениях или в результате периодических законодательных действий, ученый должен выяснить, как эти принципы на самом деле работают в банке, на фабрике, на улице и в тюрьме. До сих пор обсуждается проблема, можно ли это лучше сделать на курсах подготовки к юридическому колледжу или с привлечением неюридических экспертов в юридических школах, или же необходимый материал должен быть усвоен и представлен самими преподавателями права. И все же это расширение содержания юридических исследований ни в малейшей степени не снижает действенности метода Лэнгделла, систематического исследования источников права из первых рук, независимо от того, содержатся ли эти источники в отчетах и нормативных актах, которые он имел в виду, или в экономических, социальных и психологических фактах, которые потребовали внимания в последние годы.

В заключение следует кое-что сказать о тех частях закона, где изменения были наиболее необходимы. Из них наше уголовное законодательство, несомненно, самое позорное. Его полная неспособность выполнять свою задачу была исчерпывающе продемонстрирована во вступительной главе книги Раймонда Фосдика “Американские полицейские системы”. Адвокаты и судьи виноваты лишь отчасти, поскольку их работа составляет лишь середину из трех этапов в пресечении преступности. Начальная стадия ареста и заключительная стадия наказания находятся в руках административных должностных лиц, неподконтрольных судье и коллегии адвокатов. Многие преступники так и не были пойманы, а потеря доверия общества к правосудию или эффективности тюрем приводит к тому, что присяжные неохотно выносят обвинительные приговоры. И все же юристы сильно виноваты в том, что происходит, пока заключенный находится на скамье подсудимых. Вся проблема требует такого сотрудничества между юристами, другими экспертами и непрофессионалами, о котором я уже говорил. Если в ближайшее время что-то не будет предпринято, мы можем обнаружить, что преступление вообще перестает быть юридическим вопросом. Даже сейчас многие крупные универмаги настолько не верят в уголовные суды и тюрьмы, что судят растратчиков и магазинных воров в собственных судах и применяют частную систему условно-досрочного освобождения и возмещения ущерба. Начальным шагом является переформулировка цели наказания. Двадцать пять лет назад судья Холмс спросил: “Что у нас есть лучшего, чем слепое предположение, чтобы показать, что уголовное право в его нынешнем виде приносит больше пользы, чем вреда?”

Одной из серьезных причин его распада стало совершение бесчисленных мелких правонарушений, которые совершаются неоднократно и которые практически невозможно пресечь. Полиция переключается с убийств и краж со взломом на азартные игры и сексуальные преступления, в то время как частое замалчивание подобных нарушений закона разрушает основное убеждение населения в том, что закону следует подчиняться только потому, что это закон. Начальник полиции Нового Орлеана сказал Рэймонду Фосдику: “Если я приведу в исполнение закон о запрете продажи табака в воскресенье, я буду уволен с должности через

двадцать четыре часа. Но я нахожусь в постоянной опасности быть уволенным с должности, потому что я не соблюдаю это”. Поэтому они повесили зеленые занавески, которые служили двойной цели - рекламировать расположение трибун и защищать добродетель граждан от видений зла.

В настоящее время мы усилили нагрузку на уголовное законодательство, введя общенациональный сухой закон. Будущее покажет, будет ли основным эффектом этой меры рост неуважения и антагонизма к закону или окончательное устранение одной из главных причин беззакония и расточительства. К сожалению, бесконечные дискуссии о квинтанциях на самогон и скрытых источниках поставок помешали общему осознанию того, что мы являемся свидетелями одного из самых масштабных законодательных экспериментов всех времен. О чем нам следовало бы говорить, так это о последствиях запрета для здоровья, бедности, преступности, возможности зарабатывать деньги и общего счастья. Возможно, например, что полное воздержание рабочих классов в сочетании с явно неограниченными запасами спиртного для их работодателей может иметь двойное последствие: усилить негодующее желание первых вырвать контроль над богатством у тех, кто монополизирует освященный веками источник удовольствий, и ослабить способность пьющих сыновей наших капитанов промышленности противостоять трезвым мозгам лидеров труда будущего. Таким образом, запрет может привести к разительному сдвигу в экономической мощи.

Задержки, расходы и сложности юридической процедуры требуют реформы. Обладание законным правом ничего не стоит для бедняка, если он не может позволить себе обеспечить его соблюдение через суд. Способы устранения таких препятствий были изложены Реджинальдом Х. Смитом в книге “Справедливость и бедные”. Например, многого уже добились Суды по мелким искам, где помощь предоставляется без участия адвокатов очень простым способом. Когда квартирная хозяйка из Кливленда подала в суд на жильца за то, что она задержала его чемодан, она заявила судье, что он поджег свой матрас, когда курил в постели, и отказалась заплатить ей двадцать пять долларов за ущерб. Судья, вместо того чтобы вызвать свидетелей-экспертов для подтверждения стоимости матраса, позвонил в ближайший универмаг, выяснил, что может купить другой за восемь долларов, и стороны договорились рассчитаться на этой основе. Опять же, семейные проблемы теперь рассматриваются в многочисленных судах. Отец уходит, а мать выходит на работу. Безнадзорные дети попадают в Суд по делам несовершеннолетних. Она просит о раздельном проживании в Суде по делам о наследстве. Бакалейщица подает в суд на своего мужа за продукты, которые она купила, перед присяжными. Она предъявляет ему обвинение в уголовном суде за отказ от поддержки и, наконец, добивается развода по справедливости. Один Суд по семейным отношениям должен рассматривать все семейные трудности, которые следует рассматривать сообща. Большая часть несправедливости по отношению к бедным была уменьшена обществами юридической помощи, которые не только вели судебные процессы в пользу отдельных лиц, но и рассматривали контрольные дела в судах высшей инстанции и разрабатывали законодательные акты для защиты больших групп жертв несправедливости. Ущерб, наносимый бедным устаревшим правовым механизмом, привлекает широкое внимание, но это также налог на крупные коммерческие операции, который в конечном итоге уплачивается потребителем. Реформа необходима, чтобы обеспечить справедливость по отношению к богатым.

Материальное право, определяющее объем прав и обязанностей, подверглось более полному пересмотру, и было достигнуто много значительных улучшений. Отношения между

общественностью и крупными корпорациями, предоставляющими транспортные и другие важные услуги, больше не зависят от произвольных решений должностных лиц корпораций или медленного процесса отдельных судебных разбирательств. Комиссии по государственной службе еще не работают идеально, но любой, кто сомневается в их желательности, должен прочитать современный отчет Комиссии, а затем обратиться к истории железной дороги Эри под руководством Джима Фиске и Джея Гулда, описанной в “Книге Дэниела Дрю”. Старое правило о товарищах по работе, которое возлагало бремя несчастного случая на производстве на жертву, было изменено законами о компенсации работникам, которые возлагают риск на работодателя. Он платит за травмированного рабочего, как за сломанную машину, и перекладывает расходы на своих клиентов как часть издержек бизнеса. Бремя распределяется через общество, а судебные разбирательства проходят быстро и недорого. К сожалению, в законе о трудовых организациях такого удовлетворительного решения достигнуто не было, но его хаотичное состояние лишь соответствует общей неуверенности Америки в надлежащем обращении с такими организациями. Возможно, что точно так же, как король в Средние века настаивал на привлечении баронов к своим дворам для разрешения их пограничных споров там, а не с помощью мечей и боевых топоров на шоссе, так и общество, которое является жертвой каждого крупного производственного спора, будет заставлять работодателей и рабочих одинаково разрешать свои разногласия в суде, пока продолжается производство. Австралийским примирительным судам недавно подражали в Канзасе - эксперимент, за которым будут наблюдать с пристальным интересом.

Однако развитию отдельных отраслей права следует придавать меньшее значение, чем изменению правового отношения. Разница между старым и новым законом проиллюстрирована двумя выдержками из судебных решений, которые были приняты почти одновременно. Судья Вернер, признав первый Закон о компенсации рабочим в Нью-Йорке неконституционным, ограничил сферу применения закона следующим образом:

Это цитируемое краткое изложение доклада комиссии законодательному органу, которое четко и справедливо отражает то, что более полно изложено в основной части доклада, основано на обширнейшем массиве статистических таблиц, выдержках из работ философов и промышленных законов многих стран, все из которых призваны показать, что наша собственная система борьбы с производственными авариями экономически, морально и юридически несостоятельна. Однако при нашей форме правления суды должны рассматривать все экономические, философские и моральные теории, какими бы привлекательными и желательными они ни были, как подчиненные главному вопросу, могут ли они быть воплощены в законы, не нарушая букву или дух наших писанных конституций.... Имея в виду эти соображения, мы переходим к чисто юридическим фазам спора”. (Айвз *против* Южного Буффало, Округ Колумбия, 201 Нью-Йорк, 271, 287, 1911.)

Иное отношение продемонстрировал Верховный суд Соединенных Штатов при рассмотрении дела, поданного г-ном Луисом Д. Брандейсом от имени конституционного суда штата Орегон, ограничивающего работу женщины десятью часами в день. Помимо решений, он включил законодательство многих штатов и европейских стран. Затем следуют выдержки из более чем девяноста отчетов комитетов, статистических бюро, уполномоченных по гигиене, инспекторов фабрик, как в нашей стране, так и в Европе, о том, что многочасовой труд опасен для женщин, в первую очередь из-за их особой физической организации. За ними следуют выдержки из

аналогичных отчетов, в которых обсуждаются общие преимущества сокращения рабочего дня с экономической точки зрения вопроса. Судья Брюер сказал:

“Законодательство и мнения, упомянутые на полях, могут не быть, с технической точки зрения, авторитетными, и в них практически не обсуждается конституционный вопрос, представленный нам для определения, однако они важны для широко распространенного мнения о том, что физическое строение женщины и функции, которые она выполняет вследствие этого, оправдывают специальное законодательство, ограничивающее или уточняющее условия, при которых ей должно быть разрешено работать. Конституционные вопросы, это правда, не решаются даже консенсусом нынешнего общественного мнения, поскольку особая ценность писаной конституции заключается в том, что она налагает в неизменной форме ограничения на законодательную деятельность и, таким образом, придает постоянство и стабильность народному правительству, которых в противном случае не хватало бы. В то же время, когда вопрос о факте обсуждается и является дискуссионным, и степень, в которой применяется специальное конституционное ограничение, зависит от истины в отношении этого факта, широко распространенное и долгое время сохранявшееся мнение относительно него заслуживает рассмотрения. Мы берем под юрисдикцию суда все общеизвестные вопросы”. (Мюллер *против* штата Орегон, 208 U.S. 412, 420, 1907.)

Решение демонстрирует два качества, характерных для адвоката-победителя с момента его назначения на скамью подсудимых; оно не сводит глаз с объекта, вместо того чтобы предаваться абстрактным концепциям, и подчеркивает заинтересованность общества в новых формах защиты от бедности, болезней и других зол. Ради этих социальных интересов собственность отдельного человека часто должна быть частично принесена в жертву, и в последние годы мы были свидетелями того, как суды отстаивали гарантии банковских вкладов, государственное регулирование страховых тарифов и приостановление права арендодателей взыскивать необоснованную арендную плату или лишать своих жильцов собственности. Пятьдесят лет назад все это считалось бы невозможным.

Это расширение государственной власти над собственностью сопровождалось принятием законодательства, серьезно ограничивающего свободу обсуждения еще более радикальных видов государственного контроля. Утверждается, что право на свободу слова должно подвергаться ограничению, как и право арендодателя. Истинная политика с точностью до наоборот. Для государства не только несправедливо применять одну форму конфискации, сурово наказывая обсуждение другой формы, но и в эпоху новых социальных устройств необходима самая широкая свобода выражения мнения, чтобы можно было досконально изучить достоинства и недостатки любого предлагаемого плана и провести сравнение между ним и альтернативными схемами, какими бы радикальными эти альтернативы ни были. Свод законов, который был полон решимости стоять на месте, может препятствовать мышлению без серьезного ущерба; но закон, который полон решимости двигаться, нуждается в максимально возможном освещении, чтобы быть уверенным в продвижении вперед.

Никто так хорошо не выразил новую важность общественных интересов и ценность свободы слова; никто, действительно, так благородно не выразил задачи и надежды американского права, как человек, о котором говорят, что среди длинного списка американских судей он, кажется, “единственный, кто сформулировал для себя систему правовых идей и общих

жизненных истин и составил свое мнение в соответствии с уже сложившейся системой”. (Джон Х. Вигмор, “Судья Холмс и деликтное право”, 29 Харв. Л., отк. 601.) И все же никто не был более осторожен, чем судья Холмс, предупреждая нас не ожидать слишком многого от закона.

“Закон, насколько он зависит от учености, действительно является, как его уже называли, управлением живых мертвыми. Ничего не поделаешь, так и должно быть, закон отстал от времени. Поскольку закон воплощает убеждения, которые одержали победу в битве идей, а затем воплотились в действия, пока все еще существуют сомнения, пока противоположные убеждения все еще ведут фронт битвы друг против друга, время закона еще не пришло; идея, которой суждено восторжествовать, еще не получила права на поле боя”. (“Собрание юридических документов”, 138, 294.)

Задача нынешнего поколения американских юристов - быть уверенными в том, что правая сторона побеждает во многих конфликтах, которые сейчас ведутся. Мы не можем быть уверены, что закон станет рациональным, пока мы остаемся такими же бездейственными, как и в прошлом, поглощенные нашей собственной рутинной и время от времени останавливающейся, чтобы сказать: “С миром все в порядке”; ибо, еще раз процитируем Холмса: “Способ, которым неизбежное свершается, - это усилие”.

Захария Чафи-младший .

Образование

Если бы Генри Адамс жил в 13 веке, он нашел бы центр мирового единства в самой могущественной доктрине церкви - культе Девы Марии. Живя в 19 веке, он подводит итог своему опыту в мире многообразия как попытке осознать для себя спасительную веру этого мира в то, что называется образованием. Адамс был не первым, кого поразило сходство религий средневековья и современного мира. Это сравнение является предметом статьи профессора Барретта Венделла, опубликованной в “Североамериканском обозрении” за 1904 год и озаглавленной “Великое американское суеверие”:

“Каким бы неопределенным и расплывчатым оно ни было, слово “образование” сейчас стало магическим; от Атлантики до Тихого океана это самое мощное средство, с помощью которого вы можете выманить деньги из государственных сундуков или частных карманов. Пусть социальные проблемы заявляют о себе где угодно, линчевания, забастовки, трасты, иммиграция, расовые противоречия, все, что вам кажется наиболее угрожающим, и мы со всех сторон твердо уверены, что образование - это единственное, что может уберечь наши грядущие поколения от уничтожения. Более того, как народ, мы с доверием прислушиваемся к этим заверениям. Нам говорят, и мы верим и демонстрируем великолепную веру в нашу веру, что наше национальное спасение должно зависеть от образования”.

Профессор Уэнделл продолжает язвительно сравнивать эту господствующую современную веру с верой средневековой церкви. Он обращает внимание на тот факт, что в то время как доминирующими архитектурными памятниками Старого Света являются великие соборы и религиозные дома, подразумевающие веру в то, что спасение может быть обеспечено

неограниченными дарами церкви, в наше время самыми величественными и впечатляющими сооружениями являются наши школы, колледжи и публичные библиотеки, многие из которых, подобно соборам, возведены богатыми грешниками в погоне за личным искуплением и общественным спасением. “Спросите любого американца, что мы должны сделать, чтобы спастись, и если он выскажет свое мнение, то, вероятно, прикажет нам просвещать наших братьев”. Он мог бы распространить свое сравнение на личную иерархию двух институтов, поскольку во время написания его статьи президент Гарварда обращался к народу Соединенных Штатов голосом Иннокентия III, окруженный своими советниками из числа ректоров университетов и суперинтендантов, собравшихся, подобно кардиналам-архиепископам, на конклав Национальной ассоциации образования, Комитет десяти которой был чем-то вроде папской курии. Хотя образовательное папство впало в раскол, городами по-прежнему управляют суперинтенданты, такие как епископы, колледжами - президенты и деканы, такие как аббаты и приоры, и вся структура держится на огромном количестве учителей, влачащих свое небогатое существование, подобно приходским священникам, по воле своего начальства, сдерживаемого общественным мнением. Действительно, профессор Уэнделл поражен вероятностью того, что, как европейское общество было обременено странствующими монахами, так и в Америке появятся “свои нищенствующие ордена ученых — докторов философии мужского и женского пола”. Но это его главная тема, которая волнует нас здесь, а именно то, что “нынешнее настроение нашей страны в отношении образования - это ни много ни мало, как настроение слепого средневекового суеверия”.

Разницу между верой как религией и суеверием, возможно, трудно определить, поскольку термины стали в некоторой степени взаимозаменяемыми из-за разногласий, но в целом мы, несомненно, должны использовать прагматический критерий. Жизненная и спасительная вера, которая действительно оправдывает себя результатами, - это религия; веру, которая не оказывает конструктивного воздействия на характер и общество и является просто причудливой, фантастической или унижающей достоинство, мы называем суеверием. Старое образование, которое Америка принесла из Англии и унаследовала от эпохи Возрождения, было разумной верой. Она состояла из математики, классиков и теологии, и, хотя в ней не было, за редким исключением, математиков, ученых-классиков или богословов, она готовила умы для ученых профессий тех дней и придавала ее обладателям интеллектуальное превосходство и допускала их в общество культурных людей повсюду. Его авторитет был в значительной степени традиционным, но в тогдашнем мире он действовал во многом так же, как тридцать три масонские степени действуют в мире масонства. Это можно правильно назвать религией, и по своему жесткому, предписанному, догматическому вероучению его можно сравнить со средневековым богословием. Во всяком случае, его постигла та же участь и по той же причине. Его система была слишком узка для расширяющегося знания и множасьихся явлений приближающегося часа. В нем не было учтено слишком много вещей. Авторитет традиции, с помощью которой она поддерживала свое положение, был оспорен и низвергнут, и на его место было поставлено частное суждение.

Частное суждение в сфере образования представлено выборной системой; президент Элиот был Лютером этого движения, а Гарвардский колледж - его Виттенбергом. Однако точно так же, как после Реформации самоутверждение и раболепие в духовных вопросах продолжали проявляться там, где папа был свергнут, в Женеве, Дорте и Вестминстере, так и образовательная функция, несмотря на анархию выборной системы, продолжает облачаться в свои традиционные одежды власти и восприниматься с благоговением, подобающим давней

традиции. И таким образом, образование в Америке из спасительной веры превратилось в иллюзию. Старое образование, чей авторитет поставлен под сомнение, его влияние ограничено, и никого не волнует, умеют ли его последователи цитировать латынь или нет, находится в положении Римской церкви; так называемое новое образование, неопределенное в отношении материала и метода, направления и назначения, подобно анархическим протестантским сектам. Ни один из них не обладает авторитетом; старая система утратила его, а новая никогда им не обладала. Они сходны в зависимости от слепоты масс, которая является суеверием.

Хотя остается верным обобщение о том, что отношение Америки к образованию - это суеверное отношение, в Америке сегодня действуют определенные формы образования, которые подтверждают себя результатами деятельности и оправдывают разумную веру, которой они придерживаются. Аргументом в пользу системы выборов, в силу которой она вытеснила предписанный классический курс, было то, что необходимо было предоставить возможность для специализации. Она предоставила эту возможность, и в определенных направлениях результаты, достигнутые американскими институтами, имеют высокую ценность. Наше научное образование является самым передовым, и в профессиях, которые зависят от него, инженерии и медицине, наш продукт, несомненно, “выгодно отличается” от европейского. Однако эти факты не могут быть приведены в качестве веской причины американской веры в образование в целом. Сегодня признано, что прогресс в естественных науках намного опередил прогресс в политике, социальной жизни, культуре — в этом заключается трагедия мира. Немногие люди науки обладают знаниями о средствах, с помощью которых человеческая раса может быть уничтожена за короткий промежуток времени, и никакие государственные деятели, философы или апостолы культуры не в силах убедить человечество не допускать этого.

В другом направлении произошел значительный рост специализации — в подготовке к ведению бизнеса. Наши колледжи делового администрирования соперничают с нашими научными школами в точности своей цели и результативности своих усилий. Однако и здесь может возникнуть вопрос, оправдывает ли их успех веру в образовательный процесс в целом. Результатом такой специализации на деловой организации общества вряд ли может быть пробуждение критического, а следовательно, и по-настоящему конструктивного отношения ко всей экономической проблеме; почти наверняка это способствует развитию склонности использовать явные недостатки этой организации для индивидуального достижения успеха. Выиграет ли общество в целом от усилий таких экспертов, каких готовят наши бизнес-колледжи, еще предстоит выяснить. Разумно ли мы поступаем, усиливая хищнические элементы, которые создают нагрузку на социальную организацию, в то время, когда вся структура сотрясается, остается под вопросом. И здесь вера Америки в образование как социальное спасение не оправдывается индивидуальными результатами, какими бы блестящими и удачливыми они ни были.

Ценность специалиста для общества неоспорима, но в одиночку он его не спасет. Такое спасение должно исходить от распространения и обоснованности образовательного процесса в целом, от мужчин и женщин с активным интеллектом, широкими взглядами, большим сочувствием и решительным характером, которые в результате этого способны смотреть на жизнь устойчиво и видеть ее целостной, здраво рассуждать от твердых выводов относительно нее и придерживаться этих решений перед лицом смерти. Специалиста действительно можно считать необходимым вычетом из общей социальной армии, человеком, выделенным для

выполнения особых обязанностей, чья энергия сконцентрирована, а лояльность ограничена. Мы ожидаем, что он умрет, если понадобится, за утверждение того, что мир движется, но не за свободу мысли в абстрактном смысле. О системе следует судить по общепринятому, всестороннему продукту нашего образования. И что мы находим?

Обычный студент, по-видимому, имеет тенденцию быть продуктом такого же узкого процесса, как и специалист, но не такого глубокого. По мере того как требования специализации становятся все более жесткими, ее требования все дальше и дальше проникают в область общего образования, и все большая часть этой области ограничивается ее использованием. Обычный студент в результате становится специалистом в том, что осталось. Более того, он реализует свое право на личное суждение и свободный выбор по пути наименьшего сопротивления. Лабораторную науку он ненавидит как относящуюся к специализации, от которой он отказался. Классику и математику, которым по наследственному праву до сих пор посвящена значительная часть нашего образовательного аппарата, он презирает как не имеющие *смысла существования*, кроме изношенной традиции. С упадком классики ушло в прошлое предварительное обучение современным языкам, которое обычный студент обычно находит слишком требовательным и обременительным и от обязанности которого колледжи и средние учебные заведения также теперь быстро освобождают его. В конце войны мы хвастались, что у нас не было разногласий с немецким языком, и все же своим поведением мы признали, что одним из плодов победы было уничтожение по крайней мере одного иностранного языка в пределах наших границ. Таким образом, обычный студент ограничен, конечно, по праву частного суждения, своим родным языком и литературой, а также теми поверхностными занятиями историей и социальными науками, которые он может выполнить только с помощью этого инструмента. Поэтому его взгляд узок и замкнут. Его проникательность невелика. Короче говоря, он специалист по очевидному.

Мало того, что обычный студент, как правило, так же ограничен в предмете, как и специалист, но ему не хватает подготовки в расследовании, рассуждении и концентрации, налагаемой на последнего ответственностью за независимое исследование. Определение цели общего образования, на котором профессор Уэнделл основывал свои доводы в пользу старой учебной программы в процитированной выше статье, заключается в “таком обучении, которое позволит человеку сосредоточенно посвящать свои способности вещам, которые сами по себе его не интересуют”. Теперь ясно, что если ученик упорно выбирает только те предметы, которые его интересуют, и следует им только в той мере, в какой простирается его интерес, он избегает всякого обучения произвольному вниманию и концентрации. В своей естественной склонности избегать умственной работы он находит готовых сообщников в лице своих инструкторов и авторов учебников. Они понимают, что находятся под судом и что только интерес является основой приговора. Соответственно, они с радостью берут на себя бремя предварительного усвоения материала, оставляя студенту усвоение того объема, который может выдержать его тошнотворный желудок. Один из способов, с помощью которого изучение английской литературы или истории можно превратить в тренировку критики и аргументации, - это направить студента к источникам, оригинальному материалу, и возложить на него ответственность за свои выводы. У него может сложиться неправильное или неадекватное представление, но, в любом случае, это его собственное мнение, и оно дает ему прочную основу для расширения или исправления. Вместо этого студенту предлагается ознакомиться с набором критических замечаний и уже сделанных резюме, и его обычно обескураживают, если он случайно пытается пройти проверку от своего имени. Фактическое чтение Шекспира, Бэкона,

Мильтона, Свифта, Берка даст ученику по крайней мере определенную тренировку концентрации; но это тяжелая, медленная и сухая работа. Гораздо проще и всеобъемлюще читать не одну пьесу Шекспира, а обо всех пьесах, включая жизнь автора, его драматургию и некоторые размышления о елизаветинской сцене. Именно Уильям Джеймс указал на разницу между *знанием* о и *знакомством* с автором. Степень, в которой мы заменили прямое видение с его стимулирующим призывом к индивидуальной реакции, традиционным обобщением и принятой критикой, официальной формулой и стереотипным взглядом, является главной причиной готовой однородности нашего образованного продукта.

Сами пионеры демократии в Америке несут ответственность за типично американский метод обучения. Суеверная вера в образование была основой системы, посредством которой многие занятые люди среднего возраста, чьи ранние преимущества были ограничены, с помощью привлекательных резюме, конспектов и справочников могли ознакомиться с именами людей, книгами и событиями, которые составляют тест культуры Бине-Симона и позволяют посвященному высоко держать голову в кругах, где обычно упоминается лучшее, что было придумано или сказано в мире. Этот метод применяется в сотнях культурных лагерных собраний каждое лето, на тысячах популярных лекций, в бесчисленных учебных программах для женских клубов. К сожалению, это становится не только типичным, но и единственным методом общего образования в Америке. Чаутоква проникла в колледжи и университеты. Лучше бы наши отцы умерли, не утолив своей интеллектуальной жажды, чем они оставили своим детям в наследство безалкогольные напитки для умственного развития.

До сих пор я имел в виду в основном колледж, но те же наблюдения в равной степени применимы и к средней школе. Система выборов проложила себе путь туда, и действительно, одна из главных трудностей организации учебной программы колледжа для обычных студентов, которая должна представлять собой нечто вроде выяснения вещей, рассуждений от фактов к выводам и тренировки произвольного внимания, заключается в определении какой-либо общей основы на основе предыдущих достижений. Не только система факультативов, но и метод Чаутока в значительной степени проникли в наши средние школы. Учителя, часто работающие по ежегодному контракту, в большей степени, чем преподаватели колледжей, со сравнительной гарантией пребывания в должности, зависят от благосклонности учеников, благосклонности, которую можно поддерживать в соревновании с танцами, фильмами и Saturday Evening Post, заинтересуя их. Поэтому для учителей обычным делом является повторение в разбавленном виде курсов, которые они проходили в колледже - и которые в оригинале в лучшем случае не были насыщенными решениями по предмету. На днях, посетив урок по Шекспиру в школе Y.M.C.A., я осмелился высказать учителю предположение, что используемый метод был довольно продвинутым. "Ах, но моя дочь в средней школе, - сказал он, - посещает курс профессора Бланка по средневековой драме". Сейчас такой курс, предназначенный для аспирантов, исследующих источники, влияния и вариации пьес о святых и мистерий, не мог иметь никакой образовательной ценности с точки зрения материала или метода для ученицы средней школы, но он, без сомнения, был так же интересен, как персидская сказка.

Поскольку и колледжи, и средние школы не уверены в смысле и цели общего образования, неудивительно, что начальные школы также находятся в затруднительном положении, а их ученики становятся жертвами как бессмысленных традиций, так и безрассудных экспериментов. Традиция наших начальных школ, как говорят нам эксперты в области

образования, была принесена Горацием Манном из Пруссии. Там *Народная школа* была создана для детей народа, которые должны были пройти обучение с целью остаться на том уровне, на котором они родились. По крайней мере, можно признать, что немецкие разработчики системы имели в виду цель и знали средства для ее достижения; но и цель, и средства странным образом расходятся с американскими условиями и идеалами. Другие эксперты указывали на чрезвычайное замедление образовательного процесса после первых лет, когда ребенок естественным объективным методом осваивает некоторые из самых сложных процессов физической жизни, достигая выдающихся успехов в понимании и контроле; и некоторые из наиболее обнадеживающих экспериментов в области начального образования направлены на продолжение использования этого естественного метода в течение более длительного времени. В настоящее время принцип регламентации, по-видимому, является наиболее важным в начальной школе, и поскольку темп обучения обязательно является самым медленным, у учеников, как правило, имеется большое количество провисающей веревки, подтянуть и намотать которую - проблема директоров и учителей. В целом начальная школа представляет собой такую степень расточительства и неправильного направления, которая сама по себе объясняет склонность к умственному капризу или застою, которые очевидны у учеников, вышедших из нее.

Таким образом, параллель, которую профессор Уэнделл провел между нашей системой образования и средневековой церковью, по-видимому, имеет определенное основание. В колледжах, как и в монастырях, у нас есть группа специалистов-аскетов, которых в их трудах поддерживает апокалиптическое видение мира, который они могут сжечь и в котором не сможет жить никакая плоть; и масса праздной, любящей удовольствия молодежи обоего пола, за исключением тех случаев, когда появляется какой-нибудь аббат Самсон, который силовыми методами мгновенно приучает их к порядку и трудолюбию. В средних школах, как и в соборах, у нас есть большие собрания, вдохновленные музыкой, огнями, благовониями, помогающие на церемонии, смысл которой так же мало понятен, как и чудо мессы. В начальных школах, как и в приходских церквях, у нас есть скромные работники, подобные чосеровскому "бедному городскому священнику", которые с трогательным усердием пытаются удовлетворить нужды и желания своей паствы в условиях образовательной и политической тирании, не менее раздражающей, чем церковная.

Но мы вполне можем задаться вопросом, откуда эта система черпает силу, чтобы навязывать себя массам? — ибо даже у суеверия должен быть знак, который может прочесть слепой, и источник обращения к человеческой природе. Ответ еще больше подтверждает параллель, проведенную профессором Венделлом. Средневековая церковь черпала свою власть от Бога, и чтобы навязать эту власть массам, она изобрела метод пропаганды. Она утверждала, что способна освободить людей от бремени, которое угнетало их сильнее всего, от их грехов, и в сочетании со светской властью она предъявляла свои требования ко всем, кто выступал против, применяя к строптивым из них ряд наказаний, епитимью, отлучение от церкви, костер. Образование находит свой авторитет в человеческом разуме и точно так же навязывает этот авторитет с помощью пропаганды. Она также претендует на силу спасения от зла, которое сегодня наиболее жестоко угнетает людей - социальной дезадаптации, "линчеваний, забастовок, трестов, иммиграции, расовых противоречий", — и она находится в союзе со светской властью, чтобы сохранить свою монополию на социальные средства правовой защиты от конкуренции чего-либо подобного прямому действию. Теперь ясно, что в религии Христа в ее чистой форме церковь имела основание для своих притязаний на обладание силой против

греха и средством спасения. Точно так же можно утверждать, что человеческого разума, которому позволено действовать свободно и бескорыстно, было бы достаточно, чтобы справиться со злом нашего времени и обеспечить социальное спасение. Действительно, любопытно отметить, насколько близко интеллектуальные выводы разума совпали с интуитивной мудростью Иисуса. Церковь была неверна своей миссии, вступив в союз с мирской властью, подменив свое собственное продвижение волей Божьей, превратившись в самоцель. Образование также становится неверным самому себе, вступая в союз со светской властью, политической и финансовой, заменяя бескорыстное служение истине собственным институциональным развитием, также становясь самоцелью.

В одном из самых замечательных заявлений нынешнего вступительного сезона президент Дартмутского колледжа Хопкинс резюмировал влияние, которое оказывает на то, что он называет Правдивостью. Это, во-первых, Недостаточность менталитета или чрезмерная профессионализация точки зрения; во-вторых, Инертность менталитета или закрытость мышления; и в-третьих, ложный акцент менталитета или пропаганда. Последняя война и ее пагубные последствия наглядно продемонстрировали масштабы этого третьего влияния. Президент Хопкинс выступает как один из кардиналов-архиепископов образования, и я цитирую его слова с авторитетом, который придают им его личность и положение:

“Теперь, когда война окончена, дух пропаганды все еще сохраняется в том нежелании, с которым нетерпеливому народу возвращается древнее право на доступ к знанию истины, право на свободные собрания и право на свободу слова. Между тем нерешительность, с которой они возвращаются, порождает в больших группах людей смутное подозрение и язвительное недоверие к тому, что публикуется как правда и что на самом деле является правдой, так что со всех сторон мы слышим вопрос, балуют ли нас тем, что считается хорошим для нас, или тем, что представляет собой факты. Таким образом, мы подрываем действенность истины, открываем дверь и даем возможность приписать ложь и обман авторитету, который принадлежит им не по праву”.

Война была испытанием, которое показало, насколько слабой была опора американского образования на принцип, который единственный может придать ему действенность. Нигде подавление свободы разума, истины не было таким энергичным, таким мстительным, как в школах. Примеры давят на разум. Я помню, как присутствовал на судебном процессе над учителем в комитете школьного совета Нью-Йорка, вопрос заключался в том, скрывали ли причины, по которым он не вступал со своим классом в дискуссию о советском правительстве, скрытую симпатию к этой форме социальной организации. Ученики были разделены на две группы, евреев и неевреев, и их по очереди вызывали для дачи показаний — ранее они были обучены важным функциям современного американского общества, шпионажу и массовым действиям. "Нью-Йорк Ивнинг пост" отмечает другой случай: учителя судят за нелояльность, и главным пунктом в его обвинительном заключении является то, что он желал скорейшего мира; и его обвинитель, некий доктор Джон Тилдсли, архидьякон или суперинтендант епархии Нью-Йорка при епископе Эттингере:

- Вы заинтересованы в том, чтобы этого человека уволили?

- Да, - ответил доктор Тилдсли.

- Вам известен какой-нибудь поступок, который осудил бы его как учителя?

“Да, - сказал доктор Тилдсли, - он выступал за скорейший покой”.

“Разве вы не хотите скорейшего победоносного мира?”

- Зачем задавать мне подобный вопрос?

“Потому что я хочу показать тебе, как ты был несправедлив к этому учителю”.

“Но мистер Мафсон хотел скорейшего мира без победы”, - сказал доктор Тилдсли.

“Он этого не говорил, не так ли? Он не говорил о скором мире без победы?”

“Нет”.

- Значит, вы не хотите скорейшего заключения мира, не так ли?

“Нет”.

- Ты хочешь продолжения всех этих мировых страданий?

“В определенной степени да”, - сказал доктор Тилдсли.

Саботаж истины также не ограничился школьными советами и суперинтендантами. Мой коллега, пишущий главу учебника по современной истории, сделал заявление о том, что британское правительство вступило в войну из-за договоренности с Францией, а вторжение в Бельгию было предлогом, вызвавшим народный энтузиазм, на что крупный издательский дом ответил, что это заявление вызовет большое возмущение у американского народа и поэтому должно быть подавлено.

Нам не нужно удивляться, что со времен войны образование не продемонстрировало бескорыстного и беспристрастного отношения к явлениям человеческой жизни, опоры на метод проб и ошибок, эксперимента и свидетельских показаний, который оно выработало. Учителям, которые открыто или даже латентно симпатизируют какой-либо форме социальной организации, отличной от режима частного контроля капитала, запрещается посещать школы и колледжи со свечой, книгой и звонком. Учебники, которые не согласуются с общепринятым взглядом на международные отношения, запрещены. Суперинтенданты вроде Эттинджера и Тилдсли в Нью-Йорке являются преданными апологетами системы, которой они обязаны своим величием. Ради своего положения среди корыстных интересов мира, ради процветания высшего духовенства образование пожертвовало своей лояльностью тому, что единственное может дать ему авторитет.

Ограничение свободы мысли и исследования, конечно, необходимо до тех пор, пока целью образования является формирование веры, а не стимулирование мышления. Вера, распространение которой является функцией образования, такова в существующем порядке. Отсюда мы видим масштабные усилия, известные как “американизация”, которые по большей части являются прекрасным примером американского образования в наши дни. Дух “американизации” заключается в том, чтобы рассматривать индивида не с точки зрения его внутреннего роста разума и духовности, а исключительно с точки зрения его мирского успеха и его отношения к существующему общественному порядку, вклад в который, как считается,

принесет индивиду наивысшее счастье и полезность. Эта программа, естественно, находит спонсора в Американском легионе, но по-настоящему обескураживает тот факт, что Национальная ассоциация образования вступает в союз с этим сверхправовым органом, назначает постоянный комитет для сотрудничества с Легионом в течение года, принимает предложение Легиона читать лекции в школах и одобряет принцип Закона Ласка в Нью-Йорке, который предусматривает проверку клятвы верности правительству в качестве требования для получения сертификата учителя.

Теперь у нас есть главная причина, по которой образование остается доминирующим суеверием нашего времени; но все же можно задаться вопросом, как учреждение, которое, по-видимому, так неуверенно в своих целях и методах, может продолжать оказывать такое влияние на умы и сердца людей. Ответ, конечно, заключается в том, что образование ни в малейшей степени не вызывает сомнений в своей цели и методах. Хотя скромный и малоизвестный учитель, такой как пастор Лоллард, может ломать голову над тем, почему, как и с какой целью он здесь находится, его начальство, епископы, папская курия, знают причину. Образование - это отдел пропаганды государства и существующей социальной системы. Его решительное настаивание на сущностной правильности вещей такими, какие они есть, в сочетании со скромным обещанием реформировать их в случае необходимости является основой трогательного доверия, с которым это воспринимается. Она еще больше воздействует на доверчивость людей великолепием своего учреждения. Академическое великолепие сезона вручения дипломов, когда иерархи раздают свои милости и удостаивают друг друга и своих покровителей более высокими степенями, имеет огромное значение для того, чтобы произвести впечатление на публику. Особенно к необразованным людям обращается это величие. В том, что учреждение, которое придерживается столь справедливого взгляда на общество, которое находится в таких легких и сочувственных отношениях со всем, что важно в стране, которое управляет путями, по которым люди продвигаются в мире, способно гарантировать успех в жизни своим почитателям, нет ничего удивительного. Поэтому мы видим, что бедняки разных слоев общества идут на любые жертвы, чтобы отправить сыновей и дочерей в среднюю школу, в колледж, с той же трогательной верой, с которой они когда-то жгли свечи, чтобы получить отсрочку для душ своих умерших.

Однако есть основания полагать, что это суеверие проходит. Во-первых, нигде мы не встречаем большего скептицизма в отношении претензий на образование, чем среди тех, кто получил образование, и это число быстро растет. Во-вторых, союз между образованием и социальной системой, зависящей от частного капитала, слишком очевиден, а отказ от истинных функций первого слишком полон. Так называемая кампания американизации - это настолько грубая попытка что-то скрыть, что даже неискушенный иностранец, на которого она призвана произвести впечатление, смотрит фотографии или читает брошюры, повествующие о счастливом положении американского рабочего, не высовывая языка. Социальные группы, которые чувствуют себя ущемленными нынешним порядком, отмечают свое дезертирство выходом из системы образования и созданием собственных трудовых университетов. Это отделение настолько серьезно, что в Нью-Йорке был принят Закон Ласка, призванный поставить независимое движение под контроль государства. В-третьих, утверждению образования о том, что оно является ключом к успеху в жизни, противоречит позиция его самых постоянных приверженцев - учителей. Престиж, который раньше придавал священникам образования и который ставил их выше соблазна богатства, исчез; их экономическое положение ухудшилось до тех пор, пока даже профессора колледжей не превратились в класс

без слуг, то есть в пролетариат. Поистине, для таких, как они, заявлять, что образование означает успех в жизни, - мрачный парадокс.

Еще одним признаком приближающихся реформ в системе образования являются откровенно коррупционные практики, которыми она наводнена. Здесь параллель со средневековой церковью не совсем точна, поскольку в последней именно монастыри и религиозные дома были главными источниками правонарушений, в то время как соответствующие им колледжи и частные высшие учебные заведения на удивление свободны от чего-либо худшего, чем расточительная внутренняя политика. Именно государственная система образования в силу своего контакта с политическим правительством наиболее остро подвержена коррупции, присущей демократическому государству. Нет необходимости упоминать формы, которые принимает эта коррупция, когда школьный попечительский совет по политическому назначению получает возможность эксплуатировать школы — фаворитизм при назначениях и продвижении по службе, подкуп учебников и оборудования, спекуляция недвижимостью и строительными контрактами, отчуждение школьного имущества. Едва ли найдется крупный город в стране, в котором ученики и учителя не подвергались бы позорному и скандальному обману со стороны школьных попечителей, что в самых мягких выражениях можно охарактеризовать как умышленное бесхозяйственное управление, ведущее к получению частной прибыли.

Для реформы образования необходимы две вещи. Одна из них - демократический контроль, то есть управление учебными заведениями со стороны учителей. Следует отметить, что это повсеместное требование к труду, который уважает себя, — контроль над средствами производства и ответственность за результат. Несомненно, учителя должны быть одной из первых групп работников, которым можно доверять таким образом. При демократическом контроле можно успешно противостоять разграблению школ политиками, принесению образования в жертву пропаганде, тирании иерархии. Как только учителя будут освобождены от рабской зависимости от общества через политических хозяев, которые контролируют назначения и продвижения по службе, они будут решать свои проблемы с большей властью и будут независимы от избирательного права учеников. Благодаря совместной ответственности работников за продукт они придут к тому *корпоративному духу*, который заключается в мышлении в терминах предприятия, а не работы, и от которого мы можем ожидать настоящего метода воспитания. В школьных системах и колледжах уже формируется движение к демократическому контролю за преподаванием. Существует сто пятьдесят профсоюзов учителей, связанных с Американской федерацией труда. Но истинная аналогия не между учителями и трудом, а между образованием и другими профессиями. Процитируем доктора Х. М. Каллена:

“Первооткрывателям и создателям Знаний, а также их передатчикам и распространителям, им и никому другому, кроме них, принадлежит контроль над образованием. Столь же абсурдно, что кто-либо, кроме учителей и исследователей, должен управлять искусством образования, как и то, что кто-либо, кроме практикующих врачей и исследователей, должен управлять искусством медицины”.

Другая вещь, необходимая для восстановления здоровья и полезности образования, заключается в том, что оно должно отказаться от своего влияния на суеверное обожание публики, отказавшись от своих претензий на индивидуальное или социальное спасение,

прекратив льстить националистическим и капиталистическим амбициям и отказавшись от своей помпезности и церемоний, которые ведут главным образом к подхалимажу и лицемерию. Образование в конкретных областях показало, что оно может быть полностью научным, бескорыстным, преданным делу. Его задача - перенести эти достоинства специалиста в общую область. Дело образования не в том, чтобы обманывать людей в интересах того, что любой человек может считать для своей выгоды. Его дело - вести себя с ними откровенно и порядочно, принимая в самом буквальном смысле ответственность и обещание, содержащиеся в тексте: “Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными”.

Роберт Морсс Ловетт

НАУКА И КРИТИКА

Для музыканта естественно считать какую-либо страну варварской, если она не произвела на свет великих композиторов, для художника - если она не произвела на свет великих живописцев, для критика или ученого - если она не произвела на свет великих ученых и критиков, и так далее для всех других искусств и наук. Но бесполезно настаивать на том, что каждая раса должна выражать себя одинаковым образом, или предполагать, что гений нации может быть проверен ее недостатками в какой-либо отдельной области высшей жизни. Великие критики редки в любую эпоху и в любой стране; и даже если бы они ими не были, какое утешение можно найти в столкновении и разнообразии рас и наций, кроме особых и разнообразных даров, которые каждый может внести в духовное целое? Англия достигла величия без великой музыки, Германия без великой скульптуры, древний Рим без великой науки или философии, Иудея, в которой мало что было, кроме поэзии и религии; и нет необходимости слишком подчеркивать отсутствие у нас великих ученых и критиков — да, даже отсутствие у нас великих поэтов и художников. Они могут прийти сегодня или завтра, а может быть, нам суждено никогда их не получить. Идея о том, что великая национальная энергия неизбежно должна расцвести в великой литературе и что наша обширная мощь непременно должна найти выражение в бессмертной поэме или в “великом американском романе”, является всего лишь еще одним примером нашего механического оптимизма. Видение великих империй, которые были одновременно сильными и безмолвными, Ассирии, Вавилонии, Египта, преследует всю историю; Вергилий или Камюэнс лишь урывками выражают могущество, которое суммируется в Цезаре или Магеллане.

Но, не настаивая на невозможных целях или иллюзорных стандартах величия, справедливо было бы спросить о каком-то потоке духовной активности, об общем духе рассеянной культуры — одним словом, о присутствии души. Ибо, хотя мы должны есть (и здравый смысл приготовит обед лучше, чем философия), хотя мы должны работать (и промышленный магнат может организовать торговлю лучше, чем поэт), хотя мы должны играть (и спортсмен может выиграть больше игр, чем ученый), цивилизация, у которой нет более высоких возможностей для своего интеллекта и воображения, будет демонстрировать по крайней мере некоторые признаки духовного истощения. Вы можете увидеть признаки его беспокойного грызения на лице почти любой американской женщины, кроме первого румянца юности; вы можете увидеть некоторую тень его безнадежной жажды на лице почти любого зрелого американского мужчины.

Те же признаки можно увидеть в американской науке и американской критике. Если бы наука была тем, чем ее считает большинство людей, скучной ученостью педантов, а критика - всего лишь придирками и перебранками придирчивых людей, этот факт вряд ли заслуживал бы упоминания. Но поскольку они являются инструментами, которые человеческий разум использует для некоторых из своих самых острых вопросов, их отсутствие или их слабость должны указывать по крайней мере на что-то в национальной жизни и характере, что не маловажно понять.

Я

Традиция учености, как и многое другое, пришла к нам из того, что раньше называлось Ренессансом, периода (возможно, не будет иронией напомнить), в который были открыты и исследованы Америки; и тот привкус отличия, который присущ идее “джентльмена и ученого”, был создан именно тогда. Ученость поначалу означала просто знание классики, и хотя с тех пор она расширила свои рамки, уже тогда разнообразие ее проблем было очевидным, поскольку авторы классики исследовали многие области человеческого знания, и изучающий Гомера и Вергилия действительно сталкивался с проблемой, отличной от проблемы изучающего Платона или Фукидида. Наука никогда не была реальностью, областью, которую можно было бы ограничить и определить в том смысле, в каком это могут быть поэзия, философия и история. Это точка зрения, отношение, метод подхода, и, насколько можно уловить его смысл и цель, можно сказать, что это дисциплина и просветление, которые приходят от интеллектуального овладения определенной проблемой, связанной с ростом человеческого духа.

Наука, понимаемая в этом смысле, не имеет истории (хотя таковой служили скучные и образованные мешанины), ибо это дух, распространенный в различных областях науки; а в Америке этот дух едва ли даже появился. Американские университеты, похоже, были созданы специально для того, чтобы игнорировать или уничтожить это. Главные памятники американской учености редко, если вообще когда-либо, исходили от людей, которые были готовы прожить всю свою жизнь в академической атмосфере. Люди, которых мы считаем нашими выдающимися литературоведами, Гилдерслив, Нортон и остальные, приобрели свою известность скорее благодаря своим личностям, чем научным достижениям. Историки Мотли, Прескотт, Бэнкрофт, Паркман, Родс, Леа, Фиске, Мэхан не были профессорами; такие книги, как “Средневековый разум” Тейлора, “Мон-Сен-Мишель и Шартр” Генри Адамса, “Кавур” Тейера, “Джон Браун” Виллара и “Джон Маршалл” Бевериджа, даже “История испанской литературы” Тикнора, не были написаны в стенах университета, хотя шестнадцать лет преподавания Тикнора укротили творчество блестящего светского человека до такой степени, что не осталось ни одной книги. мало что осталось, кроме характерной безвкусной добродетели разумного упорядочивания трудоемких исследований. Может показаться, что в атмосфере наших университетов личность не может найти достойных ее плодов в научных достижениях, а обучение может процветать только тогда, когда оно не дает заложников врагу - личности.

Из типичных продуктов этой академической системы самым низким, пожалуй, является литературная диссертация, а самым высоким - историческое руководство или учебник. Возможно, потому, что история не является моей собственной специальной областью изучения, я, кажется, нахожу ее практиков более энергичными интеллектуально, чем литературоведов. Несомненно, наши историки, по-видимому, обладают особой склонностью к составлению тщательных сводок исторических периодов, и некоторые из них отличаются упорядоченной

разумностью и безличной эффективностью, мало чем отличающейся от системы финансового учета наших крупных трестов или бюджетов наших крупных университетов. Мне большинство из них кажутся достижениями исторической инженерии, а не исторической науки; и если они представляют собой научный “прогресс” по сравнению с более старыми и менее точными работами, написанными до того, как Клио стала ученицей профессоров, можно только сказать, что история еще не оправилась от этого прогресса. Не так сильно, как на самих историков, меня впечатлило недавнее столкновение между “старой” школой и “новой”, поскольку обеим, как мне кажется, в равной степени недостает подлинно философского понимания смысла истории. И все же среди молодого поколения есть определенная свежесть ума и открытость новым идеям, хотя и в меньшей степени для проблем человеческой личности или для эмоциональных и духовных ценностей человеческой жизни. Этот недостаток особенно раздражает в области биографии. Даже американская опера (*corruptio optimi*) не настолько деревянная, как биографии наших государственных деятелей и национальных героев; и если американские жизнеописания, написанные англичанами, были восприняты с энтузиазмом, то это было вызвано не столько присущим им совершенством, сколько тем, что они, по крайней мере, воспринимали Гамильтона или Линкольна как человека, а не как исторический документ или политическую банальность.

Но литературоведение находится в гораздо худшем положении в наших университетах. Ни один американский ученый никогда не добивался больших успехов в изучении классической литературы. Возможно, несправедливо предлагать сравнение с такими людьми, как Гилберт Мюррей, Круазе или Виламовиц; но как профессора или даже декан могут убедить нас, что вся культура погибнет, если мы забудем греческий и латынь, пока они своими работами не убедят нас, что они сами живы? Азия манит нас рукой Судьбы, но востоковедение - это пустыня, по которой бесцельно бродят несколько профессоров-кочевников. Что касается литературы на современных европейских языках, изучение Данте имеет, возможно, самую старую и респектабельную традицию, но при рассмотрении она сужается до должных размеров: эссе Лоуэлла и переводы Лонгфелло и Нортон указали путь; дантовское общество взрастило ее; и ее современные плоды, за одним или двумя почетными исключениями, - это несколько невразумительных статей и учебников. Новаторская работа Тикнора в области Испании не имела продолжателей, хотя Испанская Америка у наших дверей; щедрые субсидии богатых людей, как обычно, привели к строительству зданий, но не к получению стипендий. Об общем уровне наших знаний французского и немецкого я предпочитаю ничего не говорить; и в случае с английским так же разумнее всего промолчать. Эта область буквально кишит профессорами; в Гарварде их вдвое больше, чем в Оксфорде и Кембридже вместе взятых, а в Чикагском университете почти столько же, сколько во всей Англии. Оправдало ли себя это изобилие профессоров либо выдающимися научными работами, либо тем, что помогло молодой Америке полюбить литературу и писать на хорошем английском, я решать не буду, но оставляю полностью на их совести. По крайней мере, можно сказать, что кроту не позволено без помех рыться в своей норе; ибо в этой атмосфере, как протест и корешок, или как знак подчинения рыночным идолам, возник очень характерный академический продукт — профессор, который пишет популярные статьи, иногда умные, иногда ценные, иногда благородные и утонченные, иногда просто банальные, но почти всегда лишенные реальных знаний или стимулирующих мыслей. Даже трезвый педант - более гуманное существо, чем профессорский умник.

Откуда возникает это подавление посредственности, этот страх перед личностью и интеллектом, эта глубокая антиномия педанта и дилетанта? “Болезнь страха выдать себя”,

поразившая профессоров Колледжей Неразумия в “Эреване”, в легкой степени эндемична в каждом университете мира и в определенной степени в каждой профессии; но нигде больше она не задает тон интеллектуальной жизни целого народа. Если бы я был социологом, уверенным, что правильный поиск выявит внешнюю причину каждого духовного дефекта, я мог бы указать на любой из дюжины или более изобличающих фактов как на источник всех наших бед - на материализм национальной жизни, направленный исключительно на практические цели, на выравнивающее и стандартизирующее влияние демократии, на англосаксонский “колониализм”, на влияние немецкой эрудиции или на неадекватные экономические выгоды академической жизни. Вероятно, мне следовало бы уделить много внимания излюбленной теме критических фантазий - привычкам, унаследованным от “эпохи пионеров”, периода, в который жизнь с ее простыми физическими неудобствами и простыми требованиями к физической энергии и выносливости была на самом деле настолько легкой, что американцы пытаются воспроизвести ее на всех своих каникулах.

Но в той мере, в какой они обладают какой-либо реальностью, все это просто симптомы одной и той же болезни души. Современный санаторий можно сравнить со средневековым монастырем без его духовной веры; американский университет - с университетом без его внутреннего озарения. Это интеллектуальное убежище без интеграции центральной души, грубо материальное, потому что в нем нет внутренних стандартов, которые могли бы избавить его от идолов рыночной площади, или робкое и анемичное, потому что в нем отсутствует тот донкихотский огонь, который присущ каждому акту веры. Это одновременно и наше величайшее практическое достижение, и наша величайшая духовная неудача. Назвать это сочетанием санатория и механической мастерской может показаться крайне несправедливым по отношению к учреждению, в котором более чем достаточно серьезных и благородно мыслящих людей; но хотя эта фраза, возможно, не описывает реальность, она указывает на опасность. Когда мы обнаруживаем, что в таком месте образование не дает образования, мы вызываем о помощи к единственным известным нам богам, неугомонным богам Управления и Организованности; но наука не может быть организована или внедрена в жизнь даже американцами.

Что мы можем сказать (хотя это, кажется, уводит от ответа), кроме того, что в Америке нет ученых, потому что пока у нее есть тело, но нет души? Ученый совершает все необходимые действия — собирает факты, организует исследования, читает лекции, пишет статьи, а иногда и книги, — но за этой внешней видимостью нет внутренней реальности. Под всеми великими произведениями культуры таится трепетная душа традиции, бремя, которое иногда тревожит и тяжело нести, ночаще всего помогает душе парить на крыльях, созданных не ею самой. Мы жадно думаем, что свежесть мировоззрения молодых людей должна быть чем-то большим, чем просто компенсацией; но свежести там нет. Дурные привычки, сохранявшиеся долгое время, или новые пороки, приобретенные болезненным путем, могут сойти за традиции среди некоторых представителей “американизма”, но не вдохнут жизни в национальную культуру. Все - оболочка, маска и глубокая внутренняя пустота. У нас есть ученые без учености, как есть церкви без религии.

До тех пор, пока не произойдет перемена в сердце, или новая вера, или глубокий внутренний поиск, ученый должен продолжать жить этой расстроенной жизнью. Только глубокое осознание его высокого назначения и особой функции, а также гордость, которая проистекает из этого осознания, могут обеспечить ученому его истинное место в американском мире. Ибо эта особая

функция заключается не в чем ином, как в том, чтобы действовать как преданный слуга мысли и воображения и отстаивать их притязания как двух столпов, поддерживающих всю духовную деятельность человеческой жизни, — искусство, философию, религию, науку; и их она должна отстаивать против всех материалистов, под каким бы именем они ни маскировали свои цели. Какое имеет значение, будут ли они учеными, осуждающими “диалектику”, или социологами, насмехающимися над “простой художественной литературой”, или практиками, которым бесполезна “высшая жизнь”? Назовут ли их буржуазными или радикальными, консервативными или интеллектуальными, — всех, кто сводит жизнь к проблеме практической деятельности и физического удовлетворения, всех, кто сводит интеллект и воображение к простым инструментам практической полезности, всех, кто поклоняется мертвым идолам вместо живых богов, всех, кто хватается за каждый мелькающий проблеск теории или ощущения, — всех их наука должна навсегда признать своими врагами и главными искушителями.

II

Ученость, понимаемая таким образом, является основой критики. Когда несколько лет назад я опубликовал книгу с подзаголовком “Очерки о единстве гения и вкуса”, педанты и профессора были в восторге, и казалось необходимым подчеркнуть ту сторону критики, которая тогда находилась в опасности, сторону, наиболее близкую к искусству творца. Но профессора были временно вытеснены дилетантами и журналистами, которые относятся к произведению воображения так, как если бы они описывали фейерверк или бой быков (используя фразу Золя о Готье); и поэтому сейчас необходимо настаивать на дисциплине и освещении науки, другими словами, написать “Эссе о расхождении критики и творчества”.

Американская критика, как и английская, но в еще большей степени, страдает от недостатка философской проницательности и точности. Она не унаследовала и не создала традиции эстетического мышления. Для него каждая критическая проблема — это отдельная проблема, проблема в философском вакууме, и поэтому она открыта для обсуждения любым проницательным умом, имеющим вкус к литературе. Реализм, классицизм, романтизм, имажинизм, импрессионизм, экспрессионизм и другие термины или течения в том виде, в каком они возникают, кажутся абсолютными реальностями, а не вопросами, имеющими второстепенное значение для любой философии искусства, — простыми практическими программами, которые имеют примерно такое же отношение к эстетической истине, какое платформа Республиканской партии имеет к “Политике” Аристотеля или к “Капиталу” Маркса. В результате критики постоянно ведут собственную партизанскую войну в пользу какой-нибудь туманной литературной болтовни или социологической абстракции и заново открывают достоинства или пороки индивидуальности, современности, пуританства, романтического духа или духа Среднего Запада, традиций первопроходцев и так далее до бесконечности. Это справедливо для любой школы американской критики, “консервативной” или “радикальной”; для всех них разрозненная совокупность литературных теорий занимает место настоящей философии искусства. “Найди идею, а затем напиши о ней” — такова американская концепция критики. Теперь, в то время как критик должен подходить к литературному произведению без предвзятого представления о том, к чему должно стремиться это отдельное произведение, он не может критиковать его без некоторого понимания того, к чему стремится вся литература. Критик без эстетики — это моряк без карты, компаса или знания навигации; ибо вопрос не в том, куда должно идти судно или какой груз оно должно перевозить, а в том, прибудет ли оно вообще в какой-либо порт, не затонув.

Критика - это, по сути, выражение вкуса, или той способности к творческому сопереживанию, с помощью которой читатель или зритель может заново пережить видение, созданное художником. Это почва, без которой она не может процветать; но она достигает своей цели и становится критикой в высшем смысле только тогда, когда вкус руководствуется знанием и мыслью. Из этих трех элементов, подразумеваемых во всей реальной критике, профессора пренебрегли вкусом и поставили саму мысль в зависимость от знания, в то время как дилетанты сочли возможным обойтись как без знания, так и без мысли. Но даже дилетантская критика предпочтительнее догматической и интеллектуалистической критики профессоров на том же основании, на каком Сент-Бев превосходит Брюнетьера, а Хэзлитт - Фрэнсиса Джеффри; ибо дилетант, по крайней мере, соприкасается с умом художника на уровне воображения и вкуса, в то время как интеллектуалу или моралисту его темперамент и его теории не позволяют когда-либо понять первичный трепет и цель творческого акта.

За любой философией искусства должна стоять философия жизни, и все эстетические формулы кажутся пустыми, если за ними не стоит богатство содержания. Критик, как поэт или философ, может охватить весь мир, и чем дальше он в нем продвинется, тем лучше будет его работа. Однако это не означает, что критика должна сосредоточивать свое внимание на морали, истории, жизни, а не на формах, в которые художник их преобразует. Искусство может дать нам что-то еще; и искать в нем мораль, или экономические теории, или национальный дух - значит искать мораль, экономические теории, национальный дух, но не искусство. Действительно, Соединенные Штаты - единственная цивилизованная страна, где мораль все еще вызывает споры в том, что касается творческой литературы; Франция, Германия и Италия давным-давно освободились от этой поблекшей навязчивой идеи; даже в Англии авторитетные критики не решаются судить о произведении искусства по моральным стандартам. И все же это именно то, что разделяет две главные школы американской критики, моралистов и антиморалистов, хотя даже среди последних есть те, кто маскируется под тех, чье единственное противоречие с моралистами заключается в природе используемых моральных стандартов.

Не принимая во внимание традицию Кольриджа, которой, по-видимому, пришел конец с мистером Вудберри, и влияние "новой психологии", которая еще не приняла определенной формы, кажется, что основных сил, повлиявших на нынешние столкновения в американском отношении к литературе, три. Прежде всего, это концепция литературы как морального влияния, концепция, которая восходит к греко-римским риторам и моралистам и, проникнув в английскую мысль от Сиднея до Мэтью Арнольда, находит свой последний оплот сегодня среди американских потомков пуритан. Существует, во-вторых, шавианская концепция литературы как наиболее эффективного средства выражения нового *мировоззрения*, о которой следует судить по новизне и свежести ее идей, концепция, особенно привлекательная для школы молодых реформаторов, радикалов и интеллектуалов, чей интерес к творческому воображению вторичен и чье обучение эстетическому мышлению было незначительным; это всего лишь обратная сторона пуританского морализма, и она запятнана тем же фундаментальным неправильным пониманием значения творческого воображения. И, наконец, существует концепция литературы как внешней вещи, комплекса ритмов, очарования, красоты без внутреннего содержания или простой театральной эффектности, которая восходит от английских девятых к французским семидесятым, когда идея независимости искусства от моральных и интеллектуальных стандартов была искажена в чисто механическую теорию "искусства ради искусства"; французы обладают особым талантом сводить эстетические истины к жестким формулам, лишенным их первоначального ядра философской реальности, но

тем более эффективным за счет этого для всеобщего завоевания в целом. практические программы.

Очевидный парадокс, с которым не сталкивается ни один из этих критиков, заключается в том, что *мировоззрение* творческого художника, его моральные убеждения, его взгляды на интеллектуальные, экономические и другие темы составляют содержание его работ и в то же время являются главными препятствиями на пути к его художественным достижениям. Из морали или философии он должен создать не мораль или философию, а поэзию; ибо мораль и философия - это лишь часть, и очень малая, всей реальности, которую должно охватить его воображение. Человеку, перегруженному моральными теориями и убеждениями, естественно, было бы легче всего стать моралистом, а моралисты прозаичны, а не поэтичны. Человеку с твердыми экономическими убеждениями было бы легче всего стать экономистом или экономическим реформатором, а экономика тоже - это проза жизни, а не поэзия. Человеку с сильным философским уклоном было бы легче всего стать чистым мыслителем, и призрачный мир поэта рушится, когда он открывается холодному анализу логики. Поэт - это человеческое существо, и поэтому у него, как и у других людей, могут быть убеждения, предрассудки, предвзятость; но чем глубже его интерес к ним, тем легче ему стать моралистом, экономистом, философом или кем-то еще, и тем труднее ему преодолеть их и стать поэтом. Но если гений поэта (а под поэтом я подразумеваю любого автора художественной литературы) достаточно силен, он превзойдет их, обойдет их силой воображения, которое оставляет их позади, даже не подозревая об этом. Хорошо сказано, что мораль - это одна реальность, стихотворение - это другая реальность, и иллюзия состоит в том, что мы считаем их одним и тем же. Совесть поэта как человека может быть удовлетворена иллюзией, но горе ему, если это не иллюзия, ибо именно это мы говорим ему, когда говорим: "Он моралист, а не поэт". Такой человек действительно выразил свои моральные убеждения, вместо того чтобы перескакивать через них в тот мир воображения, где моральные идеи должны интерпретироваться с точки зрения поэзии или художественных потребностей изображаемых персонажей, а не логической или реальной ценности морали.

Этот "перепрыгивание" - испытание всего искусства; оно заложено в саму природу творческого воображения. Это объясняет, например, как моралист Мильтон начал с того, что сделал сатану демоном, и как поэт Мильтон закончил тем, что сделал его героем. Это объясняет слепоту американского критика, который недавно возразил против "вольномудства" стихотворения Карла Сэндберга, в котором сталь рассматривается как сделанная из дыма и крови, и который задал этот вопрос Моржу и Плотнику: "Как может дым, более легкие отходы производства стали, быть одной из ее составляющих, и как дым, который выходит из трубы, и кровь, текущая в жилах сталевара, соотносятся по отношению к стали?" Куда нам подойти к этому драгоценному камню? Более двух столетий назад крик Отелло после смерти Дездемоны,

"О тяжелый час,

Мне кажется, сейчас должно быть грандиозное затмение

Солнца и луны!"

спровоцировал другого критика-интеллектуала задаться вопросом, "могут ли солнце и луна вместе так сильно затмиться в какой-то один тяжелый час"; но Раймера называли "худшим

критиком, который когда-либо жил” за применение подобных тестов к поэзии Шекспира. Более века назад некий аббат Морелле, равнодушный к музыке описания луны Шатобрианом, —

“Она раскрывает в лесу эту великую тайну меланхолии, о которой любит рассказывать старым дубам и древним берегам моря” —

спросил своих читателей: “Как можно называть меланхолию ночи тайной; и если луна рассказывает о ней, почему это все еще остается тайной; и как ей удастся рассказывать о ней старым дубам и древним берегам моря, а не глубоким долинам, горам и рекам?”

Это просто преувеличения неизбежного следствия переноса настроения реальной жизни в мир воображения. “Смысл, смысл, ничего, кроме смысла!” восклицал великий австрийский поэт, “как будто поэзия в отличие от прозы не всегда была своего рода божественной бессмыслицей. Каждый поэтический образ несет в себе определенное доказательство того, что логика не является арбитром в искусстве”. И Альфиери говорил от имени каждого поэта в мире, когда говорил о себе: “Рассуждения и суждения для меня - это всего лишь чистые и щедрые формы чувства”. Опытный экономист, философ или моралист, исследуя идеи поэта, всегда, скорее всего, скажет: “Это не четко продуманные или логичные идеи; это просто фантазия или вдохновение поэта”; и это последняя похвала поэту. Если эксперт найдет тщательно аргументированный трактат, мы можем быть уверены, что не найдем никакой поэзии. Художник дает нам видение реальности, а не реальность, воображение, а не мысль или мораль; и его духовный мир, со всем, что он означает для парящей жизни человека, блекнет и исчезает, когда мы не подвергаем его никакому другому испытанию, кроме испытания реальностью.

Таковы некоторые из элементарных причин, по которым те, кто требует от поэта определенного кодекса морали или манер — “американских идеалов”, или “пуританства”, или, с другой стороны, “радикальных идей”, — как мне кажется, демонстрируют свою некомпетентность как критики. Как мы можем ожидать просветления от тех, кто разделяет врожденную неспособность “типичного американского делового человека” жить в мире фантазий, созданном поэтами, без способности делового человека смотреть в лицо внешним фактам жизни и формировать их по своей воле? Эти люди - школьные учителя, педанты, моралисты, полицейские, но они не критики и не настоящие ценители духовной пищи, которую дает искусство. Творческим писателям Америки я должен передать послание, совершенно отличное от их послания. Я должен сказать им: “Выражайте то, что есть в вас, все то безмятежное или бурное видение многообразной жизни, которое принадлежит вам по праву воображения, веря в свои собственные силы достичь дисциплины и мастерства, и оставьте обсуждение “американских идеалов” государственным деятелям, историкам и философам, с уверенностью, что если вы действительно выразите то видение, которое есть в вас, государственные деятели, историки и философы будущего укажут на вашу работу как на прекрасное выражение “американских идеалов”, которые вы помогли создать”.

Но в обязанности критика не входит устанавливать законы для руководства создателя, хотя он может обладать достаточной проницательностью, чтобы предвидеть некоторые направления, которые, вероятно, примет литература. Он может даже указать на новый материал, которым питается воображение поэтов, — прекрасный фольклор наших коренных индейцев, неизведанные глубины души негра, поэзию и мудрость Азии (которые, возможно, являются нашим главным предназначением интерпретировать для народов Европы), мифы и предания о сотнях рас, которые должны составить новую Америку, и все неоткрытые грани и закоулки

нашей национальной жизни. Я не стану говорить, что эти услуги являются посторонними и неважными, вроде предоставления авторучки, которой написано великое стихотворение; но вторжения в географию воображения являются второстепенными по отношению к главной обязанности критика интерпретировать литературу и разъяснять ее смысл и назначение всем, кто хочет любить и понимать ее.

Первая потребность современной американской критики - воспитание эстетического мышления. Прежде всего, она нуждается в очищающей и стимулирующей силе интеллектуальной ванны. Только пронизывающая дисциплина, проистекающая из интеллектуального овладения проблемами эстетической мысли, может подготовить нас к обязанности интерпретировать американскую литературу будущего. Анархия импрессионизма - естественная реакция против механических теорий и скучных учебников профессоров, но это временное пристанище, а не дом. Случайный эмпиризм английской критики и поблекший морализм нашей собственной нам больше не помогут. Мы должны покинуть эти мутные воды и искать более чистые и глубокие ручьи. В стране, где философы призывают людей перестать думать, задачей критика может стать оживление и реорганизация мышления. Только таким образом мы можем обрести то, чего не хватает Америке, - просветленную разумом душу.

Вторая потребность американской критики может быть выражена словом "стипендия" — та дисциплина знания, которая даст нам в одно и то же время более широкий международный кругозор и более глубокое национальное понимание. Одно проистекает из другого, ибо робкому колониальному духу нет места в сердце гражданина мира; и уважение к таланту туземцев, рожденному из более точных знаний, не позволит нам переоценивать его достоинства и относиться к нему слишком дешево. Полузнание либо слишком робко, либо слишком самоуверенно; и только из этой духовной дисциплины может возникнуть истинная независимость суждений и вкуса.

Ибо вкус, в конце концов, является и отправной точкой, и целью; и третья и величайшая потребность американской критики - это более глубокая чувствительность, более полное подчинение творческой воле художника, прежде чем пытаться подняться над ней в царство суждений. Если и есть что-то, что американская жизнь, можно сказать, дает меньше всего, так это воспитание вкуса. Существует мертвенность художественного чувства, которая иногда заменяется или маскируется пылом социологической одержимости, но это не заменяет способности к творческому сопереживанию, которая лежит в основе всей критики. Когда рождается социальный историк, критик умирает; ибо вкус, или эстетическое наслаждение, - это единственные врата к суждению критика, и над ними горящий указатель: "Критик, оставь всякую надежду, когда эти врата закроются".

“Насиловать Красоту разделяющими силами

Состоит в том, чтобы позволить утонченным сущностям вырваться наружу”.

Только благодаря слиянию этих трех элементов вкуса, интеллекта и знаний американская критика может обрести то, что в одном из своих проявлений называется “индивидуальностью”, а в другом - “стилем”. Только так она может победить в битве с ошеломляющим хаосом и ошеломляющим однообразием американского искусства и жизни.

Мы все самоуверенные, но сбитые с толку дети в мире, который мы не можем понять. Все мы парвеню — парвеню на новом континенте, на окраинах которого некоторые живут

немногодольше других, но никто из нас не посещал его в целом более двух-трех поколений; парвеню в новом мире пара и электричества, радиосвязи и аэропланов, машин и промышленности, который никто из нас пока не смог подчинить форме, удовлетворяющей наши глубочайшие потребности; парвеню в нашей культуре, которая все еще кажется заимствованной одеждой, а не плотью от нашей плоти и костью от наших костей. Какая польза от всех инструментов, созданных нашими руками, если у нас нет ни воли, ни воображения, чтобы использовать их для нужд души? Не таким образом мы оправдаем нашу старую мечту об Америке, которая является надеждой всего мира. Здесь сотни колледжей и университетов; почему бы не заполнить эти пустые казармы учеными и мыслителями? Здесь сотни рас; почему бы не сказать им: “Америка может предоставить вам щедрые возможности и самые превосходные инструменты, которые когда-либо создавала недисциплинированная энергия практической жизни, но в духовных областях искусства, поэзии, религии, культуры она может дать вам мало или вообще ничего; давайте все работать вместе, изучая и создавая эти высокие вещи бок о бок”? Здесь больше пустых и нереализованных сердец и больше беспокойных умов, чем когда-либо прежде собирал мир; почему бы не вывести их из их загона и не найти подходящее пастбище для их мозгов и душ?

Дж. Э. Спингарн

Глоссарий

Английский язык, необычайно богатый и выразительный во всем, что касается практической или творческой жизни, страдает от бедности и отсутствия точности английской эстетической мысли. Поэтому, возможно, будет полезно кратко указать на особый смысл, в котором определенные термины используются в этом эссе.

“Зритель: Я должен сказать, что вы продвинули тонкость, которая немногим больше, чем игра словами.

“Друг: И я утверждаю, что, когда мы говорим о деятельности души, никакие слова не могут быть достаточно деликатными”. — Гете.

Искусство— Любое творение воображения, будь то в форме художественной литературы или живописи, скульптуры, музыки и т.д.

Художник— создатель произведения искусства в любой из его форм; не используется в данном эссе в более узком смысле живописца или скульптора.

Вкус— способность к творческому сопереживанию, с помощью которой читатель или зритель способен заново пережить видение художника, и, следовательно, необходимая предпосылка для любой критики.

Критика- Любое выражение вкуса, основанное на знаниях и размышлениях. (Обучение критика знаниям - это эрудиция, а его особая область мышления - эстетика.)

Эстетика— упорядоченная и аргументированная концепция смысла и назначения искусства, предназначенная для руководства критиком, а не художником.

Литературная теория— изолированная “идея” или теория в отношении художественной литературы, без ссылки на какую-либо упорядоченную и аргументированную концепцию ее значения и цели.

Критика импрессионизма— Любое выражение вкуса без надлежащего руководства знаниями или мышлением.

Интеллектуалистическая (или догматическая) критика— критика, основанная на концепции, что искусство является продуктом мысли, а не воображения, и что творческая фантазия художника может быть ограничена и оцениваться заранее разработанными теориями критика; или, выражаясь более витиеватыми словами Фрэнсиса Томпсона, критика, которая “вечно подстригает дикие локоны поэзии между ржавыми правилами”.

Интеллектуалы— Все, кто чрезмерно подчеркивает место интеллекта в жизни и предполагает, что бурный поток реальности можно связать в аккуратные пакеты интеллектуальных формул.

Поэзия— вся литература, в которой реальность была преобразована воображением, включая поэзию в ее более узком смысле, роман, драму и т.д.; используется вместо “литературы воображения” не только ради краткости, но и как подразумевающая особый акцент на творческой силе.

Поэт— Автор художественной литературы в любой из ее форм; не используется в данном эссе в более узком смысле как автор стихов.

Обучение— накопление определенных форм знаний как основы для получения стипендии, но не более главная цель стипендии, чем его подготовительная подготовка, является единственной целью спортсмена или солдата.

Ученость— дисциплина и просветление, которые приходят от интеллектуального овладения определенной проблемой в духовной (в отличие от практической) жизни человека.

Педант— Любой, кто думает, что обучение - это вся ученость.

Дж . Эс .

ШКОЛЬНАЯ И СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Если мы когда-нибудь примем у себя умного исследователя с Марса, нам, конечно, следует расспрашивать его, в любое время года, о его впечатлениях об Америке. И если бы он был не только умен, но и откровенен, его можно было бы в конечном итоге опросить примерно следующим образом:

“Сначала я подумал, что самым поразительным фактом в тебе является твоя страсть к образованию. Пока я наслаждался вашим безграничным гостеприимством, я встретил меньшинство американцев, которые менее самодовольно, чем остальные, высказываются о ваших материальных благах; я разговаривал с несколькими диссидентами от вашей политической теории; и я даже слышал жалобы на то, что моральный энтузиазм может зайти

слишком далеко. Но я еще не встречал ни одного американца, который скептически относился бы к образованию как таковому, хотя, с другой стороны, я обнаружил, что мало кто из ваших граждан вполне доволен работой каждой части вашего учебного заведения. И именно это недовольство укрепило мое первое впечатление о том, что школьное образование - самый жизненно важный из ваших страстных интересов.

“И все же, когда я путешествовал из одного в другой из ваших городов, второй факт о вас поразил меня с такой силой, что оспаривает превосходство первого. Вы, американцы, все больше и больше кажетесь мне по сути одинаковыми. Ваши города похожи меньше, чем поезда, курсирующие между ними. Почти любая община могла бы молиться с таким же комфортом почти в любой другой церкви. Актеры почти любых двух пьес, сотрудники почти любых двух газет, даже факультеты почти любых двух колледжей могли бы обменяться ‘транспортными средствами’ примерно с теми же результатами, что и при обмене одеждой.

“И ни в чем вы так не похожи, как в вашем всеобщем желании быть похожими — быть незаметными, надевать соломенные шляпы в один и тот же день, менять одежду в Техасе в соответствии с сезонами года в Нью-Йорке, читать книги, которые читают все остальные, перенимать мнения, которые еженедельник составляет для вас из почти единообразных мнений всей ежедневной прессы, в "Войне и мире" быть неоспоримо и полностью американцем.

Я бы вряд ли осмелился так откровенно рассказать об этих наблюдениях, если бы некоторые из моих новых друзей не успокоили меня информацией о том, что они не новы, что выдающийся англичанин поместил их в то, что вы сочли наиболее репрезентативным, и сделал самую популярную книгу о вашем содружестве, что на самом деле вам скорее нравится, когда посторонние признают успех ваших усилий по единообразию. Конечно, нет причин, по которым вы не должны быть так похожи друг на друга, как вам хочется, и вы не должны истолковывать мое удивление как то, что я шокирован чем-либо, кроме противоречия, которое я нахожу между этим существенным сходством и тем, что я назвал вашей страстью к образованию.

“На Марсе долгое время нашей идеей было, что функция школы состоит в том, чтобы познакомить нашу молодежь с тем, о чем думали и думают все виды марсиан, что чувствовали и продолжают чувствовать. Я говорю ‘поддерживать контакт’, а не “учить”, потому что в наши намерения входит не столько наполнять их умы и сердца, сколько предлагать образцы наших различных культур и снабжать ключами от хранилищ — мало чем отличающихся от ваших библиотек, музеев и лабораторий, — в которых хранятся наши записи. Мы предпочитаем думать о школьном образовании как о своего рода магистрали между нашим прошлым и нашим настоящим, пути к восстановлению и осознанию как можно большего числа тех бесчисленных различий между марсианами и жителями Марса, тех противоречивых спекуляций и размышлений, мифов и гипотез относительно нашей планеты и нас самих, которые вошли в основу нашей ментальной истории. Таким образом, мы надеялись не только сохранить и дополнить совокупность марсианских знаний, но и лучше понять и более разнообразно использовать наш нынешний разум. Поэтому нам кажется совершенно естественным и скорее радует, чем огорчает, что наши студенты заканчивают учебу с множеством различных симпатий, убеждений, вкусов и амбиций. Мы думали, что такое образование обогатит жизнь всех нас, жизнь, которую невежество не могло не ограничить и превратить в монотонное жужжание барабанов.

“Итак, когда я вернусь на Марс и сообщу, что обнаружил самый благоприятный континент Земли, населенный самым грамотным великим народом, народом, который довел использование печати и других средств коммуникации до уровня, о котором мы, марсиане, никогда не смели мечтать; что у этого народа одновременно самый широко распространенный энтузиазм в отношении образования и самое полное школьное оборудование на Земле; и, наконец, что этот народ в то же время самый единообразный в своей жизни — что ж, боюсь, мне не поверят”.

При последующих посещениях марсианин мог бы, как поступает мудрый человек, оказавшийся в логическом тупике, пересмотреть условия своего парадокса.

Что касается нашего единообразия, свежие свидетельства могли только подтвердить его первые впечатления. Рудиментарные остатки тех региональных культур, которые у нас были, быстро стираются нашей бездумной стандартизацией во всех сферах жизни. Железные дороги, телефон и телеграф, газеты, автомобили Ford, кинофильмы, реклама — все это едва успело стандартизироваться, как уже приступило к стандартизации всего, что находится в пределах их досягаемости. Даже наши живописные провинции не застрахованы от мест и вещей, о которых нам нравится думать как о “непохожих” (слово, которое выдает наше стандартное однообразие!) и гламурных времен нашего романтического золотого века. На Старом Юге Бирмингем любит называть себя Питтсбургом Юга; наши железные дороги практически преследовали посылки с Миссисипи; печально известно, что наши апостолы индейцев, будь то политические, религиозные или педагогические, ведут беспощадную войну с теми самыми обычаями и традициями, которые мы бережно храним в легендах; прекрасные Миссии, завещанные им более добрым евангелизмом, повторяются и обесцениваются в каждом пригороде и деревне страны, под каждым более суровым небом; те некогда спонтанные праздники равнин, “Паническое бегство” и “Облава” были сделаны настолько поддельными, что местные жители отказались от них ради изъеденного молью шоу Дикого Запада, сделанного на Востоке; и всего через год или два даже новоорлеанский Марди Гра будет неотличим от подделок в Сент-Луисе и других местах.

Как и в случае с этими случайными и, возможно, не очень важными региональными различиями, так и в случае с одной фундаментальной демаркацией, которую наш народ всегда признавал обуславливающей взаимные уступки в американской жизни. Граница между Востоком и Западом, проходящая от Аллеганских гор до Скалистых, а затем часть пути обратно, никогда не оставалась достаточно долго в одной зоне, чтобы ее можно было точно провести, но она всегда четко ощущалась. С колониальных времен Восток означал многое — богатство, стабильность, контакты с Европой, утонченность, промышленность, централизованные финансы, — а Запад означал многое — трудности и приключения, Эльдorado, вне закона, уверенность в себе, сельское хозяйство, обширную предприимчивость; но они никогда не были так близки к значению тех же вещей, что и сегодня. Завтра они сольются воедино. Даже сейчас географическая граница между ними может быть проведена где угодно в поясе шириной в две тысячи миль, где она будет определяться скорее происхождением критика, чем какими-либо ярко выраженными социальными стигматами. На востоке или Западе существует большая пропасть между интеллигентными и неразумными жителями одного и того же прихода, чем между интеллигентами разных приходов. На Востоке или Западе американцы думают практически о тех же мыслях, испытывают примерно те же эмоции и выражаются на американском языке, то есть на сленге. Если сленг, акцент, манеры заметно различались, как

это происходит до сих пор, нет никаких нежелательных признаков того, что следующее поколение сотрет и эти различия. Издательское дело, безусловно, имеет тенденцию концентрироваться на Востоке, хотя и не обедняя Запад, поскольку все заметные тиражи должны быть национальными, чтобы выжить. Сам факт, что издательская деятельность в стране может осуществляться из Нью-Йорка, Филадельфии и Бостона, демонстрирует наше национальное единодушие во взглядах и самовыражении.

Прежде чем преодолеть географические барьеры, это национальное единодушие стерло все классовые различия, кроме одного, которое оно неуклонно стремилось укрепить, — денежной линии. Семьи могут продолжать удерживать свое место только при условии, что они сохраняют свои деньги или получают больше; и умеренное состояние, каким бы быстрым оно ни было, стоит лишь сделать несколько правильных взмахов, избежать нескольких очевидных провалов, и оно случайно создаст семью. Этот процесс настолько прост, что клерки практикуют его во время своего отпуска на берегу.

Помимо денег, есть еще одно качество — личное обаяние. Его главная функция, возможно, заключается в том, чтобы замаскировать по сути денежный характер американской общественной жизни. Во всяком случае, американцы почти столь же одинаково обаятельны, сколь и одинаково жадны. По большей части это негативное очарование, тщательное обхождение определенных национальных табу: оно избегает откровенного эгоизма, неблагоприятной критики, интеллектуальной утонченности, уникальных проявлений темперамента, юмора, не уважающего людей, всего, что могло бы нарушить *статус-кво* взаимной доброты и самодовольного оптимизма. Непопулярный американец непопулярен не потому, что он простофиля или зануда, а потому, что он “тщеславный”, “наглец”, “высоколобий”, “чокнутый”, “брюзга” или что-то в этом роде. Мы не выбираем, как предположил марсианин, быть как можно более похожими; мы выбираем *не* быть непохожими. Если бы наши убеждения об Америке и том, что является американским, проистекали из реального знания самих себя и своих способностей, мы должны были бы радоваться эгоистам, бескорыстным критикам, интеллектуалам, художникам и непочтительным юмористам, вместо того чтобы подавлять их, когда мы не можем их сформировать. То, что мы не наслаждаемся ими, что мы защищаемся от них, свидетельствует о том, что мы их боимся. Какая у нас должна быть причина их бояться, кроме тайного недоверия к нашим утвержденным убеждениям? Таким образом, наше единодушие показалось бы марсианину искусственной заменой некоторого естественного фона, которого у нас нет, но который мы хотели бы иметь; и это самое опасное исполнение желаний, поскольку оно маскирует наше незнание того, кто мы есть и кем мы можем разумно стать. Американизм, далекий от самопознания, показался бы ему галлюцинацией, догматом веры, поддерживаемым только нашей решимостью верить в него и принуждать к этому других. Секрет нашего единообразия заключался бы в упорном невежестве.

В этот момент нашему критику пришлось бы пересмотреть свои прежние впечатления о нашей “страсти к образованию” и попытаться понять, для чего мы на самом деле используем наше учебное заведение, оценить его функцию в нашей жизни.

Начиная с детского сада, это дает нам несколько часов отдыха от ответственности перед нашими детьми. Любопытно, что американцы, наиболее склонные к этому уклонению, наиболее сентиментально относятся к “детишкам” и больше всего не хотят использовать систему детских садов, считая это каким-то образом недемократическим вторжением в права ребенка. Затем,

где-то в начальных классах, мы начинаем чувствовать, что обретаем облегчение от бремени фундаментального обучения. Будучи умственно ленивыми, отвлеченными и искренне сбитыми с толку потоком вопросов только из одних уст, мы беспечно относим это пробуждающееся любопытство к измученной молодой женщине, вероятно, менее информированной, чем мы, которая должна отвечать или заставлять замолчать вопросы от двадцати до трех десятков ртов. Так начинается то долгое подавление любопытства, которое позже поставит в тупик преподавателя колледжа, который иногда напишет умное журнальное эссе о самодовольном невежестве своих учеников.

Прошло несколько лет, и наши ожидания сместились к главному шансу. Мы начинаем беспокоиться из-за отчетов об оценках и хмурить брови над задачами по арифметике, чтобы помочь нашим отпрыскам воспользоваться практическими преимуществами образования. Что касается ребенка, то теперь мы требуем от его учителей основательной и длительной подготовки в тех областях, денежная стоимость которых в нашем офисе или в системе оплаты труда по дому постоянно держится перед нами в поле зрения, — в цифрах, чистописании, правописании, домоводстве. Для нас - заместительная слава его “сияния”. Но мы хотим, чтобы эта яркость имела значение, чтобы она была прямым путем к его карьере; поэтому мы укрепляем среду, которая мягко отговаривает его от первоцветных путей познания. Ничто “практичное” не подходит мальчику в данный момент — ящики с инструментами, велосипеды, беспроводные сети, что угодно. Слава Богу, мы можем дать ему лучшее начало, чем у нас было. Что касается искусства и литературы, что ж, мы предполагаем, что то, что было достаточно хорошо для его отца, достаточно хорошо и для него. Между тем, мы скорее довольны, чем нет, легкой атлетикой и другими видами деятельности, в которых начальная школа подражает средней школе, которая подражает колледжу.

Длинная спираль повторяющегося обучения в учебе и спорте теперь начала свой подъем: год за годом пересматриваются и добавляются новые материалы к прошлогодним предметам в классе и на поле. Так ли уж странно, что, когда мальчик знакомится с профессорами своего колледжа, он уверен, что знает на волосок границы того, что является нормальным и важным в жизни, за которыми лежат ненормальные интересы гриндов? Эта посредственная буква “С” - признак джентльмена? Не ему подвергать сомнению систему, которая в сезон и вне его опирается на прохождение, а не на обучение, и которая где-то заканчивается, рано или поздно, получением диплома и, под аплодисменты семьи, выходом из семейного контроля.

В вузах должны соответствовать девяносто пять процентов. своих подопечных на жизнь, а на пять процентов. для колледжа. Если нашим мальчику и девочке девяносто пять, мы требуем очень ранней специализации в их драгоценной карьере, восторгаемся образцовым торговым и банковским учреждением в школе, расширяем знания о том, что нашим детям преподают курс “Гражданского права”, великодушно восхищаемся тетрадями по истории, в которых они размазали много цветных чернил по небольшой стереотипной информации, и, обманывая себя, верим, что на полях всех этих статей гордо наблюдаем, как они записывают номер класса или школьную букву, ворчливо платим за вывески недвижимости, которые сгорели в честь какого-то события. эпохальная победа, и терпеть их выходки во время дедовщины и посвящений. Это демократическая страна, и если сын бедняка не может поступить в колледж, почему колледж должен перейти к нему? Мы также не лишены определенного недемократического удовлетворения от мысли, что он на четыре года опередил сына богача в бизнесе, который, как

мы уверяем себя, проводит время в колледже, приобретая привычки, которые сделают его слабым в час соперничества.

Тем временем ведущие преподаватели пичкают остальных пятерых всеми датами, правилами, глаголами и отрывками из прозы, которые, как показал долгий и горький опыт, наиболее вероятны на вступительных экзаменах. В аудиториях, по мере того как семестр следует за семестром с его бесконечной чередой коротких авансов и длинных отзывов, нарастает жесткое соперничество: магистры чинно выдвигают требования своих колледжей; ученики радуются, когда их будущая альма-матер вносит очередную спортивную победу в хорошо запомнившийся список; слабонервные убеждают своих сбитых с толку родителей в превосходстве пути “черным ходом” в какой-нибудь строгий университет — с получением сертификата в небольшой колледж и переводом в конце первого курса.

Есть средние школы, в которых все это еще мягко сказано; и, конечно, есть бесчисленное множество других, особенно в наши дни, когда самые строгие колледжи немного утратили веру во вступительные экзамены, где это абсурдное преувеличение. Тем не менее, ваш сын, если он поступает в представительный восточный колледж из представительной средней школы, поступает как мужчина, занимающий второе место в седьмом классе. И его последующие наставники восхищаются той воздушной беспечностью, с которой он игнорирует “лучшие стороны жизни”!

В частных средних школах, за исключением тех, которые, откровенно говоря, предназначены для того, чтобы избавлять родителей от непокорных мальчиков, когда в государственных школах их больше не будет, практически нет девяноста пяти процентов мужчин, не окончивших колледж. Часто они имеют своих подопечных на более длительные периоды. Таким образом, они могут свободно специализироваться на зубрежке с большей целеустремленностью и в то же время смягчать процесс, насколько позволяют их способности и атмосфера. Но, по сути, требование, которое вы предъявляете к “подготовительной школе”, - это то же самое требование, которое ваш бухгалтер предъявляет к средней школе своего сына: вы хотите, чтобы ваш мальчик поступил в колледж с минимумом хлопот для себя и максимальной практической пользой для него; ваш бухгалтер хочет, чтобы его сын занялся бизнесом с минимумом безделушек и максимумом навыков, востребованных рынком. Один мальчик получил образование в колледже, другой - в бизнесе. Вы оба принадлежите к числу тех страстных сторонников образования, которые произвели впечатление на марсианина во время его первого визита.

Какой-то преподаватель объявил, что курс обучения в колледже должен не только обеспечивать подготовку к жизни, но и сам по себе должен быть удовлетворительной частью жизни. Какой студент колледжа настолько туп, чтобы не знать этого? По большей части он доверяет преподавательскому составу обеспечить подготовку — иногда может показаться, что он отваживается на это, — но он очень заботится о том, чтобы эти четыре года дали ему жизнь с избытком. Он ждал их с нетерпением, которому не могли помешать даже унижительные вступительные экзамены; он проживет их на пределе своих возможностей; и он будет вспоминать о них с нежностью, даже сентиментально, как о самом ярком пятне своих дней. Таким образом, американский студент-старшекурсник является представителем американского темперамента в лучшем его проявлении. Он - цветок нашей молодежи в момент ее

совершенного расцвета, ее идеалы еще не испорчены, ее устремления не увядли. Так, как он думает и чувствует, думала бы и чувствовала вся Америка, если бы осмелилась и могла.

Таким образом, на данном этапе запрос марсианина о том, чего мы ожидаем от нашего учебного заведения, должен был бы сместить его точку зрения со старшего поколения на младшее. Марсианин был бы очень востребован в наших колледжах и как первоклассный лектор, и как блестящая мишень для получения ученых степеней, которые наверняка привлекут широкую огласку среди жертвователей. Давайте представим, что он выделяет страницу в своей записной книжке для схемы акцентов, сделанных студентами, сгруппированных и исправленных по мере того, как его триумфальный прогресс позволял ему проверять свои наблюдения.

Легкая атлетика, конечно, возглавила бы список. Рассматриваемые как игра, то есть поскольку они воздействуют на зрителя, спортивные состязания колледжей предлагают серию захватывающих римских каникул, продолжающихся примерно с первой недели семестра до финальной игры с базовым мячом и командной гонки на выпускной неделе в июне следующего года, а для некоторых колледжей в середине лета или позже могут быть трансатлантические продолжения. Это ни в коем случае не игра для зрителя, чья лояльность к своему учреждению делает его долгом наблюдать за тренировками команд, следить за историями гладиаторов, которые одновременно являются его представителями и его развлечениями, и упражняться в песнях и вояжах на шумных массовых собраниях; делать ставки на свой колледж в соответствии со своим кошельком и без малейшего уважения к его трезвому суждению относительно события; затем облачиться в цвета, выйти на поле и наблюдать за дракой из зала аплодисментов, где его внимание будет постоянно отвлекаться приказами и оскорблениями других игроков. Вереница ненасытных марионеток, которые здесь для того, чтобы диктовать, когда он может, а когда нет давать волю своему энтузиазму; и, наконец, если Провидению будет угодно, стать одним из танцующих змей, празднующих победу. Если у него подходящее телосложение или талант к какому—либо виду спорта, общественное мнение призвет его вступить в долгий и изнурительный режим, который ежегодно формирует горстку спортивных героев - поработать в отрядах первокурсников, в командах класса, в третьей и второстепенной командах и, наконец, возможно, если он был верен себе, сыграть скучную минуту или две в большой игре, решение в которой уже принято, и таким образом получить желанное письмо и дополнительные привилегии в качестве благотворительной помощи. Или на самой головокружительной вершине успеха, “звездой”, терпеть неослабную дисциплину летней практики, непрерывные тренировки, есть со своими коллегами-звездами за тренировочным столом, в сезон и вне его подвергаться наставлениям и увещаниям со стороны всех экспертов окружения. Таким образом, поскольку они влияют на участника, занятия спортом в колледже следует рассматривать как работу, которая отличается от работы профессиональных спортсменов главным образом тем, что она не оплачивается.

Следующая по значимости забота студента - организация общественной жизни в академическом сообществе, гражданином которого он является. Каждый американский колледж имеет или воображает, что имеет, свой стиль, свой идеальный тип человека; а добропорядочность предписывает соответствие духу заведения и соблюдение буквы его неписаного кодекса. Ибо тип определяется набором обязательств и табу, передаваемых из поколения в поколение, иногда через рупор факультета, иногда посредством “Библии” колледжа (если использовать жаргонное название тех удобных руководств о том, что делать и

чего избегать, которые YMCA колледжа выпускает для руководства новичками), но чаще всего грубым процессом проб и ошибок, который очень быстро убеждает первокурсника в том, что Забор предназначен только для пожилых людей, или что невозможно курить трубку во дворе, или что гораздо полезнее ходить по улице. Воздух в классной кепке лучше, чем с непокрытой головой. Бережно хранимые "традиции" колледжа по большей части представляют собой совокупность именно таких привилегий и запретов, которые группируются вокруг понятия типа и символизируют его; и, что любопытно, чем моложе учебное заведение, тем более настойчивым оно, вероятно, является в отношении святости своих традиций — колледж испытывает потребность в типе почти в той же степени, в какой фабрика нуждается в товарном знаке.

Таким образом, конформность становится неотъемлемой частью лояльности. Иногда само соответствие является желаемой добродетелью, как это обычно (по крайней мере) было в Йельском университете. Иногда этот тип людей склоняется к индивидуализму, как в Гарварде десять лет назад, где единственным, к чему нужно было приспособливаться, было несоответствие. Одна традиция, вероятно, универсальна: есть ли где-нибудь в Америке колледж, который не хвастался бы тем, что он более "демократичен", чем другие? Демократия претерпевает некоторое привлекательное переопределение в поддержку этих противоречивых утверждений, но в основе своей это означает отсутствие снобов, высокомерных критиков, непостижимых интеллектуалов, остряков, неуютных пессимистов — короче говоря, подавление именно таких индивидуальных вкусов и энергий, которые Марсианин обнаружил обескураживающими в нашей общественной жизни в целом. Денежная линия остается неизменной. Теоретически бедные могут соревноваться в легкой атлетике и в других студенческих организациях и получать те же социальные награды, что и богатые: практически они могут соревноваться и оставаться социально незащищенными, точно так же, как и во внешнем мире. Естественно и пристойно, что так и должно быть, поскольку бедные не могут позволить себе возможности общения, которые являются дыханием общества для богатых. Были футбольные герои, которых состоятельные люди помогли им разбогатеть после окончания колледжа, но это покровительство, а не демократия. Есть также колледжи, гордящиеся тем, что известны как колледжи для бедных, и именно по этой причине лишенные демократии, которой они хвастаются. Не так давно президенту Вальпараисо пришлось уйти в отставку, и выяснилось, что среди выдвинутых против него обвинений были убийственные факты о том, что он присутствовал на ежегодном ужине выпускников в парадной одежде и поощрял "танцы, атлетику, братства и тому подобное". Нет, все, что мы на самом деле подразумеваем под демократией в колледже, — это равные возможности вкладывать свое безобидное обаяние и вполне приличные деньги в преходящее общество, быть добрососедами по географическим и семейным признакам, культивировать местный поворот универсального идеала — быть "обычным парнем". Это во многом то, что мы подразумеваем под внешней демократией. Каким бы ни был конкретный тип человека, который превозносит колледж, его характерными добродетелями являются те, которые отражают единый народ — искреннее принятие неизведанных идеалов, верное следование традиционным стандартам и табу, неприятная скромность в "ведении игры" и, кроме того, здоровый оптимизм.

Но что касается подлинной демократии, неограниченного взаимодействия свободных душ на общем фоне, то какой колледж может похвастаться тем, что его социальная организация приближается хотя бы к той мере равенства, которой пользуются его бескорыстные ученые? Толика этого присутствовала в системе свободного выбора, которая была введена в Гарварде доктора Элиота. Существовало безразличие к старшинству, которое сильно озадачивало

выпускников других колледжей. Увы, общежития первокурсников обрушились на него, предательски неся знамена “демократии”; и “групповая система” курсов начала воплощать интеллектуальные интересы, которым система выборов, какой бы злоупотребляемой она ни была, предоставляла все возможности для спонтанности. Возможно, что Амхерст из экспериментов доктора Мейклджона или Смит, которого представляет президент Нильсон, вернут возможности, ускользнувшие из Кембриджа. В конце концов, эти случаи исключительны. Ибо типичный американский колледж, частный или государственный, распределяет своих студентов по двум кастовым системам, настолько универсальным и настолько знакомым, что нам никогда не приходит в голову тщательно исследовать одну из них, и мы склонны критиковать другую только тогда, когда ее излишества выдают ее упадок.

Первый вариант - разделение каждого новобранца на дивизии и присвоение ему пометки с указанием года его выпуска - выглядит невинным удобством, пока вы не изучите его влияние на полк. Первокурсники еще зеленые; поэтому мы нахлобучиваем на них нелепые шапочки, называем “Фрош” или “Фиш”, подвергаем их травле, запираем на такой же улице в Йорке или помещаем в общежития для первокурсников, где призываем их беречь себя, что они и делают на втором курсе за счет следующего урожая новобранцев. Здесь нас должны останавливать не столько случайные проявления жестокости на вечеринках дедовщины и “пикниках”, ни такие редкие происшествия, как, вероятно, безумное отчаяние того первокурсника Гарварда, чья фобия к яйцам довела его до самоубийства, чтобы избежать жесткой диеты своего класса, сколько безжалостное вторжение толпы в личность и частную жизнь, которое либо делает впечатлительного мальчика жертвой его растущей чувствительности, либо превращает его в солдафона, который, в свою очередь, будет калечить других. В случае с первокурсником из Корнелла, которого выгнали за то, что он упрямо отказывался носить классную кепку, и которого спас от новых утечек исполняющий обязанности президента, который посоветовал ему — “со всей дружелюбностью”, - заявили газеты!—чтобы подчиниться или уйти из колледжа на год, необязательно аплодировать тому, что могло быть упрямством жертвы, или сдирать кожу с того, что могло быть мудростью руководителя, чтобы восхищаться единственной профессоршей, которая была готова уйти в отставку, чтобы упрекнуть свой колледж в ее фанатизме. Однако что здесь было действительно важным и что повсеместно характерно для такого рода доброжелательной ассимиляции, так это тон редакционной аполгии university daily:

“Полная свобода действий никогда не признавалась никем, кроме признанных анархистов; если признать законность закона, при его исполнении не может быть обвинений в нетерпимости”.

Юридическая “обоснованность” произвольной традиции! Никакой “нетерпимости” в ее исполнении судьей Линчем! Редактор Cornell Sun далее сказал, что существование “закона”, о котором идет речь, “не является секретом для будущего корнелльца”, подразумевая, без сомнения, что предлагать себя для поступления в Корнелльский университет - это *ipso facto* принять всю совокупность итаканских традиций и табу, наряду с их интерпретацией и применением в соответствии с сиюминутным капризом большинства, как *противоположный социальный акт*. Неудивительно, что он назвал упрямого первокурсника “красным”. Рассуждения молодого редактора должны рекомендовать ему досрочное назначение на место под большим Солнцем.

Кастовая система академического старшинства, как и все кастовые системы, наихудшая в своей основе. Такие обычаи, как уединение представителей высшего класса в их частных каре или овалах, ревнивая защита привилегий старших и составление календаря программы для выпускников, вносят живописное, хотя и несколько вынужденное разнообразие в наше унылое однообразие. То, что люди должны объединяться для защиты каких-то более или менее неуместных различий, не имеет особого значения для посторонних, пока они не используют свою организацию для запугивания меньшинств или запугивания отдельных людей. Тем не менее, выскажитесь против эксплуатации, и вас обвинят в нападении на братство. Критикуйте скованность первокурсников, и редакторы колледжей не захотят называть вас фанатиком, который не выносит веселого вида шапочки и мантии.

Другая кастовая система, которой мы уделяем пристальное внимание, когда что-то идет не так, - это, конечно, клубная иерархия. Где бы ни существовали клубы, их социальный капитал обязательно будет колебаться в зависимости от качества членов, которых они принимают. Реформаторы, которые осуждают институт "спешки", конечно, преувеличили его пагубность, но зло есть. В молодых колледжах и везде, где клубы небезопасны, кандидаты могут быть испорчены для любых клубных целей до того, как будет определено их предназначение; везде, где кандидаты должны осуществлять ухаживание, нагло или утонченно, они склонны развращать клуб. Дилемма сохраняется, в той или иной форме, на всем пути от противостоящих друг другу "литературных" обществ захолустного колледжа до самых влиятельных отделений национальных братств; и она особенно остра там, где здание клуба одновременно является резиденцией студента. Любое лекарство, предложенное до сих пор реформаторами, хуже самой болезни.

Во многих старых колледжах равновесие было стабилизировано с помощью механизма, аналогичного джентльменскому соглашению в промышленности. Важные клубы постепенно превратились в серию, через которую проходит член клуба или в которую он проникает настолько, насколько позволяют ему его личность и деньги. Таким образом, первоначальный конкурс на непроверенный материал отменяется или значительно упрощается; один или два крупных клуба первокурсников или второкурсников принимают всех вероятных кандидатов; клубы юниоров в основном выбирают из этого числа; а клубы старших классов, в свою очередь, выбирают юниоров. Тем временем оборот участников, возможно, утроился, а количество инициаций и других гомосексуальных мероприятий множится.

Однако следует помнить, что не все братья год от года продвигаются вперед. Многим приходится довольствоваться уже выигранными клубами, а те, кто проходит дальше, представляют собой сужающуюся группу, чьи истощенные ряды ни в коем случае не восстанавливаются в ходе предвыборной кампании "выборы в целом", предсмертных жестов демократии после карьеры голосования по исключению кандидатов, которые не получили всех предыдущих степеней. Таким образом, растущее различие достигается испытанным методом уменьшения численности. Безусловно, той же цели можно было бы достичь, если бы все оставались в одном клубе и периодически отбрасывали группы из наименее вероятных членов. Инициации могли бы быть отменены, а удары кулаками раздавались бы в честь освещения корабля: это было бы не более фантастично, чем добрая часть существующего церемониала. Но — это было бы недемократично! И, кроме того, празднования могут быть смертельно веселыми. Нынешняя дисциплина перед посвящением проверяет на регулярность и удостоивает почестей незаметных, так что посвященные получают в значительной степени выдающимися, а

развлечения, которые они предоставляют, являются безопасно традиционными. Но поверните процесс вспять, соберите в одну команду всех матросов, которых подозревают в исключительности, — всю необычную рыбу и необычные палочки, — и невозможно предсказать, какие каперсы они могут нарезать, проходя по доске.

Настоящим злом клубной касты является ее стремление к предсказуемости, стандартизация контактов, слегка циничная утонченность, когда жизнь может быть буйством приключений, экспериментов и самопознаний — одним словом, ее респектабельность. Не то чтобы это не обеспечивало хорошего общения и большого удовольствия (включая разновидности, которые огорчили его моральных критиков). Но то, что все, что он предоставляет, настолько определено предусмотрено*для*, так институционализировано и так защищено от обогащения, которое могут принести ему различные типы и условия жизни людей, что он является исключительным в более зловещем смысле, чем тот, который подразумевают критики его предполагаемого снобизма.

Обычно клубная система ни в коем случае не является такой снобистской, как о ней думают; она не любит и склонна наказывать черным мячом за заискивание перед обществом и демонстрацию особых привилегий. Ибо молодость есть молодость, и, в конечном счете, она враг касты. Слава студенческой жизни в том, что самые неожиданные дружеские отношения преодолевают барьеры, установленные классными и клубными правилами. Жаль, что изгороди, которые так легко поддаются нерегулярным дружеским отношениям, как только они обнаруживают себя, тем не менее, должны быть достаточно прочными, чтобы загнать своих жертв мимо стольких непризнанных возможностей для спонтанного общения. Выпускник, который с нежностью вспоминает свои безмятежные дни, скорее всего, вспоминает Пикник выпускников и свой ряд черепичных домов, чтобы вспомнить окутанные дымкой октябрьские вечера с табаком и ленивыми воспоминаниями на подоконнике с кем-то, кто ничего не добился в классе или клубе, или тоскует по полуночным спорам, которые у него были с тем парнем, который жил на первом курсе, — ночами, полными стремительных размышлений и теплыми от щедрых сражений. Об этих тайных сладостях он ничего не скажет; он обычный человек; но он дает одно из доказательств того, что протоптанные социальные каналы недостаточно глубоки, чтобы вынести все вино свободного общения. И то, что даже умеренная каста колледжей, как кажется, прочно утвердившаяся, должна защищаться от молодежи (даже от своей собственной молодости!), демонстрируют два явления, которые невозможно удовлетворительно объяснить ни с помощью какой другой гипотезы. Что такое все это торжественное ряжение, нелепый ритуал, помпезные шествия в храмы кошмарной архитектуры и обратно, все священное здание тайных братств, если это не вышивка, при помощи которой скрывается от нынешних и будущих приверженцев неприкрытая обыденность культа? И, с другой стороны, что такое слишком ранняя зрелость, атмосфера вежливо-пресыщенной вялости, вездесущие атрибуты комфорта и непринужденного гостеприимства, которые характеризуют не секретные городские клубы “индифферентного” колледжа, но так много обезоруживающих признаний в предсказуемости всего — предсказуемости и необходимости спокойного принятия? Под всеми обнадеживающими вариациями и исключениями скрывается полковой приказ нашего единодушия: если вы хотите принадлежать, вы должны соответствовать; вы должны принять границы обычного мира за границы вашей реальности; и тогда, в соответствии с капризом ваших *гениальных локусов*, вы будете играть в игру так, как будто все, даже мелочи ритуала, унаследованного вашим клубом от более свободных духом, имели огромное значение, или вы будете играть в нее не менее тщательно, но с видом человека, который знает, что ничто вообще

не имеет значения. Клубы, которые так часто критиковались за их неамериканскую измену демократии, слишком преданы Америке.

Третий акцент был бы следствием этих двух — политическое управление спортивными, классовыми и клубными делами. Политика — это политика личной популярности, менеджмент — это администрация, а не законодательство, дух — это американская склонность к мелкому регулированию. Там, где речь идет о проблемах, тон почти наверняка будет пропагандистским, консерваторы и радикалы разделяют поле, усеянное труднопроизносимыми именами. Студенческая жизнь накопила множество механизмов для выражения управленческого инстинкта, и большая часть из них работает. В настоящее время линии представительства, наконец, объединяются в Студенческий совет, который является одновременно Кабинетом министров, Сенатом и Верховным судом студенческого содружества. Распорядок его работы отличается чрезмерной роскошью, и такие вопросы, как размеры, цвета и сезоны для знаков отличия на шляпных лентах, продолжительность времени, на которое учащиеся могут отправиться на удаленную игру, организация парадов, решаются со вкусом и тактом. Затем, внезапно, это трибунал по серьезным делам, пусть и суровым: класс в Йеле не соблюдает правило чести, и порекомендации Совета двадцать один студент исключен или временно отстранен от занятий; именно Студенческий совет в Вальпараисо добился отзыва президента; а в Корнелле именно Студенческий совет пришел на помощь традиции, когда первокурсник отказался носить фуражку первокурсника. Можно сделать вывод, что ее указы и вердикты неизменно будут поддерживать праведность, поскольку ее составляющие понимают праведность.

Сами составляющие обычно находятся на стороне света, поскольку они видят свет. Не так давно профессорско-преподавательский состав небольшого колледжа Новой Англии решил отказаться от обязательной службы в часовне: студенты проголосовали против этого. Моральные крестовые походы возникают как грибы и привлекают на свою сторону всех, кроме непокорных “головорезов”, которые, как иногда склоняется мнение студентов, прокладывают себе путь через образование, за которое они не получают равноценной отдачи в общественном духе. Типичная кампания такого рода была недавно развернута студенческой ежедневной газетой Брауна: редакторы обнаружили, что “современный век девушек и юношей крайне аморален”; они написали сенсационные передовицы, которые вызвали отклик в столичной прессе на целую колонку; они объявили крестовый поход против таких мерзостей, как вечеринки с петтингом, the toddle (“Рим, — писали они, — ковылял до того, как пал”) и “вечеринки продолжались до окончания завтрака”; почти сразу же они одержали победу — Клуб матерей Провиденса постановил, что танцы для детей должны закончиться к концу дня. одиннадцать часов....

А теперь бакалавр делает упор на учебу. Но необходимо провести четкую грань между учебой, которая предполагает получение просто степени бакалавра как окончания школы и начала бизнеса, и учебой, которая является частью профессиональной подготовки, которая предполагает получение какой-либо профессиональной степени при поступлении в аспирантуру. И то, и другое подпадает под категорию подготовки к жизни; но в первом случае сама степень является подготовкой, тогда как во втором случае признается, что человек должен освоить и сохранить хотя бы часть предмета профессиональных курсов и либеральных курсов, предшествующих им.

Человек искусства, таким образом, признает только ту же необходимость, с которой он сталкивался на всем пути вверх по школьной лестнице, — пройти. Если у него есть условия для поступления, это ипотека, которую необходимо погасить, возможно, в Летней школе; он должен воздержаться от испытательного срока, чтобы защитить свой спортивный, политический или иной статус; помимо этого, он должен набрать достаточное количество курсов и полугодий, семестровых часов или баллов, чтобы приобрести незаменимую дублировку. Дальнейшие усилия излишни в том, что касается учебы как таковой: призы и отличия относятся к категории “студенческих занятий”, хобби и по праву принадлежат “акулам”; стипендии, которые в Америке предназначены только для бедных, имеют отношение к еще одному вопросу — зарабатыванию денег — и в основном предназначены для “людей с высокооплачиваемыми оценками”, профессиональных студентов, шлифовщиков.

На свою программу курсов студент часто тратит столько умственной энергии, сколько хватило бы ему на обычный экзамен: он будет корпеть над каталогом, усердно избегать девятичасовых и послеполуденных часов, которые могут привести к конфликту с играми, проведет тщательный обзор сравнительной компетентности инструкторов, как отличников, так и артистов и даже (что довольно странно) как экспертов в своих областях, и усердно справится о срочных курсах. Записавшись на курс, он быстро оценит минимальные усилия, которые приведут к благополучному прохождению, если только предмет не окажется таким, который вызывает у него интерес независимо от академической необходимости. В этом случае он превысит не только умеренный срок, рассчитанный для получения C, но иногда даже экстравагантные требования инструктора. На самом деле вряд ли найдется студент, у которого не было бы хотя бы одного любимого курса, на котором он “проглотит” все необходимое для чтения и даже больше, будет делать бесплатные заметки, задавать бесконечные вопросы и, возможно, совершать частные вылазки в исследовательскую деятельность. Тот факт, что он считает большую часть этого труда потаканием своим желаниям, не умиротворит его негодования, если он не сможет “получить” *Пятерку* или *Четверку*, хотя вопрос в том, будет ли он намного мудрее, когда оценка определит курс, чем у других.

О недостатках системы курсов, вероятно, нечего сказать нового. Такие устройства, как “групповая система” в Гарварде, вмешиваются в свободу выборов, не исправляя существенно незнание выпускником курсов, которые он прошел и заработал на своей степени. Признавая этот факт, некоторые факультеты в последнее время ввели общие экзамены по всем предметам, изучаемым на одном факультете, в частности по истории, государственному управлению и экономике; но до сих пор общие экзамены влияют на профессиональную подготовку, в частности, на юридический факультет, гораздо больше, чем на обычную карьеру в области искусства, где они являются всего лишь еще одним препятствием для “сдачи”.

Эта проблема с пропусками - сезонная неприятность. Первые недели семестра - это череда посещений лекций, более или менее интересного чтения по заданию и обильных “сокращений”. По улыбающемуся небу плывут небольшие клочья облаков — упражнения, викторины, тесты. Затем из-за горизонта дуют “часовые экзамены”, первое дуновение академической погоды, которая позже потрясет землю “серединой года” и “выпускными экзаменами”. Но быть предупрежденным - значит для благоразумного студента вооружиться, и Небеса знают, что он достаточно предупрежден преподавателем, регистратором и деканом.

Поэтому он связывает себя с оружейником, наставником, одним из братства экспертов, которые наблюдали за ним на вступительных экзаменах; он обеспечивает себя купленными или взятыми напрокат тетрадями и конспектами; он переживает несколько лихорадочных ночей монастырских лишений и бичеваний; и солнце снова сияет над его урожаем джентльменских *C*, гордых, хотя и излишних *A* или *B*, и, возможно, *D*, которые свидетельствуют о лучшей броне для следующего нападения. Или, конечно, он мог оказаться на “испытательном сроке”, в подвешенном состоянии, которое вопиющим образом препятствует его спортивным или политическим амбициям. Только в том случае, если он был незадачливым стажером перед экзаменами, существует какой-либо реальный риск того, что ему придется присоединиться к чрезвычайно маленькой компании живых жертв, которых внезапно ставший суровым колледж теперь “загоняет в деревню”. (Ибо в Америке отстранение от работы и исключение из школы являются наказаниями скорее за неправильное поведение, чем за умственную некомпетентность или лень.) Через четыре года, после того как он выдержал десяток таких штормов и состряпал несколько тезисов, президент вручает ему диплом, который нужно вставить в рамку, он продает остальную мебель, кладет нафталиновые шарики в свою шапочку и мантию и погружается в бизнес, чтобы обогнать своих конкурентов, не являющихся студентами колледжа.

Мнение студента признает, что человек, поступивший на профессиональные курсы или направляющийся в аспирантуру, сталкивается с более жесткими требованиями. Он может посвятить себя своим более специфическим тренировкам без обвинений в том, что он “зануда”, и если он добьется отличия, то это будет касаться бизнеса, а не спорта в помещении. Он будет более аккуратен в сокращениях, более кропотлив в своих записях и чтении, и профессиональные манеры проявятся у него рано. В каждом колледже вы можете найти стол, за которым обсуждают в основном деловые вопросы — гипотетические случаи, лабораторные эксперименты, новые изобретения, устройства для обхода подоходного налога. Все это, однако, на самом деле количественная разница, а не качественная. В бескорыстной интеллектуальной деятельности он, пожалуй, более невинен, чем его товарищ по художественной школе.

Вот и все о четырех основных потребностях среднестатистической студенческой жизни — в порядке признанной важности: легкая атлетика, общественная жизнь, политика, учеба. Деканы и другие официальные, но теоретические люди скажут нашему марсианину, что дело колледжа - учеба и что все остальные функции студентов второстепенны; но их собственное поведение уже выдаст их ему, поскольку он не упустит тот факт, что большая часть их труда посвящена тому, чтобы сделать учебу такой же достойной и популярной, какой студенты сделали спорт, клубы и выборы. Эти четыре специальности занимают свои места во главе списка студенческих акцентов, потому что ни один представительный студент не может полностью избежать ни одной из них; следующие могут быть подчеркнуты более разнообразно, скорее в зависимости от капризных личных склонностей студента, чем от его более простых групповых реакций.

Теперь, например, он волен “заниматься” некоторыми из бесчисленных “студенческих занятий”, хобби в отличие от предыдущих профессий. Есть второстепенные виды спорта, которые не настолько популярны, чтобы привлекать игроков, — лакросс, ассоциативный футбол, стрельба из ловушки, плавание и так далее. Есть и другие межвузовские соревнования — шахматы, дебаты и многое другое. Музыкальные клубы, драматические кружки, журналы и многие полупрофессиональные и полусоциальные организации предлагают в той или иной степени возможность посещать конкурирующие заведения. Кроме того, в крупных колледжах

есть клубы почти для каждого религиозного культа, от католиков до теософов, приверженцы которых могут жаждать более тесного общения, чем они осознают в часовне, которая обычно не является сектантской; по клубу для каждого из великих братских орденов; аналогичные клубы для каждой из политических партий, не говоря уже о филиале Межвузовского социалистического общества, при этом еще одна организация формируется для обеспечения колледжей ассоциированными либеральными клубами. Более того, все важные подготовительные школы, частные и государственные, наверняка будут представлены клубами своих выпускников, некоторые из которых получают стипендии, но все они занимаются скаутингом спортсменов. Часто существует Космополитический клуб для иностранных студентов и путешествующих американцев. И, наконец, существуют клубы, представляющие различные области знаний — классику, философию, математику, различные науки и так далее до бесконечности. Кроме того, в колледжах в городах или поблизости от них есть хорошо организованные возможности для студентов, которые хотят превратить духовный Подъем в хобби и заняться социальным служением. В то время как для любителей и профессиональных акул и шлифовщиц существует доска почета с призами, стипендиями, почетными званиями, отличиями и другими академическими почестями. Поистине рай для столяра. Изюм дня в день календарь встреч и мероприятий, печатаемый в университетской газете, ни на что так не похож, как на доску объявлений столичного отеля, обслуживающего съезды.

Если на первый взгляд вся эта сумятица усилий выглядит чем угодно, только не свидетельством единообразия, то на второй взгляд становится очевидным ее важный принцип. Каждая его часть скреплена воедино универсальной институционализацией импульсов и ценностей. Вряд ли найдется занятие в колледже, которое могло бы служить хобби, но имело бы свою изюминку и сертифицированную нишу в системе бакалавриата.

Даже внеклассная социальная жизнь студента, которая, вероятно, стояла бы следующей в списке марсиан, тщательно регламентирована. Говоря в широком смысле, неправильно приглашать девушек в ближайший колледж для девочек; и, говоря еще шире, обычно есть один правильный колледж, в котором социально обязано платить взносы. В учреждениях совместного обучения линия пола является требовательным, но удивительно невинным потребителем времени и энергии, большая часть которых тратится исключительно на соблюдение условностей. На обоих этих социальных путях студент практикует имитацию того, что ему кажется формами, господствующими в светском обществе, сосредоточившись на формах, склонен немного упускать из виду ту добрососедскую непринужденность, которая там действительно существует, так что он выходит за рамки обычного мира. Американская молодежь обоего пола, не окончившая колледж, вряд ли потерпела бы такое количество формализма, сопровождения и стеснения, которое наша студенческая молодежь добровольно принимает на себя.

Слово “суетиться” - идеальный ярлык для визитов, участия в играх и танцах, заботы на домашних вечеринках и постоянного написания писем, которые являются одобренным способом общения по линии секса. Вы поднимаете шум из-за девушки, и на этом все заканчивается; или вы поднимаете шум из-за девушки и обручаетесь, и на этом все заканчивается; или — и это часто встречается только в крупных западных университетах, где почти вся представительная молодежь штата учится вместе в колледже - вы поднимаете шум из-за девушки, вы обручаетесь и в свое время женитесь. Что касается суеты, то секс гораздо более пристойен среди студентов колледжа, чем среди их коллег того же возраста и

социального уровня, не являющихся студентами колледжа. Конечно, есть место, где это достаточно неприлично, но это место следующее в списке марсиан.

Который теперь смещает ослабляющий акцент на отдых. Вы, наверное, подумали, что большая часть вышесказанного относится к отдыху и что все игры и никакой работы - это правило студентов. Вы совершите ошибку. Выше этого пункта почти все в списке воспринимается учащимся как своего рода обязательство, серьезная забота, плуг, на который он бережно кладет руку по обычаю, но от которого он не может прилично отказаться, пока не доберется до конца борозды.

“Никто не может быть занятее обычного студента. Его команда, его газета, его клуб, шоу или другая деятельность, иногда несколько сразу, занимают каждую свободную минуту, которую он может убедить офис позволить ему посвятить более формальной части обучения в колледже”.

Цитата взята не из проповеди бакалавра, а из выступления гарвардского класса 1921 года.

Главное расслабление — это разговоры, бесконечные разговоры - в пределах своего диапазона, полные острооты, подтрунивающие с искусной сатирой над напыщенными задницами, пародирующие комическое (то есть ненормальное) в ситуациях кампуса, превращающие сплетни в отрывистую критику — и за пределами этого диапазона довольно бессвязная скороговорка о профессиональном спорте, шоу, поверхностных книгах, пене моды, ко всему этому относятся легкомысленно, но с какой серьезностью! Что касается других развлечений, то здесь, на ваш вкус, есть театр девушек и музыка, романы, сеансы покера и бриджа в банных халатах, послеобеденный теннис, гольф или гандбол (едва ли не единственные виды спорта, которыми можно заниматься ради них самих), а также поединки с Бахусом и Венерой, которые, хотя и привлекают меньше студентов, чем мужчин, не закончивших колледж, повсюду являются моральными праздниками, которые предохраняют наш чрезмерно увлеченный пуританизм от краха.

Любимая тема студенческих дебатов и тем для первокурсников - аргументы за и против поступления в колледж. Вы могли бы прослушать десятки таких дебатов, прочесть тысячи подобных тем, ни разу не встретив четкого объяснения того, что образование - это удовлетворение человеческого любопытства. Везде, где уровень бескорыстной учености ниже, образование рассматривается как доступ к тому объему общей и практической информации, без которой у человека будут связаны руки и язык в компании его естественных сверстников. “Учебные заведения, - как недавно сообщила вице-президенту Соединенных Штатов Лига национальной безопасности, - создаются в первую очередь для распространения знаний, которые представляют собой знакомство с фактами, а не с теорией”. Следовательно, всеобщие ожидания от учебного заведения имеют мало общего с пробуждением соответствующих, хотя и отличающихся друг от друга личностей, и имеют все отношение к стандартной патине, различающейся только своим блеском, более ярким или тусклым отражением сложившейся обстановки.

Тем не менее, сущностный Адам прорывается и задает вопросы на сцене. Хотя это и занимает самое низкое место в его шкале акцентов, типичный младшеклассник знаком с угрызениями совести и жадной любопытства, немного экспериментирует с запретным плодом, в какой-то момент сближается с человеком с более богатым, хотя и сомнительной репутацией опытом,

возможно, заводит задумчивую дружбу с сочувствующим преподавателем. Тогда мир обычных обязанностей, вознаграждений и определенности смыкается вокруг него, и безопасность в нем становится его первой заботой. Когда-нибудь он намеревается по-настоящему почитать, снова долго размышлять, докопаться до сути вещей. Тем временем у него вошло в привычку легко применять такие слова, как “радикал” или “высоколобый”, к тем нечастым более стойким личностям, которые продолжают проявлять беспокойство и неутоленность. Позже в жизни вы услышите, как он объясняет, что радикализм - совершенно естественное проявление подросткового возраста и самая прочная основа для зрелого консерватизма. Мудрые церковники все еще говорят таким образом о религиозных сомнениях и выжидают своего часа, а позже ссылаются на “смерть сомнения”, которое действительно было похоронено заживо. Марсианин пришел бы к выводу, что функция земного образования состоит в том, чтобы похоронить любопытство заживо.

Но мог ли он теперь чувствовать, что это образовательное учреждение, эта работающая машина ассимиляции несет ответственность за наше единообразие? Не покажется ли теперь американская школьная и студенческая жизнь слишком совершенным отражением взрослой жизни американцев, чтобы быть ее родителем? Все в этой шкале ценностей колледжа, от заменяющего футбол возбуждения до того, что Сантаяна назвал “лишением неверия”, имеет свой точный аналог в нашей жизни в целом; и ни какая-либо традиция колледжа, ни даже “благородная традиция” не имеют такого большого значения, как воля к традиции, которую проявляют обе. Марсианин уже давно заподозрит себя виновным в чисто человеческой ошибке - в том, что повозка опередила лошадь.

Ибо мы создали наши школы по своему образу и подобию. Это не наши тюрьмы, а наши дома. Время от времени мы наказываем опрометчивого преподавателя, который слишком далеко заходит в своем личном стремлении развивать оригинальность; мы принимаем законы, требующие от учителей утопить свои разногласия в нашем единодушии; и наша глупая вера в систему государственных школ как в “колыбель свободы” основывается на политическом контроле, который мы осуществляем над ней. Мы далеки от того, чтобы быть обманутыми образованием, мы сами обманываем образованных; и то, что студенты колледжа не бунтуют, объясняется тем фактом, что в мире наше единообразие доминирует так же легко, как оно доминирует в школе, режим работает, студенты колледжа действительно продвигаются вперед, а “странные” действительно разочаровываются.

Тогда каково происхождение нашей “отчаянной потребности согласиться”? Возможный ответ кроется в нашей истории, если только нас можно убедить уделить нашей истории немного внимания. Когда мы стали нацией, мы не были народом. На самом деле мы были так далеки друг от друга, что у нас были только общие обиды и несколько предложений, по которым нас вообще можно было свести вместе, и эти предложения были больше похожи на упрямые догматы веры, чем на проверенные наблюдения: “Мы считаем эти истины самоочевидными, что все люди созданы равными ... определенные неотъемлемые права ... Жизнь, Свобода и стремление к счастью ... согласие управляемых ... являются и по праву должны быть Свободными и независимыми государствами”. Это не тот тон людей, которые являются приверженцами общей традиции и разделяют разумные и знакомые убеждения. Таким образом, руководствуясь нашей первой национальной необходимостью, мы впервые продемонстрировали нашу способность заменить произвольный и не слишком строгий наименьший общий знаменатель, под которым могут подписаться люди, естественным и строгим наивысшим общим множителем,

выражающим их подлинную общность интересов. Устройство преуспело, потому что преуспели мы, но заслуги достались именно предложениям. С тех пор это устройство продолжает пользоваться успехом по той же причине, по которой традиция преуспевает в современном колледже — никто, у кого были какие-либо причины оспаривать эти предложения, не смог добраться до нас.

Нашей настоящей работой было создать группу, познакомиться друг с другом и выработать общую предысторию. Но почти чудесный успех нашего наименьшего общего знаменателя встал на пути к получению любого наибольшего общего кратного. Вместо того, чтобы выработать общий фон, мы продолжали ассимилировать подписавшихся под Декларацией, нашей произвольной традицией “американизма”. Нас так часто осаждали инопланетяне, которые должны были быть ассимилированы, что их американизация помешала нашей собственной.

Теперь мы считаем, что нашей национальной задачей было завоевание Запада, как будто рассеяние людей по континенту могло заменить создание Народа. Но нам никогда не бросали серьезных вызовов. Если нам повезет, то второе или третье поколение после нас будет верить, что нашей работой было покорение полушария, включая ассимиляцию подлинных народов, которые причинили нам меньше вреда, чем индейцы. Но, какой бы ни была наша практика, мы никогда не признаем, что наша теория изменилась. По-прежнему не имея какого-либо общего фона, мы по-прежнему будем ограждать себя от пустоты в нарисованной сцене нашей традиции.

Но удача может нам не улыбнуться. Возможно, нам еще бросят вызов.

Кларенс Бриттен

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Когда профессор Эйнштейн вызвал гнев женских клубов, заявив, что “женщины доминируют во всей жизни Америки” и что “есть города с миллионным населением, но города, страдающие от ужасной бедности — интеллектуальной бедности”, он всего лишь повторил критику нашей жизни, которая сейчас стала почти клише. Вряд ли какой-нибудь интеллигентный иностранец не заметил и не прокомментировал необычайную феминизацию американской общественной жизни, и чаще всего он сопровождал это наблюдение несколькими едкими замечаниями по поводу интеллектуальной анемии или оцепенения, которые, по-видимому, сопровождают ее. Естественно, такое отношение вызывает возмущение, и нескромному посетителю говорят, что он стал астигматиком из-за слишком ограниченного наблюдения. Далее ему сообщают, что он должен больше путешествовать по нашей стране, видеть больше людей и дольше жить среди нас. Напрашивается вывод, что этот процесс наказания в свое время познакомит его с красотой и захватывающей интеллектуальной жизнестойкостью, которые застенчиво скрываются от поверхностных импрессионистов.

Итак, тезис этой статьи состоит в том, что спонтанное суждение проницательного иностранца в замечательной степени верно. Но это суждение должно быть довольно резко изменено в

некоторых отношениях. Более того, даже длительное пребывание в Соединенных Штатах вряд ли даст приезжему такое яркое представление об историческом фоне, который в значительной степени способствовал нынешней ситуации, какое возникает у коренного американца, который в своей семье слышит фольклор двух предшествующих ему поколений и для которого традиция первопроходцев является реальностью, более правдоподобной с точки зрения воображения, чем, скажем, эманации славы с английских полей или аура древней помпезности, окутывающая итальянский замок. Иностранец слишком склонен забывать, что в молодой стране именно потому, что она молода, традиции имеют социальную санкцию, неизвестную в более старой стране, где память о прошлом уходит так далеко в прошлое, что становится туманной и нереальной. Исторический парадокс заключается в том, что из древних культур обычно выходят те, кто “родился слишком рано”, в то время как из молодых и идущих ощупью цивилизаций появляются облаченные в доспехи защитники условностей. Обычно больше всего уважают свежую традицию; только когда ей следовали в течение многих лет, достаточных для того, чтобы сделать ее бессмысленной, она может породить своих отрицателей. Америка — очень молодая страна, и ни в коем случае не моложе, чем все западные страны, в ней самая старая форма правления; наше наивное уважение к отцам является самым верным доказательством того, что мы все еще находимся в культурном кризисе. Мы еще недостаточно выросли, но мы все еще должны цепляться за наших отца и мать. Одним словом, мы по-прежнему *мыслим* в терминах первопроходцев, каковы бы ни были материальные и экономические факты сегодняшнего дня, которые уже переросли свою применимость.

И именно точка зрения первопроходцев, будучи досконально понятой, наиболее удовлетворительно объясняет своеобразное развитие интеллектуальной жизни в Соединенных Штатах. Ибо жизнь разума — это не прекрасный цветок обнищания, и если зачатки человеческой рефлексии были беспутными грезами моряков во время долгих ночных вахт или пастуха, лениво лежащего на спине и наблюдающего за проплывающими мимо летними облаками, то столь же несомненно, что интеллектуальные достижения современных людей были обязаны коммерческой и промышленной организации, которая, способствует всеобщему счастью или нет, по крайней мере, сделала досуг возможным для немногих. Но в сообществе первопроходцев досуга не может быть, даже для немногих; борьба слишком беспощадна, ставка — возможно, сама жизнь — слишком высока. Пионер почти по необходимости должен ненавидеть мыслителя, даже если он не презирает мысль саму по себе, потому что мыслитель — это обуза для сообщества, которое может позволить себе только активы; он сам по себе непродуктивен и является опасным подрывным примером для других. Конечно, первопроходец будет терпимо относиться к священнику, точно так же, как первобытные племена терпели знахарей — и в значительной степени по тем же причинам. Священник, если он не может вызвать дождь или отвратить мор, как шаман, по крайней мере, притворялся, что может, может смягчить суровую участь людей и указать дорогу к будущему царству, которое с избытком компенсирует тяжелую работу нынешнего мира. Короче говоря, он имеет значительную утилитарную ценность. Однако мыслитель *сам по себе* таковым не обладает; мало того, он является упреком и вызовом человеку, который должен трудиться в поте лица — он как будто говорит: “Ради чего вся эта суматоха и усилия, просто для того, чтобы жить? Но знаете ли вы, стоит ли жить на таких условиях?” Подобные вопросы первопроходец должен отбрасывать подальше от себя, и по той очень веской причине, что, если бы к ним относились терпимо, новые сообщества могли бы никогда не прижиться. Скептицизм — дорогостоящая роскошь, доступная только людям в городах, живущим за счет плодов чужого труда. Конечно, Америка до

конца периода восстановления после Гражданской войны имела мало практических возможностей и меньше врожденного импульса для культивирования этого терпимого отношения к высшим ценностям, атмосферы, которая является талисманом расцвета настоящей интеллектуальной жизни.

Подумайте об ужасных трудностях физической жизни первопроходца. Я не могу придумать лучшего описания этого, чем в одном из рассказов Шервуда Андерсона "Благочестие" в его книге "Уайнсбург, Огайо". Он пишет о братьях Бентли незадолго до Гражданской войны: "Они цеплялись за старые традиции и работали, как загнанные животные. Они жили так, как жили практически все земледельцы того времени. Весной и большую часть зимы шоссе, ведущие в город Уайнсбург, представляли собой море грязи. Четверо молодых мужчин из семьи весь день усердно работали в поле, они обильно ели грубую, жирную пищу, а ночью спали, как усталые животные, на подстилках из соломы. В их жизни было мало того, что не было грубым и brutальным, и внешне они сами были грубыми и brutальными". Естественно, эта интенсивная концентрация на работе - это еще не вся картина; в первые дни первопроходчества было веселье и часто присутствовала романтика, это цветной нитью проходило через всю историю нашего "*Дранг нах Вестен*". Но в целом период от превращения нашей конфедерации в Союз до расширяющейся индустриальной эры, последовавшей за Гражданской войной, — примерно столетие с 1783 по 1883 год — был периодом, когда основным приказом было: "Будьте активны, будьте смелы и, прежде всего, работайте". В том столетии мы покорили и заселили континент. Не было времени отвлекаться на искусство или прелести литературы.

Безусловно, краткосрочная перспектива, по-видимому, опровергает это последнее обобщение. Колониальные времена и первая половина 19 века были свидетелями действительного и знаменательного литературного и интеллектуального расцвета, и именно тогда мы внесли много имен в биографию величия. И все же это была культура, почти полностью сосредоточенная в Новой Англии и полностью к востоку от Аллеганских гор; она обладала своей жизнеспособностью, потому что не была застенчивой, она была откровенно производной от Англии и Европы, она не претендовала на то, чтобы быть исконно американской. Великий поток нашей национальной жизни неудержимо тек вперед, вспахивая, пашня, вырубая деревья и кустарник, прокладывая дороги и мосты, заполняя долины и равнины. Это была настоящая Америка, могучая река жизни, по сравнению с которой, например, Эмерсон и Трансценденталисты казались простой заводью — конечно, не стоячей или солоноватой, а часто тихим прудом, в котором могли отражаться звезды, подобные фразам Эмерсона. Но настоящая Америка по-прежнему была в сердце первопроходца. И в каком-то смысле она остается таковой и сегодня.

Я говорю "Настоящая Америка", потому что имею в виду Америку ума и отношения, внутреннюю правду, а не внешнюю действительность. Эта внешняя действительность сделала факт первопроходца почти гротескным. Граница закрыта; нация является самой процветающей среди измученных на земле; нет необходимости в старой постоянной озабоченности материальным существованием. Несмотря на торговые спады, войны и их последствия, мы победили эту проблему. Но мы не победили самих себя. Мы все еще должны придерживаться старых терминов, как если бы цель зарабатывания денег для того, чтобы зарабатывать еще больше денег, была так же важна, как цель выращивания хлеба для поддержания жизни. Факты

изменились, но мы не изменились, только изменили свои интересы. Там, где первопроходец расчищал дикую местность, современный финансист покоряет лес конкурентов. Сегодня он вкладывает в свою задачу такое же количество энергии и, по сути, такое же качество мышления, хотя практические последствия вряд ли можно назвать идентичными.

И каковы были эти практические последствия? По мере расширения масштабов промышленной революции, совпадающей с заполнением страны, профицит начал расти. Этот излишек был потрачен не на обогащение нашей жизни — если не считать формальных завещаний на образование, — а на самую очевидную из ненужных роскошей, грандиозное содержание наших женщин. Дочери матерей-первопроходцев оказались без настоящей работы, которая зачастую действительно была главным инструментом рекламы доходов их мужей. В течение многих лет викторианская концепция женщины как украшения доминировала в том, что мы с удовольствием называли нашими “лучшими элементами” — в те годы, грубо говоря, которые совпали с тем ранним процветанием, которое сделало возможным эту концепцию. Если бы досуг класса землевладельческого дворянства колониальных времен не был прямым импортом, если бы в истории нашей культуры когда-либо существовал настоящий *салон* или если бы наша ранняя богатая аристократия когда-либо чувствовала себя по-настоящему защищенной от постоянных вызовов со стороны вновь прибывших иммигрантов, этот избыток мог бы пойти на углубление и расширение того, что мы могли бы считать местной традицией. Или, если бы действительно, рыцарские традиции Юга (единственное ответвление Ренессанса в Америке) не были лишены всей жизненной силы Гражданской войной и ее экономическими и интеллектуальными последствиями, этот избыток мог бы усилить более благородные аспекты этих традиций. Ни одной из этих возможностей не существовало; и когда нам улыбнулось процветание, мы были смущены. Мы были парвеню — даже по сей день серия комиксов “Воспитывая отца” имеет родной привкус. Мы точно знаем, что чувствует мистер Джиггс, когда миссис Джиггс тащит его на концерт и заставляет одеваться для чопорного официального ужина, когда все, чего он желает всем сердцем, — это выкурить трубку и сыграть в покер с Динти и мальчиками. Действительно, эта серия, которая регулярно появляется во всех газетах, контролируемых мистером Херстом, оплатит социальному историку за все внимание, которое он ей уделяет. Это символизирует лучше, чем большинство из нас понимает, нормальное отношение американских мужчин и женщин к культурным и интеллектуальным ценностям. Сама его гротескность и вульгарность показательны.

Ни в одной стране, как в Соединенных Штатах, трагические последствия отсутствия какой-либо общей концепции хорошей жизни не были столь ярким примером, и ни в одной стране разрыв с этими общими концепциями не был столь резким. В конце концов, когда были основаны другие колонии, когда другие народы покидали родину и селились в отдаленных уголках, они несли с собой нечто большее, чем просто обрывки традиций. Чаще всего они несли в себе самое ценное человеческое достояние из всех, наследие общих чувств, которое позволяло им цепляться за сущность старых форм, даже когда они приспосабливали их к новым условиям жизни. Но у нас отказ от старого наследия был полным; мы сознательно искали новый образ жизни, ибо в обстоятельствах, при которых мы стали национальными, разрыв с прошлым был синонимом отказа от угнетения. Надежда, рвение, энтузиазм этой сознательной попытки оценить все по-новому нашли свое классическое выражение в красноречивом, хотя и расплывчатом тексте. Декларация независимости, даже абстрактная фразеология которой не могла скрыть скрывающегося за ней революционного пыла. Однако прошло несколько коротких лет, и это раннее приподнятое настроение приключений почти испарилось, и люди

были отвлечены от прежнего видения перспективой безграничной экономической экспансии, как для отдельного человека, так и для нации в целом. Декларация символизировала лишь короткую интерлюдия в духе первопроходцев, который привел нас сюда, а затем повел вперед завоевывать богатства природы, с ее прекрасным презрением к человеческим ценностям, столь щедро распростерты перед нами. Конец революционным настроениям наступил сразу после подписания Штатами Конституции, этого замечательного рабочего компромисса в правительстве, который не пытался подчеркнуть демократию, как мы понимаем ее сегодня, а скорее поддерживать ее в надлежащем состоянии. Свободный, таким образом, от любого общего наследия или традиции, которые могли бы поставить под сомнение его ценности, свободный также от беспокоящего идеализма старых революционных настроений, обычный человек мог отправиться в пустыню с единственной целью. Он мог бы быть, как и сегодня, первопроходцем *toujours*.

Теперь, когда его успех в наполовину выбранной роли сделал для него ненужным играть ее, именно отсутствие общепринятого представления о хорошей жизни сделало невозможным для него быть кем-то другим. Дело не в том, что американцы зарабатывают деньги потому, что им это нравится, а потому, что им больше нечем заняться; как ни странно, дело даже не в том, что у нас особенно сильны собственнические инстинкты (я думаю, что французы, например, от природы более скупы, чем мы), а в том, что у нас нет представления об определенном типе жизни, для которого достаточно небольшого дохода, и нет представления о каком-либо типе жизни, из которого работа была бы сознательно исключена. Никогда ни в каком национальном смысле не имея досуга, мы, как отдельные личности, не знаем, что с ним делать, когда нам улыбается удача. В отличие от настоящей игры, мы должны продолжать играть в *нашу* игру даже после победы.

Но если успешный первопроходец не знал, чем занять свой досуг, он наивно верил в способность его женщин знать, что делать со своим. С рыцарской сентиментальностью, которая часто сопутствует процветанию первобытных людей, первопроходец решил, что его удача должна одарить его жену, сестер, мать и тетушек подарком, обладание которым слегка смущало его самого. Он дал им досуг точно так же, как типичный современный деловой человек дает им незаполненный чек, подписанный его именем. Это избавляло от них, держало их подальше от его мира и успокаивало его совесть — как чек на благотворительность. К несчастью для него, его мать, его жена, его сестры и его тети были его собственной крови и воспитания; они были дочерьми таких же пионеров, как и он сам, и дочерьми матерей, которые внесли свой вклад в те фонды, которые сделали возможным его успех. Хотя у некоторых проявились скрытые качества паразитизма, большинство были странно недовольны (то есть странно, с его точки зрения) работой простого викторианского украшения. Что может быть более естественным в данных обстоятельствах, чем то, что незначительные вещи в жизни — искусство, музыка, религия, литература, интеллектуальная жизнь — должны быть переданы им, чтобы они были заняты и довольны, в то время как он ограничивается настоящей мужской работой по зарабатыванию денег и преуспеванию в мире? Разве это не было счастливой и разумной адаптацией функций?

Счастливым это было или нет, но именно так и произошло. В степени, почти непостижимой для народов более древних культур, вопросы разума и духа были переданы в Америке почти исключительно женщинам. Это, безусловно, относится к искусству, безусловно, к музыке, безусловно, к образованию. Школа для старых девиц укрепила во впечатлительных

подростковых умах мальчиков убеждение, что культурные интересы - это в значительной степени дело другого пола; интеллектуальная жизнь не может иметь никакой связи с природным весельем, сексуальным любопытством, играми, творческими мечтами или приключениями. Ему дают почувствовать, что эти более подлинные импульсы не просто отличимы от интеллектуальной жизни, но фактически находятся в состоянии войны с ней. В мое время в Гарварде западные люди в моем классе смотрели с большим подозрением на тех, кто специализировался на литературе, классике или философии — образование человека должно включать естественные науки, экономику, инженерное дело. Как мне сообщили, только “неженки” посещали курсы поэзии на этом мужественном Западе. И по сей день, например, то, что мальчика учат играть на пианино, считается “странным”, тогда как для девочки такое обучение вполне в порядке вещей. То есть природные склонности не имеют к этому никакого отношения; одни интересы присущи женщинам, другие - мужчинам. Конечно, есть исключения, достаточные, чтобы заставить даже самых смелых колебаться перед обобщениями, но, несомненно, презрение, измеряемое единственными понятными нам терминами, деньгами, к которым повсеместно относятся мужчины-учителя, мужчины-профессора (тайно), мужчины-министры и мужчины-художники, должно убедить самых предубежденных, что, говоря в широком смысле, это обобщение по существу верно.

Фактически, когда мы пытаемся исследовать течения всей нашей национальной жизни, оценить эти бродячие ветры доктрины, свободные от непосредственности, которую может дать нам наш собственный академический опыт или подготовка, тем больше мы осознаем, что дихотомия между культурной и интеллектуальной жизнью мужчин и женщин в этой стране продвинулась дальше, чем где-либо еще в мире. Нам нужно только вспомнить старые женские клубы из юмористических газет — по правде говоря, настоящие женские клубы современности, о чем свидетельствуют репортажи газет маленьких городков об их собраниях — ныне распадающиеся браунинг-клубы, Шатокуа, церковные праздники, сельские обычные школы для учителей, женские журналы, бесчисленные национальные организации по улучшению, возвышению того или иного. Слегка вздрагиваешь и обращаешься за облегчением к безупречному стилю, слегка усталой и чувственной иронии Анатоля Франса (еще не подвергшегося цензуре, если мы читаем его по-французски). Или, если нам так повезло, что мы “обычные” американцы, а не несчастные интеллектуалы, получившие образование за пределами нашего окружения, мы с благодарностью возвращаемся к нашей офисной работе. По сравнению с напыщенной искусственностью этого мира высших этических ценностей мир бизнеса, где люди торгуются, обманывают и воруют с беззаветной преданностью, по крайней мере, реален. И именно в этом мире, мире зарабатывания денег, только в нем американский мужчина может чувствовать себя как дома. Если бы французские романтики 18 века изобрели фразу *“женское предприятие”*, у современного посетителя Галлии возникло бы искушение заметить, что в этом 20 веке Соединенные Штаты были страной *человека с ограниченной ответственностью*.

Таким образом, это более грубые исторические силы, которые непосредственно привели к нынешней замечательной ситуации, ситуации, конечно, которую я пытаюсь обрисовать только в более общих чертах. Ибо поверхность современной социальной структуры показывает нам избирательное право, новое понимание мира промышленности, которое война впервые дала стольким женщинам, расширение профессиональных возможностей, совместное обучение и - в жизни, которую, возможно, лучше всего знают те из нас, кто внес свой вклад в создание этой книги, - подлинное интеллектуальное товарищество. Тем не менее, я считаю, что лежащий в

основе тезис не может быть успешно оспорен. Там, где мужчины и женщины в Америке сегодня разделяют свою интеллектуальную жизнь на условиях равенства и совершенного взаимопонимания, более пристальное изучение показывает, что это явление представляет собой не разделение, а капитуляцию. Мужчины были феминизированы.

До сих пор в этом эссе я скорее косвенно, чем прямо утверждала, противопоставляла подлинный интерес к интеллектуальным вещам тому виду интеллектуальной жизни, который ведут женщины. Позвольте мне сказать теперь, что у меня нет меньшего намерения, чем внести свой вклад в старый спор относительно соответствующих интеллектуальных способностей двух полов. Если я использую прилагательное “мужской” для обозначения более значимого типа интеллектуального импульса, чем тот, который выражается прилагательным “женский”, то это не для того, чтобы принизить качество второго импульса; это вопрос определения. Кроме того, относительная степень “мужских” и “женских” черт, которыми обладает индивид, почти в такой же степени является результатом приобретенного обучения, как и врожденной наследственности. Современная молодая, независимая студентка колледжа на самом деле с большей вероятностью обладает “мужскими” интеллектуальными привычками, чем средний директор YMCA. Я использую прилагательные для выражения широких, общих характеристик в том виде, в каком они обычно понимаются.

Ибо непосредственное изучение интеллектуальной жизни женщин — которая, повторяю, практически является интеллектуальной жизнью нации — в Соединенных Штатах показывает необходимость более четкого определения терминов. Интерес к интеллектуальным вещам стоит на первом, последнем месте и всегда *бескорыстен*; это любовь к истине, если не исключительно ради нее самой, то по крайней мере без страха последствий, фактически почти не задумываясь о последствиях. Это не означает, что такое проявление врожденной склонности к мышлению, такое утоление естественного метафизического любопытства в каждом из нас не является процессом, окутанным — так же верно, как склонность заниматься любовью или злиться, — собственной эмоциональной аурой, страстью, столь же характерной, как и любая другая. Это просто означает, что обстоятельства, стимулирующие эту врожденную интеллектуальную предрасположенность, иного рода, чем те, которые стимулируют другие наши предрасположенности. Образное представление о своем возросшем социальном “я” пробудит в нас честолюбивые инстинкты или желание основать семью, в то время как любопытство или изумление по поводу тайны жизни, смысла смерти, высшей природы Бога (объекты желания так же истинны, как и другие объекты) пробудит наш интеллектуальный настрой. Эти случаи, объекты, гипотезы необходимы и не имеют морального значения. Ценности, присущие им, — это ценности удовлетворенного созерцания, а не практического результата. Их непосредственная полезность — хотя их конечная, в силу парадокса, который постоянно делает простой здравый смысл неадекватным, может быть очень велика, — носит лишь субъективный характер. В этом смысле они кажутся своенравными и мужеподобными; и, что важнее всего, бесполезными.

Возможно, значение “женского” подхода к интеллектуальной жизни может быть несколько прояснено этим предварительным определением. Основное допущение такого подхода заключается в том, что ценность идей оценивается терминами, лежащими вне самих идей, или, как недавно сказала миссис Мэри Остин в журнальной статье, “ее [женщины] глубоким чувством социальной применимости как критерием ценности”. Одним словом, по сути, интеллектуальная жизнь — это инструмент моральной реформы; настоящая проверка идей

заключается в их утилитарном успехе. Поэтому неудивительно, что интеллектуальная жизнь, как я ее определил, женщин в Америке при ближайшем рассмотрении оказывается вовсе не интеллектуальной жизнью, а социологической деятельностью. Лучшие из современных женщин—мыслителей в Соединенных Штатах — а таких много - часто являются техническими экспертами, стремящимися применить знания и умения для разработки методики лучшего решения проблем, *ответы на которые уже предполагаются*. Вопрос о фундаментальных целях ставится редко, если вообще ставится: например, желательность современной семьи, желательность здоровых детей, желательность моногамии не оспариваются. Они рассматриваются как цели, желательные сами по себе, и то, что женщины обычно понимают под интеллектуальной жизнью, - это применение современных научных методов к своего рода расширенному и более тонкому курсу домашней науки.

Это презрительное отношение к простым интеллектуальным ценностям, конечно, было усилено присущим первопроходцам подозрением ко всем мыслям, которые не приводят немедленно к успешному действию. Поразительный рост прагматизма и его крепкого отпрыска инструментализма, где идеи становятся всего лишь скромными служанками "продвижения вперед", стал возможным в той степени, в какой мы видим это сегодня, именно потому, что интеллектуальная атмосфера была насыщена этим феминизированным утилитаризмом. Мы испытываем глубокий дискомфорт перед самоанализом, созерцанием или скрупулезным соблюдением логической последовательности. Женщины без колебаний называют эти занятия холодными, безличными, непрямыми — я думаю, у них есть для них специальное выражение: "традиция обучения поуба". У нас представление об интеллекте как о бездушной машине, действующей в довольно липкой пустоте, приобрело силу фольклора, потому что мы так сильно хотели лишить его теплоты и красок. Мы хотели дискредитировать его самого по себе; мы уважали его только за то, что он мог сделать. Если его деятельность приведет к улучшению санитарных условий, повышению качества молока для младенцев и расширению мостов, по которым, по выражению Мэтью Арнольда, мы могли бы быстрее переходить из одного унылого, нелиберального города в другой унылый, нелиберальный город, то эти действия были оправданы. То, что жизнь разума может иметь эмоциональный импульс, остроту или вибрацию, составляющую такой же ценный вклад в человеческое счастье, как, скажем, удовлетворенное супружеское счастье жителя пригорода без бактерий на его бетонной вилле, было непостижимо. Каждая наука должна быть *прикладной* наукой, интеллект должен быть *прикладным* интеллектом, прежде чем мы досконально поймем его. Мы создали среду, в которой интеллектуальные импульсы должны стать фундаментально социальными по качеству и настроению, тогда как истина в том, что эти импульсы, подобно религиозному импульсу, в своей первозданной спонтанности в основе своей индивидуалистичны и капризны, а не дисциплинированы.

Но такой индивидуализм в мышлении, если его не смягчить контактом с институтами, которые его принимают и лелеют и, таким образом, могут, не прибегая к покровительству, исправить его дикость, неизбежно превращается в эксцентричность. И так, к сожалению, слишком часто бывало в истории американских интеллектуалов. Институциональная структура, которая могла бы поддерживать их и удерживать на главном пути гуманистической традиции, была слишком хрупкой и непрочной. Университетская и студенческая жизнь, образовательные учреждения, даже такая дисциплина, как стипендиат, как показывают нам другие очерки в этом томе, оказали нам очень мало помощи. Даже церковь скорее спровоцировала непокорность, чем какую-либо реальную переориентацию религиозной точки зрения, а наши атеисты — вспомним

Ингерсолла — обычно были довольно условны в своем интеллектуальном мировоззрении. Например, у образованных англичан, каковы бы ни были их религиозные, экономические или политические взгляды, существовала определенная общая традиция или точка отсчета и понимания, то есть классика. Мистер Бальфур может говорить на том же языке, что и мистер Бертран Рассел, даже когда он является членом правительства, которое отправило мистера Рассела в тюрьму за его политическую оппозицию последней войне. Но это действительно напрягает воображение, чтобы представить мистера Денби, цитирующего Хьюма, чтобы опровергнуть мистера Уикса, или вице-президента Кулиджа, вступающего в эпистемологический спор с генеральным почтмейстером Хейсом. У президента Хардинга и осужденной Дебс нет общего интеллектуального фона или у любого другого человека, а возможно, и у сотни других — есть только общее социальное или географическое происхождение, в котором отсутствие реальной общности интересов трогательно подчеркивается гротескным акцентом на братской солидарности, как, например, когда мистер Хардинг обнаружил, что он и его шофер принадлежали к одной ложе, рассматривая этот чисто случайный факт как символ исцеляющей силы Отцов Церкви и американской демократии!

В такой атмосфере призрачных духовных отношений, где тонкость контакта разума с разумом по-детски маскируется под лозунгом хорошего товарищества, можно было бы ожидать, что интеллектуальная жизнь должна вестись не только с той степенью индивидуалистической изоляции, которая естественно необходима для ее существования, но также и во враждебной и неинтеллигентной среде почти насильственного “отличия” от общего социального типа. Такая атмосфера станет такой же кишасей чудаками, фанатиками, религиозными фанатиками-грибами, высокоморальными педантами с новыми схемами совершенствования, изобретателями вечного двигателя, безграмотными романистами и ораторскими кретинами, как болото комарами. Кажется, что они размножаются почти за одну ночь; у нас нет стандарта, которому могли бы в равной степени соответствовать мудрые и глупые, нет критерия, по которому можно было бы спонтанно оценивать их и таким образом, лишая их дыхания жизни, признания, сокращать их численность. Напротив, мы приветствуем их всех со своего рода джеймсианским энтузиазмом, как будто каждый дурак, как и каждый гражданин, должен иметь свое право голоса. Это своего рода интеллектуальное предоставление избирательных прав, которое порождает тот же тип лидерства, от которого в политической сфере с полным избирательным правом мы страдаем из Вашингтона и столиц наших различных штатов. Наша интеллектуальная жизнь, когда мы объективно оцениваем ее с точки зрения энергии и разнообразия, слишком часто кажется демократией шарлатанов.

Однако, когда мы отказываемся от более наивных и популярных экспериментов по поиску выражения для подавленной склонности мыслить, более утонченные *девушки* нашей культурной жизни оказываются столь же искаженными и бесплодными. Они страдают не столько от того, что их считают “странными” — на самом деле, внутренне испытывая глубокий дискомфорт оттого, что они не являются успешными бизнесменами, они скрупулезно придерживаются общепринятых манер и внешнего вида, — сколько от того, что профессор Сантаяна со свойственной ему веселостью назвал “традицией благородства”. Это бич, падающий на справедливых и несправедливых; подобно Джорджу Бернарду Шоу, они терпимы к капризам ума и нетерпимы к капризам тела. Они приобретают свою инвалидность из-за присущей им по сути американской (и по сути женской) робости перед самой жизнью; похоже, они, как и все хорошие мужья и добытчики, хотят свести авантюру к умственному приключению, а трагедию — к ошибке в рассуждениях. Они щедро рассуждают о свободе мнений — хотя,

строго говоря, *мнение* всегда свободно; единственное, что ограничено, — это право выражать его словами, - но, похоже, на редкость умалчивают о свободе действий. Если бы это был просто недостаток темперамента, это, конечно, не имело бы значения. Но это ранит гораздо глубже. Мысль, подобно туману, поднимается из земли и в конце концов должна вернуться к ней, если не хочет рассеяться в эфире. Благородная традиция, которая украла у интеллектуальной жизни ее собственные ценности, веселье и смех, сделала ее кислой и *дерасинизированной*. Она утратила свои земные корни, свою чувственную полноту, свою телесную *мизансцену*. Когда разговариваешь с нашими корректными интеллектуалами, возникает ощущение, что они какие-то хрупкие и могут расколоться каламбуром, низкой историей или животным гротеском, как раскалывается яичная скорлупа. И все же, какой бы ни была мысль сама по себе, мы наверняка знаем, что у нее есть биологическая история и животное окружение; она может достичь своего собственного достоинства и эффективности только тогда, когда функционирует в некоем рациональном взаимодействии с более требовательными инстинктами тела. Приспособление должно быть гармоничным и желанным; настоящие мыслители не проводят такого аскетического развода между страстями и интеллектом, эмоциями и разумом, который является центральной характеристикой благородной традиции. Мысль питается почвой, на которой она растет, и сегодня в Америке эта почва заросла беспомощными сорняками корректности. Наше санитарное совершенство, наша материальная организация товаров, наше приглушение эмоций, наше осуждение любопытства, наш страх перед праздными приключениями, наш ужас перед болезнями и смертью, наше отрицание страданий — что это за почва для жизни?

Конечно, не слишком милостивый или волнующий; неудивительно, что наши интеллектуальные растения вянут под этим тщательно соблюдающим асептику солнечным светом.

Тем не менее, хотя у меня возникло искушение дать этому эссе подзаголовок “Исследование стерильности”, я не верю, что наша почва полностью стерильна. Под поверхностной бесплодностью скрывается зародышевая энергия, которая еще может пробиться сквозь сорняки и консервные банки тех, кто боится жизни. Если благородная традиция не поддавалась широкому вызову Уитмена, его приглашения не были полностью отвергнуты вторым поколением, последовавшим за ним. Самое обнадеживающее в современной интеллектуальной сфере в Америке - это презрение молодежи к старшим; они беспокоятся, встревожены, недовольны. Это не дисциплинированное презрение; оно еще не зажжено какой-либо настоящей любовью к интеллектуальным ценностям — как это могло быть? И все же это подлинная и трогательная попытка создать образ жизни, свободный от оков власти, которая потеряла всякий смысл даже для тех, кто ею обладает. Некоторых это приводит к бесполезному и жалкому эмиграционизму из страны; других делает упрямыми и безрассудными; многих загоняет в подполье, где, как и в России до революции 1905 года, *интеллигенция* встречается с себе подобными и разделяет трудности их общей борьбы с окружением, которое стремится их уничтожить. Но какой бы грубой и напористой она ни была, это дрожжи, состоящие всегда из тех, кто *не* будет соответствовать. Чем сильнее на них оказывается давление стандартизации, тем острее и острее — хотя часто и безудержнее — становится их бунт против нее. Прямо сейчас эти нонконформисты составляют духовное сообщество, которое дезорганизовано и имеет мало точек соприкосновения. Она может быть стерта с лица земли, ибо история безжалостна, и каждая гуманистическая интерлюдия напоминает опасное равновесие варварских сил. Только высокомерие и самодовольство дают основание предполагать, что мы, возможно, не сталкиваемся с новым видом темных веков. С другой стороны, если более дружелюбные и цивилизованные представители подрастающего сейчас поколения смогут каким-то образом

объединить свои разрозненные силы, чего они не смогут достичь? Ибо у нас есть жизненная сила и нервная настороженность, которые, будучи должным образом направлены, могли бы пробиваться сквозь скалы глупости с той точностью и размахом, с которыми наши механические изобретения захватили наши природные ресурсы и превратили их в материальные блага. Наша чаша жизни полна до краев.

Мне нравится думать, что эта чаша не вся прольется на песчаные дельты индустриализма... у нас так много всего в запасе! Поднимитесь на вершину Частокола и понаблюдайте за великим городом в сгущающихся сумерках, за тем, как свет за светом, ряды огней за рядами, увенчанные сияющими башнями на конце острова, просвечивают сквозь тени за рекой. Подумайте тогда о милях холмистых равнин, плодородных и усеянных городами, простирающихся за одной до того другого океана, который омывает цивилизацию, существовавшую задолго до нашего рождения и все же сегодня с благодарностью принимающую наши жалкие подаяния, чтобы уберечь ее от голода, о миллионах человеческих стремлений, надежд и юношеского рвения, содержащихся в огромном, непростом образовании, которое мы называем нашей страной, - неужели вся скрытая красота, волшебство и смех, которые, как мы знаем, принадлежат нам, должны угаснуть из—за того, что нам не хватает смелости сделать его гордым и вызывающим? Или прогуляться по аллее поздним октябрьским утром, когда солнце искрится в чистом и наэлектризованном воздухе, какого больше нигде в мире нет. Сверкающая красота форм, восходящая поступь уверенного анимализма, быстрая улыбка плодотворных умов — должны ли все эти вещи тоже быть сведены к однообразию, потому что нам не хватает смелости заявить об их чистой физической красоте? Разве волшебство Америки не было скрыто под туманом уродства теми, кто никогда по-настоящему не любил ее, кто никогда не знал нашей естественной веселости, приподнятого настроения и жажды знаний? Сейчас у них преимущество — но кто осмелится предсказать, что они смогут удержать его?

Возможно, это всего лишь мечта наяву, но, несомненно, можно надеяться, что Америка наших естественных привязанностей, а не нынешняя Америка принудительной скучной стандартизации, когда-нибудь разорвет оковы тех, кто сегодня считает ее духовной тюрьмой. И столь же несомненно, что именно мятежные и недовольные совершат чудо, если оно когда-нибудь совершится. Потому что в основе их бунта, в отличие от агрессии сторонников стандартизации, лежит не ненависть к тому, чего они не могут понять, а любовь к тому, что они хотят разделить со всеми.

Гарольд Э. Стернс

Естественные науки

Научные работы наших соотечественников, вероятно, вызвали меньше скептицизма со стороны иностранных судей, чем их достижения в других областях культурной деятельности. Есть одна очевидная причина такого различия. Когда нашу литературу, наше искусство, нашу музыку критикуют спренебрежительно-слабой похвалой, это происходит потому, что они не смогли достичь высших пределов творческих усилий. Высшее достижение в искусстве, безусловно,

предполагает постепенный ряд меньших устремлений, однако с точки зрения того, что можно было бы назвать потребительской точкой зрения, посредственность ничего не стоит и не способна вдохновить гения. Но в науке дело обстоит иначе. Здесь каждая крупинка разумной работы — какой бы банальной она ни была - считается вкладом в запас знаний; и, более того, от работ этого меньшего порядка высший разум часто зависит в своих собственных синтезах. Сочетание интеллекта, технической эффективности и прикладного подхода само по себе может оказаться недостаточным для разгадки загадок вселенной; но, если сменить метафору, оно вполне может послужить основой для структуры эпохи. Таким образом, хотя для американской литературы унижительно считать, что она является простым отражением английской литературы, американским ученым совершенно не важно, что они отправились в Европу, чтобы приобрести то мастерство, которое является необходимой предпосылкой для плодотворных исследований. И когда мы видим, как Александр фон Гумбольдт хвалит в беседе с Силлиманом географические результаты Мори и Фремонта, нет причин подозревать его в небрежной вежливости по отношению к заокеанскому гостю; ученый-ветеран вполне может радоваться постоянно расширяющемуся применению методов, в совершенствовании которых он сам помогал.

Таким образом, даже семьдесят с лишним лет назад Соединенные Штаты честным, кропотливым трудом внесли ценный вклад в развитие человеческих знаний, и этот вклад, естественно, с течением лет приумножился стократно. Тем не менее, было бы совершенно неверно создавать впечатление, что общая сумма представляет собой всего лишь огромное скопление невдохновленных рутинных работ. Правда, несколько лет назад один американский писатель довольно сенсационно выразил свое недовольство нехваткой знаменитых *ученых* среди наших соотечественников. Но он забыл, что в науке слава - это очень неадекватный показатель заслуг. Точный вклад индивидуальных способностей одного человека является одной из самых мучительно трудных для определения вещей — настолько, что ученые до сих пор спорят, в какой мере предшественники Галилея проложили путь к его открытиям в области динамики. Таким образом, для непрофессионала оценивать относительную значимость того или иного достойного интеллектуала на основе текущих сплетен довольно абсурдно. Конечно, отсутствие популярной репутации - слабая причина для того, чтобы отрицать величие современного или даже почти современного научного мыслителя. На ум сразу приходят два замечательных примера американцев, получивших высшие награды за границей, но оставшихся неизвестными по имени многим из своих наиболее культурных соотечественников. Кто когда-нибудь слышал об Уилларде Гиббсе? Тем не менее, он был награжден медалью Копли, высшей наградой британского образования, а его правило фазы, как говорят, знаменует эпоху в развитии физической химии. Опять же, до присуждения Нобелевской премии кто, кроме академика Бауэрс, когда-либо слышал о решающем эксперименте, с помощью которого чикагский физик показал, цитируя Пуанкаре, “что физические процедуры бессильны доказать абсолютное движение”? Имя Майкельсона связано со всеми недавними спекуляциями по теории относительности, и он разделяет с Эйнштейном судьбу стать знаменитым в одно прекрасное утро в силу чисто внешних обстоятельств.

Даже в самом кратком и случайном перечислении выдающихся сыновей коренных жителей невозможно обойти вниманием имя Уильяма Джеймса. В кои-то веки здесь единодушно проголосовало население города и мантии, местные и иностранные судьи. Естественно, Джеймс никогда не сможет значить для европейского мира то же самое, что он значит для нас, потому что в Соединенных Штатах он гораздо больше, чем просто великий психолог, философ

или литератор. Благодаря нашей особой духовной истории он занимает в нашем окружении совершенно уникальное положение. Он - единственный пример выдающегося американца в отрасли науки, которому в то же самое время удалось глубоко повлиять на культурную жизнь целого поколения. Более того, он, вероятно, единственный из наших по-настоящему оригинальных людей, насквозь пропитанный сутью цивилизации старого света. По другую сторону Атлантики, конечно, ни одна из этих характеристик не давала бы патента отличия. Следовательно, иностранное суждение о психологических достижениях Джеймса не было окрашено внешними соображениями, и это тем более примечательно, что “Принципы психологии” были так широко и такими компетентными критиками признаны как синтез первого порядка.

Не пытаясь исчерпать список великих имен, я должен упомянуть Саймона Ньюкомба и его коллегу-астронома Джорджа У. Хилла, обоих медалистов Копли. Ньюкомб, в частности, выделялся как выдающийся представитель своей науки в этой стране, почитаемый как здесь, так и за рубежом за свои сложные оригинальные исследования движения Луны и планетной системы, а также за его эффективную популяризацию. Генри Огастес Роулэнд, физик, был еще одним из наших выдающихся людей — тем, кстати, чья оценка была проведена в Европе задолго до того, как его величие осознали коллеги на родине. Он известен, среди прочего, за усовершенствование прецизионного прибора и за новое и более точное определение механического эквивалента тепла. Среди геологов Гроув Карл Гилберт, известный своими исследованиями озера Бонневиль — главного предшественника Большого Соленого озера - и своими исследованиями строения гор, выделяется как один из наших выдающихся ученых. Даже у тех, кто, подобно настоящему автору, наслаждался лишь случайным общением с этим великим стариком, не могло не сложиться впечатление, что теперь они знают, как выглядит великий ученый во плоти, и чувствуют, что такой человек был бы достойным членом любой интеллектуальной плеяды где угодно.

Если от отдельных личностей мы перейдем к рассмотрению течений научной мысли, Соединенные Штаты снова выдержат испытание с честью. Вряд ли можно отрицать, что в ряде отраслей наши соотечественники идут в авангарде. “Экспериментальная биология, - сказал немецкий зоолог незадолго до войны, - это в высшей степени американская наука”. Конечно, достаточно одного взгляда на немецкие или британские руководства, чтобы понять, насколько глубоко на интерпретации основных эволюционных явлений повлияли работы профессора Т. Х. Моргана и его последователей. В психологии, правда, никто не носит мантию Уильяма Джеймса, но существует эффективное продвижение по ряду различных направлений. Тесты Торндайка ознаменовали эпоху в анналах психологии животных, вытеснив более разумной техникой неряшливую работу более ранних исследователей. Экспериментальные исследования психических явлений в целом, индивидуальной изменчивости и поведения в частности, процветают в ряде академических центров. В области антропологии труды Льюиса Х. Моргана оказались огромным стимулом для социологических спекуляций во всем мире и до сих пор сохраняют свое влияние на многих европейских мыслителей. На мой взгляд, они не были продуктом великого интеллекта, и схема эволюции, прослеженная Морганом, обречена на забвение. Тем не менее, его теории заставили задуматься, и к его непреходящей чести следует сказать, что он открыл совершенно новую и плодотворную область малоизвестных исследований благодаря своему кропотливому накоплению и обсуждению примитивной терминологии родства.

Совсем недавно антропологическая школа, возглавляемая профессором Боасом, привела к переоценке теоретических ценностей в изучении культурного развития, вытеснив более глубоким историческим пониманием более грубые эволюционные спекуляции прошлого. Прежде всего, его основатель преуспел в совершенствовании методологии каждого раздела обширного предмета и остается, вероятно, единственным антропологом в мире, который как прямо, так и косвенно содействовал этнологическим, лингвистическим, соматологическим и археологическим исследованиям. Наконец, активная роль патологов, таких как доктор Саймон Флекснер, в экспериментальном изучении болезней, слишком хорошо известна, чтобы требовать более чем краткого упоминания.

Таким образом, ни по своим индивидуальным, ни по коллективным результатам американские исследования весьма далеки от того, чтобы быть незначительным фактором в научной жизни мира. Тем не менее, у медали есть обратная сторона, и он был бы смелым оптимистом, который должен искренне выражать полное удовлетворение либо статусом науки в культурной системе страны, либо работой, проделанной среднестатистическим американским исследователем. Давайте же тогда попытаемся взглянуть в лицо менее лестным фактам этого дела.

Фундаментальную трудность можно кратко резюмировать, применив социологическую концепцию дезадаптации. Американская наука, несмотря на ее выдающиеся достижения, не является органическим продуктом нашей почвы; это эпифеномен, тепличный рост. Это по-прежнему прерогатива касты, а не сокровище, которым гордится нация. В лучшем случае у нас есть только зарождающийся класс образованных непрофессионалов, которым нравятся научные книги, требующие сосредоточенного мышления или содержащие большое количество фактов. Наиболее наглядно об этом свидетельствует редкость статей такого типа даже в наших серьезных журналах. Наши врачи, юристы, священнослужители и журналисты — короче говоря, наши образованные слои населения — не поощряют публикацию материалов для чтения, которые выпускаются в Европе как прибыльное деловое предприятие. Трудно представить себе книгу, подобную книге Маха “Анализ эмпирических данных”, выдержавшую восемь изданий в Соединенных Штатах. И наоборот, нет ничего странного в том, что вряд ли кто-то из наших первоклассных мужчин считает заманчивой задачу поиска взаимопонимания с более широкой аудиторией. Ньюкомб и Джеймс, конечно, являются замечательными исключениями, но они *являются* исключениями. И здесь снова бросается в глаза контраст с европейскими условиями. Не говоря уже о классических популяризаторах прошлого, Англия, например, и сегодня может похвастаться такими людьми, как Пирсон, Содди, Джоли, Хинкс — все они компетентны или даже выдающиеся в своей профессиональной деятельности, но в то же время умелые толкователи своей области для широкой публики. Но для здоровой культурной жизни взаимопонимание такого рода между творцом и ценителем является необходимой предпосылкой, и в науке оно ничуть не менее важно, чем в музыке или поэзии.

Отчуждение науки от ее социальной среды привело к аномалиям, почти невысказанным в более зрелых цивилизациях Старого Света. Либо ученый теряет контакт со своим окружением, либо в борьбе за выживание он приспособливается, отказываясь от своей индивидуальности, то есть более или менее неискренне выставляя себя невеждой и представляя себя распределителем мирских благ. Совершенно верно, что исторически эмпирическое знание, связанное с практическими потребностями, возникло раньше, чем рациональная наука; верно также, что прикладная и чистая наука могут приносить и приносили взаимную пользу. Этот урок важен, и в такой стране со схоластической традицией, как Германия, такие люди, как Мах и Оствальд,

хорошо сделали, что подчеркнули его. Но в эпоху и в стране, где философы упиваются игнорированием философских проблем, а психологи стали экспертами в технике рекламы, акцент, несомненно, должен быть сделан в совершенно противоположном направлении, и это, даже если кто-то в целом склоняется к утилитарной точке зрения. Ибо нет ничего более определенного, чем то, что политика Gradgrind, рассчитанная на пенни, - это политика Gradgrind, рассчитанная на фунт стерлингов. Друг, преподающий в одном из наших инженерных колледжей, рассказал мне, что благодаря получаемой там "практической" подготовке выпускники действительно способны применять формулы наизусть, но беспомощно барахтаются, сталкиваясь с новой ситуацией, которая вынуждает их обращаться за советом к презируемому и низкооплачиваемому профессору-"теоретику". Призыв к чистой науке, выдвинутый Роуландом в 1883 году, еще не совсем устарел в 1921 году: "Чтобы иметь приложения науки, должна существовать сама наука ... мы взяли науку Старого Света и применили ее для всех наших нужд, принимая ее как дождь с небес, не спрашивая, откуда она взялась, и даже не признавая, что мы в долгу благодарности перед великими и бескорыстными работниками, которые дали ее нам.... Для современной цивилизованной нации применение науки является необходимостью, и наша страна до сих пор преуспевала в этом направлении только по той причине, что в мире есть определенные страны, где культивировалась чистая наука и где изучение природы считается благородным занятием".

Беотийское презрение к исследованиям как к желанному занятию, естественно, отражается в посредственном поощрении исследователей, которые вынуждены выполнять свою работу всеми правдами и неправдами и добывать средства недостойным обольщением богатых покровителей и неискренними *аргументами против человека*. Боже упаси, чтобы деньги тратились на решение проблемы, которая, по мнению лучших экспертов, требует решения; усилия скорее должны быть направлены на то, чтобы угодить невежественному благодетелю, стремящемуся создать любимую теорию или горящему рвением поразить мир сенсационным открытием.

Еще одним аспектом научной жизни в Соединенных Штатах, отражающим общие культурные условия, является упор на организацию и администрирование в противовес индивидуальным усилиям. Совершенно верно, что для проведения тщательно продуманных исследований важно, а иногда даже необходимо тщательное распределение индивидуальных задач, способствующих достижению общей цели. Но некоторые из величайших работ в истории науки были выполнены без учета принципов эффективности бизнеса; и какие бы преимущества ни были получены в будущем от административных устройств, они ничтожно малы по сравнению с творческой мыслью ученых. Они, и только они, могут придать ценность организационному механизму, который независимо от них должен оставаться бездушным инструментом. Чрезмерный вес эффективных схем по сравнению с творческими личностями является лишь симптомом общей дезадаптации. С этой чертой тесно связано то циничное поправление интеллектуальных ценностей, которое проявляется в обычном отношении попечителей и президентов университетов к тем, кто придает блеск нашей академической жизни. Административные чиновники могут признавать профессиональное превосходство ученого, но это считается несущественным, поскольку принятый ими стандарт ценностей лишь отдаленно, если вообще связан с оригинальностью или обучаемостью.

Есть, конечно, ученые, которым оказывают почтение даже попечители, нет, жены попечителей; но обычно оказывается, что это люди с независимыми средствами или социальным престижем.

Другими словами, именно их богатство и положение, а не творческая работа, возвышают их над своими собратьями. Одним из самых прискорбных результатов такого презрения к высшим ценностям является неспособность обеспечить достаточный досуг, который можно было бы посвятить исследованиям. Большинство наших ученых, как и зарубежных, зарабатывают на жизнь преподаванием, но мало кто из иностранных наблюдателей не был шокирован тем, как энергия их американских коллег растрачивается на административную рутину и элементарное обучение, пока на продвижение знаний не остается ни времени, ни сил. Но даже это не раскрывает всей истории, поскольку мы должны помнить, что молодым ученым, как правило, ужасно недоплачивают, и они вынуждены зарабатывать на жизнь популярным писательством или чтением лекций, так что исследования становятся совершенно невозможными. Если Оствальд и Кеттелл правы, связывая наивысшую продуктивность с более ранними годами зрелости, то трагические последствия таких условий, которые я только что описал, очевидны.

Справедливости ради, однако, следует упомянуть ряд учреждений, разрешающих научную работу без наложения каких-либо обязательств по преподаванию или обременительных административных обязанностей. Геологическая служба США, Институт Карнеги, Рокфеллеровский институт могут служить примерами. Мы также должны помнить, что разные люди совершенно по-разному реагируют на необходимость преподавания. Некоторые из наиболее известных исследователей — например, Роулэнд — считают, что умеренное количество лекций положительно стимулирует. В утопической республике обучения такие индивидуальные вариации были бы тщательно учтены при распределении заданий. Ассоциация обсерватории Лик с Калифорнийским университетом, по-видимому, приближается к идеальным условиям, поскольку ее высококвалифицированные астрономы освобождены от всех академических обязанностей, но пользуются привилегией читать лекции студентам, когда у них возникает желание.

Возвращаясь к главному вопросу, несоответствие между конкретной научной фазой нашей цивилизации и общей культурной жизнью приводит к определенным последствиям, даже более серьезным, чем последствия бедности, административной тирании и безразличия населения, поскольку они менее сильны и не так легко вызывают защитные механизмы со стороны жертв. Прежде всего, это ограничение потенциальных научных достижений из-за общих недостатков культурной среды.

Как пропагандистами, так и противниками немецкой науки было много сказано о последствиях интенсивной специализации. Но важной особенностью, которую обычно игнорируют в этой связи, является то, что в стране ее происхождения специализация является сопутствующей и преемственной для гуманитарного образования. Какие бы строгости ни предъявлялись к традиционной форме этого подготовительного обучения — а я видел, как немецкие авторы критиковали ее так же сурово, как и все остальные, — факт остается фактом: студент немецкого университета обладает широким культурным опытом, которого слишком часто не хватает его американскому коллеге; и то, что верно для Германии, с небольшими оговорками применимо и к другим европейским странам.

Тривиальный пример послужит иллюстрацией возможных преимуществ культурного фундамента для узкоспециализированных исследований. Музыка, как известно, является одной из характерных черт немецкой культуры, не только потому, что в Германии родились великие композиторы, но и из-за широкого признания и довольно широкого изучения музыки. С

художественной точки зрения знание игры на фортепиано или скрипке, приобретенное среднестатистическим ребенком в типичной немецкой семье, может ничего не значить, но по крайней мере в двух областях знаний оно может приобрести важное значение.

Психологический аспект акустики, вероятно, привлечет и будет плодотворно культивироваться теми, кто знаком с музыкальной техникой, и только они смогут справиться со сравнительными проблемами, возникающими при изучении первобытной музыки, — проблемами, которые никогда не пришли бы в голову среднему англосаксонскому полевому этнологу, но к которым немец применил бы свои знания так же спонтанно, как он применяет таблицу умножения к практическому предмету повседневной покупки.

На самом деле, все явления вселенной взаимосвязаны, и, соответственно, наиболее важных достижений можно ожидать от раскрытия менее очевидных связей. Для этой цели разнообразие интересов с соответствующим разнообразием информации может быть не только благоприятным условием, но и предпосылкой. Гельмгольц, возможно, и стал невнимательным врачом, но благодаря тому, что он объединил знания практикующего врача с знаниями физика, ему удалось изобрести офтальмоскоп. Поэтому может оказаться, что не один из десяти тысяч людей, которые могли бы применить себя на высшей математике никогда не сможет заранее математические теории, но это, конечно, верно, что манипуляторная умения и навыки, приобретенные бы стоять им хорошую службу не только в точных науках, но и в биологии, психологии и антропометрии, в которые по теории вероятности могут быть эффективно применены на явления изменчивости.

Я не хочу утверждать, что средний европейский студент - это замечательный Крайтон, широко использующий самые разнообразные методы исследования и группировки фактов. Но я убежден, что многие европейские рабочие выполняют более ценную работу, чем столь же способные американцы, по той единственной причине, что социальное наследие европейца предоставляет ему готовые средства для выявления корреляций, которые неизбежно должны ускользать от более узкого взгляда, поскольку лишены той же искусственной помощи. Решение проблемы заключается в обогащении культурной атмосферы и настаивании на широкой образовательной подготовке, помимо той, которая посвящена мастерству специалиста.

Однако при всем разнообразии информации и интересов, несомненно, один фактор должен иметь приоритет в оснащении ученого — дух, в котором он подходит к своей научной работе в целом. В этом отношении вопрос, который, вероятно, поразил бы большинство европейских или, во всяком случае, континентальных ученых, - это редкость в Америке философских изысканий основ своей научной позиции. Контраст с немецкой культурой, конечно, резок, и во многих тевтонских произведениях национальная склонность к эпистемологическим дискуссиям, несомненно, доведена до такой степени, что она перестает быть привлекательной для тех, кто не в такой манере рожден. И все же эта тенденция оказывает благотворное воздействие, стимулируя то презрение к простым авторитетам, которое необходимо для научного прогресса. Что наш среднестатистический американский студент должен усвоить прежде всего, так это непоколебимую веру в достоинства *аргументированного неконформизма*, и в этой фразе прилагательное и существительное одинаково важны. С одной стороны, мы должны осудить слепое почтение, с которым слишком многие из наших исследователей принимают суждения о признанном величии. Например, что может быть нелепее, чем превращать в догму *obiter dicta* такого человека, как Уильям Джеймс, главный урок жизни которого - неприятие академического традиционализма? Или, что мы должны думать о

знаменитом биологе, который решает проблему ламаркианства путем тщательного взвешивания не аргументов, а авторитетов? Никто не может одобрить мрачную свирепость, напоминающую литературные распри Александра Поупа, с которой немецкие ученые иногда обсуждают проблемы, представляющие теоретический интерес. И все же даже такой биллингсгейт, как Дюрринг, направленный против Гельмгольца, предпочтительнее подобострастного ученичества. Во всяком случае, это свидетельствует о великолепной вере в то, что в республике обучения слава и положение ничего не значат, что самый выдающийся ученый не должен быть свободен от критики самого ничтожного *рядового*, но нонконформизм должен быть рациональным. Инфантильно цепляться за ниточки, но не менее по-детски показывать свой язык доктринам, которые случайно расходятся с доктринами твоей собственной клики. Действительно, часто обе формы ребячества сочетаются: легко вместе с Джеймсом насмеяться над Вундтом или нападать на селекционистов под прикрытием мутационизма Де Фриза. Зрелый мыслитель откажется от короткого и легкого, но вводящего в заблуждение пути. Следуя Фехнеру, он будет осторожен в своей вере, но не менее осторожен и в своем неверии.

Только такая духовная свобода делает настаивание на академической свободе делом, за которое стоит бороться. В конце концов, что толку от того, что человек учит тому, чему ему заблагорассудится, если он совершенно искренне пересказывает современные народные предания? В одной из самых замечательных глав “Механика” Эрнст Мах указывает, что ущерб, наносимый натурфилософии политической властью Церкви, легко преувеличить. Наука была отсталой в первую очередь не потому, что учеными двигало внешнее принуждение распространять те или иные взгляды, а потому, что они некритично проглатывали жвачку народных верований. *Voilà l’ennemi!* Основная опасность заключается в коварном влиянии групповых мнений, независимо от того, поддерживаются ли они Церковью, государством или научной иерархией. Философская привычка неустанно критиковать свои базовые предположения естественно претит молодой и наивной культуре, и нельзя ожидать, что она возникнет спонтанно и пышно расцветет в науке, в то время как другие сферы жизни не в состоянии дать ей пищу. Каждая фаза нашей цивилизации должна быть пропитана духом позитивного скептицизма, которому учили Гете и Хаксли, прежде чем наука сможет собрать полноценный урожай на своем собственном поле. Но ее приверженцы, оглядываясь на историю науки, вполне могут набраться смелости и возглавить битву, и если пионеры движения потерпят неудачу, они вполне могут утешить себя словами героя Мильтона: “... и эта борьба не была бесславной, хотя событие было ужасным!”

Роберт Х. Лоуи

ФИЛОСОФИЯ

Философия одновременно является продуктом цивилизации и стимулом ее развития. Это растворитель, в котором проясняются неясные и противоречивые устремления людей и из которого они черпают направляющую силу. Однако, поскольку философы, скорее всего, облачают свои мысли в высокотехнический язык, существует потребность в классе посредников-переводчиков, через которых философия проникает в массы. По американской традиции

философами были профессора; переводчиками - священнослужители. Профессора, вероятно, будут отклонены идеями, воплощенными в институтах, с которыми они себя ассоциируют. Американский колледж в своих основаниях был объявлен защитником ортодоксии и до сих пор перекликается с тем, что Сантаяна так метко назвал “благородной традицией”, традицией, согласно которой учитель должен защищать веру. Некоторые из самых либеральных колледжей Новой Англии даже сейчас требуют посещения ежедневной часовни и воскресной церкви. Менее четверти века назад среди крупных несектантских учреждений все еще можно было найти священнослужителя-президента, который сам был преподавателем и дополнял учебную программу главным требованием - христианскими свидетельствами в поддержку Веры.

Девятнадцатый век организовал энергичную войну против этой благородной традиции. Атаки рационализма на догму не только усилились из-за постоянно растущего потока научных открытий в наших учебных заведениях, но и новости об этих научных открытиях начали будоражить воображение общественности и выводить конфликт науки и теологии из-под контроля церковного колледжа. Величайшей заковкой было “Происхождение видов” Дарвина, о двух американских изданиях которого было объявлено еще в 1860 году, через год после его публикации в Англии. Догма науки публично выступила против догмы теологии. Каким бы консервативным ни был колледж, ему пришлось уступить новому интеллектуальному настрою, и капитуляции способствовала армия молодых профессоров, которых удешевленный транспорт и слухи о великих достижениях привели в университеты Германии.

С точки зрения общественного интереса, непосредственные результаты этих паломничеств были не совсем благоприятны для философии. Утратив часть своего американского провинциализма, эти паломники также утратили связь с американскими интересами. Проблемы, которые они принесли с собой, коренились в чужой почве и традициях. Студентам они казались искусственными и бесплодными проявлениями технического мастерства. Так возникла академическая философия профессорства, ставшая еще более одинокой из-за потери церковных посредников более ранней традиции. Но то тут, то там американская жизнеспособность проступала сквозь иностранные одежды, и постепенно происходила ассимиляция, возможно, более легкая, поскольку немецкий идеализм естественным образом поддерживает благородные традиции и процветает среди способов мышления, которые Эмерсон разработал самостоятельно и за которые его литературный дар приобрел последователей.

Где бы Новая Англия ни представляла собой скелетные мускулы философской культуры, ее характер оставался неизменным. Кальвинизм был привезен в Америку, потому что он соответствовал этому темпераменту, и история идеализма в Америке - это история его сохранения путем адаптации к меняющейся среде идей. Его отличительными чертами являются ощущение присутствия Божественного в опыте и не менее сильное ощущение неизбежного зла. Джонатан Эдвардс пишет: “Когда мы созерцаем свет и яркость солнца, золотые края вечернего облака или красивый лук, мы видим свидетельства Его славы и благости, а в голубом небе - его кротость. Есть также много вещей, в которых мы можем узреть Его ужасающее величие: в солнце в его силе, в кометах, в раскатах грома, в опускающихся грозových тучах, в неровных скалах и вершинах гор”. Версия Эмерсона такова: “Природа всегда последовательна, хотя и притворяется, что противоречит своим собственным законам.... Она вооружает и снаряжает животное, чтобы оно нашло свое место и жило на земле, и в то же время она вооружает и снаряжает другое животное, чтобы уничтожить его. Пространство существует для того, чтобы

разделять живых существ; но, украшая бока птицы несколькими перьями, она придает ей ничтожную вездесущность.... Природа - это воплощение мысли, и она снова превращается в мысль, как лед становится водой и газом. Каждое мгновение наставляет и каждый объект; ибо мудрость вложена в каждую форму ". И у Ройса: "Когда в детстве нам говорили, что мы не можем видеть Бога только *потому, что* он повсюду, только потому, что его вездесущность не дает нам возможности разглядеть его и устремить на него свой взор, они аллегорически говорили нам глубокую правду.... "Я" - это настолько незначительная вещь, о которой просто догадываются как о неизвестном источнике опыта, что уже в самом незначительном из повседневных переживаний вы бессознательно знаете его как нечто присутствующее ".

В своем мрачном аспекте этот характер напоминает нам "Грешников в руках разгневанного Бога" Эдвардса, выбор которых мы, возможно, не понимаем. Но Эмерсон не сильно отстаёт: "Великие люди, великие нации не были хвастунами и шутами, но понимали ужас жизни и мужественно встречали его лицом к лицу.... В Лиссабоне землетрясение убивало людей, как мух. В Неаполе три года назад десять тысяч человек были раздавлены за несколько минут. И т.д.... У Провидения есть дикий, неровный, непредсказуемый путь к своему концу, и бесполезно пытаться обелить его огромные, разнородные инструменты или нарядить этого потрясающего благодетеля в чистую рубашку и белый шейный платок изучающего богословие ". По мнению Ройса, "худшая трагедия мира — это трагедия грубой случайности, которой, кажется, подвержено все духовное среди нас, трагедия дьявольской иррациональности столь многих противников всего значительного".

Эмерсоновская философия не в состоянии удовлетворить требования пуританского темперамента к современной мысли в двух отношениях. Воздвигая алтари "Прекрасной Необходимости", он пренебрегает научными открытиями и отрывается от христианской традиции, в рамках которой только этот дух чувствует себя как дома. С обоими этими недостатками сталкивается величайший из американских идеалистов, профессор Ройс.

По характеру и мышлению Ройс - великий примиритель противоречий. Иррациональный в своих чувствах и проявляющий себя наилучшим образом в обществе детей, он отстаивает абсолютный авторитет разума; преисполненный негодования по поводу зла и несправедливости, он объясняет присутствие зла как необходимое условие добра; остро критичный и не оптимистичный в отношении конкретных характеров людей, он представляет человека как образ Божий, часть саморепрезентирующейся системы, через которую раскрывается Божественная природа. Никогда не было лучшей иллюстрации изречения Паскаля о том, что мы используем наши доводы для подтверждения того, во что мы уже верим, а не для того, чтобы делать выводы. И никогда еще не было большего самообмана относительно наличия этого процесса.

Какой человек, еще не убежденный в Абсолюте, мог бы по ошибке найти доказательство существования более глубокого "я", которое в единстве знает всю истину? Кто еще мог бы смириться с дилеммой "*либо* ... ваш реальный мир там, насквозь мир идей, внешний разум, который вы более или менее постигаете благодаря своему опыту, *или же*, поскольку он реален и внеш, он непознаваем, непостижимый Икс, абсолютная тайна"? Без конгениальности веры, где трепет в ассимиляции самосознания как бесконечного с большей Бесконечностью, поскольку бесконечные системы четных или нечетных чисел или бесконечность других бесконечных рядов могут быть ассимилированы с большей бесконечностью всего числового ряда как надлежащие

части? И все же Ройсу удалось облечь эти доктрины в форму обширной эрудиции и проблесков своеобразного юмора, чему способствовала обширная и несколько отрывочная память, и вдохнуть в них жизнь.

В силу мракобесной логики, присущей этому, как и другим трансцендентальным идеализмам, существует подлинная привязанность к определенному аспекту христианства. Отождествление Абсолюта с Логосом Иоанна в его “Духе современной философии” и частые переходы на язык Священного Писания - это не просто уловки для придания абстракциям дыхания жизни. По такой логике “я” никогда не бывает полностью отдельным. Если мы проведем классификацию, то все они будут *secundum quid*. Абсолютное онтологическое разделение столь же мифично, как и Снарк. Индивид, по сути, является членом сообщества “я”, которое устанавливает для него обязанности в соответствии с требованиями Лояльности. Это основа этики Ройса. Но общение в этом сообществе - это также участие в “возлюбленном сообществе”, внутри которого грех, искупление и догмат христианства Павла естественным образом раскрываются под маской социальной психологии. В такой трактовке “Проблемы христианства” наблюдается самое большее лишь незначительное смещение акцента с несколько чересчур застенчивого индивидуализма его ранней философии.

Ройс обычно рассказывал историю о себе, которая иллюстрирует реакцию части публики на идеалистическую философию. В конце лекции перед некой женской организацией один из его одиторов подошел к нему со словами: “О, мой дорогой профессор Ройс, мне *так*, что я не смог удержаться! Конечно, я не понял ни слова из этого, но было настолько очевидно, что *ты* все это понял, что это стало *очень* приятным!” Леди, хотя и была более откровенна в своем признании, вероятно, интеллектуально не уступала значительной части публики идеалистов. Джеймс отмечает очарование слушать, как говорят о высоких вещах, даже если ты не можешь их понять. Но время, увы, способствует сравнительному пониманию, и, возможно, у Ройса, как и у Эмерсона до него, рост понимания способствует сужению круга его читателей. Импортированные мистерии Ойкена и Бергсона предлагают новые острые ощущения и более полное ощущение того, что вы идете в ногу со временем.

Если философия религии Ройса не имеет того успеха, которого можно было бы ожидать среди тех, кто ищет более свободную религию, то, вероятно, как предполагает профессор Хокинг, потому, что “идеализм не выполняет работу по установлению религиозной истины”. Ройса не интересуют церкви или секты. Христос для него не более чем тень. Молитве и богослужению нет места в его рассуждениях. Тогда мантия благородной традиции должна упасть на другие плечи, вероятно, на плечи самого Хокинга. Его “Значение Бога в человеческом опыте” - это попытка объединить реализм, мистицизм и идеализм, чтобы утвердить христианство как “органически укорененное в страсти, фактах и институциональной жизни”. Там, где идеализм уничтожил страх перед Адом, эта новая интерпретация “восстанавливает ощущение бесконечной опасности, грядущего гнева, небесного града, который можно обрести или потерять с течением времени и с помощью нашей свободы”!

В рамках этой философии мы спрашиваем, что религия сделала для человечества и как она действовала? Его последствия проявляются в “основе той уверенности, которая у нас есть, в нашем самоуважении, нашей вере в человеческую ценность, в нашу веру в устойчивость души во время всех катастроф физической природы и в целостность истории”. Но если мы примем эту “массу реальных дел, раз и навсегда совершенных под эгидой исторической религии” и

посредством религиозных догм и практики, гарантирует ли это будущую важность религии? Многие были достигнуты в рамках концепции о том, что земля была плоской, но, тем не менее, эта концепция несостоятельна.

Еще слишком рано оценивать глубину впечатления, которое эта философия произведет на американскую культуру. Профессор Хокинг предостерегает нас от поспешных суждений о том, что мир становится нерелигиозным. Он считает, что нынешнее отвращение к языку православия может проистекать из противоположной причины, а именно из того, что человек становится потенциально более религиозным. Если это так, то этот факт может согласоваться с американской традицией церковного колледжа и подтвердить утверждение профессора Коэна о том, что “идеалистическая традиция все еще является и, возможно, еще долго будет оставаться преобладающей основой философского обучения в Америке”. Но есть признаки, указывающие на противоположный вывод, и средства освобождения находятся под рукой как в изменении народного духа, так и в самой философии.

Экономические и социальные условия, которые рассеяли наиболее предприимчивых жителей Новой Англии по развивающемуся Западу, и приливы иммиграции 19 века ослабили влияние кальвинистского духа. Эти события и научное образование создают поколение, которое может смотреть на красоты природы, получать от них удовольствие, восхищение и удивление, не ощущая при этом присутствия сверхъестественного Божественного принципа. Успех в овладении природой преодолел чувство беспомощности перед лицом несчастья. Это порождает разумных оптимистов. На катаклизм, такой как землетрясение в Сан-Франциско, он отвечает организованной помощью и реконструкцией в виде железобетона. Если появляется эпидемия, он ищет микроб, антитоксин и санитарные меры. Больше нет алтарей, воздвигнутых Прекрасной Необходимости.

В философии наиболее радикальное выражение этого отношения находит в Новом реализме и инструментализме Дьюи. В 1910 году шесть молодых американских философов опубликовали в журнале “Философия, психология и научный метод” “Программу и первую платформу шести реалистов”, за которой вскоре последовал совместный сборник исследований по разработке доктрины. Их глубочайшие узы единения - это отвращение к романтическому духу и мракобесной логике Абсолютного идеализма. Следовательно, их доминирующая идея состоит в том, чтобы подрвать самые основы этой системы, теорию отношений в целом и отношение идеи к объекту в частности. Молодая Америка не увлекается тонкостями истории, поэтому эти реалисты отстаивают свою позицию в отношении “безупречной истинности признанных результатов науки” в то время, когда, по иронии истории, сама наука начала сомневаться.

Чтобы разрушить идеализм, психологию нужно переписать. Пока существует сознание, всегда есть шанс, что наш мир фактов может раствориться в субъективных представлениях. Ухватившись за плодотворное предложение Джеймса, они знакомят нас с миром объектов, который существует совершенно независимо от того, чтобы быть известным. Отношения этих объектов являются внешними по отношению к ним и не зависят от их характера. Иногда, однако, возникают отношения между нашими организмами и другими объектами, которые лучше всего можно описать, утверждая, что эти объекты вошли в наше сознание. Как же тогда мы можем впасть в ошибку? Только так природа совершает ошибки, реагируя таким образом, что приводит к конфликту с неназванными условиями. Возможно, величайшим вкладом реализма в американскую мысль на сегодняшний день является вклад некоторых из его

апостолов в имплицитную психологию, которая уже независимо сформировалась как бихевиоризм, самое жизненное движение в современной психологии.

Высокотехническая форма совместного труда Шести реалистов скрыла их доктрину от широкой читающей публики. Но в его критических отзывах занятой американец находит сочувственную нотку в утверждении независимой реальности объектов, с которыми он работает, и мира, в котором ему приходится прокладывать свой путь. У него также практическая вера в науку, и он рад избежать неизбежного типа религии и моральной теории, которые будут поглощены вместе с философией. Однако до тех пор, пока новые реалисты не разработают дальнейшие следствия из своей теории или, по крайней мере, не представят соответствующие религиозные, моральные и социальные установки, их философия имеет только негативное значение освобождения. Если она собирается глубоко повлиять на жизнь, она также должна быть творческой, не заменяя догму догмой, а вырабатывая какое-то новое видение мира. Пока что она сказала нам немного больше того, что истина, добро и красота являются независимыми реальностями, вечными сущностями, которые ждут нашего открытия.

Профессор Перри изложил реалистичную мораль. Для него правильным поступком является любое действие, ведущее к добру, а добром является все, что отвечает интересам. Но хороший поступок не обязательно нравственен. Мораль требует удовлетворения как можно большего числа интересов при данных обстоятельствах; высшим благом, если оно достижимо, было бы действие, удовлетворяющее все возможные интересы. Эта доктрина, хотя и понятна, трудна для применения в конкретных случаях. В нем реализм растворяется в прагматизме, и его значение лучше всего можно увидеть в связи с этой философией, где он получил более полное развитие и конкретные приложения.

Прагматизм получил свой первоначальный импульс благодаря противоречию между твердым здравым смыслом новых реалистов и эмоциональным романтизмом идеалистов, или, скорее, пониманию того и другого в себе. Это мышление Уильяма Джеймса, последнего наследника линии чистой культуры Новой Англии, ставшего космополитом благодаря путешествиям и интеллектуальным контактам. Происходя из семьи Сведенборгов, одинаково искушенный в науке и искусстве, Джеймс испытывал мистический трепет перед неизвестностью, но умел обращаться с ними с проницательностью торговца-янки. В "молодой Америке" его взор устремлен в будущее, и вместе с этим он нетерпим к догмам и ограничениям. Он свободен от условностей мышления и действий со свободой тех, кто пережил все это в своей жизни и осмеливается смотреть в лицо реальности, не опасаясь социальной или интеллектуальной *оплошности*. С такой новообретенной свободой приходит огромная жажда опыта. Для него глубочайшими реальностями являются личные переживания отдельных людей.

Величайший вклад Джеймса - его "Психология". В ней он помещает себя в поток человеческого опыта, безжалостно разрубая гордые узлы психологических догм и условностей. Разум, о котором он сообщает, - это разум, который каждый из нас видит в себе. Это не столько наука психология, сколько материалы для такой науки, науки в ее описательной стадии, постоянно прерываемой проницательными проповедями, в которых привычка предстает как маховик общества, или наше "я" расширяет рамки сочувственной жизни. Этому искателю приключений с опытом не свойственно и то, что его исследования ограничивают человеческую природу рамками карты ученого. Поток сознания не только должен протекать между границами наших концепций, но и в человеческой воле есть точка, пусть даже очень маленькая, где "мы",

слишком реальное, чтобы когда-либо быть постигнутым наукой или философией, может погрузиться в поток сознания и задержать какую-нибудь мимолетную идею, пусть даже всего на мгновение ока, и тем самым изменить весь ход и значение нашего открытого действия. Свобода не должна безоговорочно уступать научному детерминизму или случайности необходимости.

Джеймс - это Парсифаль, которому Грааль так и не открылся до конца. Его прагматизм и радикальный эмпиризм - всего лишь методы исследования, и ни одно приключение не может быть слишком мелким или подлым для поиска. Мы должны прояснить наши идеи и проверить их откровением, которое они дают. Мысли, которые ничего не меняют в нашей жизни, - это не настоящие мысли, а воображение. Путь всегда открыт, и, возможно, в действиях даже ненормального ума есть руководящая истина, действующая ценность. Мы должны принимать во внимание экстатические видения святых, предполагаемые сообщения спиритуалистов, мистические контакты с источниками некоей высшей силы и даже системы мышления чудаков, чтобы ничто не было потеряно или неиспытано. Не то чтобы нам нужно разделять такие убеждения, но это подлинный опыт, и кто может предсказать, где в этом опыте может возникнуть какое-то плодотворное видение!

Как психолог, Джеймс знал, что значение веры заключается не столько в ее содержании, сколько в ее способности направлять высвобождаемую энергию. Его католические интересы не эквивалентны некритической доверчивости. Сантаяна, самый мудрый из его критиков, прав в своем утверждении, что Джеймс никогда не терял своего агностицизма: "На самом деле он не верил; он просто верил в право верить, что ты мог бы быть прав, если бы верил". Что касается Паскаля, то пари на бессмертие, возможно, стоило того, чтобы его заключить, потому что в случае выигрыша человек обретал блаженство Небес, а в случае проигрыша — по крайней мере, должен был сохранять оптимизм в испытаниях этой жизни. Общение с бесконечным может открыть новые источники силы. Если так, то сила была там. Если нет, то испытание не причинило вреда. Однако в философии Джеймса нет никаких свидетельств того, что он сам черпал вдохновение из какого-либо из таких источников.

Если Джеймс привлек к себе самую читающую публику из всех американских философов, то это потому, что в нем каждый человек может найти одобрение для себя. Без догматизма или педантизма Джеймс является выразителем всего индивидуального человеческого опыта. В нем каждый человек может найти сочувствующего слушателя и слова, живые на языке улицы, поощряющие его усилия или, по крайней мере, указывающие на значение его опыта для великого дела жизни. Иногда Джеймс слушает человеческие признания с подавленным криком боли и с тоской вспоминает "Определенную слепоту в человеческих существах" или спрашивает: "Стоит ли жить?" Однажды, возмущенный "утонченной интеллектуальностью, тонкостями и щепетильностью" философии, он противопоставляет "сонм бесхитростных чистокровных мыслителей" радикальным реалиям Моррисона И. Свифта, только для того, чтобы частично отказаться несколькими страницами позже от признания, сделанного им неохотно, что Абсолют может предоставить своим верующим определенное утешение и "в этом отношении" истинен. В конце концов, мы живем в открытой вселенной, крышка снята, и время неумолимо работает на производство новинок. Ни один эмпирик не может принять решение до тех пор, пока не будут собраны все доказательства, а по характеру дела этого никогда не может произойти.

Такая открытость интереса предупреждает возможность основания Джеймсом философской школы. Это также в какой-то мере делает всех его младших современников его учениками. В народе он является прибежищем мистиков и неортодоксалов, спиритуалистов и чудаков, которые ищут одобрения академической учености и подтвержденного достоинства. В философии тех, кто называет его мастером, больше того, о чем можно мечтать в его философии. В академической философии существует двойное происхождение традиции Джеймса. Как принцип негативной критики, он может быть превращен в свою противоположность, как в случае с Хокингом, который провозглашает крайнюю форму прагматического принципа: "Если теория неинтересна, она ложна" — и использует ее для своего реалистического, мистического, идеалистического абсолютизма. Философия Анри Бергсона, которую широко читают в нашей стране, усиливает эту мистическую духовную сторону, но американский мистицизм в народе имеет тенденцию вырождаться в оккультизм второсортных легковверных умов.

С другой стороны, для тех, в ком конфликт науки и религии решается на стороне науки, принцип прагматизма подходит для интерпретации, первоначально задуманной Чарльзом Пирсом, автором термина, как экспериментализм, поиск проверяемых гипотез в соответствии с научными традициями. Но именно эта сторона доктрины была развита Джоном Дьюи.

Профессор Дьюи, без сомнения, является ведущим американским философом как по тщательности его анализа, так и по силе его обращения к американской общественности. Отбрасывая гегелевский идеализм, которому он был обучен, он полностью соответствует Новой Америке. В нем наука полностью победила, и, хотя он родом из Новой Англии, из Вермонта, в нем не осталось и следа романтического духовного стремления новоанглийца к соприкосновению с необъятным неизвестным. Его догматические убеждения, а без таких верований не бывает ни одного человека, связаны с эволюцией, демократией и все решающим авторитетом опыта.

Для Дьюи, как и для реалистов, психология - это изучение человеческого поведения. Для него разум - это инструмент, с помощью которого мы преодолеваем препятствия, а мышление имеет место только тогда, когда действие сдерживается. Следовательно, в общепринятом смысле абстракций не существует. Наши концепции - это инструменты, с помощью которых мы постигаем реальность. Если нам нужны инструменты для изготовления инструментов или для облегчения их использования, то эти инструменты также являются концепциями. Мы можем называть их абстрактными, но тем самым они не удаляются из сферы опытных фактов. Следовательно, поскольку наш реальный интерес заключается не в вещах такими, какие они есть сами по себе, а в том, что мы можем с ними сделать, наши суждения - это ценностные суждения, а ценность определяется практикой. Такие суждения подразумевают незавершенность физической ситуации и нацелены на ее завершение. Но воля к вере исчезла. Нет и тени веры Джеймса в практичность эмоционального удовлетворения или в его волюнтаристскую психологию. Наши "ощущения - это не элементы, из которых складывается восприятие, конституируются или конструируются; это тончайшие, наиболее тщательно различаемые объекты восприятия". Ранние критики, особенно среди реалистов, обвиняли Дьюи в субъективизме, но, кроме как в том смысле, что индивидуум должен быть признан как одно целое в реакции на ситуацию, и сами реалисты делают это, для обвинения нет оснований.

Такая философия, как у Дьюи, - ничто, если ее не применять на практике. И в этом его величайшее влияние на американскую жизнь. Как и большинство американцев, он не испытывает симпатии к ленивым, и даже чрезмерно рефлексивные люди могут страдать от заражения ленью; истинный американец хочет видеть результаты, и вот философия, в которой результаты являются высшей целью. Реформа для Америки - это своего рода спорт, и эта философия не предполагает ничего, кроме реформ. Метафизические тонкости и видения оставляют занятого человека равнодушным; здесь на них наложено табу.

Профессор Дьюи применяет свою философию в областях этики и образования. Возможно, его этика наименее удовлетворительна, какими бы многообещающими ни были ее зачатки. Моральные кодексы становятся выражением группового одобрения. Но они легко переходят в традицию, теряют связь с фактами, устаревают. Высшая добродетель - это разум, а обладая разумом, человек может распознать уникальность каждой моральной ситуации и выработать на ее основе свои собственные критерии суждения. Прогресс морали заключается в повышении общего уровня интеллекта и расширении группы, одобрение которой имеет значение, от социального класса до нации, что в высшей степени привлекательно для демократии с ее верой в отдельного человека. Но для Дьюи пределом групповой экспансии является человечность, и это может граничить с опасным (к сожалению) радикализмом. Оружие Дьюи против общепринятой этики обоюдоострое. Для интеллигентного человека, возможно, нет лучшего фактического морального стандарта, чем тот, который проистекает из разумных конкретных суждений, но для необразованного человека слишком легко отождествить интеллект с сентиментальным мнением и позволить практике вырождаться в законодательное подавление.

В конце концов, практические суждения действительно сталкиваются с незавершенными ситуациями, и проблема заключается не только в завершении, но и в определении способа, которым это завершение должно быть осуществлено. Люди преобразуют не только мир, но и самих себя, и этика будет неполной без некоторого дальнейшего рассмотрения таких вопросов, как какова природа человека и какими мы хотим, чтобы они стали. Но, возможно, такие вопросы слишком опасно близки к метафизике, чтобы обращаться к аналитическим способностям Дьюи. В любом случае, общая эффективность его этики ослабляется из-за его пренебрежения принципами, по крайней мере, в некотором смысле окончательными.

В образовании философия Дьюи проявляет свою наиболее полную жизнеспособность, поскольку здесь он имеет дело с конкретными потребностями и средствами их удовлетворения. Проблема образования заключается в интеграции знаний и жизни. Он не находит радости в информации ради информации. Любопытство может быть даром ребенка, но его нужно использовать, чтобы вооружить мужчину, чтобы он мог постоять за себя в мире индустриализма и демократии. И все же Дьюи симпатизирует спонтанности. Он - Руссо с новой методологией. Связанный с Лабораторной школой в Чикаго с 1896 по 1903 год, он с тех пор с сочувствующим интересом следил за всеми радикальными экспериментами, начиная с методов мадам Монтессори и заканчивая методами школ Гэри. Обширная эрудиция, накопленная в этой области, и его тщательное и непредвзятое изучение детей сделали его более компетентным, чем кто-либо другой, критически отзываться о методах и результатах.

В отношении образования он уделил более полное внимание целям, которых необходимо достичь, чем в случае с этикой. Конечная цель рассматривается как непрерывный рост, вытекающий из существующих условий, высвобождающий активность и гибкий в ее адаптации

к обстоятельствам. Результатом образования являются социальная эффективность и культура. Эта эффективность, однако, не подразумевает принятия существующих экономических условий как окончательных, а ее культурный аспект, добропорядочность, включает в себя наряду с более конкретными положительными добродетелями те характеристики, которые делают мужчину хорошим компаньоном. Культура - это полное созревание личности. "То, что называется духовной культурой, обычно было бесполезным, в нем было что-то гнилое только потому, что оно было задумано как вещь, которой человек мог обладать внутренне — и, следовательно, исключительно". Противоположность между жертвованием собой ради других или другими ради себя - нереальный плод воображения, трагический продукт определенного духовного и религиозного мышления.

Профессор Дьюи хорошо понимает опасности, которые скрываются за такими терминами, как *социальная эффективность* и *добропорядочность*. Для него сочувствие - гораздо больше, чем просто чувство: это, как, по его словам, и должно быть, "развитое воображение относительно того, что у людей общего, и бунт против всего, что их неоправданно разделяет". Но сам его дар ясного видения, его проникновение в обман догм, экономических и социальных, заставляет его относиться к этим вещам без особого уважения. В результате его коллеги-философы, педагоги, на которых он оказывает глубокое влияние, и общественность подозревают его в радикализме. Слишком часто, чтобы избежать подозрений в свой адрес, они используют его доктрину именно в тех целях, которые он осуждает: промышленная эффективность для них становится тождественной деловой целесообразности; школа - профессиональному училищу; культура - отстраненному эстетизму, подлежащему осуждению; и демократия - привилегии думать и действовать, как все остальные.

Величайшая слабость философии Дьюи, и это серьезно, поскольку Дьюи, как ни один другой американский философ, понимает принципы, с помощью которых американская цивилизация могла бы измениться к лучшему, — заключается в отсутствии в ней метафизики. Не трансцендентализм, конечно, или религиозный мистицизм, но прежде всего интерпретация человеческой природы. Эмоциональность представляет собой фазу процесса поведения, слишком реальную, чтобы ее отрицать, и все же ей нет места в философии человека Дьюи. Человеческие стремления - факты столь же реальные, как материалы производства. Большинство мужчин остаются религиозными. Должны ли они оставаться с шарлатанами-мистиками или неразумными догматиками? Что дает им религия, чего они жаждут? Является ли это формой искусства, отношением к идеалу или какой-то интерпретацией сил природы, которые они стремятся постичь? Профессор Дьюи сам любит искусство, но какое место занимает искусство в его философии? Если это инструмент воспитания, то какой цели он служит и как его использовать? Прагматическая этика не дает гарантии, что моральные критерии, выработанные в конкретных ситуациях, всегда будут одинаковыми даже для двух одинаково умных людей. Возможно, несмотря на парадокс, существует несколько наилучших решений. Если это так, то этот факт имеет некоторое значение, коренящееся в природе человека и его отношениях к миру, которое должна раскрыть философия. Такое дополнение не обязательно изменит характер результатов, но оно может предотвратить их неправильное толкование и злоупотребление.

При всей своей незавершенности философия Дьюи, несомненно, является философией современной Америки. Что мы скажем о будущем? Ни одна нация в мире так не злоупотребляла своей философией, как наша. Вдохновляющие элементы нашего идеализма превратились в

потворство сентименталистам. Оживляющие силы нашего прагматизма угрожают превратиться в догматы денежного успеха. Война усилила наше национальное самодовольство. Мы склонны осуждать любое видение как радикальное, следовательно, необоснованное, следовательно, злое, следовательно, подлежащее подавлению. Философия процветает в атмосфере Вакха:

“Что еще есть Мудрость? Как насчет человеческих усилий

Или высокая милость Божья, такая прекрасная и такая великая?

Освободиться от страха, дышать и ждать;

Держать руку поднятой над Ненавистью;

И разве красоту нельзя любить вечно?”

Но что мы имеем сейчас от этой атмосферы?

На Рождество Американская философская ассоциация посвятила три заседания обсуждению роли философа в современной жизни. Судя по отчету, мнения разделились между теми, кто хотел бы видеть в нем социального реформатора, исключая созерцательный опыт, и теми, у кого больше чувства безопасности, кто хотел бы, чтобы он обратился к истории любого рода или к размышлениям, совершенно не связанным с социальными последствиями. Будем надеяться, что эти мнения не следует принимать всерьез. Не все наши социальные реформаторы похожи на Дьюи, чье пренебрежение основными размышлениями, вероятно, не так велико, как можно было бы предположить по отсутствию таких размышлений в его опубликованных работах. Академическая кафедра также, как правило, не подходит для конкретных контактов с жизнью, на основе которых должны формироваться успешные реформы. С другой стороны, абстрактное созерцание с пропагандируемым педагогическим подкреплением подтвердит популярное в Америке мнение против рефлексии, если это правда, как утверждает Дьюи, что образование должно быть результатом существующих условий. К счастью, гении, если такие есть среди нас, не подчинятся мнению Американской философской ассоциации. Если философия может обрести свободу, возможно, Америка еще сможет обрести философию.

Гарольд Чэпмен Браун

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Среди всех фигур, которые, по мнению миссис “Эпоха невинности” Уортона составляет бледный маленький социальный передний план, еще более бледную среднюю дистанцию Нью-Йорка сорокалетней давности, нет ничего более бледного, чем фигура Неда Уинсетта, “литератора, безвременно родившегося в мире, который не нуждался в литературах”. Уинсетт, как нам сообщают, “опубликовал один том кратких и изысканных литературных оценок”, из которых было продано сто двадцать экземпляров, а затем оставил свое призвание и занял малоизвестную должность в женском еженедельнике. “По поводу *огня в очаге* (так называлась газета) он был неистощимо занимателен”, - говорит миссис Уортон: “но за его весельем

скрывалась бесплодная горечь все еще молодого человека, который попробовал и сдался”. Бесплодная горечь, яркая тщетность, начало без будущего: такова история Неда Уинсетта.

Перелистывая страницы миссис Уортон, чувствуешь, насколько это символично для литературной жизни Америки. Я ничего не скажу о других искусствах, хотя жизненные условия всех искусств, несомненно, имеют много общего; я ничего не скажу об Америке до Гражданской войны, поскольку Америка, в которой доминировала Новая Англия, была иной нацией, чем наша. Но что сразу бросается в глаза при рассмотрении истории нашей литературы за последние полвека, так это исключительное бессилие ее творческого духа. То, что у нас есть и всегда было изобилие талантов, я думаю, не менее очевидно: я имею в виду, что очень немногим из этих талантов удастся реализовать себя. О скольких наших современных писателях можно сказать, что их творчество демонстрирует непрерывный рост, или вообще какой-либо рост, что они упорно стоят на своем и сохраняют свои соки от десятилетия к десятилетию? Если, говоря относительно, характерной эволюцией европейского писателя является постоянно растущая дифференциация, продвижение к творчеству, обладанию миром, абсолютно принадлежащим ему самому (миром Шоу, миром Харди, миром Гамсуна, Горького, Анатоля Франса), то американский писатель, начав со своей новой ноты, становится — как часто! — все меньше и меньше самим собой. Загубленная карьера, остановленная карьера, отклоненная карьера - вот наше правило. Хроническое состояние нашей литературы - это состояние юношеского обещания, которое никогда не оправдывается.

Великий писатель, *великий экривен*, в лучшие времена появлялся в Америке всего раз или два - это другое дело. Я говорю, как уже сказал, о последних полувеке, и я говорю о рядовых сотрудниках. Есть те, кто будет отрицать эту характеристику нашей литературы, указывая на то, что они считают надежным и цельным корпусом нашей “нормальной” художественной литературы. Но эта художественная литература, по-своему, точно подтверждает мою точку зрения. Какое качество духа стоит за этим? Сколько в нем содержится того творческого элемента, характер которого заключается в доминировании над жизнью, а не в том, чтобы быть под ее властью? Есть ли у этих наших романистов свой собственный мир, отличный от мира, который они наблюдают и отражают, мира, который они разделяют со своими соседями? Это личное видение, которое информирует их, или видение толпы? Датский писатель Йоханнес В. Йенсен описал их работу как “журналистику в исключительно удачных условиях”.

Журналистика в целом, несомненно, такова, и главным из этих благоприятных условий (удачных для журналистики!) была общая неспособность рассматриваемых писателей утвердиться и развиться как личности; поскольку они оказали цезарю то, что было предназначено Богу, стоит ли удивляться, что Цезарь так растолстел? “К несчастью, — пишет мистер Монтроуз Дж. Мозес, — американская драма” - но это замечание в равной степени справедливо и для нашей художественной литературы, - “имела много блестящих обещаний, которые в конце концов истончились и так и не материализовались”. И еще: “Американский драматург всегда пользовался своей логикой из вторых рук; он всегда позволял своему театральному чутью быть рабом управленческих обстоятельств”. Эти два утверждения дополняют друг друга, и они применимы, как я уже сказал, ко всей нашей “нормальной” литературе. Управленческие обстоятельства? Назовем это местным патриотизмом, духом времени, жаждой публики того или иного: “нормальный” американский писатель всегда позволяет себе стать рабом какого-нибудь из этих требований, этих побуждений извне. Действительно, именно тот факт, что он является рабом какого-то требования извне, делает его “нормальным” - и кем-то иным, чем художник.

Короче говоря, цветущая внешность основной части нашей современной литературы представляет собой что угодно, только не целостность внутреннего благополучия. Но даже помимо этого, можно пересчитать по пальцам американских писателей, которые способны год за годом развивать и раскрывать свою индивидуальность, как каждый компетентный деловой человек занимается своим делом. Какая судьба постигнет остальных? Должен ли я начать перечислять некоторые из этих имен, знакомых всем нам, имен, которые означали так много обещаний и затерялись в том, что Готье называет “лимбом, где стонут (в компании младенцев) мертворожденные призвания, неудачные попытки, личинки идей, которые не обрели ни крыльев, ни формы”? Должен ли я упомянуть писателей — но их бесчисленное множество! — которые погрузились в молчание, или занимались бесплодными эксцентричностью, или были превращены в машины? Поэты, которые в самом начале своей карьеры обнаруживают, что гаснут, как множество свечей? Писатели, которые не смогли повзрослеть и остаются увядшими семнадцатилетними мальчиками? Критики, которых на середине карьеры настигает затвердение духовных артерий? Нашим писателям почти повсеместно не хватает силы роста, выносливости, которая позволяет продолжать создавать личные работы после того, как прошла свежесть молодости. Сорняки и полевые цветы! Сорняки, лишенные красоты и аромата, и полевые цветы, которые не выдерживают дневной жары.

Таков аспект нашей современной литературы; по сравнению с литературой почти любой европейской страны, это действительно один длинный список духовных потерь. Ибо дело не в том, что таланта не хватает, а в том, что каким-то образом этому таланту не удастся реализовать себя.

Поскольку это так, как сильно хотелось бы предположить вместе с некоторыми нашими критиками, что американский писатель - это своего рода Самсон, связанный медными оковами филистимлян и требующий только сбросить эти оковы, чтобы иметь возможность завоевать мир! Такова, насколько я понимаю, позиция мистера Драйзера, который недавно заметил о некоторых наших романистах: “Им удалось написать всего одну книгу, прежде чем ими завладела железная рука условностей”. В качестве аргумента можно сказать следующее: если американский писатель как типаж проявляет меньшее сопротивление, чем европейский, то это явно потому, что он был недостаточно подготовлен, стимулирован, взращен обществом, в котором он родился. В этом смысле американская среда несет ответственность за литературу, которую она произвела. Но что важно, так это то, что американский писатель *does* проявляет меньшее сопротивление; поскольку литература - это не что иное, как выражение силы, творческой воли, “свободной воли”, короче говоря, не правильное ли сказать, что не “железная рука условностей” овладевает нашими писателями, а что наши писатели уступают “железной руке условностей”? Самсон потерял свою мужественность еще до того, как филистимляне связали его; именно потому, что он потерял свою мужественность, филистимляне смогли связать его. Американский писатель, который “сбился с пути”, находится в похожем положении. “Я прочитал,” говорит мистер Драйзер о Джеке Лондоне, - несколько коротких рассказов, которые доказали, на что он способен. Но он не чувствовал, что его волнуют нужда и общественное безразличие. Отсюда и множество его превосходных романов”. *Он не чувствовал, что его волнуют нужда и общественное безразличие.* Даже мистер Драйзер, как мы видим, детерминист, каким бы он ни был, допускает свободу воли, поскольку он представляет Джека Лондона как человека, сделавшего выбор. Однако сейчас нас интересует не теоретический, а практический вопрос, а именно тот факт, что американским писателем, как правило, движет не вера, а страх, что он не может преодолевать препятствия в виде “нужды и

общественного безразличия” так, как их преодолевает европейский писатель, что он действительно, как будто по своей природе, подмастерье и наемник.

Таким образом, как мы видим, творческая воля в этой стране - очень слабое и болезненное растение. Из бесчисленных талантов, которые постоянно проявляются в нас, лишь немногие приносят какие-либо плоды: остальные рано увядают; они трансформируются в те неврозы, которые расцветают на нашей почве, как орхидеи в зеленых джунглях. Ощущение этого провала написано во всей нашей литературе. Разве мы не знаем, какие глубины разочарования скрывались за цинизмом Марка Твена, Генри Адамса и Эмброуза Бирса? Неужели мы не распознали в угрюмом презрении, с которым автор “Истории провинциального городка” обычно отзывается о писателях и литературе, бессознательный крик о прокисшем винограде человека, творческая жизнь которого прервалась в юности? Разве нам неизвестно, с какой горечью в некоторых письмах своих последних лет Джек Лондон сожалел о том, что его дар пропал даром? Нельзя отрицать, что на протяжении полувека американский писатель как типаж терпел поражение.

Почему это так? Почему американский писатель, условно говоря, проявляет меньшее сопротивление, чем европейский? Очевидно, как я только что сказал, потому, что он был недостаточно подготовлен, стимулирован, взращен обществом, в котором он родился. Если наш творческий дух не способен расти и созревать, это признак того, что чего-то не хватает в почве, из которой он произрастает, и в условиях, которые его окружают. Не является ли это, если уж на то пошло, признаком какой-то более общей неудачи в нашей жизни?

“В настоящий момент, ” писал мистер Честертон в одном из своих ранних эссе (“Ошибочность молодой нации”), пораженный любопытной анемией тех немногих наших художников, которым удалось саморазвиться, обычно вырвавшись из американского окружения, “ в настоящий момент вопрос, который Америка должна очень серьезно рассмотреть, заключается не в том, насколько она близка к своему рождению и началу, а в том, насколько она может быть близка к своему концу.... Английские колонии не произвели на свет великих художников, и этот факт может доказать, что они все еще полны скрытых возможностей и резервной силы. Но Америка произвела на свет великих художников, и этот факт, безусловно, означает, что она полна прекрасной тщетности и конца всему сущему. Какими бы ни были американские гении, они не молодые боги, создающие молодой мир. Является ли искусство Уистлера смелым, варварским искусством, счастливым и безудержным? Заражает ли мистер Генри Джеймс нас духом школьника? Нет, колонии ничего не сказали, и они в безопасности. Их молчание может быть молчанием нерожденных. Но из Америки донесся сладкий и пронзительный крик, столь же безошибочный, как крик умирающего человека”. На то, что за этим стоит правда, что почва нашего общества, по крайней мере, засушлива и бедна, указывают свидетельства наших собственных поэтов; стоит только задуматься над тем, что написал Джордж Кэбот Лодж в 1904 году в одном из своих писем: “Мы вымирающая раса, какой должна быть каждая раса, люди которой, как люди, а не аккумуляторы, третьесортны”; стоит только задуматься над трудами господ Кэбота Лоджа. Фрост, Робинсон и Мастерс, в чьем представлении нашей жизни, как на Западе, так и на Востоке, индивид как духовная единица неизменно терпит поражение. Пятьдесят лет назад Дж. А. Фруд, находясь с визитом в этой стране, писал одному из своих друзей: “Судя по тому, что я вижу в восточных штатах, я не ожидаю, что американцы добьются каких-то очень больших успехов.... Они щедры на свои деньги, обладают большой нежностью и тихим хорошим чувством юмора; но англосаксонская мощь иссякает, и я не думаю, что она

возродится”. Когда мы рассматриваем общую бесцветность и пресность нашей современной жизни (верно отраженной в романах Хауэллса и его последователей), отсутствие в ней глубоких страстей и твердых убеждений, каких-либо представительных личностей, которые могут сравниться по духовной силе с Эмерсоном, Торо и столь многими их современниками, ее однообразие и неизменную прохладность, тогда известное высказывание “Наш век был веком управления, а не идей или людей” приобретает действительно очень зловещий смысл. Я возвращаюсь к письмам поэта Лоджа. “Существовала ли когда-нибудь, - пишет он, - такая аномалия, как американский мужчина? В практических делах его цинизм, энергия и способности просто ошеломляют, а во всех других отношениях он сентиментальный идиот, не обладающий ни интересом, ни способностью, ни желанием даже к самым элементарным процессам независимого мышления.... Его жена считает его настолько сексуально неприспособленным, что отказывается рожать ему детей, и настолько чокнутым во всех отношениях, кроме как ради наживы, что вынуждает его тратить свою энергию исключительно в этом направлении, в то время как она ведет неудовлетворенную, бесплодную, чахлую жизнь” Разве это можно отрицать? И разве это отчасти не объясняет то необычайное отсутствие любви на американской сцене, которое вызвало нотку всеобщего негодования в столь значительной части нашей современной художественной литературы? С таким же успехом можно ожидать инжира от чертополоха, как и от любого значительного числа людей с такой почвы, которые достаточно сильны, чтобы предпочесть духовные победы материальным и которые способны их достичь.

Нет необходимости возвращаться к Тэну, чтобы понять, что здесь мы имеем матрицу, максимально неблагоприятную для литературы и искусства. Если наши писатели рано увядают, если они в целом слишком податливы, пассивны, уступчивы, анемичны, насколько это не связано с наследием первопроходцев, с его бременем изоляции, нервного напряжения, чрезмерной работы и всеми расовыми привычками, которые они породили?

Конечно, например, если и есть что-то, что имеет значение для формирования творческого духа, так это то долгое младенчество, к которому Джон Фиске, справедливо или ошибочно, относил возникновение человека из низших видов. В детстве почти каждого великого писателя можно обнаружить этот длительный инкубационный период, этот медленный отрезок лет, в течение которого неподатливый организм открывает себя влияниям жизни. Так было с Хоторном, так было с Уитменом в пасторальной Америке столетней давности: они смогли повзрослеть, эти задумчивые души, потому что они так долго отдавали себя жизни, прежде чем начали реагировать на нее. В какой-то мере это все еще детство старого света; насколько оно отличается от современного американского детства, можно увидеть, если сравнить, например, первую книгу (“Отрочество”) “Пелле Завоевателя” с любой из тех бесчисленных историй, в которых наши романисты показывают нам, что для того, чтобы преуспеть в жизни, нельзя вставать и действовать слишком рано. Весь характер нашего общества, если судить по этим документам, заключается в том, чтобы вырвать американца из его детства, научив его вообще без возраста отталкиваться от жизни, извлекать из нее лучшее и выстраивать оборону, за которой он собирается бороться за свое место под солнцем. Кто может отрицать, что эта расовая привычка достигает своей бессознательной цели, которая заключается в создании сообразительных деловых людей? Но может ли что-нибудь быть более смертоносным для поэта, художника, писательницы?

Само собой разумеется, что все в такой среде имеет тенденцию подавлять творческий потенциал и стимулировать соревновательные импульсы. Один ирландский поэт заметил, что все, что он когда-либо узнал о поэзии, он почерпнул из разговоров с крестьянами вдоль дороги. Уитмен мог бы сказать почти то же самое даже о Нью-Йорке семидесятилетней давности. Но какую пищу они предлагают восприимчивому духу сегодня, измученной, заторможенной толпе наших соотечественников, скупаемых “зудом опрометчивой деятельности”, какой стимул стать кем угодно, кроме автоматов, подобных им самим? И какое направление в таком обществе получает инстинкт соперничества, этот мощный инстинкт юности? Некий посетитель Уитмена описал его как живущего в доме, “унылом, как бочка для золы”, доме, действительно “похожем на тот, в котором мог бы жить очень обездоленный механик”. Разве эта картина не символизирует того уважения, с которым наша демократия относится к поэту? Хотя сегодня многодетный человек больше не герой редакционной статьи и обращения к бакалавру, все же, или, скорее, больше, чем когда-либо, это “агрессивный” тип, который затмевает каждый уголок нашей цивилизации; интеллектual, который пошел своим путем и отказался льстить большинству, никогда не был героем или даже предметом интеллектуального интереса; в лучшем случае его игнорируют, в худшем (и обычно) указывают как на чудака, он всего лишь “предупреждение” молодежи, которая чрезвычайно восприимчива в этих вопросах. Но как можно начать перечислять элементы в нашем обществе, которые способствуют формированию отбора, постоянно работающего против выживания творческого типа? Перекрывая источники, которые его питают, придавая престиж стяжательству и разрушая очарование творческой карьеры, все в Америке сговаривается, чтобы отклонить дух от его естественного русла, ухватившись за инстинкты молодежи и направив их в единственное узкое русло.

Здесь, конечно, я касаюсь главного факта американской истории. Это традиционное увлечение, если можно так выразиться, практическим, которое было законом нашей цивилизации, само по себе объясняет, почему наша литература и искусство никогда не были более чем половинчатыми. Отказаться от непопулярной и неоплачиваемой карьеры художника ради полезной и прибыльной карьеры изобретателя, должно быть, казалось естественным и неизбежным Роберту Фултону и Сэмюэлю Морсу. Настолько сильно это расовое принуждение, настолько слаба власть американцев над высшими ценностями, что сегодня едва ли можно найти ученого, который ради науки или стипендии откажется от возможности стать президентом какого-нибудь незначительного университета, собирающего деньги. Таким образом, наша интеллектуальная жизнь всегда была вспомогательной по отношению к жизни бизнеса и организации: разве мы забыли, что сам добрый Вашингтон Ирвинг, отец американской литературы, ни в коем случае не считал ниже своего достоинства служить своего рода прославленным пресс-агентом Джона Джейкоба Астора?

Безусловно, ни один из этих неблагоприятных факторов американской жизни не мог бы оказать такого пагубного воздействия на нашу литературу, если бы существовали другие, способные им противодействовать. Аристократическая традиция, если бы она у нас когда-либо была, сохранила бы среди нас право свободного индивидуума на свободный путь, сохранила бы требования простого существования. “Любопытно наблюдать,” пишет Ницше в одном из своих писем, - как любой, кто вскоре покидает традиционную дорогу, чтобы идти своим собственным путем, всегда в большей или меньшей степени чувствует себя изгнанником, осужденным преступником, беглецом от человечества”. Если это верно в старом свете, где общество намного сложнее и предлагает индивиду гораздо больше свободы действий, то разве мало у кого могли когда-либо хватить сил в обществе, подобном нашему, которое всегда придавало

такое огромное значение конформизму, стать и оставаться самими собой? Действительно ли странно видеть в знаменитом “раскаянии” По следы, оставленные этим нарушением племенного закона в подсознании художника уникальной силы и мужества? Точно так же традиция добровольной бедности позволила бы нам избавиться от назойливости буржуазных обычаев. Но помимо того факта, что даже такой простой принцип, как этот, в значительной степени зависит от прецедента (Уитмен и художник Райдер почти единственные среди современных американцев, кто открыл его для себя), помимо того факта, что выход из буржуазной системы в Америке означает подвергать себя особым наказаниям (Марку Твену когда-нибудь приходило в голову, что он мог быть достойно бедным?) — помимо всего этого, бедность в новом свете - это ни в коем случае не то же самое, что бедность в старом: стоит только подумать о Чарльзе Лэмбе и всех остальных. богатства, которые Лондон добровольно предоставил ему, все общественные ресурсы, которые были в его распоряжении, чтобы оценить разницу. У нас бедность означает, в конце концов, почти неизбежный интеллектуальный голод. Подумайте о такой жалобе, как у Сиднея Ланье: “Я никогда не смог бы описать вам, - пишет он Байярду Тейлору, - какой простой засухой и голодом была моя жизнь в том, что касается того множества вопросов, которые, как мне кажется, поглощают человека, когда он находится в атмосфере искусства или когда он общается с литераторами, с путешественниками, с людьми, которые либо видели, либо написали, либо совершили великие дела. Возможно, вы знаете, что для нас, молодого поколения на Юге, после войны почти вся жизнь заключалась в том, чтобы просто не умирать”. Вот что означает бедность в Америке, нищета и изоляция, ибо Ланье, чей талант, как мы можем видеть сегодня, был безнадежно искалечен ею, ошибался, если предполагал, что в его бедственном положении было что-то особенное для Юга: это было бедственное положение чувствительного человека повсюду в Америке и во все времена. Добавьте к бедности отсутствие общества, посвященного интеллектуальным вещам, и у нас будет такая же судьба, как у Германа Мелвилла в Нью-Йорке. “Чего ему не хватало, - написал на днях мистер Фрэнк Джуэтт Мэзер, объясняя странное испарение таланта Мелвилла, - так это, возможно, только здоровья и мужества, но, возможно, даже больше, дружеского общения, критического отношения, понимания. В Лондоне, где его, должно быть, выгнали из его угла, я могу представить Мелвилла, доведшего рефлексивную жилу до литературного завершения”. Поистине Сэмюэл Батлер был прав, когда записал в свою записную книжку следующее наблюдение: “У Америки будут свои гении, как и у любой другой страны, фактически у нее уже был один в лице Уолта Уитмена, но я не думаю, что Америка - подходящее место для того, чтобы быть гением. Гений никогда не может рассчитывать где-либо хорошо провести время, если он является настоящим писателем, но Америка - это, пожалуй, последнее место, где жизнь вообще будет сносной для вдохновенного писателя любого рода”.

Я говорю, что именно такими обстоятельствами обусловлена слабость нашей литературной жизни. Если бы у нас действительно не было недостатка ни в чем другом, то отсутствия великих лидеров, сильной и уважающей себя литературной гильдии, даже просвещенной издательской системы было бы достаточно, чтобы объяснить многое из этого. Сначала рассмотрим последний момент: в философии американского издательского дела популярность рассматривалась не только как практическое преимущество, но и как добродетель. Благодаря своеобразному характеру нашей демократии наши издатели смогли убедить себя в том, что книга, которая не нравится обычному гражданину, не может быть хорошей по другим причинам. Таким образом, если бы нам пришлось полагаться на установленную систему, нынешнее возрождение наших писем, каким бы пробным оно ни было, было бы еще более печальным.

Истории “Сестры Кэрри” мистера Драйзера достаточно, чтобы предположить, какой вполне могла быть судьба многих начинающих авторов, менее настойчивых, чем он. В любом случае, несомненно, что многие другие в критический момент отошли от литературы из-за отсутствия в нашем издательском мире тех возможностей для полутворческой халтуры, которые предоставили бесчисленным европейским писателям точку опоры и даже путеводную нить. Граб-стрит Лондона и Парижа - чистилище, но пока она существует, с ее скромными средствами перевода, редактирования, рецензирования, человек может, по крайней мере, выжить до тех пор, пока не потеряет или не найдет себя: едва ли нужно указывать, что американский журнал с его механическими поборам, которые наносят такой ужасный ущерб его индивидуальности, является чем угодно, только не выгодной заменой. Пока человек не нашел себя, чем меньше он подвержен таким мощным, таким существенно деполяризующим влияниям, тем лучше; самые посредственные учреждения, если они позволяют человеку в то же время поддерживать контакт с литературой и сохранять тело и душу вместе, рядом с ними все равно что жизнь или смерть. Сколько английских писателей обязаны своим окончательным спасением таким тривиальным агентствам, как T. P.'s Weekly? В Америке, где до недавнего времени ничего подобного не существовало или не было ничего, соответствующего числу тех, кто мог бы извлечь из этого пользу, стремящийся к литературе потерян, если его способности не созреют сразу.

Но отсутствие великих лидеров, сильной и уважающей себя литературной гильдии (одно вытекает из другого) — разве это не наше главное несчастье? При самых благоприятных обстоятельствах и с учетом всех дьявольщин, которые окружают творческий дух, сильного импульса едва ли достаточно, чтобы довести человека до конца: человек должен чувствовать не только то, что он делает то, что хочет делать, но и то, что то, что он делает, *имеет значение*. Если десятки американских писателей отошли на второй план, потому что столкнулись с непреодолимыми препятствиями, то десятки других пали, со всеми их талантами, потому что они потеряли интерес к своей работе, потому что перестали “видеть необходимость” в ней. Это как раз тот момент, когда присутствие лидера, местной традиции, школы, гильдии имеет решающее значение. “С мастерами я общаюсь”, - пишет Гоген в своем дневнике. “Их пример укрепляет меня. Когда я испытываю искушение запнуться, я краснею перед ними”. Если это могло быть верно в отношении Гогена, “Волка”, который шел сам по себе, как мало кто ходил, что мы должны сказать о других людях, чья художественная целостность, чья вера в себя каждый день подвергается разьедающему влиянию третьеразрядной цивилизации? Все было бы очень хорошо, если бы литература была просто способом “хорошо провести время”. Я говорю о тех, настоящих художниках, которые, как и Ницше, проводят различие (возможно, иллюзорное) между “счастьем” и “работой”, и я говорю, что эти люди всегда питались мыслью о величии и о близости величия. Не зря Тургенев носил в своей памяти, как талисман, образ Пушкина; что Горький, увидев однажды Толстого, сидящего среди валунов на берегу моря, почувствовал, как все в нем слилось в одной счастливой мысли: “Я не сирота на земле, пока этот человек живет на ней”. Присутствие таких людей неизмеримо поднимает моральный дух литературной жизни: именно это имел в виду Чехов, когда говорил: “Я боюсь смерти Толстого”, и разве не правда, что вся современная литература России не может сравниться с той, которую имел в виду А.Н. Толстой? Англия черпала добродетель у Томаса Харди? Ощущение, что *ты работаешь в великом направлении*: это, возможно, больше, чем что-либо другое, обновляет твою уверенность в “причудливой мании проводить свою жизнь, изматывая себя словами”, как называл это Флобер, в еще большей глупости преследовать свое эго, когда все в жизни

объединяется, чтобы наказать тебя за это. Успешное следование своему эго - вот что создает литературу; это требует не только определенной внутренней напряженности, но и определенного мужества, и сомнительно, сможет ли в какой-либо стране сколько-нибудь значительное количество людей набраться этого мужества и сохранять его, если они *невидели, как это делается*. Само представление о том, что такая жизнь возможна или желательна, представление о том, что такая жизнь даже существует, вряд ли может прийти в голову рядовым: какой-то человек должен начать дело, какой-то человек необычайной силы и отваги, и где такого человека можно найти в нашей современной американской литературе? Уитмен - уникальный пример, поскольку Генри Джеймс, при всей своей замечательной совести, был одновременно изгнанником и человеком с на редкость низкой жизнестойкостью; а Уитмен был не только, по сути, представителем более раннего поколения, он был инвалидом, сложившим руки в середине карьеры.

Что мы можем сказать о тех других, чьи дары позволили им стать нашими лидерами? Мистер Хауэллс однажды заметил об американской драматургии последних нескольких десятилетий, что “в основном она была веселой, как и наше преобладающее настроение, в основном она была честной, как и наша привычка, в тех случаях, когда мы считали, что можем себе это позволить”. В этой мягкой ироничной шутке, кажется, угадывается истинный дух современной американской литературы. Но именно сам Хауэллс, стремясь прийти к доктрине о том, что “чем больше улыбок в жизни, тем больше американства”, намеренно, как он нам сказал, и называя себя реалистом, каким он был, отвел глаза от темной стороны жизни. А Марк Твен подавлял свои истинные убеждения о человеке и вселенной. А Генри Адамс отказался публично спонсировать романы, раскрывающие то, что он считал правдой об американском обществе. Так говорил Заратустра: “Нет более сурового несчастья во всей судьбе человека, чем когда могущественные на земле не являются также и самыми превосходными”. Как мы видим, у самых истоков нашей современной литературы не получилось течь четко: творческий импульс в этих людях, какими бы богато одаренными они ни были, был сдержан и скомпрометирован слишком многими другими импульсами, социальными и коммерческими. Если кто-то и виноват в чем-то, так это в огромной незащищенности нашей жизни, которая обусловлена ее хаотичной природой; ибо никто не вправе ожидать величия даже от тех, кто обладает величайшими способностями, и из этих людей только Генри Адамс был в безопасности; о Хауэллсе и Марке Твене, какими бы жителями Запада они ни были, можно сказать, что они были вынуждены пойти на компромисс, сознательно или бессознательно, чтобы закрепиться в единственном уголке страны, где люди вообще могли существовать как писатели. Но если эти люди не смогли установить свою независимость (достаточно вспомнить пресловутый обед у Горького, чтобы осознать всю позорность своего положения), то что можно ожидать найти в рядах? Великие люди образуют своего рода щит от ветра, за которым остальные представители их профессии могут выстроить собственную защиту; они открывают дорогу другим; они вызывают уважение к своей профессии, они пробуждают в обществе заботу о ней, интерес к ней, от чего выигрывают другие. Как бы то ни было, литературную гильдию в Америке не уважают, да и она сама себя не уважает. В “Моих литературных увлечениях” Хауэллс, сказав, что его раннее чтение не выделяло его среди других мальчиков, замечает: “С тех пор я обнаружил, что литература не дает человеку более определенного положения в мире человеческих занятий, ни праздных, ни полезных. Мы, литераторы, пытаемся поверить, что это так, но все это чепуха. В любой период жизни среди мальчиков или мужчин нас принимают, когда они свободны и хотя

развлечься, и в лучшем случае нас скорее терпят, чем принимают”. Жалкие? Малодушные? Отвратительный? Жалкий, я полагаю. Представьте себе Максима Горького, или Кнута Гамсуна, или Бернарда Шоу, “пытающихся поверить”, что литература дает им определенное положение в мире человеческих занятий, представив на мгновение, что любая деятельность может превзойти его по достоинству! Мы замечаем, что Хауэллс, каким бы добросовестным ремесленником он ни был, инстинктивно разделял в отношении значимости своего призвания чувства наших философов—прагматиков, которые были вынуждены оправдывать интеллектуальную жизнь, показывая, насколько она полезна, не говоря уже о мистере Р. У. Чемберсе, который заметил, что писатели “не пользуются чрезмерным уважением у действительно занятых людей, общая идея заключается в том, что литература — это дар божий для тех, кто не приспособлен к настоящей работе”. После этого легко понять, почему наши романисты так стараются, чтобы их принимали за бизнесменов, и так преуспевают. превосходно справляются со своими усилиями. Легко понять, почему Джек Лондон предпочел славу своего образцового ранчо и гигиеничные свинарники одобрению своей художественной совести.

Вот и все об условиях или, по крайней мере, о некоторых из них, которые помешали нашей литературе подняться над водой. Если Америка усеяна угасшими талантами, увечными и слепыми, то это по причинам, с которыми мы все слишком хорошо знакомы; и мы, для кого творческая жизнь - не что иное, как принцип человеческого движения, а ее благополучие - истинный признак здоровья человека, смотрим на эти обломки всего, что наиболее ценно для общества, и спрашиваем себя, что имели в виду наши отцы, когда перевозносили прогресс нашей цивилизации. Но давайте посмотрим фактам в лицо. Мистер Синклер Льюис утверждает, что мы находимся в разгаре возрождения и что мы слишком скромны, полагая, что наша современная литература уступает английской. Я не сомневаюсь, что мы находимся в разгаре возрождения, но именно устойчивая карьера создает литературу; без доказательств этого мы можем на многое надеяться, но ничего не можем утверждать. Что мы можем видеть, так это то, что, несмотря на все надежды, моральный дух литературной профессии в этой стране является именно таким, каким его сделали ее предшественники. Мне вспоминается наблюдение одного друга, у которого есть основания знать, что католическая церковь в Америке, какой бы многочисленной и организованной она ни была, все еще зависит от старого света в его моделях, от его руководителей и вдохновения; ибо американский священник, как правило, не чувствует своего призвания так, как это чувствует европеец. Это напоминает мне американское рабочее движение, которое, каким бы процветающим оно ни было по сравнению с рабочими движениями Европы, не имеет себе равных по слабости своих представителей. Мне вспоминается определенный краткий опыт работы в американском университетском мире, который заставил меня поверить, что профессорами, излучающими подлинный свет и теплоту, гораздо чаще являются русские, немцы, англичане, ирландцы, голландцы, шведы и финны, чем дети 76-го года. Эта старая враждебность пионеров к специальной карьере все еще препятствует в сознании американцев мощному, сосредоточенному стремлению к любому неутилитарному образу жизни: в то же время все остальное в нашем обществе имеет тенденцию сдерживать рост духа и расшатывать уверенность человека в себе. Рассматриваемая со ссылкой на ее высшие проявления, сама жизнь в современной Америке до сих пор была неудачной. В этом смысле неудача нашей литературы является лишь символом.

Мистер Менкен, разделяющий это убеждение, настаивает на том, что единственная надежда на перемены к лучшему заключается в развитии местной аристократии, которая встанет между

писателем и публикой, поддержит его, оценит по достоинству, образуя, так сказать, *санитарный кордон* между личностью и толпой. Вряд ли можно сомневаться в том, что никакие перемены не могут произойти без развития какой-либо аристократии, некоего ядра из более одаренных, энергичных и решительных людей. Но как можно ожидать появления аристократии за пределами креативного класса, преданной его благополучию, до тех пор, пока сам креативный класс не проявит такого рода гордость, которая одна может привлечь его внимание? “Идея о том, что народ может управлять собой и своими делами анонимно, в настоящее время хорошо известна как глупейшая из нелепостей”. Так говорит Уильям Джеймс в защиту аристократического принципа; и то, что он говорит, столь же применимо к литературе, как и к любой другой сфере общественной жизни. Но он продолжает: “Человечество не делает ничего, кроме инициатив со стороны изобретателей, великих и малых, и подражания со стороны остальных из нас — это единственные факторы человеческого прогресса. Гениальные личности указывают путь и устанавливают образцы, которые затем перенимают и которым следуют обычные люди”. Другими словами, насколько я понимаю, и насколько это касается литературы, бремя доказательства лежит на самом писателе, что возвращает нас к прописной истине: не публика или какое-либо аристократическое меньшинство в обществе должно понимать писателя, а сам писатель должен формировать вкус, с помощью которого его понимают. Разве не по этому действительно (по крайней мере, в какой-то мере) мы узнаем творца?

Конечно, если нашу современную литературу не уважают, если она не смогла привлечь к своей поддержке чувствительную общественность, которая уже существует в этой стране, то отчасти это потому, что эта литература не уважала саму себя. То, что для этого были все основания, не имеет значения; то, что она снова начала уважать себя, также не имеет значения, потому что, когда народ потерял доверие к своей литературе и у него были основания для потери доверия к ней, нельзя удивляться, если она несколько цинично настаивает на том, чтобы ее “показали”. Публика поддерживала Марка Твена, Хоуэллса и людей их поколения, она восхищалась ими за то, что в них было замечательного, но она осознала, пусть только бессознательно, что между ними и людьми поколения до них была разница; и в результате этого весь запас американской литературы сократился. Но те, кто настаивает в наши дни на том, что Америка предпочитает европейских писателей своим собственным, потому что Америка все еще является колонией Европы, не могут игнорировать важный факт, что в то время, когда Америка была еще более колониальной, чем сейчас, американские писатели пользовались в этой стране таким же авторитетом, какой сейчас имеют европейские писатели; и это не только потому, что в то время страна была более однородной. По и Торо нашли мало поддержки в поколении, о котором я говорю, так же как Уитмен нашел мало поддержки в поколении, которое последовало за ним. С другой стороны, не было европейских писателей (а в Европе это была эпоха великих писателей), которые пользовались бы в этой стране большим уважением, чем Хоторн, Эмерсон, Мотли и один или два других, почти столь же выдающихся человека, как с европейской, так и с американской точки зрения; на самом деле, было мало европейских писателей, если таковые вообще были, которых ценили в этой стране так же высоко, как их. Как можно это объяснить? Как можно объяснить, почему в то время, когда Америка во всех других сферах жизни была более колониальной, чем сейчас, американская литература пользовалась полным уважением американцев, в то время как сегодня, когда колониальная традиция исчезает повсюду вокруг нас, она так мало вызывает у них уважения, что они охотятся за каким-то чужим богом из Англии? Проблема непростая, но среди множества ее объяснений вряд ли можно отрицать, что

в тот период существовало множество писателей необычайной силы, которые максимально использовали (кто был способен максимально использовать) свою власть, которые следовали своей художественной совести (кто был способен следовать ей) и которые этим фактом укрепили доверие общественности к себе и к литературе, которую они представляли. Имеет ли вообще значение, нравятся ли нам сегодня эти писатели или нет? Они были людьми духовной силы, трое или четверо из них: это важный момент. Если начинающим писателям нашей эпохи мешает скептицизм публики, которая перестала верить, что из Назарета может выйти что-то хорошее, пусть они вспомнят не только о том, что они сами по большей части находятся на стадии становления, но и о том, что им приходится вспоминать недавнее прошлое своей профессии.

Между тем, что составляет литературу, так это духовная сила людей, которые ее составляют. Следовательно, если нашей литературе суждено когда-либо возродиться, это может произойти только через развитие чувства "свободной воли" (и ответственности, которую это влечет за собой) со стороны самих наших писателей. Быть, чувствовать себя "жертвой" само по себе не значит быть художником, ибо природа художника такова - жить не в мире, следствием которого он является, а в мире, причиной которого он является, в мире своего собственного творения. По этой причине пессимистический детерминизм нынешнего века, с точки зрения литературы, является частью оптимистического детерминизма уходящего века. Однако этот пессимистический детерминизм выявляет *осознание ситуации*: в этой степени он представляет собой выигрыш, и можно даже сказать, что осознание ситуации - это половина успеха. Если бы, например, мы ничем другим не были обязаны мистеру Драйзеру, мы были бы достаточно обязаны ему за то трагическое ощущение расточительности американской жизни, какой мы ее знаем, которое передается в его книгах. Остается верным, что в той мере, в какой мы возмущаемся такой жизнью, это признак нашей собственной слабости, вреда, который не только нанесла нам наша цивилизация, но и который мы позволили ей нанести нам, нашей собственной несовершенной реализованной свободы; ибо для творческого духа в его свободном состоянии внешний мир - всего лишь безличная отправная точка. Таким образом, несомненно, что до тех пор, пока американский писатель разделяет то, что Джеймс Брайс называет "массовым фатализмом" американского народа, наша литература будет оставаться бесплодным, бездейственным и неполноценным явлением, каковым она в целом и является.

"Чего мы хотим, - писал Генри Адамс в 1862 году своему брату Чарльзу, - так это *школы*. Мы хотим, чтобы национальная группа молодых людей, таких же, как мы, или лучше, оказала новое влияние не только в политике, но и в литературе, юриспруденции, в обществе и во всем социальном организме страны — национальная школа для нашего собственного поколения. И это то, что Америка не в силах создать.... Это все случайная, изолированная работа для особых, временных и личных целей. И у нас нет средств, силы или надежды на совместные действия для достижения какой-либо бескорыстной цели". *Это то, что Америка не в силах создать*. Но можно ли сказать, что какая-либо нация когда-либо создавала школу? Здесь мы имеем прекрасную иллюстрацию того массового фатализма, о котором я говорил, и сам Генри Адамс в своей пассивности является его примером. Каким бы надежным он ни был, исключительно надежным, почему он отказался взять на себя ответственность за те романы, в которых выражал презрение сильного и образованного ума к подлости, низости, вульгарности руководящего элемента американского общества? В самые темные и хаотичные часы нашей духовной истории индивид обладал определенной долей свободы воли только для того, чтобы отказаться от нее: если бы Генри Адамс просто подписал свою работу и принял ее последствия, он мог бы

самим этим фактом стать основателем, центром школы, о которой он мечтал. Но это правда, что в том поколении импульсы молодежи с необычайным единодушием были сосредоточены на одной цели - эксплуатации континента; материальные возможности, которые предлагала американская жизнь, были слишком велики и всепоглощающи, и маловероятно, что какое-либо значительное меньшинство могло бы сплотиться ради какой-либо неутилитарной цели. Шестьдесят лет спустя эта школа остается, и совершенно особенно в том, что касается нашей литературы, единственной необходимой вещью; от нее зависит восстановление нашей духовной территории. И во многих смыслах времена сейчас благоприятные. Закрытие границы, по-видимому, сулит этой стране более насыщенную жизнь, чем она знала прежде; значительная часть молодого поколения, отчужденная от нынешнего порядка, пребывает в состоянии брожения, которое делает ее чрезвычайно восприимчивой к новым идеям; страна буквально кишит полухудожниками, как их можно назвать, мужчинами и женщинами, то есть теми, кто перестал подчиняться закону племени, но кто не принял дисциплину своего собственного индивидуального духа. "Чего я больше всего желаю для вас, " писал Ибсен Брандесу в начале своей карьеры, " так это подлинного, полнокровного эгоизма, который заставит вас на какое-то время считать то, что касается вас самих, единственным имеющим значение, а все остальное - несуществующим.... Нет никакого способа принести обществу больше пользы, чем чеканя металл, который есть в тебе самом ". Вторая половина этого довольно прямолинейного совета о совершенстве подразумевается в первом, и он подразумевает мир вещей, просто назвать которые значило бы подчеркнуть сущностную инфантильность американского писателя, каким мы знаем этот тип. Благодаря каким чудесам бдительной самоадаптации, пронизательного самоанализа, сознательных усилий творческая воля вступает в свои права! Что касается нас, то, какими бы слабыми ни были слишком многие из нас, невежественными, изолированными, слишком легко удовлетворяющимися и едва ли еще защищенными от домогательств толпы, у нас все еще есть то преимущество, что эпоха реакции - это эпоха, которая побуждает немногих осознать себя.

Ван Вик Брукс

Музыка

Мы тратим на музыку больше денег, чем любая другая нация на земле; некоторые из наших оркестров, особенно бостонский, Чикагский и Филадельфийский, достойны того, чтобы считаться одними из лучших в мире; в Метрополитен-опера мы даем спектакли grand opera, которые по неизменному совершенству игры, пения *имизансцен* превзойдены, вероятно, нигде. Тем не менее, в этом оперном театре никогда не было ни одной успешной оперы американца, а количество жизнеспособных американских оркестровых произведений настолько невелико, что их можно пересчитать чуть ли не по пальцам. Каждый год мы тратим миллионы на искусство, которое сами не можем произвести.

Найдутся апологеты американского композитора, которые скажут, что мы действительно создаем его, но что его душат при рождении. Согласно их общему аргументу, существует бесчисленное множество чрезвычайно одаренных местных композиторов, чьи произведения никогда не будут услышаны, (а) потому что американцы предвзято относятся к американской

музыке и предпочитают иностранную музыку, и (б) потому что иностранцы, которые в значительной степени контролируют музыкальную ситуацию в этой стране, ревниво отказываются разрешать исполнение американских произведений. Это было бы впечатляюще, если бы было последовательным или правдивым. Что касается мифа о Ревнивом иностранце - он не доминирует в музыкальной жизни — я никогда не замечал, чтобы среднестатистическому европейцу в этой стране не хватало ни личных интересов, ни такта. Обычно он стремится, хотя бы по дипломатическим соображениям, найти американскую музыку, которую стоит петь или играть. Даже когда ему не удастся найти ничего достойного исполнения, он часто исполняет то, что таковым не является, чтобы удовлетворить местную гордость. Более того, американцы относятся к американским музыкантам не с большим предубеждением, чем к другим. На самом деле, если бы интенсивные кампании по стимулированию продаж создавали креативных артистов, американский композитор за последнее десятилетие должен был бы разрастись, как клубника в теплице. У нас были всевозможные конкурсы с призами, предлагавшие значительные суммы за все, от великих опер до струнных квартетов, у нас были созданы общества для публикации партитур его камерной музыки; издатели поспешили напечатать его небольшие произведения; у нас были концерты американских композиций; у нас были всеамериканские фестивали. Между тем американский композитор, за редким исключением, упрямо отказывался создавать что-либо выше уровня того, что было бы лестно назвать посредственностью.

Нет. Если его не так часто слышат в концертных залах и на сольных площадках, это потому, что он недостаточно хорош. В музыке даже второсортных континентальных композиторов есть уверенный штрих, качество очевидной уверенности в своем материале и легкости в обращении с ним, которое редко присутствует в творчестве американцев. Большинству американской симфонической и камерной музыки не хватает структуры и ясности. Качество изготовления некачественное, речь сбивчивая и прерывистая. Слушая среднестатистическую американскую симфоническую поэму, складывается впечатление, что композитор был настолько поражен и восхищен тем, что вообще смог написать симфоническую поэму, что тот факт, что она может быть скучной, казался ему второстепенным. Когда он не ведет себя почти полностью бесформенно, он, как правило, безопасно придерживается традиций, предпочитая придерживаться того, что государственный деятель назвал бы Путиами Отцов, а не рисковать какими-то структурными инновациями, которые могут оказаться эффективными, а могут и не оказаться. Изменение Чайковским традиционной последовательности частей Патетической симфонии, например, заканчивающееся медленной частью вместо марша, шокировало бы и ужаснуло среднего американца.

Эта слабость и неуверенность в обращении с материалом заставляет американскую музыку звучать более стерильно и банально, чем она есть на самом деле. Американский композитор, кажется, никогда не уверен, что именно он хочет сказать, если вообще что-либо хочет. Его темы, его фундаментальные идеи часто имеют реальное значение, но он не контролирует саму суть музыкального языка, настроение. Ему не хватает вкуса. Тот факт, что американская композиция может начинаться с по-настоящему впечатляющего настроения, вовсе не гарантирует, что в течение двадцати четырех тактов она не скатится до самых ужасающих банальностей. Мы начинаем с лирической красоты, а заканчиваем липкостью. Проклятие батоса лежит на нас. Нам не хватает выдержки. Точно так же, как очень многие американские драматурги могут написать два хороших акта трехактной пьесы, так и многие американские романисты могут написать превосходные вступительные главы, так и американские композиторы придумывают

красноречивые вступительные темы. Но мы все терпим неудачу, когда дело доходит до разработки. Поезд проложен, матч применен, и зрители в восторженном ужасе отступают под оглушительное шипение и фыркание. Но когда раздается ожидаемый взрыв, слишком часто это всего лишь хлопок.

Такая неспособность адекватно использовать свои идеи частично объясняется патетически неадекватным техническим оснащением американского музыканта. Вообще говоря, он не знает своего дела. Он не смог или не потрудился освоить свое ремесло. Представьте себе преуспевающего драматурга, который не умеет ни читать, ни писать, но вынужден диктовать свои пьесы, или художника, который может только рисовать контуры своих картин, нанимая кого-то другого для нанесения красок, и у вас получится нечто аналогичное многим американским “композиторам”, к музыке которых американцы относятся серьезно, и которые не могут написать партию для фортепиано, аранжировать песню для хорового исполнения или переписать мелодию гимна для струнного квартета. Такую элементарную работу он должен был выполнять за себя, когда это было необходимо, каким-нибудь халтурщиком. Это, не говоря уже о более продвинутых областях музыкальной науки, таких как контрапункт, fuga, оркестровка. Хотя обобщать рискованно, вероятно, можно с уверенностью сказать, что среди американцев, пишущих музыку, человек, способный создать респектабельную фугу или канон или записать пьесу для полного оркестра, определенно является исключением. В Европе, конечно, любой человек, у которого не было под рукой таких технических средств, должен был бы быть Мусоргским, чтобы его вообще воспринимали всерьез как композитора.

Не только американец виноват в том, что он так плохо экипирован. Правда, большая часть его сравнительной музыкальной безграмотности является результатом его собственной лени и традиционного американского презрения к теории и страсти к результату. С другой стороны, молодой американец, искренне желающий получить хорошую теоретическую подготовку в области музыки, должен либо предпринять дорогостоящее путешествие в один из немногих городов, где есть первоклассная консерватория, либо не менее дорогостоящее путешествие в Европу. Если он не может сделать ни того, ни другого, он должен в значительной степени заниматься самообразованием. Некоторые виды обучения ему практически невозможно получить здесь любой ценой. Оркестровка, например, чрезвычайно сложная наука, которой можно овладеть только проверенным временем методом проб и ошибок, то есть путем написания партитур и прослушивания их исполнения. Как наш молодой американец справится с этим? Учítывая, что рядом с ним находится симфонический оркестр, как он может играть свои партитуры? Дирижера нельзя винить за отказ. Его наняли для того, чтобы он воспроизводил работы мастеров, а не для того, чтобы испытывать усилия неквалифицированных претендентов в качестве подмастерьев. То, в чем мы здесь так остро нуждаемся, - это не в большем количестве первоклассных оркестров, а в большем количестве оркестров второго сорта, из маленьких городков, которые могли бы позволить себе дать новичку шанс.

Из-за отсутствия технических навыков многие композиторы в этой стране вообще никогда не обращаются к более широким областям композиции. В классе мы пишем короткие фортепианные и скрипичные пьесы или песни. Мы пишем их, потому что действительно искренне желаем что-то написать и потому что они не требуют технической изобретательности и постоянного вдохновения, которых нам так не хватает. В скобках, я ни на секунду не хочу сказать, что неуклюжее мастерство и стерильность неизвестны в Европе, что все мы посредственности, а все они *обыватели*. На самом деле, сегодня у нас, вероятно, гораздо

больше творческих музыкальных талантов, хотя и меньше мозгов, чем в Европе; но талант за талант, европеец бесконечно лучше подготовлен. Это, по крайней мере частично, потому, что он уважает теорию и стремится к техническим знаниям, которых нам почти полностью не хватает. Кроме того, у европейца есть некоторое культурное образование. В этой стране наблюдается странное отсутствие взаимосвязи между искусствами. Художник, кажется, чувствует, что литература ничего не может дать ему напрямую, писателю, что музыка и живопись не по его части, а музыкант — определенно худший из трех в этом отношении — что его собственное искусство ни с чем не связано.

Самый полный провал американского композитора - интеллектуальный. Тот факт, что он пишет музыку, редко подтверждает предположение, что он вообще придерживается точки зрения художника. Скорее всего, он окажется гораздо менее интересным человеком, чем чей-либо айсберг. Десять против одного, что он никогда не посещает картинную галерею или выставку скульптуры, его вкус в театре, вероятно, присущ уставшему бизнесмену, а то немного, что он читает, скорее всего, ограничивается отраслевыми газетами, остроумными рассказами и бестселлерами. Он не интересуется политикой, экономикой или социологией, ни национальной, ни международной (как они вообще могут его касаться?), и, вероятно, не может обсуждать даже музыку с удовольствием или выгодой для кого-либо.

Естественный вывод, который можно было бы сделать из этой обличительной речи, — что сочинение музыки в этой стране ограничено исключительно классами идиотов, — не совсем верен. Многие американские музыканты также умные и культурные люди; но Америка в этом не виновата. Она так же добра к глупым. А широко распространенная импотенция и техническая неряшливость американской музыки - неизбежный результат отношения американцев к музыке и аномального положения, которое искусство занимает в этой стране.

Позвольте мне быть банальным в интересах ясности и указать на то, о чем мы так часто забываем: наша нация, в отличие от большинства других, тоже не является расой. У нас есть общие истоки мысли, но — и это важно и зловеще — нет чувств. Само окружение может научить людей одинаково мыслить в течение целого поколения; но требуются столетия общего эмоционального опыта, чтобы заставить их чувствовать себя одинаково. Любой средний американец, даже из стопроцентной разновидности Лиги национальной безопасности, может иметь в своих жилах кровь английских, французских, итальянских и русских предков, и нельзя сказать, что его эмоциональная натура найдет много общего с каким-нибудь столь же средним соседом, чье происхождение может быть, скажем, ирландским, датским или венгерским. Наш национальный дух определялся, во-первых, тем фактом, что предки каждого из нас, независимо от того, приехали ли они сюда двадцать лет назад или двести, были первопроходцами. Каждый из них покинул цивилизацию, культурная основа которой формировалась веками, чтобы приехать в страну, где проблема простого существования имела первостепенное значение. Опять же, многие из них были религиозными фанатиками. В жизни первопроходца было мало места для искусства любого рода, и меньше всего для музыки. Чего он требовал от музыки, когда у него было на это свободное время, так это того, чтобы она прежде всего отвлекала его от усталости и забот повседневной жизни, либо развлекая, либо сентиментально напоминая о старых обычаях. Для пуританина музыка, как сама по себе, так и как развлечение, была анафемой. Как чувственная красота, она была папистской, а как развлечение - мирским удовольствием, а значит, порочной. Чтобы к ней вообще относились терпимо, она должна быть практичной, то есть оказывать какую-то моральную услугу, будучи мелодией гимна. И то, о чем

спрашивали американский пионер и американский пуританин несколько поколений назад, спрашивает средний американец сегодня, когда сталкивается с каким-либо произведением искусства: указывает ли оно на мораль? Если нет, поможет ли это мне убить время, не наскучив мне?

Наставление, освобождение или развлечение : это, в общем, все, чего мы хотим от искусства. Любимая картина американца - это та, которая рассказывает историю, или показывает черты лица какого-то известного человека, или топографию какого-то исторического места. Фантастические картины ему нравятся, потому что они показывают ему людей и места, далекие от его собственного довольно скучного окружения, но они должны быть безвкусными, буквальными, основательными фантазиями — Максфилда Пэрриша, а не Обри Бердсли. Если он не может получить это, он хочет красивых девушек или комиксы. Чисто декоративные или откровенно бессмысленные картины — Хокусай и Уистлер (за исключением, конечно, портретов Карлайла и его матери) — для него не существуют. Скульптура, которую он не понимает, вероятно, является его любимым видом искусства, поскольку она осязаема, трехмерна, стабильна. Он не возражает против поэзии, поскольку она тоже дает ему освобождение. Он любит романы, особенно “радостные” или детективные истории. Он даже терпимо относится к реализму, если, как в “Главной улице”, это дает ему освобождение, показывая ему набор неизменно презренных и некультурных персонажей, по сравнению с которыми даже он должен чувствовать свое превосходство. Свою архитектуру он любит либо вычурной до идиотизма, либо утилитарной до безобразия.

Другими словами, типичный американец обращается к произведению искусства либо откровенно для того, чтобы пощекотать свои чувства, либо ради определенной вещи, о которой оно говорит, или серии посторонних образов или мыслей, которые оно вызывает, - никогда ради звона в ушах. Чистых эстетических эмоций он проявляет очень мало. Для него красота решительно не является оправданием своего существования. Он не хочет этого ради этого самого, и не доверяет этому и боится этого, когда оно предстает перед ним обнаженным в моральных уроках или связанных с ними идеях. В такой цивилизации музыка может занимать лишь очень незначительное место. Ибо музыка, с моральной или интеллектуальной точки зрения, самое бессмысленное из искусств: она не преподает уроков, она не предлагает определенного бегства от жизни людям с буквальным мышлением, и, кроме примитивных и очевидных ассоциаций патриотических мотивов и “материнских” песен, она не вызывает никаких связанных образов или идей. Чтобы любить музыку, вы должны быть готовы наслаждаться красотой в значительной степени ради нее самой, не требуя, чтобы она означала что-то определенное в словах или изображениях. Американец ненавидит это делать. Поскольку его нельзя наставить, он отказывается, чтобы его расшевелили. Следовательно, в музыке для него не остается ничего, кроме удовольствия, которое он может получить от красивой мелодии или заразительного ритма.

И это, несмотря на наши замечательные симфонические оркестры и две наши превосходные постоянные оперные труппы (кстати, все они работают в убыток), практически все, что музыка значит для среднего американца, — развлечение. Он просто не понимает, как искусство, которое его ничему не учит, которое является бесстыдным нападением на его эмоции (он не делает различия между эмоциями и чувствами), может играть какую-либо значительную роль в его жизни. Поэтому, как нация, он делает то, что обычно делает в других областях искусства, делегируя его серьезное культивирование женщинам.

Женщины составляют девяносто процентов. среди тех, кто поддерживает музыку в этой стране. Именно женщины посещают песенные и инструментальные концерты; именно женщины заставляют сопротивляющихся мужей и отцов подписываться на места в опере и симфонические концерты; Национальная федерация музыкальных клубов, которая работает по всей стране, чтобы способствовать ценению музыки, состоит исключительно из женщин; по крайней мере, две трети хоровых организаций в Соединенных Штатах состоят только из женских голосов. Сказать, что такое положение дел вредно для здоровья, не значит принизить их деятельность. Эта почти полная феминизация музыки вредна для нее. В конце концов, искусство, чтобы быть живым, должно, как и любое другое живое существо, быть результатом сотрудничества. Женщины взяли на себя обязательство быть моральными стражами расы, и никто не может отрицать, что в целом они охраняют ее не хуже мужчин; но временами их опека чересчур ревностна, а их преобладание в нашей музыкальной жизни усугубляет нашу и без того преувеличенную тенденцию требовать, чтобы искусство было назидательным. Одним из условий оперного конкурса, проведенного Национальной федерацией в 1914 году, было то, что либретто не должно содержать ничего аморального или наводящего на размышления (я перефразирую). В конце концов, музыка - это занятие для взрослых, и можно было бы предположить, что композитор, способный написать оперную партитуру, мог обладать достаточным вкусом и умом, чтобы не быть вульгарным — ведь, несомненно, вульгарность была всем, от чего они хотели защититься. Если бы это положение было истолковано буквально, это исключило бы либретто "Тристана", "Валькирии", "Кармен", "Пеллеаса и Мелизанды" и "Любви трех времен" — предположение совершенно невыносимое. Женское влияние помогает усилить замкнутость наших музыкантов. Женщины более шовинистичны в вопросах искусства — если это возможно — чем мужчины, и среди женских клубов, которые пытаются поощрить американского композитора, есть тенденция настаивать скорее на том, чтобы он был американцем, чем на том, чтобы он был композитором. Поскольку именно женщины поддерживают наши сольные концерты, именно они должны взять на себя ответственность за наш чрезмерный культ исполнителя. Эта земля, безусловно, является местом счастливой охоты виртуоза, будь то певец, музыкант или дирижер. То, что он выбирает для пения, игры или дирижирования, для нас сравнительно неважно. Наша аудитория, кажется, собирается не столько для того, чтобы слушать, сколько для того, чтобы смотреть; а если и слушает, то скорее к голосу или инструменту, чем к музыке. Объявление "Фаррар в *"Кармен"*" заставит Metropolitan распахнуть двери; но если счет будет изменен и Заза будет заменен в последний момент, кого это будет волновать? Действительно, билетные агентства, зная, ради чего люди на самом деле посещают оперу, откровенно рекламируют "билеты на Фаррара сегодня вечером". Рахманинов - великий пианист, и Рахманинов, исполняющий программу, состоящую исключительно из Шопена, мог бы заполнить Карнеги-холл в любое время. Но Рахманинов, играющий программу "Упражнений для начинающих" Черни, мог бы заполнить ее с таким же успехом. Объявите программу, состоящую исключительно из Шопена, не называя имени пианиста, и посмотрите, какую аудиторию вы соберете. Люди, которые приходят послушать, как Галли-Курчи поет песню теней из "Диноры", вообще не ходят слушать музыку. Они идут, как пошли бы посмотреть, как Берд Миллман ходит по провисшей проволоке; они идут послушать, как женщина доказывает, что, учитывая феноменальное развитие голосовых связок, она может после многих лет практики исполнять гаммы и трелив *альтиссимо* почти так же хорошо, как флейтистка юнион, которая исполняет ее облигато. Конечно, все это в определенной степени верно и в других местах. Естественно, что если один человек может петь или играть лучше другого, зрители должны предпочитать слушать его, а не кого-то другого. Но это поклонение спектаклю, а не

исполняемой вещи, это слепое преклонение перед мастерством ради него самого культивируется в Америке до такой степени, что ей нет равных.

Во многих американских городах и крупногабаритных поселках ежегодно проводятся музыкальные фестивали продолжительностью от двух дней до недели и более, и о них часто упоминают как о свидетельстве существования среди нас подлинной музыкальной культуры. Так ли это? Что на них происходит? Во-первых, местное хоровое общество исполняет кантату или ораторию. Более чем вероятно, что это "Мессия" или "Илия", произведения, которые благодаря длительному сотрудничеству приобрели характер не столько музыкальных композиций, сколько религиозных упражнений. Снова назидание. Приглашены настолько дорогие и известные солисты, насколько позволяет местный бюджет, и они дают сольные концерты во время оставшихся сессий фестиваля. Зрители приезжают в основном для того, чтобы увидеть эти чудеса, а не послушать музыку, потому что после окончания ежегодного культурного буйства они довольно довольные возвращаются домой, чтобы провести еще один год без какой бы то ни было музыки. Послушать немного музыки лучше, чем ничего не слышать, но тест на подлинную культуру заключается в том, является ли она неотъемлемой частью жизни, а не отдыхом от нее. Согласно этому тесту, ежегодный фестиваль, по-видимому, оказывает примерно такое же постоянное культурное влияние, как и скалолазание.

Полное неосознание его соотечественниками того, что искусство связано с жизнью, ощущение тщетности и нереальности - вот что делает судьбу музыканта в Америке тяжелой и несет ответственность за его неудачу как художника. Если люди получают то правительство, которого они заслуживают, они наверняка получают то искусство, которое им требуется; и если, условно говоря, американского композитора нет, то это потому, что Америка не хочет его, не видит, где он вписывается.

Предположим, что большая часть американской музыки тривиальна и поверхностна? Многие ли американцы почувствовали бы разницу, будь она глубокой? Композитор здесь живет в атмосфере, которая, в худшем случае, вызывает добродушное презрение. Презрение, заметьте, не к самому себе — это не имело бы значения, — а к самому своему искусству. В сознании многих его соотечественников это занимает лишь место развлечения, чуть выше вышивания и немыслимо ниже бейсбола. В лучшем случае, то, что он получает, - это неразумное восхищение, не как художник, а как урод. Слепому Тома, негритянского пианиста, до сих пор помнят и восхищаются фигурой в музыкальной истории Америки; а Слепой Том был идиотом. Для американца процесс музыкального сочинения — это таинственный и непостижимый трюк, подобный шпагоглотанию или левитации, и как таковой он восхищается им, но не уважает его. Он не может понять, как любой нормальный мужчина может тратить свою жизнь на придумывание мелодий и перенос их на бумагу. Мелодии, конечно, приятны, особенно когда они заставляют ваши ноги двигаться или возвращают вас в те дни, когда вы катались по соломе; но что касается того, чтобы относиться к ним серьезно и называть это работой — работой человека — придумывать их ... любого, кто так думает, можно считать чудачком.

Если бы чудак мог зарабатывать деньги, все могло бы быть по-другому. Уважение, оказываемое артистам в нашей стране, довольно резко оценивается в соответствии с их доходностью. Романисты и драматурги стоят на первом месте, поскольку известно, что литература и сцена обеспечивают "хорошую жизнь". Скульпторы занимают определенное положение из-за слухов о ценах, которые платят за статуи и общественные мемориалы, хотя авторы сценариев начинают

занимать более высокие позиции. К художникам относятся с определенным подозрением, хотя всегда есть уверенность, что художник, вероятно, делает успешную карьеру в рекламном искусстве на стороне. Но поэты и композиторы - это определенно люди, которых не следует принимать всерьез. Эта система оценки не так груба, как кажется. Америка так долго была страной возможностей, мы так долго превозносили ее превосходство как место, где можно зарабатывать на жизнь, что у нас есть инстинктивное убеждение, что если человек действительно хорошо выполняет свою работу, он неизбежно должен зарабатывать на ней деньги. Вот только поэзии и музыке не повезло быть искусствами, в которых человек может быть одновременно великим и успешным и при этом не иметь возможности смотреть в глаза хозяину квартиры. Поскольку такие сделки настолько убыточны, мы утверждаем, что те, кто ими занимается, предположительно некомпетентны. Единственный класс композиторов, к которому американцы относятся серьезно, - это авторы музыкальных комедий и популярных песен, не только потому, что он может зарабатывать деньги, но и потому, что он обеспечивает честное, понятное развлечение для людей и животных. Возможно, именно поэтому наша легкая музыка является лучшей в своем роде в мире.

Самозванные меломаны в этой стране слишком часто приносят в музыку немного больше подлинного понимания. Он, вероятно, будет высоколобым (определяемым как человек, образованный сверх своего интеллекта), со всей умственной тупостью и снобизмом своего класса. Он делит музыку на "популярную", что означает легкую, и "классическую", что означает претенциозную. Сейчас есть хорошая музыка и плохая, и претензии композитора имеют мало общего с делом. Сравните, например, финал первого акта "Мадемуазель" Виктора Герберта. "Модистка" с такой вульгарной чепухой, как "Донна мобиле". И все же, поскольку последнюю поют теноры в Metropolitan, высоколобые люди торжественно заносят ее в каталог как "классическую", отменяя работу Герберта, Берлина и Керна, трех чрезвычайно одаренных людей, с прилагательным "популярный". В общем, он верный хранитель пуританской традиции, всегда нюхающий воздух в поисках определенного "послания" или морали, ищущий проповеди в интонации, книги в звучных арпеджио. Ему никогда не приходит в голову, что точно так же, как слова - это язык интеллекта, музыка - это язык эмоций, что все оправдание ее существования заключается в совершенстве выражения того, что лежит за пределами слов, и что если вы можете свести послание композитора к словам, вы автоматически лишаете его смысла.

Музыкальная критика в городах Америки удивительно хороша. Однако система, по которой должны работать критики, согласно которой они должны "освещать" все (в Нью-Йорке это теоретически предполагает критический комментарий к каждому из трехсот или четырехсот событий за один сезон), настолько невозможна, что большая часть их работы неизбежно носит небрежный характер. В других местах по всей стране критика передается журналистам, которые обычно избегают неприятностей, одобряя все. Существует тенденция к двойным стандартам — строгому привлечению к ответственности незнакомца, особенно иностранца, и "вежливости" к коренному жителю, — которая приводит к деморализующим результатам.

Настоящей музыкальной журналистики у нас нет. Есть "Музыкальный ежеквартал", хороший в своем роде, но довольно громоздкий и не претендующий на своевременность. Ежемесячники предназначены в основном для учителей. Еженедельники, как правило, являются откровенно "магазинными" изданиями, посвященными деятельности исполнителя и заполненными его рекламой, портретами и заметками для прессы. Здесь нет среды для обмена современными мыслями, для обсуждения тем, не представляющих профессионального культурного интереса.

Музыкальное издательство здесь - это индустрия, работающая так же, как и в любой другой отрасли. Континентальный тип издателя, который является ученым и музыкантом, джентльменом, осознающим свой долг как перед музыкой, так и перед акционерами, здесь почти неизвестен. Для наших издателей музыка - товар, который можно купить дешево, а продать дорого, и большинство из них будут публиковать все, что выглядит прибыльным, независимо от его качества. Их типографские стандарты выше, чем где бы то ни было в мире, за исключением Германии.

Итак, американский композитор в Америке работает более или менее в вакууме. Он не у дел, и он это знает. Если он пытается своим искусством сказать что-то, что было бы понятно его соотечественникам, он сбив с толку осознанием того, что его соотечественники не понимают его языка. Эта особая трудность, это чувство невнятности, вероятно, не так сильно давило на последние два поколения американских композиторов, поскольку большинство из них были фактически немецкими композиторами. В то время полное техническое музыкальное образование здесь было настолько недоступно, что проще было уехать за границу. Итак, от Пейна до Макдауэлла они отправились в Германию. Там они изучали свое ремесло, и, по крайней мере, изучали его основательно; но они научились писать не только музыку, но и немецкую музыку. Для них немецкая музыка была музыкой. Их песни были *Lieder*; их симфонии и увертюры были маленькими зловещими наследниками Бетховена, Рафа и Брамса. Наша музыкальная речь стала настолько тевтонской, что нам до сих пор трудно поверить, что французская музыка, испанская музыка, русская музыка - это что угодно, кроме несовершенного перевода с немецкого. Некоторые поехали в Париж и научились писать с французским акцентом. Макдауэлл был и остается нашим лучшим: первоклассным композитором, который умер, не успев закончить свою работу. Вся его ранняя музыка была написана, исполнена и издана в Германии, и она такая *женемецкая*, как и музыка Рафа, его мастера. Только когда он приблизился к среднему возрасту, у него выработалась музыкальная идиома, полностью принадлежащая американцу Макдауэллу. Большинство остальных вернулись, чтобы провести свои дни, создавая хорошую, честную *капельмейстерскую музыку*, которая имела примерно такое же искреннее отношение к их Америке, как Декларация независимости к нашей. Они могли чувствовать недостаток контакта, но, по крайней мере, у них было утешение в том, что в мире есть люди, которым то, что они говорят, по крайней мере понятно.

У американца нынешнего поколения нет такого утешения. Он, вероятно, не обучался за границей. Он хочет писать музыку и, будучи человеком, хочет, чтобы ее понимали. Но в ту минуту, когда он пытается выразить себя, он выдает тот факт, что не знает, что хочет выразить. Любое значительное произведение искусства неизбежно основано на отношении художника к жизни и его реакции на нее. Но отношение американского композитора к обычной жизни нереально. Его деятельность кажется его собратьям незначительной и слегка иррациональной. Он не может коснуться пальцем великого, трепещущего общего пульса Америки, потому что для него его нет. Поэтому он пробует то, это и другое, надеясь, что по счастливой случайности наткнется на то, что хочет сказать. Он отчаянно пытается быть американцем. Зная, что великие национальные музыкальные школы в других странах основаны на народной песне, он пытается найти американскую народную песню, чтобы основывать на ней свою музыку. Он использует негритянские мелодии, а когда они не находят общего отклика, он придумывает темы, основанные на индийских мелодиях. Чего он не видит, так это того, что народные песни Европы выражают общие *расовые* эмоции нации, а не ее географические особенности. Когда француз

слышит *Мальбрука*, его трогает то, что волновало поколения давно умерших французов; когда русский слышит *Дубинушку*, его волнует то, что волновало русских на протяжении веков. Но даже если какая-то мелодия действительно взволновала Джеронимо, сам факт того, что он был бывшим жителем моей страны, не является доказательством того, что она взволнует мою. Если вы настаиваете на том, что негритянская музыка является надлежащей основой для американской композиторской школы, попробуйте сказать южанину, что когда он слышит Низкие, Сладостные качания Колесницы, он внимает голосам своих предков!

Любопытным симптомом этого чувства лишения наследства является склонность столь многих американцев писать то, что можно было бы назвать музыкой побега, музыкой, которая далека от попытки утвердить связь композитора со своим временем, это преднамеренная попытка раскрепоститься, вызывая чуждые и экзотические настроения и атмосферу. КATALOGИ издательств полны арабских медитаций, персидских танцев, индуистских серенад и бесчисленных подобных попыток попасть “куда угодно за пределы мира”. Лучшей работой Чарльза Гриффса, безвременная кончина которого в прошлом году лишила нас настоящего творческого таланта, стала его симфоническая поэма “Купол удовольствий Кубла хана” и его переложения китайских и японских текстов в восточных ритмах и тембрах. Не то чтобы важен простой выбор темы; именно фактическое настроение и идиома большей части этой музыки являются важным свидетельством стремления бросить и забыть Америку, создать мир мечты, в котором можно найти убежище от страны жевательной резинки и victrolas.

Кстати, те же самые victrolas вместе со своим двоюродным братом, пианистом, которые так возмущают чувства многих музыкантов нашего времени, являются вполне реальной силой, помогающей музыкальной цивилизации в этой стране. Американец ни в коем случае не так немзыкальен, как он думает. Его безразличие к искусству - всего лишь результат его чисто индустриальной цивилизации, а его склонность смешивать мораль с эстетикой - это привычка мыслить, унаследованная его предками. Пуританская традиция заставляет его бояться и с подозрением относиться к любым чувственным или эмоциональным реакциям, но это не сделало его неспособным к ним. Застигните его врасплох, избавьте от страха заскучать, и он далеко не останется нечувствительным к музыке. Он покупает пластинки victrola, потому что поклоняется героям, потому что хочет услышать дорогого Карузо, Крейсlera и Маккормака; но неизбежно он вынужден обращать внимание на то, что они играют и поют, и узнавать это, когда услышит снова. Помимо воли он начинает приобретать рудиментарное музыкальное образование. Он начинает с покупки джазовых пластинок для своего пианино и, вероятно, в долгосрочной перспективе, хотя бы из любопытства, перейдет от “блюза” к Шопену, через Мошковски и Грейнджера.

Но величайшей современной силой, творящей добро в музыкальном плане в этой стране, являются крупные дома кино. Музыка всегда была необходимым сопровождением кинофильмов, чтобы компенсировать сверхъестественную тишину, в которой эти фотографические призраки разыгрывают свои драмы. Начав со скромного ансамбля фортепиано и glass crash, киношный оркестр постепенно увеличивался в размерах и качестве, был введен орган для усиления и чередования музыки, так что сегодня большие дома могут похвастаться удивительно хорошим музыкальным оборудованием. Несколько лет назад С. Л. Ротафель изобрел прославленный вид развлечений, который представлял собой своего рода комбинацию показа картин и “поп” концерта. Он построил театр “Риальто” специально для его размещения, со сценой, которая была немногим больше рамы для картины, большим органом и

оркестровой площадкой, достаточно большой, чтобы вместить семьдесят или восемьдесят музыкантов. Он нанял постоянный оркестр, достаточно большой, чтобы исполнять симфонические произведения, и назначил руководить выступлениями Хьюго Ризенфельда, превосходного скрипача и дирижера, прошедшего обучение у Артура Никиша. Они, помимо обычных кинопрезентаций, включали в себя вокальные и инструментальные соло и отдельные номера оркестра. Вся музыка, звучавшая на этих развлечениях, была хорошей — в том, что известно в этой стране как “классическая”. Ризенфельд разработал постоянный аккомпанемент к фильмам, собранный из лучшей доступной оркестровой музыки — своего рода синтетическая симфоническая поэма, которая соответствовала настроению и действию представленного фильма и, конечно же, была слишком хороша для него.

Эта новая форма развлечения сразу же стала успешной и быстро становится стандартным предложением во всех крупных кинотеатрах. Это важный шаг в нашей музыкальной жизни, поскольку это первая полностью успешная попытка в этой стране адаптировать искусство к потребностям населения. Наконец—то обычный человек по собственной воле идет в общественный зал, слушает музыку — настоящую музыку - и обнаруживает, что она ему нравится. Кинотеатр позволяет ему притворяться, что он идет исключительно посмотреть фильмы, и ему не нужно слушать, если он сам этого не хочет. Он обнаруживает, что “классическая” музыка далеко не так скучна, как многим ее поклонникам. Освобожденный от высоколбой снисходительности, не сознающий возвышенности, он слушает и откликается на такую музыку, как "Прелюдия к "Тристану"", "Валькирия", "Симфония нового света", Четвертая опера Чайковского и "Эроика". Теодор Томас не оказал музыке в Америке более ценной услуги, чем Сэмюэл Ротафель и Хьюго Ризенфельд.

Однако мы все еще далеки от утопии. В одном из своих эссе о общинном искусстве Анри Каро-Дельваиль говорит об “истинно средиземноморском духе, жизнеспособной художественной философии французской расы, которая по сути пластична, принимает и очерчивает жизнь, свободна в равной степени от догматизма и мистицизма”. Попробуйте сформулировать подобное предложение об Америке. Попытайтесь сделать какое-либо обобщение об американском духе, не используя “свободу”, “свободные институты“, “находчивость”, “возможности” или другие политико-экономические термины, если вы хотите знать, с чем сталкивается американский художник, прежде всего американский музыкант, когда он пытается объясниться со своими соотечественниками. У нас просто нет общих эстетических эмоций. Неудивительно, что наша музыка сбивается, заикается и превращается в бессвязность!

Вагнер написал "Мейстерзингера" в преднамеренной попытке выразить немецкое художественное кредо; Верди писал сознательно как итальянец; Глинка основал целую школу композиторов, единственной целью которых было выразить Россию. Такая задача не по силам американцу. Остальные были представителями расы: у него нет расы, от имени которой он мог бы говорить, и в тот момент, когда он притворяется, что у него есть, и пытается говорить от ее имени, он становится сознательным и тщетным. Говорить об американской музыке в любом этническом смысле наивно; с таким же успехом вы могли бы говорить о баптистской музыке. Нет. Американец должен принять свою судьбу. Есть только одна аудитория, для которой он может писать, и это он сам. Джон Смит, американский композитор, не осмеливается сказать: “Я пишу, чтобы выразить Америку”. Он может только сказать: “Я пишу, чтобы выразить Джона Смита”. Я принимаю свою жизнь, потому что, в конце концов, она моя, и я интерпретирую свою

жизнь, потому что это единственная жизнь, которую я знаю”. И поскольку Джон Смит - американец, и потому что где-то там, далеко и невнятно, должна быть американская душа, тогда, возможно, если он будет честно работать и будет верен себе, ему удастся сказать что-то такое, что относится к Америке, и ни к чему другому, и что другие американцы услышат и поймут.

Считает Тейлор

ПОЭЗИЯ

Среди современных критиков существует множество взглядов на американскую поэзию, и каждый из них, возможно, одинаково полезен, поскольку каждый является одной из граней мыслимого целого. Существует мнение мистера Джона Миддлтона Мурри, английского критика, что это, возможно, слишком сильно зависит от повествовательного или драматического интереса, от причудливости (если я могу очень вольно развить его понятие) или, в целом, от своего рода сенсационности, использования поверхностно интригующих элементов, которые не являются конкретно правильными — или, во всяком случае, лучшими — элементами поэзии. Существует точка зрения мистера Луи Унтермейера, одного из самых способных наших критиков, а также одного из самых разносторонних наших пародистов и поэтов, что наша современная поэзия хороша в той мере, в какой она идет по прямой линии от Уитмена: хороша, то есть, когда это голос поэта, который принимает, принимает радостно и широко, даже вольно, эту новую мировую среду, эти новые обычаи, социальные и индустриальные, прежде всего, возможно, новое чувство свободы, которое он мог бы, если бы на него надавили, возвести к Карлу Марксу, с одной стороны, и к Карлу Марксу, с другой. С другой стороны, Зигмунд Фрейд. И снова существует точка зрения мисс Эми Лоуэлл о том, что наша поэзия хороша или стремится быть таковой ровно в той мере, в какой она отражает развитие поэтом его острого осознания социального или этического “здесь и сейчас” и достижение относительно чистого увлечения красотой — чувство свободы проявляется здесь главным образом, если не полностью, в отношении литературной традиции, особенно английской: я еще раз расширяю точку зрения, чтобы сделать ее более репрезентативной. И, наконец, существует точка зрения консерваторов, ни в коем случае не замалчиваемая даже в нашу эпоху, что в современной американской поэзии хорошо то, что на данный момент наименее бросается в глаза, — традиционное, рассматриваемое так, как это неизбежно представляется в Америке, как нечто изящное, сентиментальное, справедливо этическое, мягко идеалистическое.

Что будет довольно очевидно, так это то, что если мы немного проследим за любым конкретным из этих критиков, мы обнаружим, что он пытается направить нашу поэзию в определенном направлении, направлении, которое он предпочитает любому другому направлению, и анализирует ее происхождение таким образом, если он вообще анализирует, чтобы сделать правдоподобным ее (постулируемый) рост в этом направлении. Это естественное, даже, возможно, лучшее, что может сделать критик—участник - это, безусловно, придает ему интерес и энергию. Но если в каком-то приступе бескорыстия мы хотим хотя бы на мгновение взглянуть

на американскую поэзию без какой-либо озабоченности, кроме чрезмерного и интеллектуального любопытства, то именно ко всем этим взглядам мы должны обратиться, а не к какому-либо одному, и к лицевой стороне каждого, так же как и к лицевой стороне. Ибо если что-то и очевидно сегодня при изучении американской литературы, так это то, что мы должны героически сопротивляться любому искушению упростить, искать только в одном направлении истоки или только в одном направлении роста. Несмотря на наш национальный девиз, американская цивилизация - это не столько "один во многих", сколько "многие в одном". У нас нет, как у Англии и как у Франции, единого литературного сердца; наших литературных столиц и стран много, каждая со своими энергичными людьми, своими личными интересами, своими добродетелями и провинциализмом. Мы можем приписать это просто нашему размеру и последующей географической изоляции той или иной группы — это, несомненно, фактор, но не менее важным является тот факт, что в новой стране быстрого и хаотичного материального роста мы неизбежно должны иметь, в зависимости от местности, заметные различия в скорости роста того, что мы туманно называем цивилизацией. Чикаго моложе Бостона, старше Сан-Франциско. И то, что применимо к большой единице, применимо и к малой — если страна в целом еще не достигла ничего, отдаленно напоминающего культурную однородность (насколько, то есть насколько мы, рассматривая великую нацию, ожидаем подобного), то в ней нет ни одной части, ни одного города. Больше невозможно, если это вообще когда-либо было, рассматривать такой район, как, например, Новая Англия, как определенный фактор окружающей среды, скажем, “у”, и делать вывод, как это так любят делать некоторые критики, что любого поэта, который там повзрослеет, неизбежно можно будет представить как “ур”. Это одно из самых распространенных и ложнейших из ложных упрощений. Наши критики, отчаянно стремящиеся найти автохтонную американскую поэзию, увидят каменистые пастбища, горы и березы в поэзии жителя Новой Англии, небоскребы в поэзии жителя Нью-Йорка или скотные дворы в поэзии чикагца с такой же легкостью, с какой фокусник достает кролика из шляпы.

Единственное убежище, которое у нас есть от столь наивной критической основы, заключается в том, что мы с самого начала занимаем по отношению к современной американской поэзии настороженно плюралистическую позицию — мы начинаем с простого наблюдения за тем, что американская поэзия, безусловно, в данный момент, если судить по количественному производству и общественным интересам, необычайно здорова и энергична. Мы привыкли слышать, что это называется ренессансом. Термин допустим, если мы тщательно исключим при его использовании любой намек на возрождение классицизма. Под этим мы просто подразумеваем, что момент полон поразительной энергии, продуктивности, размаха, красок и анархии. Что мы не подразумеваем под этим, так это то, что мы можем с точностью отследить, откуда исходит эта вспышка. Происхождение этого явления неясно. Это было слышно в 1914 году — мистера Эдвина Арлингтона Робинсона и мистера Эзру Паунда было слышно до этого; полноценный хор разразился в 1915 году; и с тех пор, время от времени затихая, звучит страстная корибантическая какофония. Никто точно не знает, с чего началось это удивительное шествие. Мистер Антермейер хочет заставить нас поверить, что Уолт Уитмен был, так сказать, организатором этого, мисс Монро пытается убедить нас, что это была Поэзия: журнал стихов, но факты, я думаю, опровергают любой из этих постулатов. Если что и примечательно, так это то, что в этом потоке поэзии влияние Уолта Уитмена — влияние, можно было бы предположить, столь же ядовитое для молодежи, как влияние Суинберна, — столь незначительно; если другое еще более примечательно, так это то, что во всем этом хоре так редко можно услышать голос, четким прототипом которого был любой предыдущий американский голос. У нас, конечно, были

свои голоса — я имею в виду, достаточно богатые по характеру, чтобы имитировать их было легко и заманчиво. Лонгфелло, Лоуэлл, Брайант, Силл, Ланье в этом отношении незначительны, но как быть с По, влияние которого мы видели во французской поэзии на Бодлера и в современной английской поэзии на мистера Уолтера де ла Мара? Никаких следов его присутствия обнаружить невозможно, если, возможно, мы не находим время от времени самую призрачную из его теней на работах мистера Джона Гулда Флетчера, или мистера Максвелла Боденхейма, или мистера Уоллеса Стивенса, тень, отбрасываемую во всех этих случаях на фоне многого другого, с технической и колористической точки зрения, которая наполнила бы По тревогой. И есть еще один американский поэт, возможно, такой же великий, как По, возможно, более великий (как он, в свою очередь, возможно, более великий, чем Уитмен — как поэт, хотя и не как личность) — Эмили Дикинсон. Почему мы так мало слышим об этой квинтессенции и мистике, которая со спокойствием шла по полпути между Блейком и Эмерсоном, превращая свои умышленные несовершенства в своего рода перфекционизм? Можем ли мы время от времени мельком увидеть ее в ранних работах мистера Роберта Фроста? Если да, то, конечно, больше нигде. И все же было бы трудно доказать, что она не имеет права на место рядом с По и Уитменом или даже среди лучших поэтов этого языка.

Но нигде в Америке мы не можем найти для современной поэзии какого-либо четкого предшествующего сигнала. Как бы мало это ни утешало наших беглецов от автохтонности, я думаю, мы должны искать ее истоки в Европе. Это не позор, как некоторые воображают, — конечно, было бы печально, если бы мы просто подражали европейцам, без изменений. Но Браунинг вряд ли узнал бы себя, даже если бы захотел, в “Книге страшного суда” мистера Эдгара Ли Мастерса, Малларме и Рембо сочли бы мистера Флетчера зеркалом со странным искажением, Лафору пришлось бы дважды взглянуть на “Пруфрок” мистера Т. С. Элиота (при всем его гамлетизме), М. Пол Форт вряд ли чувствовал бы себя как дома в “Замке Кана Гранде” мисс Эми Лоуэлл, мистер Томас Харди и призрак Теннисона не стали бы сильно ссориться из-за обладания работой мистера Робинсона. , а также мистеру Честертону и автору “Легенд Инголдсби” за живую звучность мистера Вашела Линдси. В таких случаях мы оказываем не столько “влияние”, сколько оплодотворение. “Кольцо и книга” открывает мистеру Мастерсу кое-что о мистере Мастерсе: кое-что о мисс Лоуэлл, ключ к чему предлагает ей мсье Пол Форт. Было ли бедствием для Бодлера то, что он жил только за счет переливания крови американца? Беккер стал менее Беккером или испанцем из-за того, что питался “Настоящим лидером”?... В наши дни культура обменивается на открытых границах, и если сегодня новая тема, аккорд или цветовая гамма - французская, немецкая или американская, то завтра она станет международной.

Если мы и отличаемся в этом отношении от любой другой страны, то только тем, что у нас больше свободы эксплуатировать, фактически исчерпывать новое, потому что мы меньше, чем кто-либо другой, придерживаемся каких-либо классических традиций: ради традиций наши поэты редко оглядываются назад дальше 19 века. У нас есть смелость, часто неотличимая от глупости, из-за отсутствия убеждений. Таким образом, получается, что, поскольку Америка является плавильным котлом для рас, она вполне может стать плавильным котлом для культур: у нас есть энергия, любопытство, интеллект, прежде всего отсутствие привязанности к прошлому, которые превосходно адаптируют нас к задаче эстетического эксперимента, требующей именно полной самоотдачи. Невежество имеет некоторые компенсации — я имею в виду, конечно, частичное невежество. Если бы мистер Линдси был воспитан исключительно на Аристотеле, Платоне, Эсхиле и Еврипиде и был выведен из тени церкви Вольтером и Дарвином,

возможно, он не был бы так “свободен” в экспериментах с “высшим водевилем”. Следует заметить, что это странный вид “свободы”, поскольку в некотором смысле это немногим больше, чем “свобода” в тюрьме. Ибо, если слишком строгое изучение классики в какой-то степени не позволяет человеку проводить смелые эксперименты, то, с другой стороны, слишком слабое ее изучение с такой же вероятностью оставит у человека эстетическую восприимчивость, короче говоря, чувствительность в зачаточном состоянии.

Значит, это что-то вроде культурной *мизансцены* для нашей современной поэзии. У нас есть повторяющиеся волны европейского внушения, разбивающиеся на Запад над нашим континентом, пенящиеся скорее в Чикаго, чем в Нью-Йорке; и у нас есть наша крепкая молодая компания пловцов, уверенных, что они достаточно сильны, чтобы оседлать эти волны дальше, чем кто-либо в Европе, и с более естественной грацией. Что наиболее бросается в глаза американцам в большинстве этих пловцов, так это тот факт, что они полагаются не столько на мастерство и длительные тренировки, сколько на чистую энергию, жизнеспособность и уверенность. Действительно, в большинстве случаев они полагаются на своего рода изобилие. Разве мы не чувствуем этого в работах мистера Эдгара Ли Мастерса — разве он не пытается во многих своих полных книгах, где хорошее так неразрывно переплетено с плохим, просто подавить нас, как под водопадом? “Книга страшного суда” - это, скорее, лавина. Он никогда не знает, что исключить, где остановиться. Мисс Лоуэлл, мистер Флетчер, мистер Карл Сэндберг и мистер Линдси тоже не сильно отстают от него — все они в изобилии. Я не хочу сказать, что это плохо на данный момент — на данный момент я не уверен, что это явное изобилие не является для нас самой *лучшей* вещью. Энергия является первым условием “возрождения” и обеспечивает его материал, или, другими словами, богатство цвета. Утонченность - не начало, а конец ренессанса; и я думаю, что мы, безусловно, в пределах допустимого, утверждая, что последние пять лет дали нам по крайней мере великолепное начало, и, возможно, даже больше, чтобы заставить задуматься, не отбросили ли мы уже в тень По и Уитмена, Сидни Ланье и Эмили Дикинсон, наш странный маленький квартет.

Все, на что может надеяться наше чудо, - это в лучшем случае очень умозрительный ответ. Если бы параллели не были столь опасны, мы могли бы с воодушевлением взглянуть на тот пестрый поток риторики, который мы называем елизаветинской литературой. Бен Джонсон не считал Шекспира большим художником, как и Мильтона, и с тех пор классицисты придерживались этого мнения. Если можно быть величайшим из поэтов и при этом не быть художником, мы можем здесь воздержаться от спора: мы имеем в виду тот факт, что Шекспир и другие елизаветинцы участвовали в литературном движении, которое, подобно нашему, зародилось с энергией, насилием и экстравагантностью, в лучшем случае было чрезмерно риторичным и склонным к необузданному изобилию и погибло по мере того, как оно совершенствовалось. Увидит ли будущее поколение нас в чем-то подобном свете - полюбит ли оно нас за нашу жизнерадостность, за безрассудный авантюрный характер нашей литературы, за нашу экстравагантность, и простите нас, если оно не будет точно наслаждаться чем-то с иностранным привкусом, нашей художественной невинностью? Это, конечно, возможно. Тем не менее, эта точка зрения *умозрительна*, и мы не осмеливаемся воспринимать ее слишком серьезно. Ибо, если мы с надеждой и умом шли в ногу с современностью, мы, тем не менее, сохранили нашу собственную весьма достаточную отчужденность, наш собственный тактилизм и осведомленность, в свете которых у нас неизбежно возникают наш собственный скептицизм и недоверие к самим себе. Я не имею в виду, что мы, возможно, предпочли бы что-то более классическое или суровое, чем “Антология Спун-Ривер”, или “Конго”, или цветные симфонии

мистера Флетчера, просто на том основании, что именно классическое и суровое по своей сути является тем, чего мы больше всего желаем. То, что мы, кажется, видим в современной американской поэзии, - это переход от более к менее буйному, от менее к более суровому; и то, что мы больше всего желаем увидеть, - это достижение *той точки*, в этом переходе, которая даст нам параллель с шекспировской, если мы можем надеяться на что-либо хотя бы приблизительно столь высокое; точки равновесия.

Эта надежда дает нам удобную позицию для анализа ситуации, если мы также будем иметь в виду наше восприятие американской культурной неоднородности и опрометчивость любых попыток обобщать ее. Наиболее точным, но наименее отвлекающим методом было бы простое перечисление, простая перекличка, которая поставила бы перед нами мистера Эдвина Арлингтона Робинсона и мистера Эзру Паунда как двух наших поэтов, чья публичная литературная деятельность простирается дальше всего назад, а после них группу, заявивших о себе в промежуток между 1914 и 1920 годами: мистера Роберта Фроста, мистера Флетчера, мистера Мастерса, мистера Сэндберга, мисс Лоуэлл, мистера Линдси, мистера Альфреда Креймборга, мистера Максвелла Боденхайма, мистера Уоллеса Стивенса, "Х. Д." мистера Т. С. Элиота и Мисс Сара Тисдейл. У этих поэтов, за редким исключением, достаточно мало общего — возможно, ничего, кроме того факта, что все они с самого начала были в значительной степени движимы отвращением к мертвому уровню сентиментальности, красоты и морализма, до которого американская поэзия опустилась между 1890 и 1910 годами. От этой точки они расходятся на множество радиусов. Нельзя сказать, как пыталась убедить нас мисс Лоуэлл, что все они следовали одному радиусу и что различия между ними вызваны тем фактом, что некоторые продвинулись дальше других. Мы можем, для удобства, классифицировать их, если не придаем слишком большого значения границам наших классов. Мы можем сказать, что мистер Робинсон, мистер Фрост и мистер Мастерс возвращают нашей поэзии сильное чувство реальности; что мистер Флетчер, мистер Паунд, мисс Лоуэлл, "Х. Д." и мистер Боденхайм привносят в нее обостренное восприятие цвета; что мистер Элиот, мистер Креймборг и мистер Стивенс привносят в нее утонченную психологическую тонкость; мистер Сэндберг - мрачное чувство социальной ответственности; мистер Линдси - ритмическую непринужденность, смешанную с евангелизмом; мисс Тисдейл - грацию. Диапазон, указанный здесь, необычайен. Существование бок о бок в одном поколении и в одной стране таких поэтов, как мистер Мастерс и мистер Флетчер, или мистер Элиот и мисс Лоуэлл, аномально. Очевидно, что мы прошли то время, когда нация в данный момент имела единственное прямое литературное течение. Пока нет никаких признаков того, что к какой-либо из этих групп перейдет что-либо похожее на безраздельную власть. В том же году вышли "К северу от Бостона" мистера Фроста и "Облучения" мистера Флетчера; "Антология реки Спун" и первая "Антология имажинистов"; "Ланселот" мистера Робинсона и "Совет" мистера Боденхайма. И какие пропасти даже между членами любого из наших произвольных "классов"! Актуализм мистера Фроста редко бывает далек от драматизма или лирики, актуализм мистера Мастерса редко бывает далек от физиологии. Мистер Мастерс ожесточен, нудно объясняет, и его страстные расспросы обрушиваются на жизнь подобно множеству тяжелых ударов; его изыскания кажутся не только болезненными, но и ищущими. Мистер Фрост мягок, будь то в иронии, юморе или чувстве боли: если его больше всего трогает пафос увядания, тем не менее он видит это при выпадении росы и восходе луны, в темном дереве, пении птицы. Интонации человеческого голоса, когда он их слышит, настолько же нежны, насколько в устах мистера Мастерса они резки. И можно ли считать мистера Робинсона соразмерным им обоим? Его "Снова" - это продолжительное

исследование причин человеческого поведения, но насколько обнаженное по цвету, насколько приглушенное сдержанностью и затемненное скрытностью! Здесь, действительно, шаг к романтизму. Ибо мистер Робинсон, хотя и реалист в том смысле, что его интересует мотив, выключает свет в присутствии своего главного героя, чтобы в полумраке он мог казаться чем-то большим и таинственным, чем кричащая действительность. Проблески передают размеры — намеки предполагают глубину. Мы не всегда слишком точно осознаем, что происходит в этих сумерках неопределенности, но мистер Робинсон, кажется, шепчет, что последствия огромны. Не последним, более того, из этого вытекает мораль — зеркало, которое мистер Робинсон держит перед природой, несомненно, возвращает нам истинное, но все чаще в его более поздних работах (например, в “Мерлине” и “Ланселоте”, особенно в последнем) с небольшим преломлением, которое делает истинное образцовым.

Мы пересекаем пропасть между этими мрачными психореалистами и колористами. Для них, как выясняется, то, что является человеческим в поведении или мотивах, имеет значение только постольку, поскольку оно придает цвет или предлагает возможности рисунка. Мистер Флетчер — самый блестящий из этой группы и самый “неконтролируемый”: его колоризм, в лучшем случае, является чистой, удивительно абсолютной вещью. “Человеческий” элемент он мудро оставляет в покое — он сбивает с толку и ускользает от него. Понятно, что этот калейдоскопический водоворот красок “выжат” мистером Флетчером, что он передает то, что для него является глубокой личной драмой, но это не делает его работу “человечной”. Нота “личной драмы” более полна в поэзии “Х. Д.”, но это тоже, в конечном счете, почти чистый колоризм, такой же статичный и фрагментарный, однако, как у мистера Флетчера динамичный. Мистер Боденхайм более отстранен, хладнокровен, более внимательно следит за соответствиями между цветом и настроением: возможно, нам следует назвать его символистом. Однако даже здесь “человеческое”, прихоть нежности, психологический отблеск отклоняются так, что они могут превратиться в фантастический замысел. Мисс Лоуэлл, наконец, более сознательная, обдуманная и энергичная, чем любая из них, блестяще разносторонняя, совершенно отстраненная, в то время как она “видит” больше объективного мира (и имеет более широкие интересы), видит его более полно, чем любая из них, просто как необработанный цвет или зарождающийся узор. Если литературный пульс здесь часто лихорадочно высок, то температура сопереживания так же часто равна абсолютному нулю.

Мистер Паунд разделяет с мисс Лоуэлл это погружение в “литературу” — он глубоко осведомлен о литературном прошлом, выискивает в нем всевозможные краски, атмосферу и отношение, постоянно добавляет новые яркие элементы из таких источников в свой “Джозефовский сюртук”: но если в этом он традиционалист, любитель редкостей, то в просодии он экспериментатор; он далек от сентиментальной литературной наигранности своих ранних работ и в своих лучших проявлениях писал тексты исключительной красоты и прозрачной ясности. Более того, психологический фактор время от времени интриговал его, и мы рассматриваем его как своего рода связующее звено между колористами и такими поэтами, как мистер Т. С. Элиот, мистер Альфред Креймборг и мистер Уоллес Стивенс. Эти поэты похожи в том, что с помощью своего рода алхимии достигают лирического в терминах анализа: самоанализ заставлен сиять, тонкому видимому придается деликатный вид ложной простоты. Мистер Стивенс наиболее близок к колористам. Он отошел от аналитики к простому улавливанию “тона”. Мистер Креймборг — мелодист и математик. Он с удовольствием сочиняет свои стихи и разыгрывает очаровательные диаграммы эмоций. Мистер Элиот больше склонен к резким драматическим жестам, больше прислушивается к резкой драматической фразе — он смотрит то на Лафорга, то

на Джона Вебстера. Его техническое мастерство поразительно, его восприятие эффекта точно, его диапазон узок, возможно, становится все более узким.

Даже столь быстрый и поверхностный обзор не может не произвести на нас впечатления сущностной анархии этого поэтического сообщества. Временами казалось, что беззаконие является преобладающей нотой; ни один поэтический принцип не остался неоспоримым, и нам стоит только заглянуть в менее процветающие пригороды и уголки этого города, чтобы увидеть, до чего далеко зашли более смелые мятежники, будь то из группы “Другие” или откуда-либо еще. Уродство и бесформенность имели своих приверженцев среди тех, кого эстетическая усталость на мгновение сделала нечувствительными к хорошо оформленному; фрагментарность имела своих приверженцев среди тех, кого цинизм сделал неспособными слишком долго служить какой-либо одной идее. Но фетишисты уродливого и фрагментарного, тем не менее, оказали благотворное и плодотворное влияние. Что бы мы ни думали об эфемерности специфически уродливого или фрагментарного, мы не можем отделаться от ощущения, что они, почти так же важно, как новый реализм или новый колоризм, расширили то, что мы могли бы назвать общим “поэтическим сознанием” того времени. Если и был момент, когда мода на беспорядочное, казалось, угрожала или предсказывала повсеместный и быстрый поэтический упадок, то этот момент благополучно миновал. Тенденция сейчас в другом направлении, и не менее интересным признаком является тот факт, что многие из бывших апостолов беспорядка сегодня экспериментируют с вещами, которые они вчера презирали, — рифмой, размером и архитектурой темы.

Во всем этом мы испытываем симпатию ко всему фрагментарному и уродливому, а также к внезапному маленькому уродству — странно сродни мужественности — горгулий. У нас тоже есть привязанность к самому грубому из наших самых грубых реализмов — к самому безумному из наших колористических приемов, к самым своеобразным тонкостям наших первых интроспекционистов. Не стесняемся ли мы немного попросить чего-то большего у любого из поэтов, которых мы таким образом обозначаем? Чего мы боимся, так это того, что, пытаясь дать нам что-то большее, они дадут нам что-то меньшее. Чего мы хотим больше, в чем, по нашему мнению, нашим современным поэтам по большей части прискорбно недостает, так это “искусства”. Чего мы боимся, они потеряют, если мы будем подталкивать их в этом направлении, так это своего молодого острого блеска. Однако мы должны их подстегнуть. Чему нашим поэтам больше всего нужно научиться, так это тому, что поэзия — это не просто излияние чувств, исповедь. Он должен быть серьезным: пусть и простым на вид, но от этого не менее искусно выполненным: он должен быть упакован. Он должен быть красиво проработанным, а не вычурно красивым. Это должно быть отделено от догмы — мы должны держать это подальше от слишком распространенной лекционной платформы.

Короче говоря, то, что мы хотели бы видеть, — это слияние необычайного спектра поэтических достоинств, с которыми сталкиваются наши современные поэты, в единое поэтическое сознание. Не слишком ли много придираемся мы, полагая, что ни один из наших поэтов не предлагает нам достаточно? Должны ли мы скорее утешаться надеждой, что многие из их индивидуальных “личностей” достаточно ярки, чтобы компенсировать свою односторонность, и таким образом получить значительную гарантию выживания? Мы уже упоминали о такой возможности раньше, и, конечно, ее нельзя категорически отвергать. Но я думаю, что нельзя оспаривать тот факт, что многие из этих поэтов уже сами ощущают большую ответственность, потребность в большей полноте, в более тонком и богатом тактильном оснащении, в более

устойчивом взгляде на то, что именно составляет красоту формы. Однако они неизмеримо далеки от любого сухого, холодного перфекционизма; и если мы подбадриваем их в выборе пути, ведущего к этому, то только в надежде увидеть, как они достигнут промежуточного пункта, а не вершины. Ибо пройти весь путь - значит прийти измотанным; пройти половину пути - значит прийти с энергией.... Это, однако, означает изменить наш собственный взгляд и потерять нашу отстраненность. Мы возвращаемся к повторению нашего вывода о том, что американская поэзия в данный момент необычайно здорова. Его достоинства - это достоинства любой хорошей поэзии, и их достаточно, чтобы убедить нас в том, что будущее английской поэзии в такой же степени за Америкой, как и за Англией. Его недостатки - это недостатки незрелой культуры. Но опять же, мы повторяем, что у нас здесь много культур, и если некоторые из них незрелы, то некоторые нет. Пусть те, кто слишком склонен ставить нам культурные диагнозы по "Антологии реки Спун" или "Дыму и стали", вспомнят также "Мерлина" мистера Робинсона и "К северу от Бостона" мистера Фроста; "Гоблинов и пагоды" мистера Флетчера и "Замок Кан Гранде" мисс Лоуэлл.

Конрад Эйкен

Рисунки

Проблема американского искусства не похожа ни на одну другую страну настоящего или прошлого. Здесь у нас нет расового и исторического фундамента, на котором до сих пор строилось каждое искусство, и поэтому о наших стремлениях (еще слишком рано говорить об успехе или неудаче) следует судить с другой точки зрения, отличной от той, которую следует принимать при рассмотрении искусства, которое происходит от своего народа или непосредственно передается от более древней расы. Египет и древняя Мексика служат примерами первого случая, Италия и Франция - второго. Когда последние страны были колонизированы греками, финикийцами и другими народами, они получили культуру, которая могла обрести новую силу, будучи усвоена новой расой.

Мы начинали не как новая раса, а как европейцы, обладающие тем же интеллектуальным наследием, что и мужчины, оставшиеся в странах-прародителях. Наша проблема заключалась не в том, чтобы перенять древнюю традицию у вторгшегося или колонизирующего народа, который принес с собой уже сформировавшееся искусство. Мы сами были захватчиками и колонизаторами, и наша проблема заключалась в том, чтобы сохранить идеи, которые у нас были в Европе, или перенять их у нас на новом месте, или развить собственное искусство.

Чтобы начать со второй возможности, вопрос о нашем отношении к идеям индейцев, очевидно, может быть решен очень кратко. Племена, с которыми столкнулись первые поселенцы, находились в состоянии дикости, и этот факт, вместе с постоянной войной между двумя расами, является достаточным объяснением того, почему мы не находим никакого влияния со стороны краснокожих. Даже там, где европейцы сталкивались с культурой очень высокого уровня, как, например, в Мексике и Перу, отдаленность местных идей от идей вторгшейся расы на протяжении веков препятствовала справедливому восприятию самого раннего и, несомненно, величайшего искусства, созданного в Западном полушарии. Только в совсем недавние годы мы

осознали его достоинства, и маловероятно, что даже наш нынешний интерес к экзотическому искусству вызовет какое-либо значительное влияние со стороны индейцев, хотя в таких регионах, как наш Юго-запад и части Мексики, где “американизация” еще не убила их художественный инстинкт, они все еще создают прекрасные работы.

Мы, конечно, сохранили европейские идеалы, но они были обусловлены обстоятельствами, и мы не поспевали за Европой и даже не следовали курсу великих художественных движений до тех пор, пока они не были почти или совсем вытеснены за границей. Наша удаленность от центров древней и современной культуры, с одной стороны, и потребности застройки нового континента - с другой, в совокупности привели к тому, что наш народ утратил интерес к искусству, которое, действительно, никогда не находило благоприятной почвы у наших британских предков. С литературой дело обстоит иначе. Любовь к литературе присуща англосаксонской расе, и поскольку Шекспира и Библию можно было читать в хижине на границе почти так же хорошо, как в Лондоне или Дублине, не произошло потери знаний о литературе, перерыва в ее создании, который мы наблюдаем в случае с пластическими искусствами.

Однако на этот счет легко преувеличить, забыв, что художественный инстинкт, веками накапливавшийся в расе, не должен быть утрачен в период забвения. Посещая музей, американец узнает тех же мастеров, что и европеец, но меньшая возможность познакомиться с классическим прошлым имеет двойной эффект: любители искусства в Америке остаются в гораздо меньшем меньшинстве и в то же время ослабляют авторитет традиции.

Не говоря уже об условиях 17-го или 18-го веков, и даже не об условиях 19-го века, достаточно только взглянуть на современную Америку, чтобы понять, как мало возможностей у нашего народа познакомиться с искусством. Во всех городах, за исключением нескольких, американцы могут учиться только по репродукциям и книгам, хотя даже они являются неизмеримо более безопасным руководством, чем плохие оригинальные произведения, которые обычно появляются первыми. Когда кто-то думает о европейской сельской местности и бесчисленных маленьких городках всех старых стран, где нет музеев, может возникнуть соблазн спросить, неужели там настолько сильно отличаются условия для искусства. Но они другие. Там будет старая церковь, или несколько домов хорошей эпохи, или какие—нибудь предметы в домах, или — на стенах гостиницы - несколько старых гравюр, передающих традицию великих религиозных картин (такие вещи делались довольно часто до недавнего времени и не совсем прекратились); традиция строительства и цвета позволяет современным домам вполне приемлемо сочетаться с домами прошлого. Столетия выработали чувство пригодности и красоты в создании и ношении костюма; будет какая-то форма народного пения или другое коллективное действие художественного характера, и, таким образом, исключительная личность, рожденная с сильным инстинктом к искусству, имеет окружение и основу, которых здесь не хватает. Ярким доказательством разницы между двумя континентами является влияние войны на интерес к искусству: в то время как в Америке общественное внимание в значительной степени отвлечено от искусства, Европа производит и покупает произведения искусства с рвением, которое можно объяснить только желанием вернуться к предметам первой необходимости после тех лет, когда люди были их лишены.

Еще одно явление, которое следует отметить на этом этапе, - доминирование женщин в вопросах американского искусства. Оно неизвестно ни в одной другой стране. Подавляющее

большинство американских мужчин поглощены работой, их досуг посвящен спорту и тем формам развлечений, которые требуют наименьших умственных усилий. Женщины, с их более высокой чувствительностью и признанием искусства как одной из вещей, отмечающих высшие слои общества, берут на себя обустройство дома и благодаря этому, а также учебе, которую им позволяет их большой досуг, оказывают сильное влияние на покупку произведений искусства для частных коллекций и даже музеев. Творчество американского художника и скульптора также сильно пострадало как следствие, так и в сторону условности. Я не утверждаю, что уровень искусства в Америке в настоящее время был бы значительно повышен, если бы ведущую роль взяли на себя мужчины, а не женщины; возможно, ввиду того, насколько высоко ценят искусство в нашем народе, он был бы понижен; но я утверждаю, что тот факт, что искусство в такой степени находится в руках женщин, и подозрение среди мужчин, что оно несет в себе некоторый намек на женственность, являются одними из признаков незрелости американцев в оценке искусства. Мы не можем ожидать, что искусство действительно будет представлять Америку, пока не будет заложен фундамент уважения к его творчеству, на котором художник может опираться. В старых цивилизациях художник удовлетворял активный спрос со стороны своего народа; в Америке ему приходится отчаянно искать средства к существованию. Альбрехт Дюрер подытожил разницу между двумя состояниями цивилизации, когда писал из Венеции другу в молодую Германию своего времени: “О, как я буду мерзнуть под этим солнцем, когда вернусь домой; здесь я джентльмен, а дома - паразит”.

Многим покажется, что даже такие известные слова не следует повторять в стране, где искусство так часто упоминается в газетах, где в большом количестве появляются музеи, где за работы известных людей платят неслыханные цены и где даже те, кто не проявляет интереса к искусству, придают ему своего рода ореол. Но сам факт, что это отнесено к разряду воскресных вещей вместо того, чтобы войти в повседневную жизнь, показывает, что наш колониальный период — в культурном смысле этого слова — еще не пройден. Это не следует рассматривать как обескураживающее обстоятельство; естественно, что формирование характера и идей требует времени, и я постараюсь показать, что развитие действительно является быстрым и здоровым. Ошибка, к которой американцы наиболее склонны, а именно представление о том, что страна достигла зрелого характера и достойного выражения, показывает их стремление к прогрессу и объясняет их готовность разрушать или созидать.

При наличии такого духа человек должен видеть ошибки консерватизма или невежества в должной перспективе. Как бы они ни старались для тех, кто страдает от них в то время, они не могут фатально повлиять на продолжающийся рост. В течение многих лет мы сохраняли тариф, который препятствовал ввозу в страну произведений искусства. Это осталось в прошлом, и одной из причин, использовавшихся для его защиты, было то, что он защищал американских художников от иностранцев, поэтому с отменой тарифа появилась большая тенденция судить о произведениях искусства по их собственным качествам, не задаваясь вопросом об их национальности и без ребяческой идеи о сохранении американского продукта путем недопущения работ из-за рубежа. Насколько далеко зашла эта ошибка, можно судить по тому факту, что в одном городе на нашем Дальнем Западе группа художников выступила с протестом против внимания, уделяемого газетой выставке, присланной из Нью-Йорка, не ставя вопроса о качестве работы, а просто требуя, чтобы о местных жителях упоминали, когда в газете обсуждалось искусство, — которая быстро согласилась и устранила критика с его поста. Этот случай может показаться экстремальным, однако он иллюстрирует позицию многих наших коллекционеров и даже музейных властей, которые во имя американизма “помогают

прославить многих, вид живописи которых является неправильным образованием”, используя фразу, которую мистер Беренсон применил к другому вопросу.

Сегодня нет сомнений в том, что Америка должна развиваться в русле современной мысли всего цивилизованного мира. В нашем искусстве будет местный привкус. Определенный энтузиазм и характеристики, по мере того как мы их развиваем, могут придавать особое значение особым фазам нашего производства, но больше нет возможности изолированного, автохтонного роста, который, казалось, прогнозировался примерно до времен Революции. 18 век в Америке с его прекрасной архитектурой, прекрасными мастерами и живописью не так далек от Америки наших дней, как искусство индейцев. Мы по-прежнему возводим здания и производим мебель в так называемом колониальном стиле, но при этом мы следуем еще более отдаленному от Миссии стилю архитектуры в наших Западных Штатах и пытаемся использовать индийский дизайн в отделке. Все эти попытки постигает обычная судьба попыток продолжения ушедшего стиля. У нас другие материалы, другие потребности, другое время. Один взгляд на два дома, проезжающих мимо в автомобиле, говорит нам, какой из них настоящая колониальная архитектура, а какой имитация. В особняке Джумел в Нью-Йорке легко увидеть, какие части являются старыми, а какие подверглись реставрации, хотя с тех пор, как были сделаны последние, прошло достаточно времени, чтобы придать им оттенок первоначальных помещений.

В живописи перемены, произошедшие после того, как мы стали республикой, еще более очевидны. Английская школа претерпела значительные изменения, когда ее представители здесь начали работать на себя. Там, где Рейнольдс, Гейнсборо и Лоуренс консультировались со старыми мастерами с такой прилежной заботой, сэр Джошуа особенно углублялся в свои исследования процессов Тициана, такие люди, как Копли и Блэкберн, были отброшены назад к таким техническим ресурсам, которые они могли найти здесь, и им приходилось рассчитывать на прогресс, укрепляя свою хватку за характер. У Копли есть истинная нота первобытности в той интенсивности, с которой он изучает свой народ, и его следует причислить к портретистам почти высочайшего уровня.

Какие перемены произойдут в следующем поколении! Чем более независимыми мы становимся политически, тем больше выходим из изоляции, которая давала нам покой и свободу для создания замечательного стиля дореволюционных дней. И потом, так много нужно было сделать, чтобы заставить работать наши новые институты и возделывать наши новые земли, так много денег нужно было заработать и так много импортировать из Европы. Знаменательно, что лучшим художником того периода является Джон Вандерлин, которого отправили в Париж учиться у Энгра. Вандерлин был прекрасным художником и опирался на более древние традиции, чем знал Копли, но он никогда не достигал впечатляющей последних.

Я не буду пытаться сколько-нибудь подробно описывать различные шаги, с помощью которых мы поднялись из художественной бедности, в которой мы были в первые десятилетия 19 века. Моя цель состоит не в том, чтобы написать даже краткую историю американского искусства, а в том, чтобы исследовать его характер и достижения. Очевидно, что критерием этого является не то, что каждый период или школа значили для американских художников до или после него, а то, как они соотносятся с остальным мировым искусством своего времени. Эта мысль невольно приходит в голову, когда слышишь о дико преувеличенном уважении — измеряемом словами или деньгами, — которым пользуются наиболее знаменитые американские художники;

спрашиваешь себя, как компетентные люди отнеслись бы к данной работе в Европе. Действительно, мало какая репутация выдержит проверку; и нам не нужно ехать за границу, чтобы применить ее, поскольку галереи наших крупных городов предоставляют широкие возможности для сравнения.

Начиная с художников-пейзажистов, которые первыми из современных американцев стали рассматриваться как наш возможный вклад в искусство, самое безличное наблюдение заключается в том, что по времени они, как и их преемники в этой стране, следуют за европейцами школы, к которой они принадлежат, примерно на поколение. В 19 веке художественные идеи развивались очень быстро, и — каким бы механическим указанием это ни казалось на первый взгляд — для европейского художника почти наверняка является осуждением обнаружить, что в какой-то период он пытается работать по формуле поколения до него. В Америке этот критерий применим не так хорошо, поскольку мы должны учитывать эффект расстояния и сравнивать американца с его ближайшими современниками за границей только пропорционально времени, то есть пропорционально удобству поездки в Европу и возможности увидеть здесь современные работы.

Таким образом, если мы примем во внимание, что Иннесс, Вайант и Мартин родились примерно через поколение после барбизонцев и почти во времена французских импрессионистов, мы не будем говорить, что американцы должны были принадлежать именно к последней школе. В то время как европейские последователи Коро и Руссо были просто *отсталыми* людьми, у которых не хватало интеллектуальной силы, чтобы ухватиться за идеи своего времени, американцы могли ощутить некоторую радость первооткрывателей, самостоятельно разработав некоторые идеи натурализма в их эволюции от более ранней пейзажной живописи в этой стране. И поэтому, если они ничего не добавляют к тому, что французы уже сделали — с несравненно большей традицией, поддерживающей их, — наше трио любителей природы выразило искренние чувства, и Гомер Мартин продвинулся к качеству живописи, которое часто ставит его на расстоянии вытянутой руки от классической линии, которая во Франции удерживала подальше от болот сентиментальности, поглотивших последователей Вайанта и Иннеса здесь.

Дела Уинслоу Гомера и Альберта П. Райдера представляют интерес помимо самих работ двух художников. Они, несомненно, самые сильные американцы своего времени — и те, кто меньше всего обязан Европе. Именно люди такой породы создадут настоящее американское искусство, когда мы будем готовы его производить. В любом случае их работы должны быть в числе наших неизменно ценных достижений: работы Гомера - за возрождение твердой уверенности в себе, которую мы отметили в Копли, работы Райдера - за действительно благородный дизайн, который у него так часто получался, и за грандиозную и трогательную верность видению.

Если их независимость является столь ценным фактором в работе обоих мужчин, следует также отметить высокую цену, которую каждый заплатил за то, что вырос в провинциальной школе. Обладая смелостью характера, напоминающей Курбе, Уинслоу Гомеру совершенно не удастся занять в искусстве место, аналогичное французскому реалисту, потому что вся сила и способности, вложенные в его творчество, были недостаточны для компенсации недостатка знаний о форме, структуре, оптическом эффекте, которые Энгр и Делакруа, среди прочих, предоставили в распоряжение Курбе. Таким образом, живопись Гомера продолжается на протяжении всей его жизни, совершенно не имея никакого реального отношения к

центральным проблемам европейского изобразительного искусства, и большей частью своей силой обязана второсортному качеству иллюстраций. Трудно сказать, что Райдер пошел бы дальше, если бы родился во Франции, но факт его десятилетнего или пятнадцатилетнего труда над множеством небольших полотен, очень ограниченное количество его работ, возникших из-за трудностей, с которыми он сталкивался, выражая то, что было в нем заложено, являются признаками плохой подготовки. Диапазон его творчества невелик, но глубокая красота, которую он привнес в свои картины, является одной из наших главных причин доверять художественному инстинкту, который дремлет в наших людях.

Ни у кого из мужчин в следующей группе, которую мы должны рассмотреть, из художников, которые полностью погружаются в европейскую живопись, нет такого фундамента таланта, который был у Райдера. Уистлер, конечно же, художник, с которым связывает свою веру большинство американцев в поисках среди своих соотечественников важной фигуры в искусстве 19 века. Но воспользуйтесь первой возможностью увидеть его с великими французами своего времени: рядом с Дега его рисунок болезненно слаб, но немного смягчается его чувством ритма в линии и форме; рядом с Мане его цвет и живопись кажутся еще более этиологизированными, и, чтобы уберечь свои чувства к нему от полного разрушения, человек спешит в обычное американское убежище чувств и — в офортах — к совершенству мастерства янки. Внокторнах действительно есть то блаженство, с которым они передают поэзию ночи, которое заставило бы нас пожалеть об их утрате, и когда несчастливая школа Уистлера будет забыта (художник должен нести *некоторую* ответственность за своих последователей), мы получим большее удовлетворение от бабочки, которой знал себя Уистлер, поскольку он взял ее в качестве своей подписи. Мы любим в Райдере не такую незначительность, и все же, когда мы доходим до Чейза и Сарджента, мы обнаруживаем еще меньше элементарного таланта, для которого их погружение в течение европейской живописи могло бы стать тонко выверенным инструментом выражения. Оба мужчины демонстрируют природную склонность к живописи, которая часто является ценным приобретением и часто — как в их случае — источником опасности. Они не обогащают нашу летопись какими-либо великими произведениями, но оказывают стране огромную услугу, побуждая ее студентов и коллекционеров сделать один из последних шагов в направлении живой традиции Европы. Они никогда не ценили то, что было величайшим среди их современников, и, не имея такого понимания творческого импульса и новых принципов, которые действовали в Париже, они предлагали искусные манипуляции с материалом в качестве замены. Чувствуя недостаточность этого, Сарджент попробовал серьезный стиль ранних итальянцев в своих украшениях Публичной библиотеки в Бостоне. Но библейские персонажи приближают его к основам искусства не больше, чем светские люди, которых он так часто изображал. В Бостоне именно Шаванн показывает, в чем заключается великая традиция того периода и как она согласуется с классическим прошлым. Сарджент, пожалуй, самый американец в своей неготовности воспринять то огромное, что могла предложить ему Европа, современная и древняя.

Тем не менее, с Чейзом и Сарджентом мы оказываемся намного ближе к периоду, когда американские художники будут приобщаться к художественным идеям в момент их полного зарождения. Наши импрессионисты отстают от французов всего на десятилетие или два, и хотя не следует прибегать к слишком легкому трюку оценки таланта ко времени его появления, нельзя не быть пораженным тем фактом, что Джон Х. Твайтман и Дж. Олден Вейр подошли к качествам своих французских наставников с гораздо большей близостью, чем та, с которой группа Иннесс-Вайанта следовала за барбизонцами. Как бы ни были обаятельны работы

Твахтмана и Вейра, чувствуется, что они еще недостаточно глубоко погрузились в великую традицию, чтобы заняться искусством собственного творения, и нам приходится довольствоваться тем, что отводим им место среди импрессионистов второстепенного ранга.

Интересным примером среди американцев, серьезно изучавших европейское искусство, которое началось вскоре после середины 19 века, является случай Джона Ла Фаржа. Мы знаем историю его поисков, копирования, ассоциаций, спекуляций и путешествий. Всю свою жизнь он - человек из новой страны, просящий помощи у мертвых и живых представителей классической традиции. Как мало мы видим самого человека в мозаике очаровательных вещей, составляющих его искусство. Уинслоу Гомер существует как личность, плохо образованная и грубая, но позитивная и притягательная. Ла Фарж исчезает в дыму благовоний, которые он возжигает перед различными святилищами, к которым привел его эклектизм.

Если им и не восхищались как великим художником, то он был человеком больших дарований и подлинным ценителем мастеров. Поэтому его ни на минуту не следует путать с неблагородными *стилистами*, достигающими должностей и почестей в анемичных учреждениях, которыми мы подражаем академиям и салонам Европы. Это одни из юношеских ошибок, о которых я упоминал на предыдущей странице, — достаточно удручающие, когда видишь акры “декоративной” мерзости, заполняющие наши государственные учреждения, суды и библиотеки, но на самом деле не имеющие большого значения в ущерб нашей культуре. Подобно солдатским памятникам, мертвой архитектуре, безвкусным изготовленным предметам повседневного обихода, они настолько опускаются ниже любого уровня искусства, что на публику они почти не действуют. Только люди, которых в школах учили восхищаться картинами мистера Э. Х. Блашфилда или скульптурой мистера Дэниела К. Френча, когда-либо пытались думать о них как о красивых; остальная публика принимает их на веру как нечто неотъемлемое от здания, вроде “расписанных фресками” купидонов, которых можно найти в холлах многоквартирных домов, или жестяных куполов и минаретов на крыше. Популярные иллюстраторы журналов, какими бы бедными они ни были, имеют больше возможностей вводить в заблуждение, чем наши квазиофициальные ничтожества.

Между псевдоклассическими декораторами и откровенно “недалекими” художниками коммерческих изданий, плакатов и рекламы есть большой класс людей, чьи работы можно увидеть на ежегодных выставках, в галереях дилеров и в американских отделах музеев. Они разделяют порок каждого из двух других классов: легко усваиваемая формула их продукта представляет собой более или менее тщательное обучение какому-либо стилю, заимствованному из прошлого, плюс оптимистичное, или “кровавое”, или же слегка меланхоличное отношение к предмету. Веласкес был главной жертвой их карикатур в последующие годы, но часто добавлялось немного китайского, флорентийского, импрессионистского, или даже кубистического стиля, чтобы придать работе вид “современности”. Пока существует узнаваемое мастерство в рисовании (конечно, только для более дешевой торговли картина должна быть гарантированно сделана вручную), эрудированный покровитель или попечитель музея уверен в серьезности намерений художника, в то время как для того, чтобы вещь понравилась обычному покупателю, самым важным вопросом является суждение о типе американской девушки, мужественного мужчины или романтического или домашнего пейзажа, с которым нравится жить нашей публике.

Единственным оправданием упоминания подобных вещей в эссе об американском искусстве является то, что они помогают определить его по контрасту — поскольку эти картины не являются ни искусством, ни америкой. Болезнь, внешним признаком которой они являются, поражает Европу почти так же сильно, как и нашу собственную страну, и вряд ли можно определить по отличительному знаку, была ли салонная картина сделана в Мадриде, Берлине или Индианаполисе. Фраза выдающегося американского критика Рассела Стерджиса дает ключ к пониманию ситуации. Он сказал: “Сила абстрактного дизайна утрачена для современного мира — мы должны рисовать картины или вырезать выразительные группы, когда хотим что-то украсить”. За половину поколения, прошедшего с тех пор, как были произнесены эти слова, французы с помощью нескольких видов искусства, полностью основанных на абстрактном дизайне, доказали, что сила этого искусства не была утрачена миром и что люди все еще знают разницу между выражением формы и цвета и выражением конкретных идей.

На протяжении всего этого обзора я рассматривал живопись как показатель художественного инстинкта Америки, и когда мы снова смотрим на даже наших лучших художников, мы видим, что они опирались на конкретные идеи: на характер в портретной живописи у Копли, на романтическое видение у Райдера, на наблюдение за внешностью у Гомера. Именно причиной большого успеха Уистлера среди его соотечественников было обещание освобождения, которое он давал, обращаясь к дизайну и колориту Востока, с которыми ассоциируются также его устные слова, предлагающие нам “гармонии” и “симфонии” вместо искусства, построенного на интеллектуальных элементах, которое у нас было раньше. Тот факт, что сам Уистлер не был достаточно силен в своем понимании традиций или характера, чтобы достичь важного результата в тех направлениях, на которые он указал, не меняет сути дела. Мы начали осознавать подавление инстинктов, которым была отмечена американская жизнь. Мы осознали, что от искусства следует требовать удовлетворения чувств в той же степени, что и интеллектуального удовольствия. Пуританская мораль и квакерская серость отвратили нас от любой подобной концепции, и если они вообще обратили внимание на искусство, то только из-за его образовательной ценности, либо для привития религиозных или патриотических идей, либо из-за его связи с классическим прошлым.

Добавьте к этому утилитарные потребности страны, которая строилась быстро, заботясь больше о дешевизне, чем о постоянстве (на самом деле, так мало зданий предназначалось для постоянного проживания), и вы получите объяснение отсутствия архитектурного качества в американских домах последних ста лет. Характерная черта строительства того времени видна в безжизненных кварталах с фасадами из коричневого камня, в квартирах, в которых так мало домашнего, что в беспокойных поисках места для удовлетворительного проживания американец из больших городов заслужил прозвище “жителя фургона”, — то же самое можно увидеть и в убогом однообразии фермерских домов и загородных резиденций. Их дух или его отсутствие прослеживается в мебели и декоре. Понятно, почему Европа была волшебным словом для бесчисленных тысяч американцев. Возможно, это были дворцы и музеи, которые они намеревались увидеть и о которых рассказывали по возвращении, но более впечатляющим для них — потому что более удовлетворяющим их жажду красоты, близкой к их повседневной жизни, — был вид итальянской деревни, построенной с любовью к склонам холмов, с пониманием форм холма и подходящего для него типа застройки. Или это было из-за жизнерадостности солидных голландских домов, чьи чистые красные и черные тона так ярко выделяются на фоне зелени деревьев, окаймляющих каналы? Яркая одежда крестьян вызывала восхищение у путешественника, даже если он все еще жалостливо улыбался, когда снова видел

ее на здешнем иммигранте; и скромный иностранец, стремясь вписаться в свое новое окружение, поспешил смягчить живость своего местного костюма до бесцветности одежды американского фермера или рабочего. Вместо веселой розовой или зеленой штукатурки своего коттеджа дома иммигрант получал более или менее сантехнику, более высокую заработную плату и другие материальные блага в качестве компенсации за ту жизнь, которую он оставил позади.

Жизнь! Это было волшебство, которое Европа таила в себе для наших посетителей. Они могли бы вернуться к крупным предприятиям, к большим проблемам здесь и почувствовать, что Америка была их домом, потому что они участвовали в ее развитии, но их ностальгия по старым странам продолжала расти по мере того, как они начинали ценить мудрость, с которой там была устроена жизнь, — по мере того, как они понимали, как стабильные институты, старые религии, фестивали, традиции, все то, что расцветает в искусстве, сопротивлялось потрясающим изменениям, которые промышленная революция принесла в 19 век. За всеми вопросами о ввозе предметов искусства в эту страну или появлении здесь новых художников или новых школ стоит этот самый ключевой вопрос об элементах искусства в американской жизни. Им не обязательно быть, они не могут быть такими же, как в европейской жизни, но бесполезно думать о том, чтобы здесь было искусство, если мы отказываем себе в идеях и чувствах, из которых было создано искусство, — в радости и благоговении перед жизнью, на которые откликнулись грек в своем мраморе, итальянец в своих фресках, испанец, фламандец, голландец и француз в своих полотнах. Копирование внешнего вида их работ без повторной жизни может привести только к академизму — плохой скульптуре и плохим картинам.

Международная выставка 1913 года была организована не в знак протеста против плохого искусства, местного или иностранного, и к чести нашей публики следует отметить, что она не отнеслась к этому событию столь негативно, а как к позитивному событию, откровению более поздних школ европейской живописи, о которых ее держали в неведении по воле академий здесь и за рубежом. “Оружейная выставка”, как ее называли, вызвала бурю насмешек, но она также привлекла такие сотни тысяч посетителей, каких еще не собирала ни одна нынешняя выставка в этой стране. Первый контакт нашей публики с искусствами, пришедшими на смену импрессионизму, — с живописью Сезанна, Редона, Гогена, ван Гога, Матисса, кубистов и других — произошел на этой эпохальной выставке. Несмотря на насмешки, которыми она была встречена, было немало осанн, и даже подавляющее большинство посетителей, сомневавшихся в точной ценности различных экспонатов, знали, что в новых школах существуют качества, которых здесь никогда не видели, и которые были необходимы. Около трехсот работ покинули стены Оружейной палаты, чтобы сформировать авангард для гораздо более важных закупок современного искусства, которые с тех пор дополнили наши коллекции; так что на момент написания этой статьи в музее Метрополитен открывается выставка, которая, хотя и представляет лишь малую толику богатства подобных картин, имеющихся в распоряжении американцев, дает превосходное представление о великих школах конца 19-го и 20-го веков во Франции. Стоит отметить, что в своем ответе на великое шоу 1913 года и на более мелкие, следовавшие за ним, Америка лишь в более сильной форме продемонстрировала ту степень признательности, которую она демонстрировала раньше. Более ранние примеры этого можно найти в великолепных коллекциях картин Барбизона и импрессионистов, представленных здесь. Что должно перевешивать многие обескураживающие черты наших художественных условий, так это тот факт, что американский музей был первым в мире и единственным при жизни Мане, где были выставлены работы этого мастера.

Возвращаясь теперь к нашей собственной живописи, скажу, что один человек в этой стране с полным успехом выдержал испытание выставкой с участием величайших зарубежных художников последнего времени. Это был мистер Морис Б. Прендергаст, который в течение тридцати лет радостно трудился над искусством, которое показало свое происхождение от лучшей французской живописи своего времени, свое восхитительное восприятие учения Сезанна (едва ли известного даже в Европе, когда мистер Прендергаст впервые изучал его) и свою юмористическую и нежную оценку американских сцен, знакомых художнику с юности. В оригинальном и логичном дизайне, в ярком цвете, который в то же время обладает мягкостью великолепного вина, он выражает современную веру в мир, который мы видим, и делает его привлекательным. Наконец-то мы приветствуем искусство, соответствующее лучшим древне-современным традициям, как с тех пор заявили европейские критики; и все же оно остается американским по происхождению и по атмосфере бессознательной честности, которая всегда была характерной чертой хороших работ в этой стране.

Последняя волна влияния, охватившая американское искусство, была едва ли не самой масштабной и бодрящей. Пойти дальше этого утверждения, по крайней мере в отношении отдельных лиц, означало бы отказаться от поддержки слишком значительной части той совокупности мнений, которая, как я знаю, стоит за моими утверждениями на протяжении всего этого эссе. Вопросы искусства должны, в конечном счете, быть сформулированы догматически, но я не желаю говорить о развивающихся сейчас школах иначе, как в общих чертах, тем более что наиболее интересным людям в них еще предстоит достичь определенной точки в своей эволюции. Они находятся в одном ряду или почти в одном ряду с идеями Европы, и в работе, которую некоторые люди проводят с этими идеями, есть замечательная энергия. Но изменения, внесенные the International, все еще слишком свежи, чтобы мы могли ожидать от них наиболее важных результатов в течение ряда лет. Общее состояние здесь, вероятно, никогда еще не было таким хорошим.

До сих пор я говорил только о более традиционных аспектах искусства — о тех, которые можно найти в музеях, — и это последнее слово требует, по крайней мере, упоминания об огромном богатстве предметов искусства, скопившихся в наших государственных коллекциях и в частных галереях, которые так часто приходят на помощь музеям.

Однако есть еще один аспект нашей темы, который требует комментариев, хотя бы в качестве отправной точки для исследования, которое однажды будет посвящено американскому искусству, которое еще не признано публикой или его создателями в качестве одного из наших основных выражений. Стальные мосты, стальные здания, недавно спроектированные машины и всевозможная утварь, которые мы выпускаем, демонстрируют приспособление к функциям, которое признано одним из величайших элементов искусства. Возможно, процесс еще не зашел достаточно далеко, чтобы мы могли смотреть на эти вещи как на полноценные произведения искусства, возможно, нам все еще понадобится некоторое влияние из Европы, чтобы заставить нас увидеть возможности, которые у нас здесь есть, или, опять же, возможно, именно в Америке импульс к творчеству в этом направлении будет сильнее. Во всяком случае, мы можем быть уверены, что изучение классики, древней и современной, которое распространяется по всей стране, у некоторых людей достигло точки насыщения, позволяющей перейти к новым открытиям, и мы можем быть уверены в способности наших художников хорошо использовать свое преимущество.

ТЕАТР

О заметном постепенном улучшении вкусов американской публики в том, что касается искусства, театр в том виде, в каком мы им занимаемся в настоящее время, свидетельствует сравнительно меньше всего. Вчерашние бестселлеры Э. Филлипс Оппенгеймс, Роберт У. Чемберсес и Элеонора Х. Портерс значительно уступили место Уортону и Беннетту, Хергесхаймеру и Уэллсу. Аудитория, выступающая в поддержку Стоковски, квартета Флонзали, Филармонического оркестра, великих виртуозов фортепиано и скрипки, а также признанных певцов, ежегодно увеличивается. Прекрасная живопись и изящная скульптура находят все более трезвую оценку. Тираж журнала Манси падает, а тираж Atlantic Monthly растет. Но лучшей пьесе американского театрального сезона, скажем, “За горизонтом”, все еще приходится бороться за полное дыхание, в то время как на другой стороне улицы сборы за какой-нибудь “Дамский вечер”, “Золотоискателей” или “Летучую мышь”, нескончаемые, достигают полумиллионной отметки.

Если кто-то говорит о нью-йоркском театре как об американском театре, то это говорит с преувеличенной степенью критического милосердия, поскольку нью-йоркский театр — насколько есть хоть какой—то вкус в американском театре - это местный театр в самом расцвете сил. Люди, недостаточно знакомые с театром, любят оспаривать это, но бухгалтеры предлагают конкретные доказательства того, что, если хорошая драматургия вообще поддерживается, то она поддерживается в метрополитен-театре, а не в так называемом “дорожном” театре. Нью-йоркский театр поддерживает американского драматурга, такого как Бут Таркингтон, когда он делает все возможное в “Кларенсе”, в то время как театр на дороге поддерживает его только тогда, когда он делает все возможное, как в “Мистере Антонио”. Нью-Йоркский театр, как показывают те же финансовые отчеты, поддерживает Шоу, О’Нила, Голсуорси, Бара и других в их роде, по крайней мере, в достаточной степени, чтобы позволить им оплатить свой путь, тогда как театры Филадельфии, Бостона, Кливленда, Чикаго, Сент-Луиса, Балтимора и Питтсбурга потерпели неудачу для них. Если только его не сыграет актер или актриса, пользующиеся большой популярностью, первоклассное драматическое произведение сегодня вряд ли имеет шансы на успех за пределами Нью-Йорка. Эти другие города Америки, хотя они постепенно читают лучшие книги и покровительствуют лучшей музыке и более прекрасным музыкантам, почти лишены драматургии. “В Нью-Йорке, - сказал мне опытный мистер Уильям А. Брейди, “ на любую действительно хорошую пьесу приходится по меньшей мере пятнадцать тысяч зрителей. Аудитория невелика; это не превратит пьесу в прибыльное театральное предприятие; но это чертовски большая аудитория, чем вы сможете найти в любом другом американском городе ”. Пусть коренные жители городов, жестоко оклеветанных таким образом, прежде чем испустить свой обычный рев протеста, подумают, когда они покинут Нью-Йорк, о судьбе девяти десятых первоклассных пьес, поставленных в американском театре без участия модных кассовых “звезд” за последние десять лет.

Театральный вкус Америки в настоящее время, за пределами метрополии, демонстрируется кассовыми сборами, которые ставят оперу мистера Уильяма Ходжа с девизом на стене и

впечатляющие идиотизмы мистера Ричарда Уолтона Талли выше лучших работ лучших местных драматургов, таких как О'Нил, и выше лучших работ лучших современных европейцев. В мегаполисе “За горизонтом” О'Нила, “Правосудие” Голсуорси, “Андрокл” Шоу, по крайней мере, могут жить; иногда, действительно, живут и процветают. Но на одно респектабельное драматическое произведение, получившее успех за пределами Нью-Йорка, приходится двадцать таких, которые с треском проваливаются. Театральная культура американской сельской местности в основном схожа с культурой французской сельской местности, и статистика французских провинциальных театров является блестящим и пугающим свидетельством природы последней. Спасите хорошую пьесу, сначала заручитесь одобрением Нью-Йорка, сегодня ни в одном крупном американском городе невозможно найти на нее платную аудиторию после первого же спектакля, вызывающего любопытство. Эти зрители покупают не хорошую драму, а дурную славу. Если бы все коммуникации с Нью-Йорком внезапно прервались на шесть месяцев, единственными театральными проектами, которые могли бы заработать за пределами города, были бы “Безумства” Зигфельда, шоу в зимнем саду, “Бен Гур” и халтурные инсценировки более дрянных бестселлеров, таких как “Поллианна” и “Папочка Длинноногий”. Это сделано не для того, чтобы произвести сенсационный эффект. Это буквально правда. На самом деле, это настолько верно, что сегодня в американском театре нет ни одного продюсера, который мог бы позволить себе или захотел бы рисковать потерей всего лишь четырехнедельной предварительной “выездной” пробы первоклассной пьесы. Если он не может найти нью-йоркский театр для своей постановки, он временно откладывает ее на хранение, пока не сможет получить билет в метрополитен, вместо того чтобы рисковать финансовыми потерями, которые в девяти случаях из десяти неизбежно постигнут его.

Все больше и больше лучших менеджеров—постановщиков - таких людей, как Хопкинс, Уильям Харрис-младший, Эймс, *и др.*— приезжают открывать свои спектакли в Нью-Йорке “холодно”, то есть без прежних экспериментальных представлений в соседних городах. И все больше и больше они, к своему сожалению, начинают понимать, что, если Нью-Йорк не поддержит эти пьесы лучшего качества, они не смогут искать поддержки в другом месте. Чикаго, хвастающийся своим гостеприимством к здоровым творческим начинаниям, потратил три тысячи пятьсот долларов на драму Юджина О'Нила на той же неделе, когда потратил сорок пять тысяч долларов на шоу Эла Джолсона “Зимний сад”. Бостон, один из первых городов, который лихорадочно продвигался вперед с доказательствами своей старой культуры Новой Англии, за последние пять лет быстро и катастрофически проваливал каждую первоклассную пьесу, представленную в его театрах без широко разрекламированного звездного актера, и в то же время заработал состояние на проницательном мистере А. Х. Вудсе, который, точно оценив его культуру, отправил “Наверх в комнату Мейбл”, “В поисках подвязки Герти” и подобные пикантные фарсы “Будуар” и “Сенокос” вместе с мисс Тедой Бара в “Голубом небе”. Пламя”. (Среди театральных менеджеров не секрет, что единственный способ донести культуру Бостона до кассовых сборов - это кампания сырой рекламы: чем сырее, тем лучше. Так, реклама “Наверху, в комнате Мейбл” в бостонской воскресной газете была сделана для изображения девушки, лежащей на кровати, с наводящими на размышления заголовками: “10 000 посетителей еженедельно” и “Такое забавное чувство”. Так, в рекламе другой выставки был представлен вид сзади обнаженной женщины с названием выставки “О, мамочка”, напечатанным поперек пышных ягод. Так, реклама музыкального шоу в Зимнем саду, намекающая на подиум, используемый на этих выставках, окрестила его “Мостом бедер”.) Ни одна пьеса, представленная в Филадельфии со времен “Девушки с коклюшем” (впоследствии

запрещенной полицейскими властями Нью-Йорка по причине непристойности), не пользовалась покровительством до такой степени, что было сочтено необходимым вызвать полицейские резервы для поддержания порядка, как это было при постановке пьесы в Пойнте. Вашингтон - культурная пустыня; за последние шесть лет я лично присутствовал на премьерах десяти весьма достойных драм в столице страны и могу точно сообщить о качестве оказанных им приемов. Вашингтон, казалось бы, все еще остается таким, каким он был лет пятнадцать назад, когда после первого показа “Питера Пэна” Барри его попытались выбросить навсегда. Балтимор, Детройт (за исключением периода расцвета военного процветания, когда бедные богачи, макаронники и греки с автомобильных заводов внезапно обнаружили, что могут регулярно покупать места в театре), Кливленд, Сент-Луис, Сан-Франциско — история та же. Благородная драма влечет за собой разорение; ноги, распутство и сентиментальность приносят богатство.

По сравнению со вкусом великой американской культурной прерии, на которой расположены эти города, Нью-Йорк, как я уже писал, выглядит эстетическими Афинами. В Нью-Йорке тоже процветают голые коленки, постельный юмор и пафосные песни “Peg o’ My Heart”, но не только для них. Бок о бок с аудиторией, которая толпится на шоу ног, диванные фарсы и возвышающие проповеди, находится значительная аудитория, которая приносит прибыль постановке таких более уважаемых вещей, как “Дом разбитых сердец” Шоу, “Император Джонс” О’Нила, пьесы Сент-Джона Эрвина и Дансени, Толстого и Гауптмана, Бара, Бенавенте и Гитри. Действительно, чтобы добраться до театров, в которых показывают некоторые из этих пьес, приходится ехать в такси за несколько миль от Бродвея - и иногда приходится сидеть с шофером, чтобы отвезти его по дальним улицам и переулкам, недоступным его искушенному опыту, — но, как только человек попадает в театры, он обнаруживает, что они переполнены, а публика полна энтузиазма и отзывчивости. Культуру американского театра — в той мере, в какой она существует, — можно назвать, по сути, культурой переулков. Почти без исключения за последнюю дюжину и более лет лучших драматургов Европы и нашей собственной страны загоняли в переулки на их первое слушание в Америке. Только в этих темных переулках и в этих отдаленных торговых центрах они смогли найти достаточно информации о своих товарах. Эрвье, Шоу, Эчегаре, Стриндберг, Бьернсон, Дансени, Мейсфилд, Эрвин, Бергстрем, Чехов, Андреев, Бенавенте, О’Нил — эти и многие другие выдающиеся личности обязаны своим появлением в Нью-Йорке американцу с улицы, который, как выясняется при анализе, в большинстве случаев составляет пятьдесят процентов иностранной крови. И то, что, таким образом, справедливо для Нью-Йорка, в равной степени справедливо и для большинства других городов. В большинстве таких городов, конечно, которые достигли уровня театрального лоска, достаточного для того, чтобы похвастаться маленьким театром в дальнем конце конюшни.

Более общий американский театральный вкус, отраженный, возможно, наиболее справедливо в таких вещах, как идиотская поддержка Театральной лиги и различные “белые списки” различных религиозных организаций, — несмотря на тот неоспоримый факт, что он, кажется, постепенно улучшается, — все еще находится на стадии игровых блоков и жестяных машинок. Сатира, если только она не самого очевидного рода и не приближается к легко усваиваемому бурлеску, означает неудачу для продюсера. Точка зрения, которая не приводит к компромиссу с сентиментальностью, означает неудачу для драматурга. Секс, если только он не преподносится в виде сифона с сельтерской водой, “Абендштерна” или “Полицейской газеты”, означает неудачу для обоих. Лидерами в распространении этого низкого вкуса являются не американские менеджеры и продюсеры, как принято считать, а американские драматурги. За

семнадцать лет моего активного критического интереса к театру я не встречал ни одного честного драматического произведения, написанного рукой американца, которое не было бы услышано — и услышано разумно — тем или иным из этих регулярно подвергающихся насилию менеджеров и продюсеров. И за эти годы я, в силу моих совместных профессиональных обязанностей критика и соредактора сочувствующего литературного периодического издания, прочитал, возможно, девять десятых драматических рукописей, которые собрала честолобивая молодая Америка. Эта молодая Америка, громко критикующая менеджеров и продюсеров, за указанный промежуток времени произвела очень, очень мало того, что стоило производить, и это немного быстро нашло рынок сбыта. Плохой мастер всегда возмущен. Но я не знаю ни одной хорошей американской пьесы, которая либо еще не была поставлена, либо не была куплена для будущей постановки. Любая хорошая пьеса американца достаточно легко найдет своего продюсера. Первый менеджер, прочитавший “За горизонтом”, купил его сразу же, как отложил рукопись, и это, напомним, была первая трехактная пьеса профессионально неизвестного автора. Американский театр изменился в этой области; за последние пятнадцать лет произошли кардинальные изменения.

Нет, вина лежит не на менеджерах и продюсерах, а на драматургах. Последние, если они не простые попугаи, то трусы. Молодые и старые, новички и опытные, талантливые и бездарные, они в массе своей такие же души, как и многие в Saturday Evening Post, которые в одиночку мечтают и намерены добиться достаточной финансовой выгоды, чтобы превратить Ford в Rolls-Royce, а ошейник из тюленя Гудзонова залива - в русского соболя. Ребенок не может быть вскормлен и физически развит на воде; театральная публика, при всей ее потенциальной готовности, не может быть развита эстетически на диете из ехидной писанины. В настоящее время в американском театре есть не более двух, самое большее трех драматургов из всех сотен, которые сохраняют в своих сердцах решительную и неиспорченную цель. Уберите молодого О'Нила и уступите немного места мисс Рите Уэллман (чьи достижения все еще слишком расплывчаты для точной оценки), и почти ничего не останется. Вспышки таланта - да, но только вспышки. “Слишком много поваров” и “Первый год” Крейвена - наблюдательное, в высшей степени искусное изображение американской сцены, но они являются драматической литературой лишь в той степени, в какой “Главная улица” и “По эту сторону рая” являются литературой. С экстраординарным “Папой” мисс Зои Акинс сдалась и капитулировала — по крайней мере временно — перед кассовым фильмом “Череп и скрещенные кости”. Пока Таркингтон не докажет, что “Кларенс” не был счастливой случайностью в длинном и непрерывном ряду “Ниоткуда”, “Мистер Антонио”, “Деревенский кузен”, “Алан из дома”, “Камео Кирби”, “Ваш покорный слуга”, “Весна”, “Полировка”, “Вертикальный Гибсон” и “Полдекин”, нам придется отложить наше решение в пользу него. Джорджа Эйда, великого подателя надежд на подлинную американскую драму, больше нет; увы, он налег на весла на середине течения. Джозеф Медилл Паттерсон, честный драматург, провалился под мост, не преодолев и половины пути. Остальное? Что ж, остальные - это Огастусы Томасы, оставшиеся от прошлого поколения, опытные техники с пустыми головами или молодежь, у которой все еще сильно мокро за ушами. Остальные? Продавцы билетов.

Ни в одной цивилизованной стране мира драматурги сегодня не проявляют такого рвения к звуковой драме, как в Соединенных Штатах. В Англии они, по крайней мере, в какой-то мере пытаются хорошо писать; в Германии - смело экспериментировать с новыми формами; во Франции - серьезно или легкомысленно философствовать о жизни такой, какой они ее находят; в России - трезво относиться к проблемам физическим и духовным; в Испании - изображать

испанское сердце, совесть и атмосферу; в Ирландии - отражать жизнь и мысли, юмор, трагедию и всеобъемлющие устремления народа. А в Соединенных Штатах — что? В Соединенных Штатах, за немногим более чем двумя исключениями, на данный момент нет ни одного драматурга, который не думал бы об “успехе” выше честного труда. Как хорошие, так и плохие мастера, все они думают одинаково. Золото, серебро, медь. И в результате получается бесконечная череда обновленных пьес о мошенниках, детективах, Золушках, будуарных пьесах, буколических пьесах: пища для каракулей. Трусость перед глазом золотой змеи распространяется как на высших, так и на низших. Честность выбрасывается за борт, когда корабль неуклонно направляется к Золотым Воротам. Бесспорный талант Эйвери Хопвуда — Джорджа М. Коэна- Джорджа Бронсона—Ховарда - сознательно развращает самого себя.

Американский профессиональный театр сегодня является одновременно и самым богатым театром в мире, и самым бедным. В финансовом отношении он достигает звезд; в культурном плане, за столь малыми, что ими можно пренебречь, он достигает канализации. За оба этих достижения в значительной степени несет ответственность американская газета. Американская газета, в целом, относится к театру с презрением. Мои ранние годы, после окончания университета, прошли в штате одного из них — в те дни это был ведущий ежедневный журнал Америки, — и я никогда не забуду его отношение к театру: дешевое, пустое, униженное. Если пьеса была поставлена менеджером, который широко рекламировал ее в газете, ее хвалили без всяких на то оснований. Если пьесу ставил менеджер, который оказывался *персоной нон грата* в офисе, она отклонялась с кратким уведомлением о репортаже. Если пьеса ставилась новым и предприимчивым менеджером в вечер другой постановки в театре, пользующемся покровительством модной публики — скажем, в “Эмпаyre”, — то предыдущую пьесу, какой бы достойной она ни была, опускали с помощью одной-двух палочек, чтобы оставалось место для напечатания имен модников, сидевших в креслах “Эмпаyre”. С тех пор внешне ситуация несколько изменилась, но в основе своей она практически не изменилась. Талантливый молодой рецензент честно пишет о безвкусной пьесе в “Вечернем солнце”; продюсер пьесы, любимец редакции, жалуется; и молодого рецензента немедленно увольняют. Продюсер кинофильмов размещает в нью-йоркских газетах рекламу своего готовящегося к выпуску *опуса* на полстраницы, и экранная выставка “кусочек мусора” приветствуется как шедевральная работа. Пусть сегодня вечером в театре “Парк” будет представлена новая драма Герхарта Гауптмана, и пусть мистер Джон Бэрримор также появится в половине девятого в пьесе какого-нибудь малоизвестного сотрудника “Эмпаyre”, и во всем Нью-Йорке не найдется ни одной газеты, которая не прокомментировала бы последнее скандальное событие в ущерб первому.

Дело не в том, что газеты в Нью-Йорке, как и везде, нечестны — немногие из них на самом деле нечестны; дело в том, что они пригородные, дрянные, дешевые. За четырьмя исключениями, которые я могу вспомнить, американская газета, где бы вы ее ни нашли, относится к театру так, как будто он имеет гораздо меньшее значение, чем бейсбол, и лишь чуть-чуть большее, чем изнасилование в Перт-Эмбое, штат Нью-Джерси. Две колонки посвящены последним достижениям бутлегерства в Гарлеме, а полстолбца посвящены пьесе Джона Голсуорси. Светская дама обвиняется своим мужем в прелюбодеянии с индейцем-полукровкой, и земельный надел состоит из четырех колонок. В тот же день шекспировская постановка монтируется самым артистичным продюсером в американском театре, а отведенное место составляет две трети колонки. Газеты отвечают: “Что ж, мы даем публике то, чего она хочет! И скандал интересуется ее больше, чем Шекспир”. Разве тогда театральные менеджеры не имеют права ответить в тех же выражениях? И когда они это делают, некоторые из них с отвращением

отвечают в тех же выражениях, какова лицемерная оценка их предложений, которой удостоивают их те же газеты? Если "Нью-Йорк таймс" посвящает три колонки грязному делу о разводе, я не понимаю, как она может справедливо или разумно позволить своему театральному обозревателю возмущенно осуждать мистера А. Х. Вудса в том же номере за то, что он посвятил три часа грязному фарсу.

Американской драме, как и американскому зрителю, не хватает покоя. Это всегда логически верно для новой цивилизации. Время должно смягчить ум и сердце, прежде чем драма достигнет глубины и богатства; время должно смягчить ум и сердце, прежде чем аудитория сможет настроиться на спокойное обдумывание. Молодость - редкое и драгоценное качество, но молодость, при всей ее прекрасной отваге и безрассудстве, склонна быть поверхностной. Его эмоции и реакции связаны соответственно с основными цветами и на них; пастельные тона вызывают у него нетерпение. Американский театр, драма и аудитория - это театр, драма и аудитория метафизических и эмоциональных первичных цветов: существенных, ярких, но слишком очевидных и бросающихся в глаза. Я говорю, конечно, в общем. Ибо есть несколько заметных исключений из этого правила, и эти исключения предвещают в американском театре первые признаки приближающегося рассвета. Продюсер вроде Артура Хопкинса, возможно, первый американский театральный деятель, одаренный подлинной страстью к изящным вещам и талантом делать — или, по крайней мере, пытаться делать — их; драматург вроде молодого О'Нила, не допускающий компромиссов или двусмысленностей в стремительном развитии своего динамичного воображения; актер вроде Арнольда Дейли и актриса вроде Маргарет Энглин, для которых неудача на службе честной драме абсолютно ничего не значит, — вот кто вдохновляет нас на веру в будущее. И они не стоят особняком. Хьюм и Меллер, Джонс, Питерс, Симонсон и Бел-Геддес, Гласпелл, Уэллман и Поттл — такие молодые люди тоже видят свои мечты, некоторые из них, что вполне справедливо, все еще глупые мечты, но все же мечты. И сновидение распространяется, распространяется....

Но в своем медленном и смелом восхождении американский театр все еще сильно тормозится островными силами, которые, как ни на каком другом театре, кроме английского, действуют в Республике. Борьба с устаревшими условностями - это храбрая и ожесточенная борьба, но победа по-прежнему зависит главным образом от знамен филистимлян. Драма, которая отвергает сентиментальность ради правды, которая стремится прямо взглянуть в лицо трагедии и комедии любви и жизни, которая отказывается от самого себя и которая рискует взглянуть на американскую сцену глазами космополита, на каждом шагу сталкивается с исконным пуританством (столь же часто притворным, сколь и врожденным), а также с исконным ограниченностью и лицемерием. Постановка, которая высмеивает все стереотипы - все нелепые и замшелые штампы — в свою очередь высмеивается. Над актером или актрисой, которые пытаются отфильтровать роль через разум человека, а не через разум нарумяненной марионетки, смеются. Здесь любящая поиграть публика находит своих лидеров в трех четвертях газетных рецензий на "стулья", на которые прямо или косвенно влияют внутренняя неопытность и невежество или внешний намек на "политику".

Американский театр и драматургия долгое время страдали от того, что были рабами национального лицемерия. Лишь в редких случаях им удавалось сбросить оковы, и то лишь на мгновение. Притяжение к ним упрямое, сильное. Сто падре щелкают черной змеей по их спинам: газеты дрожат при мысли о том, что оскорбляют своих рекламодателей, религиозные ордена суют нос в то, что их не должно касаться, коррумпированные организации по

повышению морали и развратные общества по борьбе с пороком жаждут всякой огласки, назойливые профессора колледжей увеличивают свою скромную зарплату, сочиняя двадцатидолларовые статьи на темы, о которых они ничего не знают, для воскресных приложений, бывшие репортеры по недвижимости и разведенные интервьюеры становятся “драматическими критиками”, священнослужители ищут дурной славы, ехидные продюсеры пытаются защитить свои ехидные предприятия от опасностей, о которых они ничего не знают. о вторжении в истину и красоту. Пусть группа молодых людей, любящих драму и театр, находчивых, умелых и успешных, выйдет на сцену, как вышли актеры "Вашингтон Сквер", пусть они привнесут проблески подлинного драматического искусства в свой родной театр, и против них немедленно обрушится завистливая ирония Старой гвардии, которая мертва, но никогда не сдается. Пусть такой молодой драматург, как Зои Эйкинс, напишет замечательную фантастическую комедию (“Папа”), а против нее пустят в ход все оружие шарлатанов-моралистов в искусстве. Стоит такому продюсеру, как Хопкинс, отойти от театральности, опирающейся на каминную доску, и посвящения в пальмовые вазоны, и против него будет выдвинуто резкое обвинение в уродстве.

Отечественный театр, несмотря на то, что он находится на пути развития, еще не готов к таким вещам, которые требуют определенной цивилизованности для восприимчивой и вознаграждающей оценки. “Pegs o’ My Heart” и “Pollyannas”, “Turn to the Rights” и “Lightnin's” по-прежнему приносят миллионы, в то время как большая часть более прекрасных вещей чахнет и погибает. Помните, я говорю не о театре одного города, а о театре всей страны. Этот театр, рассматривая его, насколько это возможно, как единое целое, все же ненамного превосходит “Мидуэй Плезанс”, “хонк-а-тонк”, шараду воскресной школы. То, что один или, может быть, два зарубежных национальных театра могут быть ненамного лучше, не является извинением. Такие иностранные театры — скажем, французские — являются не столько национальными театрами, сколько театрами одного города, ибо Париж - это Франция. Но американский театр распространяется от побережья к побережью. Что он распространяет, я здесь попытался предложить.

Джордж Джин Натан

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МНЕНИЕ

ЕСЛИ бы в Америке существовали сознательные ограничения на выражение мнений, это эссе обладало бы напыщенной уверенностью официального документа. Вместо того чтобы прокладывать свой опасный путь сквозь массу запутанных мыслей, он зафиксировал бы в формальных терминах приемлемое высказывание. Фактически, сами ограничения на мышление и речь с помощью ножниц и разрешения на высказывания можно было бы легко превратить в утверждение авторитетной теории общественного благосостояния.

Однако, к несчастью, американская жизнь устроена не таким образом, чтобы облегчить задачу интерпретатору экономических взглядов. Каждый американец осознает право на собственное мнение о том, “почему все мы, вместе взятые, так же богаты, как и мы сами” и “почему некоторые из нас живут лучше, а другие хуже, чем в среднем”. Он не мог бы сказать, вытекает ли

эта привилегия из Билля о правах, конституции Соединенных Штатов или из его обезьяньего происхождения; но он полностью уверен, что она “неотчуждаема” и “непреложна”. Никакие ограничения по рождению, воспитанию, положению или богатству не ограничивают его права на мнение и не убеждают его уважать более удачливого соседа более высоко, гораздо выше, чем его собственный. Интеллектуальные ограничения также не сдерживают поток слов и идей. Никого не допрашивают о росте индустриализма, институтах, составляющих экономический порядок, или природе промышленной проблемы, прежде чем ему разрешат высказаться. На самом деле, идея о том, что знание фактов об обсуждаемом предмете или принципов, которые должны применяться к нему, необходимо для права на мнение, является странным понятием, которое здесь мало понимают. Даже если иногда какой-нибудь властелин пытается мягкоограничить устное или письменное слово, он проверяет только тех, кто говорит прямо и, следовательно, неуклюже. Его основной эффект заключается в провокации, направленной на значительное увеличение объема мнений.

Результатом является конгломератная масса мнений, которая распространяется по известной сфере экономики и проникает в неизведанные регионы. Могущественные финансисты излагают теорию национального благосостояния в терминах иностранных концессий не более бойко, чем рыцари дороги на торжественном съезде решают словами загадку безработицы. Недавно получившие избирательные права женщины соревнуются с членами Динамитного клуба в предложениях по наведению порядка в индустриальном пространстве. Экономические мнения всплывают в финансовых журналах, “лейбористской прессе”, периодических изданиях “ученых” обществ и у всех “христианских” защитников. Это смело проявляется в политических выступлениях, в отчетах директоров, на общественных слушаниях и в пропагандистских листовках. Она хитро скрывается в редакционных статьях, движущихся картинках, лекциях в гостиницах, стихах, карикатурах и гимнах. Она варьируется от звучных извинений за существующий порядок, озвученных профессором христианской гомилетики Аароном Баалом в теологической семинарии Мидаса, до отрывистого осуждения того, что есть, профессором пролетарской тактики “Сыновья Марты” в рабочем колледже Карла Маркса.

Создающие условия придают этой разнородной массе мнений лишь видимость порядка. По всей стране существует общая система юридических, деловых и социальных обычаев. Это наложило слишком сильный отпечаток на предположения, лежащие в основе мышления, чтобы допустить, чтобы этот материал был отдельными фрагментами из стольких ментальных вселенных. Преобладающая схема экономической жизни установлена настолько определенно, что накладывает свой отпечаток на мнение, которое о ней высказывается. Приемлемое мнение создается по его подобию, а неприемлемое мнение становится приемлемым мнением, когда умело извлекаются отрицательные стороны. Протестанты озабочены скорее устранением “пороков” “капитализма”, чем искоренением его с корнем. Протестантизм - это скорее вариант ортодоксальной доктрины, чем независимая система мышления. Радикальное мнение, которое, вероятно, перейдет приличные границы отрицания, поддерживается небольшим объемом благодаря прессе, которая не дает ему возможности питаться. Соответственно, различные доктрины носят видимость единства.

Такие элементы, однако, не избавляют это приключение в спекуляцию от его опасностей. Они просто делают опасности смертельными. В нижеприведенных параграфах экономическое мнение в Америке опрометчиво подразделяется на четыре основных класса. Это мнение середины 19 века *оневмешательстве* в экономику, традиционные “аргументы в пользу

капитализма”, протестантское требование “контроля” и академическая настойчивость в сознательном “направлении” промышленных изменений. Радикальное мнение получает компетентную оценку в других разделах этого тома. Даже в этом смелом наброске мнения меньшинств теряются из виду, а взгляды и доктрины, кажущиеся чуждыми авторам, которые знают об их тонких различиях, часто сливаются в единую картину. Чтобы избежать обвинения в том, что лев и ягненок были изображены как одно целое, никаких имен не называлось. Здесь, как и везде, всплывут подробности, проклинаящие их обобщения, и окажется, что целое слишком скудно, чтобы его можно было разложить на части. Но шанс должен быть использован, и, в конце концов, истина заключается не в девизах из учебника.

Я

Все существующие типы экономических мнений в этой стране имеют общее происхождение. Мужчины, которые их выражают, принадлежат к немногочисленному поколению или двум, живущим за пределами страны или маленького городка. Эти мнения представляют собой множество вариантов течения мыслей, которое восходит к Америке середины 19 века, населенной маленькими городками и открытой местностью. Это примитивное экономическое мнение было сформировано из праха земного по подобию эксплуататорской Америки. Условия, которые сформировали его, можно было бы изложить в двух строках школьной истории следующим образом: во-первых, богатые природные ресурсы; во-вторых, малочисленное население; и в-третьих, принцип оставления индивида в покое.

Это был шанс воспользоваться экономическими возможностями, которые сделали Америку 19 века “землей обетованной”. Сырье для личного богатства находилось здесь, в почве, ручье и шахте. Оборудованием, необходимым для грубого эксплуататорского земледелия того времени, было легко завладеть. Поскольку его было в избытке, ресурсы, необходимые для получения шанса на жизнь, можно было получить по первому требованию. Человек, обладающий достаточной предприимчивостью, чтобы “действовать в одиночку”, жил на то, что производил он сам и его богатство в виде жены и детей. Ему не нужно было заключать хитроумную сделку по продаже своего труда или покупать необходимые средства, чтобы прокормиться и одеться на рынке. Не существовало запутанной схемы расценок, которая нарушала бы связь между усилиями и вознаграждением; возможности и ответственность шли рука об руку; успех или неудача определялись самим человеком. Там, где природа делает больше всего, человек претендует на все; и в сельской Америке мужчины были вполне склонны приписывать себе достижения природы. Поскольку достаточные ресурсы в значительной степени подавляли даже посредственные усилия, голос хронического неудачника, который винил обстоятельства, судьбу или “систему”, был не услышан. Свобода иметь и удерживать экономические ресурсы в достаточном количестве, чтобы обеспечить всех, была условием материального процветания.

Даже когда привлекательность природных ресурсов привлекла людей от сельского хозяйства к промышленной эксплуатации, условия существенно не изменились. Население новых городов какое-то время по крайней мере одной ногой стояло на земле. Когда, наконец, город обрел своих людей, из Юго-Восточной Европы стали приезжать иностранцы, чтобы выполнять “грязную работу”, а уроженцы города занимали административные, канцелярские или профессиональные должности. Альтернатива занятости на ферме и быстрый рост промышленности установили приблизительный минимум, ниже которого заработная плата упасть не могла. Расширяющаяся машинная техника с крупномасштабным производством

количественными методами привела к изобилию товаров, о чем свидетельствуют как более низкие цены, так и более высокий уровень жизни. “Промышленные магнаты” считались местными жителями создателями рабочих мест, которые они предоставляли, и эффективной причиной процветания района. Ручеек иммиграции, превратившийся в “ручей” и поднявшийся до “прилива”, является красноречивым свидетельством того времени, которое европейское крестьянство уделяло успеху американской системы предоставления индивиду возможности заниматься своим делом самостоятельно.

Эти условия породили непрофессиональную экономическую теорию, приемлемую для национального сообщества. Ее принципы были основаны на опыте, а не на книгах; на интуиции, а не на разуме. Благополучие личности и богатство нации были одинаково обеспечены свободными институтами. В бизнесе и промышленности индивид должен был быть свободен поступать так, как ему заблагорассудится, если только государство специально не запрещало. Государство было бессильно вмешиваться в жизнь индивида, если ему не были предоставлены на это особые “конституционные” полномочия. Каждый знал, чего он хочет, и был в состоянии позаботиться о себе сам. Интересы всех были совокупностью интересов отдельных людей. Преобладающая схема институтов принималась как часть неизменного мира природы. Частная собственность, если ее вообще защищали, была хороша, потому что она давала индивиду безопасность и позволяла ему наслаждаться плодами своего собственного труда. Право заключения контракта, осуществляемое на рынке, характеризующемся “махинациями”, время от времени давало человеку возможность совершить приключение за горизонтом домашней экономики. Если, возможно, человек иногда попадал в невыгодную сделку, тем лучше. Ошибка была полезным упражнением в развитии кардинальной добродетели - уверенности в себе. Когда наступление индустриализма сделало контракт основой всех производственных отношений, все еще использовалось старое оправдание. Конкуренция, с которой она всегда ассоциировалась, рассматривалась как главный фактор в организации промышленности. Оно приводило в порядок элементы производства и применяло к ним моральные ограничения. При его режиме люди получали вознаграждение в соответствии с их заслугами. В общем, вне всякого сомнения, верно, что “возможность” однажды постучалась “в все ворота”; что наверху “много места”; что каждый построил лестницу, по которой он поднимался; и что даже самый скромный был “хозяином своей судьбы”.

Из такого сырья был создан свод профессиональной экономической теории. В некотором смысле это был импортный продукт, поскольку его более ранним утверждением была английская “классическая” экономическая теория. Но на самом деле это было возвращением к более раннему экспорту, поскольку принятая теория была создана на основе грубых индивидуалистических представлений, которые Англия унаследовала от Америки. Кроме того, из рук американских экономистов она получила гораздо более подробное и членораздельное изложение, чем это было сделано за рубежом. Эти теоретики использовали тонкий анализ, тяжеловесную логику и околичности; но их благопристойные методы привели их во многом к тем же выводам, к которым практические люди пришли на основе своего ограниченного опыта. Его сила и приемлемость были полностью обусловлены точностью и многословием, с которыми он сводил к формальным терминам современную экономику, основанную на здравом смысле.

В своих терминах экономический порядок состоит из индивидов. Каждый из них руководствуется мотивом личной заинтересованности. Каждый имеет в своем распоряжении личные услуги, товары или права собственности. Каждый должен жить за счет товаров и услуг,

приобретенных у других. Каждый должен соревноваться со своими собратьями в продаже своих товаров и покупке средств к существованию. Из-за конкуренции продавцов заработная плата, прибыль от капитала и цены на товары не могут быть доведены до недопустимых высот. Из-за конкуренции покупателей их нельзя снизить слишком низко. Равновесие этого двойного конкурентного процесса обеспечивает каждому доход, представляющий справедливую ценность услуги, права собственности или товара. Цены, двигаясь вверх и вниз в ответ на меняющиеся условия, стимулируют и замедляют потребление и производство. Само их движение постоянно перераспределяет ресурсы для производства разнообразных товаров и услуг именно в той пропорции, которую требуют потребители. В этой теории институты, составляющие основу экономического порядка, считаются само собой разумеющимися. В ней нет места вмешательству государства в “частный бизнес”. Она рассматривает монополию как нечто, от чего следует отказаться, независимо от того, появляется ли она в виде капиталистического комбината или союза рабочих. В Эдеме свободного предпринимательства ресурсы сообщества отдают все, что у них есть, а конкуренция справедливо вознаграждает всех верующих, которые, служа себе, служат обществу. Неудивительно, что проповеди были посвящены “Отношению политической экономии к естественному богословию”.

II

Условия, которые сформировали экономическое мнение Америки о маленьких городах и открытой местности, исчезли. С их уходом старые теории были преобразованы для новых целей. Больше нет бесплатных экономических возможностей для всех желающих. Природные ресурсы были присвоены, а естественные различия между людьми были усилены искусственными различиями собственности и наследования. Богатство и контроль были одинаково отобраны умных и сосредоточены в руках немногих. Преобладающей единицей в бизнесе является корпорация. Предприятия были объединены в отрасли промышленности, и они были объединены в мощную промышленную систему с ее установленными правами, ее обычными способами ведения дел и ее принуждением к тем, кто ей служит. Более старые личные отношения “хозяина” и “слуги” сохранились только в архивах судов. Трудовой договор теперь заключается между “бездушным”, но “юридическим лицом” и простым существом из плоти и крови. Более человечный индивид, выживший в менее механическую эпоху, больше не живет плодами своего личного труда. Его благосостояние ограничено между его заработной платой и ценами, которые он должен платить за предметы первой необходимости. За этой непосредственной сделкой скрывается таинственная экономическая система, полная неизвестных причин, которые угрожают его доходу и даже его занятости. Те, кто владеет, становятся преемниками тех, кто рискнул. Короче говоря, свободное предпринимательство уступило место устоявшейся системе.

Эти события наложили свой отпечаток на экономическое мнение. Вполне уместно, что те, кто стал наследником богатства, накопленного свободным предпринимательством, должны заручиться его внешней защитой в виде теории и диалектики. Таким образом, старая экономическая теория, с ее логикой и благословением, досталась в наследство тем, кто ее получил. Ее новое утверждение, из-за его хорошо известной цели, можно назвать “аргументацией в пользу капитализма”. В своем пересмотре авантюрный милитаризм, нацеленный на эксплуатацию, уступил место пацифистской защите безопасности, владения и вещей такими, какие они есть.

Во внешней форме потребовалось внести немного изменений, чтобы превратить старую теорию *невмешательства* в презентабельный пример капитализма. Более жесткого и абсолютного изложения классической доктрины было почти достаточно. В ее терминах экономический порядок независим от других социальных механизмов. Это автоматический, саморегулирующийся механизм. Над этим правит непреложный и естественный “закон спроса и предложения”. Это поддерживает справедливые цены, предотвращает эксплуатацию, приспособливает производство и потребление друг к другу, обеспечивает получение максимального количества товаров и услуг из имеющихся ресурсов и распределяет доходы в соответствии с заслугами людей и истинностью вещей. Действие этого закона настолько справедливо и беспристрастно, что вмешательство государства равносильно назойливой путанице. Оно не может отменить естественный закон; следовательно, не должно.

Она больше всего отличается от старой экономической теории более четким изложением функции институтов. Растущее неравенство в доходах, контроле и возможностях представило факты, с которыми необходимо столкнуться. Но даже здесь, вместо того, чтобы изобретать новые способы защиты, сторонники капитализма обновили старые. То, что есть, находит свое оправдание в том, что было. Права собственности должны быть сохранены в неприкосновенности, потому что частная собственность необходима для личных возможностей; точно так же, как если бы неимущих не существовало и каждый зарабатывал себе на жизнь со своих собственных акров или собственного магазина. Право на заключение контракта не подлежит ограничению, поскольку интересы обеих сторон защищаются сделкой между равными; точно так же, как если бы корпоративный работодатель и индивидуальный наемный работник были одинаковы в своей свободе, своей способности ждать и своей власти формировать условия сделки. Цены должны самостоятельно определяться на открытом рынке, потому что конкуренция наилучшим образом примирит конфликтующие интересы покупателей и продавцов; точно так же, как если бы не было никакого подобия монополии среди производителей, никаких открытых соглашений о ценах и никаких неформальных договоренностей. Нельзя ограничивать индивидуальную инициативу, потому что она создает богатство нации; точно так же, как если бы рутина не имела значения для эффективности и массы людей все еще обладали свободой действий в экономических вопросах. Механизмы, из которых состоит экономический порядок, находят свое подтверждение в символическом языке ритуала, а не в прозаическом изложении текущих фактов.

Эта защита пересекает границу, отделяющую экономический порядок от политического, только для того, чтобы присвоить престиж демократии. Его реальная забота заключается в сохранении господствующей системы, при которой бизнес контролирует промышленность с целью получения прибыли. Его формальное требование заключается в том, чтобы “форма правления” не была изменена. Эта забота находит выражение в почитании работы “отцов” (кстати, довольно молодых людей), не машинных технологий и предпринимательской деятельности, а “представительного правительства” и “конституционной власти”. Его кредо становится пропагандой, но не для защиты бизнеса, безопасности корпораций или сохранения управленческих иммунитетов, а для защиты нации, безопасности Америки и сохранения “конституционных” прав. Новые экономические механизмы маскируются за политическими правами и наделяются ценностями политических институтов, которые предшествуют им на многие десятилетия. Короче говоря, самые стойкие защитники господствующей экономической системы верят, что “их экономические предпочтения разделяются конституцией Соединенных Штатов”.

Если мы можем позаимствовать термин у его защитников, эту систему взглядов следует назвать “теоретической”. В их речи “теория” - это обобщение, которое идет гораздо дальше, чем того требуют ее детали. В этом смысле их выводы не являются “практичными”. Существенный вопрос, который волнует эту группу мнений, заключается в том, обеспечивает ли схема институтов, ориентированных на извлечение прибыли, членам сообщества, по отдельности и коллективно, такое благосостояние, каким они должны быть. На первый взгляд кажется, что реалистичная защита господствующего порядка может быть убедительно сформулирована. В любом случае, “аргументы в пользу капитализма” достаточно хороши, чтобы попасть в архивы. Вместо этого ее сторонники путают свой собственный денежный успех с благополучием сообщества и утверждают, что, поскольку была получена прибыль, система хороша. Подобно экономистам-классикам, они отстаивают систему, исходя из допущений.

III

На волне нового индустриализма возникло экономическое мнение протеста. Она постепенно формулируется профессионалами, фермерами, профсоюзными деятелями и молодыми бизнесменами, которые избежали того, чтобы стать “сделавшими себя сами”. Ее нерешительное и сбивчивое утверждение связано с тревожными условиями, из которых оно исходит. Различные интересы многих ее авторов препятствуют единству слов или принципов. Его происхождение из соприкосновения умов, пропитанных старым индивидуализмом, с захватывающими фактами нового экономического порядка объясняет его нынешнее невнятное выражение. Это можно изложить кратко, только подчинив реальность разнообразия тенденциям, которые явно присущи ему.

Целью этого нового мнения является модификация господствующего порядка, а не его свержение. Оно вполне осознает недостатки своего устройства и знает, что не все его плоды хороши. Он никогда не рассматривал вопрос об эффективности или неэффективности системы в целом. Старые индивидуалистические представления достаточно сильны, чтобы дать интуитивную веру в то, что теория контроля промышленности бизнесом ради получения прибыли по существу верна. Но это устранило бы плохое, исправило бы равнодушие и сохранило хорошее. Это создало бы в правительстве внешнюю власть, которая посредством регулирования и репрессий заставила бы интересы бизнеса служить обществу. Он верит в частное предпринимательство, вынуждаемое государством содействовать “общественному благосостоянию”. Его детали лучше всего можно представить на типичных иллюстрациях.

Прежде всего, это отношение протестантов к свободе заключения договоров. Они принимают преобладающую теорию, согласно которой отношения покупателя и продавца, работодателя и наемного работника, владельца и агента можно смело оставить на усмотрение всех заинтересованных сторон. Но они указывают на то, что на практике этот принцип не дает предполагаемых результатов. Ибо, хотя теория предполагает, что стороны равны в своей власти определять условия контракта, общеизвестно, что работодатели и работники занимают неравные позиции на переговорах. Они предоставили бы определять отношения путем свободных переговоров; но, в качестве предварительного, они попытались бы установить равенство переговорных возможностей. С этой целью они заключили бы контракт путем “коллективных переговоров” между работодателями и наемными работниками “через представителей”, выбранных каждым из них. Более того, они использовали бы государство для улучшения положения более слабой стороны. Таким образом, был принят закон, лишающий

работодателей их права требовать от работников в качестве условия трудоустройства не оставаться членами профсоюзов. Хотя суды признали такое законодательство “произвольным вмешательством в свободу заключения договоров, которое ни одно правительство не может оправдать в свободной стране”, его защитники будут настаивать на том, что их целью было всего лишь “установить то равенство в положении сторон, при котором начинается свобода заключения договоров”.

Далее, среди протестантов растет мнение, что государство является “моральным агентом” и должно определять правила, по которым должен вестись бизнес. Они указывают на то, что в бизнесе бывают как плохие, так и хорошие условия, что бизнесмены занимаются как правильными, так и ненадлежащими практиками, и что одни виды деятельности наносят вред, в то время как другие помогают обществу. Во многих случаях работодатель считает выгодным создавать условия, отвечающие интересам работников и потребителей. В других случаях повышение стандартов зависит от удовольствия самого невнимательного работодателя. Запрещение детского труда, сокращение рабочего дня и выплата минимальной заработной платы могут быть выгодны как рабочим, так и обществу; однако эти нововведения влекут за собой увеличение затрат и не могут быть приняты вопреки конкуренции производителя, который не будет их устанавливать. В таких случаях государство обязано установить минимальные условия, которым должны соответствовать все работодатели. Введение таких стандартов никоим образом не влияет на систему, при которой ведется бизнес; ибо конкуренция конкурирующих продавцов может быть столь же острой и столь же внимательной к обществу, если все они будут вынуждены платить своим работникам прожиточный минимум, как если бы все они были вольны снижать заработную плату до уровня голодной смерти. Основываясь на этой теории, государство установило единые меры веса, запретило использование вредных химических веществ, прекратило продажу нечистых пищевых продуктов, предоставило компенсацию за износ людей в промышленности и установило минимальные стандарты безопасности, здоровья и обслуживания.

Наконец, растет мнение о том, что в некоторых отраслях мотив получения прибыли должен быть вытеснен каким-либо другим. В железнодорожной отрасли неоднократно было показано, что денежные интересы руководства не совпадают ни с интересами владельцев, ни с интересами грузоотправителей. Давным-давно определение платы за услуги было выведено за рамки усмотрения должностных лиц. В последнее время наблюдается растущая тенденция к приведению счетов, услуг, расходов, оценок и других вопросов в соответствие со стандартами государственной службы. Когда это будет сделано, а так оно и будет, дорожные чиновники станут простыми подчиненными, ответственными перед государственным органом. Тогда получение прибыли как руководство для администрации уступит место официальному суждению о результатах с точки зрения установленных стандартов. Тогда обнаружится, что общественный контроль, формально отвергаемый, был достигнут косвенным путем. Но много раз прежде это американское мнение окольными путями приходило к целям, которые его индивидуализм не позволял ему считать вполне желательными.

На данный момент преобладает разноречивость мнений, который здесь грубо охарактеризован как требование контроля. Его сторонники почти так же наивны, как и защитники капитализма, в своей вере в неотъемлемую доброту мифической системы “свободного предпринимательства”. Они отличаются от них тем, что уделяют большее внимание добровольным объединениям и требуют, чтобы государство извне принуждало бизнес служить общему благу. До сих пор они не

сформулировали ни последовательной экономической теории, ни внятной программы достижения своих целей. Не имея четкого понимания развития промышленности и структуры экономического порядка, они довольствуются тем, что сталкиваются с конкретными проблемами, когда сталкиваются с ними. Они далеко не готовы отказаться от унаследованной веры в индивидуалистическую теорию общего блага.

IV

Изменения последних четырех десятилетий, составляющие “Промышленную революцию в Америке”, наложили свой отпечаток на экономику школ. Если и было время, когда мышление так называемых экономистов отличалось от здравого смысла той эпохи, то оно закончилось с приходом индустриализма. Какими бы разными ни были формулировки, методы и утверждения, экономическая теория в солидных и скучных трактатах отражает, как она всегда отражала, мнения мирян. Если бы существовало согласие между людьми, которые собираются на бейсбольных матчах и в вагонах для курящих, все книги по экономике читались бы одинаково. Но когда сантехник отличается от банкира, а уборщица отказывается брать свои идеи из машинки для стрижки купонов, бесполезно ожидать, что простые экономисты согласятся. Для некоторых классическая доктрина все еще служит временным убежищем от современных проблем. Другие, которые “специализируются” на трастах, тарифах и рабочей силе, слишком заняты “наукой”, чтобы формулировать общие мнения. Третьи настаивают на создании новой экономической теории, связанной с проблемой направления промышленного развития к определенным целям. Каждая из этих школ имеет достаточно большое членство, чтобы допустить разногласия в рядах.

Бунт против классической экономики начался, когда она столкнулась с современными фактами. За пределами доктрины, преподаваемой дипломированными теоретиками, появились исследования о корпорациях, международной торговле, железнодорожных тарифах, профсоюзах ремесленников и других вопросах, относящихся к новейшим фактам. Какое-то время те, кто изучал эти предметы, довольствовались поверхностным описанием результатов своих наблюдений. Но по мере накопления фактов они приводили к обобщениям, расходившимся с общепринятыми принципами старой теории конкуренции. В то же время возникновение новой истории, связанной с развитием, а не с хронологией, новая этика, признающая существование социального порядка, и новая психология, которая учит, что содержание поведения людей определяется окружающей средой, вместе сделали основы старой экономики очень ненадежными.

Какое-то время этот протест находил выражение только в критических работах. Представление об экономическом порядке как саморегулирующемся механизме, населенном людьми, которые не могли не служить обществу, обслуживая самих себя, стало очень нереальным. Сложность индустриализма затрудняла веру в то, что человек обладает достаточными знаниями, чтобы сделать лучший выбор для себя. Подозрение, что мысль часто следует за действием, мешало продолжать верить в полную рациональность человека. Идея о том, что доходы различаются из-за различий в возможностях, привела к сомнению в справедливости оценок мужчин на рынке. Неравное распределение доходов делало невозможными денежные расчеты, при которых каждый человек считался за одного и только за одного. С этими допущениями экономика 19 века отошла в прошлое “экономического человека”, “экономику Крузо” и последнюю из божественных теорий - теорию “просвещенного личного интереса”. Уже невозможно было

строить защиту существующего порядка на "гедонистической концепции человека" как "молниеносного вычислителя удовольствий и страданий, который колеблется подобно однородному шарик у желаний счастья под воздействием стимулов, которые перемещают его по площади, но оставляют инертным".

Самым непосредственным результатом этой критики стало изменение метода. Старый процесс манипулирования экономическими законами на основе предположений о природе человека, человеческих мотивах и пользе конкуренции потерял престиж. Было очевидно, что для оценки системы необходимо было располагать фактами. Соответственно, было собрано настоящее множество фактов, хороших, плохих и в основном безразличных. Этот процесс сбора информации вскоре стало очевидно, что факты о связи промышленности с благосостоянием общества были слишком разнообразны и слишком многочисленны, чтобы их можно было отдельно занести в каталог. Поскольку можно было использовать только итоговые показатели, экономическая наука стала полагаться на факты, представленные на количественном языке статистики.

Но поскольку факты не обладают таким свойством, как самоопределение, они не позволили составить мнение, которое было бы очень уместным или очень правдивым. На данный момент их использование было не чем иным, как заменой логического суеверия фактами. Факты имели ценность, потому что при правильной интерпретации они рассказывали о том, что сделала экономическая система. Но без помощи стандартов было невозможно определить, хорошо это сработало или плохо, много или мало он мог дать взамен на заботу о нем. Было очевидно, что современный индустриализм развивался без сознательного руководства. До тех пор, пока не была поставлена цель, невозможно было сказать, идет ли промышленное развитие в правильном направлении. До тех пор, пока мы не задумывались о том, каким должно быть наше общество, мы не могли оценить его достижения. Без стандартов все, что можно было сказать, это то, что система работала так же хорошо, как она работала, и что мы были так же богаты, как мы были богаты. Таким образом, проблема заключалась в том, чтобы судить о системе на основе фактов с помощью стандартов.

Таким образом, новейшая экономическая теория оказала услугу в постановке проблемы, при решении которой необходимо учитывать общественное мнение. "Преобладающий" экономический порядок - это одна из многих схем устройства промышленности, служащей целям общества. Система медленно эволюционировала из институтов прошлого, постоянно подвергается влиянию обстоятельств и в будущем способна к сознательной модификации. То, насколько хорошо он выполнил свою задачу, не может быть подтверждено абстрактным аргументом, исходящим из предположений о природе человека и космоса. Суждение о его относительной доброте или плохости требует оценки фактов с точки зрения стандартов. Эти стандарты должны быть получены из наших представлений о том, каким мы хотим видеть общество. Эти представления должны исходить из научного изучения свойств вещей и потребностей людей. Это суждение будет касаться не добра или зла, а относительных достоинств очень человеческой схемы устройства по сравнению с альтернативами.

Экономисты неохотно выносят суждения о господствующем порядке вещей. Относящиеся к делу факты слишком скудны, а стандарты слишком неточны, чтобы оправдать оценку добродетелей и пороков "капитализма". Они не доверяют хвалебным речам апологетов, потому что они не согласуются с известными фактами. Реформаторы их не убеждают, потому что они

опасаются, что те знают о своих собственных схемах так же мало, как и о текущих договоренностях. Они настаивают на том, что общее суждение должно быть прогрессивным делом. Система изменится путем постепенных модификаций; более крупная проблема будет решена за счет внимания к бесконечной череде мелких проблем. Каждая из них должна соответствовать фактам и идеалу того, каким должно быть наше общество. Они слишком мало верят в рациональность армии, чтобы поверить, что батальоны могут столкнуться с проблемами или что новый порядок может возникнуть как результат созидания. Они мало опасаются за “будущее нации”, если только проблемы можно разумно решать по мере их возникновения. Их отношение к нынешней системе - это отношение не принятия и не неприятия, а сомнения и честного исследования. Они верят не в существующий порядок и не в подручную замену, а в сознательное направление процесса перемен.

* * * * *

Это утомительное повествование полностью не достигло своей цели, если не раскрыло силу и слабость экономических взглядов в Америке. Его достоинства смело выделяются в предыдущих абзацах; его недостатки слишком бросаются в глаза, чтобы их можно было скрыть. Читатель уже проинформирован; но автор должен проинформировать себя сам. Поэтому эссе завершится четким изложением некоторых трех наиболее очевидных характеристик.

Во-первых, его наиболее поразительной характеристикой является объем. По количеству он содержит достаточно словесных и интеллектуальных боеприпасов, чтобы оправдать или разрушить дюжину противоречивых экономических порядков. Если бы упорядоченным образом мнение превратилось в суждение, а суждение созрело в обществе завтрашнего дня, оно было бы осуждено. Ибо мало что из этого имеет практические последствия, а наши способы самовыражения очень расточительны. Но это также дает безвредный выход опасным эмоциям, вызванным износом повседневной работы в скучной вселенной. И если это правда, что мы все являемся обезьянами по происхождению, то это, безусловно, самая важная функция, которую он выполняет.

Во-вторых, он не слишком хорошо основан на информации и принципах. Обычный смертный занят своими собственными делами. Ему не хватает времени, терпения и оборудования, необходимых для того, чтобы докопаться до фактов о материальном благополучии нации. Самым небрежным образом он принимает решение, используя для этой цели несколько поверхностных фактов, ряд предрассудков и немного опыта. Он имеет слабое представление о том, где мы находимся в ходе общественного развития, о силах, которые привели нас сюда, или о том, куда мы должны идти. Поскольку мнения групп и нации представляют собой совокупность индивидуальных мнений, идеи тех, кто имеет интеллектуальное право высказываться, не являются большей частью совокупности.

В-третьих, несмотря на свою грубость и разнообразие, он обладает элементами реальной ценности. Сам его объем создает, по крайней мере, статистическую вероятность того, что часть из него высокого качества. Растрата большей части этого дает остальному реальный шанс на самовыражение в социальной политике. Общие черты индустриализма заключаются в том, что они дают людям нечто вроде общего опыта, из которого вытекает более или менее здоровое понимание проблем и идеалов. Это определит более широкие аспекты будущей социальной политики. Особое мнение, которое находит выражение в подробной формулировке программ, должно быть предоставлено экспертам. Огромные массы людей должны усвоить, что эти

проблемы носят технический характер, и должны доверять суждению тех, кто знает. Несмотря на остановку развития и путанные заявления, приведенные выше страницы указывают на то, что экономическое сообщество в Америке медленно приходит к пониманию факторов, на которых действительно зиждется “хорошая жизнь для всех”.

Но хватит. Мнение, будучи экономическим, не перестает быть мнением, и эссе об этом - всего лишь еще одно мнение.

Уолтон Х. Гамильтон

РАДИКАЛИЗМ

Первым препятствием для оценки радикализма в Америке является трудность точного определения того, что такое американский радикализм. По мнению его врагов, радикал - это человек, с мнением которого не нужно считаться и чьи права не нужно уважать. Как народ, мы не хотим понимать его или иметь дело с тем, что он представляет, а только для того, чтобы убрать его с глаз долой. Мы депортируем его и сажаем в тюрьму. Если он пишет книгу, мы не допускаем ее в школы и библиотеки. Если он публикует статью, мы исключаем ее из рассылки. Если он произносит речь, мы выгоняем его из зала и прогоняем подальше от угла улицы. Если всеми правдами и неправдами он увеличит свое присутствие до значительного числа, мы изгоним его представителей из законодательных палат, разгоним его парады и разгоним его забастовки с помощью хорошо вооруженных солдат.

Поскольку вокруг этого слова возникают такие ассоциации, оно, естественно, стало не столько определением, сколько оружием. Статистики Федеральной торговой комиссии публикуют определенные цифры, касающиеся бизнеса упаковочных цехов - сенатор громко называет этих преданных своему делу государственных служащих “радикалами”, и им разрешается уйти в отставку. Лидер лейбористов, следуя прецеденту федерального закона, установленному более полувека назад, поддерживает восьмичасовой рабочий день, но из-за того, что у него дурной вкус поступать так в связи со сталелитейной промышленностью, он становится “радикалом” и подвергается резкой критике в прессе. Если бы кто—нибудь спросил типичного члена Американского легиона, как бы он описал радикала — помимо того факта, что радикал - это человек, подлежащий подавлению, - он, вероятно, ответил бы, что радикал - это (а) прогерманец, (б) русский или другой иностранец, (в) человек, который отправляет бомбы по почте, (г) верующий в свободную любовь, (д) автор свободных стихов, (е) художник кубистических картин, (ж) член I.W.W., (з) социалист, (и) большевик, (к) верующий в свободу слова. член профсоюзов и противник открытого магазина, и (л) любой, на кого комитет, состоящий из судьи Гэри, Арчиальда Стивенсона и Брэндера Мэтьюза, отнесся бы с неодобрением.

Едва ли можно получить больше информации от самих радикалов. Любой, кто испытывает естественное отвращение к придиричивой толпе подавителей, скорее всего, причислит себя к свободным духам, которым они противостоят. Называть себя радикалом в таких обстоятельствах - необходимое дополнение к самоуважению. Содержание радикализма имеет второстепенное значение. Существует авантюрная тенденция поддерживать все, что запрещено, и поэтому

включать в число своих утверждений самые противоречивые системы, такие как ницшеанство и коммунизм, христианство мистического толка и бунтарство. И когда эти бунтари действительно начинают думать, неразбериха усиливается. Каждый вкладывает весь свой пыл в какое-то исключительное вероучение, что заставляет его презирать других серьезных людей, которые случайно расходятся во мнениях по сложным техническим вопросам. Среди экономических радикалов такие термины, как “контрреволюционный” и “буржуазный”, употребляются самым неприятным образом. Если, например, вы случайно поверите, что социализм может быть достигнут путем голосования, а не через всеобщую забастовку, многие радикалы сочтут вас более опасным, чем сам царь; несомненно, что, когда придет время, вы окажетесь по ту сторону баррикад. Вероучения имеют бесчисленные подразделения, и от точного принятия вероучения зависит ваше вечное спасение. Кальвинисты, уэсли, лютеране и остальные в свои самые трудные дни не могли соперничать с логическим расколом, который в последнее время произошел среди сектантов-экономических диссидентов, и ни одна религиозная ссора никогда не превосходила по ожесточенности догматическое диссидентство, с которым многочисленные школы авторитарного бунта восстают против власти.

В Нью-Йорке издается блестящий журнал, который гордится тем, что держится немного левее крайних левых радикалов, где бы они ни находились в данный момент. Его редактор - поэт, и он красноречиво пишет о пролетариате и рабочих. Не так давно я говорил об этом редакторе с настоящим лидером лейбористов — человеком радикальным, который также ежедневно принимает участие в борьбе рабочих. “Да, - сказал он, - он, безусловно, умеет писать. Он один из лучших ныне живущих писателей”. И он задумчиво продолжал: “Если бы в рабочем движении только был такой писатель!”

В Нью-Йорке издается еще один блестящий журнал, который прилагает все усилия, чтобы донести до читателя, что он радикален. В четких колонках элегантного шрифта, пуританских в своем презрении к страстям и сенсациям, она еженедельно высмеивает сентиментального либерала за незнание “фундаментальной экономики”. Не так давно было сделано поразительное открытие, что социалисты выступают за изъятие природных ресурсов из частной собственности. И его “фундаментальная экономика”, когда бы она ни появлялась на языке, достаточно простом для понимания рядового читателя, оказывается не более опасной, чем эта респектабельная и древняя ересь - единый налог.

В настоящее время широко используется другой метод определения — метод, который кажется простым из-за своей механической простоты. Люди расположены в ряд слева направо, в соответствии с их отношением к существующему порядку. На крайнем правом - реакционеры, которые хотят восстановить отброшенное. Рядом с ними консерваторы, которые хотят сохранить большую часть того, что существует. Рядом с ними либералы, которые готовы исследовать новые идеи, но которые не горят желанием или догматичны в отношении перемен. А крайне левыми являются радикалы, которые хотят изменить почти все ради чего-то совершенно нового. Такая схема представляет собой сбивающее с толку неправильное использование слов, основанное на неправильном понимании социальных сил. Общество - это не машина на трассе, по которой оно может двигаться в любом направлении или на которой оно может стоять на месте. Общество - это сложный организм со многими характеристиками. Его изменение непрерывное, хотя ни в коем случае не постоянное. Он проходит через длительные периоды покоя и сравнительно короткие периоды быстрой мутации. Оно может собраться в тесный порядок или снова рассеяться в виде туманности. В его развитии многое циклично; в нем есть

еще неоткрытые ритмы и множество причуд. Радикал и реакционер могут быть согласны в главном; они оба могут желать внезапных перемен и более тесной организации. Консерватор может быть либералом, потому что он хочет сохранить порядок, в котором могут существовать либеральные добродетели. Или же либерал может быть настолько скован неприятными узами социальной ткани, что он становится радикалом в своей борьбе за немедленное освобождение. Термины относятся к разным классам и не должны располагаться в параллельных столбцах.

Словарное определение поучительно. “Радикальный — обращение к корню или истокам; прикосновение или действие к тому, что существенно или фундаментально; основательный.... *Радикальная реформа*, основательная реформа.... Следовательно, радикальный реформатор равен радикалу” (Новый словарь английского языка). В этом смысле радикализм - историческая американская традиция. Восстание колоний против Англии и образование Республики были, действительно, далеки от полного разрыва с прошлым, каким их считает школьник, но то, что живет в умах американского народа, - это, тем не менее, не серия контрмер, которые такие люди, как Гамильтон и Мэдисон, прописали в Конституции, а скорее смелые утверждения Джефферсона, которые имеют реальное родство с радикальным духом Французской революции. Разговоры о “неотъемлемых правах”, таких как жизнь, свобода и стремление к счастью, были подлинно радикальными разговорами; они искали основы человеческих взаимоотношений, провозглашали их противоположными авторитетам и стремились основать на них систему правления.

Эта концепция настолько сильно захватила воображение американцев, что во многом объясняет их почти инстинктивную враждебность к новым видам политических перемен. Корни политики раскрыты, изменение фактически произведено раз и навсегда — так они рассуждают. Признать, что любое новое фундаментальное изменение необходимо, значит проявить нелояльность к историческому освобождению. Поскольку консервативный американец считает себя законченным демократом, поскольку для него “новый порядок” был достигнут в 1776 году, он нетерпим к современным радикалам. Предложения о новой революции задевают его гордость. В этом смысле Джефферсон был не столько стимулом для будущих поколений, сколько препятствием. Если бы его прекрасное неистовство по поводу прав было выражено менее красноречиво, если бы оно не заслоняло облаком славы истинную природу основы нашего правительства — в высшей степени практичного компромисса, который воплощал в себе несколько умеренных достижений и множество колебаний, — сегодня у нас было бы другое отношение к переменам. Нам не следует предполагать, что все желаемые фундаментальные изменения социальной и политической структуры были завершены почти полтора столетия назад.

Таким образом, величайшее историческое выражение американского радикализма стало алтарем консерваторов. Неграмотному человеку может показаться странным, что Верховный суд, состоящий из пожилых радикалов, не позволяет Конгрессу запретить детский труд из-за их лояльности к ограничениям федерального правительства 18 века, предположительно в интересах свободы и человечности. Рабочим, голосовавшим за восьмичасовой рабочий день, формулировки Джефферсона не казались враждебными — они изо всех сил стремились к счастью способом, который он, должно быть, одобрял. И все же именно священное “право” контракта лишило их, как избирателей, права принимать законодательные решения в течение более короткого рабочего дня. Рабочие, использующие свою коллективную экономическую мощь для обретения производственной свободы, наталкиваются на шквал судебных запретов,

основанных главным образом на том же самом праве на контракт. Чтобы предотвратить дальнейшее освобождение человеческого тела и духа, судьям, чиновникам и промышленным магнатам остается только ссылаться на фразы о свободе, брошенные против древнего деспотизма. Им достаточно указать на то, что свобода, абстрактно определенная более ста лет назад, запрещает практическую свободу сегодня. Застывший радикализм прошлого охлаждает и разрушает новые корни американской жизни.

Некоторое понимание такого положения дел лежит в основе преобладающей тенденции полагать, что весь новый радикализм имеет иностранное происхождение. Приписывать подрывные доктрины иностранцам - это, действительно, часть лучшей националистической традиции. Это привычка в каждой стране. Но в Соединенных Штатах эта привычка, возможно, укоренилась глубже, чем где-либо еще. Американцы по определению свободны и равны; если кто-то говорит или действует так, как если бы он не был свободным и равным, он, должно быть, родился где-то в другом месте. Американское правительство, будучи не дефектным продуктом человеческого развития, а новым творением, возникшим в совершенстве из невыразимых умов Отцов, является неприступным; если кто-то нападает на него, он не может этого знать и должен пройти курсы английского языка и гражданского права (американизацию), пока не осознает его совершенство. Государственная измена в этой стране - это не просто государственная измена правителю, классу или системе, как в других странах; это акт святотатства со стороны непосвященного по отношению к религиозной тайне.

Конечно, есть и были американцы, в чьем радикализме меньше корки и больше мяса. В конце концов, дух Джефферсона все еще жив, чтобы опровергнуть интерпретацию его слов. И импортированная доктрина на самом деле имела меньше общего с большинством радикальных движений в Америке, чем сама американская традиция. От концепции политической свободы легко перейти к концепции экономической свободы, и этот шаг был сделан здесь так же легко, как и в Европе. В стране, которая так долго предлагала экстраординарные возможности отдельному предпринимателю, вполне естественно, что экономическая свобода должна была рассматриваться как средство защиты его предприятия; и на самом деле наше экономическое законодательство на протяжении многих лет было усеяно победами мелких предпринимателей и фермеров над интересами, которые уже стали достаточно широкими, чтобы казаться им угнетающими. Регулирование железных дорог, преимущество популярных финансовых доктрин и антитрестовское законодательство - все это было инициировано интерпретацией экономической демократии, естественным образом возникшей в энергичном классе мелких предпринимателей. С медленным ослаблением этого класса в результате его распада, с одной стороны, на капитанов и лейтенантов крупных промышленных компаний, а с другой - на рядовых, получающих постоянную зарплату, возникает соответствующая тенденция к изменению преобладающей концепции экономической демократии. Радикализм рабочих в Соединенных Штатах часто был не менее широким или напористым, чем радикализм рабочих где бы то ни было — свидетель I.W.W. Даже насилие в рабочей борьбе практиковалось в основном стопроцентными. Американцы — сталелитейщики в Хоумстеде в 1892 году и шахтеры Западной Вирджинии в округе Минго в 1921 году были выходцами из старых американских семей. И в тот момент, когда доминирующая группа в американской мысли и деятельности будет состоять из тех, кто рассчитывает жить своим повседневным трудом, а не из тех, кто рассчитывает накапливать собственность, мы, вероятно, увидим рост экономического радикализма, более похожего на тот, который существует в Европе, и который, благодаря своему разрешению в нашей традиции, будет вдвое более воинственным и убежденным.

Ибо, в конце концов, экономический радикализм возникает не из простого глупого стремления к большому количеству материальных благ и не из интеллектуальной приверженности определенной формуле промышленной организации. Оно возникает из желания быть свободным, обрести достоинство и независимость. Бедность тягостна не столько из-за своих физических лишений, сколько из-за своего духовного рабства. Быть бедным потому, что ты сам выбрал быть бедным, менее раздражающе, чем получать умеренную зарплату, в то время как человек, который фиксирует твою зарплату, разъезжает на "роллс-ройсе". Наиболее скромными аспектами рабочего движения являются попытки рабочих получить какой-либо голос при определении условий, в которых они должны работать, — другими словами, распространить демократию на промышленность. И когда рабочий осознает тот факт, что промышленной политикой управляет сравнительно небольшой класс собственников, и что видимым результатом этой политики, по-видимому, является большой класс семей с неполной занятостью, недоеданием и нехваткой жилья, с одной стороны, и небольшой класс семей с достатком — с другой, он чувствует, что испытывает унижение. Вы можете потребовать от него доказать, что любая другая система работала бы лучше. Вы можете возразить, что если бы все богатство богатых было распределено поровну, он получил бы лишь мелочь. Такие рассуждения мало повлияют на него. Если каждый должен быть несчастен, он, по крайней мере, хочет делиться и использовать любую имеющуюся силу, чтобы изменить это несчастье. Короли утверждали, что народ не может править лучше, чем они, но это не помешало народам требовать представительного правления. Американская традиция, несомненно, является таким же подрывным мотивом в промышленности, каким она была в государстве. Техническая проблема лучшей организации промышленности, какой бы важной она ни была, подчинена этому призыву личности. По сути, такого рода радикализм проистекает из инстинкта рабочего установить взрослые отношения с индустриальным миром.

Влияние войны на промышленность и отражение ее социальных результатов за рубежом на некоторое время стимулировали это скрытое чувство у американских рабочих. Впервые за десятилетия конкуренция безработных и иммигрантов была практически устранена, и наемный работник начал чувствовать себя в достаточной безопасности, чтобы заявить о себе как о личности. Он был необходим обществу немедленно. Политика правительства заключалась в признании этого факта и предотвращении неоправданно быстрого повышения заработной платы и усиления влияния организованной рабочей силы путем компромисса с ней по некоторым простым вопросам, таким как коллективные переговоры и восьмичасовой рабочий день. Но у рядовых возникли более широкие устремления, и когда Русская революция разнесла слово об освобождении по всему миру, они были готовы прислушаться. Несмотря на сокрушительную силу всей правящей пропагандистской машины, которая была так успешна в возбуждении ненависти к Германии, бесчисленное множество американских рабочих почувствовали приближение нового порядка в результате успеха большевиков. Вторичный импульс того же рода, еще более сильно ощущаемый в некоторых кругах, возник из Ноттингемской программы Британской лейбористской партии. Но дела продвигались медленно, надежды откладывались, и в конце концов новый дух во многом утратил свою свежесть и силу. Сама острота и масштабность споров о том, что было сделано или не было сделано в России, утомили большинство людей от всего этого дела. Многие ожидаемые революции в других странах, которые столько раз пропускали огонь мимо ушей, вызвали разочарование. Доктринеры и даже религиозные приверженцы российских коммунистов

начали создавать проблемы для каждой радикальной организации в стране своими ссорами и расколами. Наконец, когда война закончилась, само американское рабочее движение начало проявлять слабость перед лицом возобновившихся нападков со стороны его противников, что показало, насколько иллюзорными были многие из его недавних завоеваний и насколько серьезно был подорван его моральный дух.

Экономический радикализм никогда не выглядел — на первый взгляд — слабее, чем сегодня в Соединенных Штатах. Основываясь на заявлениях г-на Гомперса и некоторых других лидеров профсоюзов, мы, вероятно, предположим, что организованные рабочие не будут иметь к этому никакого отношения. Сами так называемые радикалы были ослаблены разногласиями и рассеяны преследованиями. И все же краткий обзор официальных групп, которые сейчас исповедуют радикальные теории, покажет, почему будущее американского радикализма не следует оценивать на основании свидетельств их нынешнего низкого положения.

Социалистическая партия, даже в большей степени, чем Социалистические партии других стран, была поставлена войной в трудное положение. Поскольку его корни еще не прочно пустили корни в почву, за исключением нескольких населенных пунктов и среди различных национальных элементов, он столкнулся с необходимостью, в соответствии со своими принципами и традициями, осудить вступление Соединенных Штатов в военные действия. Но это решение не могло заручиться эффективной поддержкой рабочих, организованных в экономической сфере, которые под другим руководством заняли иную позицию. Партия также не была достаточно сильна среди других слоев населения, чтобы заставить уважать ее решение. Таким образом, единственным непосредственным результатом этого жеста было размещение этого безоружного небольшого отряда в максимально уязвимом положении, где он привлекал на себя огонь всех тех, кто нервно боялся, что народ не санкционирует войну. Социализм не оценивался на основе его экономических принципов, но был осужден как нелояльный и прогерманский; и в результате партия стала еще более сектантской и непредставительной, чем когда-либо прежде. Она заняла позицию, при которой не могла ожидать новобранцев, кроме как от моральных героев, а ни одна нация не питает большого числа таких. Такие эпизоды становятся хорошей легендой, но они не приводят к быстрым победам. Даже те, кто позже пришел к убеждению, что социалисты были правы насчет войны, скорее всего, выразят свою веру в какой-то другой форме, кроме вступления в партию.

В таком ослабленном состоянии в Социалистической партии после войны возникли внутренние расколы. Было сказано много горьких слов по поводу того, составляли или не составляли "левые" большинство в партии, были ли они более ортодоксальными, чем те, кто контролировал партийный аппарат, и была ли мудра их ортодоксальность, если они были более ортодоксальными. Во всяком случае, они откололись и сформировали две собственные новые партии, и этот факт представляет главный интерес для того, кто больше озабочен более масштабными проблемами американского радикализма, чем деталями социалистической политики. Коммунистическая партия и Коммунистическая рабочая партия, какой бы законной ни была их вынашивание в недрах социализма, безусловно, находили причину своего существования главным образом в логике, которая зародилась в Москве и Берлине, а не в ситуации в Америке. Сразу же отобранные для преследования правительственными чиновниками, они ушли в подполье, несомненно, преследуемые бандой шпионов, по меньшей мере такой же многочисленной, как они сами. Из этих подпольных регионов дошли слухи о четвертой партии — Объединенной коммунистической, которая поглотила большую часть

лейбористов-коммунистов и некоторых коммунистов. По последним данным, коммунисты и Объединенные коммунисты пытались доказать контрреволюционность друг друга, ссылаясь на последние документы международного революционного штаба.

Для постороннего человека крайне опасно говорить о различиях в доктринах между этими группами. Однако, вероятно, справедливо будет сказать, что коммунистические партии в основном отличаются полным отсутствием интереса к чему-либо, кроме полной революции, потому что это единственный вид, который они считают возможным. Они отвергают как “компромиссы” частичные завоевания всех видов; постепенный прогресс эволюционными методами скорее оскорбляет их, чем что-либо иное. Их взоры всегда обращены к какой-то будущей революционной ситуации; для этого готовятся их организация и их теории. В таком случае обоснованность их позиции будет проверена событием. Если, как полагают более умеренные социалисты, экономические изменения могут наступать постепенно в процессе роста и меньших потрясений, коммунисты, вероятно, останутся почти бесполезным и крошечным меньшинством даже в рабочем движении. Если, как верят коммунисты, нынешнему порядку в нормальном ходе его развития суждено испытать внезапный крах, подобный тому, который произошел в России ближе к концу войны, они станут истинными пророками, и их образ мыслей и действий, по-видимому, позволит им взять на себя руководство.

Фермерско-лейбористская партия - это недавний рост, гораздо менее доктринерский, чем социалистические или коммунистические группы. В нем нет ни пророка, ни Библии, но он основан скорее на принципе объединения определенных категорий людей для политических действий, веры в то, что по мере того, как они станут организованными, они разработают свою собственную программу применительно к ситуации, и что эта программа будет развиваться с течением времени. Категории, к которым он апеллирует, - это главным образом промышленные рабочие и мелкие фермеры, которые имеют в целом общие экономические интересы в противоположность крупным владельцам земли и капитала. Он надеется, что другие слои населения, понимая, что их основные интересы во многом совпадают с интересами юнионистов и фермеров, объединят с ними усилия, чтобы добиться большинства. В качестве иллюстрации действия такой тактики фермеры-лейбористы указывают на успех Независимой лейбористской партии Великобритании, во-первых, в содействии созданию Британской лейбористской партии, а во-вторых, в разработке для этой партии все более последовательной радикальной программы.

Однако во всех этих случаях реальному политическому механизму выборов уделяется не так уж много доверия. Широко распространен скептицизм по поводу способности добиться промышленных изменений путем голосования из-за опыта борьбы с политической коррупцией, невыполненных предвыборных обещаний, неблагоприятных судебных решений и политической нестабильности в целом. Эти партии создаются как с целью распространения идей и создания центров активности, так и для мобилизации голосов. Все радикальные партии делают большой упор на промышленную мощь организованного рабочего движения. Это не значит, что они не признают важность государства в промышленных вопросах. Все согласны с тем, что контроль над политическим механизмом в долгосрочной перспективе будет необходим, хотя бы для того, чтобы помешать ему сдерживать продвижение народа через суды и полицию. Но они также согласны с тем, что контроль над государством не осуществляется и не может быть достигнут только с помощью политического механизма. Нынешнее влияние промышленных собственников на политику обусловлено, по их мнению, главным образом экономической

мощью, и рабочие, следовательно, не должны пренебрегать развитием своей собственной экономической организации. Коммунисты совершенно не надеются добиться результатов с помощью нынешнего избирательного механизма; социалисты и лейбористы-фермеры считают возможным получить большинство на выборах, которые затем могут осуществить свою волю, если рабочие будут достаточно хорошо организованы для проведения промышленных акций.

Внешне самое успешное из радикальных движений является наименее доктринерским из всех. Нет необходимости повторять историю и достижения Беспартийной лиги — попытки со стороны организованных фермеров использовать государственную машину для обретения экономической независимости от банковских, мукомольных и упаковочных интересов. Другие группы фермеров стремились к аналогичному результату посредством сотрудничества, но с переменным успехом.

В самом промышленном рабочем движении было множество радикальных меньшинств. Наиболее бескомпромиссными из них, а также наиболее типично американскими, были промышленные рабочие мира, которые стремились создать сознательно революционную организацию, способную соперничать с профсоюзами, составляющими Американскую федерацию труда. Этот спад объясняется не столько подавлением, сколько их предыдущей неспособностью заручиться постоянной поддержкой самих промышленных рабочих. Подобно коммунистам, I.W.W. основывали свой успех на революционной ситуации, и, не имея этой ситуации, они не могли построить рабочее движение на абстрактной идее. В течение длительного периода времени недостаточно людей движимы философией спасения, чтобы обеспечить устойчивость такой организации в повседневной борьбе с работодателями. Другие подобные попытки, такие как W.I.I.U. и более недавний One Big Union, столкнулись с аналогичными трудностями. Они быстро растут во время кризисов, но терпят неудачу под давлением постоянной работы.

Неспособность американских радикалов создать сильное движение частично объясняется, конечно, естественными трудностями социальной и экономической ситуации, но это также связано с ментальными особенностями, которые обычно сопровождают отдаленность от реальности. Это проиллюстрировано в истории I.W.W., если мы согласимся с острым анализом Уильяма З. Фостера. Регулярное профсоюзное движение, медленно развивающееся к цели, но наполовину осознанное, преодолевающее практические препятствия болезненно и неуклюже, как обычно преодолеваются такие препятствия, было слишком тормозящим для этих нетерпеливых радикалов. Они ушли и создали конкурирующие перфекционистские профсоюзы, основанные в бескомпромиссном революционном порыве. Эти организации часто были не в состоянии помочь рядовым сотрудникам в их практических трудностях и, следовательно, не могли вытеснить историческое рабочее движение. Но они действительно вытянули из этого движения много его самых искренних и пылких духов, тем самым лишив его той закваски, которая была необходима для его роста. I.W.W., со своей стороны, не сумев добиться сколько-нибудь серьезного контроля над реальностью, скатились к теоретическим спорам, пережили разделение своей социальной личности и в конце концов — за исключением крайнего Запада — стали немногим больше, чем экономическими отшельниками. Как говорит Фостер, “I.W.W. были категорически против результатов”.

Слишком большая часть американского радикализма была направлена на легкое эмоциональное удовлетворение, которое заменяет трудный процесс взаимодействия с

реальностью. Мы страдаем от ограничения личности, мы взываем к угнетателям, мы изобретаем лозунги и доктрины, мы наполняем наши умы мечтами наяву, сложными механизмами какой-то воображаемой революции. В то же время мы отказываемся от фактического следующего шага. Вот профсоюзное движение, с трудом создававшееся более века, великая армия со многими подразделениями, которые каждый день действуют в промышленной борьбе. Сколько радикалов знают это в каких-либо подробностях? Многие ли обратили хоть малейшее внимание на технику ее организации или посвятили какое-либо время решению более мелких проблем, которые необходимо решить, прежде чем она сможет добиться той или иной победы? Вот наши великие отрасли промышленности, наши сложные системы обмена. Сколько радикалов действительно владеют техникой даже самой маленькой части из них? Радикалы хотят реорганизовать промышленную систему; знают ли они, как организовать фабрику?

Если радикализм возникает из инстинкта экономической зрелости, то он может найти свое место в мире, только изучив свои функции, только выражая свои эмоции в терминах реальности, с которой ему приходится иметь дело. Следовало ожидать периода юности, но продлевать характеристики этого периода - значит призывать к тщетности. И на самом деле американский радикализм сейчас демонстрирует тенденцию устанавливать больше контактов с реальностью. Вместо того, чтобы выйти из устоявшихся профсоюзов, чтобы основать новое и безупречное рабочее движение, радикалы начинают визуализировать и выполнять трудную, но возможную задачу улучшения организации существующих профсоюзов и заряжения их новой энергией и идеями. Профсоюзы, основанные радикалами, такие как Объединенная организация работников швейной промышленности Америки, направляют свои усилия не на разговоры о будущей революции, а на более прочную организацию рабочих в настоящем, на установление конституционного правления в промышленности, с помощью которого могут быть достигнуты и гарантированы ощутимые успехи, и на повышение производительности самой промышленности. Инженеры, поощряемые профсоюзными организациями, а в некоторых случаях и фактически оплачиваемые ими, исследуют проблему экономических потерь и демонстрируют строчку за строчкой и предписание за предписанием, как хаос конкуренции, промышленная автократия и стремление к получению прибыли отражаются в часах простоя, низкой заработной плате, высоких ценах и некачественной продукции. Кооперативное движение постепенно создает новый и более эффективный механизм распределения, в то время как кооперативные банки наращивают кредитные резервы для тех, кто желает поэкспериментировать с предприятиями, проводимыми не для получения прибыли собственника, а для других целей. Такое функциональное использование рабочего движения более опасно для существующего беспорядка, чем тома фраз или целый батальон "естественных прав".

Экстремисты называют подобную деятельность компромиссной. Они являются компромиссными в том смысле, что любая гипотеза должна быть изменена, чтобы соответствовать фактам, но они не предполагают компромисса с научной истиной. Алхимик пошел на компромисс, когда отказался от поисков философского камня и начал учиться у стихий. Он отказался от бесплодной догмы ради плодотворной науки. По мере того, как радикалы научатся управлять своими эмоциями, по мере того, как они будут изобретать способы функционировать в мире, в котором мы живем, они сделают возможным не только единство между собой, но и сближение с другими американцами. Человек, который верит, что нет реальной возможности перемен, кроме полной революции, может объединиться с человеком, у которого вообще нет теории по этому вопросу, при условии, что они не обсуждают

абстрактную доктрину, а концентрируются на проблеме того, как добиться определенного эффекта в определенное время. Самые радикальные теории, если они выражены в терминах конкретных ситуаций, будут приняты теми, кто опасается обобщений или не понимает их. Теории будут проверены фактами. Осуществление такого процесса может быть заблокировано теми, кто догматически выступает против любого эксперимента, но в этом случае силы разума и природы будут настолько явно на стороне радикала, что не может быть никаких сомнений в его конечной плодотворности.

Джордж Соул

МАЛЕНЬКИЙ ГОРОДОК

Америка - нация сельских жителей, как однажды заметил Джордж Бернард Шоу в момент своего исключительного презрения к тому, что, по его мнению, было нашей грубой и наивной восприимчивостью к моде и настроениям, не говоря уже о манерах профессиональных патриотов в тот беспокойный период, когда Вильгельм готовился стать дровосеком Америкенгена. Теперь Шоу - оракул Запада, и когда он говорит, по эту сторону Адельфи-Террас нет ни одной послушной собаки, достаточно самонадеянной, чтобы залаять. По крайней мере, этого не должно быть; и в любом случае ни история, ни Герберт Уэллс не фиксируют какого-либо энергичного протеста Америки против обвинения Шавиана. Этому было позволено оставаться неуязвимым и неопровержимым. Конечно, в глубине души мы знаем, что Шоу прав. Возможно, на данный момент мы обозначаем *урбь* в *urbe*, но между нами и главным читателем "Мэрион Стар" (Огайо), в *urbe* это излишняя деталь.

Покажите мне коренного жителя Нью-Йорка, и я покажу вам нечто столь же вымершее, как бармен. Коренных жителей Нью-Йорка нет. Все жители Нью-Йорка родом из маленьких городков и ферм. Спросите папу, спросите воскресного редактора, спросите переписчика — они знают. И то, что верно для Нью-Йорка, верно и для Бостона и Чикаго. Большие люди, заметные мужчины больших городов родом из маленьких городков, Спрингфилдов, Джексонов, Джеймстаунов, Джорджтаунов, Чарльстаунов — да, и из Елизавет и Шарлотт - нации.

В сложившихся обстоятельствах любое возвращение на сушу в этой стране кажется бесполезным, если не смешным. Страна по-прежнему уверена в себе и способна позаботиться о себе сама. Оно не нуждается в помощи городских парней и ни о какой не просит. Фрейдисты ни на минуту не обманываются по поводу основы предприятия с возвратом к фермерству. Они понимают, что это такое — сентиментальный комплекс, вызванный нервной истерией города. Но даже удивительно небольшая часть населения, которая не придерживается фрейдизма, отказывается поддаваться влиянию криков сентименталистов. Потому что он остро, хотя и неприятно, осознает подлинно сельское состояние своей культуры и цивилизации.

Цивилизация Америки - это преимущественно цивилизация маленького городка. Те немногие либертарианцы и космополиты, которые продолжают заявлять, что видят развитие более широкой культуры на атлантическом побережье, возмущены этим фактом, хотя они едва ли это отрицают. Они слишком умны, у них слишком широкое видение, чтобы отрицать это. Они не могут наблюдать за огромным ростом, мощью и влиянием тайных обществ, торговых палат,

клубов бустеров, автомобилей Ford, движущихся фильмов, говорящих машин, евангелистов, нервно-тонизирующих средств, Saturday Evening Post, обществ Браунинга, цирков, церковных собраний, парадов и театрализованных представлений всех видов и описаний, семейных встреч, пикников пионеров, окружных ярмарок, съездов пожарных, не признавая этого втайне. И они знают, если они получили истинное представление об Америке, что нет ни одной части этого огромного политического объединения, которая не обладала бы — и даже часто хвасталась бы — этими безошибочно провинциальными знаками и символикой.

Я не имею в виду, что подобные аспекты делают Америку непригодным местом для жизни. Напротив, само обладание ими в Америке придает цвет и суровую живописность, если не сказать немного пафоса, человеку, обладающему достаточным воображением, чтобы их найти. Мистер Драйзер нашел их и пролил слезу торжества. “Милая, грубая Америка” для него — сладкая и меланхоличная реальность. Это реальность, которая была выражена молодыми романистами с большой долей пророчества — и некоторой выгодой —. Реализм маленького городка, жаждущий мести, а не радости, был лейтмотивом их замечательного успеха в прошлом году. Однако они слишком сильно повернули маятник культурной жизни в одном направлении. По большей части они не смогли оценить сходство человеческой натуры в городе и в деревне, в результате чего их триумф эфемерен. Реакция уже началась. В настоящее время в рабочих кабинетах романистов предпринимаются попытки увековечить Риверсайд Драйв, Пятую авеню, Бикон-стрит, Мичиган-бульвар и Пенсильвания-авеню.

Пока они не проникнут в душу этих проспектов, пока они не поймут, что эти проспекты духовно не отличаются от Мейн-стрит, хотя они могут быть одеты в одеяния столичного вкуса и фантазии, они не смогут должным образом символизировать Америку. Они будут писать только ради денег и спорного места в литературных приложениях.

Ибо душа этих проспектов — это душа, в которой я заменен на *и*. Это душа страны. Это домашний, здоровый провинциализм, олицетворяющий человеческую природу, какую можно встретить по всей территории Соединенных Штатов. Мы можем скопиться в крупном населенном пункте, принять на себя поверхностность космополитической культуры и искренне считать себя дьявольщинами. Требуется вся сила запрещающего закона, чтобы заставить нас осознать, что против нас больше грешат, чем сами мы грешим. Тогда мы остро сталкиваемся с фактом, что стадо ужасающе неэффективно и невнятно говорит в конфликте с изолированным индивидуализмом.

Движение за сухой закон зародилось в фермерских общинах и деревнях, где вред алкоголя смехотворно незначителен. Ни один уважающий себя или соседей сельский житель не мог позволить себе прослыть пьющим человеком. На карту были поставлены его бизнес или средства к существованию. Тогда почему он поощрял сухой закон? Почему он стремился возложить это на городского жителя, который, если и пил, явно не терял уважения ни к себе, ни к соседям? Главным образом из-за своей изолированности. Потому что он был географически лишен тех радостей, которые разделял городской житель. Я вполне могу представить фермера в долгие потные часы сбора урожая илилавочника из маленького городка, вынужденного 365 дней в году заискивать перед своими друзьями и соседями, решительно заявляющего, что то, чего не может иметь он, не будет иметь городской житель. Вынашивание всевозможных

запретительных заговоров можно объяснить именно такой очевидной несправедливостью жизни. Доктор Фрейд правильно объяснил бы это под названием комплекса неполноценности.

Горожане восхищались замечательной организацией реформаторов. Однако это не столько организация, сколько национальное чувство, воспринимаемое и выражаемое одновременно. Города могут вести самую эффективную пропаганду против такого чувства, они могут собрать наибольшее количество избирателей, чтобы выступить против него. Все напрасно. Сельские районы составляют большинство, а города остаются безошибочно высокими и сухими.

Так обстоит дело с большинством законов и движений Америки. Сельским жителям стоит только захотеть, и со временем они станут установленными фактами. Идея просто должна укорениться в сознании какого-нибудь социально угнетенного индивида. Он обсуждает ее со своими друзьями на собрании ложи или во время неформального часа на заседании торгового совета. Он получает поддержку. Он делится этой идеей со своей женой, которая относит ее в свой литературный клуб, где она получает дальнейшее распространение. Это распространяется на клубные комнаты добровольных пожарных, на пикники в грейндж и церковные собрания. Это обсуждается с кафедрами. В конце концов, он достигает ушей деревенских и окружных политиков, которые, впечатленные его обращением к моральной силе общества, решают после нескольких часов работы в задней комнате почтового отделения или национального банка заинтересовать конгрессмена или члена ассамблеи от своего округа достоинствами этого закона как возможного в своде законов. Конгрессмен и член ассамблеи, остро осознающие, с какой стороны намазан маслом их хлеб, соглашаются сделать “все, что в их силах”, чтобы провести эту меру в жизнь. При содействии других конгрессменов и членов ассамблеи, большинство из которых из сельских округов, их задачи, несомненно, несложны.

До появления автомобиля и фильма на горизонте страны маленький городок в основном характеризовался отчетливо сельским и часто меланхолическим спокойствием. Легкая атмосфера депрессии нависла над ним, разрушая амбициозный дух молодежи и все же, по самой причине своего существования, побуждая этот дух искать приключений и средств к существованию в более широких областях. Развлечений было мало, и они были далеко друг от друга. Это был день квилтинговой вечеринки, воскресного променада по кладбищу, катания на багги, фестиваля мороженого и конкурса правописания. Буколическая нотка присутствовала всегда.

Такое окружение, хотя и приносило радость маленькому мальчику, становилось безнадежно скучным и безжизненным для юноши с жизненной силой и воображением. Беспокойство по этому поводу мучило его днем и ночью, пока не переросло в навязчивую идею. Особенно он не любил воскресенье, его похоронную тишину, когда магазины закрыты, а другие возможные способы возбуждения и приключений запрещены. Он начал лелеять мечты о жизни, странной и изобильной в далеких городах.

Когда он стал старше и к нему пришла некоторая независимость, он сбежал, при условии, что терпеливые и трудолюбивые предки не смогли наладить бизнес, который мог бы заманить его остаться дома. И даже это не всегда привлекало его. Его вынудила пойти на это сама его природа — природа, которая желала избавиться от покрова ограниченного реализма, повсюду

окружавших его масок респектабельности, нелепой демонстрации кастовости, которая видела радугу осуществленных идеалов над холмами, которая требовала, одним словом, романтики.

Тот, кто не испытывал такого желания, ушел из-за отсутствия деловых возможностей. Время от времени он возвращался разочарованным и измученным городом, горя желанием вернуться к работе, которая сулила духовное удовлетворение. Но чаще всего он оставался в стороне, борясь с городской толпой, возвращаясь домой только на короткие каникулы, чтобы отдохнуть и предаться воспоминаниям, увидеть свой народ и возобновить детскую дружбу. В такие моменты на него, вероятно, производило впечатление кажущееся благополучие тех мальчиков, которых он оставил позади, очевидное удовольствие, которое они находили в узком окружении. Возможно, ему пришла в голову мысль, что жизнь маленького городка претерпела заметные изменения, что он приобрел неуклюжий, застенчивый городской вид.

Внезапно он понимает, что автомобиль, кино и, в некоторой степени, актуальный журнал в основном ответственны за контраст. Автомобиль дал маленькому горожанину все больший контакт с городом, с жизнью на ранее недоступных курортах, со страной в целом. А фильм и журнал приносили ему новости и фотографии внешнего мира. Он покровительствовал им и стал мудрее.

Основа, основополагающий мотив всей культурной жизни в маленьком городке социальный. Интеллектуал никогда не входит. Он может попытаться войти, но двери обычно закрыты. Спроса на так называемые интеллектуальные журналы практически нет. Поэтому они редко появляются в продаже. Но мало кто читает ежедневные газеты в радиусе пятидесяти миль. Пьесы, которые исключительно вызывают к воображению или интеллекту, ставятся на ряды пустых мест. С другой стороны, драмы, изобилующие примитивными эмоциями и знакомыми приемами мошенничества, привлекают большую аудиторию при условии, что менеджеры-постановщики заботятся о соблюдении нынешних чрезмерных тарифов на транспортировку. Существует лишь небольшой интерес, проявляемый к крупным мировым движениям, таким как экономический переворот в Восточной Европе. Нормальность - это, действительно, лозунг в том, что касается интеллектуального развития.

Именно в социальной атмосфере американской деревни заключен настоящий *смысл существования*. Здесь мы встречаемся с особенностями, которые неизгладимо отпечатались в американской жизни. Тысяча и одно тайное общество, процветающее здесь, имеют особенно плодородную почву в маленьких городках. Пересчитайте всех верных легионеров всех отделений всех тайных обществ между Атлантическим и Тихим океанами, и у вас будет работа, подходящая только самому неугомонному статисту. И самые лояльные живут в маленьких городах и деревнях Соединенных Штатов. Выбор не ограничен. Существует достаточно обществ, подходящих для всех типов личностей и кошельков.

Рыцари Пифии, Рыцари Маккавеев, Чудаки, Лоси, Орлы, Верный Орден Лосей, Современные лесники, масоны с их тщательно разработанными подразделениями Шрайнеров и рыцарей—тамплиеров - все они насчитывают своих членов по всей стране. А женщины, завидуя лояльности своих мужей к различным и сложным формам фокусов-покусов, организовали вспомогательные общества, которые, хотя и не поддерживают секретность, которая скрывает братские ордена, тем не менее создают претенциозную таинственность, интригующую мужской разум.

Ни один уважающий себя город не может похвастаться полудюжиной таких обществ. Они являются основой социальной структуры. Они - сама суть Америки. Они украшают национальный ландшафт. В каждом городе, словно для того, чтобы окончательно доказать свою провинциальность, есть один или несколько храмов, посвященных ритуалам братской организации.

Недавно на Юге возродился орден Ку-клукс-клана, который процветал после Гражданской войны, как средство улучшения упорядоченного действия закона в отношении негритянской расы. Вот апофеоз тайного общества, с его великолепным сокрытием личности в уникальной форме одежды, с его претензиями на 100%. Американизм, его вопиющие заявления об увековечении великих и славных традиций республики. Негры уже организовались, чтобы противостоять этой пропаганде. Он знал, что до тех пор, пока он не сможет продемонстрировать секретные приказы внушительной силы, у него не будет права даже на сомнительное наследие проживания здесь. Он был бы вне духа времени. Он был обязан Америке, “дорогой, грубой Америке”, организовать ложи и тайные общества; и он это сделал.

Несомненно, тайное общество играет большую роль в величии Америки. Оно сделало американцев классово сознательными. Это заставило его осознать свою собственную значимость, свое собственное право на национальное отличие в виде дружеских отношений. Это дает ему временное избавление от домашних и деловых мелочей, хотя есть бесчисленное количество людей, которые присоединяются к этим заказам, чтобы сделать деловые детали, насколько они их затрагивают, более значимыми.

Поразительная распространенность конвенций в Америке - результат деятельности тайных обществ. Для многих жизнь на 100 процентов. Американцы - это просто одно собрание ложи за другим. Проводимый каждый год в другом городе, за отличие, за которое усердно борются, съезд стал непреложным фактом американской культурной жизни. Это единственный случай в году, когда серьезные хлопоты откладываются в сторону, а убежище и свободу ищут в тех развлечениях, которые может предложить конгресс-сити. Конвенция тайного ордена вдохновила на проведение всех видов и описаний конвенций - торговых, религиозных, образовательных, — пока в стране не осталось города, который мог бы похвастаться первоклассным отелем, в котором в то или иное время года не принимали бы делегатов с тщательно продуманными знаками отличия и значками.

Вероятно, первым парадом, проведенным в Америке, был парад братской организации, придерживающейся классового сознания, стремящейся продемонстрировать свой высокий уровень членства, а также уникальное великолепие тщательно продуманных регалий. С тех пор парад остается неотъемлемой частью американской жизни. В параде есть что-то от энергии, смака и грубости Америки. Он стал олицетворять здешнюю жизнь во всех ее любопытных проявлениях.

Парад стал событием яркого значения, когда П. Т. Барнум организовал “величайшее шоу на земле”. Он решил прославить его — в его словаре “прославлять” на самом деле означало “коммерциализировать” - и раз и навсегда связать его главным образом с цирком. Ему это удалось, главным образом потому, что жители деревень были восприимчивы к этой идее. Они увидели странное облегчение от монотонности существования. Фермеры спускались с холмов в своих лесовозах и испытывали невыразимую радость, лавочники закрывали лавки и испытывали бурную свободу от мелких торговых пререканий, мужчины и женщины обновляли

свою молодость, дети внезапно впадали в настоящий экстаз восторга. Таким образом, цирковой парад стал неотъемлемой частью американской цивилизации.

И драгоценный и уникальный дух, созданный цирковым парадом, нашел отражение в бесчисленных представлениях. Сегодня Америка принимает парады всех мыслимых предприятий. В каждом маленьком городке страны у пожарных есть день, когда они радостно таскают за собой нагруженные цветами тележки со шлангами для развлечения своих сограждан. С такими надписями, как Alerts, Rescues и Champion Hook and Ladder № 1, они гордо маршируют по Мэйн—стрит - и мир проваливается в тартарары. Организация добровольных пожарных - это учреждение, характерное для маленького американского городка, — учреждение, тоже не лишенное классового сознания. Неотесанные, сравнительно неграмотные молодые люди составляют одну группу. Клерки, мужчины, занятые в различных профессиях, и общественные фавориты составляют другую. Этот класс обычно получает пожертвования от самого богатого жителя города, и его благодарность обычно выражается в названии местной организации Croesus.

Парад лосей, парад рыцарей Пифии, парад ветеранов различных войн, парад Шрайнеров и тамплиеров, парад прогибиционистов, парад антипрогибиционистов, парад политиков, парад женщин, парад младенцев — в Америке проходят парады всех. Действительно, Америку можно разделить на два класса: тех, кто участвует в параде, и тех, кто смотрит парад. Парад неизгладимо ассоциируется с маленьким городом. Он также неразрывно связан с большим городом, состоящим, как таковым, из жителей маленького городка.

Недавно в деревнях по всей стране возникло новое движение, в основе которого лежит гражданская гордость. Это формирование клубов бустеров. Каждый развивает свой родной город, по крайней мере публично, хотя в уединении на крыльце он может быть справедливо подавлен его ограниченными возможностями, его подчиненностью социальному снобизму, его интеллектуальной засушливостью. “Приезжайте в наш город. Бесплатные площадки для фабрик”, - гласят вывески вдоль железнодорожных путей. “Развивайте наш город” - гласят транспаранты, натянутые поперек Мэйн-стрит.

Разве нет чего-то жизненно важного в таком гордом провинциализме? Разве Америка не пытается подняться за свои сапоги, чтобы сделать жизнь более комфортной и интересной? Поиск на ощупь, хотя и грубый, заслуживает похвалы. Он плохо направлен, потому что за ним нет вдохновения, потому что его организаторы лишь отдаленно представляют, как сделать здешнюю жизнь интереснее. Однако усилия прилагаются, и это приветствуется.

Возможно, когда города — и уж коли на то пошло, мегаполисы — поймут, что художественная восприимчивость необходима для достижения комфорта и интереса, у нас появятся сторонники, проявляющие такой же энтузиазм на парадном крыльце, как и на заседании совета по торговле. Когда наши города воспользуются художественными преимуществами своих берегов рек? Места для самых красивых прогулок, поездок на автомобиле и парков обычно представляют собой неприглядные пирсы, фабрики и сараи. Железнодорожные пути часто прокладываются в самом центре города. На протяжении многих лет ведущие отели практически во всех наших городах строились в непосредственной близости от железнодорожного вокзала. Стремясь сэкономить путешественнику время и обеспечить удобство, владельцы отелей подвергли его физическому и психическому дискомфорту, который связан с близостью

железнодорожной станции. В последнее время наблюдается заметная тенденция возводить отели на тихих жилых улицах вдали от шума и неразберихи магазинов и железнодорожных депо.

Угроза рекламных щитов, хотя и уменьшается, по-прежнему внушительна. К вечному стыду городов, в эпоху запретов не было предпринято никаких законодательных усилий, чтобы остановить зло, заключающееся в осквернении наших лучших улиц рекламными вывесками. Такая коммерческая жадность непостижима для иностранного посетителя. Это одно из его первых впечатлений, хотя на публике он милосердно оправдывается, приписывая это высокому напряжению нашего существования.

В то время как на американском горизонте начинают слабо проявляться первые признаки признания искусства, старые и знакомые фазы общественной жизни в стране все еще наблюдаются. Пикник первых поселенцев, воссоединение семьи, церковный ужин, кружок шитья, общество Браунинга — все это имеет национальное выражение. Внедрение таких современных промышленных устройств, как автомобили, нисколько не повлияло на них. Можно с уверенностью утверждать, что flivver даже добавил им популярности. Это сблизило жителей сельских районов как никогда прежде. Это придало новый престиж пикникам и встречам.

Что предлагает больше деревенского шарма и простоты, чем воссоединение семьи? Практически каждая семья в фермерских округах, которая более пятидесяти лет проживает в этой стране, ежегодно проводит такое мероприятие. На нем присутствуют великие и почти великие люди из городов, дома остаются незатронутые родственники. Младенцы толкают прабабушек и дедушек. Крупные и потные женщины целыми днями пекут торты и пироги, которые нужно съесть. Мужчины по глупости помогают убирать комнаты и лужайку перед домом. Наконец—то близится воссоединение - сентиментальный разврат, грандиозное обжорство. Все присутствующие ощущают остроту возраста. Но пока сердце бьется, желудок работает сверхурочно. Закон компенсации соблюден. “Все хорошо провели время” находит другое выражение в еженедельной газете, и воссоединение становится воспоминанием.

На пикниках пионеров можно увидеть воссоединение семьи в более широком масштабе. На время весь городок и округ становятся родственниками. Это "день дней", сентиментальный турнир, в котором рукопожатие является самым популярным времяпрепровождением. Организованный в суровой первобытности начала 19 века людьми, которые первыми поселились по соседству, пикник первопроходцев был увековечен, и по сей день он неразрывно связан с развитием Америки. Он пережил превращение страны из сельскохозяйственной в великое индустриальное содружество. Он выдержал испытание временем. И так продолжается вечно, традиция маленького городка и фермерского сообщества. Хотя он был почти полностью лишен своего первоначального назначения, он служит для того, чтобы привести политиков в соприкосновение с “пипулом”. Целый день батальон "Почетных гостей" дает высокопарные обещания с трибуны — и забывается как самими “Почетными гостями”, так и публикой, увлеченной танцами и бесцельными прогулками по территории. Политики улыбаются, продолжая сохранять свою героическую позу, а “пипулы”, довольные тем, что в мире все хорошо, обращаются к различным игровым устройствам, которые действуют под лицемерным присмотром шерифа, и к странным танцам, которые подкрались из джунглей, ибо это день, наполненный вечным духом молодости. В честных образцах нынешней деревенщины есть искренняя привлекательность. За бычьими

выражениями лиц мальчиков скрывается тихая сила. Душа Америки — Америки, радующейся тому, что она жива, — чудесно и трогательно проявляется. Здесь нет ни притворства, ни поверхностности, ни застенчивой утонченности. Всего лишь прочные качества истинной американской цивилизации, живописной и завораживающей своей примитивностью.

Окружная ярмарка относится к той же категории, что и пикник первопоселенцев. Это ежегодный отдых фермеров и торговцев от утомительной работы - изо дня в день видеть одних и тех же людей и разговаривать с ними. Это дает им определенную степень равенства с жителями города с их экскурсионными лодками, бейсбольными матчами, спортивными состязаниями в парке. И они максимально используют свои возможности. Они приходят посмотреть и быть замеченными, рискнуть несколькими долларами на скачках, полюбоваться бесплатными представлениями перед постановками, широко раскрытыми глазами наблюдать за акробатическими трюками перед трибунами; услышать увертюру к “Поэту и крестьянину” в исполнении оркестра, гордого и серьезного на отдельной трибуне.

Три-четыре дня, отданные таким удовольствиям, естественным образом создают у посетителей ощущение иллюзии. Они начинают верить, что жизнь была создана специально для них. Они легко видят сквозь стекло. Их нисколько не волнует суeta многолюдного города. У них есть что-то бесконечно более приятное, чем профессиональный бейсбольный матч или экскурсионная поездка по реке. У них впереди дни бесконечного разнообразия, новых приключений, новых мыслей. Они тоже знают, что Америка не ошибется, пока они продолжают находить иллюзии. И они правы. Они могут не подозревать, что американская культура груба. Однако они знают, что это дорого. Им следует беспокоиться.

На таком фоне сложились вкус и суть американской жизни. Их влияние распространилось во всех направлениях, во всех сферах промышленности. Они наложили свой отпечаток на характер страны, на толпу и отдельного человека. Сентиментальная привязанность к старым связям, к идеалам и традициям детства остается мощной, хотя и немного скрытой под маской, притворной или реальной, утонченности. Это голос новой страны, энергичного и любопытного национализма, который проявляется. Очевидно, что среди таких здоровых от природы людей не может быть высокомерного презрения к чувствам. Мы можем немного высокомерно посмеяться над удивительной восприимчивостью людей к экстравагантному красноречию странствующих евангелистов. Мы можем смотреть на “неделю старого дома” с оттенком городского презрения. Мы можем слушать концерт группы субботним вечером на площади Кортхаус с наигранным безразличием. Мы можем предположить привлекательную усталость, наблюдая, как прохожие на Мэйн-стрит посещают одну лавку мороженого за другой. Но в глубине наших сердец живет чувство непобедимой гордости за очаровательный домашний уют, юношескую жизнерадостность, прекрасную простоту, да, и потрясающий пафос этих аспектов цивилизации маленького городка.

Луи Рэймонд Рид

история

“Nescire autem quid antea quam natus sis

acciderit id est semper puerum esse.”

Цицерон.

“История - это чушь”.

Генри Форд

Голландские бюргеры, будучи (подобно китайцам) склонными к определенному консерватизму как в манерах, так и в привычках, продолжали традицию “парадной гостиной” — так называемой “гостиной для гостей” - вплоть до 20 века. У каждого фермера была своя “гостиная”, наполненная спертым воздухом, тесной мебелью и гравюрой с изображением Эйфелевой башни напротив литографированного изображения дамы посреди моря, отчаянно цепляющейся за несколько покосившийся гранитный крест.

Но этот обычай распространялся не только на буколические районы. Его покойное величество Вильгельм III (чьи похороны были самым полезным событием в его долгой жизни) был женат на уважаемой леди викторианских наклонностей, которая больше самой жизни любила “опрятность” и “антимакассар”. Аристократия, набранная из потомков директоров ост-индских и вест-индских сахарных плантаторов, последовала королевскому примеру. Они владели скромными домами, которые более изобретательные латиняне называли бы “Палацци”. Большую часть первого этажа занимала огромная “парадная гостиная”. Большую часть года его держали под замком, в то время как семья собиралась вокруг масляной лампы в “задней гостиной”, где они жили, в счастливой какофонии маленьких дочерей, практикующих черни, и маленьких сыновей, пытающихся освоить тонкости “пайдеуо—пайдеуэйс—пайдеуэйс”.

Что касается “парадной гостиной” (которая составит основную часть моего текста), то ее открывали один или два раза в двенадцать месяцев для торжественных семейных приемов. За неделю до этого уборщица (которая в те благословенные неандертальские времена получала шесть центов в час) приходила со множеством швабр и веников. С антикварной мебели будут сняты чехлы, рамы картин будут должным образом вычищены. Ковры подвергались процессу, напоминающему вспашку в помещении, и каждый день в течение получаса окна открывались на три-четыре дюйма.

Затем наступил день приема — день рождения бабушки и помолвка маленькой дочери. Все родственники были там в своих лучших шелках и атласе. Гости были там точно так же. Там был свет и звучала музыка. Еды и питья хватало бы, чтобы спасти от голода целую китайскую провинцию. И все же вечеринка провалилась. Старые семейные портреты — превосходные работы Рембрандта или Терборха - смотрели сверху вниз на внуков, которых они не знали. Внуки, с другой стороны, чувствовали себя довольно неудобно в присутствии этой былой славы. Иногда, когда гости выражали искреннее восхищение этими произведениями искусства, они нанимали голодного доктора философии, чтобы тот написал критическое эссе об их коллекции в пользу “Студии” или “Ценителя”. Затем они заказали сто экземпляров, которые разослали своим друзьям, чтобы те могли восхититься (и, возможно, позавидовать) древней родословной своих соседей. После этого наступает темнота, джинсовые покрывала и забвение.

Историю нашей великой Республики постигла судьба, аналогичная судьбе этих семейных реликвий. Она живет в “парадной гостиной” национального сознания. Это проявляется в нескольких торжественных случаях, когда это просто усиливает общий дискомфорт

помогающей толпы. Остальное время он лежит забытый в полутьме вашингтонских подвалов, которые из-за отсутствия Национальных архивов служат хранилищем письменных свидетельств нашего прошлого.

Наша популярная оценка истории и ценности общего исторического фона была определена несколько лет назад Генри Фордом. Мистер Форд, совершивший дюжину полетов там, где раньше не совершал никто, и получивший несметное богатство от автомобильной промышленности, был назначен *ex-officio* и высокоуважаемым членом нашего национального совета мудрецов. Его мнения охотно спрашивали по таким вопросам, как воспитание детей, ирригация, будущее человеческой расы и правдоподобность теории Эйнштейна. Во время ныне памятного судебного процесса тема истории стала предметом обсуждения, и мистер Форд (если верить газетным сообщениям) высказал искреннее мнение, что "история - это чушь собачья". Благодарная страна пропела "Аминь!"

Когда среднестатистического гражданина попросят объяснить это прискорбное выражение неприязни, он прибегнет к воспоминаниям о своем раннем детстве и в выражениях одновременно раскаивающегося и нелестного опишет часы страданий, которые он провел, пересказывая "унылые факты о бесполезных королях", завершая огульным осуждением американской истории как чего-то невыразимо скучного.

Мы не можем сказать много в пользу поздних Стюартов, Романовых и Васа, но мы признаемся в искренней привязанности к истории этих Соединенных Штатов. Это правда, что в нем мало женщин и нет маленьких детей. Нам это кажется преимуществом. "Знаменитые женщины истории" обычно означали "печально известные неприятности" для их сильно встревоженных современниц. Что касается вечно популярного детского мотива, маленькие принцы из Тауэра многое бы отдали, если бы им разрешили побелить часть знаменитого забора Тома Сойера, вместо того чтобы в шелковом великолепии ждать отряд убийц дяди Ричарда.

Нет, проблема не в истории этой страны бескрайних равнин и бескрайнего неба. Проблема заключается в читателе. Он стал жертвой неудачных обстоятельств. Музы достигли этих берегов не в каюте первого класса "*Аквитании*". Их чуть не задержали на острове Эллис и не депортировали из-за того, что у них не было необходимых пятидесяти долларов. Им разрешили проникнуть внутрь после того, как они дали торжественное обещание, что постараются стать самостоятельными и обратят свои белые руки на что-нибудь полезное.

Клио, наша уважаемая госпожа, из всех сил старалась соответствовать этому обету. Но она просто не такая женщина. Превосходный советчик, самая очаровательная и надежная из подруг, она абсолютно не разбирается в практических сторонах жизни. Она была вынуждена открыть маленький сувенирный магазинчик, где продавала флажки, полотнища и фотографии Покахонтас и Пола Ревира. Предприятие не увенчалось успехом. Несколько человек сжалились над ней и попытались помочь. Ее просили читать стихи на патриотических собраниях и делать подборки из "Отцов-основателей". Ей это не понравилось, поскольку она была человеком застенчивым и непритязательным. И вот она вернулась в маленький магазинчик. Когда я видел ее в последний раз, она пыталась выучить русский алфавит. Это всегда опасный признак.

А теперь, чтобы не продолжать путать наши метафоры, давайте изложим суть дела без предубеждения, которое строго необходимо.

Первые поселенцы этой страны принесли с собой свою историю. Маленький Снорри, сын Гудрид и Торфинна Карлсефни, играя среди виноградных лоз лабрадорского сада своего отца, несомненно, слушал те же самые саги, которые рассказывали при дворе доброго короля Олафа Трюгвасона в далекой Норвегии. Дети Сан-Доминго разделили славу Уголовного розыска с мальчиками и девочками, которые посещали школы древней столицы Муккадира. А многострадальные младенцы из ранних деревень Новой Англии просто заканчивали историческое образование, начатое в Скруби и продолженное в доме № 21 *Клокстиг* в Лейдене.

В 17 веке большая часть атлантического побережья стала английской. Голландские и французские, испанские и шведские традиции исчезли. История Британского королевства стала всеобщей историей территории, расположенной между тридцатым и пятидесятым градусами широты. Даже Американская революция была ссорой между двумя конфликтующими версиями некоторых идентичных принципов истории. Лорд Норт и Джордж Вашингтон извлекли свои уроки из одного и того же учебника. Его светлость, конечно, никогда не вырезал страницы, повествующие о Рунимиде, и Джордж, несомненно, покрывал печатные листы, повествующие о судьбе повстанцев, странными геометрическими фигурами. Но историческое наследие людей, сражавшихся на левом берегу Фиш-Килл, и тех, кто сдался на правом берегу, было общим, и Бергойн и Гейтс могли бы с пользой провести вечер за бутылкой рома, делая комплименты друг другу по поводу славных деяний своих соответствующих, но идентичных предков.

Но в двадцатые и тридцатые годы 19 века люди “старого режима” — основатели и борцы молодой Республики — сошли в могилу, унеся с собой свои традиции, свои надежды и свои верования. Занавес поднялся над новым временем и над новым народом. Приобретение Северо-Западной территории в 1787 году и покупка Наполеоном американской недвижимости в 1803 году превратили маленькое содружество борющихся колоний в огромную империю с бескрайними равнинами и безграничными лесами. Необходимо было заселить эту новую землю. История Побережья подошла к концу. Началась история Фронтiera. Английские традиции редко пересекали Аллегани. Долгая борьба за представительное правительство приобрела новый аспект в стране, где никогда не ступала нога короля и где человек был сувереном по праву своей собственной энергии.

Это правда, что первые пятьдесят лет прошлого столетия были свидетелями прибытия на эти берега миллионов мужчин и женщин из Европы, получивших среднее образование на родине. Но герцоги не эмигрируют. Эти крепкие парни, которые рисковали пережить ужасы Атлантики в дырявых ваннах начала сороковых, приехали в страну своего будущего, чтобы забыть кошмар прошлого. Этот кошмар включал в себя биографию Могущества, которая тогда была главной темой европейского учебника. Они выбросили ее за борт, как только оказались далеко от устья Эльбы или Мерси. Поселившись на фермах Мичигана и Висконсина, они иногда учили своих детей песням старой Родины, но ее истории - никогда. Спустя два поколения эта миграция — величайший из всех “походов” с IV века — подошла к концу. Были проложены дороги, прорыты каналы, построены железные дороги, леса превращены в пастбища, индейцы исчезли, буйволы исчезли, свободные земли исчезли, были построены города, и сцена была подготовлена для окончательного апофеоза всех человеческих достижений — цивилизации.

Школьный учитель всегда шел следом за полным обеденным ведром. Теперь он появился и начал преподавать. Учитывая обстоятельства, у него все получалось на удивление хорошо. Но он тоже работал в невыгодных условиях. Он был вынужден отправиться в Новую Англию за знаниями и учебниками. А историк бостонской школы, хотя и трудолюбивый и терпеливый, был не совсем честным свидетелем. Воспоминание о британских красных мундирах, муштровавших Пустошь, было еще свежо в умах многих добропорядочных граждан. Порочность Георга III была чем-то большим, чем миф, для тех добрых мужчин и женщин, чьи собственные отцы наблюдали за майором Питкэрном, когда он шел арестовывать Адамса и Хэнкока. Они искренне ненавидели своих бывших правителей, хотя и не могли отрицать своей любви к старой метрополии. Отсюда возник конфликт серьезных последствий. Одной рукой хронист Новой Англии свернул хвост британскому льву. Другой рукой он кормил существо маленькими кусочками сахара.

Сцена снова изменилась. Маленькое красное здание школы промаршировало по равнинам. Оно последовало за пионером через перевалы Скалистых гор. Он достиг берегов Тихого океана. Время рубки, строительства и обжаривания на сале подошло к определенному концу. Маленький красный школьный домик уступил место академии обучения. Колледжи и университеты возникали везде, где собиралась тысяча человек. История стала частью учебной программы. Школьный учитель, мастер всех ремесел и мастер многих практических занятий, вымер. Появился профессиональный историк. И так повисла печальная история, которая переносит нас на бесплодные берега Шпрее.

Со времен Тридцатилетней войны Германия была полем битвы в Европе. Амбиции Наполеона, который был четырех футов ростом и гладко выбрит, и будущие амбиции Наполеона, который был пяти футов ростом и который вошил свои усы, давали и фактически дают этой стране очень мало покоя. Интеллигенция несуществующей Священной Римской империи видела только один путь, который мог привести к спасению. Старое Германское государство должно быть восстановлено, а короли Пруссии должны стать наследниками традиций Карла Великого. Чтобы доказать это, было необходимо, чтобы послушные подданные полусотни маленьких властителей были наполнены определенными историческими представлениями о славном прошлом Генриха Толстого и Конрада Тощего. Терпеливые исторические верблюды тевтонских университетов были загнаны в самое сердце *Исторической Пустыни* и привезли оттуда те колоссальные кирпичи знаний, из которых правители страны могли построить свои памятники славы памяти Предков.

Какими бы ни были их недостатки и какими бы ложными ни были амбиции этих верных вьючных животных, они знали, как работать. Весь мир смотрел на это с восхищением. Здесь, наконец, в этой стране научной точности, история была возведена в ранг "*Wissenschaft*". Высоко держа свои знамена "За Бога, за Страну, *и ви эс энгентлих дагевезен*", все хорошие историки отправились в крестовый поход, чтобы спасти Святую Землю Прошлого от Невежества Настоящего.

Это было в те благословенные дни, когда билет первым классом до Гамбурга и Бремена стоил сорок шесть долларов семьдесят пять центов. Генри Адамс и Джон Лотроп Мотли были одними из первых пилигримов. Они выпили много пива, послушали множество превосходных концертов и "приватизированно и безвозмездно" поучаствовали в коллоквиумах многих

высокоученых *Гехаймретеи* ушли, прежде чем им был нанесен серьезный ущерб. У других дела обстояли не так хорошо. Три—четыре—пять лет они провели в обществе каролингов и гогенштауфенов. После того, как они достаточно пропитались Плетцем и Бернхаймом, чтобы выдержать *Строгий экзамен на факультете Хохгелехрте*, они вернулись на родину, чтобы распространять евангелие истинного *Виссеншафтлихкейта*.

В этом не было ничего типично американского. Такое случалось со студентами в каждой стране земного шара.

Конечно, высказывая это мнение, мы чувствуем, что подвергаем себя обвинению в небольшом преувеличении. “Как же теперь, ” воскликнет прилежный читатель, “ вы стали бы выступать за возвращение к некритичным дням средневековья?” На что мы отвечаем: “Ни в коем случае”. Но история, как кулинария или игра на скрипке, - это прежде всего искусство. Она украшает жизнь. Она расширяет нашу терпимость. Она делает нас терпеливыми к занудам и дуракам. Это не имеет ни малейшей утилитарной ценности. Справочник по химии или высшей математике имеет право быть скучным. История - никогда. И профессиональный продукт тевтонской школы напоминал тех более поздних богословов, которые пытались утешить умирающих повторением еврейского глагола *абхар*.

Эта система проповеди Евангелия прошлого заполняла кафедры, но при этом опустошала скамьи. Прихожане отправились за своим историческим просвещением в другие места. Те, кто был серьезно заинтересован, обращались к работам нескольких непрофессионалов (производителей скобяных изделий, дипломатов, торговцев углем, инженеров), которые посвящали свой досуг написанию истории или импортировали необходимые интеллектуальные материалы из-за границы. Другие отправились в кино, и поскольку эти храмы демократического восторга не открываются раньше полудня, они провели раннее утро, изучая бесконечные тома воспоминаний, мемуаров, интимных биографий и воспоминаний, которые наполняют страну энергией интеллектуальной *cloaca maxima*.

Но все это, давайте еще раз повторим, не имело большого значения. Когда кругом царят мир и счастье, когда в больницах нет пациентов, когда погода хорошая и люди умирают обычными темпами, не имеет большого значения, проявляет ли мир в целом глубокий интерес к работе Совета здравоохранения. Общественность знает, что где-то, каким-то образом существует Совет здравоохранения, состоящий из высококвалифицированных медицинских экспертов. По прошлому опыту они также понимают, что эти бдительные джентльмены “знают свое дело” и что ни один обычный микроб не может надеяться перебраться из Варшавы в Чикаго без оперативного вмешательства со стороны команды по дезинсекции. Но когда эпидемия угрожает безопасности общества, люди спешат к ближайшей телефонной будке, звонят комиссарам здравоохранения и безоговорочно следуют их указаниям. Он требует, чтобы эти государственные служащие проводили дни в нетронутым состоянии здоровья, готовясь к часу болезни, когда нет времени для медитации и экспериментов.

Общественность в целом имела право ожидать подобной услуги от своих историков. Но, к сожалению, когда наступил кризис, научная историческая машина полностью рухнула.

В Германии, на родине системы *historische Wissenschaftlichkeit*, историк стал зазывалой у главного шатра Гогенцоллернов, до хрипоты крича в пользу нерешительных сограждан и враждебных нейтралов, превознося исконные тевтонские добродетели, пока весь мир с

отвращением не отвернулся. Во Франции готовят такие блюда лучше. Компетентный повар парижской школы может превратить даже самую вредную для здоровья смесь националистических отбросов во вкусное блюдо. В Англии историк превратился в пропагандиста, и в течение трех лет удивленные граждане Копенгагена, Берна и Мадрида обнаруживали, что их почтовые ящики забиты таинственными пачками государственных документов, проштампованных должным образом, прекрасно иллюстрированных и преподнесенных (как показано на прилагаемой карточке) с наилучшими пожеланиями профессором Таким-то из Такого-то колледжа в Оксфорде, Англия. В России дальновидное правительство приняло свои меры много лет назад. Те историки, которые отказались быть использованными в качестве *шевалье де Батай* во славу дома Романовых, либо занимались ботаникой на берегах Лены, либо давно нашли убежище в университетах Софии и Женевы. Я не знаю, что произошло в Японии, но у меня есть подозрение, что то же самое произошло во всем мире.

Историк превратился в апологета. Он был так же полезен, как врач, который проявил бы пристрастие к местному стрептококку на основании верности стране своего рождения.

То, что произошло по эту сторону океана после того, как первые три года “мира без победы” уступили место “предельной силе”, слишком хорошо известно, чтобы требовать повторения. Задолго до того, как первый американский эсминец достиг Плимута, стойким старым судном истории был *spurlos versenkt* в море *клаузум* Западного полушария. Учебники были отозваны, переработаны и дополнены в соответствии с потребностями времени. Давно и наиболее заслуженно забытые трактаты были возвращены к жизни, и с помощью рекламных объявлений издателей и рецензий членов самозванных стражей национальной праведности они были отправлены проповедовать евангелие семейной добродетели. Странные энциклопедии актуальной информации были состряпаны волонтерами из нетерпеливых факультетов. Общественное мнение было пустым. За сто лет маленькие дети научились не любить историю, а взрослые переоценили это безразличие в настоящую ненависть. Такая ситуация была создана для поддержания на высоком уровне принципов научного исторического исследования. Пусть общественный интерес погибнет, пока Истина остается незыблемой. Но в трудный час хранители Истины обратились в жандармов, двери храма Клио были закрыты, а публику пригласили посмотреть продолжение представления в соседнем кинотеатре. В Версале опустился занавес после ужасного представления.

После первой вспышки аплодисментов энтузиазм угас. Кто был ответственен за эту ужасную трагедию? Предполагаемых авторов заклеили как врагов человечества. Нации пошатнулись, а древние империи рассыпались в прах и были поспешно отправлены на ближайшую историческую свалку. Амбициозный монарх, который в течение тридцати лет выдавал себя за второго Карла Великого, покинул страну среди имущества, позаимствованного у покойного короля Луи Филиппа. Веселый молодой лидер гусар Мертвой Головы превратился в велосипедиста-любителя с острова Веринген. Международная репутация продавалась по цене, которая могла быть выражена только в советских рублях и польских марках, и никто не брал. Спаситель мира стал инвалидом Белого дома. Но ни слова не было сказано о тех неприметных авторах весьма заметных исторических трудов, которые были приспешниками оберсте и унтер-офицера Кригшеррена. Они вернулись в архив, чтобы подготовить необходимые посмертные заключения. Сейчас они публикуются по цене, которая, к счастью, делает их недоступными для бывших солдат.

В некоторых драмах и комедиях старых времен было принято прерывать действие, пока Хор деревенских жителей, рассуждающих о нравоучениях, разбирал то, что происходило до этого, и делал необходимые выводы. Настало время для появления “певцов-козлов”.

“Справедлив ли ты, о Автор, “ так они говорят, - когда произносишь эти горькие слова? Разве мы все не люди - слишком люди? Разумно ли требовать от наших историков, чтобы они обладали такими качествами беспристрастного суждения, каких не было на этой земле с тех пор, как последний из Могуущественных Богов покинул Высокий Олимп? Неужели у историка нет сердца? Вы ожидаете, что он будет стоять в стороне и обсуждать достоинства туманных политических вопросов, когда весь мир вносит свою лепту - в то время как его дети рискуют своими жизнями ради безопасности общей земли?”

И когда к нам обращаются подобным образом, нам трудно ответить “нет”. Ибо мы тоже являемся живой смесью предрассудков, необоснованных предпочтений и еще более необоснованных антипатий, и нам не нравится брать на себя роль одновременно судьи и присяжных.

Однако имеющиеся доказательства не дают нам возможности принять иное решение. То, что было сделано в пылу битвы, то, что было сделано под воздействием сильных и искренних эмоций, то, что было написано в агонии тысячи страхов, — все это будет забыто через несколько лет. Но останется достаточно, чтобы убедить наших внуков в том, что историк был одним из тех, кто в наибольшей степени виновен в создании того “состояния ума”, без которого современная война была бы невозможна.

Тут музыка флейт смолкает. Хор отступает, и основное действие нашей маленькой пьесы продолжается. Время - это “настоящее”, а проблема - “будущее”. Дети, которые сейчас учатся во втором классе, будут призваны нести бремя очень длительного периода восстановления. Америку, их родину, сравнивали с чрезвычайно могущественной и влиятельной женщиной, которая не очень популярна, но которую нельзя обижать из-за ее выдающегося социального положения. Люди, живущие вдоль нашей международной главной улицы, не очень хорошо настроены по отношению к соседу, у которого на руках все ипотечные кредиты и который живет в единственном доме, которому удалось пережить недавнюю катастрофу. Нелегко будет поддерживать мир в неврастеническом сообществе великого послевоенного периода. Было высказано предположение, что Десять заповедей, при правильном применении, могут помочь нам преодолеть грядущие трудности. Мы позволяем себе предположить, что доскональное знание прошлого окажется столь же полезным, как и Декалог. Мы не делаем этого заявления поспешно. Более того, мы уточняем это замечанием, что и История, и Декалог будут лишь двумя из множества других средств, которые необходимо будет применить, если мир хочет освободиться от нынешнего кошмара отравляющих газов и высокоскоростных снарядов. Но мы настаиваем на том, чтобы История была включена. И мы делаем это на основании заявления ученого и знаменитого коллеги, который прошел через самую разрушительную войну и все же сумел сохранить хладнокровие. Мы имеем в виду Фукидида. В своем предисловии к “Истории Пелопоннесской войны” он писал: “Боюсь, отсутствие романтики в моей истории несколько снизит ее интерес; но если она будет оценена теми исследователями, которые желают точного знания прошлого как помощи в интерпретации будущего, которое в ходе человеческих событий должно напоминать, если не отражать его, я буду доволен”.

Когда мы оцениваем достижения в свете этого древнего греческого идеала, мы действительно достигли очень немногого. Был проделан огромный объем работы, и большая ее часть превосходна. Великая дикая местность прошлого была исследована с особой тщательностью, и материалы, тщательно классифицированные, хранятся в тех литературных музеях, которые мы называем библиотеками. Но публика отказывается заходить. Никому еще не удавалось убедить обывателя в том, что время, потраченное на чтение истории, не просто потрачено впустую. Он несет с собой определенные туманные представления о нескольких именах: Цезаре и Жанне д'Арк (после войны), Великой хартии вольностей, Джордже Вашингтоне и Аврааме Линкольне. Он помнит, что Пол Ревир поехал верхом, но куда и с какой целью, он не знает и не хочет выяснять. Исторической связи, которая связывает его с прошлым и которая единственная может заставить его понять свою собственную позицию по отношению к будущему, не существует. По особым случаям публике предоставляется возможность насладиться грандиозным историческим пиротехническим представлением, оплаченным местной торговой палатой, и несколько разрозненных фактов мелькают среди великолепного рева ракет и рева духового оркестра. Но такого рода историческая евангелизация имеет такую же малую ценность, как фарсовая вечерня, которая радует прихожан циркового шатра Билли Санди.

Мы живем в век патентованных лекарств. Кратчайший путь к успеху - это современный *азинорум*, который ведет к счастью. И средства, которые “гарантированно излечивают”, рекламируются по всем дорогам и закоулкам нашего экономического и социального мира. Но такого лекарства не существует из-за печального пренебрежения историческим прошлым. История никогда не может быть отделена от жизни. Она будет продолжать отражать текущие тенденции нашего современного мира до того счастливого дня, когда мы прекратим погоню за второстепенным величием и посвятим нашу энергию приобретению тех качеств духа, без которых человеческое существование (в лучшем случае) напоминает пресловутую собачью конуру.

В ожидании наступления этого дня мы должны быть терпеливы, как Природа.

Hendrik Willem Van Loon

ПОЛ

“Грех, который я вменяю каждому расстроенному призраку

- Незажженная лампа и обнаженная поясница”.

В одной из популярных пьес прошлого сезона, мелодраме, приправленной обрывками сатиры и фарса, жена была изображена как побитая собака, бросающаяся на своего хозяина после того, как он придавил ее через стол, чтобы получше расквасить ей нос. Только после того, как неудержимый мексиканец окончательно расправился с потенциальным калекой, женщина почувствовала себя свободной и пошла к своему любовнику, и даже тогда она почти не получила удовлетворения от этого предприятия. Что касается любовника, муж должен был отобрать у него пистолет и выстрелить в него, а затем — убрав мужа с дороги — бандит пригрозил ему потерей женщины, прежде чем он почувствовал себя свободным овладеть ею.

Двое жителей Новой Англии были счастливы вопреки самим себе — и в соответствии с традициями или условностями зрителей.

Уходить от мужа к любовнику теоретически не по-американски, если только муж не предоставит законное основание для развода и развод не будет обеспечен. В нескольких штатах жестокость является законным основанием, и поэтому супружеская верность сценической героини, возможно, была преувеличена. Но чувство, которым она, как предполагалось, делилась со зрителями, — что инициатива в направлении свободы в любви должна исходить не от нее, — является характерной чертой американской морали. Если ваш муж безудержная скотина или злодей, вы можете уйти от него, на самом деле вам подобает уйти от него, но если он просто зануда или, возможно, мужчина, который вам достаточно нравится как друг, но только как друг, вы должны оставаться с ним в такой близости, где скука легко превращается в отвращение, а простое дружелюбие - в отвращение. Тот факт, что вы не любите человека, по мнению американцев, вовсе не является причиной для того, чтобы не жить так, как если бы вы его любили.

Это мнение или позиция четко выражены в американском законодательстве о разводе. Ни в одном из штатов развод не разрешается ни по взаимному согласию, ни по желанию, явному желанию кого-либо из лиц. На самом деле, сговор, как называют взаимное согласие, считается причиной против расторжения брака, и желание одного из них развестись остается безрезультатным до тех пор, пока другого не вынудят к этому. Ему или ей должны быть предоставлены надлежащие основания. Нежелание близости само по себе не является достаточным основанием. Вы должны выразить нежелание таким неприятным способом, чтобы он или она захотели избавиться от вас. Закон устанавливает премию за проявление ненависти, более того, заявляет, что в данном случае это непереносимое условие для того, чтобы не быть несчастным.

Гротескность как с социальной, так и с психологической точки зрения была бы слишком очевидной, чтобы подчеркивать это, если бы последствия такого отношения к разводу не были столь существенны для отношения американцев к сексу в целом — отношения подавления или обмана. Что касается обмана или маскировки перед разводом, то есть еще один бросающийся в глаза момент, на который я хотел бы обратить внимание. Обычно утверждается, что “Строгость развода” защищает брак ради детей, поскольку хрупкий брак разрушает семейную жизнь. Можно с уверенностью сказать, что ни в одном современном обсуждении развода этот аргумент не будет опущен; и столь же безопасно сказать, что возражение о том, что законы о разводе, следовательно, должны проводить различие между родителями и лицами, не являющимися родителями, останется без внимания противников развода. То, что это различие так упорно игнорируется, объясняется, как мне кажется, только эмоциональным самообманом. Что еще, кроме скрытого эмоционального отношения, могло бы сделать обоснованной иррациональность, и что еще представляет собой это отношение, как не то, что радость от спаривания имеет ничтожную ценность, что сексуальные эмоции, если не необходимое зло, то, во всяком случае, ничтожное благо, заслуживающее лишь того избытка внимания, который может быть доступен в реальной жизни? Безразличие к сексуальным эмоциям маскируется заботой о потомстве.

Следует отметить, что во Франции такой путаницы между родительством и спариванием не существует. Родительские отношения как в законе, так и в обычае строго регламентированы,

гораздо более регламентированы, чем у англоговорящих народов, но маловероятно, что во Франции будут утверждать, что спаривание и отцовство были неразделимыми понятиями. Маловероятно, потому что французское отношение к сексу так радикально отличается от англосаксонского.

Для французов, как и для многих континентальных народов Европы, сексуальный интерес, как правило, следует поддерживать, а не скрывать или подавлять. И в этом случае стимуляция, как видно, во многом зависит от фактора взаимосвязи. Факты о сексе должны быть связаны с другими фактами жизни, не жестко или *априори*, как в американском представлении о том, что спаривание неотделимо от отцовства, а свободно и реалистично, поскольку сама жизнь движется и находит выражение. И секс-факты, по мнению европейцев, должны быть взаимосвязаны в философии секса. Неспособность установить эти взаимосвязи вместе с позицией подавления кажутся мне выдающимися аспектами типично американского отношения к сексу.

В наше постфрейдистское время нет необходимости останавливаться на последствиях подавления сексуального инстинкта или импульса. Нам говорят, что подавление ведет либо к сублимации, и в этом случае это скорее отвлечение, чем подавление, либо к извращению или болезни. К сожалению, статистически сексопатология в Соединенных Штатах практически не изучалась. У нас нет статистических данных о состоянии здоровья или заболеваниях, связанных с выражением или подавлением полового инстинкта, а также никаких данных о степени или последствиях гомосексуализма или о направлении сексуальных импульсов на себя. Таким образом, мнение становится всего лишь вопросом личного наблюдения и умозаключения, наблюдения за отдельными людьми или небольшими группами. Мой собственный вывод или догадка относительно извращений в этой стране заключается в том, что часть обычно наблюдаемого духа изоляции или антагонизма между полами и часть духа соперничества между индивидами связаны с гомосексуальными или мастурбаторными наклонностями, которые выражаются в разной степени в зависимости от различных обстоятельств. В частности, недостаток теплоты в личном общении, который в равной степени приводит к дурным манерам американцев, а в более интеллектуальных кругах - к безрадостности и сухости, обусловлен, я думаю, неудачами того или иного рода в сексуальных отношениях. Я имею в виду культурный провал, а не просто индивидуальный.

Не может ли какая-нибудь подобная теория сексуальной несостоятельности объяснить также то стадное чувство, которое является столь знакомой частью американизма и которое не является несовместимым с типом эгоизма или псевдоиндивидуализма, выражением которого, по-видимому, является американский индивидуализм? Обоснованной является гипотеза о том, что сексуально изолированные индивиды становятся зависимыми от группы в плане стимулов, будь то эмоций или воли, тогда как люди в нормальных сексуальных отношениях, хотя они могут вносить свой вклад в группу или сотрудничать с ней, остаются сравнительно независимыми от нее, находя стимул в сексе и его сублимациях.

Если эта теория верна, мы можем ожидать найти сравнительно большое количество сексуальных неудач в тех кругах, для которых характерно то, что Эверетт Дин Мартин недавно назвал поведением толпы, - реформистских кругах, нетерпимых к иному мышлению и одержимых верой в главенство собственной догмы.

*“Leur printemps sans jeunesse exige des folies,
Leur sang brûlant leur dicte des propos amers,
L’émeute est un remède à la mélancolie,
Et nous aurions la paix si leurs yeux étaient clairs,
Ou leur femme jolie.”*

Если бы набор тестов на сексуальную несостоятельность или сексуальную удовлетворенность применялся к наиболее выдающимся пропагандистам этой страны, а также, конечно, в сравнительных целях, к достаточному числу непропагандистов, результаты могли бы иметь значительное значение. Я рекомендую провести это мероприятие Национальному исследовательскому совету в сотрудничестве с какой-нибудь организацией по социальной гигиене.

Между тем, в какой мере пропаганда различного рода может быть извращением секса или сублимацией, остается предметом спекуляций; и при применении теории следует тщательно осознать, что со времен Сафо и до, до Элизабет Блэкуэлл и после, даже до русской революции, сексуальные неудачи того или иного рода, которые в то время считались наиболее презренными, обычно приписывались лицам или группам, которых не одобряли по другим причинам или порицали. Некоторая сублимация секса в Соединенных Штатах, конечно, должна иметь место не только в пропагандистских движениях, но и в других проявлениях американской культуры, в американском искусстве, литературе и науке, в филантропии, в политике, финансах и бизнесе. Однако, по большому счету, во всех этих культурных проявлениях можно ли увидеть какую-либо заметную меру сексуальной сублимации? Разве это не забота скорее практическая, чем религиозная, вопрос получения, а не отдачи, саморазвития или поддержки семьи, а не интереса к идеям и их формам, ценностям вкуса или веры?

Интерес к безличным предметам в целом не является характерной чертой американцев. Обычно используются личные конкретные термины. Американцы, как мы говорим, не склонны к абстрактному мышлению или философии. Их интересуют факты как факты, а не как связанные с другими фактами. Итак, чего ожидать от американцев такого рода любопытства к сексу, которое ведет к философии секса? Сексуальное любопытство в американской жизни не выходит за рамки любопытства к отдельным фактам, а это значит, что оно ведет не к философии, а к сплетням и похоти. Не так давно я разговаривал с женщиной об общей знакомой, о которой я упомянул как о необычайно свободной благодаря утонченности и обстоятельствам, способной понравиться любому мужчине, который ей понравится. “Что вы имеете в виду? Вы слышали о ней какой-нибудь скандал?” рявкнул мой спутник, несколько не заинтересованный общими размышлениями, но жадный до информации о незаконных связях.

Факты, которые не связываются воедино с помощью теории, требуют навешивания ярлыков. Люди, которые не мыслят категориями отношений, скорее всего, будут настаивать на названиях. Ярлыки или названия сексуальных наклонностей или действий, на самом деле, очень определены в американском просторечии. “Помолвленный”, “внимательный”, “преданный”, “женатый мужчина”, “семейный мужчина”, “травяная вдова”, “хорошая женщина”, “плохая женщина” — таким ярлыкам нет конца. Опять же, близость между мужчиной и женщиной определено относится к акту консумации, сексуальные отношения строго

классифицируются в зависимости от того, завершены они физически или нет. В таком отношении к половым границам или подписям, между прочим, может крыться объяснение того, что является постоянной загадкой для европейского посетителя — свободы социальных контактов, разрешенной молодежи противоположных полов. Поскольку, по мнению американцев, консумация представляет собой только сексуальную близость, и поскольку предполагается, что о консумации совершенно не может быть и речи, зачем создавать барьеры между мальчиками и девочками? Предположение о том, что о завершении не может быть и речи, в общем и целом верно, что является еще одной загадкой. Я думаю, что некоторый ключ к этому можно найти в нашем заключительном обсуждении.

Любовь к подписям и такого рода классификации, которые с такой вероятностью парализуют восприятие более тонких различий и останавливают мысль, достаточно естественны для ребенка, изучающего язык и настолько подавленного многообразием явлений, что в целях самозащиты он вынужден проводить грубые классификации и оставаться в неведении о многом. Старики, которые умирают, чтобы вернуться к жизни, тоже исключительны, и они тоже цепляются за формулы. Является ли американская культура в вопросах пола детской и незрелой, как подразумевают американцы, когда они ссылаются на свою “молодую страну”, или культура является представителем пожилых людей; американцы рождаются старыми, как время от времени утверждает европейский критик?

Такие термины о возрасте, конечно, являются фигуральными, если только мы не понимаем их в историческом смысле, означаящем либо то, что в этой стране была развита новая культура — или, скорее, что были новые проявления старой культуры — или то, что старая культура была введена и поддерживалась без существенных изменений. Здесь не место обсуждать культурные аспекты Колониальной Америки, но при любом обсуждении просто современных сексуальных отношений в этой стране важно иметь в виду вклад европейской и, в частности, английской морали. Если не вспоминать традиции раннего христианства или английского пуританства, то те установки на игнорирование или подавление удовлетворения сексуальных импульсов, о которых мы говорили, действительно были непонятны и сбивали с толку — простая психологическая интерпретация кажется неадекватной. Но если рассматривать это как следствие чувства греховности в связи с сексом, которое было наследием Павла и его преемников в английском пуританизме, интерпретация не так сложна, и отношение американцев к сексу становится сравнительно понятным — отношение, проявляющееся в разводе и мелодрамах, а также в стандартизации сексуальных отношений в соответствии с наиболее значимой из догм Павла о том, что брак - меньшее из двух зол, что лучше жениться, чем сгореть. Без ключа Павла и непристойностей отцов раннего христианства как объяснить недавний закон в Вирджинии, объявляющий преступлением проявление внимания к женатому мужчине или женщине, или такую проповедь, которая недавно была произнесена где-то на Среднем Западе, призывающую к крестовому походу против практики приглашать чужую жену на ужин или танцевать хороводы? “На дружеском ужине пусть каждый мужчина берет свою жену под руку и идет к своим местам бок о бок за обеденным столом под вдохновляющую музыку ‘Вперед, христианские солдаты’”, - призвал министр. Что касается танцев, то всякий раз, когда видно, как мужчина обнимает женщину, которая не является его женой, оркестр должен прекратить играть. Я не цитирую слова последнего судебного запрета, поскольку они слишком неприличны.

Возвращаясь от исторического прошлого к психологической точке зрения — в одном из тех причинно—следственных кругов, которые состоят то из культурного наследия или традиции, то из психологической тенденции или предрасположенности, - можно сказать, что американский случай секса, будь то подростковый период или старение, демонстрирует симптомы задержки развития. Наряду с нереализмом детских или старческих формул, здесь присутствует разновидность эмоциональности, которая сдерживает эмоциональную жизнеспособность и которая питается ощущением кризиса; мы можем назвать это кризисной эмоцией. Жизнь в целом, сексуальная жизнь в частности, представлена как серия кризисов, которым предшествует статическое состояние и за которыми следует статическое состояние, и только в эти обычные кризисные периоды, когда навешиваются ярлыки, пробуждаются эмоции. В промежутках между помолвкой, браком, рождением, крестинами или разводом ощущение перемен практически отсутствует — ни одна из эмоций, которые соответствуют меняющимся отношениям и являются выражением личного приспособления. Переживания кризиса носят статутный, predetermined, конвенциональный характер; ни для себя, ни для других они не предъявляют никаких требований к воображению, пронизательности или духовной озабоченности.

Здесь, в этой психологии кризиса, находится ключ — упомянутый ранее — к пониманию свободы, предоставленной нашей молодежи, "связывания", как называли это колонисты, или, говоря современным языком, "ласки". В целом, "поддержание компании" считается одним видом отношений, браком, другим - один характеризуется ухаживанием без завершения, другой - завершением без ухаживания. Предполагается, что между этими двумя видами отношений нет никакого перехода, кроме как по условности или ритуалу. Это социальное отношение настолько укоренилось, что молодежь не может не принять его, по крайней мере, те очень молодые люди, которым, во всяком случае, некритичный консерватизм кажется естественным. Действительно, табу на неритуализированное завершение в достаточной степени соответствует абсолютизму табу, скажем, на инцест, чтобы исключить любой риск индивидуальных юношеских экспериментов или рискованного перехода границ, установленных старшими.

Учитывая эти пограничные линии, учитывая психологию кризиса, слишком легко сексуальные отношения, в браке или вне его, становятся пресными, плоскими, бесцветными или приобретают характер распутства, что является лишь другим аспектом психологии кризиса. Сексуальные отношения волей-неволей ограничиваются двумя условностями: браком и проституцией. Проститутка или жена, супружеская жизнь или дом беспорядка - вот альтернативы. В шаблонной кризисной психологии может не быть другой станции эмоционального эксперимента или диапазона эмоционального выражения.

То, что мужчина должен "сеять дикий овес" до брака, а после брака "остепениться", становится по всей стране несколько архаичной формулой, по крайней мере, в той мере, в какой дикий овес означает подверженность венерическим заболеваниям; но, насколько мне известно, отношение ко второй части формулы остепенения — к супружеской сегрегации - не изменилось. Женатые так же навязчиво женаты, как и всегда, и их отношение к лицам противоположного пола такое же скучное и отталкивающее. Немногие женщины, "счастливые состоящие в браке", постоянно ссылаются в своих разговорах на мнение или позицию своего мужа; и какой преданный муж не упомянет свою жену тем или иным образом в знак своего иммунитета против сексуальной привлекательности в любой степени со стороны любой другой

женщины? Вскоре после войны одна моя знакомая американка, путешествовавшая по Франции, оказалась без денег, и ей грозила опасность сойти с поезда еще до прибытия в Париж к своему банкиру. Она нашла своего соотечественника и рассказала ему о своем затруднительном положении. Он был вполне готов оплатить ее проезд; она была американкой и женщиной, но ей твердо и неоднократно сообщали, что ее кавалер женатый мужчина, и, кроме того, он путешествует со своим деловым партнером. Вскоре после того, как я услышал этот анекдот, мне довелось повторить его чикагскому адвокату, который тут же присоединился к общему смеху над робостью американца. - И все же путешествующий женатый мужчина не может быть слишком осмотрительным, - закончил он.

Осмотрительность по отношению к женщинам, будь то в путешествиях или где-либо еще, или, что еще лучше, безразличие к женщинам - это стандартное отношение американских мужей. В браке также нередки отношения, основанные на статусе, а не на внимании к колебаниям личности, безразличии к психическому опыту. Американские мужчины в целом, как заметили европейцы, на редкость безразличны к психологии женщин. Они также особенно сентиментальны по отношению к женщинам, черта, вполне совместимая с безразличием или невежеством, но которая, принимая во внимание американскую проституцию и постоянное лишение многих женщин равных возможностей в получении образования и в жизни, придает уродливый вид лицемерия трубачам американского рыцарства.

И все же подвергните американскую концепцию рыцарства небольшому анализу, и насмешка, по крайней мере, лицемерия, не попадет в цель. Ибо эта концепция, как фактически, так и исторически, является частью уже отмеченной классификации женщин как более или менее изолированных, с одной стороны, и несекретированных или распущенных, с другой, как неопытных и переопытных или, точнее, частично переопытных. В этой классификации претензии обоих классов женщин удовлетворяются мужчинами на экономической основе с добавлением нескольких сентиментальностей по поводу женственности, чистой или нечистой, для пущей убедительности. Личность женщины, которую, по мнению мужчины, он поддерживает, будь то в качестве жены или проститутки, теоретически может быть проигнорирована, а вместе с ней и ее способность к сексуальному отклику. Будь то порождение греха или объект рыцарства, женщина становится обезличенным и сексуально невосприимчивым существом.

Люди иногда забывают об этом, когда обсуждают отношения между мужчинами и женщинами в этой стране, и особенно бесполость или холодность американских женщин. Они забывают об этом, выступая против феминизации образования, театра, литературы и т.д., имея в виду не то, что женщины руководят школами или являются рынком сбыта искусства, а то, что незрелые, бесполое женщины в этом отношении выходят слишком далеко на первый план. Отчасти, по крайней мере, именно благодаря чивэлу или ее "хорошему и внимательному мужу" американская женщина, по крайней мере, не получающая заработную плату, не взрослеет и поэтому многие женщины могут выходить замуж, не думая ни о чем, кроме социальных последствий брака. Можно предположить, что есть много, очень много американских женщин, как замужних, так и незамужних, которые либо вообще не ощущали сексуального возбуждения, либо, самое большее, только общее сексуальное возбуждение предпубертатного возраста. Какая доля женщин выходит замуж "ради дома", чтобы сбежать из дома или с работы, и какая доля выходит замуж по любви? Каковы эти пропорции после вступления в брак, с появлением детей?

Брак ради дома или ради детей, рыцарство, “внимание” к жене - все эти отношения являются вопросами статуса, а не личности, и любовь должна относиться к личности, а не к статусу, поскольку любовь - это искусство, а не формула. Часто кажется, что в американской культуре, будь то в браке или вне его, мало места этому терпеливому, пылкому и пронизательному искусству, и что влюбленные неизменно обращаются в бегство. Даже если им удастся сбежать, их приключение не имеет социального значения, поскольку волей-неволей носит тайный характер. Только когда к авантюристам и влюбленным художникам относятся достаточно терпимо, чтобы они могли выйти из-под прикрытия и им, по крайней мере, позволили жить, хотя бы в качестве отличия от обыденности, они могут внести свой вклад в общую культуру.

Элси Клюз Парсонс

СЕМЬЯ

Американская семья - козел отпущения для всех народов. Иностранные критики посещают нас и сообщают, что дети дерзки и неисправимы, что жены избалованны и экстравагантны, а мужья - подкаблучники и бескультурье. И это еще не самое худшее. Это лишь поверхностно по сравнению со строгостью доморощенной критики. Нашим домашним арбитрам в любой школе нужно найти более глубокий недостаток: они рассматривают семью как рушащийся институт, быстро падающий оплот. Католические кафедры призывают святого Иосифа спасти руины, а пуританские моралисты взывают к Уиллу Карлтону, веря, как и большинство наших общественных защитников, что только святые и сентиментализм могут помочь в таком кризисе. Между тем американская семья демонстрирует обычное постоянство формы, несмотря на множество поверхностных изменений, объединяя под различными масками самые древние и новейшие способы жизни. В американской семейной жизни, если вообще где-либо, неолит встречается с модерном, и нужно быть очень опрометчивым или очень мудрым, чтобы взяться за приятную работу по выяснению, что есть что. Но человек, по крайней мере, отказывается подавлять свое обычное любопытство, участвуя в игре в жмурки, посредством которой общественное мнение о семье обеспечивает максимум активности при минимуме знаний.

Немного науки было бы очень кстати. Но общественное мнение не поощряет научное исследование семьи. В этой области лучшей политикой считается не честность, а уклончивость. Вместо того чтобы рисковать там, где табу так широко распространено, а материал так чувствителен, американская наука предпочла бы продвигать отечественные красители и апельсины без косточек. Это правда, что у нас есть Федеральная перепись населения с ее ценными, хотя и ограниченными статистическими данными. Но даже перепись населения всегда проявляла меньше интереса к семейному статусу и составу семей внутри населения, чем к классификации имущества и занятий и увлекательной игре “наблюдай, как растет Талса”. Ни в одной стране сбор статистики жизнедеятельности не является столь запущенным и спорадическим, а общий объем собранных на скорую руку фактов настолько неподвластен корреляции. Благодаря настойчивым усилиям Детского бюро за последние десять лет эта ситуация значительно улучшилась; так что теперь существуют так называемые “зоны регистрации”, где фактически регистрируются рождения, браки и смерти. Для страны в целом эти жизненно важные факты до сих пор остаются незарегистрированными. Преобладающая

схематичность в вопросах статистики жизнедеятельности резко контрастирует с энергией и тщательностью, с которыми американская политическая машина ухитряется отслеживать личность, достигшую двадцати одного года.

Одной из статистически подтвержденных тенденций туземной семьи является ее уменьшение в размерах. Во-первых, окружность семейного круга определенно сократилась из-за потери этих случайных членов семьи, незамужней тети и верного слуги. Среднее число взрослых женщин в типичном домашнем хозяйстве в настоящее время составляет всего одну. Странные женщины живут в мире сами по себе; они больше не живут “под крышей” своих зятьев. Мисс Лулу Бетт - почти анахронизм 1920 года. Верная служанка была заменена неверующей, которая ни в коем случае не остается достаточно долго, чтобы стать семейным придатком, или же ее вообще не заменяли. Даже у “Бабушки” начали проявляться симптомы того, что она предпочитает быть сама по себе. Таким образом, слава патриархального домашнего хозяйства заметно угасла, оставив вместо себя лишь биологический минимум.

В сокращении этой конечной группы и заключается суть дела. Американец становится все менее и менее плодовитым, и паникующие теоретики уже могут предвидеть возможный день, когда вырастут последние 100 процентов. Американец Адам и последние 100 процентов. American Eve покинут нашу иммиграционную стадию. Так устроено провидением, — гласит эта максима, - что деревья не будут расти до тех пор, пока не пронзят небеса; но есть ли какая-нибудь сила, способная предотвратить прогрессирующий упадок первоначального англосаксонского происхождения вплоть до окончательного вымирания? Это вызывает серьезные сомнения в стране, где англосаксонская ветвь пользуется престижем, несоизмеримым с ее численностью населения. Штамм может черпать утешение из размышлений о том, что уход индианки, вероятно, произошел не из-за контроля над рождаемостью.

Тем не менее, контроль над рождаемостью не является чем-то новым. Если он и не был изобретен индейцами, то, по крайней мере, пуританами. Как показывают переписные листы и генеалогические книги, каждое последующее американское поколение проявляло тенденцию к снижению рождаемости. Новыми аспектами ситуации являются ускорение тенденции и пропаганда ограничения семьи искусственными методами. В зоне регистрации рождений, которая включает двадцать три штата, число рождений за 1919 год по сравнению с 1918 годом сократилось на семь процентов. Кроме того, нынешнее предположение о том, что детей больше на фермах, где они являются экономическим активом, чем в городах, где они стали экономическим препятствием, недавно получило поразительную коррекцию в результате опроса, проведенного Министерством сельского хозяйства. Среди сюрпризов исследования, говорится в отчете, было небольшое количество детей в домах на фермах: “Жизнь детей в сельской местности на вес золота”. Ферма не является национальным детским заповедником, каким должна была быть. Что касается наемного класса, то он выделился как национальный законодатель семейных ограничений. Автор редакционной статьи "Нью-Йорк Таймс", которому можно доверять за довольно точное изложение стандартов этой группы, оправдывает ее поведение следующим образом: “Если работник умственного труда не желает раскрывать информацию о своих детях, подвергать их унижению, он должен быть готов кормить, одевать и обучать их в течение многих лет. В таких обстоятельствах отказываться от родительских

обязанностей - это только по-человечески". Следовательно, рабочему физического труда, который не может получить от своей Церкви того же отпущения грехов, которое житель пригорода может получить в свое Время, остается производить основную массу населения. Ситуация в целом еще не является стационарной; по оценкам недавней переписи населения, ежегодное превышение числа рождений над смертями на всей территории Соединенных Штатов составляет примерно один процент. Что с этим будет делать следующее десятилетие?

Характерной чертой американской пропаганды контроля рождаемости является ее специфическая пропаганда искусственных методов. Защитники этого дела были вынуждены, по-видимому, определить позицию, которая была бы самоочевидной в любом обществе, не являющемся неисправимо пуританским. Люди, которые считают безбрачие состоянием благодати, а безбрачие в браке высшей моральной победой, все еще растут, казалось бы, на каждом кусте. Это нездоровое убеждение, должно быть, оказывает свое влияние на методы контроля рождаемости среди женатого населения. Можно только предполагать, сколько браков поддается его влиянию, особенно после рождения второго или третьего ребенка; но есть основания полагать, что аскетический метод ни в коем случае не является чем-то необычным. Вы не можете неуклонно демонстрировать людям идеал в течение сорока лет, не ожидая, что кто-то из них попытается следовать ему. Этот вид жесткого негативизма считается в Америке моралью и находит своих самых сильных приверженцев среди людей среднего возраста и глав семей. Такие люди сильно шокированы диким поведением молодежи, которая, безусловно, вышла за рамки дозволенного после войны; но наиболее поразительной чертой нынешней волны так называемой безнравственности является разоблачение несостоятельности идеалов среди старшего поколения. В Соединенных Штатах насчитывается тридцать миллионов семей; предположительно, существует по меньшей мере шестьдесят миллионов взрослых, которые экспериментировали с сексуальными отношениями с санкции общества. Но опыт ничему их не научил, если судить по патентованным и бездушным концепциям, которые все еще выдаются за сексуальную мораль среди людей, которые, несомненно, достаточно взрослые, чтобы узнать о жизни, прожив ее.

Демографическая политика правительства ограничивается обеспечением населения за счет иммиграции. Несколько лет назад американский президент провозгласил собственную демографическую политику и провел энергичную, хотя и одиночную кампанию против "расового самоубийства". Но ни одна фракция не встала под его знамена, ни одна организация не поднялась, чтобы ускорить его послание. Его сигнал горна был вежливо проигнорирован как личная особенность популярного президента, который оказался гордым отцом шестерых детей. Мистер Рузвельт, очевидно, был не в ладах со своим поколением, как, без сомнения, и мистер Вашингтон - со своим, но по совершенно противоположной причине. Но более сдержанный характер нашего первого президента спас его от эгоистической ошибки, заключавшейся в том, что он рассматривал свое семейное положение как единственно правильный и желательный пример. Полный провал крестового похода мистера Рузвельта знаменателен. В Америке есть клерикальные течения, которые активно борются с расовыми самоубийствами, но с этими союзниками-мракобесами у доблестного отпрыска голландской реформистской семьи было слишком мало общего. Среди мужчин своего класса он не вызвал отклика. Это потому, что американский муж слишком многословен или слишком равнодушен? Я слышал, как женатый мужчина сказал: "Это слишком много - быть экспертом в любой женщине", а другой объяснил: "Хозяйка сказала, что следующая моя очередь, и поэтому мы остановились на одной". Или есть какое-то объяснение в том факте, что американский отец все больше и больше склонен

проводить свою жизнь на оплачиваемой работе и у него мало земли или бизнеса, которые он мог бы завещать? Какова бы ни была причина, Деловой Мужчина согласен с Клубной Женщиной в вопросе контроля над рождаемостью, если не в теории, то на практике.

Что касается относительного распределения доходов, то семьи в Соединенных Штатах живут примерно так же, как семьи в промышленно развитых странах Европы. В 1910 году такое же относительное неравенство в богатстве и доходах существовало в феодальной Пруссии и демократической Америке. Самая богатая пятая часть семей в каждой стране претендовала примерно на половину дохода, в то время как две трети беднейших семей были благодарны примерно за одну треть. Один и тот же закон экономической относительности одинаково действует как на справедливого американца, так и на несправедливого пруссак. Но американская семья, как оказалось, в каждом случае в два-три раза обеспеченнее, чем соответствующая семья в Пруссии. Вы должны умножить герра Стиннеса на два, чтобы получить судью Гэри, а богатство ребенка-чернорабочего из Силезии лишь вдвое меньше, чем у ребенка-фабриканта из Джорджии. Это экономическое преимущество как богатых, так и бедных американцев измеряется главным образом в долларах и марках, а не в реальном уровне жизни. Очевидно, что трудно обнародовать реальный уровень жизни; в противном случае превосходство американских семей в любом сословии могло бы быть менее очевидным. Некоторые из нас, которые, возможно, посещали представителей среднего класса Пруссии, лишь наполовину таких же обеспеченных, как мы сами, вероятно, не сочувствовали беднякам так, как они того заслуживали. У моей хозяйки, насколько я помню, было восемьсот долларов в год, на которые она содержала квартиру из двух комнат, ванной и кухни; держала горничную на полставки; покупала два новых костюма в год; по воскресеньям выезжала в наемном экипаже; и щедро жертвовала на общество, которое побуждало женщин называть себя фрау, а не фройляйн. Любая “одинокая женщина” в американском городе такого же размера, которая могла бы в те дни иметь столько же на полторы тысячи долларов в год, несомненно, заслужила бы солидный приз за бережливость.... А потом были все эти бедные маленькие дети в деревне в Шварцвальде, которым приходилось мириться с ржаным хлебом шесть дней в неделю и белым хлебом только по воскресеньям. Переехав в Америку, они могли бы каждый день есть крекеры из упаковки и бутерброды с мороженым по воскресеньям. Возникает вопрос, не тратится ли большой доход американской семьи в основном на вещи сомнительной ценности и дешевого качества.

Согласно теории, доход семьи обычно принадлежит хозяину дома. Согласно теории, он заработал его или получил в результате какого-либо законного коммерческого предприятия. “Глава семьи обычно делит доход между собой и своими различными иждивенцами в той пропорции, которую он считает наилучшей”, - говорит мистер Уилфорд Кинг. Муж-американец имеет исключительно безупречную репутацию добытчика — и, вероятно, заслуживает этого. Конечно, мало кто из мужей в мире так заботится о своих вдовах; они много инвестируют в страхование жизни, но редко в аннуитеты на период выхода на пенсию. Трастовые компании каждый день напоминают им через рекламу о необходимости составить завещания, а кладбищенские корпорации постоянно уговаривают их купить их могилы. “Статистика показывает, что женщины переживают мужчин!” - говорит промоутер Американского парка захоронений. “Они показывают, что мужчина, который откладывает выбор места захоронения, оставляет эту задачу вдове в ее горе. Сейчас для мужчины это легко, тогда для женщины это тяжелое испытание”. Рыцарство делового человека заставляет его изобретать всевозможные финансовые механизмы для удобства и защиты своей вдовы. Его завещание, как и страховой

полис, в ее пользу. В отличие от европейского мужа, он ненавидит покидать мир бизнеса и проводить свои преклонные годы в обществе своей жены. После его смерти она может пользоваться всем, что у него есть, но пока он жив, он сохраняет деловые отношения между ними.

Хотя при жизни и после смерти он щедрый кормилец, он не является систематическим. Финансовые договоренности между мужем и женой крайне случайны. Поскольку приданого почти не существует, регулярное денежное пособие очень редко. Он любит распоряжаться кошельками и поручать ей вести счета. Эта тенденция известна во внешнем деловом мире, и поэтому жена-американка пользуется кредитом, который поразил бы любую платежеспособную домработницу-иностранку. У нее есть счета на все руки. Она заказывает еду по телефону или через посыльного в бакалейной лавке и “взимает плату”. Универмаг ожидает, что у нее будет платежный счет, и в этом случае ей будет предоставлен лучший сервис. Например, женщина, обеспечивающая себя самостоятельно, которая по очевидным причинам более склонна платить по ходу дела, подвергается дискриминации в вопросе возврата или обмена товаров. Во многих отношениях платежный счет имеет внутренний след. Это не показалось бы странным, если бы кредит был ограничен самой богатой частью населения. Но это не так; почти у каждой домохозяйки в стране есть кредит, от жительниц Ньюпорта до жен шахтеров, которые “торгуют в фирменном магазине”. Единственная разница заключается в том, что в случае с этими двумя крайностями — Newport и фирменным магазином — более длительный кредит, чем обычно, кажется правилом. Тем временем апостолы из делового мира, который в значительной степени организован на предположении, что она им не обладает, постоянно проповедуют бережливость американской домохозяйке и который был бы крайне смущен, если бы она действительно развила ее. Американский бизнес любит домохозяйку по той же причине, по которой он любит Китай, то есть за ее экономическую отсталость.

Репутация американского мужа как кормильца не одинакова для всех классов. В Конгрессе время от времени с подобающим красноречием утверждается, что в Америке нет классов. Это более или менее верно с точки зрения избирателя из Кают-Крик, который живет в искусственном политическом мире, куда не проникают экономические реалии; для него средний класс и рабочий класс во многом одинаковы, поскольку у них равные права не “царапать билет”. Но экономист находит удобным, как уже было сказано, классифицировать совокупность американских семей поопределенным доходным группам, соответствующим прусским классам. По мере того как человек спускается по шкале доходов, он обнаруживает, что американский муж больше не соответствует своей репутации единственного кормильца своей семьи. По словам Эдгара Сайденстрикера, “было установлено, что менее половины семей наемных работников в Соединенных Штатах, главы которых находятся на работе, живут за счет заработка мужа или отца”. Заработок матери и детей является необходимой добавкой к семейному доходу, позволяющей довести его до прожиточного минимума. Половина работающих, которые добросовестно “основали” семьи, не могут их прокормить. Согласно последним опубликованным данным, содержание семьи из пяти человек в Нью-Йорке обходится в 2334 доллара в год. Неужели молодые лохинвары из многоквартирных домов никогда не слышали об этих ужасающих цифрах? Весьма вероятно, что у них есть предчувствие, если не реальное представление о цифрах. В любом случае, у них есть матери, которые могут предупредить их. “Генри сам во всем виноват”, - сказала уборщица. “Он имел право не жениться. У него была мать, которая заботилась о нем.” Если бы он только выбрал холостяцкую жизнь, он мог бы жить дома в комфорте и покое на свои двадцать пять долларов в неделю. Но

поскольку миссис Генри выбрала или была выбрана миссис Генри вместо нее, теперь дело за последней - заняться уборкой офиса или оперировать, чем она очень активно занимается. Подсчитано, что после войны треть всех американских женщин, занятых в промышленности, были замужем.

Возвращаясь вверх по шкале к жене из среднего класса, мы обнаруживаем, что на ее ситуацию влияют новые факторы. Обычай смягчил свое осуждение экономически независимой жены, и, возможно, это даже к лучшему, что он так поступил. Ибо это класс, который понес наибольшую сравнительную потерю состояния за последние пятнадцать лет. “Если все приведенные оценки верны,” пишет мистер Уилфорд Кинг, “это указывает на то, что с 1896 года произошла заметная концентрация доходов в руках очень богатых; что бедные относительно мало потеряли; но что средний класс пострадал больше всего”. Таким образом, именно благодаря жертвам наших семей, принадлежащих к среднему классу, наши самые богатые семьи смогли повысить свой уровень жизни. У бедных, конечно, не было возможности проявлять такую щедрость, но щедрый средний класс давал до боли. Дефицит должен был быть сокращен, и единственным возможным способом было экономическое использование женщин. Сначала дочери стали обеспечивать себя сами, в то время как жены все еще хранили аромат семейной святости; затем жены стали время от времени обеспечивать себя сами. Война, как и мир, все еще сильнее сказывающийся на среднем классе, усилила все это. Через девять месяцев после перемирия - пятьдесят процентов. в промышленности было занято больше женщин, чем за год до войны.

У нас в Америке нет избытка женщин. В каждой стране Западной Европы проживает миллион или два человек, и их существование рассматривается как источник острых социальных проблем. Что с ними делать - вопрос серьезного рассмотрения и озабоченной государственной политики. Америка была избавлена от всего этого. У нее также нет лишних мужчин — или таких, о которых кто-либо когда-либо слышал. Это правда, что в 1910 году население составляло девяносто один миллион человек, из которых сорок семь миллионов были мужчинами и сорок четыре - женщинами. Мужчин было на три миллиона больше, чем женщин, но по какой-то причине они не были избыточными или “лишними” мужчинами и никогда не были “проблемой”. Данные о населении на 1920 год — сто пять миллионов человек — еще не были разделены по половому признаку, но есть вероятность, что на каждую женщину в стране по-прежнему приходится мужчина, а на большое количество из них - по два мужчины. Однако, похоже, никто не боится полиандрии в Америке, как сейчас боятся многоженства в Европе.

Ситуация исключительна в Новой Англии, где дублируются типичные европейские условия. За пределами Беркширских холмов сосредоточены все избыточные женщины Америки. В Соединенных Штатах в целом на каждые сто женщин приходится сто пять мужчин, но в Новой Англии баланс внезапно смещается в другую сторону. В течение нынешнего столетия произошло постепенное увеличение мужского контингента вследствие иммиграции. Но шансы вступить в брак соответственно не повысились, поскольку между старыми девами из Новой Англии и армянскими ткачихами или неаполитанскими чистильщиками сапог редко заключаются браки.

В Америке рано женятся только очень богатые и очень бедные. Фабричные девушки и наследницы, как правило, самые молодые невесты. Обычно считается, что двадцать четыре года для женщин и двадцать девять для мужчин - обычный возраст вступления в брак по всей стране. Конечно, обычаи сильно различаются среди столь многоязычного населения. Время от

времени итальянская дочь заводит мужа еще до того, как в отношении нее вступит в силу закон об обязательном образовании. Однако в таких случаях, по-видимому, существует джентльменское соглашение между инспектором по прогулам и мужем дамы, которое решает дилемму. Противоположностью этим маленьким джюльеттам из рабочего класса являются зрелые невесты Бостона. В результате опроса, охватившего последние десять лет, регистратор свидетельств о заключении брака обнаружил, что женщины вступали в брак в возрасте от двадцати семи до тридцати трех лет, а мужчины - от тридцати до сорока. Средний возраст вступления в брак в Бостоне для обоих полов превышает тридцать лет. Это не является чрезмерным прогрессом по сравнению с практикой первобытных бостонцев. По мнению некоторых американских специалистов по генеалогии, пуритане 17 века не очень спешили вступать в брак — средний возраст невесты составлял двадцать один год, а жениха - двадцать пять. Возраст вступления в брак в старейшем американском городе за пару столетий увеличился примерно на десять лет. Обычно это изменение объясняют растущими экономическими препятствиями, и никто не ставит под сомнение его желательность. При условии, что безбрачие - это все, чем оно кажется, общественность готова восхищаться каждым дальнейшим переносом брачного возраста как свидетельством постоянно растущего самоконтроля и триумфального шествия цивилизации.

В большинстве браков американская жена переживает своего мужа. Отчасти это связано с тем, что он на несколько лет старше ее, а отчасти с тем, что она, как правило, живет дольше, чем он. Американцы второго и третьего поколения отличаются большим долголетием — американская женщина американского происхождения является самым долгоживущим человеком на земле. Следовательно, те, кто пережил брак, с большей вероятностью будут вдовами, чем вдовцы. По данным переписи населения 1910 года, насчитывалось около двух с половиной миллионов вдов в возрасте сорока пяти лет и старше по сравнению с примерно миллионом вдовцов соответствующего возраста. Они также не сидят у огня и не вяжут, как когда-то давным-давно; им тоже приходится “суетиться”. Среди работающих женщин страны насчитывается миллион с четвертью женщин старше сорока пяти лет, которые, вероятно, в очень значительной степени — хотя перепись населения не дает данных по этому вопросу — являются экономически независимыми вдовами. Как было сказано ранее, “бабушка” сейчас тоже предоставлена сама себе.

Вдова пользуется большим почетом в американской общественной жизни, хотя обычно это оказывается довольно фальшивым и сентиментальным почтением. Политические ораторы легко пускают слезы по поводу ее несчастий. На протяжении поколений после Гражданской войны Республиканская партия процветала благодаря пенсионной системе, которая собирала средства у самой молодой вдовы самого старого ветерана, и Таммани всегда понимал, как извлечь выгоду из своей показной милостыни вдовам и сиротам. С самого раннего детства, я помню, как городские благоустроители, которые хотели снести дурацкие дощатые заборы, были наголову разбиты олдерменами, которые сказали, что корова вдовы должна пастись, и поэтому люди должны содержать свои заборы в порядке. Точно так же Южные штаты так и не смогли принять адекватные законы о детском труде, потому что ребенку вдовы нужно было позволить зарабатывать, чтобы содержать свою мать. Весь этот сентиментализм со временем оказался отличным трамплином для подлинной экономической реформы — пенсионных систем вдов в нескольких штатах, которые точнее было бы назвать детскими пенсиями. Законодательные органы были не в том положении, чтобы противостоять апелляции от имени бедной вдовы, и они были настолько одурманены своей традиционной мягкосердечностью, что не смогли осознать

социалистическую основу этого нового вида вдовьих пенсий. Следовательно, Америка удостоилась любопытной чести возглавить социалистическую инновацию, которую европейские государства сейчас только начинают копировать. Страхование по беременности и родам, с другой стороны, не продвинулось вперед в Америке, хотя было введено много лет и даже десятилетий назад в европейских странах. У нас препятствием, по—видимому, является скорее ханжество, чем капитализм - законодатель краснеет, когда слышит, как публично говорят о родах, в то время как о вдовстве он плачет только при упоминании.

Один аспект вдовства редко затрагивается, и это его предотвращение. Престарелые вдовы, в целом, несмотря на то, что они занимаются мыльным боксом и зарабатывают себе на жизнь, - очень одинокая раса. Почему они должны навлекать это на себя, выходя замуж за мужчин, чьи ожидания от жизни намного меньше, чем у них? И все же вступающие в брак люди так стремятся соблюдать это общепринятое неравенство в возрасте, что, если невесте случается быть всего на три месяца старше жениха, они с тех пор скрывают это как своего рода семейный позор. Даже если эта конвенция окажется незыблемой, неужели ничего нельзя сделать с меньшим долголетием американских мужчин? Существует институт продления жизни с экс-президентом во главе, но, насколько мне известно, он никогда не заручался поддержкой миллионов, зарегистрированных переписью как вдовы, которые, несомненно, если вообще кто-либо должен понимать важность такого движения. Принято считать, что более ранняя кончина мужей происходит из-за опасной жизни, которую они ведут в бизнесе и на производстве; но домашняя жизнь не лишена опасностей, и деторождение является особенно опасным занятием в Соединенных Штатах, где уровень материнской смертности самый высокий из семнадцати цивилизованных стран. Если бы американские мужья менее философски относились к тяготам родов - суду Евы и всему подобному — а американские жены менее философски относились к похоронам своих мужей — Господь дал и Господь отнял и так далее — это могло бы привести к большему здоровью и счастью для всех заинтересованных сторон.

Но главная проблема американского брака, как известно всему миру, заключается в том, что развод так часто разлучает супругов еще до того, как у смерти появляется хоть какой-то шанс разлучить их. Растущая распространенность разводов статистически подтверждается серией переписей населения. В 1890 году на каждые шестнадцать браков приходилось по одному разводу; в 1900 году - по одному на каждые двенадцать браков; а в 1916 году - по одному на каждые девять браков. Число браков пропорционально численности населения также увеличилось за тот же период, хотя и не такими темпами, как число разводов. Но развод, будучи намного моложе брака, получил больше возможностей для развития по сравнению со своим скромным испуганным началом пятьдесят лет назад. Хмурый взгляд королевы Виктории оказал очень обескураживающее влияние на развод в Америке; и миссис Хамфри Уорд, изучавшая этот вопрос у нас в начале 20 века, оказала свое личное влияние на искоренение американского зла. Мы также воздвигли по эту сторону океана наших собственных апостолов против разводов, среди которых мистер Горацій Грили, возможно, занимает первое и наиболее выдающееся место. Но, несмотря на все героические крестовые походы, количество разводов продолжает расти. Есть даже подозрение, что заметный рост числа браков частично — возможно, в значительной степени — обусловлен повторным вступлением разведенных в брак. Во всяком случае, они представляют собой новый и подходящий материал для брака, которого раньше не хватало.

Установить истинную причину роста числа разводов в Америке непросто. Комиссии и расследования занялись этим вопросом безрезультатно и с триумфом вышли через ту же дверь, через которую вошли. Похоже, это проверка успешного расследования развода; и неудивительно, ведь настоящий поиск означает конфликт с лицемерием и предрассудками, страхом и табу, выдержать который способен только бесстрашный дух Джона Милтона или Сьюзен Б. Энтони. Люди, которые хотят разводов и которые могут за них заплатить, похоже, в наши дни могут их получить, и поскольку страдает только правда, ситуация стала более терпимой.

В то же время существуют популярные впечатления и предположения, которые не согласуются с известными фактами. Предполагается, что разводы в Америке распространены часто, потому что это легко, и что логичным способом сократить их количество было бы сделать их трудными. В некоторых штатах Запада действуют мягкие законы о разводе, но в других штатах действуют строгие законы, в то время как Южная Каролина полностью отменила развод в 1878 году. В целом, наши законы не столь снисходительны, как в Скандинавии, где уровень разводов все еще намного отстает от Соединенных Штатов. Развод в Америке тоже не дешевый; он чрезвычайно дорогой. Поэтому для бедных это практически недоступно. Суды по семейным отношениям не разрешают развод, и Общества юридической помощи не будут этого касаться. Класс наемных работников, как, например, жители Южной Каролины, просто должны научиться обходиться без этого. Существует и другое мнение, вряд ли подтверждаемое фактами, что большинство разведенных жен получают алименты. Среди всех разводов, разрешенных в 1916 году, 73% даже не просили об алиментах. Среди жен, а в целом их получали менее 20%. из них. Статистика не сообщает нам, были ли фактическими получателями алиментов матери маленьких детей или же это были трудоспособные дамы без потомства. Среднестатистическому американскому суду по бракоразводным процессам нельзя было доверять в том, что он увидит между ними какую-либо разницу.

Война, естественно, увеличила число исков о разводе в каждой стране. Не зря британское правительство назвало стипендии, выплачиваемые женам солдат, “пособиями при раздельном проживании”. Условия военного времени имели тенденцию как расторгать браки, так и заключать их. Кратковременное распространение разводов вновь возродило идею единого закона о разводах, воплощенную в поправке к Федеральной конституции. Поскольку надеяться ни на какой разумный закон невозможно, нынешнее состояние неразберихи бесконечно предпочтительнее, поскольку оно предоставляет по крайней мере некоторый выбор ресурсов человеку, который ищет помощи. Если бы существовала хоть какая-то тенденция забирать дела о разводах из рук юристов, как это было сделано с несчастными случаями на производстве, и передавать их в суды по семейным отношениям, где им самое место; если бы существовала хоть малейшая возможность обуздать корыстный интерес газет к новостям о разводах; если бы начиналось понимание абсурдности наказания за попустительство самой неопровержимой причине развода, то есть взаимному согласию; если бы существовала хоть какая-то вероятность того, что ложь и шпионаж, от которых обычно зависит успех бракоразводного процесса, рассматривались бы как самая грубая аморальность во всей ситуации; если бы была хоть какая-то надежда на то, что государственный деятель может выступить в Конгрессе и, подобно Йохану Кастбергу из Норвегии, защитить правовую меру, которая помогла бы обычным мужчинам и женщинам говорить правду в своих личных отношениях, - если бы была хоть какая-то перспектива того, что любое из этих влияний будет иметь какой-либо вес в обсуждениях Конгресса, можно было бы с проблеском надежды

рассматривать возможности федеральных действий. Но поскольку ничего подобного ожидать не приходится, лучшее, что может произойти в отношении развода в ближайшем будущем, - это чтобы Конгресс оставил это дело в покое. В историческом движении за избирательное право Америки существует сильная традиция, которая выступает за либеральные законы о разводе и которая делает маловероятным, что реакционная мера может получить достаточную поддержку со стороны женского электората. Поскольку большинство тех, кто добивается развода в этой стране, составляют женщины, это, по-видимому, логично ставит их на сторону расторгнутого брака.

Хотя слово "дом" в Америке священо, оно переносится с места на место. Миграция - это национальная привычка, которая передавалась по наследству и до сих пор сохраняется с тех времен, когда каждое поколение отправлялось осваивать новые земли. Бедствия Гражданской войны вынудили семьи с Юга и из Новой Англии поспешно перебраться на дальний Запад. Развитие железных дорог и экспресс-систем привело в качестве побочного продукта к такому типу семейной жизни, который неизбежно был кочевым. Мужчины из железнодорожных "Братств" всегда выходили замуж за мужчин, и их семьи овладели искусством жить, так сказать, на колесах. Богатые фермеры Среднего Запада уходят на пенсию, чтобы провести старость в калифорнийском коттедже, окруженном апельсиновой рощей, а молодые фермеры переезжают в город. Американская семья путешествует под любым предлогом. Невротическая погоня за здоровьем создала большие сообщества в Колорадо, Аризоне и других точках на Западе. Целые семьи, как говорится, "собирались" и отправлялись в чудесный климат, который должен был спасти одного из их членов от страшного туберкулеза, а позже им снова приходилось переезжать, потому что чье-то сердце не выдерживало "высоты". Крайние примеры этого кочевого образа жизни встречаются среди семей очень бедных и очень богатых, которые совершают регулярные сезонные миграции. Производители устричных консервов и сборщики клубники обладают мобильностью, сравнимой только с мобильностью жителей Палм-Бич. И, наконец, существует любопытная практика Новой Англии, которая удерживает пансионеров летом, чтобы зимой их могла заселить Флорида.

По контрасту со всей этой географической нестабильностью впечатляюще выделяется устойчивое влияние условностей и обычаев. С каждой сменой обстановки семейные традиции становились все более священными. Унитарии, переехавшие в Канзас, были более ревностны в вере, чем когда-либо, а члены Ф.Ф.В., обосновавшиеся в Техасе, были яростно и бессмертно преданы памяти Покахонтас. Семьи, которые постоянно теряли свое происхождение, пытались закрепить в какой-то форме престиж предков, который всегда грозил испариться. Организации, состоящие из Сыновей и Дочерей Революции, потомков Пилигримов, ветеранов Гражданской войны, Отпрысков Конфедерации и так далее, возникли и процветали на обильной почве семейной гордости. Все это означает, что новаторство не принесло духовной независимости или интеллектуального возрождения, и что новые условия были тщательно переформулированы с санкции старых. Прежде всего, санкция была важна. Это невероятное учреждение, "светская хроника" местной газеты, взяло на себя ответственность там, где ее возложило прошлое. Стереотипные ценности вчерашнего дня уступили место стереотипным ценностям сегодняшнего дня. Это была коммерческая возможность для множества домашних журналов и женских журналов, которые стремились — с помощью рассказов, фотографий и рекламы — раскрыть мельчайшие детали домашней жизни. Но перфорированные узоры, продукты, "выпущенные из ружей", и все остальные трудоемкие изобретения, которые хлынули потоком в дом и которые, как предполагалось, означали раскрепощение матерей и их семей, не принесли

с собой ничего от настоящего духа свободы. Нашей материалистической цивилизации трудно понять, что свобода достигается не с помощью устройств, экономящих время, а только с помощью любви к ней.

Но пресловутое баловство американского ребенка, — кто-то говорит, - разве это не настоящая колыбель свободы для личности? Избалованный ребенок может быть помехой, но если он находится на пути к тому, чтобы стать самостоятельным, самовыражающимся взрослым, “американский способ” воспитания детей может иметь свои особые преимущества. Но избалованный ребенок на самом деле остается младенцем, и по этому признаку он находится на пути к тому, чтобы стать инфантильным взрослым. Также нельзя решить его дело, просто признав его досадной помехой; последствия его порчи простираются гораздо дальше. Они проявляются, например, в недоедании детей американских богачей — факт, который был обнаружен совсем недавно и который стал большой неожиданностью для экспертов. “В Чикаго, ” рассказывает нам один из них, - было обнаружено, что группа детей-иностранцев рядом со скотными дворами составляла всего 17 процентов. недостаточный вес, в то время как в общеамериканской группе близ Чикагского университета их было 57 процентов. ниже нормы ”. Такое же положение вещей было обнаружено в избранной и дорогой школе-интернате в окрестностях Бостона. Жалкий комментарий — не правда ли?— о стране, которая лидирует в мире по производству продуктов питания и получению прибыли от продажи продуктов питания, о том, что в ней должно быть так много родителей, которые, имея в своем распоряжении все ресурсы земли, не знают, как прокормить своих собственных детей. Несомненно, знаменитое американское баловство имеет к этому какое-то отношение. Вполне возможно, что оно также стоит за огромным количеством психических расстройств среди населения. Приюты внезапно оказались переполнены. Национальный комитет по психической гигиене предполагает в качестве нашего утешения, что это может быть связано с тем, что приюты стали намного гуманнее, чем раньше, и семьи пострадавших более охотно, чем раньше, помещают их в специальные учреждения.

Стало модным приписывать все эти психические трагедии напряжению деловой жизни и промышленности, а в последнее время и шоку от войны. Но если мы хотим согласиться с результатами новейших психологических исследований, то львиная доля вины должна лежать на семье. Основа для фатальных разрывов взрослой личности закладывается в детстве и в доме, в котором родилась жертва. В течение многих лет обсуждение американских нервов зависело от лихорадочной спешки деловой и промышленной жизни, от шума, суеты и отсутствия покоя в национальной атмосфере. Но мы не удосужились прямо обвинить семью в неспособности защитить ребенка от катаклизмов будущего, пока у нее был шанс.

Огромное влияние семьи на людей, старых и молодых, составляющих ее, - это не просто благочестивая вера. Увы, мы такие, какими нас делают наши семьи. Это неприятная мысль для многих людей, которые на горьком опыте научились смотреть на семейные отношения как на форму заключения души. И все же кажется неоспоримым фактом, что личность впервые формируется — или деформируется — в семейной расстановке. Дом действительно выполняет работу, за которую школа, пресса, церковь и государство позже получают похвалу. Однако это четко сформулированный курс от колыбели и далее, в ходе которого поработанный родитель производит на свет поработанного ребенка не столько с помощью розги дисциплины, которая очень мало фигурирует в жизни американской семьи, сколько с помощью более мощной и всепроникающей силы привычки и отношения. Родители позволяют себе быть средством

передачи непрекращающегося давления стандартов, которые не оставляют места импульсу и инициативе; они становятся добровольным инструментом общественной мании стандартизации, которая пытается превратить каждую человеческую душу в подобие сложенного шаблона. Младенец в колыбели превращается в мужчину, который уронит сентиментальную слезу, наденет белую гвоздику и отправит телеграмму в День матери — эту пародию на семейный праздник, которая стыдит привязанность и заставляет краснеть спонтанное чувство.

По мере того как сама семья становится все меньше, это давление механистических и общепринятых стандартов все сильнее давит на ребенка. Значительная группа братьев и сестер создает для себя дикий мир, который является их лучшей защитой от цивилизации, которая их ожидает. Но с одним или двумя детьми или с широко разбросанными группами эта естественная защита теряется. Ребенок преждевременно ассимилируется во взрослом мире родителей, которые в настоящее время, из-за более позднего брака, даже не так молоды, как были раньше. Особенность родителей, особенно матерей, в том, что они никогда не испытывают ни малейшего сомнения относительно того, могут ли они быть лучшей из всех возможных компаний для своих детей. И очевидно, что усталый деловой человек не может должным образом заменить по вечерам шумного, орущего брата, который вообще никогда не появлялся на свет; точно так же сосредоточенная забота самой преданной матери не может заменить дружеского общения и дисциплины, которые дети получают от других детей. Эти соображения заслуживают большего внимания, чем им обычно уделяется в связи с падением рождаемости. Приведенные цифры означают, что среда, в которой находится маленький ребенок, претерпевает фундаментальные изменения. Родителям из маленьких семей необходимо предпринять эффективные шаги, чтобы восполнить потерю. Практические вещи, такие как детские сады, могли бы помочь. Но, главное, если родители будут настаивать на том, чтобы быть компаньонами своих детей, им самим нужно понимать и практиковать искусство общей радости и счастья.

Кэтрин Энтони

ИНОПЛАНЕТЯНИН

Иностранец-иммигрант обсуждался англосаксами так, как если бы он был англосаксонской "проблемой". Лейбористы обсуждали его так, как если бы он был лейбористской "проблемой"; интерпретаторы американских институтов - так, как если бы человек существовал для институтов и для тех институтов, которые класс, интерпретирующий их, счел выгодными для своего класса. Иногда инопланетянин обсуждался с точки зрения инопланетянина и, но редко, с точки зрения демократии. "Проблема" инопланетянина - это в значительной степени проблема наведения порядка в нашем собственном доме. Это "проблема" американизации Америки. Выдающимся фактом трех столетий иммиграции является то, что иностранец-иммигрант перестает быть иностранцем, когда экономические условия таковы, что позволяют ему должным образом ассимилироваться.

Есть что-то довольно забавное в том, как Америка обсуждает “инопланетянина”. Потому что все мы инопланетяне. И что нам меньше всего нравится, мы почти все произошли от крестьянских классов Европы. Мы здесь, потому что наши предки были бедны. Они не правили там. Их угнетали; ими часто владели. И, за немногими исключениями, они пришли сюда из-за своей бедности. Богатые редко эмигрируют. И в 17-18 веках, вероятно, был меньший процент иммигрантов, которые могли пройти тест на грамотность, чем сегодня. Более того, в первые дни только страдания могли вывести бедняков Европы из состояния нищеты. Поскольку условия передвижения были опасными. Число погибших от болезней было очень высоким. Чтобы пересечь Атлантику и миновать кольцо поселенцев на нерушимой границе, требовалось больше мужества, чем сегодня, чтобы миновать остров Эллис и окружающих его эксплуататоров.

Иммиграционный вопрос возник потому, что Америка тоже создала мастер-класс, класс, который владеет, нанимает на работу и правит. И пришелец в Америке сталкивается с классовым мнением, порожденным переменами, произошедшими в Америке, а не какими-либо изменениями в самом пришельце. Америка изменилась. Пришелец остался почти таким же. И самый важный этап иммиграционной проблемы - это то, как мы относимся к иностранцам, и лицемерие, с которым мы обсуждаем эту тему.

Социологи дали нам классификацию иностранцев-иммигрантов. Они говорят о “старой иммиграции” и “новой иммиграции”. Первый - иммиграция 17-18-го и первых трех четвертей 19-го веков. Это были англичане, шотландцы, ирландцы, немцы, скандинавы с примесью французов, швейцарцев и представителей других национальностей. С самого начала преобладали британцы. В течение 18 века наблюдался сильный приток шотландцев, а в первой половине 19-го - интенсивная ирландская и немецкая иммиграция. Ирландцы пришли сюда из-за голода 1848 года, шотландцы - в значительной степени из-за законов об огораживании территорий и изгнания людей с земель, чтобы освободить место для оленьих заповедников и пастбищ для британской аристократии. Большая часть британской иммиграции была результатом того или иного репрессивного земельного законодательства. За три четверти века население Ирландии сократилось с восьми миллионов до чуть более четырех миллионов. Британский иммигрант 17 века, как и недавняя российская иммиграция, был изгнан из дома экономическим гнетом. Лишь горстка приехала, чтобы спастись от религиозного гнета или обеспечить себе политическую свободу. Причина иммиграции оставалась неизменной с самого начала и до сих пор.

“Старая иммиграция” происходила с Севера Европы. Она имела германское происхождение. Преимущественно протестантское. Но самый важный факт из всех и который чаще всего игнорируется, - это экономический факт. Первый иммигрант обнаружил, что его ждет обширный континент, населенный только индейцами. Он стал свободным человеком. Он основал усадьбу. Он перестал принадлежать кому-либо еще. Он строил для себя. Он не платил арендной платы, не принимал заказов, сохранял то, что производил, и был вдохновлен надеждой и честолюбием развивать свои способности. Именно экономическая, а не политическая свобода отличает “старую иммиграцию” от “новой”.

“Новая иммиграция” происходит из Южной и Центральной Европы. Она латинская и славянская. В основном католическая. Она тоже бедная. Ее тоже вытесняют угнетения, в основном экономические и по большей части земельные. Почти каждая волна иммиграции была так или иначе связана с изменениями к худшему в земельной системе Европы. Везде, где

бедность была самой удручающей, там импульс к переезду был самым сильным. Именно бедность Европы определяла нашу иммиграцию с 17 века по настоящее время.

Этнические различия вторичны. Религиозные - тоже. Фундаментальный факт, отличающий "старую иммиграцию" от "новой", экономический. "Новая иммиграция" работает на "старую". Он обнаружил, что все свободные земли заняты. Общественное достояние перешло в руки тихоокеанских железных дорог, в большие поместья манориалов. Земельные воры повторили акты британского парламента 18 века. Движение народов на Запад, продолжавшееся с незапамятных времен, подошло к концу, когда первопроходцы 80-х и 90-х годов обнаружили, что для заселения остались только неплодородные земли. Так закончилась целая эпоха. Это закрыло землю для заселения и отправило иммигранта в город. Крестьянин Европы стал шахтером и рабочим на мельнице. Он оставил один вид крепостного права, чтобы взяться за другой. Именно это отличает "старого иммигранта" от "нового". Именно это отличает старую Америку от Америки сегодняшнего дня. И проблема иммиграции, как и проблема Америки, заключается в восстановлении экономической демократии. Защитный тариф породил экзотическую промышленность. Работодатель хотел дешевую рабочую силу. Владельцы шахт и мельниц объединились с пароходными компаниями, чтобы стимулировать иммиграцию. Они засылали агентов за границу. Они привлекали банды из Южной и Центральной Европы. Они загоняли их в шахтерские лагеря, в промышленные города, в многоквартирные дома. Закрытие общественного достояния и подъем монопольной промышленности знаменуют поворотный момент в иммиграции. Это знаменует начало иммиграционной "проблемы". Отчасти она этническая, но в основном экономическая.

"Новая иммиграция" из Южной и Центральной Европы начала увеличиваться в объеме примерно в 1890 году. Оно пришло из Южной, а не Северной Италии, из Польши, Венгрии, Богемии, России, с Балкан и Леванта. Было небольшое количество испанских и португальских иммигрантов. В 1914 году иммиграция в Южную и Центральную Европу составила 683 000 человек, в то время как иммиграция в Северную Европу составляла всего 220 000 человек. Из первых 296 000 прибыли из Италии, 123 000 - из Польши, 45 000 - из России и 45 000 - из Венгрии. Эти цифры не включают еврейских иммигрантов, которых насчитывалось 138 000. Из североевропейских иммигрантов 105 000 прибыли с Британских островов, 80 000 - из Германии и 36 000 - из скандинавских стран.

Из 14 000 000 человек иностранного происхождения, находящихся сейчас в стране, очень большой процент приходится на представителей Южной и Центральной Европы.

Мы привыкли думать о старой и новой иммиграции в терминах рас и религий. И большая часть современной враждебности к иммиграции проистекает из необъяснимого предубеждения, которое недавно возникло по отношению к лицам различных рас и религий. Предполагается, что новая иммиграция бедна и невежественна, потому что она этнически непригодна ни к чему другому и что она предпочитает многоквартирные дома и шахтерский лагерь американским стандартам жизни и культуры. Но новоприбывший иммигрант отправляется в шахты и перенаселенный город не по собственному выбору, а по необходимости. Он живет в колониях со своими собратьями в основном потому, что класс работодателей предпочитает, чтобы он был изолирован, и не заинтересован в его физическом комфорте или благополучии. Инопланетянин был товаром, а не человеком; он был намного дешевле машины, потому что он обеспечивал свои собственные капитальные затраты и обеспечивал свой собственный износ и распад. Его

купили в трущобах Европы за деньги на проезд, и его могут оставить умирать с голоду, когда плохие времена или промышленная мощь заставят его полагаться на собственные ресурсы. Важное различие между “старой иммиграцией” и “новой иммиграцией” не этническое. Оно не религиозное. Оно экономическое. “Старая иммиграция” превратилась в класс собственников и нанимателей, в то время как “новая иммиграция” - в класс рабов и зависимых. В этом реальное, важное различие между “старой иммиграцией” и “новой”. Первому принадлежат ресурсы Америки. Экономическое разделение примерно совпадает с расовым.

Когда экономические привилегии становятся доминирующими, рождается страх. Это порождено подсознательным осознанием привилегированными классами того, что их привилегии покоятся на несправедливом, если не на неустойчивом фундаменте. Страх является причиной ненависти, и за другими объяснениями нынешнего требования об исключении чужака стоит страх. Именно страх породил преследование и безжалостную официальную и полуофициальную деятельность сначала против всех иностранцев в соответствии с Законом о белых рабах и подобными законами, затем против немцев, а позже и против “красных”. Экономическая психология, порожденная несправедливостью, объясняет наше нынешнее отношение к инопланетянам точно так же, как иная экономическая психология объясняла наше отношение в течение первых двух с половиной столетий нашей жизни, когда государственные деятели, спекулянты недвижимостью и эксплуататоры стремились заселить континент и развивать нашу промышленность и ресурсы как можно быстрее.

Так называемая “иммиграционная проблема” всегда была и всегда будет экономической проблемой. Есть много людей, которые считают, что англосаксонской расе присуще превосходство; что она обладает лучшим умом, большей добродетелью и лучшей причиной для существования и экспансии, чем любая другая раса. Они настаивают на том, что существуют евгенические причины для исключения иммиграции из Южной и Центральной Европы; они сохранили бы Америку для людей англосаксонского происхождения. Как чиновник иммиграционной службы, я руководил островом Эллис в течение пяти лет. За это время в порт Нью-Йорка прибыло, вероятно, миллион иммигрантов. По большей части они были бедны. В этом они были похожи на первых иммигрантов. У них были и другие общие качества. Они были амбициозны и полны надежд. По большей части они были добры и подвижны теми же человеческими и домашними добродетелями, что и другие народы. И для меня остается открытым вопрос, не разовьет ли “новая иммиграция”, если ей предоставить девственный континент, а также надежду и стимул, вытекающие из такой возможности, те же качества ума и характера, которые мы считаем более или менее исключительными характеристиками англосаксонской расы. Есть также основания полагать, что более теплый темперамент, эмоциональные качества и любовь к искусствам, которые характеризуют южную и Центральную Европу, могли бы привести к смешению рас при надлежащих экономических условиях, что привело бы к более совершенной расе, чем раса чисто северного происхождения. Ибо следует помнить, что не политическая, религиозная или личная свобода превратила первого иммигранта из Северной Европы в современного американца. Его качества были порождены экономическими условиями, свободным континентом, землей, которую можно было получить по первому требованию, равными возможностями со своими собратьями сделать свою жизнь такой, какой он хотел бы ее видеть. Старый иммигрант не признавал никого, кроме самого себя. Он был равен своим соседям во всех отношениях. У него не было комплекса неполноценности, порожденного рабскими отношениями. Именно это, а не наши конституции и законы, сделало

американца первых трех столетий тем, кем он был. Именно эта алхимия превратила крепостного из Северной Европы в самостоятельного свободного человека Америки.

Проблема иммиграции возникла, когда эти ранние экономические возможности подошли к концу. Когда все свободные земли закончились, иммигранту пришлось работать на кого-то другого. Он пошел на шахты и в городской доходный дом не по собственному выбору, а по необходимости. Он брался за первую попавшуюся работу. Устроившись, он посылал за своим братом, соседом или другом. Он тоже отправился в шахтерский лагерь или в трущобы. Появились колонии. Пришелец стал изолированным. Он жил сам по себе. И у него развились качества, которые были бы развиты у любой расы в аналогичных условиях. Он тоже боялся. Он был известен как Даго, Макаронник, Работяга. Для него правительство означало полицейского, санитарного врача и иммиграционного инспектора — все агентства, которых следовало опасаться. Он постепенно научился объединяться в профсоюзы. Он пришел к пониманию групповых действий. Он нашел в своей ремесленной организации единственную защиту от работодателей, а в политическом боссе - единственную защиту от агентств, которые вмешивались в его личную и домашнюю жизнь. Иммигрант вскоре узнал, что наши иммиграционные законы были сформированы по экономическим мотивам. Он узнал, что ему грозит депортация, если он не будет работать. Угроза, которая нависает над иммигрантом в первые годы его жизни, - это фраза “вероятно, станет общественным обвинением”. И эта предполагаемая причина депортации прикрывает множество других оправданий, которые могут быть использованы так, как они используются, — в качестве ложного обвинения. Таким образом, иммигрант чувствует, и справедливо чувствует, что все, чего мы от него хотим, - это работать, работать на кого-то другого, принимать то, что предлагается, и быть довольным. Ибо в течение последних нескольких лет им, а также нацией была принята доктрина, согласно которой иностранец не должен жаловаться, он не должен быть агитатором, он не должен протестовать против установленного промышленного порядка или места, которое он занимает в нем. Это усилило его комплекс страха. Это привело к установлению у него отношения неполноценности.

Наше законодательное отношение к иностранцам отражало экономические условия страны. Примерно до середины прошлого века у нас не было никаких ограничительных законов любого рода. Америка была свободна для всех желающих. Мы хотели заселения. Западные штаты просили поселенцев. Они привлекли их с Востока, как они привлекли их из Европы. Мы были гостеприимны к угнетенным. Мы открывали объятия революционным лидерам. У нас не было страхов. Опыт показал, что беднейшие слои населения Европы, даже классифицированные преступники Европы, быстро американизируются под влиянием новых возможностей на девственной земле, где все люди потенциально равны. На протяжении многих поколений существовал страх, что американский континент никогда не будет полностью заселен.

Но все свободные земли исчезли примерно в 1890 году. Дрейф народов на Запад, который происходил с древнейших времен, подошел к концу. Население приближалось к Тихому океану. Города росли с беспрецедентной быстротой. Фабрики нуждались в рабочих. Работодатели обращали внимание на Европу. Они засылали агентов за границу, которые нанимали их в банды. Часто они использовались для вытеснения работников американского происхождения. Их использовали для роспуска трудовых организаций. Иностранцев смешивали, чтобы помешать им организоваться. Заработная плата была, по крайней мере, временно снижена. В течение нескольких лет наша иммиграционная политика формировалась крупными

промышленниками, которые объединились с пароходными компаниями, чтобы стимулировать иммиграцию.

Организованные лейбористы начали протестовать. Ими тоже двигали экономические мотивы. Это обеспечило принятие закона о контрактном труде, который предотвращает увольнение любого работника, которому работодатель заранее предоставил работу. Организации труда начали требовать принятия ограничительного законодательства для защиты своего уровня жизни. Но страна не была готова к ограничительному законодательству. Вместо этого Конгресс принял избирательную политику. Мы исключили нищих, душевнобольных и больных, преступников, аморальных людей и тех, кто мог стать общественным обвинением. Позже мы распространили идею отбора на лиц, которые не верили в организованное правительство, на анархистов и лиц революционных убеждений. Теперь мы исключаем и депортируем из-за мнений, а также из-за физического и психического состояния. Процент отказов в соответствии с этими избирательными законами был невелик. Из 1 200 000 иностранцев, прибывших в страну в 1914 году, только один и одна треть процента. иммиграционные власти отказали во въезде.

Война стимулировала анти-инопланетные чувства. Она предоставила возможность для крестовых походов. Пресса поддержала шумиху. В 1915 году по всей стране была проведена облава на аморальные поступки. Тысячи проституток, сводников и лиц, виновных в каких-либо личных нарушениях, были арестованы по всей стране. Многие из них были депортированы. Требование ограничительного законодательства было поддержано многими различными группами. Оно получило поддержку организованной рабочей силы Южных Штатов, многих протестантских организаций и церквей. Это получило решительную поддержку на Западе.

“Тест на грамотность”, вступивший в силу в 1917 году и требующий от иностранца умения читать на каком-либо выбранном им языке, был первой введенной ограничительной мерой. Его целью было сдержать приток беженцев из Южной и Центральной Европы. Поскольку в этих странах уровень неграмотности очень высок. Он достигает шестидесяти-семидесяти процентов. в государствах Центральной Европы. С введением теста на грамотность возникло ощущение, что старая иммиграция из Северной Европы возобновит себя. Наши промышленные потребности будут удовлетворяться из Великобритании, Германии и скандинавских стран. Тот же мотив лежит в основе недавно принятого закона, который произвольно устанавливает число лиц, которые могут приехать в любой год из любой страны, равным трем процентам. иностранцев, уже находящихся здесь из этой страны. Это еще больше сместит иммиграцию в Северные страны, и, если продолжать постоянную политику правительства, это обеспечит преобладание англосаксонско-германо-скандинавской расы в качестве расовой группы Америки.

Несмотря на всю озабоченность Конгресса по поводу инопланетянина и недавнее общенациональное движение за его американизацию, никогда не было никакой официальной озабоченности по поводу инопланетянина, его защиты от эксплуатации и жестокого обращения или каких-либо попыток выработать политику реальной американизации. Не то чтобы задача невыполнима. Не то чтобы это было даже экспериментально. В Австралии, Бразилии и Канаде есть более или менее хорошо развитые агентства по оказанию помощи инопланетянину при приземлении, по его защите до тех пор, пока он не сможет защитить себя сам, и по его скорейшей адаптации к новым условиям жизни. Во всех этих странах цель правительства состоит в том, чтобы предоставить иммигранту долю в земле, обеспечить его постоянное проживание в стране и, по возможности, побудить его стать фермером, а не промышленным

рабочим. Это было сделано не только агентствами распределения, но и путем сознательного отбора в стране, из которой прибывает иммигрант, путем предоставления земли тем, кто готов приобрести земельные владения, и путем предоставления кредита от государственных агентств, чтобы позволить поселенцам запасти скот и оборудовать свои фермы. Политика Бразилии была настолько успешной, что многие колонии северных итальянцев были вынуждены поселиться там, и они стали процветающими и довольными фермерами. Другими словами, эти страны сознательно стремились продолжать политику, подобную той, которая преобладала в этой стране примерно до 1890 года, когда иммигрант естественным образом переселялся на землю как средство обеспечения свободы от эксплуататорского класса, который изгнал его из Европы.

Не следует делать вывод, что наша политика "руки прочь от пришельца" после его приземления принесла только зло. Если рассматривать ее в перспективе двух столетий, она сработала удивительно хорошо. Скорость, с которой практически все иммигранты в мире продвигаются по карьерной лестнице, несмотря на препятствия в виде бедности, неграмотности и незнания нашего языка, можно назвать чудом. Это относится как к старшему поколению, так и к младшему. Это наиболее верно в городах, наименее верно в шахтерских поселках и небольших промышленных центрах вокруг сталелитейных заводов и бойен, где тирания класса работодателей наиболее выражена. Ибо новичок быстро усваивает потребности тех, с кем он общается. Он становится неудовлетворенным своей лачугой. Он требует больше и лучшей еды и одежды. Он почти всегда хочет, чтобы его дети учились в школе и поднимались по карьерной лестнице, что для него означает выход из класса разнорабочих, поденщиков или даже ремесленников. И следующее поколение действительно поднимается. Он растет лишь менее быстрыми темпами, чем у первых иммигрантов. Он увеличивает свои желания и притязания. Она считает профсоюз оружием, с помощью которого она может бороться с работодателем, который стремится вызвать смещение языков, религий и рас как средство поддержания работы магазина. В качестве доказательства этого можно привести то, что Объединенная организация работников швейной промышленности Америки состоит почти исключительно из евреев, итальянцев и латиноамериканцев. Это самая интеллектуальная, наиболее социально ориентированная и наиболее высокоразвитая организация труда в стране. Шахтеры в основном мужчины иностранного происхождения. Они тоже приняли передовую социальную программу. Иностранец счел профсоюз наиболее эффективным, если не единственным агентством, с помощью которого он может американизировать себя. И, американизируя себя, он просто делает то, что делали пришельцы прошлых веков, которые предшествовали ему, — он стремится к экономической свободе от господствующего класса.

Америка - это чудесная демонстрация экономических основ всей жизни. Это демонстрация того, что происходит с мужчинами, когда экономические возможности требуют их находчивости и скрытых способностей, с одной стороны, и когда государство, с другой, не вмешивается в их личные отношения. Ибо инопланетянин быстро перенимает более высокий стандарт культуры по мере того, как он поднимается в промышленных масштабах, в то время как его мораль, какой бы она ни была, быстро приобретает окраску его нового окружения, каким бы оно ни было. И если бы были включены все элементы, которые должны входить в рассмотрение предмета, я придерживаюсь мнения, что было бы обнаружено, что мораль, распространенность порока и преступности среди инопланетного населения в значительной степени соответствует экономическому классу, к которому он принадлежит, а не расе, из которой он происходит. Другими словами, предполагаемая распространенность преступности среди иностранного населения объясняется бедностью и плохими условиями жизни, а не этническими причинами,

и в той мере, в какой она существует, она имеет тенденцию исчезать по мере исчезновения условий, которые ее порождают.

Несмотря на то, что наша политика невмешательства в прошлом работала удивительно хорошо, пришло время, когда ее необходимо изменить. Не из-за какой-либо перемены в характере пришельца, а из-за перемены, произошедшей в нашей собственной внутренней жизни. Экономические условия не позволяют иностранцу, как и коренному жителю, стать фермером. Эксплуататорские агентства затрудняют, а зачастую и делают невозможным для фермера зарабатывать на жизнь. Спекуляция землей подняла цены на сельскохозяйственную землю до непомерно высоких цифр. Железные дороги, посредники и банковские учреждения ставят американского фермера в полукрабское положение. Он не может реализовать свой урожай после того, как он собран, или он продает его по цене, которая в конечном итоге приводит его к банкротству. Проблема иммиграции остается экономической проблемой. Она стала американской проблемой. Политика, которую мы должны принять для американизации иностранцев, - это политика, которую мы должны принять и для нашего собственного народа, поскольку, когда экономические возможности для нашего собственного народа подошли к концу, это создало не только проблему иммиграции, но и внутреннюю проблему. Решение одного - это решение другого.

Иностранец сам американизируется, если ему будет предоставлена такая возможность. Перелетная птица перестанет мигрировать, когда у нее появится доля в земле, на которой она была усыновлена. Лучшее лекарство от большевизма - это не депортация, а дом, ферма, государственная политика заселения земель. Конструктивная иммиграционная политика и политика американизации - это та, которая позволит:

1. Направлять иностранцев, а также уроженцев страны, к возможностям трудоустройства, особенно в агентства, которые позволят им стать владельцами домов и ферм;
2. Предоставьте государственные субсидии, как это делается в Австралии, Дании и некоторых странах Южной Америки, в которые потенциальный фермер или домовладелец может обратиться за финансовой помощью. В Дании и Австралии любой мужчина, который проявляет способности и желание заниматься сельским хозяйством и который способен удовлетворить местную комиссию своими способностями, может обзавестись небольшой фермой в фермерской колонии, полностью оборудованной для посева. Грант включает в себя дом и сарай, немного скота и техники, а также достаточный капитал для содержания поселенца в течение первого сезона. Заявитель должен сам оплатить определенную часть первоначальных расходов. Ему помогают специалисты из колонии, советуют, что сажать и как ухаживать за своим скотом. Его продукция продается на кооперативной основе, в то время как большая часть оборудования принадлежит либо сообществу, либо кооперативным агентствам, связанным с сообществом. Земля приобретается государством большими участками до заселения, чтобы предотвратить спекуляцию, в то время как поселенцы обязаны развивать свои владения. Они могут не приобретать ее в спекулятивных целях. Государство Дания таким образом посадило тысячи фермеров, владеющих домовладениями, и за одно поколение практически прекратило аренду ферм. Арендатор фермы и сельскохозяйственный рабочий стали владельцами. Аналогичная политика была разработана в Австралии, где государство выделило миллионы долларов поселенцам. В обеих этих странах колониальные поселения на суше имели большой успех. Сбоев было немного, и государство не понесло никаких потерь.

3. Сбережения иностранца должны использоваться в интересах иностранца. Сотни миллионов долларов ежегодно покидают эту страну в виде денежных переводов. Большая часть денег уходит за границу из-за страха перед американскими банками. Еще многие миллионы скрываются по той же причине. Вклады в почтовых сберегательных кассах - это в основном вклады иммигрантов. Они передаются Национальным банкам и находят применение в коммерческой деятельности. Если бы эти средства были мобилизованы в кооперативных банках, как это делается по всей Европе, или если бы правительство направило их в возобновляемый фонд для оказания помощи людям в строительстве домов, покупке ферм и помощи иностранцу в виде кредита, который у него сейчас нет средств получить; его бы переманили из города на землю, он стал бы владельцем дома и фермы, а не промышленным рабочим, и быстро развил бы те качества ума и характера, которые ассоциируются в нашем сознании с ранними англосаксонскими поселенцами, но которые, скорее, проявляются сами по себе, когда экономические условия поощряют они.

4. Наши законы о депортации являются позором для любой страны. Они являются адаптацией законов о беглых рабах. Иностранец-нарушитель подлежит суду линча, санкционированному государством. Он арестован по жалобе инспектора. Затем он предстает перед судом человека, который его арестовал. Его друзья и родственники не допускаются к участию в судебном процессе. Судья, производивший арест, часто является переводчиком и секретарем, который записывает показания. Он также является его тюремщиком. Он может содержать иностранца без связи с внешним миром. Часто иностранец едва ли знает, за что его арестовали. Часто он не понимает показаний. Местные выводы должны быть одобрены в Вашингтоне Министерством труда. Но утверждение получает клерк, который, как и инспектор, часто хочет сделать запись. Возможность сговора с полицией, с крестоносцами, с работодателями, с торговыми палатами и с организациями, стремящимися "избавить страну от нарушителей спокойствия", очевидна. Часто мужчин арестовывают, судят, осуждают и, возможно, отправляют на корабли, отправляющиеся в их родные страны, прежде чем их семьи узнают о том, что с ними произошло.

Иностранцу отказано в любой защите нашей конституции. Билль о правах на него не распространяется. Он не предстает перед Большим жюри присяжных, суда присяжных не существует, у него редко бывает адвокат, и он часто содержится без связи с внешним миром должностным лицом, которое взяло его под стражу и которое хочет оправдать его арест. Единственное средство правовой защиты, которое есть у иностранца, - это судебный приказ habeas corpus. Но это практически бесполезно. Суды постановили, что если есть крупная доказательств, на основании которых инспектор мог бы действовать, суд не будет пересматривать вывод. А крупная - это вообще любое доказательство. Когда к этому добавляется тот факт, что обвинение, "которое может стать публичным обвинением", распространяется практически на любое условие, которое может возникнуть, и поскольку это обвинение обычно добавляется к другим в качестве средства правовой защиты, к которому инспектор может прибегнуть, шансы на защиту в суде практически равны нулю. По законам в том виде, в каком они существуют сейчас, иностранец - это человек без страны. У него нет защиты по конституции и мало защиты по законам. Иностранец знает это. Он чувствует себя незащищенным. Американская свобода для него означает свободу полицейского, сотрудника здравоохранения или школы, иммиграционного инспектора и агентов министерства юстиции вторгаться в его дом, изымать его документы, арестовывать без ордера, содержать без связи с

внешним миром и депортировать по обвинению, которое часто настолько противоречит фактам, насколько это вообще возможно.

Именно это больше, чем что-либо другое, озлобило иностранца по отношению к Америке за последние несколько лет. Именно это заставляет его чувствовать, что он здесь нежеланный гость. Именно это отправляет сотни тысяч людей обратно в Европу, многие из них - среди лучших иностранцев, и многие из них во всех отношениях достойны нашего доверия и радушного приема.

Надлежащая иммиграционная политика должна быть национальной политикой. Не только для иностранцев, но и для нашего собственного народа. Ведь проблема иммиграции - это всего лишь другая форма внутренней проблемы. Когда мы будем готовы решить одну, мы решим и другую. Представитель одной ветви нашего политического государства является представителем другой. Сегодняшний пришелец не очень отличается от вчерашнего пришельца. У него те же инстинкты и желания, что и у тех, кто прилетел на *"Мэйфлаузере"*. Только те, кто прилетел на *"Мэйфлаузере"*, создавали свои собственные законы и свою судьбу. Те, кто приезжает сегодня, имеют свои законы, установленные для них классом, который их нанимает, и они сами сколачивают свое состояние только тогда, когда пришельцы, пришедшие первыми, позволяют им это делать.

Фредерик К. Хоу

РАСОВЫЕ МЕНЬШИНСТВА

“... не смеяться над поступками людей и в то же время не сожалеть о них или испытывать отвращение, а просто понимать их”. — Спиноза.

В Америке расовая проблема не только не имеет ответа; пока что она даже не сформулирована. Перед лицом обычных экономических, политических и религиозных трудностей люди обычно формулируют верования, которые придают некую рифму и разумность их действиям; но когда речь заходит о межрасовых отношениях, лидеры идут на поводу у фундаментального вопроса, в то время как эмоции масс претворяются в действие, а действие обратно превращается в эмоции, с меньшим вниманием к средствам и целям, чем можно ожидать от самого безумного бомбометателя. Каждый имеет некоторое представление о тысячелетних целях Коммунистической партии, Национальной ассоциации промышленников, ВКТ, "Святых роликов"; но к чему клонят южане, когда они обучают негра и отказывают ему в избирательном праве; какого конечного результата Север ожидает от предоставления избирательных прав и отрицания социального равенства? Надеются ли и Север, и Юг сохранить постоянное расовое разделение населения страны? Если да, то следует ли относить индийцев, евреев и азиатов к неграм как к неассимилируемым меньшинствам? Насколько поведение американского большинства соответствует этой цели, если это вообще цель? Как можно поддерживать постоянное разделение, кроме как с помощью постоянных предубеждений? Что думают об этом расовые освободители, борцы за улучшение положения, возвышение и вообще оптимисты; или думают ли они об этом вообще?

С момента первоначального контакта между массой американского населения и наиболее важными расовыми меньшинствами страны — индейцами, евреями, выходцами с Востока и неграми — чувство самовосхваления большинства всегда находило частичный или полный аналог везде, за исключением рабов и детей рабов. Длительная задержка с зарождением всеафриканизма в Америке и пробирающаяся ощупью неуверенность, которая все еще характеризует его проявления, в значительной степени обусловлены культурной молодостью американских негров. Биологически черная раса достигла зрелости в Африке; в культурном отношении она достигла там значительных успехов еще до времен работорговли. Процесс порабощения не смог стереть физические характеристики расы, но во всем, что связано с культурной жизнью и социальным наследием, негр переродился голым в новом свете.

Когда сравниваешь положение негра с положением трех других расовых меньшинств в момент контакта с разнообразным белым населением, индеец кажется ближе к еврею и выходцу с Востока, чем к рабу. В целом положение индейских племен напоминало положение негров в Африке, но индейцы сохранили большинство элементов дикой культуры и никогда не были полностью лишены средств к существованию на этой стадии развития. Излишне говорить, что евреи и выходцы с Востока были в еще лучшем положении, чем индийцы, поскольку их импортированное культурное оборудование было гораздо более сложным и основательным, а их экономическое положение намного лучше.

Таким образом, четыре расовых меньшинства сильно различались по степени своей самодостаточности, а также, наоборот, по степени своей потребности в погружении в течение американской жизни. Совершенно очевидно, что негры были наименее независимыми и больше всего нуждались в ассимиляции. Однако необходимость в группе пришельцев была не единственным важным фактором в этом вопросе ассимиляции. Каждое из меньшинств с самого начала подвергалось предубеждению большинства, и та группа, которая первой лишилась собственной жизни из-за контакта с белыми, подверглась максимальному преследованию.

Стандартным объяснением или оправданием расовых предрассудков является теория неравенства расовых групп. Однако, несмотря на все их стремление подкрепить заранее сделанный вывод, расовые патриоты не смогли доказать никакими доказательствами, историческими, биологическими или психологическими, что расовые различия являются не просто признаками непохожести, а скорее врожденным превосходством или неполноценностью. Антропологи довольно хорошо согласны с тем, что физические различия делят человечество на три основные группы: европейцев (включая евреев), монголоидных (включая американских индейцев) и негроидных; но наука не установила определенного предела соответствующим возможностям этих групп. Другими словами, расовым предрассудкам оставалось предполагать недоказанную неполноценность и разрабатывать все возможные меры для того, чтобы сделать жизнь нежелательных рас именно такой, какой она была бы при отсутствии вмешательства, если бы предполагаемая неполноценность была реальной.

Принять термин “расовые предрассудки” как точное описание чувств, к которым он обычно применяется, означает предположить, что эти чувства берут начало в расовых различиях, если не в неравенстве рас. Это, однако, еще предстоит доказать. Расовые различия являются фактором ситуации везде, где две расы контактируют, но общеизвестно, что члены двух или более расовых групп иногда общаются на условиях наибольшего дружелюбия. Приписывать

“расовые предрассудки” расовым различиям и оставлять расовую дружелюбность совершенно необъяснимой - значит намеренно закрывать глаза на существование переменных причин, которые одни могут объяснить переменные результаты, проявляющиеся при наличии расовых констант. Расовое неравенство в интеллекте, если оно действительно существует, является просто одним из ряда вездесущих расовых различий, и во всех этих различиях, взятых вместе, нельзя найти адекватного объяснения изменчивому явлению, обычно называемому “расовыми предрассудками”, но обозначенному так здесь только для удобства.

Любая серьезная попытка разобраться в нерасовых причинах “расовых предрассудков” в Америке обязательно включала бы сравнение, пункт за пунктом, экономических, социальных, политических и интеллектуальных условий в различных населенных пунктах Соединенных Штатов с соответствующими местными условиями в других странах, где расы, находящиеся здесь в конфликте, более близки к миру. При нынешнем состоянии знаний расовая теория расовых предрассудков явно неадекватна, в то время как нерасовая теория является гипотезой, которая не может быть ни доказана, ни опровергнута. В таком случае, случайные рассуждения, которые следуют далее, предлагаются не как доказательство этой гипотезы или объяснение существования расовых предрассудков в Америке, а просто как стимул к расследованию.

Исходя из этих рассуждений, можно сказать, что блага и возможности материальной жизни, в отличие от благ и возможностей интеллектуальной жизни, часто не могут быть разделены без потерь для первоначального владельца. По этой причине конкуренция, вероятно, будет особенно острой и мстительной там, где материальным интересам отводится первостепенное место. Также, возможно, можно с уверенностью сказать, что длительная озабоченность американского большинства развитием своего материального наследия принесла большинству тяжелое наследие материализма. Можно рискнуть заявить, что предубеждение коренного белого большинства Америки против негров, индейцев, евреев и азиатов сейчас и всегда было в некотором смысле связано и пропорционально страху большинства перед какими-либо действиями со стороны меньшинства, которые могли бы нанести ущерб материальным интересам большинства, в то время как единственные расовые различия, которые имели какое-либо реальное значение, - это те поверхностные различия, которые позволяют узнать представителей меньшинств с первого взгляда. В любом случае, изучение некоторых фактов, которые легче всего получить в руки, показывает интересное совпадение между предубеждениями большинства и властью меньшинства.

До Гражданской войны структура южного общества зиждилась на рабстве, и страх перед любой гуманизацией негра, которая сделала бы его достойным освобождения, был достаточно силен, чтобы вызвать любую степень предубеждения и любое количество репрессий. Предрассудки белого населения Юга в целом достигли своей максимальной интенсивности, когда эмансипация поставила чернокожих под постоянный политический и экономический контроль над определенными районами Юга. Даже сегодня страх перед политической властью негров и, возможно, также чрезмерно подчеркнутый страх перед “бесчинствами” черных все еще действует на белое население как объединяющая сила; но, несмотря на этот факт, классовые интересы стали ясно видны. Когда черный республиканизм когда-то был загнан в угол, хозяева приступили к восстановлению своих привилегий на основе негритянского труда, который до сих пор является их главной опорой. Лишь несколько негров смогли напрямую побороться за долю в этих привилегиях, и, соответственно, большинство страхов состоятельных людей Юга носят скорее предвосхищающий, чем сиюминутный характер.

С “бедными белыми” дело обстоит совершенно иначе. Здесь не может быть и речи о том, чтобы удержать негра на его месте, ибо с момента Эмансипации место негра во многом соответствовало месту самого бедного белого, по крайней мере, в том, что касается экономического статуса. С точки зрения белого рабочего, негр поднимается слишком высоко в тот момент, когда он становится конкурентом в борьбе за работу, а каждый негр потенциально является именно таким. Соответственно, предубеждение более бедных белых является горьким и неизбирательным и, конечно, не имеет тенденции уменьшаться с перемещением негритянского населения в города.

С появлением большого количества негритянских рабочих в северных промышленных центрах расовые предрассудки начали сильно проявляться среди белых рабочих. Северные хозяева, однако, не проявили особой склонности воспроизводить настроения своих южных сверстников, поскольку на Севере не опасаются политического господства черных, а предложение дешевой рабочей силы ценится так же высоко, как и к югу от Границы.

Несмотря на то, что доля негров в общей численности населения Соединенных Штатов неуклонно снижалась с 15,7% в 1850 году этот показатель составлял 9,9% в 1920 году отношение как северян, так и южан было несколько окрашено страхом, что чернокожие в конечном итоге наводнят страну. Если бы предубеждение не имело никакой другой основы, кроме этой, возможно, не было бы больших трудностей в его излечении. Разумеется, иммиграция частично объясняет растущее преобладание белого населения; но это вряд ли отменяет тот факт, что по всему Югу в течение 1890-1910 годов процент белых по происхождению вырос как в городских, так и в сельских общинах. Обсуждение сравнительных показателей рождаемости также вызывает многочисленные тревоги и отклонения, но цифры едва ли оправдывают высказанные опасения. Статистика показывает, что, несмотря на все усилия людей, которые пытаются удержать черного человека, а затем боятся его еще больше, потому что он размножается слишком щедро, улучшение материального положения негров неизбежно сдерживает процесс размножения.

Если случай негра чрезвычайно сложен, то случай индейца сравнительно прост. Здесь расовые предрассудки всегда выходили за рамки. Пока индеец вмешивался в эксплуатацию страны, пионеры боялись его и искренне не любили. Их чувства проявлялись во всевозможной личной жестокости, а также в процессе массовой экспроприации, но как только племена оказались запертыми в резервациях, неприязнь белого человека к индейцам начала заметно остывать. С самого начала индеец препятствовал экспансии не как экономический конкурент, а как военный враг; когда страх перед ним как перед бойцом исчез, на его место не пришло нового страха. За 1910-1920 годы население Индии фактически сократилось на 8,6 процента.

Если индеец не разделил привилегий и не заплатил цену щедрого участия в американской жизни, то еврей, безусловно, сделал и то, и другое. Во всех важных сферах деятельности члены этого меньшинства доказали, что вполне способны конкурировать с местным большинством, и, соответственно, предубеждение против них не ограничивается каким-либо одним социальным классом, а скорее сосредоточено в тех регионах, где присутствие евреев в значительном количестве предопределяет их конкурентные контакты с представителями всех классов. Хотя как член одной из ветвей европейской расовой семьи еврей ни в коем случае не отличается столь определенными физическими характеристиками, как представители других обсуждаемых здесь меньшинств, тем не менее верно, что, когда еврей был идентифицирован по его

внешности или решил идентифицировать себя, антисемит приобретает вид превосходства, который характеризует проявления предубеждения по отношению к другим меньшинствам. Тем не менее, обычные антисемитские разговоры часто содержат признания в ревности и страхе, и можно с уверенностью сказать, что для объяснения роста антисемитизма в Америке следует обращаться главным образом к таким эмоциям, которые усилились в результате быстрого увеличения еврейского населения с 1 500 000 в 1906 году до 3 300 000 в 1918 году, а не к наследию европейских предрассудков. Включение антисемитизма в число других типов расовых предрассудков, обсуждаемых здесь, достаточно естественно вытекает из того факта, что еврей считается в первую очередь евреем, какой бы ни была страна его происхождения, в то время как славянин, например, в народе считается русским, поляком, сербом - *национальным* а не *расовым* иностранцем.

Подобно еврею, азиат прибыл в Соединенные Штаты как “иностранец”, а также как представитель чуждой расы. Отсутствие этой специальной дисквалификации не принесло особой пользы негру и индейцу, но ее наличие в случае с японцами оказало значительную услугу агитаторам. Преобладающая неприязнь и страх перед новой Японией как мировой державой естественным образом окрасили отношение американского большинства к японским поселенцам в этой стране; но это само по себе вряд ли объясняет, почему калифорнийцы, которые в семидесятых годах выжигали китайцев из домов, теперь сосредоточивают свое предубеждение на японских земледельцах. Факт заключается в том, что с момента принятия Законов об исключении китайское население Соединенных Штатов сократилось более чем на 40 процентов, и важность китайской конкуренции соответственно снизилась, в то время как, с другой стороны, число японцев увеличилось на 53,9 процента. между 1910 и 1920 годами новые конкуренты показали себя более чем достойными белых фермеров. С откровенностью, с которой мы не знакомы ни из-за негрофобии, ни из-за антисемитизма, многие калифорнийцы построили свое дело против японцев на экономическом фундаменте и признались, что они неспособны конкурировать с японцами на равных условиях. Разумеется, существует обычный поток разговоров о неполноценности инопланетной расы, но страха перед конкуренцией, столь откровенно признанного здесь, было бы достаточно само по себе, чтобы объяснить эту новую вспышку “расовых предрассудков”.

Когда рассматриваешь, таким образом, направление, которое приняло предубеждение в отношении негров, индийцев, евреев и выходцев с Востока, начинает казаться, что это чувство может расти, ослабевать и удивительным образом меняться в присутствии расовых факторов, которые всегда остаются теми же самыми. В таком случае возникает вопрос, каким было бы отношение коренного большинства, если бы меньшинства были признаны просто как группы, но не как *расовые* группы. Другими словами, каков был бы результат, если бы расовый фактор был сведен просто к узнаваемости? Вопрос представляет более чем спекулятивный интерес.

* * * * *

Если причины расовых предрассудков лежат совершенно за пределами досягаемости какого-либо простого объяснения, то проявление этих предрассудков со стороны американского большинства, возможно, поддается анализу, который сделает всю ситуацию несколько более понятной. В общем и целом, и со всеми надлежащими оговорками на исключения, можно сказать, что в своих более знакомых проявлениях расовые предрассудки принимают направление, прямо противоположное тому, которое принимают предубеждения против

обычных иммигрантов европейского происхождения; в первом случае предпринимаются сознательные усилия по преувеличению различий между большинством и меньшинством, в то время как во втором огромное количество энергии затрачивается на стирание этих различий. Таким образом, расовые предрассудки стремятся сохранить и даже увеличить ту степень непохожести, которая является оправданием их существования, в то время как предрассудки чужаков отрабатывают себя на работе, “американизируя” иммигранта и превращая его в неузнаваемого члена большинства. С одной стороны, вынужденное разнообразие остается источником трений, в то время как с другой стороны, требуется принудительное единообразие как цена мира.

Хотя перечисление здесь всех средств, используемых на Юге для удержания черного человека на своем месте, не имеет смысла, можно привести несколько примеров, чтобы показать масштабы этих репрессивных мер. В экономической сфере существует ярко выраженная тенденция ограничивать негритянских рабочих самыми скромными занятиями, а в сельскохозяйственных районах широко используется система пеонажа или долгового рабства с целью прикрепления негритянских семей к земле. Районы проживания регулярно разделяются, повсюду действуют правила Джима Кроу, а межрасовые браки запрещены законом во всех штатах Юга. Отправление правосудия находится в руках белых судей и белых присяжных, и шансы негра в такой компании, как известно, невелики. Почти в четверти округов Юга половина или более половины населения составляют чернокожие, но отказ в голосовании исключает негров из местной, государственной и национальной политической деятельности. В религиозных организациях сегрегация является неизменным правилом. Театры и даже публичные библиотеки регулярно закрываются для негров, и в каждом штате Юга сегрегация в школах предусмотрена законом. Некоторое представление о значении последнего положения можно получить из исследования О. Г. Фергюсона о школах для белых и негров в Вирджинии. В этом сравнительно прогрессивном штате общий рейтинг белых школ составляет 40,8 по сравнению с 22,3 для цветных школ, причем последний показатель на семь пунктов ниже самого низкого общего рейтинга для любого штата в Союзе.

Таковы некоторые из законных, внеправовых и незаконных проявлений того предрассудка, который находит свое высшее выражение в деятельности толпы линчевателей и Ку-клукс-клана. В этой стране по-прежнему наблюдается значительное ежегодное число случаев линчевания (в 1920 году жертв насчитывалось шестьдесят пять, из которых пятьдесят были неграми, убитыми на Юге), но список жертв для Юга и для страны в целом неуклонно и заметно сокращался с 1889 года, и доля жертв-негров, обвиненных в изнасиловании или нападениях на женщин, также снизилась с 31,8 процента в 1889-1893 годах до 19,8% в 1914-1918 годах.

С другой стороны, Ку-клукс-клан теперь возобновил свою деятельность по хождению с привидениями под командованием “Имперского волшебника”, который утверждает, что он уже завербовал 100 000 последователей в борьбе за поддержание “Богом установленного” превосходства англосаксонской расы в Америке. Другие заявления из уст Волшебника, по-видимому, указывают на то, что его организация не только антиафриканская, но и антисемитская, антикатолическая и антибольшевистская. Действительно, носители огненного креста, похоже, намерены организовать всеамериканское общество ненависти, и экспансия Клана на Севере уже идет полным ходом.

Однако члены Клана могли бы преуспеть в переносе войны на территорию вражеской страны, даже не добавляя новых предрассудков к своей платформе. На Севере всегда существовало определенное отношение к неграм, и миграция чернокожих в Северные промышленные центры во время войны, безусловно, не привела ни к какому уменьшению существующих предрассудков. По оценкам Национальной лиги городов, недавний массовый исход из Дикси привел к чистому увеличению на четверть миллиона цветного населения в двенадцати городах выше этой черты. Это движение привело к конкуренции чернокожих и белых рабочих во многих отраслях промышленности, где негры до сих пор были совершенно неизвестны, и часто отношения между двумя группами были далеко не дружескими. Поскольку примерно половина “интернационалов”, связанных с Американской федерацией труда, по-прежнему отказываются принимать негров в члены, сами профсоюзы в немалой степени виноваты в том, что работодатели используют негритянских рабочих в качестве забастовщиков.

В двенадцати Северных и Западных штатах действуют законодательные акты, запрещающие браки между белыми и черными. Правила Джима Кроу не действуют к северу от Мэриленда, но в большинстве городов предпринимались постоянные усилия по сохранению сегрегации по месту жительства, и практика дискриминации в отелях и ресторанах является скорее правилом, чем исключением. Линчевания случаются нечасто, но массовые беспорядки в Вашингтоне и Чикаго не совсем свидетельствовали о хороших чувствах между расами. Одной из ситуаций, которая выявила поразительное сходство характеров между Севером и Югом, была ситуация, возникшая в армии во время войны. Общеизвестно, что северяне в военной форме легко прониклись духом южан и оказывали посильную помощь в энергичном восхвалении негров Мичигана и негров Миссисипи с первого дня их службы и до последнего.

Обращение с негром в литературе и на сцене также обнаруживает бессознательное, но тем более важное единодушие мнений. Это правда, что Север не породил Томаса Диксона, но также верно и то, что нежный и непритязательный дядя Том из северных песен и сказок - не кто иной, как дядя Римус, которого так сильно любит Юг. В Бостоне, как и в Батон-Руж, негр, которого больше всего любят, - это верная, скромная и не слишком способная мамушка или дядюшка из старых добрых довоенных времен. Если сделать исключение в случае с “Императором Джонсом” Юджина О'Нила, то можно сказать, что американская литература еще не подбирала сильного, честного чернокожего человека ни на какую иную роль, кроме роли зверя и злодея.

И все же все эти формы дискриминации и репрессий не в полной мере отражают отношение белого населения. Жители Юга полностью осознают необходимость удерживать негра на его месте; тем не менее они не запрещают ему посещать школу. Своего рода образовательные учреждения предоставляются, хотя и неохотно, и в половине штатов Юга посещение школ даже стало обязательным в соответствии с законами (которые могут применяться, а могут и не применяться). Школьное образование не такого рода, чтобы негры могли постоянно и с удовольствием занимать подневольное положение. Вообще говоря, цветные дети получают не профессиональное образование, которое удержит их на своем месте, а старомодное трехразовое обучение, которое не готовит ни к чему, кроме беспорядков. Если беспорядки приводят к урбанизации, то половинчатое образование негров, возможно, служит интересам новых промышленников; но этих промышленных предпринимателей так мало, что их влияние не может перевесить влияние плантаторов, теряющих своих пеонов, и белых бедняков, которые считают негра с одной крупницей знаний несколько более опасным конкурентом, чем негра без

таковых. Следовательно, есть все основания полагать, что если бы белый Юг рационализировал эту ситуацию, негр был бы так же безжалостно исключен из школы, как сейчас он исключен из урны для голосования. На самом деле, образование негров кажется совершенно несовместимым с расовыми предрассудками, поскольку оно обычно проповедуется и практикуется на Юге.

На Севере нет дискриминации в школах, и чернокожие дети и белые проходят через одну и ту же мельницу. В промышленной сфере предрассудки не могут эффективно закрыть для негров все те возможности, которые создаются общими экономическими условиями, и в политике северный негр также находит некоторый выход своей энергии.

Хотя было бы совершенно невозможно показать, что существование этих разнообразных образовательных, промышленных и политических возможностей обусловлено каким-либо общим желанием со стороны представителей белого большинства свести к минимуму различия между ними и неграми, безусловно, верно, что это желание существует у ограниченной части белого населения. В настоящее время "Белые друзья негра" активно участвуют в усилиях по искоренению определенных законных и незаконных форм дискриминации и преследований и оказывают финансовую поддержку большей части религиозной деятельности и большинству частных учебных заведений среди чернокожих. Межрасовый комитет Совета военных работников YMCA перечислил тридцать три социальных и экономических агентства и двадцать три религиозных агентства, в которых представители обеих рас сотрудничают. Следует признать, однако, что многие, если не большинство, белых, участвующих в работе такого рода, подвержены расовым предрассудкам до такой степени, что они желают просто улучшить бедственное положение негров, не устраняя полностью определенную полезную степень расовой сегрегации. Чтобы полностью избавиться от привкуса снисходительности, обычно нужно искать тех крайних социалистических и синдикалистских агитаторов, которые проповедуют политическую или неполитическую классовую организацию как замену знакомым национальным и расовым объединениям.

В случае с американскими индейцами предрассудки и личные интересы белого большинства сделали акцент на географической, а не социальной сегрегации. Здесь белые требовали больше земли, чем рабочей силы, и, как следствие, рабление никогда не считалось главной добродетелью индейского характера.

Если бы первые белые поселенцы того пожелали, они, конечно, могли бы обратить в рабство значительную часть индейского населения, точно так же, как это сделали испанцы, в регионах, расположенных дальше к югу. Однако американцы предпочли изгнать индейцев вглубь страны и заменить их в определенных регионах африканскими племенами, которые в своем родном штате были, возможно, такими же воинственными, как и сами индейцы. Таким образом, при естественном ходе событий африканский воин был превращен в раба, в то время как индийский вождь продолжал оставаться военным противником, а не экономическим слугой эксплуатации, и в конечном итоге приобрел романтический интерес в силу этого факта. Природа этой операции унижения, с одной стороны, и облагораживания - с другой, ясно раскрывается в американской литературе. Последняя фаза работы выполняется сегодня с большим энтузиазмом девушками у костра в лагере и бойскаутами, чья преданность романтическому идеалу индейской жизни нигде не сравнится с подобным интересом к преданиям африканских племен.

Если индейца прославляли отдаленные поклонники, то некоторые из его ближайших соседей его также искренне недолюбливали, и действительно, обращение, которому он подвергался со стороны правительства, по-видимому, отражает последнее отношение, а не первое. Теоретически, большинство индейских резерваций по-прежнему считаются подвластными княжествами, и индейцы, заключенные в пределах их границ, почти полностью отрезаны от экономической, социальной и политической жизни соседних белых общин. Многие племена по-прежнему получают ежегодные правительственные субсидии на продовольствие, одежду, оружие и амуницию, но эти пособия служат лишь для поддержания их в состоянии зависимости, не предоставляя никаких средств выхода из него. Справедливости ради следует, однако, сказать, что правительство заявило о намерении сделать индию самообеспечиваемой, и, соответственно, оно ограничивает субсидии, в принципе, стариками и обездоленными. Несколько штатов продемонстрировали свое полное сочувствие системе сегрегации, приняв законы, запрещающие браки между индейцами и белыми.

С другой стороны, ментальная и моральная американизация красного человека была предпринята протестантскими и католическими миссиями, а совсем недавно - государственными школами. Агентства последнего типа особенно систематичны в своей работе по лишению индейца большинства качеств, за которые он прославлялся в романах, а также тех, за которые его не любили соседи. Многие западные города несколько раз в год наслаждаются зрелищем индийских школьников в синей форме и индийских школьниц с косичками и передничками, марширующих в военном строю по их улицам. Пока этим участникам марша суждено вернуться в резервацию, горожане могут позволить себе смотреть на них с легким любопытством. Время для нового урегулирования межрасовых отношений не наступит до тех пор, пока процессия не повернется к работе белого человека на ферме и заводе — если она когда-нибудь так повернется.

Внимание уже привлекалось к тому факту, что еврейский иммигрант обычно выходит со скамьи подсудимых прямо на арену экономической конкуренции. Соответственно, его прогресс вряд ли когда-либо станет объектом простого любопытства. С другой стороны, проявления предубеждения против евреев были менее агрессивными и гораздо менее систематическими, чем те репрессивные действия, которые затрагивают другие меньшинства. Там, где антисемитизм присутствует в Америке, он, по-видимому, почти полностью выражается в социальной дискриминации в узком смысле этого слова. С другой стороны, экономические, политические и образовательные возможности открываются перед евреями с определенной долей неохоты. Важное исключение из этого правила дискриминации должно быть сделано в отношении тех социалистов, синдикалистов и членов профсоюзов, которые усердно искали поддержки у еврейских рабочих.

У китайца теперь есть друзья и среди людей, которые когда-то считали его чернейшим из негодяев. Действительно, в отношении калифорнийца к выходцам с Востока есть элемент бессознательной иронии, который несколько проясняет характер расовой проблемы. Средний житель Востока, возможно, будет удивлен, узнав, что в глазах Запада китаец, конечно, низший, но, тем не менее, честный человек, известный своей прямоотой и быстрой выплатой долгов, в то время как японец - хитрый человек, которому ни в коем случае не следует доверять.

В Калифорнии травля японцев сейчас почти такая же часть политической предвыборной агитации, как жестокое обращение с неграми на Юге. "Коренные сыны Золотого Запада" и

Американский легион официально заявили о решительном противодействии любой экспансии японских интересов в Калифорнии, в то время как Японская лига отчуждения особенно активна в пропаганде, создающей проблемы. Экономическая дискриминация приобрела законодательную форму в законах о земле для иностранцев 1913 и 1920 годов; дискриминационное законодательство того же общего типа было предложено в Техасе и Орегоне; законопроект, предусматривающий образовательную сегрегацию, был представлен во второй раз в Сакраменто; Конгрессу было настоятельно рекомендовано заменить “джентльменское соглашение” абсолютным запретом японской иммиграции; и даже выдвигается требование о внесении поправки в конституцию, которая лишит гражданства рожденных в АМЕРИКЕ детей иностранцев, которые сами не имеют права на натурализацию. Законодательный метод, возможно, предпочтительнее метода силы и насилия, но если предыдущая история расовых предрассудков что-то значит, это означает, что в случае неудачи законодательства будет применена сила. По сути, дух земельных законов Калифорнии более чем немного напоминает линчевание в Джорджии; как в одном, так и в другом случае доминирующая раса пытается сохранить свои позиции не путем состязания один на один, имея равные шансы для всех, а путем физического нападения *в массовом порядке* на подчиненных людей и их сокрушения.

Если в сфере индивидуального поведения такого рода поведение наносит ущерб как угнетателю, так и угнетенным, то не иначе, когда речь идет о массах людей. Стивен Грэм в своей недавней книге “*Душа Джона Брауна*” говорит, что “в Америке сегодня, и особенно на Юге, рабство остается наследственным пятном, и это проявляется у потомков хозяев в той же степени, что и у потомков рабов. Было бы ошибкой думать об этой американской проблеме как исключительно о проблеме негров”. Действительно, верно, что в каждом случае расовая проблема является проблемой как большинства, так и меньшинства, поскольку первые могут избежать реакции предрассудков не больше, чем вторые могут избежать их прямого воздействия.

Сегодня белый Юг все еще находится под влиянием системы жизни и мышления, которая гораздо более устойчива, чем тот институт, который дал ей наиболее полное выражение. Эмансипация отменила рабство, но она не избавила хозяина от мысли, что это его право - жить трудом раба. Чернокожий человек все еще не освобожден от обязанности обеспечивать досуг определенной части белого населения; не похоже также, что современный праздный южанин использует свое время лучше, чем это делали его предки до него. Действительно, историк, который судил об этих народах главным образом по их вкладу в науку и искусство, все равно был бы вынужден осудить белый Юг не за порабощение негров, а за то, что он растрчивает на занятия бесплодной аристократией досуг, который труд негров создавал и продолжает создавать в такой изобилии. Печально известно также, что на Юге аристократизм распространялся среди белого населения шире, чем досуг, необходимый для его выполнения, в результате чего большая часть честной работы, которую нельзя было возложить на чернокожего человека, была передана потомству и до сих пор остается невыполненной.

Любой, кто стремится обнаружить причину умственной летаргии, которая в значительной степени превратила досуг Юга в простую лень, должен принять во внимание фактор, который всегда присутствует там, где существуют расовые предрассудки. Раса, претендующая на

превосходство, не всегда может преуспеть в экономическом превосходстве над низшей группой; и все же гордость и самодовольство представителей “высшей” расы почти наверняка приведут к лени и угасанию творческого духа. Это почти неизбежно будет верно там, где превосходство одной расы признается другой, и где для поддержания *статус-кво* требуется состязания умов. Это состояние, которое всегда было и остается на большей части старой рабовладельческой территории. В “Дикси” карьерой является просто идти по жизни в белой коже. Каким бы невежественным и никчемным ни был белый человек, все равно это его привилегия - заявлять на любом углу улицы, что он во всех отношениях более прекрасное создание, чем любой из нескольких миллионов человеческих существ, которых он всех вместе взятых называет “ни на что не годными ниггерами”. Если простой констатации этого факта недостаточно, чтобы вызвать горячие аплодисменты всех чернокожих по соседству, белый человек часто более чем готов использовать огонь и меч, чтобы продемонстрировать превосходство, которое он редко опускается до доказательства каким-либо другим способом. Естественно, это чувство данного Богом превосходства имеет тенденцию делать его обладателей ленивыми, невосприимчивыми ко всякого рода новым идеям и вполне готовыми применить “короткий путь с ниггером” к любому, кто угрожает установленному порядку вселенной.

Было бы действительно глупо предполагать, что всеобщая нетерпимость, фанатизм и отсталость, проистекающие из расовых предрассудков, затронули только Юг. У Севера и Запада тоже есть свои предрассудки, свое сознание полнокровного американского превосходства, которое не нужно доказывать, свою лень, свой праведный гнев, свой короткий путь ко всему новому и странному. Ни один здравомыслящий человек не станет приписывать происхождение всего этого зла только расовым предрассудкам, но ни один честный человек не станет отрицать, что практика дискриминации расовых меньшинств помогла заразить всю жизнь и мышление страны дерзким и ошеломляющим провинциализмом.

Возможно, наиболее интересным аспектом всей расовой ситуации в Америке является отношение, которое сами меньшинства поддерживали в присутствии доминирующего предрассудка, который постоянно подчеркивал и преувеличивал различия между меньшинствами и большинством и даже поддерживал дух снисхождения и принцип сегрегации в таких ассимиляционных видах деятельности, как образование и христианская миссионерская работа. Естественно было бы ожидать, что такое отношение со стороны большинства будет стимулировать противоположные расовые предрассудки в каждом из меньшинств, что заставит их также стремиться к сохранению дифференциации.

Хотя такое противоположное предубеждение существовало с самого начала среди индейцев, евреев и азиатов, оно только сейчас начинает формироваться среди негров. Таким образом, условия контакта между черным меньшинством и белым большинством существенно отличались от тех, которые существовали в других случаях, и результаты этого контакта, по-видимому, подтверждают утверждение о том, что до тех пор, пока он остается *односторонним*, самые сильные расовые предрассудки не могут предотвратить культурную и даже биологическую ассимиляцию одной расы с другой. Другими словами, предубеждение в какой-то мере побеждает само себя до тех пор, пока одна из сторон принимает подчиненную позицию; фактически, оно становится полностью эффективным только тогда, когда

презираемая группа отрицает свою собственную неполноценность и бросает упрек обратно тем, с кем оно возникло. Таким образом, новое расовое самосознание небольшой части негритянского населения дает белым, подверженным предрассудкам, полную меру желаемой дифференциации в сочетании с абсолютным отрицанием неполноценности, которая, как предполагается, оправдывает сегрегацию.

Уже указывалось, что порабощение негров лишило их практически всего, к чему могла бы быть привязана расовая гордость, и не оставило им собственного фундамента, на котором можно было бы строить. Таким образом, они не могли добиться никаких успехов, за исключением тех случаев, когда им разрешалось ассимилировать культуру белого человека. Естественным ходом событий первым было усвоение английского языка, а затем вскоре негру была дарована такая доля на небесах белого человека, какую он еще никогда не получал на земле белого человека. Как единственное доступное средство самовыражения, религия имела огромную власть над рабами, и с того дня и по сей день черный Юг изливает душу, взывая к Богу белого человека об освобождении от бремени белого человека. Негритянские “спиритуалы” - это не песни африканских племен, не песнопения свободных воинов. Действительно, белый человек может полностью приписать себе печаль, омрачающую музыку негров, и вложить такие слова в уста Господа:

Спускайся, Моисей,

Далеко внизу, в Египте, "лан"

Скажи старому фараону

Пусть все люди уходят!

Израиль был в Египте

Угнетает "так сильно, что они не могли вынести",

Пусть все люди уходят!

Когда случайные наблюдатели говорят, что чернокожий человек от природы более религиозен, чем белый, они упускают из виду тот факт, что количество членов церкви на тысячу человек в негритянском населении примерно такое же, как в среднем по Соединенным Штатам в целом; и они забывают также о более важном факте, что негр никогда не получал всего, чего хотел, ни от чего, кроме религии, — и притом в изолированных церквях. Это больше относится к черным людям, чем к пролетариям Энгеля, что они очень долго откладывали получение чеков в банке Небес.

Эмансипация и Четырнадцатая поправка, казалось, открывали путь к земному раю; но это видение вскоре было омрачено второй гражданской войной, которая привела к существенной победе белого Юга. Однако экономические репрессии не смогли быть полностью эффективными, и за пятьдесят три года, с 1866 по 1919 год, число американских негров-домовладельцев увеличилось с 12 000 до 600 000, а число негров, управляющих фермами, с 20 000 до 1 000 000. В 1910 году негритянское население все еще составляло 72,6% сельское, но перемещение чернокожих в города в период с 1890 по 1910 год было более быстрым, чем у белых. Образование непосредственно способствовало экономическому прогрессу и привело к росту грамотности среди негров с десяти процентов. в 1866 году до восьмидесяти процентов. в

1919 году. В период с 1900 по 1910 год *темпы* повышения грамотности среди чернокожих были намного более быстрыми, чем среди белых. Таким образом, с того дня, как он был лишен своего собственного наследства, американский негр страстно стремился к чужеродной замене, пока сегодня практически во всем, что связано с культурой, он не становится не черным, а белым - и искусственно отсталым.

Поскольку Америка лишила негра возможности вырасти африканцем и в то же время отказала ему в праве вырасти белым человеком, неудивительно, что несколько отважных личностей среди негров в конце концов пришли к выводу, что для их расы нет никакой надежды, кроме исхода из культуры белого человека и с континента белого человека. Война многое сделала, чтобы подготовить почву для этого нового движения; негры Америки слышали много разговоров о демократии, не предназначенных для их ушей; список их ошибок расширился, но в то же время их экономическая мощь возросла; и многие из них впервые узнали, что значит давать отпор. Некоторые из них вооружились и начали поговаривать о том, чтобы отнять две жизни за одну, когда пришла толпа линчевателей. Затем в Чикаго и Вашингтоне начались беспорядки - и не все жертвы были одного рода. В этом хаосе волнений и восстаний зазвучали новые голоса, некоторые из них призывали негритянских рабочих объединить силы со своими белыми братьями; некоторые были свирепыми и мстительными, столь же резко осуждающими социализм и синдикализм, как и все остальное, что почувствовало прикосновение руки белого человека; некоторые были опьянены, в экстазе от новой религии, проповедуя славу черной расы и надежду на исход черных.

С большим трудом, наконец, появилась организация под названием "Всеобщая ассоциация улучшения положения негров" и "Лига африканских сообществ", которая стала воплощением крайности расового сознания. Этот клан претендует на миллион членов в Соединенных Штатах, Вест-Индии, Южной Америке и Южной Африке и объявляет в качестве своей конечной цели создание черной империи в Африке. С ООН связаны Black Star Line, капитализация которой составляет 10 000 000 долларов, и Negro Factories Corporation, капитализация которой составляет 2 000 000 долларов. Что именно означают эти поразительные цифры в реальных деньгах, сказать невозможно, но одно можно сказать наверняка: Black Star Line уже владеет тремя из множества судов, которые — говорят пророки движения — когда-нибудь будут курсировать по негритянским землям мира.

В довершение кульминации ООН провела в Нью-Йорке в августе 1920 года “первый международный съезд негров”, на котором была разработана Декларация независимости негров, приняты национальный флаг и гимн, а также избраны “временный президент Африки, лидер американских негров и два лидера негров Вест-Индии, Центральной и Южной Америки”.

Лучшее свидетельство природы этого нового движения можно найти в удивительной брошюре под названием “Всеобщий катехизис негров”, выпущенной “по распоряжению Высшего исполнительного совета Всемирной ассоциации улучшения положения негров”. В этом катехизисе под заголовком “Религиозное знание” можно обнаружить следующие пункты:

Вопрос: Создал ли Бог какую-либо группу или расу людей выше другой?

О. Нет; Он создал все расы равными и одной крови, чтобы они обитали по всему лицу земли.

* * * * *

Вопрос: Какого цвета Бог?

О. Дух не имеет ни цвета, ни других природных частей, ни качеств.

* * * * *

В. Если бы ... вам пришлось думать или говорить о цвете Бога, как бы вы его описали?

А. Как черный; поскольку мы созданы по Его образу и подобию.

* * * * *

Чему учил Иисус Христос как основному принципу истинной религии?

А. Всеобщее братство людей, истекающее из всеобщего Отцовства Бога.

* * * * *

Вопрос: Кто несет ответственность за цвет кожи эфиопов?

А. Творец; и то, что Он сделал, не может быть изменено. Прочитайте Иеремию 13:23.

* * * * *

Вопрос: Какое предсказание, сделанное в 68-м псалме и 31-м стихе, сейчас исполняется?

О. “Князья выйдут из Египта, Эфиопия скоро прострет свои руки к Богу”.

* * * * *

Вопрос: Что доказывает этот стих?

О. Что негры создадут в Африке свое собственное правительство с правителями своей расы.

* * * * *

Вопрос: Будут ли когда-нибудь предоставлены неграм равные возможности и обращение в странах, где правят белые мужчины?

О. Нет; они будут пользоваться всеми правами мужчины и свободой только тогда, когда создадут свою собственную нацию и правительство в Африке.

Возможно, уже было сказано достаточно, чтобы стало ясно, что в Америке не существует самобытной черной культуры, которая могла бы спонтанно породить подобное движение. В культурном отношении чернокожий человек - американец; биологически он африканец. Исключительно предрассудки американского большинства вынудили эту группу негров попытаться восстановить культурную и сентиментальную связь, которая была разрушена давным-давно. Задача, стоящая перед лидерами нового движения, представляет собой почти непреодолимую трудность, поскольку, несмотря на всякого рода преследования, общая жизнь и мысли Америки по-прежнему гораздо более доступны негру, чем что-либо явно его собственное.

Культурное кораблекрушение негра на американском берегу, таким образом, поставило его в более полную зависимость от большинства, чем когда-либо были другие меньшинства. В случае с индейцами, евреями и выходцами с Востока расовое название обозначало не просто неполный американизм, но положительное культурное качество, которое сохранилось перед лицом всех несчастий. Эти расы были обеспечены провизией, так сказать, на длительную осаду, в то время как у негра не было иного выбора, кроме как есть из рук белого человека или умереть с голоду.

Система резерваций поставила многие индейские племена в состояние экономической зависимости, но она также помогла сохранить их культурную автономию. В большинстве случаев изолированные общины в резервациях являются явно индейскими общинами. Нематериальное наследие прошлого дошло до нынешнего поколения в довольно полной форме, в результате чего современный индеец обычно может сделать свой выбор между индийской культурой и культурой белых. В этих условиях труд миссионеров и педагогов не был феноменально успешным, о чем свидетельствует тот факт, что число христиан-протестантов на тысячу индейцев по-прежнему составляет лишь примерно одну седьмую от числа негров, в то время как процент неграмотных среди индейцев намного выше. Однако посещаемость школ растет более быстрыми темпами, чем среди белых, и существует вероятность того, что государственные школы в конечном итоге лишат страну всего привлекательного в жизни индейцев.

Ближе к концу 19 века негодование индейцев по поводу властных действий белого человека нашло выражение в религиозном движении, которое зародилось в Неваде и распространилось на восток, пока не насчитало среди своих приверженцев почти всех туземцев между Скалистыми горами и рекой Миссури. Эта мессианская вера носила название связанного с ней церемониала "Танец призраков" и была основана на божественном откровении, которое обещало полное восстановление наследия индейцев. Подобные доктрины, конечно, проповедовались во многих формах и во многих странах, но тот факт, что Евангелие освобождения нашло так много последователей среди негров, индейцев и евреев, живущих в пределах страны, не является большим комплиментом дружелюбию американской цивилизации.

Маловероятно, что сионистская версия этого Евангелия приведет к какому-либо всеобщему исходу последнего названного меньшинства из этой страны, поскольку, несмотря на предрассудки, евреи смогли занять значительное место в Соединенных Штатах. Поскольку передвижения евреев не подвергались систематическим ограничениям, как это было с неграми и индейцами, большая концентрация еврейского населения в городах Востока, по-видимому, в значительной степени обусловлена выбором самих евреев. В настоящее время они доминируют в швейной промышленности, управлении театром и производстве кинофильмов. Примерно десятая часть членов профсоюзов в Соединенных Штатах - евреи, и приверженность значительного числа евреев доктринам социализма и синдикализма, несомненно, была одной из причин предубеждения против расы.

В вопросах, которые имеют более непосредственное отношение к интеллектуальной жизни, евреи проявляют всевозможную степень стремления к ассимиляции и противодействия ей. Среди них много школ с преподаванием иврита, а также некоторые другие школы — частные и дорогие, — в которых работают только нееврейские, "всеамериканские" учителя. Из

семидесяти восьми еврейских периодических изданий, издаваемых в Соединенных Штатах, сорок восемь печатаются на английском языке. В каждом еврейском центре были созданы театры на идише для развлечения народа; но еврейские менеджеры, продюсеры, актеры и драматурги также играли большую роль в общей драматургической деятельности страны. Наконец, что касается религии, то реакция евреев на христианскую миссионерскую деятельность действительно была очень незначительной, в то время как, с другой стороны, число прихожан синагоги на тысячу евреев составляет всего около одной четвертой от общего среднего показателя религиозной принадлежности по Соединенным Штатам в целом. Если принять во внимание тот факт, что в некоторых областях евреи таким образом добились успехов, несмотря на противодействие, в то время как в других они отказались от предлагаемых им возможностей, представляется, по крайней мере, вероятным, что незавершенность их культурной ассимиляции обусловлена как их собственной расовой гордостью, так и предрассудками большинства.

Точно так же и в случае с восточными народами гордость и самодостаточность меньшинства помогли сохранить для него определенную культурную автономию. В отсутствие такого отношения со стороны китайцев было бы трудно объяснить тот факт, что их местная одежда не исчезла за тридцать девять лет, прошедших с момента прекращения иммиграции. Китайский квартал Сан-Франциско по-прежнему носит ярко выраженную китайскую одежду, в основном потому, что сами китайцы предпочли сохранить ее такой. Японцы гораздо благосклоннее отнеслись к традиционному американскому костюму, но вряд ли можно из этого делать вывод, что они более стремятся к общей ассимиляции. На самом деле, можно было бы ожидать обратного, поскольку большинство японцев в Америке ощутили на себе влияние националистического возрождения в Японии еще до своего отъезда из этой страны. В какой-то мере это объясняет тот факт, что японские поселенцы основали в Соединенных Штатах ряд буддийских храмов и школ с обучением на японском языке. Однако цифры, представленные "Объединенным комитетом по публикациям на иностранных языках", представляющим ряд евангелических деноминаций, по-видимому, указывают на то, что японцев в Соединенных Штатах гораздо легче обратить в христианство, чем китайцев, и они даже менее привязаны к буддизму, чем евреи к своей родной вере. По природе вещей, внутренняя практика синтоистского богослужения среди японцев не поддается статистической обработке.

Таким образом, сочетание всех внутренних и внешних сил, влияющих на расовые меньшинства в Америке, привело к частичному, но ни в коем случае не полному изменению жизни меньшинств в соответствии со стандартами, установленными большинством. Предрассудки и противодействие им не помешали этому изменению, и невозможно объяснить сегодняшнее положение американских меньшинств без должного внимания к позитивному фактору культурной ассимиляции, а также к негативному фактору предрассудков.

* * * * *

Поскольку уже подразумевалось, что большая или меньшая ассимиляция меньшинствами культуры большинства неизбежна, очевидно, что связь этого ассимиляционного изменения с биологическим слиянием групп является вопросом конечной и абсолютной важности. Везде, где существуют трения между расовыми группами, простое упоминание о биологическом слиянии, вероятно, вызовет столько огня и дыма, что все факты будут полностью упущены из

виду; и все же совершенно очевидно, что силы притяжения и отталкивания, которые действуют на несколько рас в Америке, привели как к биологическим, так и к культурным результатам.

Мулатское население Соединенных Штатов является физическим воплощением односторонних расовых предрассудков. По закону, по обычаю, даже посредством внезапной и насильственной смерти мастер-класс Юга выражает неодобрение отношений между белыми женщинами и цветными мужчинами, что никоим образом не распространяется на аналогичные отношения между белыми мужчинами и цветными женщинами. Белый мужчина на самом деле является посредником между расами. У негров нет сил, а иногда даже желания, защитить себя от его домогательств, и в результате незаконнорожденные дети-мулаты в огромном количестве рождаются от негритянских матерей и разделяют участь цветной расы.

Если бы вливание белой крови было полностью прекращено, доля мулатов в негритянской расе, тем не менее, продолжала бы увеличиваться, поскольку дети мулатов обычно мулаты, независимо от того, мулат другой родитель или чернокожий. Однако нет оснований предполагать, что при таких условиях доля мулатов по отношению к чернокожим будет увеличиваться более быстро в одном географическом районе, чем в другом. Факт заключается в том, что в период с 1890 по 1910 год количество мулатов на 1000 чернокожих *уменьшилось* на Севере с 390 до 363, а *увеличилось* на Юге со 159 до 252; вывод о том, что родители белые, очевиден. За тот же период чернокожее население всех Соединенных Штатов увеличилось на 22,7 процента, в то время как численность мулатов увеличилась на 81,1 процента. Таким образом, группа мулатов растет гораздо быстрее, чем чернокожие или белые, и белое мужское население Юга в значительной степени ответственно за нынешнее расширение этого класса, а также за его историческое происхождение.

Таким образом, Юг сочетает максимум репрессий с максимумом расового смешения; действительно, одно естественно и тесно связано с другим. Белое население в целом использует всевозможные уловки, чтобы удержать негра в социально-экономическом статусе, наиболее благоприятствующем сексуальной распущенности, и агрессивные белые мужчины в полной мере пользуются создавшейся таким образом ситуацией.

Хотя на Юге обычно не признают, что прогрессирующее отбеливание черной расы является естественным результатом сохранения системы рабства и порабощения, обратное этому утверждению утверждается и защищается со всем возможным пылом. Иными словами, утверждается, что любое общее улучшение положения негров увеличит вероятность расового смешения на более высоком уровне за счет межрасовых браков. Южане, выдвигающие этот аргумент, очень хорошо знают, что межрасовые браки вряд ли будут иметь место при наличии сильных расовых предрассудков, и они также знают, что негр, который больше всего вызывает их враждебность, - это "улучшенный" негр, который не сохранит своего места. Они не желают признавать, что этот рост предрассудков в значительной степени, если не полностью, обусловлен большей конкурентной силой улучшенного негра; и точно так же они предпочитают игнорировать тот факт, что такой негр остро негодует на предрассудки белых и склонен демонстрировать со своей стороны противоположный предрассудок, который сам по себе действует как дополнительное препятствие для межличностных браков.

В отсутствие таких факторов, как самосознание негров и межрасовая конкуренция, было бы трудно объяснить крайнюю редкость браков между чернокожими и белыми в Северных Штатах. Всестороннее исследование этого вопроса не проводилось, но исследование, проведенное

Джулиусом Дракслером, показало, что из всех браков, заключенных неграми в Нью-Йорке в период с 1908 по 1912 год, только 0,93 процента. были смешанными. То же расследование выявило тот факт, что негритянские мужчины вступали в смешанные браки примерно в четыре раза чаще, чем негритянские женщины.

Браки между белыми и индейцами не были так яростно осуждены американским большинством, как браки между белыми и неграми, и предполагается, что первые были гораздо более частыми. Однако, похоже, что систематического исследования индийских смешанных браков не проводилось, и, конечно же, ни одна перепись населения, предшествовавшая переписи 1910 года, не дает каких-либо ценных данных по вопросу о смешанной крови среди индейцев. Подсчет 1910 года показал, что 56,5% индейцы были чистокровными, 35,2% имели смешанную кровь и 8,4% не были классифицированы. Хотя здесь невозможно установить ответственность так же определенно, как в случае с неграми, очевидно, что вливание белой крови, вдвое меньшее, чем среди негров, не может быть в значительной степени объяснено межрасовыми браками. Без сомнения, это происходит главным образом из-за того же рода распушенности, который был так распространен на Юге, и нынешние и потенциальные проверки процесса вливания аналогичны тем, которые уже обсуждались.

В случае с евреями и азиатами, похоже, доступны только цифры, собранные Дракслером. Он обнаружил, что только 1,17 процента. большинство браков, заключенных евреями в Нью-Йорке в период с 1908 по 1912 год, были классифицированы как “смешанные”, в то время как соответствующий процент для китайцев и японцев составил 55,56 и 72,41 соответственно. Большие цифры в случае с выходцами с Востока частично объясняются тем фактом, что в Нью-Йорке сравнительно мало женщин монгольской расы. Кроме того, следует помнить, что, какой бы ни была степень их культурной ассимиляции, китайские и японские жители мегаполиса недостаточно многочисленны, чтобы сформировать важные конкурирующие группы, в то время как евреи составляют четверть всего населения города. Сомневается ли кто-нибудь, что ситуация в отношении смешанных браков в Сан-Франциско была бы частично изменена на противоположную?

При должном учете особых условий, цифры Дракслера, по-видимому, не противоречат общему утверждению о том, что улучшение экономического и социального положения одного из меньшинств и частичное или полное принятие меньшинством культуры большинства не обязательно подготавливают почву для расового слияния, но, по-видимому, производят прямо противоположный эффект, увеличивая конкурентную мощь меньшинства, страх большинства перед своими соперниками и предубеждение друг против друга.

Несмотря на все, что предрассудки могут сделать, чтобы предотвратить это, экономическое, социальное и интеллектуальное состояние меньшинств становится все более похожим на состояние большинства; и все же не следует ожидать, что до тех пор, пока меньшинства остаются физически узнаваемыми, это изменение приведет к устранению предрассудков, и маловероятно, что культурная ассимиляция, которая сдерживает процесс расового смешения посредством беспорядочных половых сношений, автоматически приведет к смешению на более высоком уровне и последующему исчезновению узнаваемости меньшинств. Предрассудки не полностью препятствуют культурной ассимиляции; культурная ассимиляция повышает конкурентоспособность, не устраняя узнаваемости; конкурентная сила *плюс* узнаваемость порождают еще больше предрассудков; и так далее ... и так далее.... Таким

образом, представляется вероятным, что расовые предрассудки будут сохраняться в Америке до тех пор, пока сохраняется общая экономическая, социальная, политическая и интеллектуальная система, которая их взрастила. Никакая прямая атака на расовую проблему как таковую не может сколь-либо существенным образом изменить эту систему.

Обоснованна ли эта концепция или нет? Она стоит очень высоко на тонком каркасе фактов, собранных в чистом противоречии после того, как было заявлено, что нигде нельзя найти адекватного фундамента для такой структуры. Но, в конце концов, не имеет большого значения, что произойдет с представлением о том, что расовые предрассудки могут быть исправлены только случайно. Если условия, окружающие расовые предрассудки, будут изучены лишь сравнительно, это понятие и другие подобные ему привлекут все внимание, которого они заслуживают.

РАСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

(Ответы даны просто в виде предположения, но вопросы могут оказаться достойными серьезного внимания.)

Вопрос: Была ли врожденная неполноценность какой-либо человеческой расы установлена историческими, биологическими или психологическими доказательствами?

Ответ: Нет.

* * * * *

Предлагает ли теория неравенства человеческих рас удовлетворительное объяснение существования расовых предрассудков?

Ответ: Нет.

* * * * *

Вопрос: Делают ли физические характеристики представителей нескольких рас узнаваемыми?

А. Да.

* * * * *

Вопрос: Являются ли расовые предрассудки врожденными и неизбежными в том смысле, что они всегда существуют там, где контактируют две явно разные расы?

Ответ: Нет.

* * * * *

Вопрос: Как получается, что при наличии *расовых* факторов, которые остаются постоянными, расовые предрассудки существуют в одних населенных пунктах и отсутствуют в других?

А. Удовлетворительного объяснения этим локальным различиям в междрасовых чувствах пока дано не было; однако существование самих различий, по-видимому, указывает на то, что первичные причины расовых предрассудков *не расовые а региональные*.

* * * * *

Вопрос: Какое исследование наиболее непосредственно приведет к пониманию расовых предрассудков - универсальных расовых различий или региональных экологических различий, которые связаны с существованием или несуществованием расовых предрассудков?

А. Последнее.

* * * * *

Дает ли систематическое изучение региональных экологических различий в Соединенных Штатах в их связи с расовыми предрассудками какие-либо важные результаты?

О. Такого систематического исследования никогда не проводилось; случайный взгляд, кажется, выявляет интересное совпадение между расовыми предрассудками и страхом конкуренции.

* * * * *

Вопрос: Конкуренция с большей вероятностью порождает расовые предрассудки в Соединенных Штатах, чем где-либо еще?

Ответ: Из-за общей озабоченности американского народа материальными делами, *экономическая* конкуренция, вероятно, вызовет необычайно острые противоречия.

* * * * *

Вопрос: Дает ли совпадение расовых предрассудков и страха конкуренции полное объяснение существованию и силе расовых предрассудков в Соединенных Штатах?

О. Нет; такого заявления выдвинуто не было.

* * * * *

Вопрос: Происходит ли ассимиляция меньшинствами культуры большинства непрерывно, несмотря на предубеждения большинства и контрпредубеждения трех меньшинств?

А. Да.

* * * * *

Способствует ли такая культурная ассимиляция улучшению межрасовых чувств?

О. Вероятно, нет, потому что до тех пор, пока сохраняются физические расовые различия, культурная ассимиляция увеличивает силу меньшинства как *узнаваемой* конкурирующей группы, и, следовательно, это также увеличивает остроту соперничества между меньшинствами и большинством.

Вопрос: Как можно устранить узнаваемость меньшинств?

А. Путем слияния по крови с большинством.

Вопрос: Как может произойти кровное слияние, если культурная ассимиляция усиливает соперничество и предрассудки?

А.

Вопрос: Тогда верно ли, что при нынешнем положении вещей будущее межрасовых отношений в Соединенных Штатах зависит от соотношения между культурной ассимиляцией, которая кажется неизбежной, и биологической ассимиляцией, которая кажется маловероятной?

А. Похоже, что так.

Вопрос: Тогда расовая проблема в Соединенных Штатах кажется практически неразрешимой как отдельная проблема?

О. Это так.

Вопрос: Решалась ли когда-нибудь расовая проблема путем прямой атаки на нее как на *расовую* проблему?

Ответ: Вероятно, нет.

Вопрос: Не предполагает ли этот вывод возврата к предположению, что расовые предрассудки неизбежны везде, где существуют расовые различия; и разве это не было категорически опровергнуто?

О. Напротив, подразумевается, что расовые предрассудки неизбежны там, где *расовые предрассудки* существуют. Вывод в отношении Соединенных Штатов основан на единственном предположении, что *нерасовые* условия, при которых возникли расовые предрассудки, останутся практически неизменными.

Вопрос: Возможно ли тогда, что полное изменение нерасовых условий - как, например, экономическая революция, которая изменила бы все значение слова “конкуренция” — может полностью пересмотреть условия проблемы?

О. Это едва ли возможно, но эта статья не является общепринятым каналом божественного откровения.

Героид Танкуари Робинсон

Реклама

Правильно ли я понимаю, что вы не верите в рекламу? Действительно! Скоро вы скажете мне, что не верите в Бога. Хотя, конечно, поступая таким образом, вы совершили бы меньшее преступление против принципов современной американской цивилизации, чем сомневаясь в существовании силы настолько великой, что в одночасье она может воздвигнуть среди нас богов, королей и других властителей, создав мир, который по великолепию и богатству намного

превосходит нашу бедную смертную сферу — мир, в котором радуется любая перспектива и только неохотный транжира мерзок.

Правда, мы можем лишь мельком увидеть его многочисленные чудеса. По правде говоря, у нас едва хватает времени полюбоваться миллионной долей радостей и великолепия одного человека, прежде чем новая и значительно улучшенная вселенная выплывает из-за горизонта и из газетного киоска на каждом углу с улыбкой приглашает нас войти в ее ворота. Верно, я повторяю, что мы неспособны постичь или оценить все чудо этих постоянно прибывающих творений, но даже ограниченность наших диких и необразованных умов вряд ли может помешать нам восхищаться чудом, которое мы не в состоянии понять.

Если бы мне только было дано жить жизнью, которую ведет любое из счастливых созданий, обитающих в этих рекламных мирах, я бы с радостью отказался от своего дома, своей жены и своих порочных привычек и стал суперснобом псевдотворения. Весь день напролет я должен стоять, элегантно одетый в идеально сидящий деловой костюм, только ради того, чтобы заставить моего подобострастного дворецкого мучительно ждать меня с моим домашним халатом, перекинутым через его измученную руку. В другие дни меня можно было бы застать сидящим в немом обожании перед наполненной едой миской на завтрак, и, если бы кому-нибудь довелось подслушивать у замочной скважины, они могли бы даже застать меня за тем, как я благоговейно повторяю с алчной улыбкой на губах: “Я никогда не смогу встать из-за стола, пока полностью не наедусь сочной американской шелухой”, - таинственным шепотом добавляя: “Ее можно купить во всех хороших бакалейных лавках”.

Конечно, будут и другие дни, дни, когда я буду ездить на моторе непревзойденной мощности с спутницами непревзойденной красоты по каньонам непревзойденной глубины и горам непревзойденной высоты. Затем последовали бы еще другие дни, самые прекрасные дни из всех, дни, когда покрытая снегом земля трескается в когтях ужасной зимы и только низшие классы выходят за пределы страны. Это было бы время, которое я выбрала бы для того, чтобы снять халат с руки моего дворецкого и понежиться в лучах тепла моего идеального обогревателя, поставив свой стул таким образом, чтобы я могла наблюдать за жалким положением моих соседей напротив, которые жалостливо пытаются сохранить жизнь в своих телах над гаснущими углями анемичного камина. Вид рыдающего младенца и изможденной матери только усилил бы мое удовлетворение от того, что я был настолько удачлив и дальновиден, что обзавелся жидкостным тепловым прожектором Kill Kold, который обеспечивает Семье уют.

Какие дни я должен проводить! Возьмем, к примеру, дни литературы. Что может быть более поучительным, чем разборчиво погружаться в шестидюймовую книжную полку с абсолютной уверенностью, что несколько минут, потраченных таким образом каждый день, со временем дадут мне полное владение всей лучшей литературой мира — и, кстати, принесут мне существенную прибавку к зарплате в офисе? И никакая литература прошлых эпох не могла сравниться с моей скрытой библиотекой книг, содержащих Жизненно Важные Секреты. В этой комнате никогда не угасал трепет. Здесь я должен отступить, чтобы узнать секрет успеха, секрет умения продавать, секрет энергичности, секрет того, как усыпить бдительность своего босса, секрет обаяния, секрет индивидуальности и социального обаяния - все это имеет материальную

ценность, измеряемую в долларах и центах. Со временем я так изобиливал бы секретами, что, не в силах больше их выносить, сломался бы перед своими друзьями и выдал всю игру целиком.

Но почему я должен терзать свое сердце при мысли о счастье, которого я никогда не испытаю? Почему я должен заикливаться на днях заполнения труб или на тех днях, когда я должен посылать за образцами? Зачем мучить мой разум теми изысканно сшитыми днями, когда с теннисной ракеткой в одной руке и капитаном университетской команды на плече я должен был шествовать по старому доброму кампусу в костюме без складок и шляпе, которая уничтожала последние остатки сдержанности у всех встречаемых женщин? Нет, я не могу идти дальше.

Ибо, когда я думаю о замечательных персонажах, которые так очаровательно населяют мой так и не найденный рай, я не могу не спросить себя: “Как они дошли до такого?” Как у мужчин ноги становятся такими стройными и длинными, а подбородки такими гладкими и квадратными? Почему у женщин всегда такие идеальные конечности и такие невинные, но манящие улыбки? Почему семьи всегда счастливы, а дети всегда хороши? Какое чудо избавило от мелких раздражений и недостатков жизни и сгладило жизненные проблемы? Как и почему — есть ли ответ? Можно ли все это списать на рекламу, или же мы, читающие, огромная, изнемогающая от жары масса из нас, настаиваем на таких вещах и требуем мира искусственного очарования и совершенно невозможных людей? Я вынужден сделать вывод, что преступление совершено по предварительному сговору. Реклама, по большей части, апеллирует ко всему поверхностному и снобистскому в нас, и мы, как сплоченная фаланга, только рады, что к нам обращаются таким образом.

Я могу изложить вам свои размышления только самым неучтивым образом, и первое из них таково: реклама - это самый грубый и безжалостный вид спорта, религии или профессии Америки, или называйте как хотите. Точным ударом, но с извращенным намерением, он нянчится и забавляется со всем, что есть низменного и грубого в нашем физическом и духовном облике. Комфорт и счастье, которые она предлагает читателю, навсегда контрастируют с несчастьем другого человека. Таким образом, если я езжу на моторе определенной марки, я испытываю удовлетворение от осознания того, что каждый, кто ездит на моторе другой марки, принадлежит к более низкой касте, чем я, и, несомненно, будет питаться пылью всю оставшуюся жизнь. В этом знании есть настоящая радость. Опять же, если я ношу белье определенной рекламируемой марки, я имею удовольствие сознавать, что мои собратья, одетые не так удачно, несомненно, глупые свиньи, которые в конце концов умрут от солнечного удара после жизни, полностью посвященной потоотделению. Здесь тоже есть радость редкого порядка. Если я чищу зубы рекламируемой зубной пастой, мое удовлетворение усиливается от осознания того, что все остальные люди, которые не будут пользоваться именно этой пастой, в очень короткое время потеряют все свои зубы. В этом есть дикий, но подлинный восторг. Даже если я выберу определенную классику с моей заветной шестидюймовой книжной полки, у меня будет радостное чувство от осознания того, что все люди, которые после дневной усталости находят утешение в последнем убийстве или бейсбольном матче, обладают низким интеллектом и никогда не добьются успеха в мире бизнеса.

Это одно из самых успешных средств, используемых в рекламе, и нельзя отрицать, что подавляющему большинству людей доставляет удовольствие быть пораженными им. Это удовольствие, черпаемое из того же источника, который питает чувство удовлетворения многих людей, когда они посещают похороны, навещают больного друга или товарища по несчастью и

позору. Это был тот же источник внутреннего удовлетворения, который позволил многим лояльным гражданам переносить не только мужественно, но и с блаженством горести последней войны. Это инстинкт самосохранения, смягченный духом самодовольного самовосхваления, и он наиболее легко откликается на призыв эгоизма и снобизма. Реклама не создала этот инстинкт и не обнаружила его, но реклама использует его в своих целях. Кто виноват, читатель или рекламодатель, вряд ли стоит вдаваться в подробности на этом этапе. Непреложный факт, который следует принять во внимание, заключается в том, что изо дня в день с восприимчивой общественностью воздействуют нездоровым и невротическим образом, что не может не привести к пагубным результатам.

В этот трагический момент я намереваюсь ненадолго отвлечься от людей, создающих рекламу, прежде чем вернуться к рассмотрению последствий их творений.

Для начала, пусть никогда не забывают, что реклама - это кроважидное занятие, которым занимаются по большей части добропорядочные американцы из тех, кто целует флаг или сбивает их с ног и тащит за собой. И все же годы общения с этой профессией вынуждают меня ради истины смягчить это замечание, добавив, что она также содержит, или, скорее, ограничивает своим мистическим кругом группу неохотных и непокорных "сущест, которые когда-то были людьми", которые, проходя через фантазмагорию извращенного идеализма, вялого оптимизма и неисследованных мотивов, либо заглушают свою совесть в сумерках "Рекламы. Мужской клуб", или же впадают в такое слепое озлобление или разврат, что теряют свою полезность для всех конструктивных движений.

Однако, вообще говоря, реклама - это кладбище литературных устремлений, на котором духи побежденных претендентов, обладая сиюминутной властью над публикой, отвергшей их усилия, принуждают ее покупать самый удивительный ассортимент совершенно бесполезных и дешевых товаров, которые когда-либо отмечали упадок культуры и здравого смысла. Этих людей либо ловят сразу после их бегства из колледжа, либо вербуют из газетного мира. Некоторые — наиболее серьезные и решительные — являются выпускниками заочных школ. Другие - просто крепкие духом люди, чей ежедневный контакт со своими собратьями-людьми не дает им достаточной возможности избавиться от обилия дезинформации, которую их воображение производит в огромных количествах. Это рекламное братство состоит из разнородной массы человечества, которая быстро превращается в узколобый клин фанатиков. И этот клин постоянно вбивается в кошельки общественности и извлекает оттуда изрядное количество золота и серебра. Вы когда-нибудь беседовали с кем-нибудь из наиболее успешных и важных членов этой обширной организации? Если да, то смогли ли вы завершить беседу, составив разумное представление о ее предмете? Например: вы случайно не знаете, что такое визуализатор? В противном случае вы окажетесь полностью во власти настоящего специалиста по рекламе. Возвращаясь к моему эдисонианскому методу атаки, вы случайно не знаете, что такое "неотесанный человек" или что означает смертность дилера, привлекательность качества, классовое распространение или институциональная копия? Вероятно, нет, поскольку в сущности в них очень мало смысла; тем не менее, это термины, которые священны для большого числа специалистов по рекламе, и которые, если бы они были неизвестны, сделали бы всякое разумное общение с ними совершенно невозможным.

Если бы вы когда-нибудь присутствовали на сеансе этих джентльменов в слезах — и да избавит вас от этого Бог, - вы бы вернулись с него с впечатлением, что в мире не все в порядке.

Вы бы услышали речи об идеализме упаковки мяса и на другие родственные темы. Идеализм был бы передан вам через сотрудника какой-нибудь крупной упаковочной организации, находящегося под напряжением, благослови вас Бог, приветствую, товарищи. Предполагая, что вы были там, вы бы увидели, как этот крупный парень, энергично выдохнув сигарный дым, поднялся со стула; вы бы заметили, как на его губах заиграла добродушная улыбка, а затем вы были бы внезапно поражены нежно-серьезным и мастерски сдержанным выражением лица, которое превратило нашего шута в страдающего мученика, когда, раскинув руки, он трагически воскликнул: “Джентльмены, вы плохо знаете душу человека, подарившего миру ветчину ”Дредноут“!” С этого момента ваше чувство вины росло бы не по дням, а по часам, пока, наконец, вы бы полностью не сломались и не согласились со всем, что сказал пророк, при условии, что он воздержится от лишения вас возможности загладить свою вину перед богоподобным человеком, подарившим миру Ветчину Дредноута.

Оратор продолжал бы рассказывать вам о счастье и солнечном свете, которые заливают бойню, в которой делают окорока Дредноутов. Вы могли бы услышать о милом, эксцентричном старом персонаже, который однажды, разделяваясь со свиньей, застыл в позе анабиоза, занеся нож над дергающимся ухом несчастной свиньи, и, схватив руку хозяина, когда тот благожелательно проходил мимо, горячо поцеловал ее и оставил на ней слезу благодарности. Возможно, вы не услышали бы, что в порыве верноподданнического рвения этот милый пожилой человек практически разрезал свинью на ленточки, тем самым спасая ее от нервного срыва, и вам не было бы позволено услышать повторение проклятий, которые старик бормотал вслед удаляющейся спине хозяина, ибо подобные вещи не должны быть услышаны — фактически, их не существует в мире рекламы. Ничего не будет сказано о красной смерти свиньи, контроле со стороны биржевиков, недоплате рабочим, дочери, которая приходит домой, когда папы нет дома и соседи не видят, о долгих годах службы и коротком возрасте, о гнилости и лицемерии всего бизнеса — нет, ничего не должно быть сказано о таких вещах. Но чтобы восполнить это упущение, вам бы рассказали в отточенных выражениях о рабочих, которые с любовью целуют каждую ветчину, когда ее благоговейно уносят с завода, чтобы получить патриархальное благословение владельца, прежде чем принести в жертву благодарной, но жадной публике. Все это наводило бы вас на мысль о своего рода Игре Страстей, в которой не было ни Иуды, ни Пилота, а просто отличная, большая счастливая семья производителей ветчины.

Эта речь, как я уже сказал, вскоре должна была появиться в главных газетах страны. Он будет публиковаться частями, каждая из которых будет нести в себе послание мира на земле, доброй воли к людям, и у публики, всегда предпочитающей "Поллианну" "Синей Бороде", сложится совершенно ложное представление о ветчине "Дредноут" и условиях, при которых она производилась. Но эта конкретная речь была бы лишь малой частью того идеализма, который вам было бы позволено впитать. Также прозвучала бы патриотическая речь о Old Glory, которая каким-то образом увязалась бы с необходимостью создания более широкого спроса на носки определенной марки. Возможно, там была бы речь о святости домашнего очага, хитро связанная со способностью определенного типа говорящей машины удерживать семью дома по ночам и таким образом делать дом еще более священным. Были бы бесконечные речи и безграничный идеализм, и, наконец, каждый пожал бы друг другу руки, и великолепное событие подошло бы к концу только для того, чтобы повториться с новой силой и преисполниться оптимизма в следующую пятницу.

Но реальная работа по созданию рекламы редко выполняется в такой разреженной и розоватой атмосфере; она выполняется в более прозаичной атмосфере рекламного агентства. (И позвольте сразу сказать, что, хотя даже в случае агентств, участвующих в “Честных рекламных” кампаниях, многие такие фирмы прибегают к недобросовестной конкурентной практике разделения своих регулярных комиссионных со своими клиентами в целях сохранения и обезопасивания счетов, все еще существуют честные рекламные агентства.)

В настоящее время в большинстве агентств есть два важных класса работников — копирайтеры и адвокаты — люди, которые пишут рекламу, и люди, которые получают бизнес. К этому последнему классу относятся волки рекламы, неугомонные бродяги по лесам промышленности и сферам торговли. У них кожаные выпадки и мощное горло; только смерть может спасти их жертв от выслушивания их историй. Копирайтеры, с другой стороны, на самом деле неплохие люди в душе; иногда у них даже есть небольшая спасительная искорка юмора, и часто они пытаются читать что-то другое, кроме Типографских чернил. Но на полноценного юриста нет никакой надежды. Вступая в тесный контакт с клиентом, который обычно является промышленником, капиталистом, сторонником высоких тарифов, солиситор постепенно становится уменьшенной копией человека, которому он служит, и отражает его идеи в еще более грубой и непросвещенной манере. В их сознании нет места переменам, если только это не переход на новый вид автомобиля, который они рекламируют, на новую мебель, если только это не складной столик их последнего клиента, на генеральную уборку, если только таким образом не знакомят с достоинствами мыла, уничтожающего микробы. Все должно оставаться таким, как есть, и лидеры торговли и промышленности должны быть защищены любой ценой. Для них нет низкооплачиваемых работников, нет социального зла, нет субсидируемой прессы, нет ограничения свободы слова, нет антисанитарных условий на заводах, нет детского труда, нет младенческой смертности из-за отсутствия законодательства о материнстве, нет хороших бастующих и нет сомнительных коммунальных корпораций. Все так, как должно быть, и любой, кто пытается что-то изменить, является социалистом, и на этом все заканчивается.

Реклама в значительной степени контролируется мужчинами этого типа. Стоит ли удивляться, что это носит реакционный и искусственный характер и что любой безответственный промоутер, у которого есть деньги для траты и товар для продажи, найдет сочувствующего и хитрого министра, который осуществит за него свои планы, независимо от их влияния на экономическую или социальную жизнь нации?

Переходя на данный момент от людей, создающих рекламу, к рекламе как институту, что можно сказать за или против этого? Что можно выдвинуть в оправдание его существования или в пользу его подавления? Не зная, на чьей стороне выступает адвокат дьявола, я возьму на себя смелость представлять обе стороны, представив как можно более беспристрастно доводы обвинения и защиты и позволив читателю вынести вердикт в соответствии с доказательствами.

Первое обвинение — что низкое состояние прессы и журнального мира обусловлено исключительно рекламой — я считаю, не полностью справедливым. Нет смысла отрицать, что реклама несет ответственность за ограничение свободы высказывания и отсутствие различных независимых и забавных публикаций. Однако, если предположить, что реклама будет полностью изгнана с лица земли, очистится ли тем самым мрачная атмосфера? Стала бы пресса свободной и бесстрашной, и смог бы идеальный журнал, наконец, вдохнуть жизнь при свете дня? Я думаю, что нет. За годы до того, как реклама приобрела то значение, которым она

пользуется сейчас, корпорации общественного обслуживания и другие влиятельные корыстные круги нашли другие, не менее эффективные методы формирования новостей и контроля редакционной политики. Однако факт остается фактом, и он является достаточно мрачным, что реклама несет ответственность за большую часть порчи наших газет и других публикаций, а также за отсутствие периодических изданий того типа, которые способствуют культуре народа и наслаждению хорошей литературой. Когда жадному до наживы владельцу крупного универмага удастся скрыть факт своего осуждения в новостях, в то время как ряд мелких правонарушителей выставляются в качестве ужасных примеров, нетрудно решить, окупается реклама или нет. Когда любое количество крупных, но слабо управляемых корпораций, от которых зависят люди и нация, могут предотвратить появление в прессе любой информации, касающейся их бесхозяйственности, неэффективности и расточительности, или любой редакционной статьи, пропагандирующей государственный контроль, не нужно глубоко задумываться, чтобы определить эффективность рекламы. Когда статьи или рассказы, касающиеся нечестивых условий, существующих в определенных отраслях промышленности, или затрагивающие риски, связанные с вождением автомобиля, опасность употребления консервов или невозможность получить стоимость доллара за доллар, потраченный в современном универмаге, отвергаются многими изданиями, независимо от их достоинств, не обязательно перелистывать последние страницы журнала, чтобы найти названия и продукцию рекламодателей, оплачивающих место. Действительно, одна из самых прискорбных особенностей рекламы заключается в том, что она делает так много возможного для хороших редакторов и так много невозможного для редакторов, которые слишком честны и независимы, чтобы терпеть диктовку.

Другое обвинение против рекламы заключается в том, что она продвигает и поощряет производство огромного количества дорогостоящих изделий, многие из которых дублируют сами себя, и что такое перепроизводство товаров, многие из которых имеют весьма сомнительную ценность, наносит ущерб стране и экономически нецелесообразно. Это обвинение кажется на самом деле вполне обоснованным и слишком убедительно проиллюстрировано в списке наших ежедневных покупок. Признавая, что определенная конкуренция создает стимулирующую и здоровую реакцию, все же вряд ли разумно, чтобы нация каждое утро появлялась с чистым лицом, нуждалась в услугах дюжины производителей безопасных бритв и нескольких сотен производителей мыла, и что производители бритв и мыла должны ежегодно тратить миллионы долларов на рекламу, чтобы напоминать людям о необходимости умываться и бриться. Также не кажется хорошо сбалансированной система производства, когда такие товары, как автомобили, швейные машинки, пудра для лица, туалетные принадлежности, продукты питания, носимая одежда, конфеты, краски, мебель, ковры, тоники, оборудование и так далее *до бесконечности*, могут существовать в таком обильном изобилии. Имея на выбор так много вещей одного и того же вида, вряд ли есть какие-либо причины удивляться тому, что покупающая публика становится легкомысленной и непостоянной. Перепроизводство как предметов первой, так и не первой необходимости, несомненно, стимулируется рекламой, в результате чего всякий раз, когда стране угрожает экономический спад, возникает много ненужной безработицы и лишений из-за перегруженного рынка и индустриального мира, переполненного умирающими производственными предприятиями. “Дайте мне достаточно мощный мотор, и я заставлю этот стол летать”, - однажды заметил один авиатор. С такой же долей правды можно было бы сказать: “Дайте мне достаточно денег, чтобы потратить их на рекламу, и я заставлю продавать любой продукт”.

Летающие столы, однако, не так неприятны, как рынок, переполненный бесполезными товарами по завышенным ценам, и армия рабочих, существование которой зависит от искусственно стимулируемого спроса.

Утверждение о том, что реклама подрывает привычки нации к бережливости, не нуждается в защите. Продукты создаются для того, чтобы их продавали, и основной функцией рекламы является их продажа независимо от их достоинств или требований людей. Сегодня мужчины и женщины покупают товары, которым не нашлось бы места ни в одной социально и экономически безопасной цивилизации. Пока это сохраняется, деньги будут сниматься со сберегательных счетов многих и размещаться на коммерческих счетах немногих — ситуация, которая вряд ли способствует созданию счастливых и здоровых семей.

Многие утверждали, что реклама наносит ущерб литературному стилю. Я далек от уверенности, что это обвинение справедливо. На мой взгляд, это влияние не было ни вредным, ни полезным. Если уж на то пошло, оно вынудило ряд авторов сказать многое в нескольких словах, что само по себе не является нежелательным достижением. Я также не верю, что реклама привлекла в свои ряды ряд писателей или потенциальных писателей, которые в противном случае могли бы подарить миру жемчужины веры. Однако, если это привлекло каких-либо писателей первого калибра, винить им следует только самих себя, и у них все еще есть возможность достичь литературных высот.

Я чувствую, что самое худшее было сказано о рекламе, когда мы согласились с тем, что она способствовала развращению прессы, что она действительно помогает поставить под угрозу экономическую безопасность страны и что в значительной степени она привлекает общественность ложным и нездоровым образом. Эти обвинения, безусловно, достаточно разрушительны. В остальном давайте признаем, что реклама более или менее похожа на все другие виды бизнеса, подвергается той же критике и совершает те же ошибки. Признав это, давайте возьмем на себя роль адвоката защиты и посмотрим, что мы можем предпринять в пользу нашего клиента.

Прежде всего, я утверждаю тот факт, что реклама сохранила жизнь многим художникам — не то чтобы я был полностью убежден, что художников следует сохранять в живых, не больше, чем поэтов или любую другую неамериканскую породу; но при всем том я взываю к вашему гуманитарному чутью, когда предлагаю этот факт в поддержку рекламы, и я надеюсь, что вы вспомните об этом при рассмотрении доказательств.

Во-вторых, реклама в значительной степени ответственна за те замечательные успехи, которых мы достигли в искусстве типографии. Если вы изучите большую часть литературы, созданной по рекламе, вы найдете там множество превосходных примеров того, что можно сделать с помощью шрифта. Сегодня ни одна страна в мире не производит более художественных и аутентичных образцов типографики, чем Америка, и это, повторяю, во многом связано с влиянием рекламы.

Мы также можем привести в качестве аргумента в пользу рекламы тот факт, что она внесла существенный вклад в более широкое использование зубной щетки и более тщательное нанесение мыла. Реклама проповедовала чистоту, проповедовала неистово, эгоистично и, без сомнения, в своих собственных целях, но, тем не менее, проповедовала убедительно. Неважно, какие средства используются для достижения конечной цели - чистоты, пока цель достигнута.

Добиться этого помогла реклама. Чистота тела и домашнего очага как желанные добродетели постоянно преподносятся читателям газет и журналов. Как уже было сказано, существует слишком много различных марок мыла и других гигиенических изделий, но в данном случае позвольте нам изменить утверждение, добавив, что гораздо лучше иметь слишком много таких изделий, чем слишком мало. Этот третий момент в пользу рекламы - немаловажный момент для рассмотрения. Профессия не может быть совершенно бесполезной, если она помогла сделать зубы белыми, лица чистыми, тела здоровыми, дома свежими и гигиеничными, а людей - более заботящимися о своем теле и о том, как они с ним обращаются.

Четвертый аргумент в пользу рекламы заключается в том, что с помощью платного размещения в газетах и журналах определенные заслуживающие внимания движения смогли охватить более широкую аудиторию и, таким образом, привлечь из нее новых и ценных членов. Этот пример иллюстрирует ценность рекламы, когда она применяется для достижения достойных целей. Справедливости ради мы вынуждены заключить, что, в конце концов, в рекламе есть многое, что не является полностью порочным.

Теперь, когда мы собираемся завершить рассмотрение дела, давайте еще раз заглянем в волшебные порталы мира рекламы и освежим наши глаза их красотой. Со второго взгляда мы обнаруживаем, что в этом Мире есть что-то странно трогательное и тоскливо-человеческое, чего никогда не было. Это мир, во многом созданный нами самими, населенный и обустроенный в соответствии с нашими собственными стремлениями и желаниями. Это мир хорошоотрегулированного кишечника, ног без мозолей и безупречного цвета лица, мир идеально сидящей одежды, полностью оборудованных кухонь и всегда честных и улыбающихся мужей. В этот мир великолепных загородных домов, жужжащих моторов и приятных компаньонов узники нашего собственного бедного, утомленного мира реальности могут ненадолго сбежать, чтобы прожить несколько коротких мгновений безусловного комфорта и счастья. Даже если они действительно вернутся из своего полета с пустыми карманами и руками, нагруженными множеством бесполезных покупок, они получают хоть какую-то небольшую награду за свою глупость. Они жили и резвились с очаровательными людьми в окружении непревзойденной красоты. Правда, это не такой мир, который создал бы Рембрандт, но он был мрачным старым реалистом, который, когда захотел нарисовать человека, подстригающего ногти, выбрал в качестве натурщицы старую и беспринципную женщину и создал вокруг нее такую атмосферу реальности, что почти слышно щелканье ножниц, продолжающих свое отвратительное дело. Насколько лучше это было бы сделано в мире рекламы! Здесь нам показывали молодую и красивую девушку, грациозно сидящую перед зеркалом и демонстрирующую ровно столько своего тела, чтобы убедить зрителя, что у нее не калека и не цыплячья грудь, и весь день напролет она сидела так, нежно улыбаясь и подстригая розовые ноготки с лунными крапинками на своих розовых маленьких заостренных пальчиках.

Да, я боюсь, что это мир нашего собственного творения. Лишь немногие люди устояли бы перед грубым примером Рембрандта, в то время как многие с восторгом остановились бы на изгибах и привлекательности горничной в мире рекламы. Конечно, кто-то мог забыть или даже никогда не узнать, чем она занималась, и, предполагая, что это произошло, вряд ли кто-то стал бы заикливаться на таком неромантическом занятии в связи с таким прекрасным и утонченным созданием, как эта идеальная молодая женщина; но, несмотря на все это, кто-то, по крайней мере, имел бы удовольствие созерцать ее красоту.

Так много из нас бедны и обделены в нашем мире, так много девушек честно не в состоянии купить больше одного платья или одной шляпки в год, что повод для покупки приобретает значение, далеко выходящее за рамки понимания среднего состоятельного человека. Поэтому забавно останавливаться на линиях и чертах лица безупречно одетой женщины и представлять, что, даже будучи бедной и некрасивой, она, возможно, могла бы несколько походить на великолепную модель, если бы могла выкроить лишние пятнадцать минут в обеденный перерыв, чтобы посетить распродажу по выгодной цене. Некоторые из нас настолько бедны, что на большом расстоянии мы можем наслаждаться славой и триумфом других, не надеясь на их участие. Мир рекламы доставляет нам именно такое заместительное удовольствие и, как и все другие виды художественной литературы, позволяет нам на мгновение сыграть совершенно приятную роль в мире захватывающих приключений.

Поэтому давайте не будем слишком безжалостны к миру рекламы. Не забывая о его недостатках, давайте также постараемся помнить о его достоинствах. Некоторые вещи мы не можем простить, некоторые вещи мы предпочли бы забыть, но есть и другие, которые требуют меньшей терпимости и силы духа, чтобы принять, когда их однажды поймут.

Пока используется печатное слово и товары покупаются и продаются, будет место и причина для рекламы — не такой рекламы, какой мы ее знаем сегодня, а более разумной и полезной. Он был бы отважным поборником ограничения свободы слова, если бы отказал человеку в праве заявить миру, что он производитель гаечных ключей и что у него под рукой несколько тысяч таких же гаечных ключей, которые он очень хочет продать.

Реклама, хотя и развита не по годам, находится лишь в зачаточном состоянии. Несмотря на его быстрое развитие и крепкое телосложение, он еще не вышел за пределы эпохи дикости и бахвальства. Он взовьется к нашим инстинктам жадности так же быстро, как к нашим инстинктам домостроительства. Он подружится со снобом, который есть в нас, так же легко, как воспользуется нашим желанием быть щедрым и всеми любимым. Это будет пугать и толкать нас на всевозможные экстравагантные покупки с той же целеустремленностью, с какой это будет умолять нас уважать себя, призывая жить чище и лучше. Он будет использовать нашу гордость и тщеславие в своих целях так же хладнокровно, как наше добродушие или дух общности. Она будет проходить через всю гамму человеческих эмоций, выбирая из них те, которые лучше всего подходят для ее непосредственных целей. Только образование заставит ребенка вести себя прилично — не столько образование ребенка, сколько образование читателя.

Реклама процветает сегодня в тени, созданной крупным бизнесом, и, как следствие, если она хочет сохранить благосклонность своего хозяина, она должна оправдывать его методы и следовать его порочным путям. Здесь следует добавить, что есть несколько честных рекламных агентств, которые отказываются заниматься бизнесом нечестных концернов. Также следует добавить, что есть некоторые журналы и газеты, которые откажутся принимать недобросовестную рекламу. Однако эта реклама должна быть заведомо беспринципной, прежде чем ее постигнет такая участь. Есть даже такие создания, как честные производители, но, к сожалению, для своей профессии они слишком редко рекламируются. В целом реклама ориентирована на методы ведения бизнеса, а поскольку пути ведения бизнеса редко бывают прямыми и узкими, реклама волей-неволей должна идти по сомнительному пути. На этом мы остановимся.

В этой статье мы не пытались затронуть тему наружной рекламы. Об этой отрасли профессии нечего сказать, кроме того, что она невыразимо плоха и должна быть убрана с глаз долой со всей возможной поспешностью. В бунте против вывески прямое действие приобретает достоинство консерватизма, и хотя я не рекомендую немедленно нападать на все вывески, я был бы рад, если бы такое нападение имело место. Если бы я был судьей, рассматривающим дело человека, задержанного при уничтожении одного из этих бельм на глазу, я бы отдал ему ключ от моего личного склада и отложил заседание суда на неделю.

Дж . Торн Смит

бизнес

Современный бизнес проистекает из трех страстей в таком порядке, а именно:: Страсть к вещам, страсть к личному величию и страсть к власти. Вещи умножаются в процессе использования и владения, когда люди обмениваются друг с другом продуктами специализированного труда. Личное величие может быть реализовано в богатстве. Удовлетворение третьей страсти таким способом является чем-то новым. Только в последнее время бизнес стал средством достижения великой власти, своего рода заменой королевского сана, с помощью которого человек может удовлетворить свою любовь к завоеваниям, практиковать личную месть и завоевывать власть над людьми.

Эти страсти слабы в восточной части мира, сильны в некоторых частях Европы, могущественны в Америке. Отсюда характер американского бизнеса. Это уникально, причем так оно и есть, не в принципе, а по степени проявления. По естественным причинам крупные объекты бизнеса наиболее достижимы в этой стране. Но это не существенное различие. В погоне за ними есть характерная американская манера, относительно которой можно небезосновательно предпочесть романтическое объяснение. На этом континенте не живет ни один белый человек, который сам по себе или в роду своих предков не обладал бы волей, делающей желание явным и динамичным, единственной силой, позволяющей осуществить свою мечту через моря. Острова и раньше заселялись в результате такого отбора, особенно Англия; континент - никогда. Безрассудный, эгоистичный, экспериментальный дух управляет нами, предает и сохраняет нас до сих пор.

Стихийная жажда еды, тепла и убежища не дает прямого мотива для бизнеса. Люди могут жить и размножаться без бизнеса. Своего рода цивилизация может существовать без своих офисов. Поселенец, который исчезает в дикой местности с женой, ружьем, несколькими инструментами и несколькими парами домашней скотины, может создать себе идиллическое жилище среди садов и полей, самодостаточное в грубом изобилии; но он потерян для бизнеса, пока не соберет денежный урожай, то есть избыток плодов земледелия для обмена на модные скобяные изделия, чай, оконное стекло, муслин, фарфор и предметы роскоши.

Американская дикая местность поглотила сотни тысяч таких хранителей домашнего очага. Бизнес не спешил трогать их. То, что им приходилось продавать, было громоздким. Стоимость

транспортировки была непомерно высока. Там не было шоссейных дорог, только реки, по которым можно было передвигаться. Еда была дешевой, потому что земля, проще говоря, была щедрой; но вещи, на которые можно было обменять еду, были дорогими. Это, естественно, было бы верно в новой стране, где ремесленная промышленность должна развиваться медленно. Это было верно и по другой причине, которая заключалась в том, что Метрополия рассматривала Новый Свет как плантацию, которую нужно эксплуатировать в интересах своей собственной торговли и мануфактур.

Претензии Великобритании на имущественные интересы в Америке были установлены в противовес европейским конкурентам к концу 17 века, и началась ее борьба с колонистами. Англичане хотели (1) сырья, на которое можно было бы тратить свой высокопрофессиональный труд, (2) эксклюзивного рынка сбыта продукции своих заводов и фабрик и (3) монополии на транзитную торговлю. Колонисты хотели промышленной свободы. Пока они занимались производством гвоздей, обуви, шляп и грубой ткани для собственного использования, ссор не было. Но когда лейбористы даже в малой степени начали посвящать себя исключительно ремеслу, так что отечественные изделия стали выставляться на продажу в конкуренции с импортными английскими товарами, это был бизнес - и британский парламент проголосовал за меры по его пресечению. Ткачество тканей на продажу было запрещено, чтобы колонисты не стали независимыми от английских тканей. То же самое касалось изготовления бобровых шляп; англичане были шляпниками. В Америке было запрещено строить чугунопрокатный завод, потому что англичане нуждались в чугуне и хотели сами его обрабатывать. Всем этим актам парламента колонисты противопоставляли уловки до тех пор, пока не набрались достаточно сил, чтобы вести себя вызывающе. Нетерпимость к юридическим ограничениям, которая является одной из самых стойких черт американского бизнеса, была тогда патриотической добродетелью.

Тем временем появился торговец из Новой Англии — этот очаровательный, исполняющий гимны, ничего не подозревающий пират, который покупал патоку во французской Вест-Индии, менял ее на ром во Салеме, штат Массачусетс, обменивал ром на негров на африканском побережье, выменивал негров на табак в Вирджинии и продавал табак за деньги в Европе, с прибылью, которую можно было уладить с Богом. Эта торговля приносила колониям большие деньги, а они нуждались в деньгах едва ли не больше, чем в чем-либо другом. Затем британцы наложили запрет на торговлю с французской Вест-Индией, обложили налогом каботажные перевозки между колониями и постановили, что американский табак не должен экспортироваться нигде, кроме как в английские порты, хотя — или потому, что — цены на табак были выше повсюду в Европе. Естественным следствием этого ограничительного британского законодательства стало то, что американский бизнес стал совершенно незаконным. Известно, что почти треть из них велась вопреки закону. Контрабанда как во внутренней, так и во внешней торговле стала народным обычаем. Джон Хэнкок, первый подписавший Декларацию независимости, был знаменитым контрабандистом.

Во время войны за независимость отечественная ремесленная промышленность была стимулирована необходимостью. Но средства были примитивными, а продукты несовершенными; и когда после заключения мира британские торговцы, у которых накопилось много товаров на руках, начали предлагать их на продажу в Соединенных Штатах по низким ценам, надеясь восстановить свою торговлю в Новом свете на конкурентных условиях, зарождающаяся промышленность взмолилась о защите. Они поняли это. Одним из первых

актов Американского конгресса было введение тарифа на товары иностранного производства, чтобы страна могла стать самодостаточной в производстве. Это было началом нашей протекционистской политики.

Вступление менее четырех миллионов людей, не занимающихся бизнесом, в свободное владение той частью североамериканского континента, которая называется Америкой, было потрясающим деловым событием. Мы даже сейчас не можем этого осознать. У них не было ни малейшего представления о том, чем они владеют, ни о том, что это означает с экономической точки зрения. География заканчивалась у Миссисипи. Волна иммиграции на Запад только начинала перехлестывать через гребень гор Аллегани.

Морская торговля быстро росла, поскольку всегда имелся избыток продовольствия и сырья для обмена за границей на товары, которые американская промышленность была не в состоянии обеспечить. Внешняя торговля была важным источником благосостояния группы, и общественные интересы были во многом связаны с ней. Кроме того, было легче торговать по морям, чем внутри страны. Филадельфия примерно до 1835 года была ближе к Лондону, чем Питтсбург, не с точки зрения полета вороны, а с точки зрения движения грузов. Внутренний бизнес, возникающий в результате внутреннего обмена товарами, развивался медленно, отчасти из-за плохого состояния транспорта, а отчасти из-за замкнутого характера семей и общин. Более девяти десятых населения составляли сельские жители; сельские привычки сохранились даже в городах, где люди держали коров и свиней, сами готовили мясо, консервировали фрукты и овощи и считали готовую одежду возмутительной экстравагантностью. Бизнес в этих условиях выполнял подчиненную функцию. Отношения людей с ним были в значительной степени добровольными. Его использование было скорее роскошным, чем жизненно необходимым. Тогда не существовало, да и в то время никто не мог себе представить, что взаимозависимость индивидов, групп, сообществ и географических регионов, которую бизнес все больше продвигает, является слепой целью бизнеса, так что в конце концов ситуация меняется на противоположную и люди становятся зависимыми от бизнеса.

На юге Нью-Джерси вы можете увидеть ферму, ныне процветающую под выращиванием ягодных и фруктовых культур, на которой все еще в хорошем состоянии стоят ограждения из кедровых жердей, построенные фермером, чьи деловые контакты заключались в шести-восьми поездках в год по песчаной дороге в Трентон с излишками еды в обмен на новые инструменты, чай, кофе и предметы роскоши. Эта старая песчаная дорога превратилась в цементное покрытие — автомобильное шоссе. Каждое утро машина нью-йоркской хлебопекарной корпорации останавливается у фермерского дома, и водитель раздает свежие буханки. Вскоре останавливается машина мясника со свежим мясом, затем другая с сухими продуктами, и еще одна из нью-йоркского универмага со свертками с готовой одеждой, чулками и обувью.

Подумайте, что символизируют эти четыре двигателя.

Во-первых, это автомобильная промышленность и система производства, переработки и распределения нефти, которые вместе стоят столько, сколько оценивалось все богатство Америки три поколения назад.

Что за вид из окна фургона-пекарни! Интегрированная хлебопекарная промышленность, позволяющая смешивать, замешивать, обжаривать и заворачивать буханки в парафиновую

бумагу без прикосновения человеческих рук, и все это с помощью автоматического оборудования. За Миссисипи, в стране, не открытой до 1804 года, раскинулись пшеничные поля, которые вспахивали, засеивали и убирали с помощью механических машин. В Миннесоте мукомольная промышленность, в которой мельник превратился в обезличенный мукомольный трест. Железнодорожная система, которая перевозит сначала зерно, а затем муку на огромные расстояния по таким низким ценам, что стоимость двух-трех тысяч миль транспортировки буханки хлеба, доставленной на ферму в Нью-Джерси, неопределима.... "Задняя часть мясного мотора" - это мясокомбинат, сосредоточенный в Чикаго. Компания отправляет свежее мясо за тысячу миль в автомобилях со льдом и продает его фермеру из Нью-Джерси по цене, по которой он может позволить себе купить его, а не беспокоиться о том, чтобы производить самому.... За двигателем бакалейщика стоит пищевая и консервная промышленность. С помощью машин они измельчают, очищают, очищают от кожуры, мацерируют, закатывают, готовят, охлаждают и упаковывают фрукты, крупы и овощи в картонные коробки и тару, которые изготавливаются, маркируются и запечатываются другим автоматическим оборудованием.... За двигателем универмага стоят швейная, обувная, текстильная и трикотажная промышленность.

Если одно звено во всей этой разветвленной схеме бизнеса ломается, возникает хаос. Если бы штат Нью-Джерси внезапно на шесть месяцев был отрезан от деловых учреждений, треть его населения могла бы погибнуть; не потому, что штат потенциально неспособен прокормить свой собственный, а потому, что у людей сформировалась привычка зависеть от других, как другие зависят от них, в жизненно важных продуктах специализированного труда.

Все это произошло за время жизни одного забора из кедровых жердей. Вы говорите, что прошло всего пятьдесят или шестьдесят лет. Тем не менее, это буквально так. Система, в рамках которой мы живем, развивалась с 1860 года. Трансформация была внезапной. Никогда в мире физические условия жизни нации не менялись так быстро экономическими средствами. Однако этого не происходило в течение многих лет. Работа по бессознательной подготовке заняла три четверти века.

Человек воздействует на окружающую среду с помощью рук, инструментов и воображения; а бизнес прежде всего нуждается в средствах дешевой и быстрой транспортировки. Во всех основных деталях, кроме одной, основатели были плохо подготовлены для своей независимой атаки на американскую среду. В начале 19 века здесь не было дорог, лишь несколько троп, пригодных только для конных прогулок. Каналов еще не было. А рабочая сила, необходимая для выполнения тяжелых, монотонных задач, была дорогой, дефицитной и в основном использовалась самими собой. Хотя руки первопроходца беспокойны, они не отличаются терпеливым трудолюбием. Существовала потребность в машинах, которые уже начали революционизировать британскую промышленность, но англичане ревностно оберегали свои знания в области механики.

Существует предание, что американцы были удивительно изобретательны в области устройств, снижающих трудозатраты. Это требует уточнения. Их особый гений заключался скорее в адаптации и активном использовании таких устройств. Их внедрению не сопротивлялись, как в старых странах, рабочие, не желающие менять свои привычки и опасющиеся безработицы. Это было важным преимуществом.

Американская текстильная промышленность была основана британскими ремесленниками, которые приехали в эту страну с контрабандой в головах, то есть с планами создания ткацких,

прядильных и вязальных машин, которые англичане охраняли так же тщательно, как военные секреты.... Превосходство этой страны в производстве и использовании сельскохозяйственных орудий изложено в учебниках для начальной школы как доказательство изобретательности американцев; однако основные принципы работы жатки были разработаны в Великобритании за сорок лет до появления в этой стране исторической жатки Маккормика (1831), а молотильные машины были широко распространены в Англии, в то время как в Америке преобладали примитивные методы молотбы, топтания и волочения. Совсем недавно, в 1850 году, коса и колыбель собрали в Америке урожай, и все еще существовало суеверие, что железный плуг отравляет почву и стимулирует рост сорняков. Из всех изобретенных или принятых на вооружение инструментов наиболее широко американцам предстояло использовать железную дорогу; однако первый локомотив был привезен из Англии в 1829 году, когда эмбарго на машины к тому времени было снято — и оно провалилось, потому что было слишком тяжелым!

Прошло двадцать лет, а возможности железнодорожного транспорта по-прежнему оставались незамеченными, что, возможно, в какой-то степени объясняется тем фактом, что единственная крупная заинтересованность того времени существовала в каналах. На карте 1850 года железные дороги напоминают дождевых червей, боящихся покинуть воду и уйти вглубь страны. Идея железной дороги заключалась в том, что она дополняла водный транспорт, соединяя маршруты озер, каналов и рек, помогая перевозкам через возвышенности.

Но в следующие десять лет — с 1850 по 1860 год - судьба сдалась. Произошло то редкое совпадение семян, погоды, глубокой вспашки и таинственного разрешения, которого требует чудо. Основная сила американца внезапно высвободилась. В Калифорнии было обнаружено золото. Была Крымская война, которая создала высокий спрос за границей на наши товары. Телеграф наложил свой отпечаток на время и пространство. Идея железной дороги как инструмента империи захватила воображение. Железные дороги строились с бешеной скоростью. На карте 1860 года изображена блестящая стальная паутина от побережья до Миссисипи.

Гигант был возведен на трон как национальный фетиш. Жертвоприношения по обету были массовыми, скоростными, количественными. Возникли настоящие города. Родился дух Чикаго. Величие и проклятие. В этом десятилетии очертания нашего экономического развития были определены окончательно.

Исключительно с точки зрения бизнеса Гражданская война является неясным эпизодом. Она стимулировала промышленность на Севере, разрушила ее на Юге. Конечный результат в чисто экономическом смысле зависит от свободного мнения. Телеграфный код Морзе, вероятно, создал больше богатств, чем непосредственно уничтожила война. Или ожесточенный спор по поводу маршрута первой трансконтинентальной железной дороги, который отложил этот проект на десять лет, возможно, стоил стране больше, чем борьба за сохранение Союза. Но все это забыто.

После 1860 года темпы роста, несмотря на войну и две ужасные паники, носили кумулятивный характер. За следующие пятьдесят лет, вплоть до 1910 года, мы построили вдвое меньше железных дорог, чем во всем остальном мире. Население утроилось. Этот факт стоит особняком в данных статистики естественного движения населения. Но еще более примечательными были изменения в человеческой деятельности. Число городских жителей увеличивалось в 3½ раза быстрее, чем численность населения; количество наемных работников - в 2 раза быстрее;

клерков, продавцов и машинисток - в 6½ раза быстрее; банков - в 7 раз быстрее; корпораций - в 6½ раза быстрее; шахтеров - в 3 раза быстрее; работников транспорта - в 20 раз быстрее, а количество независимых фермеров сократилось. Богатство за это время увеличилось примерно с 500 долларов до более чем 1500 *долларов на душу населения*.

Если бы Америка в ее нынешнем состоянии открылась воображению любого трезвомыслящего экономиста, скажем, в 1850 году, как мираж или мечта, он бы сказал: “Во всем мире недостаточно труда и капитала, чтобы сделать это”. Он не мог бы предположить, как умножится мощь того и другого.

Сначала произошло огромное простое увеличение предложения рабочей силы в виде иммиграции. Затем эволюция оборудования и методов экономии времени невероятно увеличила производительность труда на единицу населения. В-третьих, применение энергии к сельскому хозяйству и открытие всей этой девственной местности к западу от Миссисипи для выращивания полезных ископаемых так сильно увеличили производство продуктов питания на единицу сельского труда, что в конце концов потребовалось всего половину населения, чтобы прокормить все. Другая половина была бесплатной. Бизнес и промышленность поглотили ее.

О том, что произошло в то же время с капиталом, в этот термин мы включаем также кредит, вообще не могло быть никакого предвидения. Даже сейчас, когда мы думаем о строительстве железной дороги, телефонной системы или автомобильного завода, мысль заключается в том, что для этого потребуются капитал, что, конечно, и произойдет поначалу, но следует также учитывать, как все, что увеличивает скорость обмена товарами или сокращает время, за которое может быть совершен определенный объем операций, увеличивает функциональную способность капитала. Чтобы проиллюстрировать это: торговец 1850 года вел бизнес в основном за счет собственного капитала, без посторонней помощи. Он был вынужден вкладывать значительные средства в товарные запасы. Оборот был медленным. Его маржа прибыли обязательно должна была быть большой. Но с развитием транспорта и средств связи — железной дороги, телеграфа и телефона - и с параллельным ростом банковских услуг условия ведения бизнеса коренным образом изменились. Все временные факторы были сокращены.

Торговцу теперь приходится вкладывать гораздо меньше капитала в товары, поскольку его запасы легко и быстро пополняются. Оборот происходит намного быстрее, потому что люди, пользующиеся пригородными железными дорогами и трамваями, чаще ходят за покупками. И по этим причинам не только возможно вести больший объем бизнеса с заданным объемом капитала, но и коммерсант теперь занимает две трети, может быть, три четверти своего капитала в банке в форме кредита. То же самое можно сказать и о производителе. Раньше он вкладывал свой капитал сначала в сырье, а затем в готовую продукцию, которая должна была продаваться в сезон по мере роста спроса; и при таком способе приведения предложения в соответствие с предполагаемым спросом существовал большой риск потерь. Теперь он продает свои товары до того, как он их изготовит, берет кредит в банке для покупки своего сырья, даже для оплаты своего труда в процессе производства, и когда клиент оплачивает доставку товаров кредитом, который он также занял в банке, производитель расплачивается с *своим* банком и оставляет разницу себе. Раньше экспортером был тот, кто покупал товары за свои собственные деньги, грузил их на корабль, отправлял наугад на зарубежный рынок и ждал, когда его капитал вернется с прибылью. Теперь он сначала продает товар иностранному покупателю по телеграфу, затем покупает его в кредит, грузит на судно, продает коносамент банку, использует

вырученные средства для оплаты товара и подсчитывает свою прибыль. Весь крупный бизнес в настоящее время осуществляется таким образом с использованием призрачного капитала, называемого кредитом; деньги используются только для урегулирования разногласий.

Эффект этой революции методов на мораль и манеры ведения бизнеса был огромным. Она уничтожила аристократию бизнеса, открыв поле деятельности для людей без капитала. Трейдеры и брокеры злоупотребляли этим. Человек, делающий бизнес на заемный капитал, мог переиграть того, кто вел бизнес самостоятельно. Чем больше он занимал, тем сложнее ему было торговать. Умение продавать стало специализированным, бессовестным искусством. Не существовало другого правила, кроме как брать на себя весь трафик: пусть покупатель сам присматривает. Нечестность в бизнесе стала настолько вопиющей, что ее пришлось сублимировать в национальном чувстве юмора. Многие еще живущие помнят, на что были похожи покупки даже в крупнейших городских магазинах, когда никому и в голову не приходило платить по первой запрошенной цене, а перекупка была повсеместным обычаем. Действительно, это настолько укоренилось, что, когда А. Т. Стюарт в Нью-Йорке объявил об эксперименте по одинаковому отношению ко всем покупателям по единой цене, все торговое сообщество предсказало его разорение.

Поскольку кредит одновременно усиливает конкуренцию и позволяет вести более крупный бизнес на небольшой основе инвестированного капитала, норма прибыли в бизнесе имеет тенденцию к снижению. В условиях острой конкуренции между торговцами и промышленниками, все больше и больше оперирующими призрачным капиталом, норма прибыли действительно падала, пока не стала действительно очень малой. Это привело к ухудшению качества товаров из-за фальсификации и производственных ухищрений, которые в конце концов стали настолько серьезным злом, что правительству пришлось вмешиваться в законы о чистых продуктах питания и законы, запрещающие умышленное искажение информации.

Существовал предел, за которым себестоимость продукции не могла быть снижена за счет ухудшения качества. Было невозможно контролировать цены при такой дикой и спонтанной конкуренции, а дешевизна была ключевым словом успеха. Поэтому заработная плата в бизнесе была низкой, и ситуация, по-видимому, зашла в тупик. И все же из этого хаоса возникло то, что сейчас мы знаем как большой бизнес. Идея была проста — массовое производство стандартизированных продуктов питания. Небольшие, энергичные подразделения бизнеса начали объединяться. Как общество интегрируется поэтапно — клан, племя, нация, государство, — так и крупный бизнес шел к цели монополизации через слияния, комбайны и тресты.

Когда ряд конкурирующих производителей объединяются для производства стандартных товаров в больших количествах, устраняется значительное дублирование усилий, становятся возможными методы экономии времени, как никогда ранее, снижаются производственные затраты. Есть и другие преимущества. Они сильнее, чем были по отдельности, не только как покупатели рабочей силы, сырья и транспорта, но и как заемщики капитала. Физическое лицо или фирма являются клиентами банка. Корпорация заключает партнерские отношения с финансами.

Теперь происходит любопытная вещь. Корпорация своим массовым производством восстанавливает качество товаров. Она несет ответственность за свою продукцию и

гарантирует ее брендами, этикетками и товарными знаками. Сахар и овсянка достаются из анонимной бочки за прилавком бакалейщика и помещаются в привлекательные картонные коробки на его полке с названием производителя. Перчатки, рубашки, чулки, столовые приборы, мебель, мясные продукты, джемы, часы, ткани - фактически все стандартизировано по названию и цене и рекламируется производителем непосредственно общественности через голову розничного торговца, так что мелкий розничный торговец больше не коммерсант в старом смысле этого слова, а ворчливый комиссионер. Крупный бизнес вышел из тупика; он восстановил контроль над своей прибылью; но теперь норма прибыли розничного продавца имеет тенденцию становиться фиксированной. Что делает розничный продавец? Он применяет тот же принцип к последнему акту продажи. Войдите в сетевой магазин. Очевидно, что корпорация, владеющая сетью из нескольких сотен магазинов и работающая, подобно производителю, с заемным капиталом, сильнее любого розничного торговца, чтобы договориться с могущественными производителями, и поскольку сеть магазинов имеет тенденцию вытеснять мелкого розничного торговца, восстанавливается баланс между производством и розничной торговлей. Массовое производство обеспечивается массовой продажей. Потребитель как последний субъект может прибегнуть к законодательству для своей защиты.

Крупный бизнес не смог бы развиваться таким образом без помощи железных дорог. Их дилемма была аналогичной. Раздоры и конкуренция лишили их прибыли. Начнем с того, что никто не знал, сколько стоит производство транспортных средств. Когда была открыта новая линия, цены устанавливались в зависимости от обстоятельств. В точках, где он сталкивался с конкуренцией по воде, плата за проезд была очень небольшой, иногда меньше стоимости топлива, а в точках, где конкуренции не было, плата за проезд была бы полной. Затем, когда конкуренция в строительстве железных дорог чрезмерно возросла, высокие ставки неуклонно падали. Как только они начали, люди были одержимы строительством железных дорог. Они делали их по спекулятивным причинам, по феодальным причинам, по политическим причинам, по любой причине вообще. Два человека могут поссориться на Уолл-стрит, и один построит тысячу миль железной дороги назло другому — построит ее на доходы от акций, проданных населению или заложенных в банке. Тогда было бы две дороги, которые разделяли бы бизнес одной. Железные дороги в этих условиях были ненаучно спланированы и перестроены. Прибыль была скорее в строительстве, чем в их эксплуатации. Скандал разгорелся в обоих направлениях. Было создано большое количество фиктивного капитала и продано общественности. И когда была построена железная дорога, она стала игрушкой ее диспетчера, который вступил в сговор с другими транспортными менеджерами, чтобы продавать услуги грузоотправителям и изобретать катастрофические валютные войны, чтобы получить прибыль от падения акций на фондовом рынке.

Тарифы не могли быть повышены или задержаны из-за безответственного характера конкуренции. Транспорт - это товар, который нельзя подделать. Как можно было восстановить прибыль в этой сфере бизнеса? Почему тем же методом, что и в промышленности. То есть массовым производством.

Кто-то обнаружил, что после того, как вы вывели загруженный поезд из терминала и покатали по полосе отвода, поддерживать его движение практически ничего не стоит. Не было денег на перевозку небольших партий груза на короткие расстояния по самым высоким тарифам, которые только можно было взимать; но была выгода в перевозке больших партий груза в

полных вагонов на большие расстояния по очень низким тарифам. Железнодорожники сходили с ума от долгих и тяжелых перевозок. Промышленность стремилась сконцентрироваться в меньшем количестве мест в целях массового производства; и железным дорогам требовались массы грузов для перевозки на большие расстояния. Их проблемы совпали.

Результат: массовое производство тяготеет к этим удаленным друг от друга пунктам дальнего следования, чтобы получить выгоду от низких тарифов, в этих пунктах наблюдается скопление промышленного населения, промышленность в промежуточных пунктах страдает от более высоких ставок фрахта, и отныне железные дороги оснащаются в первую очередь массовым тоннажем. Теперь у вас появляются металлургические города, мясные города, мукомольные города, текстильные города, швейные города и так далее. Взаимозависимость сообществ и географических сегментов, которая создает бизнес, находится в полном развитии.

Однако второе состояние железной дороги хуже первого. Она подавлена монстром, которого вскормила. Она находится во власти нескольких крупных грузоотправителей, мастеров массового производства, которые запугивают ее, требуют все более низкие ставки и, наконец, тайные скидки под угрозой передачи своего тоннажа другой железной дороге или, в некоторых случаях, строительства собственной железной дороги, на что теперь у них достаточно сил. Железная дорога сдает позиции; и если раньше более высокими ставками фрахта страдали только те отрасли, которые выживали в промежуточных пунктах, то теперь вся промышленность за пределами крупного бизнеса находится в невыгодном положении, поскольку крупный бизнес получает тайные выгоды от железных дорог.

Во всем этом не было никакой философии, даже высокого уровня интеллекта. Воля бизнеса анархична; его религия - фатализм. Если оставить его в покое, он будет искать свою выгоду любыми подходящими средствами, а затем рассматривать последствия как акты Провидения.

Было отмечено, что крупный бизнес, перейдя к массовому производству, восстановил честность товаров. Мотив не был этичным. Это окупилось. Добрая воля общественности по отношению к бренду или торговой марке была активом, который мог быть капитализирован, иногда за нечто большее, чем основные средства, и акции, представляющие такую капитализацию, могли быть проданы общественности на фондовой бирже. Но то, что было приобретено с точки зрения морали в честности товаров, было снова потеряно в новых формах нечестности. "Стандарт Ойл продактс" всегда была дешевой и честной; ее масло никогда не разбавляли водой. Но средства, с помощью которых Standard Oil Company приобрела свое опасное торговое превосходство, были нечестными, и по этой причине траст был распущен Верховным судом Соединенных Штатов. Так получилось, что это лишь самый примечательный пример. Было и остается много других компаний и трестов, продукция которых честна, но торговля которыми либо незаконна, либо этически отвратительна.

Нельзя сказать, что бизнес честен или нечестен. Это и то, и другое. Доказательств постоянной выгоды от своего рода внутренней коммерческой честности предостаточно. Банковские операции с дикими кошками исчезли. Простая бухгалтерская запись между торговцами так же хороша, как простой вексель. Целостность товара теперь является торговой традицией. Вульгарные искажения прекратились разве что в трюцбах бизнеса. Практика установления открытых цен для всех покупателей, как оптовых, так и розничных, является универсальной. Больше невозможно тайно печатать железнодорожные акции всю ночь и наводнять ими

Фондовую биржу на следующее утро, как это однажды произошло в Эри. Нигде характер не ценится так высоко, как в бизнесе.

И все же, несмотря на все это и параллельно с этим, между обществом и бизнесом идет ожесточенная вражда. Люди постоянно воздействуют на крупный бизнес через правительственные учреждения, чтобы заставить его вести себя прилично. Каково объяснение?

Ну, во-первых, повышение коммерческой честности было обусловлено не столько этическим просвещением, сколько внутренней необходимостью. Крупный бизнес должен выполнять свою работу в кредит; другого пути нет. Следовательно, кредит - это святыня, которую нужно сохранять всеми средствами. Люди знают, что если они не будут добросовестно выполнять свои обязательства по отношению к ит, система рухнет. По мере расширения использования кредита кодекс ведения бизнеса становится все более жестким. Это необходимо. Тот, кто нарушает кодекс, не просто нечестен по отношению к человеку; он враг доверия.

Если бы сегодняшняя биржевая тусовка могла печатать акции Erie без предварительного уведомления и продавать их, общественность, конечно, пострадала бы, но Уолл-стрит пострадала бы гораздо больше. Его собственные дела пришли бы в безнадежный беспорядок. Такого рода вещи не могут повториться. Код был улучшен. Теперь вы можете быть уверены, что все, что вы покупаете на Фондовой бирже, регулярно выпускается и котируется. Ни одно учреждение так не ревностно относится к целостности своих транзакций — транзакций как таковых. Покупки и продажи, в которых участвуют миллионы, совершаются с одобрительным кивком головы, и простая нечестность неизвестна. Тем не менее, общеизвестно, что количество денег, потерянных сегодня на Фондовой бирже неосторожной публикой, значительно больше, чем во времена Джея Гулда. Видите ли, существует важное различие между формальной и моральной честностью.

Во-вторых, деловая мораль - это термин, не имеющий значения. Такого понятия не существует. Бизнес не является ни моральным, ни аморальным. Он представляет собой человеческий инстинкт приобретения, действующий вне гуманистических мотивов. Мораль бывает личной и социальной. Бизнес обезличен и асоциален.

Пока у нас все ясно. Только теперь, что сказать об этом человеке в бизнесе? Он не отличается от других людей. Им может быть любой из нас. Как же тогда нам объяснить тот факт, что зло и тирания крупного бизнеса, с которыми Конгресс, Комиссия по торговле между штатами, Министерство юстиции, Федеральный совет по торговле и другие общественные организации ведут открытую борьбу, не сдерживаются врожденным социальным чувством? Теряет ли деловой человек это чувство? Или из-за материала, в котором он работает, он становится необщительным существом? Нет. Ответ заключается в том, что бизнесом, о котором мы сейчас говорим, занимаются не мужчины. Им занимаются корпорации.

Чисто политическая корпорация, несущая только юридическую ответственность и не имеющая личности, свободная от надежды на рай или страха перед адом, корпорация является одновременно идеальным инструментом для достижения безличных целей бизнеса и пещерой-убежищем для совести. Корпоративный бизнес в высшей степени ответственен во всем, что относится к бизнесу. Корпоративный бизнес анонимен во всех этических отношениях. Корпорация делает много вещей, которые ни один из ее директоров не стал бы делать как

частное лицо. Глава корпорации говорит: “Если бы это был мой собственный бизнес, я бы решал эту трудовую проблему совсем по-другому. Но это не так. Я доверенное лицо, отвечающее перед пятью тысячами акционеров за безопасность их дивидендов”. Каждый из пяти тысяч акционеров говорит: “Это не мое дело. Я всего лишь один из огромного числа акционеров. Что я могу с этим поделать?”

Никто не несет личной ответственности.

Более двух третей нашего национального богатства принадлежит корпорациям. В какой-то момент они контролируют каждый процесс экономической жизни. Их власть настолько велика, что многие задавались вопросом, не сокрушит ли она со временем народное правительство. И все же во всей этой сфере власти нигде нет того чувства личной моральной ответственности, которое признается между людьми и без которого цивилизованные человеческие отношения стали бы совершенно невозможными. Корпорация в этом отношении подобна государству: она не может, если бы и хотела, принимать моральные решения. Право делать это не делегировано людьми государству или акционерами корпорации. Следовательно, и то, и другое ограничено материальными решениями.

Вероятно, использование корпорации, как и использование трудосберегающего оборудования, получило здесь большее распространение, чем в какой-либо другой стране, как из-за жажды власти и законопослушного темперамента американца в бизнесе, так и из-за масштаба предстоящей работы. Железные дороги, естественно, были первыми крупными корпорациями. Объем капитала, необходимый для строительства железной дороги, выходит за рамки возможностей любой небольшой группы людей; он должен быть собран у большого числа людей, которые становятся акционерами. Первоначально железные дороги субсидировались правительством в виде денежных займов и огромных земельных наделов. Промышленные и торговые корпорации появились позже. Долгое время Америка была для всех корпораций Райским садом. Их поощряли не только потому, что предполагали их невиновность, но и потому, что они были незаменимы. Затем они вкусили от Древа Политической власти, и вражда разгорелась. Когда люди начали по-настоящему их бояться, их корни были уже очень глубокими и касались почти всего, что было прочным. Зловещий союз между крупным бизнесом и крупными финансистами был заключен.

Одна из абсурдностей этого дела заключалась и заключается в том, что любой штат в соответствии со своими собственными законами может выдавать уставы корпораций, которые закрепляют права на выдающееся достояние во всех других штатах. Компания Standard Oil когда-то была распущена в Огайо. Она приняла новый устав в Нью-Джерси и продолжала работать по-прежнему, даже в Огайо.

Каждой попытке изменить свои репрессивные методы с помощью закона они сопротивлялись в соответствии с конституцией как посягательству на права собственности. И всегда было много путаницы относительно того, что это был за закон. В одном случае Верховный суд Соединенных Штатов истолковал это как означающее, что величина сама по себе, простая сила зла, является незаконной, независимо от того, использовалась она или нет; в другом, что каждый случай должен рассматриваться по существу в соответствии с правилом разума, и, еще в одном, что потенциальное право ограничивать торговлю монопольным образом само по себе не является незаконным при условии, что оно никогда не использовалось.

Тем не менее сомнение относительно того, кто должен контролировать другого — государство — корпорации или корпорации - государство, - было разрешено. Постепенно власть государства была утверждена. Рука корпорации в национальной политике закреплена. Контроль федерального правительства над тарифами и практикой железных дорог является полным; точно так же многие из нескольких отдельных штатов контролируют тарифы и практику коммунальных корпораций. Федеральная власть над торговыми путями крупных промышленных и торговых корпораций, операции которых либо настолько велики, либо настолько важны для экономической жизни, что прикрываются общественными интересами, далеко продвинулась вперед; и начинается надзор за прибылью.

Теперь, какой отчет о прибылях и убытках мы можем составить для американского бизнеса?

Изначально обеспеченный превосходной окружающей средой, он сделал доступным богатство в совокупном объеме, до сих пор невообразимом в мире. Но при этом она создала сознательный, непримиримый пролетариат, восставший против частной прибыли.

В производстве это привело к поразительной экономии человеческих усилий. В то же время это привело к колоссальным формам социальных отходов. Это опустошает дух, лишая человека того чувства личного достижения, того чувства сопричастности к конечному результату, в котором заключается вся радость мастерства, так что ум скушает, а сердце иссушается. Она расточительно тратит все вещи в попытках создать новые и экстравагантные желания, приберегая свои самые ослепительные награды для того, кто может изготовить две сверкающие безделушки для продажи там, где раньше продавалась только одна. Это приводит к истощению живой машины в повторяющиеся периоды ужасного и ненужного безделья.

Для распределения товаров компания усовершенствовала систему обмена, настолько сложную, что разрыв одной нити становится катастрофой, и в то же время настолько надежную, что мы каждый день принимаем ее удобства как должное и никогда не беспокоимся. Но подгонка предложения под спрос настолько груба и неконтролируема, что мы периодически страдаем от экономических катастроф, крайней торговой депрессии и социальных потрясений, потому что произошел перепроизводство некоторых товаров, что привело к ценовому тупику между производителем и потребителем.

В области финансов и кредита был разработан механизм высочайшей из известных динамических интенсивности; однако спекулятивное злоупотребление кредитом представляет собой настоящий скандал, и ничего не было сделано для устранения или уменьшения чередования высоких и низких цен, инфляции и дефляции, которые вызывают панику и опасные политические беспорядки. Напротив, бизнес быстро развивается на основе древнего суеверия о том, что подобные вещи происходят в соответствии с неумолимыми законами.

Во время Великой войны американский бизнес поразил весь мир, включая его самого. В 1914 году Соединенные Штаты были страной-должником, задолжав Европе 3 миллиарда долларов. К концу 1920 года мы были крупнейшим кредитором на земле, другие страны были должны нам 15 миллиардов. Это просто означает, что за шесть лет эта страна произвела сверх собственных потребностей и отправила за рубеж товаров на сумму 18 миллиардов долларов. В 1921 году, к наивному удивлению деловых кругов, иностранный спрос на американские товары резко упал, потому что у зарубежных стран не было средств продолжать закупки такими темпами.

Результатом здесь стала острая ценовая паника, торговый спад, безработица и звуки отчаяния. Лидеры бизнеса и финансов изложили ситуацию в таких зловещих выражениях: “Америка перегружена оборудованием. У нее есть потенциал производить больше всего, чем ей нужно. Поэтому, если мы не будем постоянно продавать наши излишки за границу, если американское правительство не предоставит иностранным странам кредит для покупки нашей избыточной продукции, процветанию придет конец. Фабрики закроются, поля останутся под паром, рабочие будут страдать из-за нехватки работы. Более того, нам угрожает поток иностранных товаров, поскольку в настоящее время страны, которые должны нам 18 миллиардов долларов, будут пытаться расплатиться с нами сырьевыми товарами. Если мы откроем наши рынки для их товаров, наша собственная промышленность будет разрушена. Поэтому мы должны ввести высокие тарифы, чтобы защитить американских производителей от конкуренции иностранных товаров”.

Разрушенный избытком!

Мы способны производить больше товаров, удовлетворяющих потребности человека, чем мы можем использовать, наше господство над рабочей силой зарубежных стран из-за долга, который они нам задолжали, огромно, и *бизнес приходит в упадок*.

Будьте внимательны. Чтобы сохранить наше процветание, мы должны распродать излишки или, при необходимости, отдать их в кредит иностранным странам, а затем защитить себя от их попыток вернуть нам долг! Простая абсурдность этого утверждения самоочевидна. Мы упоминаем его только ради того, что оно означает. И это означает, что бизнес - это слепая, судьбоносная последовательность действий, с экстравагантными рефлексивными способностями к приспособлению и расширению и почти без способности к оригинальному воображению.

Американский бизнес, отчаявшийся из-за перепроизводства, и американские индейцы, дрожащие на угольных месторождениях Пенсильвании, — вот ирония судьбы.

Мечта Джона Лоу о пузыре на Миссисипи три столетия назад была фантазией об избавлении от скуки тяжелого труда. Сам пузырь был захвачен. Такова история американского бизнеса. Но кому удалось спастись, всегда спасая немногих за счет многих? Возможно, на самом деле другого пути нет. И все же, фантазия не лжет. И никто не знает наверняка, что произойдет, когда бизнес перестанет быть феодальным, без прав и институтов, стремящимся к собственной прибыли как высшей цели и воспринимающим себя в свете подчиненной человеческой функции, оправдываемой служением.

Гарет Гарретт

ИНЖЕНЕРИЯ

Американское машиностроение зародилось почти сразу после окончания войны за независимость. Занятия колонистов под британским господством были в основном сельскохозяйственными. Производству систематически препятствовали, чтобы Колонии могли

стать рынком сбыта готовой продукции Англии. Возражения против этой формы саботажа впоследствии превратились в одну из главных причин Войны за независимость. Поэтому, как только были сняты искусственные ограничения, налагаемые на колониальную предприимчивость, для новых граждан Америки стало вполне естественным изобретать машины, строить дороги и каналы и планировать города.

Первые инженеры, выполнявшие эту работу, редко проходили формальное обучение. Они были немногим больше, чем ремесленники более высокого класса. Только после тридцати с лишним лет дискуссий и агитации в этой стране были созданы первые научные школы — всего две. И только после принятия Конгрессом Закона Моррилла (1862 г.) формальная инженерная подготовка в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, была поставлена на прочную национальную основу. К 1870 году американские технические школы и колледжи окончили 866 инженеров. Однако настоящее появление типичного американского инженера произошло только с 1870 года. В настоящее время он поставляется в промышленность страны из расчета 5000 единиц в год.

Появление формально подготовленного технолога или научного сотрудника в промышленности несколько отставало от развития промышленной революции. Это было особенно верно в Америке. Первоначально все внимание было сосредоточено на подготовке так называемых инженеров-строителей, то есть проектировщиков каналов, мостов, дорог, плотин и других зданий. Быстрый подъем механического искусства после Гражданской войны привлек внимание к подготовке инженеров-специалистов в области производства. Сегодня инженеров-механиков и электриков больше, чем любой другой группы, и они намного опередили инженеров-строителей.

Первоначальная функция инженера, особенно в первые дни его систематического обучения, заключалась в научном решении чисто механических проблем. Таким образом, часто цитируемое определение Британского института инженеров-строителей о том, что “Инженерия - это искусство управления великими источниками энергии в природе для использования и удобства человека”, совершенно ясно раскрывает законную сферу, в которой предполагалось работать инженеру. Он должен был обуздать неукротимую энергию природы. Вряд ли можно оспаривать тот факт, что этой концепции было тогда достаточно и что карьера большинства инженеров формировалась соответствующим образом. Также, судя по достижениям американских инженеров за последние пятьдесят лет, нельзя утверждать, что их функция была представлена в слишком узком свете. Несомненно, проблемы механического производства, создания и передачи энергии, строительства мостов и зданий, железнодорожного и морского транспорта в этот период были в основном материальными, и возможности для их решения были особенно хороши. На них инженеры обратили свое внимание. Благодаря своей подготовке, технике и накопленному опыту они становились все более успешными в их решении. В то же время их относительная свобода мысли и действий в отношении технологических проблем объединила их в более или менее сплоченные группы, которые со временем начали осознавать более важную функцию инженеров — служение обществу в целом, а не решение простых конкретных трудностей.

Ибо, хотя материальные проблемы производства, несомненно, так же важны, как и прежде, современная промышленная система начала выявлять новые проблемы, с которыми, как в

ограниченной степени осознали инженеры в Америке, необходимо столкнуться. Эти новые проблемы не являются материальными в старом смысле этого слова; они касаются контроля и администрирования подразделений нашей производственной системы. Их природа психологическая и экономическая.

Определенные группы американских инженеров вполне осознали, что эти более глубокие проблемы не решаются; в то же время они считают необходимым долгом помогать в их решении, поскольку инженер, по их мнению, особенно приспособлен к тому, чтобы ясно видеть свой путь через них. Таким образом, от основной массы инженеров старой линии отделяется новое крыло, озабоченное не столько извлечением власти из природы, сколько приспособлением власти к законным социальным потребностям. В отличие от старого инженера, занимавшегося в первую очередь проектированием и строительством, следует признать нового инженера, занимавшегося в основном управлением производством.

Однако, к сожалению, строгая оценка статуса инженера с точки зрения влияния, которое он может оказать на решение этих социальных и экономических проблем, вызывает серьезные сомнения относительно его конечных возможностей в этой области. Несмотря на его огромную ценность и признанную незаменимость как технолога, эксперта по проблемам материалов и производственных процессов, он в лучшем случае может выполнять лишь консультативные функции по вопросам, затрагивающим разделение национального излишка или контроль над промышленностью. Тем не менее, фундаментально важно, что американская инженерная профессия в последнее время значительно расширила рамки определения инженерии Британским институтом инженеров-строителей, а именно, что *“Инженерия - это наука об управлении силами и использовании природных материалов на благо человека и искусство организации и направления деятельности человека в связи с этим”*. Последствия этого гораздо более широкого определения, если оно будет широко принято, рано или поздно поставят американских инженеров прямо перед фундаментальной проблемой.

Идеал служения глубоко присущ профессии инженера. Но то же самое относится и к идеалу творческой работы. Достижения инженерного предприятия легко визуализируются и понимаются, и инженер обычно получает от них большое удовлетворение. Однако в последнее время требования современной сложной экономической системы, в которой инженер считает себя относительно неважным по сравнению, скажем, с финансистом, ухитрились лишить его этого удовлетворения. И поскольку его творческие инстинкты были подавлены, он обратил на само деловое предприятие острый и пытливый взор. Например, от отдельных критических замечаний по поводу отходов и неэффективности в промышленности он не счел долгим или трудным переход к исследованию промышленности на национальной основе с целью выявления технических и управленческих недостатков.

Однако, похоже, что большинство американских инженеров сегодня считают, что их положение как класса таково, что они могут эффективно сохранять беспристрастную позицию при возникновении разногласий между крупными экономическими группами общества, такими как торговцы, фабриканты, чернорабочие, фермеры, хотя эти различия часто приводят к экономическим потерям. Во всяком случае, именно на этой основе предпринимаются попытки сформулировать общую политику для инженеров как класса. Однако весьма сомнительно, сможет ли такая группа, как инженеры, составляющие *“незаменимый генеральный штаб промышленности”*, долго сохранять беспристрастное отношение к двум таким конфликтующим

силам, как капитал и труд, пока они (инженеры) придерживаются идеала максимального обслуживания и эффективности. Частокоты забора со временем могут оказаться чрезмерно острыми.

Группа меньшинств, считающая иначе, уже организовалась в международную федерацию технических специалистов, связанную со стандартным организованным рабочим движением Америки. Эта группа придерживается мнения, что инженер является наемным работником, как и все другие промышленные рабочие, и что его экономическое благосостояние во многих случаях не лучше, чем у обычных наемных работников. Кроме того, эта группа утверждает, что в конечном счете инженеры категорически не могут занимать беспристрастную позицию в борьбе между капиталом и трудом. Поэтому они выступают за то, чтобы инженер присоединился к организованному рабочему движению, как и другие наемные работники, и во времена кризиса распространял свое влияние на промышленных рабочих.

Организованное рабочее движение Америки четко обозначило свою оценку истинной ценности и возможностей американского инженера. Американская федерация труда в 1919 году выступила со следующим заявлением:

“Для дальнейшего содействия производству достаточного количества товаров, необходимых миру для использования, и повышения уровня жизни мы настоятельно призываем к налаживанию сотрудничества между промышленными учеными и представителями организованных рабочих”.

Это убеждение также было выражено в следующих выражениях:

“Профсоюзное движение Америки полностью понимает необходимость адекватного производства предметов первой необходимости. Американские лейбористы понимают, возможно, более полно, чем американские государственные деятели, потребности мира в этот час, и прилагают все усилия, чтобы обеспечить разумное и оперативное удовлетворение этих потребностей. Вопрос о повышении производительности труда - это не вопрос о том, чтобы возложить на трудящихся более серьезную нагрузку; это вопрос об обширных фундаментальных изменениях в управлении промышленностью; вопрос об отмене устаревшей политики; вопрос о внедрении самого лучшего в технику и методы управления”.

Фундаментальное значение такого отношения инженеров и организованных рабочих страны, возможно, будет лучше понято, когда будет осознано, насколько незаменимыми инженеры стали в ведении промышленных дел сегодня. Являясь фактически продуктом последних пятидесяти лет, они уже заняли одно из самых стратегических положений в обществе. Им доверены настоящие “коммерческие секреты” промышленности. Только они понимают, насколько взаимозависимы сложные материальные процессы производства и как их можно поддерживать в гармонии. Инженеры обладают навыками и пониманием, которые абсолютно необходимы для управления производством. Без их руководства нынешняя чрезвычайно сложная система производства быстро погрузилась бы в хаос.

Собственность на промышленность часто предлагалась как ключ к истинному освобождению огромной массы трудящихся нации. По крайней мере, многие теоретические рассуждения о процессе освобождения трудящихся основывались на необходимости в конечном итоге ликвидировать институт частной собственности. Насколько бесполезна такая программа без признания незаменимой роли, которую технические и управленческие навыки играют в любой

системе производства, неоднократно подчеркивалось отдельными лицами, особенно в России и Италии, где был опробован эксперимент по обеспечению безопасности производства без помощи надлежащего технического контроля. Фактически, весь вопрос контроля собственности становится второстепенным, когда мы осознаем истинную ценность инженерного менеджмента. В той мере, в какой американские рабочие видят это и дают возможность американским инженерам сотрудничать с ними в их борьбе за освобождение, они облегчат задачу рабочих и позволят избежать частого повторения расточительных и часто трагических конфликтов. Бремя, однако, в равной степени лежит на плечах инженера, который должен встретить рабочую силу на полпути к этому предприятию.

Вызывает большие сомнения, действительно ли большинство американских инженеров имеют четкое представление о положении, в котором они оказались, помимо общего представления об их кажущейся беспристрастности. Прогрессивные экономические концепции и мероприятия, которые были изложены представителями национальных ассоциаций инженеров, не обязательно являются отражением огромной массы американских инженеров, насчитывающей сегодня более 200 000 человек. Тем не менее, нам повезло, что группа людей, в остальном консервативных и социально робких, какими в прошлом часто были инженеры, теперь оказалась представленной, по крайней мере, несколькими представителями, способными обнародовать четкие заявления по фундаментальным вопросам. Рядовым инженерам предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут добиться надлежащего отношения к своим основным идеалам и целям, выраженным в их новом определении инженерного дела и предложенных некоторыми из их лидеров.

Действительно, следует серьезно сомневаться в том, что многие инженеры Америки действительно прошли подготовку, необходимую для понимания связи их положения с развитием экономики наших дней. Традиционное инженерное образование было слишком узким по своей цели. Ему удалось подготовить хороших технических специалистов-практиков, а не дальновидных экономических государственных деятелей. В последние годы многие инженерные школы уделяют особое внимание тому, что удачно было названо “бизнес-особенностями инженерной практики”. Это, хотя и является, по-видимому, хорошей вещью с точки зрения пределов, в которых инженерное предприятие должно обычно функционировать сегодня, неизбежно чрезмерно подчеркивает *статус-кво*, таким образом, ограничивает видение инженера.

Инженеры в этой стране часто занимают своего рода фарисейскую позицию по поводу желательности — бесцеремонно — делегировать все управление человеческими делами техническим экспертам. Хотя такие специалисты обычно могут быть весьма успешными в управлении инженерными предприятиями, вряд ли из этого следует, что это обязательно делает их пригодными для общего руководства делами общества.

Тем не менее, требование некоторых инженеров к более активному участию в ведении более крупных экономических и политических дел общества следует рассматривать как здоровый признак. Это результат интеллектуального беспорядка среди профессионалов, вызванного подавлением подлинного желания созидать и служить. Это беспокойство из-за отсутствия конструктивного выхода в сочетании с прошлой неспособностью инженерного образования обеспечить реальную интеллектуальную основу, время от времени приводило к некоторым

забавным явлениям. Таким образом, немало инженеров развили своего рода символизм или мистицизм, выраженный в терминологии их профессии, с целью построения новых небес и новой земли, руководящими руководителями которых они предполагают стать. Из этого они извлекают своеобразное удовлетворение и, возможно, временное вдохновение, и, между прочим, они часто, кажется, ставят в тупик непрофессионалов, которые не понимают значения их терминов. Вместо того чтобы черпать утешение в символических рассуждениях и футуристических инженерных схемах, можно было бы скорее ожидать, что инженеры будут реалистами, особенно в более крупных областях своей профессии. Серьезность, с которой были восприняты рассуждения о "привязке к пространству" и "привязке ко времени", является примером того, как инженеры с их нынешним односторонним интеллектуальным развитием могут ухватиться за метафизическую паутину в поисках духовного утешения в своем затруднительном положении.

Другой аспект интеллектуальной ограниченности многих американских инженеров обнаруживается в некоторых спорах, которые ведутся в технических обществах и технических периодических изданиях. Примечательным и повторяющимся примером являются дебаты относительно относительных преимуществ паровой и электрической эксплуатации железных дорог. Реальный вопрос, лежащий в основе замены действующей системы на более совершенную, но более дорогостоящую с точки зрения капитальных затрат, носит в первую очередь экономический характер. Следовательно, такое изменение зависит от пересмотренного распределения национального профицита, а не от сравнительных достоинств деталей. Этот факт, похоже, редко доходит до инженеров. Последние пятнадцать лет они спорят об относительных преимуществах той или иной детали, все это время не понимая, что лучшее в целом с инженерной точки зрения может быть обеспечено только тогда, когда неограниченное, свободное предпринимательство уступит место какой-либо форме предпринимательства, регулируемой главным образом в интересах государственной службы.

Инженерная профессия, особенно в Америке, все еще достаточно молода, чтобы не опутаться традициями и условностями. Она быстро развивалась по существу прагматичным, хотя, возможно, и узким направлениям. Конечно, она не связана прецедентами и условностями, как профессия юриста или даже врача. Прежде всего, она черпает вдохновение в могущественных физических реальностях, и это составляет ее оплот.

Чего действительно не хватает этой профессии, так это двух основных принципов, абсолютно необходимых для любой группы, занимающей стратегическое положение и стремящейся к лидерству в обществе. К ним относятся: (1) интеллектуальный фон, основанный непосредственно на всестороннем изучении экономических и политических институтов общества, их истории, росте и функционировании, вместе с изучением более широких аспектов человеческого поведения и прав; и, (2) развитие способности к разумной критике, особенно инженерных и экономических предприятий. Для понимания новой должности и ее прерогатив, которые создало для инженера применение науки, необходима здоровая интеллектуальная подготовка. Желательно развитие критической способности, позволяющей ему распознавать соблазны культа, соблазны формул и систем, выраженных в неопределимых абстракциях, и ловушки *статус-кво*.

Ответственность за роль американского инженера в обществе в значительной степени лежит на школах, которые его готовят. Инженерное образование в Америке справилось со своей задачей

относительно хорошо, если рассматривать ее с простой технической точки зрения. В последнее время прогрессивные преподаватели инженерных дисциплин подчеркивают необходимость уделять больше внимания гуманитарным дисциплинам в учебной программе по инженерному делу. Однако начало, сделанное в этом отношении, слишком скудно, чтобы оправдывать большие надежды на то, что молодые американские инженеры вскоре приобретут либо ту интеллектуальную подготовку, либо подлинные критические способности, которые дадут им право на большую долю ответственности за дела людей.

Наиболее обнадеживающим признаком в этом направлении является, скорее, слияние инженеров в большую федерацию обществ с служением обществу, государству и нации в качестве их девиза; растущая тенденция, по крайней мере коллективно, расследовать поведение национальных промышленных предприятий; и, наконец, попытка сближения, в интересах общества, между рабочими и инженерами. Вскоре эти разработки найдут отражение в инженерных школах, и тогда, как вполне разумно ожидать, процесс формирования действительно достойного класса промышленных лидеров в этой стране действительно положит начало. В Америке сегодня такого руководства не существует.

О. С. Бейер-младший .

НЕРВЫ

Какой бы молодой ни была Америка, она, тем не менее, достаточно взрослая, чтобы знать то время, когда не существовало таких вещей, как нервы. Наши первые поселенцы и колонисты, наши, как говорится, выносливые первопроходцы, очевидно, умудрялись справляться с очень скромным набором болезней. Они умирали, если не от недоедания, переохлаждения или от рук индейцев, то от какого-нибудь старомодного, ниспосланного небом припадка или внезапной боли, не говоря уже о “старости”, которая долгое время была излюбленным диагнозом благочестивой и не слишком любознательной медицинской школы, даже там, где коронеру приходилось указывать возраст пациента - сорок или около того. Что же касается различных форм нервозности, присущих нашему веку снисходительности и роскоши, то они были неизвестны в те суровые времена и, несомненно, навели бы своих несчастных жертв на подозрение в запрещенном общении с дьяволом.

Если, тем не менее, мы чувствуем себя вправе предположить, что этот золотой век здоровья и болезней, вероятно, скрывал под своей мишурой немало нервных расстройств, которые уже сделали средневековые таким интересным, мы должны иметь в виду, что первопроходец-невротик тех дней имел в своем распоряжении ряд маскировок и уверток, к которым его товарищ по несчастью сегодня больше не может прибегнуть. Одним из его излюбленных способов скрыть свою невротическую дезадаптацию было принятие прибежища в какой-либо форме религии или, скорее, в какой-то новой вариации религиозных верований или практики, поскольку здесь, конечно, не утверждается, что религия сама по себе может быть исчерпывающе объяснена как проявление нервной дезадаптации. Но колониальный период был эпохой, когда для невроза было еще, так сказать, хорошим тоном выражать себя в какой-либо религиозной особенности, а поскольку в этой стране не было монастырей (которые

оказались таким убежищем для невротически больных в средние века), невротик был вынужден открыто демонстрировать свой неорелигиозизм. Часто он расцветал в какой-нибудь новой форме религиозной сегрегации, которая позволяла ему компенсировать свой социальный дефект и часто давала ему положительные преимущества.

Невротическое наследие, которое он таким образом завещал нации, все еще можно увидеть повсюду вокруг нас сегодня в необычайном разнообразии религиозных вариаций, если не сказать эксцентричности, которыми усеяны богословские небеса Америки. Ибо невротик как основатель религии — или, лучше, изобретатель — быстро собрал единомышленников, сформировал секту и продвинулся немного дальше на Запад, так что страна была довольно обильно засеяна странными верованиями. Таким образом, он был освобожден от критики, которая обрушилась бы на него в более устоявшемся обществе, и его невротическая маскировка оставалась незамеченной до такой степени, что сегодня это уже невозможно. Ибо, если в наши дни мы все еще время от времени сталкиваемся с совершенно новой и грубо индивидуальной религией, зарегистрированной и запатентованной, как любой эликсир воздержания, мы обычно обнаруживаем, что ее пророк — либо ущербный, либо даже неграмотный человек, искаживший какой-нибудь библейский текст в пользу причудливой интерпретации, либо психопатический индивидуум, у которого уже есть высоко систематизированные идеи бредового типа. Этот класс невротиков имел тенденцию к исчезновению примерно в результате того же процесса, посредством которого более яркий тип истериков, процветавший в средние века, постепенно уступал прогрессирующему разоблачению — аналогия, на которую я ссылаюсь с некоторой неуверенностью перед лицом одной из величайших ироний 20-го века, а именно канонизации Жанны д'Арк. Но это погружение во тьму средневековья, вероятно, следует объяснить как побочный продукт военного мышления.

Другая огромная лазейка для раннего американского невротика была чисто географической. Он всегда мог двигаться дальше. Принимая во внимание тенденцию к избеганию общения, столь характерную для невротиков, это было неоценимым преимуществом. Конечно, обычно предполагается, что, когда зарождающиеся американцы двинулись на Запад, это было либо в ответ на какое-то внешнее давление политического гнета или религиозной нетерпимости, либо по радостному, свободному зову более широких горизонтов и более заманчивых возможностей, как это было в случае с первыми колонистами во время их бегства из Европы. Однако в обоих случаях это предположение может быть оспорено как достаточное объяснение. Ибо весьма вероятно, что многие из этих первопроходцев были, подобно “Бродяге” мистера Коэна, беглецами от своих собственных мыслей в той же степени, что и от тирании других. Они чувствовали внутри себя побуждение, которое делало дальнейшее пребывание в их социальном окружении невыносимым. Это географическое бегство невротика всегда было самым естественным и очевидным, хотя сегодня оно в значительной степени сдерживается исчезновением новых девственных территорий и усложнением знаний, порожденных всемирной коммуникацией, которая гласит, что человечество везде во многом одинаково, истина, которая снова может быть переведена во внутреннее осознание того, что мы не можем убежать от самих себя.

Конечно, наши первопроходцы были слишком романтизированы. Невротическое наследие, которое они завещали нам, можно ясно увидеть во многих характеристиках наших неотесанных жителей Запада с их попеременным холодом по отношению к посетителям и их недостойной

теплотой по отношению к случайному незнакомцу, который на самом деле ничего не может для них значить. Есть что-то неправильное в человеке как общественном животном, если он не может счастливо жить в долине, где видит нечто большее, чем далекий дым из трубы своего соседа. Когда, наконец, давление населения вынудит его жить в обществе, его подозрительность и недоверие, вероятно, превратят его в фанатика и реформатора и сделают возможным доминирование в американской жизни такого субкультурного типа, как Брайан, или блаженство такого штата, как Канзас. Любимое западное увещевание имеет возможность посмотреть человеку в глаза и послать его к черту достойно антисоциального сообщества бывших заключенных, а максимум о том, что не лезь не в свое дело, можно понимать только как защиту от распространенной тенденции каждого лезть не в свое дело. Таким образом, самоизолирующийся невротик заканчивает тем, что мстит обществу, делая его невыносимым.

Но это следует предвидеть. Следует сказать, что до окончания Гражданской войны Америка оставалась на редкость свободной от “нервов”. Возможно, это во многом связано с тем фактом, как я пытался показать, что они не были известны как таковые. Единственной серьезной эпидемией была охота на колдунов в 17 веке. Безусловно, было бы весьма милосердно по отношению к религии, у которой было так много других отталкивающих черт, охарактеризовать это как истерическую эпидемию и оставить все как есть, хотя это также свежо иллюстрирует истертую временем истину о том, что нетерпимость, похоже, не делает ее жертв, в свою очередь, более терпимыми. Окончание этой эпидемии также ознаменовало последнюю вспышку государственной нетерпимости к религии, за исключением более поздних инцидентов, связанных с мормонской церковью, хотя редко кто понимал, что, особенно в этой стране, государственная терпимость к религии компенсировалась индивидуальной и социальной нетерпимостью в вопросах, которые совершенно выходили за рамки религиозной сферы. Об огромной важности этого явления в связи с нашим современным нервным напряжением мы еще поговорим позже.

Первое типичное проявление американских нервов во внушительных масштабах начало развиваться в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века в форме неврастения. До тех пор типичный американец, несмотря на свою религиозную одержимость и социальные недостатки, в значительной степени сохранял внешнее мышление, о чем в достаточной степени свидетельствует его презрение к искусству и прославление своих чисто материальных достижений. Он был в процессе создания, увлекательном процессе, пока он длится, хотя и довольно опасном в долгосрочной перспективе, потому что он никогда не заканчивается. Неврастения быстро развивалась, как только ей давали надлежащий ярлык, и унесла заметное количество жертв среди наших промышленных магнатов и людей с высоким давлением: действительно, это число легко могло привести к, возможно, довольно недоброжелательному выводу, что деловая нечестность, даже если она успешна, скорее всего, приведет к нервному срыву у поколения, благочестиво воспитанного на безупречных принципах Бенджамина Франклина или Герберта Смайли. Более фундаментально это было, конечно, логическое наказание за культивирование чисто энергетической стороны человека в ущерб его созерцательной природе. Философия спешки и суеты начала пошатываться.

Первооткрывателем, толкователем и популяризатором неврастения был доктор Джордж М. Бирд, под именем которого неврастения стала известна как “американская болезнь”. Доктор Бирд был опытным неврологом в рамках медицины своего поколения, но обладал опасным даром воображения. Его концепция неврастения была поистине грандиозной. По его словам,

это удивительное заболевание было эндемичным в Соединенных Штатах и являлось результатом наших особых социальных условий. Его причиной, по его утверждению, была “современная цивилизация, которая обладает этими пятью характеристиками — паровой энергией, периодической печатью, телеграфом, наукой, умственной деятельностью женщин”. Среди вторичных и третичных причин неврастения или нервозности он назвал такие вещи, как климат, сухость нашего воздуха и экстремальные температуры и холода, гражданскую и религиозную свободу, наши институты в целом, пьянство и общее потакание нашим аппетитам и страстям. В замечательной главе он также назвал одной из причин нашей нервозности поразительную красоту американских женщин, хотя и не уточнил, заставляло ли это нервничать только мужчин или женщин тоже. Такой диагноз должен был с удвоенной силой превратить социолога, и доктор Бирд оправдал свои предположения, сказав, что излечение от неврастения будет означать “решение проблемы самой социологии”.

Неизбежным результатом такого широкого и уверенного диагноза было превращение неврастения в своего рода *совокупность* всех болезней человечества, менее очевидную, чем сломанная нога. Объяснение недуга в терминах Америки, а не в терминах пациента и его симптомов, имело примерно такую же ценность, как книга иностранца об Америке, написанная им на пароходе, направляющемся домой, после шестинедельного пребывания в этой стране. Фактически, ставились самые дикие диагнозы, и таким совершенно определенным медицинским явлениям, как табеоз, атеросклероз, паращитовидная железа, миастения и начинающиеся опухоли головного мозга, часто присваивался ярлык неврастения. Были также выдвинуты различные теории истощения и нервного перенапряжения, и была предпринята попытка питать и укреплять нервную систему непосредственно по аналогии со знаменитым предположением профессора Агассиса о том, что фосфаты, содержащиеся в рыбе, могут усваиваться непосредственно как материал для клеток мозга, теория, которая не учитывала тот факт, что среди рыбаков выросло сравнительно мало интеллектуальных гигантов. Это, естественно, открыло широкое поле для шарлатанства и положило начало эре “нервных тонизирующих средств”, которые до сих пор с нами. Повальное увлечение санаториями также началось примерно в это же время, и поскольку у каждого врача был свой небольшой санаторий, публика была довольно хорошо обобрана как “знахарями”, так и самими медиками.

Конечно, никакое лечение не могло быть успешным в излечении такого широкого спектра заболеваний, само существование многих из которых было скрыто от врача под общим термином “неврастения”; и в тех случаях, когда присутствовала настоящая неврастения, лечение, разработанное Биардом и его последователями, достигало лишь поверхностного прогресса. Формула С. Вейра Митчелла, например, с ее акцентом на тишину, диету и отдых, в большинстве случаев оставалась, по сути, лечением симптомов, а не причин. Уставшему и переутомленному бизнесмену дали умиротворяющий отпуск от его сомнительных трудов, а затем быстро отправили обратно к ним, как собаку на свою блевотину. Американка, занервничавшая из-за того, что была недостаточно занята, была приобщена к другой форме ничегонеделания, после чего на какое-то время почувствовала большое облегчение. Вскоре неврастения попала в порочный и постоянно расширяющийся круг; чем больше она распространялась, тем больше приходилось ее включать, и, таким образом, она все меньше и меньше поддавалась медицинскому лечению; это вызвало хаос, особенно среди американских женщин, которые эксплуатировали свою “нервозность” так же, как их европейские сестры эксплуатировали свою “мигрень” или свои “испарения” в предыдущих поколениях. Однако к девяностым годам неврастения вошла в моду, другим странам удалось выжить, не вводя против

нее карантина, и медицинские круги начали обсуждать, существует ли вообще такая вещь, как неврастения.

Но, несмотря на срыв "неврастении" и грехи, которые были совершены во имя нее, было бы ошибкой просто смеяться над доктором Бизердом за претенциозность его концепции или слишком сурово критиковать его за чрезмерную популяризацию медицины. В конце концов, его проницательность имела значительную ценность. Поскольку он осознал, пусть и несовершенно, что неврозы как класс являются культурными болезнями и что их нельзя должным образом понять, не принимая во внимание предпосылки современной цивилизации. Это редкое достоинство в американской медицине, где специалист постоянно находится в опасности самоизоляции, тенденция, которая особенно вредна при изучении психических наук. К сожалению, доктор Бирд не довел дело до конца. Похоже, он испугался собственного диагноза. Ибо как только он нарисовал наихудшую из возможных картин американской цивилизации как возбудителя неврастении, он повернулся и заверил общественность, что в конце концов все не так уж плохо. Он достиг этого, обогатив свою социологию философией, которая сама по себе является вундеркиндом. Эту свою философию он назвал "омнистической философией" и приписал ей особое достоинство - способность включать в себя "оптимизм, с одной стороны, и пессимизм, с другой, и извлекать лучшее из обоих", что, несомненно, является самой возвышающей частью американской метафизики, какую только можно найти во всем округе Чаутокуа. Критикуя медленный прогресс американской медицины в целом, всегда полезно помнить об атмосфере интеллектуального шарлатанства, в которой наши врачи не менее уверенно двигались, чем наши ранние метафизики.

К концу 19-го века изучение функциональных нервных расстройств в Америке было, как я уже говорил, изрядно усеяно *разделенной мембраной* неврастении, которая все еще слегка дышала под воздействием электро- и гидротерапии и индустрии "здорового питания". Тем временем гипноз также пришел в свой черед на американской медицинской сцене, где он прошел стремительный цикл использования и злоупотреблений. Неврология как особое отделение, как и вся остальная американская медицина, значительно обогатилась благодаря контакту с континентальной медициной, и работы Крепелина пользовались уважением среди психиатров. Доктор Мортон Принс начал публиковать некоторые интересные исследования раздвоения личности, и был создан ряд предварительных систем психотерапии, основанных на довольно неоднозначной процедуре, но только для того, чтобы быть снова отвергнутым в качестве полезного упражнения для критической способности.

Но теперь была подготовлена почва для появления двух современных теорий неврозов, представленных в Европе Джанет и Фрейдом. В соперничестве, которое немедленно возникло между этими двумя противоположными теориями, Джанет вскоре была обойдена стороной. Его фундаментальная концепция истерии как формы дегенерации была в некотором смысле столь же противна американскому оптимизму, как сексуальная интерпретация Фрейда американской ханжестве. Джанет действительно оказала истерику неоценимую помощь, приняв его всерьез, но его представление о предмете было настолько узким, а его теория в конце концов оказалась настолько статичной, что его взгляды мало продвинулись вперед. Джанет также находилась в невыгодном положении, работая изолированной фигурой в предписанной области, и не вступила в какое-либо революционное отношение к психологии в целом и не нашла тех чрезвычайно наводящих на размышления аналогий в области психиатрии, особенно в области прикованного слабоумия и паранойи, которые придали работам Фрейда такой широкий размах.

Кроме того, у него были недостатки, характерные для многих французских лекарств, которые часто носят исключительно островной характер и, так сказать, не производятся на экспорт. Его вклад более или менее начинался и заканчивался теорией диссоциации личности, которая характерна не только для истерии и не могла быть успешно привита к старой психологии, за которую цеплялась Джанет.

С другой стороны, Фрейд после первоначального сопротивления быстро стал эпидемией в Америке. Как и в случае с Европой, он пользовался значительной популярностью среди непрофессионалов, в то время как в медицинских кругах ему все еще яростно противодействовали. Однако его визит в Америку в 1909 году по случаю двадцатой годовщины Университета Кларка произвел на него очень благоприятное впечатление и привлек к нему внимание таких американских психологов, как Уильям Джеймс, Эдвин Б. Холт, Адольф Мейер и других. Его работы появились в этой стране в переводах доктора А. А. Брилла, и вскоре Фрейдом “занялись” с удвоенной силой.

У него были как преимущества, так и недостатки бума. Его поклонники затушевывали или преувеличивали его, а враги высмеивали его популярность как доказательство репутации, основанной на стремлении к сенсациям. На самом деле Фрейда постигли три судьбы: его либо горячо приветствовали, либо отвергли целиком с соответствующим академическим самосудом, либо приняли с “улучшениями”.

Предыдущий опыт укрепил его против второго варианта и, вероятно, он смирился с третьим: именно объятия едва не оказались для него роковыми. Америке предстояло стать свидетелем самого экстравагантного развития так называемого “дикого” психоанализа, опасности, против которой предупреждал сам Фрейд. Например, в 1916 году неофициальный отчет показал, что только в Нью-Йорке около пятисот человек были вполне готовы подвергать пациентов психоанализу, в то время как во всем штате, вероятно, было не более шести практикующих врачей надлежащей квалификации. Рекламные объявления предлагали обучать психоаналитической технике по почте, а инструкторы по хиропрактике включили ее в свою учебную программу. Это грубое злоупотребление было вызвано общей расплывчатостью медицинского законодательства в этой стране, которую все еще предстоит исправить. Оскорбляли не только дилетанты; часто виноваты были сами врачи. Ибо нельзя слишком часто подчеркивать, что психоаналитик должен обладать чем-то большим, чем тщеславие психологической тонкости, свойственное большинству из нас; он должен быть квалифицированным неврологом и обладать значительным опытом в психиатрии, если хочет избежать ловушек дифференциальной диагностики — случай истерии может быть опасно похож на зарождающуюся опухоль мозга, а невроз навязчивости может симулировать параноидальное состояние. Эти злоупотребления, конечно, не являются критикой внутренней ценности психоанализа. В истории медицины было сделано так много открытий, что их рекомендуют как панацею от всех болезней; нам достаточно вспомнить вакцинацию или нынешнее увлечение витаминами. С другой стороны, вызывает сожаление тот факт, что прямые нападки на Фрейда в этой стране редко поднимались выше уровня осуждения. Например, совсем недавно один из наших выдающихся в обществе неврологов позволил себе прибегнуть к телеологическому, или, скорее, замаскированному теологическому аргументу о том, что, если бессознательное действительно так полно ужасных вещей, как говорит Фрейд, их следует оставить там. И все же именно в серьезной и сочувственной критике больше всего нуждается наука психоанализ.

Попытки ассимилировать Фрейда были двух видов. Первые из них, такие как книга профессора Холта “Желание по Фрейду” или книга доктора Эдварда Дж. Кемпфа “Автономные функции и личность”, были искренними и полными критического достоинства попытками соотнести психоанализ с американской бихевиористской психологией со стороны людей, которые не являются полностью убежденными фрейдистами. Вторые носили скорее характер несколько напыщенной критики, которая пыталась примирить и смягчить то, что казалось более отталкивающими чертами фрейдистских теорий. Среди медиков в Америке преобладает тенденция предаваться критике без какого-либо должного учета пропорций между масштабностью предмета и их знакомством с ним, что-то вроде манеры зеленого студента-богослова, который уверен в своей способности ниспровергнуть теорию эволюции с помощью собственного небрежного тезиса. Ученый во многих областях постоянно сталкивается с этим снижением стандартов, делающим науку не слишком научной или логику не слишком логичной, чтобы это не было неправильно понято; это, безусловно, комментарий к тому, что большинство американцев, например, считают Эдисона нашим величайшим ученым. Тенденция приукрашивать и облагораживать Фрейда приняла несколько своеобразные формы, во многом благодаря доктору Юнгу, который, повторно представив американской аудитории теорию либидо с некоторыми собственными философскими и мистическими добавками, почувствовал, что сделал Фрейда здесь более привлекательным.

По иронии судьбы, было бы очень просто “поставить на место” Фрейда в этой стране со всем блеском бергсонизмского помешательства, которое ему только что предшествовало. Это был всего лишь вопрос правильной рекламы, поскольку проблема отношения к сексу в Америке была решена давным-давно. Способ сделать это - сделать это сентиментальным. Если бы Фрейд, вместо того чтобы говорить, что кровосмесительная тоска ребенка по родителю противоположного пола является естественным импульсом, хотя обычно сублимируется в период отрочества, вложил ту же идею во фразеологию многих наших популярных песен, в которых повторяется тема о том, что мать - первая, последняя и самая настоящая любовь своего мальчика, он бы не встретил возражений. И если бы он придал своей теории бессознательного слегка религиозный оттенок, подчеркнув тот факт, что бессознательное не ощущает течения времени и не может постичь свое собственное уничтожение, его бы приветствовали как последнего сторонника бессмертия души. Небольшое личное сообщение в прессе о том, что он вел целомудренную жизнь и был отцом процветающего семейства, дополнило бы рецепт. Он бы с треском провалился, хотя, вероятно, был бы так же дружелюбно неправильно понят, как сейчас его жестоко неправильно понимают.

Фрейд, однако, представил свой случай по достоинству и, помимо информирования изумленной американской аудитории о том, что доктор Сэнфорд Белл опередил его в объявлении о подростковой сексуальности детей, взял на себя ответственность за свои теории. Что он сказал, тщательно и неоднократно, так это то, что с тех пор, на протяжении длительного периода нашего развития, трудности удовлетворения импульса голода были преодолены, поскольку цивилизованный человек довольно хорошо решил проблему питания; именно половому импульсу индивидууму труднее всего приспособиться. Эта трудность скорее возрастает, чем уменьшается с развитием культуры, и на определенных этапах приводит к группе заболеваний, известных как неврозы. В нормальной сексуальной жизни неврозов нет. Но наша цивилизация во многих отношениях стала настолько извращенной, что мы обнаруживаем нечто сродни официальному предпочтению невроза нормальной сексуальной жизни, несмотря на то, что невроз в конечном счете разрушит цивилизацию. Это порочный

круг, который атаковал Фрейд. При этом он должен был сначала расширить концепцию сексуальности и показать ее сложную связь со всей нашей культурой. Изучая цивилизацию на ее переломном этапе, он, естественно, должен был изучить то, что ее разрушало, а именно, дезадаптацию индивида к своим сексуальным импульсам. Но он никогда не пытался сексуализировать вселенную, как утверждалось, и никогда не упускал из виду тот факт, что, хотя человек как эгоцентрическое существо должен ставить на первое место инстинкты самоуважения, человека, рассматриваемого как один из процессов природы, еще предстоит изучить с точки зрения его репродуктивных инстинктов. Фрейд постоянно подвергался чрезмерной сексуализации как со стороны его поклонников, так и со стороны оппонентов, и степень, в которой это было сделано в Америке, является, по крайней мере, некоторым показателем того, насколько он был близок к здешним условиям.

Фрейдистские исследования в этой стране почти полностью ограничивались случаями. Нашим врачам, практикующим психоанализ, не хватало ни досуга, ни культуры, чтобы применить свою науку к более широким культурным вопросам, к которым применима фрейдистская психология, а среди ученых-непрофессионалов, использующих психоаналитическую технику, не было выдающейся фигуры, подобной Отто Ранку, проделавшему такую заметную работу в Вене. Но изучение конкретных случаев истерии и неврозов в том виде, в каком они встречаются в Америке, уже позволяет сделать некоторые общие выводы относительно характера национальной матрицы, из которой они происходят. Одной из самых ярких черт нашей эмоциональной жизни является преувеличенная материнская любовь, столь часто проявляемая американцами. Средний американец, пьяный или трезвый, может впасть в сентиментальность по поводу совершенства своей матери и своей преданности ей таким образом, что это должно шокировать европейского наблюдателя. Не то чтобы европейец меньше любил свою мать: просто он более сдержан в выражении эмоций, которые, по его мнению, имеют определенную личную неприкосновенность; он испытывал бы решительную стесненность, хвастаясь этим, точно так же, как воспитанная женщина не стала бы выставлять напоказ свою добродетель. Взрослый американец не знает таких ограничений; он «расскажет миру», как сильно он любит свою мать, будет петь о ней сентиментальные песни и радостно последует совету «выбрать девушку, похожую на свою мать, если хочешь быть счастливым в браке», а затем впадает в ярость при упоминании комплекса инцеста. Это чрезмерное поклонение матери достигло почти культовых масштабов. Это отражено в нашей художественной литературе, в наших кинофильмах, в низшем положении американского мужа и в таких чисто матриархальных религиях, как христианская наука, где практикуется форма исцеления, которая не очень далека от утешения матери своему сыну, когда он ушиб колени. Все это указывает на стойкий сексуальный инфантилизм и незавершенную сублимацию, которые являются такими плодовитыми возбудителями истерии. Невольно вспоминается довольно загадочное заявление доктора Бирда о том, что необычайная красота наших женщин является одной из причин нервозности в Америке. В той мере, в какой они предлагают максимум соблазна при минимуме супружеского удовлетворения, обвинение, безусловно, оправдано. Это похоже на то, как если бы они даже не знали своего дела с точки зрения своей сексуальной функции - отлучения своих мужей от матерей и таким образом завершения необходимого экзогамного процесса. Таким образом, мы имеем состояние, при котором муж, продолжая стремиться преодолеть свой комплекс инцеста, становится всем в своем бизнесе и ничем в своем доме, что приводит к окончательному невротическому срыву или запоздалому погружению в беспорядочную

половую связь. Жена, со своей стороны, либо впадает в истерику, либо становится жертвой религиозного или реформаторского шарлатанства.

Изучение неврозов навязчивости и связанных с ними параноидальных состояний, которые так распространены среди нас, дало нам дальнейшее понимание невротического характера американского темперамента. Одним из наиболее ценных из них является признание компульсивного характера столь значительной части нашего мышления. Это также хорошо заметил такой иностранный критик, как Сантаяна, который говорит об Америке: “Хотя она называет себя страной свободы, на самом деле это страна принуждений, и одно из величайших принуждений заключается в том, что мы должны думать и чувствовать одинаково”. Это довольно фатальное обвинение нашему хваленому индивидуализму, который на самом деле является индивидуализмом, порожденным страхом и недоверием, подобными тем, которые уже были присущи нашим первым пионерам. Мы действительно ультраконформисты, и наш страх перед инакомыслием приравнивается почти к фобии. Но такая атмосфера представляет собой рай для невротика, страдающего навязчивостью, потому что ему легко навязывать свои навязчивости остальному обществу. Тот факт, что невротики навязчивости постоянно прибегают к неорелигиозным формациям, благодаря которым они могут временно приспособливать свои табу и фобии к религиозным церемониям, позволяет им использовать общие религиозные санкции общества для навязывания своих навязчивостей своим собратьям.

Здесь, вероятно, содержится лучшее объяснение американской нетерпимости, чем в обвинительном акте пуританства, который является столь излюбленным ругательством наших иконоборцев. Пуританизм стал литературным лозунгом и никоим образом не охватывает этот случай. Ибо следует помнить, что мы имеем дело с ответвлениями деградировавших религий, которые исходят от очень широкого круга лиц. Религия, оказавшись отрезанной от прямого вмешательства государства и постепенно утратив свой примитивный антропоморфизм, который действительно был одним из источников ее силы, продолжала все более и более внешне проецировать себя на социальные вопросы. По мере того как личность Бога тускнела, фигура дьявола также теряла свою яркость, и проблема между добром и злом больше не могла решаться исключительно в лоне самого человека; его больше не искушала фигура Дьявола, явившегося ему лично. Христианская религия в период своего расцвета очень ясно видела, что душа должна ставить свое собственное спасение на первый план, и постоянно использовала множество подходящих сравнений, таких как луч в нашем собственном глазу, чтобы напомнить нам, что, хотя наш ближний тоже может быть занят борьбой с дьяволом, он, вероятно, способен позаботиться о себе сам. Нашему современному реформатору подобные сравнения ни к чему; ему пришлось бы уйти из бизнеса, если бы он не мог продолжать ковырять соринку в глазу своего соседа. Он находит эквивалент Дьявола в наших социальных пороках, в алкоголе, в табаке, в чае и кофе, практически во всех формах развлечений. Он проповедует крестовый поход, у которого больше нет идеальной цели, и заручается смутным религиозным чувством, недоступным разуму, и высмеивает интеллектуальную критику. Прием использования религиозных объединений в качестве носителей пропаганды часто использовался в политических целях с непревзойденным мастерством. Знаменитая речь Брайана о Золотом кресте и призыв Рузвельта к Армагеддону - прекрасные примеры этого.

Часто возникает вопрос, почему фанатичный реформатор так всемогущ в Америке. Почему ему так удается навязывать свои убеждения другим? Почему мы так беззащитны перед его

шантажом? Почему, говоря простым языком, мы поддерживаем его? Иностранные наблюдатели часто отмечали огромную покорность американской общественности. И это тем более любопытно, что обычно средний американец гордится своей самоуверенностью и быстротой в обнаружении ложных претензий. И все же это обычное дело - встретить людей с обоснованными претензиями на твердолобость, которые, тем не менее, подчиняются любым формам принуждения. Они не верят в сухой закон, но голосуют за него, они курят, но считают, что курение следует прекратить, они признают фанатичный характер реформаторских движений и все же продолжают подписываться.

Давая то, что в лучшем случае может быть лишь частичным ответом на эту национальную загадку, мы можем кратко рассмотреть два типа людей, которые вносят огромный вклад в нашу атмосферу принуждения: наш иммигрант и наш местный аристократ. Первый, в силу самой природы случая, становится жертвой принуждения, в то время как второй навязывает принуждение, а затем, в свою очередь, пусть и неохотно, сам поддается ему. Наше общество с его калейдоскопическими переменами судьбы и неконтролируемыми социальными различиями представляет собой проблему приспособления, с которой трудно справиться даже тем, кто живет дома, в Америке. Люди, находящиеся в процессе становления, люди, которые не уверены в себе на новой социальной лестнице, скорее всего, приспособятся: мы находим поразительное количество социального подражания, в его более мягкой и нелепой форме, во всех наших сообществах первопроходцев. Иммигрант сталкивается с той же проблемой в еще большей степени. Он приезжает к нам в оторванном от корней состоянии духа, со многими из его эмоциональных привязанностей, все еще сохранившихся в его родной стране, и часто с совершенно чуждыми традициями. Его разум настроен на то, чтобы соответствовать, повиноваться поначалу без особых просьб. Он подобен путешественнику, прибывшему в незнакомый город, который следует новым маршрутам движения, даже если не понимает их назначения. Но даже при всем желании он не может полностью соответствовать. Он оказывается в новом мире, где то, что раньше казалось ему правильным, теперь считается неправильным, его домашние боги потеряли свою силу, его совесть больше не является непогрешимым проводником. Это признак его характера - сопротивляться, отказываться полностью подавлять свою индивидуальность, в какой-то мере бороться с демократической деградацией, которая угрожает поглотить его слишком внезапно. Но его борьба приводит к невротическому конфликту, который часто не разрешается до третьего поколения. Таким образом, вполне допустимо говорить о неврозе иммигранта, который имеет значительное социологическое значение, даже если он не представляет целостной клинической картины. Это приводит либо к формированию в американском обществе больших сегментов непереваренных иностранцев, которые угрюмо принимают формы, которые мы им навязываем, оставаясь при этом сравнительно невнятными в нашей культурной и политической жизни, либо порождает тип, которым глупо гордятся наши романтики из плавильного котла, псевдоамериканца, опустившегося от индивидуализма до уровня толпы, где он приспособливается к излишествах, чтобы скрыть свое прошлое, и становится нетерпимым, чтобы его могли терпеть.

Обычно тирания толпы, ставшая такой тревожной чертой нашей общественной жизни, сдерживалась бы аристократическим элементом общества. Частью аристократической функции является воспитание культурной терпимости и противодействие стадному внушению: аристократический или доминирующий тип, обладающий наибольшими привилегиями, обычно в наименьшей степени подвержен принуждениям и табу. У нас это не так. Южанин, например,

наш самый традиционный аристократ, оказывается парализованным сознанием черной тени за своей спиной, которая постоянно угрожает как его политическому, так и сексуальному превосходству. Он живет в атмосфере табу, из которой он сам не может вырваться, поскольку это установленный факт, что запрет в одном направлении мысли оказывает пагубное воздействие на интеллектуальную деятельность человека в целом. В других местах наш коренной аристократ часто оказывается в положении одинокого форпоста слабой англосаксонской традиции, которую он должен защищать от постоянных нападений инопланетных цивилизаций, в отчаянной попытке поддержать фикцию о том, что, по крайней мере, духовно, мы все еще являемся английской колонией. Он находится в состоянии напряжения, когда сам не может передвигаться с той свободой, которую он превозносит как одну из выдающихся характеристик страны своих отцов. В его руках его собственная последняя надежда, наша рожденная войной программа американизации, которая на самом деле должна была стать посвящением в свободу, быстро превратилась в нечто большее, чем принудительное соблюдение стерильных ритуалов, призванных произвести впечатление на инопланетян. Он уже видит ее провал и, подобно генералу, который боится собственной армии, плохо спит.

Альфред Б. Катнер

МЕДИЦИНА

С незапамятных времен врач был объектом уважения и благоговения всего человечества. Это правда, что время от времени он становился объектом сатирического юмора таких драматургов, как Мольер и Шоу, но большинство людей рассматривали эти шутки как любезное шутовство, а не как пронизательную критику. В древние времена почитание медика основывалось на его предполагаемой связи с богами и дьяволами, а также на вере в то, что он мог излечивать болезни путем лстивого умиловлиения *бога* или изгнания нечистой силы *дьявола*. В наше время он пользуется властью благодаря своему предполагаемому владению секретами науки.

Несмотря на его претензии на научные достижения, многие пережитки его прежнего священства сохранились, и эта *смесь* ученого и священника породила любопытные противоречия и абсурд. Но эти нелепости по неумолимому закону должны оставаться скрытыми от всех, за исключением немногих, и всеобщее непризнание их привело к значительному росту важности и процветания медицинского культа. Из всех цивилизованных стран медицинское великолепие достигло самых устрашающих масштабов в Америке. Это преувеличение, характерное для всех социальных явлений в новом мире, облегчает проверку и анализ реальной важности врача для общества.

Мой друг не так давно попросил меня объяснить сосуществование в одном городе тщательно продуманного здания Гарвардской медицинской школы и великолепного храма религии миссис Эдди. “Что же такого есть в нашей культуре, - сказал он, - что позволяет символу такого очевидного шарлатанства, как миссис Эдди, процветать в двух шагах от такого воплощения научного просвещения, как медицинский колледж?”

Я ответил, что причину этого следует искать в легковереии наших граждан, которые способны придерживаться самых несовместимых и противоречивых убеждений. Таким образом, средний

американец может твердо и одновременно верить в терапевтическое превосходство дрожжей, в целебный катарсический эффект знаменитого минерального масла, в целебную силу хиропрактиков и в достоинства режима Общества корректирующего питания. Его католическая вера позволяет ему серьезно относиться к такому очевидному мошенничеству и в то же время восхищаться и уважать подлинное медицинское образование и даже научное изучение болезней. Но преподаватели, студенты и выпускники медицинских колледжей набираются из нашего чрезмерно доверчивого населения. Поэтому опасно рассматривать приверженцев профессии врача как скептиков и непредубежденных ученых, в отличие от пропагандистов вышеупомянутых идиотизмов и *Homo sapiens americanus*, который является бессознательной жертвой такого шарлатанства. На самом деле подавляющее большинство медиков легковверны и всегда должны оставаться таковыми, даже в вопросах здоровья и болезней.

Тенденция рассматривать врачей в целом как людей науки поощряется самими врачами. Даже самые выдающиеся из них виновны в этом отношении. Так, директор больницы Рокфеллеровского института утверждает, что медицину следует рассматривать не как прикладную науку, а как независимую науку (R. Cole, Science, N. S., Vol. LI, стр. 329). И видный экс-президент Американской медицинской ассоциации придерживается аналогичной точки зрения, в то же время нелепо утверждая, что “медицина сделала для развития науки больше, чем любая другая профессия, и что ее лучшие представители были среди лидеров в продвижении знаний” (V. C. Vaughan, Journal, A. M. A., 1914, Vol. LXII, стр. 2003.)

Такое произношение основано на почти повсеместном смешении *искусства* врачебной практики с *наукой* по изучению болезней. Наука, в ее современном определении, занимается количественным соотношением факторов, управляющих природными явлениями. Среди этих факторов не должно быть фаворитов. Они должны быть взвешены и измерены скрупулезно и холодно, без энтузиазма по отношению к одному или презрения и вражды по отношению к другому. Теперь, в случае отношений врача к пациенту, ясно, что такие эмоции должны присутствовать. Врач должен с энтузиазмом относиться к защитным способностям своего пациента, Джона Смита, и в то же время яростно ненавидеть пневмококк, который его атакует. Такое эмоциональное состояние солдата здравоохранения препятствует применению того, что на лабораторном языке называется “контролем”. Например, врач хочет проверить эффективность сыворотки против пневмонии. В Америке практически неизвестно, чтобы он разделял свои случаи пневмонии на две группы равного размера, вводил свою сыворотку группе А и оставлял группу В без лечения. У него почти всегда есть *частичка* того, что сыворотка подействует, и он с ужасом размышляет о том, что, если он придержит свое лекарство из группы В, некоторые члены этой группы умрут, которые в противном случае могли бы быть спасены. Таким образом, он вводит свою сыворотку всем своим пациентам (А и В), и если смертность во всей группе, по статистике, кажется ему ниже, чем наблюдавшаяся в предыдущих сериях случаев, он приходит к выводу, что ценность его лекарства доказана. Это иллюстрация ошибочности представления о том, что медицина - это наука в современном смысле этого слова.

Современные исследования болезней, проводимые в лаборатории на подопытных животных, предоставили практикующим врачам несколько терапевтических и профилактических средств. В их использовании американский медик не отстал от своего европейского коллеги. Но подавляющее большинство недугов, которые нас преследуют, не поддаются лечению, и именно с ними врач с незапамятных времен играл свою самую важную роль, то есть

"профессионального сочувствующего". Ободряющая беседа с семьей пострадавшего; бормотание непонятных латинских фраз; ободряющая, полная надежды рука на плече пациента; серьезное использование сложных приспособлений; назначение неэффективных, но в то же время безвредных лекарств или воды, окрашенной в приятные оттенки; все это имеет неисчислимую ценность для *семьи*, пораженной болезнью. Мой прискорбный долг указать на опасность упадка этой важнейшей роли среди врачей Америки. Врач общей практики *старого режима* был искренен в выполнении своей квазирелигиозной функции. Он не жалел своей энергии, был суров в своей преданности долгу, глубоко альтруистичен в чувствах и очаровательно небрежен в экономических вопросах.

Но в настоящее время эта очаровательная фигура исчезает с лица земли, чтобы быть замененной другим, более зловещим типом, на самом деле менее сведущим в важном фольклоре постели больного, псевдонаучным, придерживающимся строго определенных рабочих часов и болезненно взыскательным в вымогательстве своего вознаграждения. Каковы факторы, которые привели к появлению этой новой фигуры на американской сцене? Наиболее важный из них заключается в высоком развитии хирургического искусства в Соединенных Штатах. Из всех ужасных недугов, которые преследуют нас, некоторые могут быть излечены или ослаблены приемом лекарственных средств, и столь же небольшое количество улучшается или устраняется хирургическим вмешательством. Но, несмотря на относительно небольшое количество заболеваний, при которых хирургия приносит пользу, число хирургов, процветающих в стране, огромно. Фундаментальные открытия Пастера и их блестящее применение Листером были быстро подхвачены в Америке. Имена Булла, Холстеда, Мерфи, братьев Мейо, Кушинга и Финни должны быть поставлены в один ряд с именами лучших хирургов любой страны. Фактически, можно сказать, что мы являемся мировыми лидерами — если воспользоваться уместным американизмом — в производстве хирургов, точно так же, как мы занимаемся производством автомобилей, детских колясок и антикварной мебели.

Успех этих главных героев в высшем плотницком деле сразу же привлек орду мелкой сошки, подражателей, людей с меньшими способностями. Быстрые успехи, достигнутые лидерами, привели к разработке разнообразной и сложной техники, которой обычный хирург мог овладеть по частям, но *неполностью*. Вследствие этого специализация в хирургии развивалась быстро и естественно, так что теперь некоторые мужчины посвящают свою жизнь исключительно энергичному и неизбирательному удалению миндалин, другие умирают от желчного пузыря, некоторые являются врагами червеобразного отростка, а третьи практикуют исключительно радикальное лечение фимоза. Очевидно, что такая узкая специализация, практикуемая изолированно, привела бы к самым забавным результатам, которые лучше всего предоставить воображению. Но в конце концов эти абсурдности стали очевидны даже самим хирургам, что привело к развитию того, что сейчас известно как "групповая медицина".

Короче говоря, хирурги с особой *склонностью* к удалению различных органов создают партнерские отношения, призывая на помощь терапевта для постановки диагноза своим потенциальным жертвам. Терапевт, в свою очередь, собирает вокруг себя группу менее важных специалистов, известных как рентгенологи, бактериологи, патологи и серологи. Часто к нашему кругу добавляется стоматолог. Вся организация объединена в деловое партнерство типично американской эффективности. Эти группы формируются по всей стране, появляются даже в нефтебазах во внутренних районах страны. Они занимают элегантные апартаменты в важных офисных зданиях, их члены обычно считаются арбитрами медицинского мнения сообщества. Их

более или менее разумное использование принадлежностей патологии, *бактериологии и так далее*, дает им огромное преимущество перед их более скромным братом, врачом общей практики. Этот последний, действительно, быстро терпит поражение в своей битве с подобными объединениями “лучших умов”, оснащенных арсеналом современной науки.

Вознаграждение, требуемое “супердокторами” групповой медицины, естественно, намного превышает то, которое требует врач общей практики. Правильно, что так и должно быть, если не из-за полученных результатов, то из-за сложной организации и дорогостоящего оборудования, которых требует групповая система. Это увеличение вознаграждения сделало профессию врача в Америке такой, какой она никогда раньше не была, высокооплачиваемой — опять же, если использовать меткий американизм. Результат этого вхождения грубого материализма в ранее свободную, альтруистическую, какую угодно, только не деловую профессию, еще раз лучше оставить воображению, чем описывать. О разбое многих из этих медицинских бандитов слишком больно даже думать. Очевидно, что относительно немногие из наших граждан в состоянии оплатить групповую медицину. Итак, интересно наблюдать, что лучшее в области медицинского лечения и консультаций доступно только высшим и низшим кастам нашей плутократии. Богатые получают это в элегантных офисах и частных больницах групп, несчастные — в учебных заведениях медицинских колледжей.

Услуги “супердока” тем нашим гражданам, которые могут его себе позволить, в настоящее время не могут быть должным образом оценены. Это правда, что он прогрессивен, что он сильно опирается на вспомогательные науки о патологии, *и так далее*, что он публикует статьи в медицинских периодических изданиях, что он посещает медицинские библиотеки, часто посещает медицинские конгрессы. Только что было заявлено, что врач извлек для себя значительную экономическую выгоду, создав группу; будущее за тем, чтобы разглашать, привело ли его лечение к ощутимому уменьшению человеческих страданий или к продлению человеческой жизни. Несомненно, он совершил несколько поразительных мистификаций, невольно скажут добросердечные люди. Вероятно, наиболее интересное из них можно наблюдать при очаговой инфекционной мании, которая только сейчас утихает.

Очаговая инфекция получила известность как так называемая теория группы выдающихся врачей в Чикаго. Вкратце, это доктрина о том, что многие из наших недугов, прямую этиологию которых невозможно доказать, вызваны присутствием в организме очагов вредных микробов у корней зубов, в миндалинах, придаточных пазухах носа или аппендиксе. Найдите фокус, устраните его, и вуаля! — боль исчезает, как карта в рукаве опытного игрока в американский покер. Преимущества этой теории для различных специалистов группы будут очевидны. Для иллюстрации. Генри Дулиттла мучает постоянная и раздражающая боль над левой лопаткой. Он идет в офис группы “супердокторов”, направляется к диагносту, который тщательно фиксирует его *текущее* состояние, затем приказывает своим спутникам провести реакцию Вассермана, тест лютена, дифференциальный анализ крови, определить содержание мочевины в крови и провести тщательное химическое исследование его основного метаболизма. Если результаты этих тестов не показывают отклонений от нормы или если они серьезно противоречат друг другу, причиной боли, вероятно, является очаговая инфекция. Затем пациент подвергается рентгенологическому обследованию, стоматолог удаляет ему зубы, отоларинголог удаляет миндалины, который также мимоходом ощупывает придаточные пазухи носа, и, если эти повреждения не приносят облегчения, абдоминальный хирург удаляет аппендикс. Если облегчения по-прежнему не наступает, от теории не отказываются, но

предполагается, что фокус существует в другом месте. Если терпение мистера Дулиттла выдержит это испытание и если его кошелек к этому времени не будет полностью пуст, рекомендуется провести дополнительные операции. Это продолжается до тех пор, пока не будут удалены все органы и придатки, на самом деле не необходимые для простого существования. Затем Генри возвращается к своему прежнему образу жизни, истощенный и деформированный, это правда, но иногда без своей первоначальной боли. Это не является намерением отрицать, что инфицированные зубы и миндалины не имеют никакого значения в патологии. Но несомненно, что их важность была сильно преувеличена многими врачами. Этот вопрос требует более тщательного изучения с меньшим количеством предвзятых идей. “Наука”, лежащая в основе этой поразительной практики, превосходно изложена в книге Биллингса под названием “Очаговая инфекция”. Это самый яркий пример медицинского *гомосексуализма*, который появился в нашей стране. Это, как признает сам ее автор, триумф новой идеи командной работы и совместных исследований в медицине. Факторами, порождающими это прискорбное *Недоразумение*, являются легкое верие пациента и врача, эмоциональный элемент, присутствующий при интерпретации всех явлений, наблюдаемых врачом, коммерциализм и, наконец, самоограничивающая природа большинства заболеваний.

Вот и все об искусстве врачевания, практикуемом врачами Америки. Что можно сказать о нашей деятельности по достижению второй цели медицины, то есть профилактике заболеваний? Хотя поверхностного изучения достаточно, чтобы обнажить многие пустые претензии медицинской практики, казалось бы, *априори*, что работа по профилактике заболеваний могла бы, по крайней мере, приблизиться к категории прикладных наук. Казалось бы, это так, поскольку большая часть этой области по необходимости должна касаться инфекционных заболеваний. В настоящее время известны этиологические агенты большинства инфекционных заболеваний. Легко видеть, что работа по их предотвращению основывается на точном знании природы болезнетворных микробов, анализе тонкого баланса между вирулентностью микробного захватчика и сопротивляемостью человека-хозяина и, что наиболее важно, на точном пути, по которому рассматриваемый микроб передается от одного индивидуума к другому.

На заре профилактической медицины, вскоре после фундаментальных исследований Пастера, американцы внесли несколько важных вкладов. К ним относятся блестящие исследования Теобальда Смита об этиологии и способах передачи техасской лихорадки крупного рогатого скота, а позднее и о дифференциации туберкулеза крупного рогатого скота и человека. У Америки снова появился повод для гордости, когда в 1901 году Рид, Кэрролл, Аграмонте и Лазар продемонстрировали, что желтую лихорадку распространяет исключительно комар, *Aedes calopus*. Эти исследователи продемонстрировали прекрасный дух самопожертвования и преданности своей науке. Строительство Панамского канала стало возможным благодаря применению этих исследований Горгасом. Опять же, американец Рассел был первым, кто показал, что вакцинация против брюшного тифа и связанных с ним инфекций возможна. В Нью-Йоркском совете здравоохранения Парк, Крумвиде и их коллеги провели тщательные и ценные исследования по профилактике дифтерии. Они являются ярким примером достижений Америки в области профилактической медицины. Следует признать, что большинство этих примеров следует отнести к категории науки, изучающей болезни, а не к области ее применения — профилактической медицине.

Даже при беглом обзоре недавних американских работ заметно, что таких поразительных достижений в последние годы стало заметно меньше, несмотря на огромное увеличение

персонала, оборудования и средств, выделяемых на профилактику заболеваний. Наряду с этим уменьшением солидных взносов произошло усиление бессмысленной пропаганды и ветреных теорий. Все здравомыслящие люди должны относиться к этой тенденции с тревогой и печалью, поскольку какое-то время казалось, что наука действительно вот-вот устранил следы колдовства и первосвященства по крайней мере из этой отрасли медицины.

В чем причина этого регресса? Это должно быть положено в основу *религиозной санитарии*, Крестового похода за здоровье. Это один из самых ярких примеров заблуждения большинства американцев, считающих себя назначенными Небесами возвышателями человеческой расы. Точно так же, как все баптисты, пресвитериане и методисты осуждают языческое счастье отсталого азиата, Международный совет здравоохранения стремится смягчить его довольное убожество и искоренить его фаталистически порожденную болезнь. Точно так же, как Билли Санди яростно выступает против Джона Ячменного Зерна и дионисийцев, которые ему поклоняются, так и Великие гигиенисты стремятся указать на разнообразные недуги, возникающие в результате такого поклонения. Точно так же, как ныне исчезнувший Вильсон стремился показать миру, что воевать было ужасно и неправильно, так и Служба общественного здравоохранения стремится распространять представление о том, что целомудрие и приверженность супружеским обетам являются единственной альтернативой всеобщей сифилизации.

Таким образом, мы с ужасом наблюдаем постепенную замену тех основоположников профилактической медицины, которые беспристрастно смотрели на науку и применяли ее методы холодного анализа, группой сомнительных мессий, сочетающих ревностный фанатизм миссионера с иезуитским цинизмом политика. Ибо большинство организаций, занимающихся укреплением здоровья, тесно зависят от государственной и муниципальной политики и должны быть заражены непристойностью политической практики. Наконец, очевидно, что крупные частные фонды движимы духом прозелитизма, общим для большинства религий, но особенно для баптистов. Могут возразить, что подобные обвинения являются расплывчатыми обобщениями. Поэтому необходимо привести один или два конкретных примера в поддержку этих утверждений.

Бойцов недавней успешной кампании за национальный сухой закон поддержали батальоны известных гигиенистов, которые отлично попрактиковались в использовании тяжелой артиллерии так называемых научных доказательств в растерянных рядах пивоваров, дистилляторов и их клиентов, американских бибули. Какова ценность их “научных доказательств”? Против употребления алкоголя в качестве напитка выдвинуты два обвинения. *Примо*, что его умеренное или чрезмерное употребление является прямой причиной различных заболеваний. *Во-вторых*, дети родителей-алкоголиков часто бывают уродливыми, дегенератами или слабоумными, и что такие прискорбные стигматизации являются прямым результатом усвоения их родителями.

Теперь бесполезно утверждать, что алкоголь, употребляемый в большом избытке, не вреден. Мания в поту (болезнь Корсакова), без сомнения, является ее прямым результатом, по крайней мере в некоторых случаях. С другой стороны, чрезмерное употребление воды также не лишено вредных последствий, и я, например, предсказал бы нашему Великому Простолюдину тяжелые дни, если бы он настолько потерял контроль над собой, что выпивал галлон виноградного сока *день*. Многие энтузиасты-гигиенисты придерживаются мнения, что алкоголь заполняет наши

сумасшедшие дома! Это обобщение является великолепным примером рассуждений *post hoc propter hoc* и основано на идиотских статистических исследованиях, которые составляют столь значительную часть деятельности прислужников общественного здравоохранения. Недавняя тщательная работа Клаустона и других все больше и больше указывает на то, что хронические алкоголики сходят с ума не потому, что пьют, а становятся алкоголиками потому, что они уже были сумасшедшими или имели унаследованную склонность к безумию. Этот постыдный факт тщательно замалчивается тяжелыми артиллеристами армии сухого закона, занимающимися медико-гигиеническими вопросами. Более того, ни в коем случае не было однозначно доказано, что алкоголь вызывает заболевания с определенной патологической картиной, такие как цирроз печени. Действительно, исследования Фриденвальда, который пытался добиться таких эффектов прямым экспериментом, привели к отрицательным результатам.

Второе обвинение, а именно в том, что алкоголизм родителей приводит к дегенерации потомства, основывается на еще более сомнительных научных основаниях. Наиболее важными экспериментами на животных в этой области являются эксперименты Стокарда, который использовал в качестве подопытных морских свинок, и Перл, которая использовала цыплят. Оба этих исследования основаны на научных методах. К несчастью для гигиенистов, они приводят к совершенно противоречивым выводам. Стокард и его сотрудники обнаружили, что потомство морских свинок-алкоголиков было меньше по численности, чем у его обычной контрольной группы. Более того, дети алкоголиков часто были меньше ростом, имели более высокую послеродовую смертность и были склонны страдать от эпилептиформных судорог. Эти результаты вызвали у гигиенистов *банзаи* и широко цитировались, хотя не следует слишком торопиться с их применением по аналогии с проблемами наследственности человека.

Перл, с другой стороны, обнаружил, что, хотя количество потомства от его пьяных цыплят было заметно меньше, все же они, несомненно, превосходили обычных цыплят по восьми из двенадцати наследственных признаков, поддающихся количественному измерению. Теперь, если можно обобщить результаты Стокарда на людей, то в равной степени допустимо сделать то же самое и с результатами Перла. Из двух обобщений последнее было бы предпочтительнее и принесло бы больше пользы человечеству, если бы аналогия была верна. Ибо кто не будет вопить о том, что “детей будет меньше, но они будут лучше”? Ставят ли приверженцы профилактической медицины результаты Pearl в один ряд с результатами Стокарда? В самом деле, кто вообще упоминает результаты Pearl? Если будут представлены удовлетворительные доказательства того, что это было сделано, настоящим я обещаю внести сто долларов наличными в фонд дома для нетрезвых нарушителей сухого закона. Опять же, хотя много слышно о результатах Беццолы в отношении *Раушкиндера*, полученных в результате швейцарской вакханалии, негативные выводы Ирландии в аналогичных расследованиях сезонных дебошей Шотландии тщательно избегаются. И снова Элдертону и Карлу Пирсону совершенно не удалось обнаружить увеличения стигматов дегенерации среди детей родителей-алкоголиков по сравнению с детьми неалкоголиков. Это исследование, опубликованное в монографии Лондонской лаборатории Фрэнсиса Гальтона, является единственным действительно тщательным исследованием, проведенным на людях. Режиссером фильма был Пирсон, по общему признанию, магистр биометрических наук. Тем не менее, обращаясь к книге Розенау “Профилактическая медицина и гигиена”, библии этого направления, я нахожу, что отчет Элдертона-Пирсона отнесен к сноске в издании 1913 года, и полностью исключен из издания 1920 года.

Обсуждение глупости, к которой скатывается американская профилактическая медицина, не может быть прекращено, не коснувшись нынешней пропаганды сифилофобов. Ибо точно так же, как практикующие врачи эксплуатируют людскую доверчивость, так и те, кто предотвращает болезни, играют на столь же универсальном инстинкте страха. Нет намерения преуменьшать серьезность сифилиса. Наряду с раком, пневмонией и туберкулезом, это одно из главных бедствий человечества. Ежегодно от него умирают тысячи людей; это приводит к огромным страданиям. Определенно известно, что одним из его проявлений является парез, один из важных психозов. Поэтому очевидно, что его искоренение является одной из важнейших задач социальной гигиены.

Но какими средствами? Позвольте одному из самых известных наших американских сифилофобов дать ответ! Этот джентльмен, профессор патологии в одной из самых важных медицинских школ Среднего Запада, ежегодно читает лекции по всей стране о венерической опасности. Он начинает свою речь с того, что повергает аудиторию в состояние ужаса, демонстрируя на слайдах наиболее отвратительные проявления болезни. Он не утверждает, что современное лечение делает их все более и более редкими. Он настаивает на полной невозможности их излечения, что никоим образом не установлено. Он выступает за ранний брак с девушкой, не страдающей сифилитизмом, как лучшее средство профилактики, а в противном случае советует соблюдать целомудрие одновременно возможно и полезно. Затем следует мастерский совет от *inpuendo* — *нынешнее убеждение в том, что мастурбация вызывает безумие, вероятно, неверно*. Наконец, он отрицает ценность венерической профилактики, которая впервые была экспериментально продемонстрирована Мечниковым и Ру и которая, как известно медицинскому управлению армии и флота, обладает почти идеальной эффективностью при раннем и тщательном применении.

Нехватка места препятствует демонстрации дальнейших примеров нового явления проникновения религии и морали в медицину. В мои намерения ни на минуту не входит занимать нигилистическую позицию по отношению к достижениям профилактической медицины. Но необходимо указать, что заражение его морализмом, пуританством, прозелитизмом, короче говоря, *религией*, угрожает довести его до абсурда и поколебать его авторитет в тех случаях, когда его функции представляют несомненную ценность для нашей республики. В настоящее время медицинская профессия играет второстепенную роль в выполнении более важных функций этой отрасли. Они выполняются, во-первых, бактериологами, которым вовсе не обязательно быть врачами, а во-вторых, инженерами-санитарками, чьи блестящие достижения в области водоснабжения и канализации превосходят достижения всех других стран.

Выше было отмечено, что одна из главных причин ненаучности медицины и антинаучного характера врачей заключается в их врожденной доверчивости и неспособности мыслить независимо. Это утверждение подтверждается отчетом об интеллекте врачей, недавно опубликованным Национальным исследовательским советом. Более или менее заслуживающие доверия психологические тесты показывают, что они обладают самым низким интеллектом среди всех профессиональных мужчин, за исключением только дантистов и коневодов. Дантисты и коневоды составляют десять процентов. менее умны. Но поскольку используемые количественные методы, безусловно, допускают погрешность эксперимента в десять процентов. или даже выше, нет уверенности в том, что представители двух более

скромных профессий не обладают равными или даже большими интеллектуальными способностями. Примечательно, что инженеры возглавляют список специалистов по разведке.

Фактически, их рейтинг составляет шестьдесят процентов. выше, чем у врачей. Такое большое несоответствие приводит к искушению провести интересные психологические исследования. Не является ли прискорбный недостаток интеллекта у врача следствием отсутствия необходимости в жесткой интеллектуальной дисциплине? Многие условия сговора превращают его в интеллектуального обманщика. К счастью для нас, большинство болезней самоограничиваются. Но для врача естественно использовать это устройство природы в своих интересах и намекать, что он вылечил Джона Смита, когда на самом деле природа сделала свое дело. Напротив, если Смит умрет, добрый доктор может принять благочестивое выражение лица и предположить, что, несмотря на его собственное невероятное мастерство и огромные усилия, такова была воля Бога (или Природы), чтобы Джон перешел границы дозволенного. Теперь инженер не подвержен подобному искушению. Он строит мост или возводит здание, и катастрофа обязательно последует за любой ошибкой в расчетах или ошибкой в конструкции. Если такое бедствие произойдет, он немедленно дискредитируется и исчезает из поля зрения. Таким образом, он придерживается высокой интеллектуальной строгости и дисциплины, которые совершенно неизвестны в мире, в котором живет доктор.

Обзор нынешнего состояния американского медицинского образования дает мало надежды на более высокий интеллектуальный статус медицинской профессии или на какую-либо фундаментальную тенденцию к превращению медицины в целом из смеси религиозных ритуалов, более или менее точных народных преданий и коммерческой хитрости к более редким высотам прикладных наук.

Такая реформа полностью зависит от признания того, что организмы всей фауны земли (включая *Homo sapiens*) по сути являются физико-химическими механизмами; что болезнь представляет собой нарушение того или иного вида этого механизма; и что реальный прогресс в знаниях о болезнях может быть достигнут только благодаря количественно точному исследованию таких нарушений.

До настоящего времени число профессоров в любой области медицины, осведомленных об этом факте, ничтожно мало. Мужчин, которые, осознавая это, имеют подготовку в области физики и химии, чтобы претворять свои убеждения в жизнь, меньше. Таким образом, напрасно надеяться, что студентов-медиков обучают с этой точки зрения.

Этот случайный взгляд на американскую медицину может показаться излишне пессимистичным. В мои намерения не входило быть пессимистом или чересчур критичным. Действительно, переходя от искусства практической медицины, религии и народных преданий о санитарии к науке изучения болезней, нам есть многим, чем можно гордиться. Американские биохимики типа Ван Слайка и Фолина фактически лидируют среди своих европейских братьев. Их точные количественные методы предоставляют бесценные инструменты для точного изучения поражающих нас болезней.

Наконец, величайшая фигура из всех, Жак Леб, работающий в учреждении, которое объявляет своей сомнительной целью *медицинские* исследования, за последние три года опубликовал исследования, которые проливают поток света на темные проблемы химии белков. Его работа имеет самое фундаментальное значение, будет иметь далеко идущие результаты и значительно

опережает работу любого европейца в той же области. Леб, как и все люди первого ранга, лишен духа пропаганды или прозелитизма. Его точные количественные эксперименты лишают биологию большей части ее запутанного романтического очарования. Понимание его исследований требует досконального знания физической химии. Однако отрадно отметить, что среди нескольких молодых исследователей его точка зрения принимается с пылом и энтузиазмом. Но пора остановиться. Мы отклоняемся от нашей темы, которая, насколько я помню, касалась американской медицины.

Аноним

СПОРТ И ЗАБАВЫ

Бартлетт не говорит нам, кто придумал песню про всю работу и никаких игр, но, вероятно, это был тот человек, который сказал, что самый длинный путь в обход - это самый короткий путь домой. В одном замечании столько же смысла, сколько и в другом.

Начни на равных с Джорджем М. Козном, который живет в Грейт-Нек, где живу и я, так, чтобы он об этом не подозревал, — начни на равных с Пенсильванского вокзала и отправь меня поездом на Лонг-Айленд через Флашинг и Бейсайд, пока он едет через Сан-Франциско и Иокогаму, и я постараюсь опередить его дома, даже в метель. Вот и все для “самого длинного пути в обход”. Теперь о другом. Если бы вы мечтали провести вечер со скучным парнем, кого бы вы выбрали, Герберта Уэллса, чьи произведения показывают, что он даже не беретотгул на сон, или человека, который каждый день закрывает свой стол в два часа дня и отправляется на бейсбольный матч?

Вы можете возразить, что смотреть матчи с мячом - это не игра. Это американское представление об игре, которое сводится к тому же, и семьдесят пять процентов из трехсот тысяч граждан, которые занимаются этим ежедневно, в сезон, серьезно скажут вам, что это единственное развлечение, которое они получают; более того, что без этого их мозг сломался бы от напряжения “бизнеса”, что благодаря этому они способны выполнить больше работы до полудня и сделать это лучше, чем это было бы возможно за два или три полных дня напряженной работы. Если им верить, заядлые фанаты бейсбола могут за одно утро продиктовать четыре-пять писем из двадцати слов покупателям или продавцам и закончить свежими, как маргаритки; в то время как не фанат, гринд, становится логичным и вялым к тому времени, как доходит до второго “В ответ на то же самое”.

Но если вы не хотите признать, вопреки собственным заявлениям болельщиков, что смотреть на бейсбол или любой другой вид спорта — развлечение, тогда позвольте мне попросить вас как-нибудь вечером пригласить к себе домой не простого зрителя, а активного участника любой из наших популярных игр - скажем, чемпиона или почти чемпиона по гольфу, или питчера первой линии бейсбольного клуба высшей лиги. Игрок в гольф, скажем, полгода продает страховку, а остальное время играет в гольф. Питчер играет восемь месяцев в году, а остальные четыре бездельничает. Беседуйте в баре об их специальности, и вы не найдете двух более скучных парней, чем те, что работают за пределами киностудий.

Нет, братья, светлые умы этой или любой другой страны принадлежат людям, которые бросают работу только для того, чтобы поесть или лечь спать. Дудлы - это мальчики, которые делят свое время пополам между работой и играми, или которые все время играют и даже не притворяются, что работают. Правильные физические упражнения, несомненно, способствуют укреплению здоровья, но теория о том, что хорошее здоровье и активный мозг неразделимы, может быть полностью опровергнута упоминанием двух имен — Станислава Збизска и Роберта Льюиса Стивенсона.

В таком случае глупо утверждать, что спорт приносит пользу для ума. Его истинная, основная функция - развитие физической силы с целью долголетия. И долголетие, несмотря на то, что мы исповедуем веру в посмертное существование, по сравнению с которым этот человек выглядит больным, - это то, чего мы остро желаем. Болван и умник, верующий и скептик — все мы хотим как можно дольше отложить обещанную увеселительную поездку в Великий Запредельный Мир. Если участие в спорте помогает нам в этом, тогда есть веская причина заниматься спортом.

Ну, сколько "взрослых" (нормальных людей моложе двадцати двух лет рассматривать не нужно; они получают все необходимые упражнения, и даже больше) в этой стране, стране, которая может похвастаться чемпионами почти во всех видах легкой атлетики, извлекают из игр ту физическую пользу, которая в них есть? Какой процент принимает активное участие в том, что спортивные редакторы называют "пятью основными видами спорта" — бейсболе, футболе, боксе, скачках и гольфе? Давайте рассмотрим их одну за другой и разберемся в этом, начав с "национального времяпрепровождения".

Бейсбол. Играют двадцать или двадцать один человек. Смотрят от трехсот до сорока тысяч. Последние в течение двух часов находятся "на свежем воздухе", и это, когда воздух не настолько открыт, чтобы вызвать у них пневмонию, и когда они не подхватывают что-то столь же тяжелое в трамвае или поезде метро, которые забирают их и привозят обратно, является физической пользой. Более того, обычный участник бейсбольных матчей вряд ли умрет от мозговой лихорадки. Но в остальном единственные, чье здоровье заметно укрепилось, - это двадцать или двадцать один игрок. И они делают это не для своего здоровья.

Футбол. Тридцать человек играют. Тридцать тысяч смотрят. Один или двое из тридцати могут погибнуть или получить перелом кости, но общее состояние здоровья остальных двадцати девяти или двадцати восьми человек улучшается благодаря упражнениям. Что же касается тридцати тысяч, то все, что они получают, — это свежий воздух — обычно его немного слишком много - и, если только они не ожесточились к сегодняшнему чирлидеру, легкое чувство тошноты.

Бокс. Играют от восьми до десяти. Смотрят от пяти до шестидесяти тысяч. Те из участников, кто является мастерами защиты, могут извлечь физическую пользу из тренировок, хотя жесткие методы, иногда используемые для увеличения неестественного веса, безусловно, вредны для здоровья. Те, кто не является экспертом в защитном боксе, те, кто преуспевает в игре благодаря своей способности "принимать наказание" (черта, которая обычно сопутствует низкому менталитету), как правило, умирают, не достигнув преклонного возраста, в результате "игры", которая сделала их "успешными". Существует ограничение на количество ударов, которые человек может "принять" и сохранить свое здоровье. Пять или шестьдесят тысяч человек не могут похвастаться тем, что им даже достается воздух. Все представления, за исключением

нескольких, проходят в помещении, в атмосфере такой же свежей и чистой, как в дневном автобусе Гофер-Прери.

Скачки. Играют пятьдесят лошадей и двадцать пять жокеев. За ними наблюдают десять тысяч человек. Я не могу говорить за лошадей, но если жокей хочет оставаться жокеем, он должен, как правило, есть гораздо меньше, чем требует его маленький желудок, и я не знаю ни одного врача, который прописал бы постоянное недоедание, способствующее хорошему здоровью растущего мальчика.

Фанаты гонок, конечно, стремятся к финансовой, а не физической выгоде. Они, как и жокеи, скорее всего, умрут с голоду, будучи еще молодыми.

Гольф. Вот развлечение, в котором игроков намного больше, чем зрителей. Это игра, если это вообще игра, которая не только выводит вас на свежий воздух, но и заставляет ходить, а ходьба, по словам врачей, - это единственное упражнение, которое вам нужно, если вы проходите пять миль или больше в день. Таким образом, гольф действительно выгоден, и круглый год он обходится вам примерно в 25,00 долларов в неделю.

Вот и все о наших “пяти основных видах спорта”. Мы рассматриваем четыре из них, и если мы можем содержать семью, платить налоги и страховку на 1250 долларов в год меньше, чем мы зарабатываем, мы принимаем участие в пятой.

Второстепенные виды спорта, как скажет вам редактор, - это теннис, катание на лодках, поло, легкая атлетика, стрельба из лука, хоккей, футбол и так далее. Не говоря уже о таких играх, как покер, бридж, боулинг, бильярд и пул (теперь официально известный как “карманный бильярд”, потому что Женская гильдия считала, что “пул” должен иметь какое-то отношение к ставкам), от которых мы можем отказаться как от сомнительной физической пользы, поскольку во все они играют в помещении и в тумане из табачного дыма Camel.

Из “младших” видов спорта на открытом воздухе теннис, несомненно, самый популярный. И это кит игры — если вы можете это выдержать. Но какой процент взрослых играет в нее? У меня нет под рукой статистических данных, и я должен догадываться. Количество взрослых людей, с которыми я знаком, близко или случайно, возможно, составляет две тысячи. Я могу назвать десятерых, которые играют в теннис по пять сетов в год.

Сколько из двух тысяч играют в поло или когда-либо играли в поло? Один. Сколько из них стреляют в ловушки? Два. У скольких есть лодки? Шесть или семь. Сколько раз пробегали беговые дорожки или прыгали? Нет. Сколько здесь лучников? Нет. Кто из вас играет в хоккей, футбол, ла-кросс? Нет.

Если бы мне захотелось поиграть в крикет, чего не дай Бог, кому бы мне позвонить и пригласить присоединиться ко мне?

Итак, сколько из двух тысяч моих знакомых являются случайными или постоянными зрителями бейсбольных матчей, футбольных матчей, боксерских поединков или скачек? Все, кроме трех или четырех. Люди, которых я знаю (я не включаю игроков в бейсбол, боксеров и рестлеров, которые зарабатывают на жизнь спортом), - обычные люди; это те, кого вы знаете. И подавляющее большинство из них не играют.

Почему бы и нет? Если регулярное участие в более или менее интересной игре на свежем воздухе продлевает нашу жизнь, почему мы не участвуем? Это потому, что у нас нет времени? На то, чтобы посмотреть, уходит столько же времени, и мы это делаем. Это потому, что мы не можем себе этого позволить? Мы можем играть в теннис так же дешево, как посещение матча под залог, и бесконечно дешевле, чем посещение скачек.

Мы не играем, потому что (1) нам не хватает воображения и потому что (2) мы - нация почитателей героев.

Когда мы были детьми, медсестра и священник учили нас, что, если мы не будем хорошими, нашей следующей остановкой будет ад. Но для нас не было никаких шансов, что поезд тронется в течение семидесяти лет. И мы не могли представить себе адскую экскурсию так далеко. Это было слишком расплывчато, чтобы пугать. Мы продолжали отбирать у старика сигары и хихикать хором. Если бы они сказали, что подобные проступки повлекут за собой смерть и вечный огонь, не когда мы состаримся, а завтра, большинство из нас уважило бы права отца на собственность и просидело бы всю службу с кислым видом. Если бы семейный врач сказал нам сейчас, что, если мы не будем выходить на улицу и заниматься спортом каждый день на этой неделе, мы умрем в следующий вторник до обеда, вы можете поспорить, что мы должны выходить на улицу и заниматься спортом каждый день на этой неделе. Но когда он говорит нам, что без здорового спорта на свежем воздухе мы умрем в 1945 году, а не в 1949-м, это ничего не значит. Это химера, миф, как и следующая война.

Но поклонение героям - национальная болезнь, которая больше всего способствует тому, чтобы трибуны были полны, а игровые площадки пусты. К черту эти четыре дополнительных года жизни, если они собираются прервать наш вечер на площадке для игры в поло, где в блаженном идиотизме мы можем любоваться смуглым Чемпионом Swat, время от времени выкрикивающим в припадке идиотского идолопоклонства: "Давай, Детка. Давай же, Куколка!" И если из-за часа игры в теннис мы опоздаем в Гарден, возможно, не стоит занимать места у ринга, так близко к углу Демпси, что (о милосердный Боже!) Капля божественного пота может забрызгать нашу незаслуженную морду — Отбой, печень! Вы на занятом проводе!

Ринг У. Ларднер

ЮМОР

С помощью компетентного библиографа в течение примерно пяти дней, я полагаю, я мог бы предоставить доказательства любому непредвзятому человеку, нуждающемуся в этом, что не существует такой вещи, как американский дар юмористического выражения, что чувство юмора не существует среди наших высших классов, особенно среди нашего высшего литературного класса, что во многих отношениях почти в любой другой цивилизованной стране мира его больше, что тихий юмор Новой Англии чрезвычайно громкий и не принадлежит Новой Англии, что британское непонимание наших шуток, как правило, похвально, а чувство юмора обычно начинается там, где наши шутки заканчиваются. исключен. И хотя вы можете доказать что угодно о расе или обо всех расах с помощью библиографа в течение пяти дней, как сейчас показывают современные социологи, я верю, что это правда. Вера в американский юмор - это

суеверие, которое редко переживает молодость у людей, познакомившихся с американской практикой, и вряд ли когда-либо, если они что-либо знают о такой практике в других странах. Конечно, я не говорю о печальном формализме обычных вещей, какими мы видим их в газетах и на киноэкранах, или о ритуале журналов, полностью или частично посвященных нашему торжественному богу веселья. Я имею в виду самое лучшее из этого.

В книгах и отрывках, собранных моим библиографом, американский дар юмора был бы распространен в столь обширные периоды времени и среди народов столь многочисленных, отдаленных или диких, что ни у одного американца не хватило бы духу заявить о своих претензиях. Причудливость, сухость, сверхсерьезность с подмигиванием или без него, преувеличение, удивление, контраст, допущение общего непонимания, гиперболическая невинность, тихий смешок, унижение достоинства, *эклeктичность*, непосредственность с обращением к вечному, нарушение элегантности или фамильярности, невозмутимость и искорка - какими бы качествами ни были перечисленные бактериологами, которые единственные когда-либо писали на эту тему, в отчете моего библиографа самые американские из них были бы показаны в гораздо большей степени. не по-американски. Патриотическое ликование по поводу владения ими подобно патриотическому ликованию по поводу владения частями речи. Юмор меняется от местных упоминаний не больше, чем грамматика меняется от того, что ее произносят в нос. И если библиография будет идеальной, она не только представит американский юмор во все времена и в любом месте, но и создаст почти дословные длинные отрывки американских юмористических текстов, датированных любым временем и местом, и покажет, как с помощью нескольких простых изменений местных терминов их можно сделать полностью дословными и американскими. Это покажет, что американская юмористическая литература на самом деле зарождалась повсеместно, но только в определенные периоды ей разрешалось продолжать, и что эти периоды ни в коем случае не были самыми счастливыми в истории. У меня есть время упомянуть здесь только трудоемкий раздел, который, вероятно, будет посвящен Марку Твену в "Эпоху Перикла", хотя для более активного читателя больший современный интерес может представлять раздел о мистере Коббе, мистере Батлере и других у стен Трои.

Судя по цитатам в этом разделе, Марк Твен, по-видимому, действительно начал все свои более длинные рассказы, включая "Тупоголового Уилсона", и большинство более коротких, эссе и других статей, в Афинах или где-то поблизости в этот период, но не закончил ни одного, даже самого краткого из них. Он начал, дал четкий намек на то, как эта штука будет работать естественным образом, а затем остановился. Причина этого заключалась в том, что благодаря тренированному воображению людей, для которых он писал, начала и намек было достаточно, и с этого момента они могли развлекаться в том направлении, которое указал Марк Твен, лучше, чем он позабавил бы их, если бы продолжил. Марк Твен, наконец, увидел это, и именно поэтому он остановился, осознав, что ему нет необходимости поддерживать вращение мяча, когда для их воображения мяч покатится сам по себе. поначалу он действительно пытался держаться, и, будучи живым, наблюдательным и многословным даже для грека, он удерживал большие толпы на углах улиц простым повторением одного-единственного мысленного жеста на протяжении длинных рассказов о различных обстоятельствах. В приличном обществе этого не терпели даже после ужина, и не было ни малейшего шанса на публикацию. Но улицы Афин были полны запрещенных произведений Марка Твена.

Каждый человек со вкусом в Афинах любил Марка Твена за первый всплеск его фантазии, но никто не мог вынести абсолютного постоянства его напора, а поскольку Марк Твен ходил повсюду и был самым настойчивым, сжатие потока его повествования в рамках приличий того периода стало неприятной проблемой для хозяев, не желавших быть с ним откровенно грубыми. В конце концов, его друзья публично осудили его, и несколько наиболее близких людей впоследствии объяснили ему причину этого.

Суть их объяснения, очевидно, заключалась в следующем: гипотеза лучшего общества в городе наших дней состоит в том, что продолжение одного состояния ума невыносимо, независимо от того, насколько разнообразна субстанция, в которой пребывает ум. Подобные вещи относятся к более ранним временам, чем наши, хотя, как вы уже убедились, ими до сих пор очень наслаждаются на улицах. Если бы все рабы были писателями; если бы читатели плодились, как кролики, так что угождение им обеспечивало огромное богатство; если бы банаусический элемент в нашей жизни поглощал все остальное и если бы, погруженные во внешний трудовой процесс, с работающим в наших умах механизмом, мы обращали бы лишь сонный взор на удовольствие; тогда нам могла бы понадобиться единственная мысль, пронизанная приключениями, страстями, происшествиями, и только это — бесконечные детали, легко угадываемые, но неумолимо пересказываемые; длинные списки чувств с человеческими лицами, делающими то-то и то-то; физиологические акты на миллионах страниц и более. неизменяемая фраза; тома воображаемых событий без единой мысли среди них; выдуманные публичные документы, не уступающие реальным; невероятные анекдоты; и все это в странном повторяющемся жесте, полученном от машин, заставляющих разум клевать носом перед сном, повторяя названия того, что он видел во время бодрствования. Но в настоящее время в нашем лучшем обществе нежелателен прикраватный писатель для мужчин в постели.

Все эти вещи теперь передаются многоточием в голову читателя, если голова читателя того пожелает; они подразумеваются точками в концах предложений. Мы угадываем длинные повествования просто по запятой; мы не записываем их. В этом пространстве, оставленном нами свободным благодаря преднамеренной апозиопезе, когда-нибудь может возникнуть литература с бесчисленными упрощениями. В настоящее время мы не чувствуем в этом необходимости. А в отношении юмора правило сегодняшнего дня таково: никогда не делай для другого того, что он может сделать для себя. Простой процесс воображения, такой как контраст, несоответствие, преувеличение, невозможность, должен быть ограничен на публике одним или двумя проявлениями. Давайте возьмем самую простую иллюстрацию — например, корову в столовой - и сделаем это как можно проще. Если по счастливому наитию корова в столовой становится приятной для ума, никогда не спорьте, что удовольствие удваивается от последовательного изображения двух коров в двух столовых, предполагая, что наитие остается тем же самым. Осознайте скорее, что оно уменьшается и что с появлением девяти коров в девяти столовых оно превратилось в боль. Теперь, если заменить коров в столовых богами в портняжных мастерских, портных в домах богов, сапожников при королевских дворах, фиванцев перед шедеврами, один класс против другого, одну эпоху против другой и так далее с помощью неисчислимых деталей, какими бы причудливыми они ни были, все в простом сочетании, все легко собрать, без изменения мысли или более широких образов, фантазии, механистически размещающей объекты рядом, выбранные из мира, как из каталога, - даже тогда ситуация с точки зрения нашего нынешнего мышления не улучшится.

“Distiktos”, - сказали они, игриво превратив имя юмориста в уличный жаргон. - “Мы находим вас очаровательным во время прилива, но когда начинается наводнение, *ne Dia!* вы, безусловно, *законопослушны*. И в твоих личных интересах, Дистиктос, если ты действительно не хочешь вести совершенно бессмысленную и заброшенную жизнь, как ты можешь продолжать в том же духе?”

Фрэнк Мур Колби

Американская цивилизация с точки зрения иностранцев

- I. РУССКИЙ
- II. ИРЛАНДСКИЙ
- III. Итальянская

Я. КАК ЭТО ВИДИТ АНГЛИЧАНИН

Чуть менее двух лет назад — если быть точным, 14 июля 1919 года — на мою долю, как офицера, прикомандированного к одной из многочисленных военных миссий в Париже, выпало “помогать” с зарезервированного места на балконе отеля "Астория" во время *дефиле*, или триумфального вступления союзных войск в Париж.

Марш *на Берлин* так и не состоялся из-за сбоя в расписании, вызванного вступлением бесстрастных союзников в одиннадцатом часу, и было сочтено, что французам нужно предложить что—то взамен, и это приняло счастливую форму своего рода общественного марша по маршруту, некогда оскверненному топотом прусских копыт, - многочисленный военный *корбей* контингентов союзников, с флагами, барабанами, трубами и всей остальной атрибутикой, которая хранилась в холодильнике в течение четырех лет (газ, снаряды, боеприпасы). и колючая проволока. Было рассчитано, что такая *защита* станет чем-то большим, чем скромное удовлетворение потребностей французской армии и народа. Это дало бы всему миру, через посредство ныне не замутненной прессы, поразительный наглядный урок дружеских чувств и схожести целей.

Моя цель при упоминании *одеде* - просто зафиксировать в нем один непроверенный инцидент, но я бы мимоходом сказал, что дело “ради дела”, как говорят французы, было необычайно хорошо срежиссировано. Особенно приятной мыслью было расставить контингенты союзников в алфавитном порядке. Это не только устранило любое международное недовольство тем, что мы все хотели сделать днем Франции, но и оставило процессию во главе, где все, в восторге от выступления, были вполне довольны, что она должна остаться. При небольшом такте с алфавитом еще раз оправдали себя как беспристрастное руководство:

В - за Великобританию, Великая.

А - за Америку, Соединенные Штаты Америки.

* * * * *

Для внушительности я откровенно и свободно отдаю пальму первенства тому, что тогда было модно называть американскими усилиями. Разные контингенты были впечатляющими по-разному. Республиканская гвардия, обутая в высокие сапоги, бриджи из оленьей кожи, сверкающие шлемы, развевающиеся *криньеры* и *блестящие* сабли, придавали как раз нужный оттенок *эпопее* Аустерлица и Йены, заставляя нас почувствовать, что 1871 год был дурным сном; горцы, голос гидры, визжащий и лязгающий из их незапамятных труб, будоражили всевозможные атавистические импульсы и воспоминания. Тем не менее, если бы я присутствовал в тот день в Париже как газетчик, а не как самый скромный и безвестный из солдат, ни тот, ни другой не обманули бы моего журналистского инстинкта. Я должен был поместить начало моего “рассказа” туда, где алфавитное мастерство поместило начало процессии, — в американскую пехоту.

Впереди генералиссимус, воинственный и учтивый, на лошади с яркой шерстью, которая гарцевала, изгибалась, “переваливалась” из стороны в сторону под натренированной рукой. За его спиной оркестр, его чудовищные медные рожки оглашали воздух Бродвея, перед которым “там” стены пацифизма за один день превратились в пыль. За ними, взвод за взводом, чисто выбритая, физически совершенная боевая молодежь великой республики. Все шести футов ростом — шептались, что там не было ни одного, но он заслужил свое место в контингенте строгим физическим отбором: двигался с центровкой поршней в какой—то смертоносной машине - их, как нам сказали, интенсивно тренировали месяц назад. В безупречно чистом хаки, лакированных траншейных касках, безукоризненных, едва тронутых иссушающим дыханием войны. Всякий раз, когда процессия останавливалась, взвод за взводом отходили на установленную дистанцию и засекали время. Когда она возобновлялась, они с той же почти нечеловеческой точностью выстраивались звено за звеном и возобновляли свое зловещее продвижение. Как их видели другие, вы еще услышите, но для меня они были не просто тысячей бойцов; скорее, головкой огромного тарана, простая угроза которого, направленная в перегруженное налогами сердце Германской империи, положила конец войне. Француз *плантон* из персонала “Астории”, который протиснулся в группу с билетами, стоял у меня за спиной. “Les voilà qui les attendaient”, - почти прошептал он. - Посмотри, что *их*.

Соседний с моим балкон был зарезервирован для гражданских служащих британских миссий, и здесь собралась небольшая кучка обычных английских мужчин и женщин — стенографисток, машинисток, клерков, винтиков коммерции, втиснутых в механическую работу послевоенного поселения. Когда американцы двинулись дальше после одной из впечатляющих проверок, о которых я только что говорил, что-то привлекло мой слух, что заставило меня быстро повернуть голову, даже от зрелища, о каждом потерянном моменте которого я сожалел. Из всех звуков, исходящих из человеческого сердца, это был самый низкий и зловещий звук — звук, который заставляет неосторожного прохожего по высокой тропической траве быстро оглядеться по сторонам и крепче ухватиться за палку, которую у него хватило ума носить с собой.

Это невозможно — это непостижимо — и это правда. В этот великий день международных поздравлений одна из двух ветвей англосаксонской расы освистывала другую.

* * * * *

Позже я рассказал об этом другу и бывшему начальнику, который мне нравился, но чье положение и характер не были гарантией такта или здравого смысла. Я сказал, что нахожу этот инцидент довольно зловещим, но он отказался “пугаться”. С той британской невозмутимостью, которую американцы отметили и занесли в картотеку своих впечатлений, он отмахнулся от всего этого как от несущественного.

“ Осмелюсь сказать, очень естественно. Все равно прекрасное шоу. Возможно, ваши друзья на другом балконе подумали, что они опрокинулись перед входом.

-“Опрокинулся...?”

“ Ну, зашел немного слишком далеко. Эффективность и все такое. Немного не в ногу с остальной процессией.

С тех пор я часто задавался вопросом, не была ли эта простая фраза, произнесенная простым солдатом, ближе к корню расхождения между британскими и американскими характерами, чем все мистифицирующие и кропотливые оценки, которые, по-видимому, считают уместными девять из десяти наших великих или почти великих писателей в определенный период их популярности.

Видите ли, для достижения диссонанса необязательно, чтобы два инструмента играли разные мелодии. Вполне достаточно, чтобы темп одного отличался от темпа другого. Все, что я хочу указать в том кратком пространстве, которое объем этой работы оставляет в моем распоряжении, - это лишь несколько обстоятельств, при которых, как мне кажется, биение национальных сердец здесь и по ту сторону Атлантики, вероятно, нарушится.

* * * * *

Англичане не эмигрируют в Соединенные Штаты в больших количествах, и прошло много лет с тех пор, как их приезд внес в “плавильный котел” что-либо, кроме незначительного расового элемента. Они не приезжают отчасти потому, что их собственные Колонии более привлекательны, а отчасти потому, что британские рабочие теперь осознают, что экономический стресс в более крупной стране более сильный, а материальное вознаграждение пропорционально не больше. Те, кто все еще приходит, приходят, как правило, подготовленными к занятию руководящих должностей или в качестве специалистов в нескольких своих областях. Их нежелание принять американское гражданство печально известно и, я думаю, имеет значение; но только в течение совсем недавних лет оно стало каким—либо основанием для обвинений - и среди класса, с которым их деятельность приводит их в самый тесный контакт, это молчаливо и тактично игнорировалось, или было до года или двух назад. Во время обзора журнала “иностраннный элемент” в Бостоне, к которому я был приставлен за два года до войны, я обнаружил, что бизнесмены британского происхождения не только неохотно отдают “копию”, но и возмущены оглаской, которой их подвергает предприятие моего журнала.

Есть много причин, по которым выдающиеся английские писатели и публицисты не имеют большого значения для оценки того, “как американцы действуют на англичанина”. Не утверждая ничего столь грубого, как то, что коммерческие мотивы ощущаются как

сдерживающая сила, когда возникает искушение вынести неблагоприятное суждение о вещах, которые они видят и слышат, очевидно, что условия, в которые они попадают — люди достижений в своей стране, аккредитованные при людях достижений здесь, — изолируют их от многого беспокойного, нестабильного, но жизненно важного в американской жизни. Ни у кого из них, насколько я знаю, не хватило смелости или предприимчивости приехать в Америку без предупреждения и анонимности и заплатить несколькими месяцами экономической борьбы за оценку, которая могла бы иметь реальную ценность.

Отсутствие реального контакта между массами в Америке и Великобритании объясняется внутренней ложностью языка, на котором прославляется расовая связь в тех случаях, когда какой-либо политический кризис требует ее повторения. Кажется, проще и безопаснее произносить это с помощью освященных *клише* для обозначения удельного веса крови и воды или филологических корней средства, используемого Милтоном и Артуром Брисбейнами. Банальность, неискренность публичных заявлений в то время, когда вступление Америки в европейскую борьбу впервые замаячило как возможное решение агонии на Западном фронте, были почти невероятны. Любой, кто захочет просмотреть подшивки крупных ежедневных газет за период с сентября 1916 по март 1918 года, может найти их сам.

Для разума, не затуманенного желанием верить, это постоянное упоминание общих целей, это постоянное дерганье за связь, чтобы убедиться, что она не разорвалась в одночасье, было бы сильным подтверждением подозрения, что два судна дрейфовали друг от друга, уносимые течениями, текущими в разных направлениях. Нам придется полагаться не на послеобеденные банальности богатых и классово сознательных “пилигримов”, не на звучные банальности дискредитированных отстающих на политической сцене, и тем более не на спортивные наклонности титулованных хайденов и хоккейщиков, к которым американский пот и доллары прибывают живительным потоком, если трос действительно разойдется и два великих государственных корабля будут нащупывать друг друга в темном и не нанесенном на карту море. Это зависит от явного и неопровержимого факта того, насколько американец и англичанин любят или не любят друг друга.

Утверждение о том, что сегодня мы стоим на пороге великих перемен, является почти слишком устаревшей истиной, чтобы ее повторять. Что не так хорошо осознается, так это то, что многие из этих изменений уже произошли. Перемещение золота партия за партией с восточной на западную сторону Атлантики и лихорадочная охота за новыми и неиспользованными источниками добычи являются лишь внешними признаками глубокого европейского обнищания, в котором Британии впервые в ее истории пришлось принять участие в полной мере. Забастовки и локауты, которые последовали за миром в такой быстрой последовательности, возможно, можно списать со счетов как неизбежные *последствия* большой войны. Слабый отклик на призыв к производству как средству спасения, общая перемена в характере англичан, столкнувшихся со своей тяжелой задачей, — это гораздо более жизненные и значимые вещи. Они, по—видимому, знаменуют сдвиг в моральных ценностях — изменение веры, благодаря которой развиваются и процветают нации, каждая в той сфере, которую определяют характер и обстоятельства.

Столкнувшись с неизбежной конкуренцией со стороны нации более густонаселенной, более сплоченной и богатой, чем она сама, мне кажется, что есть три пути, по которым может пойти старшая часть английской расы. Первый — это война, пока силы не стали слишком

разрозненными, и в тот день, когда война будет объявлена, закончится один этап нашей цивилизации. На самом деле для всего мира не будет иметь большого значения, кто победит в англо-американском мировом конфликте. Второй, который время от времени проповедают наши политики и публицисты, которые, однако, редко осмеливаются высказать всю свою мысль, - это препоясывание национальных чресел, новое посвящение евангелию усилий, ограничение, при необходимости — хотя на это до сих пор лишь смутно намекается — политических свобод, дарованных в более легкие и менее напряженные дни. О третьем блюде можно легко догадаться. Это упорство в склонностях, всегда скрытых, как я полагаю, в английском темпераменте, но которые открыто проявились только после первой мировой войны, более четкое оспаривание ценностей, которые до сих пор считались безупречными, более внимательное отношение к бормотанию масс в Континентальной Европе, интернационализм-революция. Сегодня ни один вдумчивый человек в Англии не отрицает этой опасности. Даже ссылки на этот спасительный фактор, на “здравый смысл британского рабочего”, больше не смягчают призрак проблемы, вопросы которой стоит только сформулировать, чтобы предстать во всей их безнадежной непримиримости. Много лет назад, задолго до того, как на мир упала тень, в момент депрессии или вдохновения я написал, что страстное желание шевельнулось в человеческом сердце в самый канун того дня, когда прозвучит призыв к самопожертвованию. Это откровенно сформулированная загадка, на которую сегодня в равной степени просят найти ответ как рабочих, так и правителей.

В этом выборе, который стоит перед британским рабочим, многое может зависеть от того, как американские эксперименты и достижения поразят его. В Англии теперь никуда не деться от большой трансатлантической сестры. Политики используют ее пример в качестве оправдания; работодатели ставят ее достижения в упрек. Британский премьер не осмелится предстать перед Палатой общин в “ирландскую ночь”, не подкрепленную искусными аналогиями, взятыми из истории войны за отделение. Количество кирпичей, которые кладут американские каменщики в час, или тонны угля, которые обтесывают ее флегматичные угольщики в неделю, - это отчаяние подрядчика, столкнувшегося лицом к лицу с бездельником и любителем удовольствий коренным жителем. Сегодня вы больше не услышите шуток в высших эшелонах коалиции по поводу того, что ее политическая машина регулярно и без беспорядка заменяет демократа-трулялю на всеобщих выборах республиканцем-трулялю. Она признана — и это, я думаю, последняя ценность, которую ей придают все правящие и имущие классы в моей собственной стране, — как более подготовленная в своих институтах, своем характере и своем населении к большой экономической борьбе, которая нам предстоит.

В этом секрет непрекращающегося внимания, оказываемого Вашингтону всеми странами, но в первую очередь Великобританией. Не страх перед ее властью, не жажда ее денежных мешков и урожаев, не желание быть “в авангарде”, как это видят беззаботные карикатуристы, побуждают к нервной восприимчивости и мгновенной реакции на все, что может оскорбить высокопоставленных лиц на берегах Потомака. У всех людей, сильно заинтересованных в поддержании нынешнего экономического порядка, есть ощущение, что поддержка в их собственных странах рухнет у них под руками, и что эту новую поддержку, более сильную и надежную, можно найти в новой стране с более простой верой и более чистым или, во всяком случае, более коротким послужным списком. Бороться с пролетариатом с помощью демократии - метод настолько очевидный и безопасный, что остается только удивляться, что его открытия пришлось ждать до сегодняшнего дня. Его характерной чертой является вновь пробудившийся интерес и энтузиазм в одной стране к политическим силам, которые, по-

видимому, сделали стабильность своим лозунгом в другой. Коалиция стала героем "Нью-Йорк Таймс" и "Трибюн" — триумф республиканской партии был воспринят почти как национальная победа в лондонских "Таймс" и "Бирмингем пост". Непримириемость во внешней политике находит готовое прощение в Лондоне; взамен Вашингтон закрывает глаза на планы территориального расширения.

Если и следует заметить изъян в том, что на первый взгляд кажется идеально отлаженным инструментом международной вежливости, так это то, что это новое англо-американское взаимопонимание, похоже, основано на классовых, а не на национальных симпатиях. Даже на первый взгляд, некоторая врожденная непоследовательность, по-видимому, ощущается из того факта, что привлекательность великой республики больше всего проявляется дома, в метрополии, у класса, который меньше всего привязан к демократическим формам и больше всего боится перемен. Упоминания Америки не вызывают энтузиазма на собраниях лейбористов в Англии, и по-прежнему считается неразумным подвергать Юнион Джек возможному унижению на широкомасштабных парадах в Нью-Йорке или Чикаго. Симпатия, которая расцветает риторикой на коммерческих банкетах или на собраниях археологически настроенных людей, может уходить корнями в самую здравую политическую мудрость. Но делать вывод из таких демонстраций классовой солидарности о какой-либо национальной общности мыслей или целей одновременно необоснованно и небезопасно. Совершенно очевидно, что если классовая подрывная деятельность, всегда возможная в стране, политическая изменчивость которой велика, оставит судьбу Великобритании в руках класса, который сегодня молчит или враждебен при упоминании имени Америки, станет необходимым полное восстановление англо-американского единства в терминах, приемлемых для среднего англичанина.

* * * * *

Этот среднестатистический англичанин - существо в высшей степени сложное. Благодаря покровительству, наложенному на него индустриализмом, он в совершенно необычайной степени сохранил резкость, великодушие, случайные эксцентричности тех дней, когда он был свободным человеком в свободной стране. Ни один процесс плавления никогда не превращал резкие яркие оттенки его индивидуальности в универсальный, всепроникающий серый цвет, который является результатом смешивания основных цветов. Ни одному человеку, использовавшему его для полезных целей, никогда не удавалось свести его личность к цифре на латунной бирке. В нем сохранились пират и разбойник, которые смотрели на римскую вилладом и находили ее нехорошей, лучник, сбивший закованную в сталь иерархию Франции со своих кровных коней при Креси и Азенкуре, грубиян, снесший головы юристам во дворе Вестминстерского дворца.

Если я подчеркиваю этот излом в британском характере, то это потому, что одним из его результатов стало то, что англичанин из всех людей меньше всего впечатлен масштабом, и тот, к кому обращены призывы к масштабности эксперимента или обширности видения, вызовет наименьший отклик, и особенно потому, что я думаю, что ощущаю тенденцию подходить к нему в интересах англо-американского единства именно с той точки зрения, которая вызовет антагонизм там, где требуется сотрудничество. Привязанность англичанина к мелочам и скрытым вещам, которую никто, кроме Честертона, не имел возможности осознать, или, во всяком случае, которую Честертон был первым, кто полностью соотнес с его

непоследовательностью, объясняет его странно отстраненное отношение к Британской империи, ядром которой является его страна. Его открытие как сущности, требующей особого качества в мышлении и действиях, датируется не более чем тем странным периодом в истории, когда личность Рузвельта и видение Киплинга завладели воображением всего мира.

Этот отказ восхищаться величием, будь то его собственное или чужое, имеет свои недостатки, но, по крайней мере, в нем есть один спасительный элемент. Это делает англичанина вполне способным осознать, что вещь может быть грандиозной по масштабам и посредственной по качеству. Это оставляет нетронутой его искреннюю и детскую уверенность в том, что мелочи мира ставят в тупик сильных; его скрытую убежденность в том, что Давид всегда сразит Голиафа наповал и что мечу Джека суждено отрубить голову великану. Гротескные закрученные усы кайзера, неспособность мифического “Вильгельма Сорняка” добиться значимых результатов были его путеводными огнями к победе, пробными камнями, с помощью которых он заранее проверял огромную машину, которая в конце концов треснула и сломалась под собственным весом. Именно “презренная” маленькая армия лавочников и угольщиков завладела его воображением и навсегда завоевала его любовь, а не эффективная военно-морская машина, которая участвовала в одном великом морском сражении, продемонстрировавшем риски, присущие ее собственной чудовищности и сложности, и разместившем свою штаб-квартиру в Скапа-Флоу. Я вспоминаю комментарии, услышанные во времена Ютландии в артиллерийском лагере, куда меня забросила судьба. Они подтвердили зарождающееся убеждение в том, что военно-морской флот, хотя он по-прежнему внушает благоговейный трепет, утратил свою власть в сердце Британии в тот день, когда деревянные стены были заменены на железо и сталь. Возможно, сегодня это “безмолвное служение”, потому что его призыв вызывает так мало отклика. Он был специализирован и преувеличен настолько, что среднестатистический англичанин не в силах его полюбить.

В Америке, похоже, дело обстоит наоборот. Сердце американца, похоже, стремится к объемности, масштабности и эффективности. У американца нет ни времени, ни темперамента, чтобы проверять и взвешивать. Его привязанности, даже его лояльность, похоже, зависят от аспектов, которые навязывают и впечатляют. Я не знаю другой страны, где слово “большой” употреблялось бы так постоянно в знак привязанности. В каждом сообществе есть свои “Большие таймы”, “Большие счета”, “Большие Джеки”, отличные сердечные ребята, которые развлекаются на общественных мероприятиях, бросая косяк китов. Гигантская “Бейб Рут”, гористый Джек Демпси - кумиры его любителей спорта. “Мамонт по характеру” - определение, которое в устах покойного мистера Моргана Ричардса вызвало смех по всей Англии, - для американца не является несущественной или небрежной фразой. Он действительно видит характер и оправдание в величии. Возможно, именно этой чертой в его менталитете было вызвано загадочное изменение отношения к началу великой войны. Масштаб и завершенность усилий Германии завладели его воображением до такой степени, что оценить это могут только те, кто провел первые несколько месяцев в мучительных сомнениях на Западе и на Ближнем Западе. Что-то смутно родственное, что-то, выходящее за рамки расовых симпатий и антипатий, пробудилось в нем при постоянном упорядоченном движении серых легионов на Запад, так точно описанном для него Ричардом Хардингом Дэвисом. Он совершенно безжалостен к поражениям.

Ничто, задуманное в таком масштабе, не может потворствовать сложности. Его идеалы должны быть широкими, грубыми и примитивными, адекватными масштабной задаче. Отсюда скорость,

тщательность, кажущаяся безжалостность, с которой осуществляются американские предприятия. Среди определенной школы мысли вошло в моду называть Америку страной запретов. Но та сторона его темперамента, которую американец решил культивировать, почти не сдерживает его, оставляя все остальное тем, кто находит извращенное влечение в траве и разрухе. Его язык — а он удивительно красноречив — так же прост и прямолинеен, как и его мысли. Призывы и увещевания его лидеров звучат в огромных легких. Они рассчитаны скорее на то, чтобы уносить далеко, чем на глубокое проникновение. Это скорее утверждения и перепроверки, чем аргументы. Если их словоблудие часто направлено на возвышенное и иногда кажется, что оно достигает его, если американский лидер вечно что-то посвящает, освящает, вдохновляет, то высота подобна высоте, которой наделяют снаряд, чтобы он мог двигаться дальше. Ловкое изложение антитезы Ллойд Джорджем, острая игра сарказма Асквитом явно отсутствуют в речах американских лидеров. В этом звучном изложении веры, уже прочно укоренившейся в сердцах всех ее слушателей, есть что-то высокомерное и зловещее, подобное сжатию кулака перед тем, как поднять руку.

Эта примитивность и целеустремленность американца, кажется, усиливается по мере того, как его историческое происхождение все дальше и дальше уходит в прошлое. Бесплезно рассуждать о том, что могло бы произойти, если бы развитие его страны оставалось нормальным и однородным, как, по общему признанию, оно и было до Гражданской войны. Еще менее благодарная задача — оглядываться назад на литературу трансцендентального периода и фиксировать все, что американская мысль, похоже, утратила с тех пор в утонченности и существенной католичности. Что действительно важно, так это осознать, что не только язык, но и сама суть западной цивилизации год за годом требует упрощения, жертвоприношений. Трудно представить, какой еще выбор стоял перед американцем, поскольку волна за волной иммиграция размывала его однородность, кроме как изложить свои концепции в терминах, которые легко понять и быстро усвоить, с филологической экономией карманного справочника путешественника и категоричной точностью учебного пособия. Если по самой природе вещей это евангелие чаще сопровождается угрозой, чем приправляется медом разума и сочувствия, то виновата задача, а не надсмотрщик. Ни на одну другую страну никогда не возлагалась подобная тяжелая работа в подобном масштабе. Бесплезно говорить о духовном вкладе иностранца, когда его первая обязанность — выбросить этот вклад на помойку. Бесплезно апеллировать к его традициям, когда за несколько лет возникает языковой барьер между родителями, которые никогда не учили новый язык, и детьми, которые не могут или стыдятся говорить на старом.

Но такой режим не может просуществовать много лет без глубокого влияния не только на тех, кому он предписан, но и на тех, кто его применяет. Самый рожденный небесами лидер среди мужчин, помещенный на приемный пункт, куда ежемесячно и раз в две недели прибывают контингенты ошеломленных новобранцев, быстро превращается в нечто вроде прославленного сержанта-строевика. Школьный учитель, как известно, является социальным неудачником в кругах, где общение должно поддерживаться на том уровне, на который его вывело из равновесия повышение его *эстрады*. Точные ценности — видения, если использовать слово, которое неправильное использование сделало ненавистным, — исчезают под множеством второстепенных задач. Это одна из форм мести судьбы, когда те, кто должен преследовать и управлять автомобилем, в свою очередь становятся измученными и бесплодными.

Насколько я знаю, никто еще не пытался соотнести это удивительное упрощение с засушливостью американской жизни, засушливостью настолько заметной, что она порождает позитивную тягу ко все более мягким цивилизациям не только у иностранца, вкусившего их, но в определенный момент жизни почти у каждого коренного жителя, чья работа лежит вне сферы материального производства. Дело не в том, что в Англии, как и в любом другом обществе, не существует целых классов, которые добиваются материального успеха путем ограничения интересов и сужения симпатий. Но при этом они приносят жертвы домашнему, а не национальному Богу; они следуют личным, а не расовым наклонностям. В их отказе от эстетических импульсов нет сознательной приверженности национальному идеалу. Бок о бок с ними живут другие мужчины, чье очевидное удовлетворение небезопасной и нестабильной жизнью одновременно ущемляет их гордость и ограничивает их влияние. Они осознают существование вокруг них целого чуждого мира, материальная отдача от которого ничтожна, но в котором другим людям каким-то образом удастся достичь полноты опыта и сохранить самоуважение. Этот другой мир реагирует не только на работодателя, но и на нанятого. Для работника это уменьшает пыл и стресс, связанные с его работой, придает смысл и оправдание его потребности в отдыхе перед лицом экономических требований, которые угрожают или отрицают. Никто в Англии еще не осмелился воплотить в евангелии очевидную истину о том, что бедняки должны работать. Никакое принуждение не определяет ментальный настрой, который человек может выбрать, столкнувшись со своей задачей. Ускоритель и эксперт по эффективности ненавистен и чужд. “Справедливая дневная плата за добросовестный труд” может показаться расплывчатой и сомнительной фразой, но ее смысл очень глубок. Это устанавливает пограничный знак на границе между плотью и духом, по которому посягательства регистрируются по мере их возникновения.

В Америке такой границы не существует. Здесь вторжение, кажется, завершено. Дух, который отделил бы материальное от нематериальных целей, блуждает сбивый с толку лабиринту возвышенных фраз и увещеваний, каждое из которых содержит обещание спасения от тяжелой жизни без видения, но каждое из которых ведет обратно к алтарю, где производство восседает на троне как Бог. Руководства и буквари, почти написанные псалтырями, выходят из-под печатных станков, в которых такие слова, как “вдохновение”, “посвящение”, “посвящение”, призывают американскую молодежь не к отказу от материальных целей, а к их интенсивному преследованию. Это наивное и простое кредо совершенно свободно от застенчивости или лицемерия. В его случайных резких переходах от языка молитвы к таким мучающим совесть вопросам, как “Могли бы вы сохранить работу за 100,00 долларов в неделю?” или “Вы бы наняли себя сами?” не чувствуется перехода от возвышенного к смешному, а тем более к убогому. В нем есть детская серьезность и благоговение, присущие всем религиям, которые хранятся в сердце.

Но его Бог - ревнивый Бог. Никаких колебаний в его служении, никакой разделенной преданности не допускается. Его награды конкретны, а наказания могут быть ошеломляющими. Открытый бунт - вне закона; тайный бунт - презрение и непонимание - вот его неизбежные посещения. По этой причине те, кто сбегает в ересь, нередко теряют свою непорочность и подвергаются виселице или позорному столбу в назидание верующим. Человек, который не будет служить, потому что служба морит голодом и истощает его душу, с большой вероятностью окажется в зависимости от компании человека, который не будет служить, потому что его воля слишком слаба или привычки слишком рассеяны.

То, что это тяжелое служение, его самые ярые сторонники и не пытаются скрывать. Сама его строгость становится текстом призывов к постоянно обновляющейся эффективности, интенсивному обучению, специализации. “Они должны двигаться в таком быстром темпе, - предупреждает своих учеников один сторонник физической активности. - Конкуренция стала настолько жесткой, что мозгов и видения недостаточно. У человека должен быть удар, чтобы довести дело до конца”. Растет впечатление, что американский бизнесмен new style - это мрачный гладиатор, оснащенный для своей борьбы строгой физической и умственной дисциплиной. Впечатлению способствует множество аксиом, простых и иллюстрированных, которые представляют собой своего рода новый лозунг мужественности. “Краснокровные мужчины”, “Мужчины с двумя кулаками”, “Мужчины, которые что-то делают”, “Молодцы, добивающиеся своего” - вот несколько заголовков в этом евангелии толчка.

Услуга становится еще более сложной из-за ее неопределенности, поскольку никакое евангелие эффективности не может сильно изменить пропорцию вознаграждений, хотя это может сделать соревнование сложнее, а оценку выше. Год за годом, в то время как конкуренция усиливается, а ресурсы ограничены, сохраняется ненадежность в трудоустройстве - злая традиция тех дней, когда возможности были действительно безграничны и конкуренции можно было избежать, переместившись на несколько десятков миль на запад. Преемственность в одной сфере деятельности по-прежнему остается скорее исключением, чем правилом, и когда смерть или выход на пенсию выявляют случай, он по-прежнему считается заслуживающим места в местных журналах. “Можете ли вы использовать меня?” - остается обычным ходом для соискателя работы. Презрение к устоявшимся перспективам, к рутинной работе, представление о бизнесе как о чем-то, что нужно *развивать*, а не над чем *нужно* работать, все еще скрыто в воображении атавистичной и амбициозной молодой Америки. В последние годы это беспокойство, даже в таком достойном деле, как “продвижение вперед”, воспринималось как препятствие для полной эффективности, и была задумана счастливая идея применить авантурный элемент соревнования дома. Территориальные или ведомственные сферы распределяются между каждым сотрудником в рамках “заботы” или без нее; результаты, достигнутые А, В и С, затем суммируются, анализируются, заносятся в карту и вывешиваются на видных местах, где все могут видеть, восхищаться и принять предупреждение. В большинстве современных компаний “предложения” по расширению или улучшению бизнеса не только приветствуются, но и ожидаемы, и сотрудник, который не производит их в разумных количествах и с недостаточным качеством, подлежит “увольнению”. Когда изобретательность утомляет, происходят “встряски” в масштабах, неизвестных в Англии, и новые претенденты, стремящиеся “добиться успеха”, занимают место старых. Деловые спортсмены напрягаются и тяжело дышат, стремясь к цели. Молодому человеку, “посвятившему себя” мерчендайзингу, нет покоя. Подобно мухе из басни, он должен бороться и плыть до тех пор, пока молоко вокруг его ног не превратится в масло для должности руководителя.

Американская пресса, смешанная, ярко окрашенная и часто написанная людьми эксцентричного гения, предпочитающими жалкое вознаграждение за написание новостей коммерческому игу, передает лишь частичное представление об этом поглощении целой расы одной функцией. Гораздо более яркое впечатление производят “домашние органы” и рекламные брошюры, которые льются из прессы непрерывным потоком и производство которых за последние годы превратилось в крупную и прибыльную индустрию. Здесь статьи и симпозиумы на такие темы, как “Превращение характера в умение продавать”, “Скрытые силы, способствующие продажам” и “Использование индивидуальности”, часто украшенные

полутонами напряженных и безрадостных лиц, повторяются на каждой странице. Нет неприкосновенного святилища, нет неисследованного укромного уголка. Коммерческий Бог требует от души, и он будет доволен не меньшим.

Это требование подразумевает пересмотр концепции отношений между работником и работодателем. Старый контракт, по которому время и усилия нанимались на столько-то часов в день за установленное вознаграждение, оставляя жизнь, свободу и стремление к счастью вне этих часов вопросом личных предпочтений, теперь отменен или, по крайней мере, поставлен под сомнение. Общеизвестно, и со всей логикой, что степень достижения результатов в рабочее время будет в значительной степени зависеть от обстановки, в которой проводятся часы отдыха; и что, хотя выявление неэффективности - задача острых мозгов, которые редко подводят, это обнаружение, по природе вещей, может не состояться до тех пор, пока коммерческой структуре не будет нанесен ущерб. Такова реальная суть совершенно нового евангелия “Благосостояния” и “Возвышения”, согласно которому сотрудники обеспечиваются простыми и проверенными средствами для отдыха под бдительным и доброжелательным присмотром руководителей отделов, в котором предполагается и со всей откровенностью утверждается, что физическая, моральная и умственная эффективность персонала и “salesforce” стала заботой организации, которая выделила им место в своей экономике. Организм работает, играет, отдыхает, движется дальше вместе.

Нет ничего более ужасающего, как считал этот мастер террора Эдгар Аллан По, чем организм, который одновременно подл и колоссален. Свойствами эффективности и приспособления к одной определенной цели наделены в выдающейся степени только низшие категории животных. Чешуекрылые с жесткими телами, заключающими в себе органы, предназначенные для простых метаболических целей, вооруженные сложным механизмом из когтей, шарниров, сверл, клапанов и присосок, являются живыми инструментами, которые летают или ползают. Поглощенные одной неустанной работой, со всеми развлечениями, связанными с любовью и войной, делегированными специализированным подвидам, они не любят, не ненавидят и не бунтуют. По мере роста шкалы эффективность снижается, пока в выводке и одиночестве логова, ленивой домашней жизни с матерью и детенышами, радости охоты на добычу и любви к охоте, между ощущением голода в животе и сном сытости жизнь крупного хищника не проходит в чистой радости жизни ради жизни, пока ружье охотника не положит конец дневному сну.

Человеку — несчастному и изобретательному — оставлено осознать жизнь, которая касается обоих концов шкалы, почувствовать в своем сердце тягу к жизни в улье и жизни в джунглях поочередно. Что-то от муравья и что-то от тигра скрывается в каждом нормальном человеческом существе. Если он обладает огромной силой самоутверждения, его способность к отречению кажется такой же безграничной. Именно эта двойственная природа человека делает пророчество о том, что “произойдет с миром”, таким трудным и небезопасным. Но можно рискнуть сделать одно пророчество, и оно заключается в том, что по мере того, как молчаливое согласие или бунт овладевают воображением разделенных наций, эти нации будут объединяться или расходиться в антагонизм.

Если судить по жизни, проведенной в течение последних двадцати лет между Англией и Соединенными Штатами, я бы сказал, что в настоящий момент доминирующей нотой в Америке является согласие, а в Англии - бунт против чрезмерных требований коммерциализма. Здесь, судя по всему, капитуляция на данный момент завершена. Восстания есть, но они спорадичны и

дезинформированы, и их быстрое подавление, по-видимому, не вызывает возмущения и не пробуждает трепета перед общей опасностью среди рабочих. К забастовкам, связанным с вопросами заработной платы, относятся более снисходительно, но даже они, как правило, пресекаются судебными запретами при их зарождении, а кислое или враждебное отношение властей затрудняет успех. В любом проявлении несогласия с установленными условиями, даже когда оно основано на самых технических основаниях, власть, по-видимому, ощущает вызов более масштабным проблемам и встречает их наполовину демонстрацией силы, которая англичанину кажется странно чрезмерной. Очевидно, что земля подвергается испытанию. Интерпретации свободы, которые восходят к более легким и просторным временам, пересматриваются, и там, где они расходятся с концепцией общества как дисциплинированной и производительной силы, они грубо сокращаются. Преобладающий характер рабочей массы, одновременно гетерогенной и аморфной, делает ее безопасной и пластичной средой практически для любого социального эксперимента. “Если тебе это не нравится, возвращайся” - это аргумент, на который не было найдено ответа. Туземные лейбористы разделяют всеобщее неуважение и находят убежище от него в аристократических и доктринерских федерациях, неэффективность которых становится очевидной всякий раз, когда возникает трудовой вопрос. Для мятежника, который в этих условиях решает продолжать борьбу, найдены более грубые методы. Он может стать *fera natura*. Его уделом может быть обмазывание дегтем и перьями, окунание в воду и натирание кислотой, а также депортация из штата в штат. При любых социальных условиях конформизм - самый простой путь. Когда альтернативой является тюремная камера и позорный столб, сопротивление требует определенной степени фанатичного мужества и внутренних моральных ресурсов, которыми обладает лишь горстка людей в поколении.

На эту концепцию дисциплинированного сообщества, подчиненного целям производства, тысячи имущих и капиталистических классов с тоской взирают по другую сторону Атлантики. Но в Англии существует множество препятствий для его реализации. Английский пролетарий - это не оторванный от родины сирота, который послушным и молчаливым трудом платит за гражданство своим детям и внукам. Этот великий действующий концерн, Британская империя, - его личная работа, построенная на костях и скрепленная кровью его предков. Его избирательные права столь же полны, как и лишение наследства, и обнищание его страны, о чем свидетельствует поток золота, который льется на Запад подобно артериальной крови, не достигло его духа. Даже Великая война, показавшая ему, насколько безжалостными и всеобъемлющими могут быть требования государства к личности, только укрепила его чувство того, что он очень достойный человек, и увеличила длинный долг, который он, откровенно говоря, стремится взыскать. Обещания, взывания к национальной гордости и традициям, которыми его приходилось ублажать, когда впервые в его истории на его шею было возложено ярмо всеобщего служения, сегодня сбивают с ног его правителей. Трудно сказать ему, чтобы он уезжал куда-нибудь еще, потому что он “принадлежит” Англии. Даже предложения о том, что ему следует массово эмигрировать в британские колонии, чтобы разгрузить перегруженный рынок труда, воспринимаются с издевательским смехом, в котором таится угроза. Я уверен, что так оно и есть, потому что я знаю его, взирающего с определенным сардоническим удовольствием на суматоху, замешательство своих правителей, их демонстрацию силы, чередующуюся с призывами к благоразумию, их смелые слова сменяются униженными отрицаниями и оговорками. Он ждет, пока ему не будет задан голый экономический вопрос, который, как он хорошо знает, лежит в основе всей парадигмы национального величия и

имперского наследия. Это будет великий и знаменательный день, когда англичанину будет предоставлен выбор. Выбор должен быть. Средств принуждения здесь нет.

* * * * *

Сейчас Америке европейцы в целом, должно быть, кажутся беспомощной расой, сбитыми с толку участниками огромной и трагической ошибки. Для тысяч работников Красного Креста, рыцарей Колумба и вспомогательных служб социального обеспечения в опустошенных районах зрелище страданий и нужды, должно быть, вернулось домой, чтобы усилить впечатления, уже полученные от зрелищ, увиденных на острове Эллис или Лонг-Уорф. Тем не менее, историческим несчастьем является то, что первый настоящий контакт между народами двух континентов произошел в то время, когда старейший был банкротом и мало что мог показать, кроме лохмотьев своей цивилизации. Обратной стороной нежности к пострадавшему европейцу за границей стало ожесточение сердца к иммигранту дома, и американцу, школьному учителю и законодателю стольких чужих народов в своей собственной стране, трудно отказаться от дидактического характера в своих международных отношениях. Для многих стран он "говорит это с мукой", и тем, кто принимает пособие по безработице, остается только проглотить проповедь. Даже для тех стран, которые были его союзниками, он сияет определенным блеском праведности. Его жертва была преднамеренной — что, возможно, является лучшим оправданием того, что он был немного сознательным. Это было добровольное решение, и пятьдесят тысяч его погибших, оторванных от производственных предприятий, чтобы лежать во Франции, подтверждают его искренность. Во всяком случае, ни один англичанин в глубине души не верит, что материальная награда, столь великая и неизбежная, какой она видится сейчас, была движущей силой в то время, когда жертва была принята. Существует множество причин, одни заслуживающих доверия, другие менее, которые заставляют Европу обуздывать свое беспокойство под влиянием американских проповедей.

С Англией дело обстоит иначе. Никто не знает, насколько сильно пострадала Британия, но ей удается скрывать свои раны. Ни одна благотворительная организация из "старшей сестры" не высаживала своих одетых в хаки апостолов гигиены и сестер милосердия в серых плащах на английских берегах. Фасад нетронут, старые мастера во владении. С некоторыми сдвигами и переменами в политической маркировке, которые являются предметом внутренней озабоченности, тем, кто довел большой концерн до банкротства в войне, по-прежнему доверено его устранение. Ни одна крупная подрывная деятельность не является свидетельством смены национальной веры. Судьбы, международные отношения, аспекты, которые привлекают или противодействуют, остаются в руках людей, которые обеспечили себе новую порцию власти с помощью хитроумного политического трюка. Скелет на празднике воссоединения рас - это не Ирландия, не Месопотамия, не Яп и не страна, контролирующая моря. Это приход к политической власти, рано или поздно, но неизбежно вытекающий из самой природы британских политических институтов, из британского пролетариата.

Честно говоря, я не вижу, когда наступит этот момент, кто облекет евангелие американской цивилизации в термины, которые будут, я бы не сказал, приемлемыми, но даже значимыми для эмансипированного британского рабочего. Правящие классы в старой стране, которые полагаются на стабилизирующую силу из-за Атлантики в случае возможных политических потрясений, должно быть, испытывают странные опасения, когда они принимают во внимание свое собственное руководство. Будет неблагоприятной задачей проповедовать

доктрину спасения через труд народу, который опробовал ее настолько логично и полно, что столетие, в котором наблюдалось коммерческое превосходство их страны, стало свидетелем прогрессирующего обнищания и пролетаризации ее народа. Проповеди о дисциплине будут странно звучать в ушах тех, кто, в то время как Америка наслаждалась своим кратким карнавалом обширных и плодотворных усилий на девственной земле, попал под индустриальное ярмо, которое натянуло им шею и замедлило их физический рост. Призывы к расовой гордости будут иметь мало смысла, если исходить от племени, которое перестало из-за потакания своим желаниям или экономического давления сопротивляться этнически и чьи характеристики исчезают в общей амальгаме.

Характерный факт, выделяющийся из всей истории, заключается в том, что чрезмерность любого рода никогда не переставала действовать на английский характер как вызов. Его успехи, во что бы ни пытались верить его клеветники, редко были направлены против маленьких или слабых. Такова была его судьба, в одном повторяющемся кризисе за другим оказываться лицом к лицу с каким-нибудь претендентом на мировую власть, с каким-нибудь "петухом на побегушках". Если использовать банальную фразу, это всегда "зависело от него". И видение его противника, которое заставляло его нервничать, всегда было избытком в каком-то качестве, легко понятном обычному человеку. Фанатизм - это не монополия испанца, не коммерческая жадность голландца, не тщеславие француза, не напыщенность немца. Было бы несложной задачей уличить англичанина в некоторой причастности к каждому пороку. Тем не менее история в основном оправдала его инстинкт меры, его нелюбовь к "разгильдяйству". В чем-то, выходящем далеко за рамки общепринятого выражения, борьба англичан была борьбой за "баланс сил".

Генри Л. Стюарт

II. КАК ЭТО ВИДИТ ИРЛАНДЕЦ

Применение термина "без рукавов" к американской дипломатии, пожалуй, является наиболее кратким выражением сформировавшегося у нас в Европе представления о жизни в Соединенных Штатах. Мы воображаем, что достаточно пересечь Атлантический океан, чтобы найти народ, молодой и энергичный в своем освобождении от древних форм и устаревших церемоний. Обычный посетитель возвращается после краткой экскурсии по более цивилизованным центрам, подражающим европейским, и пытается поразить нас повествованием, в котором несколько живописных грубостей должны указывать на демократическую непринужденность американской цивилизации. Его разум заполнен бессвязной мешаниной небоскребов, скоростных лифтов, воды со льдом, жевательной резинки и надземных железных дорог, так что его неизбежный вклад в литературу, касающуюся Америки, становится простой хроникой впечатлений туриста. Подчеркивается каждое отклонение от европейской практики, и пропорционально вытекающему отсюда личному дискомфорту автора, он рисует в воображении отвратительную картину неотесанности, эффект которой должен утвердить нас в нашей оценке американского прогресса ... или варварство, в зависимости от обстоятельств. Если критически настроенный незнакомец окажется хорошо известным поэтом или драматургом, ему, вероятно, удастся легкомысленно отнести к тем

незначительным неудобствам, которые щедрость богатых поклонников помешала ему испытать на собственном опыте.

Следствием этого является то, что нет предмета, более безнадежно затянутого облаком пространных жалоб и банальных восхвалений, чем американская жизнь глазами иностранца. Ни энтузиасты, ни те, кто ищет неисправности, не оказали большой помощи ни европейцам, ни самим американцам. Первые принимают Америку по ее собственной оценке, вторые жалуются именно на те вещи, которыми гордится средний гражданин. Нелегко решить, какой класс критиков наиболее эффективно помог увековечить легенду об американской свободе; второстепенные комментаторы, которые считают демократию причиной всех оскорблений, или критики более высокого ранга, такие как виконт Брайс, который, не найдя американского содружества, начал его изобретать. Возражающих отвергают как свидетелей неспособности раболепствующего европейца ценить истинную свободу и равенство; благожелательно настроенных с благодарностью принимают как евангелистов Евангелия, под которым американцы подписываются без чрезмерного самоанализа. Есть что-то трогательное в благодарности, испытываемой к автору “Американского содружества”. Кто бы мог подумать, что иностранец, да к тому же британец, сможет построить памятник из такого внушительного кирпича с помощью соломинок политического ораторского искусства в Соединенных Штатах?

В одном пункте все наблюдатели невольно согласились. С одобрением или неодобрением они изобразили для нас общество, которое настолько сильно отличается от наших собственных манер и обычаев, что ни один из нас не приезжает в Америку, веря, что его лучшие или худшие надежды оправдаются. Поэтому несколько обескураживает признание в том, что ни то, ни другое представление не было реализовано. Проехать из Континентальной Европы в Нью-Йорк через Лондон - значит лишить себя того социального и интеллектуального потрясения, которое ответственно за неизменно глубокое впечатление, которое трансатлантические условия производят на европейское сознание. Так много жителей Континента наслаждаются в Соединенных Штатах своим первым непосредственным контактом с англосаксонскими институтами и образом мышления, что это откровение не может не стимулировать их. Их труды часто свидетельствуют о наивном незнании того, что ранее существовало в Англии и что вызывает их смятение или восхищение в Америке. Если спросить, почему же тогда англичане одинаково реагировали на одни и те же стимулы, если знакомство с Англией притупляет тонкую грань восприятия, ответ должен быть таким: качество их эмоций иное. Впечатление, производимое на ум, сформированный чисто латинскими традициями, неизбежно отличается от того, которое получает ум, ранее подвергавшийся англосаксонским влияниям. Следовательно, изучающий американскую жизнь, у которого нет ни мотива того, что можно было бы назвать семейной ревностью, присущей англичанину, ни менталитета, совершенно не связанного с чуждой культурой, с ментальностью латиноамериканца, по-видимому, был бы хорошо подготовлен к тому, чтобы взглянуть на предмет под другим углом.

Для добропорядочного европейца наиболее поразительной характеристикой Соединенных Штатов является широко распространенная интеллектуальная анемия. Столь далекий от проявления тех черт свободы и прогресса, которые терзают души чувствительных аристократов в Европе, американский народ пугает посторонних в поисках стимулирующих идей своей приверженностью условностям и формулам. Как только человек научается сбрасывать со

счетов эти незначительные проявления независимости, опасная близость которых к невежливости придает им преувеличенное значение в глазах поверхностных критиков, условность американца становится все более очевидной. Так много иностранцев были введены в заблуждение — в основном из—за кажущейся грубости - этой демонстрацией равенства, этой нелюбезностью в вопросах обслуживания, что поначалу никто не решается отмахнуться от нетрадиционного американца как от мифа, тесно связанного с мифом об “аморальном французе”. Только когда длительное общение выявило робкую респектабельность под этим налетом неформальности, становится возможным понять истинное положение Америки. От опроса отдельных людей переходят к изучению публичных высказываний выдающихся людей, и переход от прессы к литературе осуществляется легко. Наконец приходит открытие, что в ментальном плане Соединенные Штаты отстают от Западной Европы на одно-два поколения. Грубая и энергичная молодая демократия, на которую ссылаются ее поклонники в оправдание эстетических грехов бездействия и совершения преступлений, внезапно предстает в одеянии идей, которыми была одета ранневикторианская Англия.

Это условие во многом связано с отсутствием образованного класса, привыкшего к досугу. Для американца работа ради работы имеет достоинство, неизвестное в Европе, где редко можно встретить человека, работающего просто за зарплату, если у него есть какие-либо средства к независимому существованию, какими бы незначительными они ни были. В Америке дело обстоит наоборот, и люди, которые могли бы позволить себе развивать свою личность, предпочитают тратить свою энергию на какое-то определенное дело. Почти все лучшее, что вышло из Европы, было развито в том особом классе, который пожертвовал зарабатыванием денег ради привилегии досуга и относительной независимости. Единственный соответствующий класс в Соединенных Штатах - это профессора колледжей, которые представляют собой вездесущую угрозу свободному взаимодействию идей. Запуганные экономическими страхами и интеллектуальными запретами, они не обладают независимостью. Простые люди презирают их за неспособность зарабатывать деньги, и им поручается все, что считается второстепенным, а именно учеба и искусства. В этих областях педанты правят безраздельно, за исключением случаев, когда некоторые разгневанные президенты железных дорог обнаруживают в их учениях ересь радикализма. Эстетика - наука, столь же непостижимая для них, как и красота, и они предпочитают заменять ее более простой христианской этикой. Моральная озабоченность - их единственный критерий совершенства. Взгляды этих джентльменов и их любимых учеников заполняют книжные полки и газетные киоски.

Профессора-хранители колониальных прецедентов и традиций определяют, какой должна быть интеллектуальная жизнь Америки. Отсюда культ анемии. Вместо того, чтобы описывать себя и свою собственную жизнь, они не стремятся ни к чему большему, кроме как быть причисленными к англичанам. Они одержимы стандартами, навязанными извне, и их возможному достижению препятствуют. Пока они все еще качают головами над По и пытаются решить, достоин ли уважения Уитмен, национальная литература растет без руководства и помощи, которых ей следовало бы ожидать от них. В то же время, поскольку официальные ученые мужи прислушиваются к Европе, и особенно к Англии, американская культура известна только в том виде, в каком они ее отражают. Поэтому естественно, что европейское отношение должно быть таким же презрительным, как это часто бывает.

Когда в рецензиях публикуется какая-нибудь невежественная и покровительственная диссертация английского писателя об американском романе или американской поэзии, их

огорчает очевидное отсутствие оценки. Дамы и джентльмены, чьи работы уважительно обсуждаются профессорами и тепло рекомендуются рецензентами, похоже, не получают должного внимания за их непоколебимую приверженность самым благородным стандартам академической критики. Когда эти факелоносцы чистейших колониальных традиций представляются на суд своих “больших” кузенов в Англии, у этих иностранцев появляется заметная снисходительность. Но почему они должны заявлять, что восхищаются самыми яркими звездами на американском небосводе, которыми, в конце концов, являются фосфоресцирующие отблески литературных призраков? Стоит ли удивляться, что большинство британцев может продолжать спокойно полагать, что практически нет американской литературы, достойной серьезного внимания?

Академические труды американских профессоров литературы являются легкой и постоянной мишенью для английских критиков. Тем не менее, им редко приходит в голову подвергать сомнению представление литературной Америки, за которое эти джентльмены несут столь значительную ответственность. Когда это Стюарт Шерман и Пол Элмер Морес (и их уменьшительные) признавали существование гениального, оригинального или выдающегося американского писателя? Единственным оправданием их существования является их предполагаемая способность оценивать литературные ценности. Если они не могут этого сделать, то неудивительно, что их английские покровители, которые воображают себя представительными людьми, не часто проникают за завесу колониализма. Какими бы ни были их внешние занятия, большинство англичан считают все остальные англоязычные страны Колониями. Поскольку они достаточно упрямы, когда сталкиваются с неоспоримыми доказательствами обратного, как в Ирландии, маловероятно, что они сами убедят себя в том, что ошибаются. Когда американская критика наберется смелости обосновывать претензии современной литературы на те произведения, которые по своей сути и безошибочно американские?

Мандарины, конечно, выступали за реакцию во всех странах, и здесь нет намерения оправдывать европейца этого вида. Так много его худших злодеяний вошли в историю, что было бы бесполезно притворяться, что он не соответствует действительности. Тем не менее, его положение в Европе значительно более гуманное, чем в этой стране, благодаря большей свободе интеллектуального общения. В Америке китайский язык прочно утвердился на пьедестале, который покоится на бескультурье огромного числа иммигрантов, впервые наслаждающихся преимуществами достаточного количества пищи и тепла. Он, очевидно, уверен в своей убежденности в том, что те, кто имеет право бросить ему вызов — за исключением, возможно, какого-то изолированного индивидуума, - вряд ли сделают это, поскольку придерживаются той же конвенции, что и он сам. Он принадлежит к самому совершенному профессиональному союзу, обладающему практической монополией на свой труд. Его европейские коллеги, напротив, живут в постоянном страхе перед предателями из своих рядов или, что еще хуже, перед наступлением противостоящих сил, укомплектованных мозгами не меньшего калибра. Франция, например, может похвастаться замечательным списком имен, который никогда не украшал педантичные советы, по крайней мере, до тех пор, пока они не ввели новую традицию. Два лучших умы современной французской литературы, Анатоль Франс и Реми де Гурмон, являются иллюстрациями этого факта. Франция никогда не позволяла своим академическим почестям ограничивать смелую игру его идей; Гурмон умер, вызывая восхищение всех культурных людей, хотя его жизнь была продолжительным протестом против ортодоксов, которым так и не удалось его укротить.

Что нужно Америке, так это неофициальная *интеллигенция*, такая же сильная и красноречивая, как политические и литературные эксперты, чье чисто негативное отношение сначала раздражает, а в конце концов стерилизует всякий порыв к оригинальности. Только после того, как будет проведен обзор ведущих фигур в различных сферах американской жизни, можно в полной мере осознать всю тяжесть инертности, которая давит на интеллект страны. В то время как дух предприимчивости и прогресса стимулируется и поощряется во всем, что связано с материальным прогрессом, художественные и мыслительные способности притуплены. Научное исследование, когда оно направлено на явно практические цели, является единственной формой умственных усилий, которая может рассчитывать на признание и вознаграждение. Не лишено значения то, что Медицинская школа Джона Хопкинса является единственным образованным учреждением в Америке, чья слава распространяется по всему миру среди тех, кто ценит оригинальные исследования, в остальном названия немногих университетов упоминаются за пределами академических кругов. Даже в области ортодоксальной литературной культуры мандаринам, в основном, не удалось сделать ничего положительного. Они предпочли похоронить свой талант в анемичных комментариях. Известные интеллектуалы все еще живут по традиции, завещанной ослабленным трансцендентализмом бостонской эпохи.

В конце концов, эта традиция была всего лишь изощренным проявлением печально известного пуританства Новой Англии. Утратив то подобие достоинства, которое ему придавали Эмерсоны и Торо, оно впоследствии проявилось в декадентском возврате к первобытному варварству. Это ретроградное движение, поскольку оно влияет на социальную жизнь, заметно по постоянно растущему числу крестовых походов и табу, постоянному исследованию моральных и производственных условий, не связанных с каким-либо хорошо обдуманым стремлением к улучшению или разумной концепцией прогресса. Оргии сухого закона и подавления невероятны для цивилизованного европейца, у которого нет опыта общения с сообществом, в котором все, от алкоголя до воскресного тенниса, привлекало внимание "виртуозов порока" — по выражению проницательного критика. Бесчисленные комиссии и комиссии по расследованию дополняют разгребание грязи желтой журналистикой и поощряют шпионаж среди социальных реформаторов. Но что может показать страна в ответ на это? Вероятно, это наибольшее количество запутанных, нерешенных и неправильно понятых проблем среди всех промышленно развитых стран того же ранга.

Однако эти поправки добродетели являются прямым результатом психических состояний, создаваемых теми, кто в состоянии формировать общественное мнение. Толпа, которая терпит пуританское безумие или участвует в нем, просто отражает текущую политическую и социальную доктрину того времени. Время от времени газеты устраивают симпозиум или в обзорах приглашают на помощь какого-нибудь иностранного критика, чтобы выяснить причины преобладающего ребячества американской художественной литературы. Неизменно утверждается, и это справедливо, что роман написан женщинами для женщин. Там, где почти все предметы роскоши производятся для женского потребления, а искусство считается несущественным для прогресса, последнее, естественно, причисляется к неэкономичному производству, предназначенному для развлечения праздных. Как объясняют мужчины, они предоставлены женщинам, которые еще не поняли истинного достоинства досуга. Другими словами, они отданы на откуп самой нереальной части общества, этим культурным центрам, театральным лигам и литературным клубам, состоящим из старых дев мужского и женского

пола. Излишне говорить, что любая фраза или идея, которые могли потревожить дом викария середины викторианской эпохи, будут исключены как неприличные.

Болезнь интеллектуальной анемии не ограничивается какой-либо одной сферой американской жизни. В политике, как и в искусстве и литературе, присутствует страх перед реальностью. Выхолащивание мысли в целом таково, что делает бесцветными идеи, обычно доводимые до сведения общественности. Возможно, наиболее наглядным примером этой склонности к банальности является обширная литература псевдофилософского характера, которая переполняет книжные магазины и которую читают тысячи здравомыслящих граждан. Работы в стиле Намби-памби, это правда, существуют в той или иной степени во всех протестантских странах, но их количество, распространенность и стоимость в Америке свидетельствуют о спросе, который они должны удовлетворять. Не зря книги вдумчивых писателей теснятся на полках, в изобилии заставленных размышлениями Орисона Светта Мардена, Генри ван Дайка или Мэби Гамильтона Райта — назовем наугад некоторых типичных авторов.

Эти прорицатели морали успешно конкурируют с актерами кино и романистами, которые претендуют на звание отличников благодаря способности написать бестселлер сезона. Если бы они обращались только к конвентикам, это явление имело бы меньшее значение, но у конвентиков есть свои второстепенные пророки. Таким образом, напрашивается вывод, что они, должно быть, являются лидерами и формирователями американской мысли. Подозрение подтверждается, когда люди того же склада, иногда даже настоящие авторы этой евангельской литературы, оказываются на самых важных государственных должностях. Написать методистский трактат, по-видимому, было бы надежной рекомендацией для продвижения по службе. Редко можно встретить обладателя такого менталитета, низведенного в безвестность, которой он заслуживает.

Желание предотвратить обвинение в преувеличении или неточности налагает болезненную обязанность приводить конкретные примеры описанной тенденции. Кто такие ведущие общественные деятели этой страны и что они написали? Помимо классических томов Тьера и Гизо, мы должны поставить такие милые детские книги, как “Новая свобода”, “О том, как быть человеком” и “Когда человек приходит в себя”. Даже эссе Раймона Пуанкаре не раскрывают глубины, на которые указывают простые названия этих президентских работ. Но автор “Государства”, несмотря на все его устаревшие теории управления, пишет значительно выше уровня того дипломата, чья обширная библиография включает многочисленные вариации на такие темы, как “Евангелие для грешного мира”, “Первая рождественская елка” и “Голубой цветок”. Поиск в преступном мире приходских журналов Англии, Франции и Германии, вероятно, выявил бы нечто, что можно было бы отнести к работам доктора Лаймана Эбботта, но авторам не доверили бы редакторство в ведущем еженедельном обзоре. Что касается трудов его коллеги, то существование его книги о Шекспире является свидетельством англосаксонского безразличия к высшему гению расы.

Вряд ли есть необходимость подробно останавливаться на литературных трудах Уильяма Дженнингса Брайана, бывшего государственного секретаря, разве что задаться вопросом, что одним из них было недостаточно, чтобы лишить его права занимать такой пост. Они принадлежат к той же категории, что и те тома популярной американской философии, названия которых таковы: “Характер - величайшая вещь в мире”, “Жизнерадостность как жизненная сила” и “Чудо правильного мышления”. Если процитировать мистера Орисона Суэтта Мардена, то в

каждой сфере американской жизни есть выдающиеся люди, которые могли бы сказать: "Вот, если бы не милость Божья, говорю я". Ханжеский вздох вдохновителя бросает тень на распространение идей почти во всех кругах общества. Независимо от партии, республиканцы, демократы и социалисты помогают возводить этот памятник банальности, который однажды может стать местом упокоения американского мозга. Книги, обзоры, журналы и газеты в основном написаны в евангельском духе. Средний автор, если он не иностранец, предполагает директора воскресной школы, который (возможно) упустил свое призвание. Там, где тема исключает педантичность профессоров, тон чрезвычайно нравственный, и чем больше это так, тем больше уверенности в том, что автор - полковник, контр-адмирал или гражданское должностное лицо штата или федерального правительства. Воображение отказывается представить этих функционеров эффективно выполняющими свои обязанности на какой-либо службе, кроме службы в Армии спасения или кампании возрождения.

Стадия культуры, которую предполагают эти явления, не может не быть враждебной художественному развитию в стремлении избежать заражения. Уже было постулировано, что справедливые требования этики и эстетики безнадежно опровергнуты в Америке, к очевидному ущербу искусству во всех его отраслях. Низкому качеству современной политической и социальной философии соответствует столь же посредственный корпус литературной критики. Недавний историк американской литературы отводит высокое место среди современных критиков автору "Очерков Шелбурна" и других работ. Эти тома достойны того, чтобы быть "нашим ближайшим приближением к "Causeries du Lundi" более ранней эпохи", и их вполне можно считать репрезентативными. Типичным примером холодной бесчеловечности, которую определенный тип "культурного человека" считает существенной, является обстоятельство, упомянутое самим мистером Полом Элмером Мором в объяснении происхождения этих эссе. "В уединенном месте, " пишет он, - в мирной долине Андроскогин я взял на себя смелость прожить два года отшельником", и "Очерки Шелбурна" были плодом его уединенных размышлений. Это свидетельство превосходства производит сильное впечатление на историка. "Другим, гораздо более необычным способом он получил квалификацию для своей высокой должности критика, " говорит профессор Патти, - он замуровал себя на два года в одиночестве".... "Этот период дал ему время читать неторопливо, вдумчиво, без нервного подсознания того, что продукт этого чтения должен был стать востребованным".

Какое откровение сочетания робости и интеллектуального снобизма содержится в этом отношении, столь обреченно одобренном писателем для школ! Мы можем себе представить, какой эффект должна была произвести такая поза на умы студентов, которых профессор заставил бы уважать. Только молодой педант мог притворяться, что этот псевдо-Торо произвел на него благоприятное впечатление в литературном захолустье. Импульсом большинства здоровых молодых людей было бы с презрением отвернуться от столь неестественного искусства, как предполагает эта концепция критики. Откуда им знать, что Тейны, Сент-Бевы, Брюнетьеры и Арнольды мира не созданы с помощью приемов, столь примитивных, что наводят на мысль о *мизансцене* какого-нибудь новоявленного Мессии, Дауи или миссис Бейкер Эдди? Глашатаи новых теологий могут счесть атрибуты аскетизма и отчужденности полезной частью своего торгового арсенала — ни то, ни другое не связано с великой литературной критикой. *Causeries* Сент-Бева были написаны не в башне из слоновой кости, но в них нет и следов того "нервного подсознания", которое наш профессор считает неотделимым от "товарного" чтения.

Подозрение в неискренности этой тяги к дикой природе укрепит при упоминании первого тома Мора. Что бы ни случилось с его преемниками, эта работа, безусловно, была результатом его ухода на пенсию. Что же тогда представляют собой темы столь деликатного характера, что их нельзя обсуждать в рамках "шумного рыночного жаргона"? Из одиннадцати эссе только четыре посвящены писателям, близость которых к возрасту критика могла бы оправдать отступление, чтобы судить о них беспристрастно, без привязки к народному энтузиазму и господствующей моде того времени. Семь наиболее содержательных исследований в книге посвящены порке лошадей, настолько мертвых, что не было никакого страха перед их ударами. "Записки отшельника о Торо", "Одиночество Натаниэля Готорна", "Происхождение Готорна и По", "Влияние Эмерсона", "Дух Карлайла" — вот лишь некоторые из поразительных тем, которые мистер Мор мог обсуждать только в посте и молитве! Любой европейский школьный учитель мог бы написать эти эссе в свободные минуты своего воскресного дня или пасхальных каникул.

В современной литературе нельзя найти более примечательных по глубине и оригинальности эссе критика. Его критика версий ирландского эпоса леди Грегори и его комментарии к кельтскому возрождению в целом являются общими местами для всей враждебной английской критики. "Мерцающие оттенки декаданса, а не яркие краски жизни" - фраза, которой он пытается оценить поэзию Литературного возрождения в Ирландии. На самом деле, несмотря на всю свою замкнутость, мистер Мор был одержим критическим слоганом времени, о чем свидетельствует его готовность применять термин "декадентский" ко всем без исключения. Это название освещает творчество Артура Саймонса, как и творчество У. Б. Йейтса. Литературный рыночный жаргон, дополняемый собственным *клише* мистера Мора, - вот и все, что он, похоже, нашел в этой "мирной долине Андроскоггина". Даже бедного Толстого заклеили как "декадента с наложенным гуманизмом", - применение слова, которое делает его предыдущее применение бессмысленным. В качестве завершающего примера непонимания можно привести мнение мистера Мора о том, что английский поэт Лайонел Джонсон - "единственный великий ... и по-настоящему значительный поэт современного гэльского движения". В сложившихся обстоятельствах неудивительно, что он объявил ирландцев неспособными адекватно использовать темы кельтской литературы. Для этой задачи он считает саксонского гения более подходящим.

Имея перед собой эти примеры, нет необходимости рассматривать остальные тома "Очерков Шелбурна". Начав с искаженного представления о критическом кабинете, автор, естественно, не внес ничего полезного в литературу американской критики. Его кропотливые банальности не помогают нам лучше оценить мертвых, его догматическая враждебность сводит на нет его суждения о живых. Ни разу он не произнес ни слова проницательного порицания или поощрения какому-либо подрастающему таланту. Подобно большинству своих коллег, мистер Мор предпочитает проявлять свои способности в ущерб уже сложившейся репутации, за исключением тех случаев, когда он снисходит до повторения банальных жалоб на некоторых наиболее известных современных писателей. Он так занят миссис Гаскелл, Чарльзом Лэмбом, Мильтоном, Платоном и Диккенсом, что может найти время упомянуть только около пятнадцати американцев, ни одного из которых нет в живых.

Таков критик, которого профессор Патти называет "последовательным" и "смелым", обладающим "стандартами критики", которые делают его сравнимым с Сент-Бевом. Как редактор "ведущего критического журнала Америки", мы уверены, что у мистера Мора была

“доминирующая клиентура и авторитет лидера”. Увы! В этом не может быть никаких сомнений, хотя очень сомнительно, что этот факт можно рассматривать как “один из самых многообещающих признаков той новой литературной эры, которая уже назрела”. Эта эпоха надолго запоздает, пока критика остается поглощенной прошлым, оторванной от жизни и непримиримо враждебной любому проявлению оригинальности. Если бы новое литературное поколение просто игнорировали, его судьба была бы сравнительно счастливой. Но “мандарины” периодически отрываются от своего олимпийского общения с Джорджем Элиотом и Сократом, чтобы заполнить обзоры подробными разоблачениями всего, что пишется независимо от их кумиров. После того как оракулы произнесли свои слова, у вновь прибывших остается дополнительное препятствие на пути к тому, чтобы они достигли равнодушных ушей толпы. Публика купается в литературных новинках каждого сезона, довольная тем, что все, что хорошо рекламируется, хорошо. Вместо того, чтобы заниматься предметами, одобренными холодным энтузиазмом мистера Пола Элмера Мора или Стюарта Шермана, мистера У. К. Браунелла и профессора Брэндера Мэтьюза, он находит убежище в областях, где не действуют предписания педантизма. Между тем, задача привлечения новых талантов возлагается на дружелюбных журналистов, чьи случайные рекомендации, обычно без какого-либо опыта критики, принимаются как суждения компетентных экспертов. “Колумист” должен выполнять истинную функцию критика.

Хотя анемия является доминирующей характеристикой интеллектуальной жизни в Соединенных Штатах, реакция на это состояние тем не менее заслуживает внимания. Когда мы вспоминаем, что стремление к праведности - это само дыхание современной философии, нам также напоминает, что грубость, сенсационность и новизна обычно считаются европейцами квинтэссенцией Америки. В ответ на это возражение можно было бы возразить, что газеты Херста и водеvilная теология Билли Санди являются единственной альтернативой чопорной условности авторитетной журналистики и ханжеству популярных лидеров. У обывателя возникает иллюзия напряженной мозговой деятельности, когда он противопоставляет невзрачные качества этих пророков демократии благопристойности старых дев и блаженной чистоте выдающихся публицистов и государственных деятелей. Ему нравится слышать голос своего хозяина, это правда, но еще больше ему нравится слышать свой собственный, особенно там, где речь идет о его личных интересах. Эстетический *obiter dicta* профессоров, как и язык дипломатии, касается вопросов, достаточно отдаленных, чтобы сделать звучность приемлемой заменой мысли.

Тем не менее, в сфере идей наблюдается более или менее внятное выражение реакции, в основном сосредоточенной в крупных городах Востока. Там профессиональные супермены и их коллеги-женщины собрались вместе по молчаливому соглашению и попытались стряхнуть с себя налет респектабельности. Экстремисты производят впечатление людей, охваченных чувством собственной греховности. В диком порыве истерического бунта они погружаются в пучину идей, из которой выходят в очень потрясенном и опасном состоянии. По большей части их приключения, умственные и прочие, происходили в сфере секса, что привело к наводнению “радикального” рынка разнообразными томами на эту тему. То, что книжные магазины наивно относят к литературе передовой мысли, - это поистине замечательный *русский салат*, в котором Крафт-Эббинг и Форель соперничают с Фрейдом и Юджином Дебсом. Карл Маркс и синьора Монтессори, профессор Скотт Ниринг и Хэвлок Эллис привлекают такое же внимание, как неомальтузианские памфлетисты и молодые леди, в романах которых рассказывается о том, что Флобер называл “соблазнами брака и пошлостями взросления”.

Естественная болезненность пуританского ума вызывает раздражение в продвинутых кругах, чьи интересы ни что иное, как католицизм. Пусть Брие рассуждает о венерических заболеваниях или Стриндберг излагает свои трагедии похоти, их успех обеспечен среди тех, кто скорее поверит в их гениальность, чем рискнет позорно согласиться с поборниками ортодоксии. Пока наши европейские порнографы серьезны и нехудожественны, им нечего бояться Америки. Выведенное из равновесия длительным созерцанием скучных добродетелей Новой Англии, выросло поколение, великая иллюзия которого состоит в том, что переоценка всех ценностей может быть произведена распушенностью. Чтобы их никогда не заподозрили в консерватизме, эмансипированные люди всегда рады всему странному или новому. Румянец на щеках вице-кестоносца - их критерий совершенства.

Однако по иронии судьбы они обречены на удручающее зрелище того, как их моральные уроды принимаются в общество, но далекое от самих олимпийцев. В последние годы у последних вошло в практику принимать определенную репутацию, когда они проходили через сито литературных клубов и театральных лиг. На самом деле кандидаты на академическое бессмертие часто входят в состав правления этих литературных фильтровальных станций. Пока мандарины исполняют свой ритуал в культе Лонгфелло и Брайанта и отлучают от церкви современных еретиков, их слуги заняты хитроумной задачей. Они обнаруживают наиболее безобидные объекты “радикального” энтузиазма, лишают их того налета оригинальности, которым обладала их работа, а затем незаметно представляют результат официальным экспертам. Когда эти судьи убедятся в бесплодности нововведений, их одобрение будет удовлетворено, и еще одна посредственность будет канонизирована. Ибсену отдают честь из-за его “послания”, а “Анна Каренина” становится шедевром, потому что Толстой был христианином. В то время как выдающиеся таланты на родине игнорируются или очерняются, пятисортный европеец находится в процессе литературной натурализации. Мистер Мейсфилд получает благословение Пола Элмера Мора, который на одном дыхании пытается убедить нас, что он достаточно квалифицирован, чтобы назвать “Антологию реки Спун” плохой шуткой.

Ничто так ясно не демонстрирует тщетность и дурную репутацию критики в этой стране, как постоянные уступки престижу иностранца. Дешевая мода на европейскую литературу должна быть только достаточно широко распространена в женских литературных клубах и приходских молитвенных домах, чтобы заманить в ловушку неуверенных в себе обладательниц академической короны. Дайте им время, и они обнаружат, что восхваляют переведенного французского поэта именно за те качества, которые оскорбляют их в протееже мисс Харриет Монро. Молодой англичанин Руперт Брук мог бы вносить свой вклад в “Поэзию” в течение десяти лет, не добившись большего признания, чем американец Роберт Фрост. Но теперь обе репутации, созданные в Англии, получили широкое признание, и обнаруживается, что неизбежный профессор почтительно ступает там, где вмешался Генри Джеймс. Сравните критические эссе, которые Джеймс писал в течение тридцати лет, со стереотипными бостонскими тезисами людей, которых он оставил после себя. И все же никто не обвинит Джеймса в пренебрежении традициями.

Американское слово “standpatter” удивительно точно подходит для обозначения вида. Консервативный критик в Европе Брюнетьер, например, никогда не бывает столь категорично негативным, как его коллега по эту сторону Атлантики. Когда Брюнетьер негативно критиковал символистское движение во французской поэзии, он делал это разумно, а не в той старательно-шутливой манере, на которую влияют Стюарты Шерманы и У. Х. Бойнтоны, когда они переходят

к обсуждению *les jeunes*. Одним словом, Брюнетьер был образованным и культурным человеком, способным рационально отстаивать свои собственные теории, не предполагая, что незнакомое обязательно плохо. Он осуждал эксцессы новой школы, но не саму школу. Если бы он был в Америке, он бы отказал символистам даже в праве на существование. Эдварда Даудена также можно было бы привести в качестве аналогичного примера просвещенного консерватизма в английской литературе. Дауден был частично ответственен за то, что привлек к Уитмену благосклонное внимание английской публики, и его работа является доказательством того, что уважение к классике не влечет за собой враждебности к современности. Точно так же, как он смог написать шедевр шекспировской критики, не уединяясь в эрмитаже, он был способен оценить подлинный гений, когда он проявлялся. Короче говоря, он не был парализован грузом своих литературных традиций и условностей.

Была выдвинута тысяча и одна причина, объясняющая отсутствие подлинной американской литературы, и все они, вероятно, справедливы. Страна сравнительно молода, и ее энергия была и остается направленной главным образом на эксплуатацию материальных ресурсов и преодоление природных трудностей. В расовом отношении нация находится в зачаточном состоянии, и до тех пор, пока не будет достигнута некоторая однородность, создание местной традиции должно быть медленным. Более того, конфликт различных рас подразумевает, в широком смысле, столкновение двух или более цивилизаций, одна из которых должна навязать свою культуру, если мы хотим добиться какого-либо организованного прогресса. Языком государств, обозначенных дефисом, является английский, но в какой степени существующая нация будет развиваться в соответствии с этим лингвистическим импульсом? Будет ли это англосаксонский, тевтонский, латинский или славянский? Таковы некоторые из проблем, которые имеют прямое отношение к интеллектуальному развитию страны. Они должны быть решены до того, как Америка сможет внести свой вклад в искусство. Они не могут быть решены исходя из предположения, что только англосаксонский дефис является подлинным. Постоянная гипотеза колониализма должна быть отброшена, если мы хотим, чтобы “американизация” когда-либо стала чем-то большим, чем глупейшей политической присказкой. Пуританизм должен быть ограничен условностями, своей естественной средой обитания. Нельзя позволять этому маскироваться под искусство, философию и государственную мудрость. Евангелическая тирания существует и в других местах, но только в Америке она вторглась во все сферы национальной жизни. У более нетерпеливого и реалистичного поколения, выросшего после мировой войны, это чудовищное расширение запретов вызывает бурную реакцию. Сейчас редко можно встретить молодого американца, который не выступал бы против американской цивилизации.

Для незаинтересованного европейца это зрелище является трогательной иллюстрацией того, что можно назвать очарованием расстояния. Очевидно, эти безутешные граждане воображают, что есть способ сбежать из пресвитерианской глуши, оазис в стопроцентной пустыне. Американизм, где любая перспектива радует, а человек лишь относительно мерзок. Слушаешь *интеллигенцию*, ставшую более словоохотливой, чем обычно, из-за щедрых порций неконституционного шотландского виски, проклиная тонкий удар по искусству, нанесенный отказом Волстеда от необходимой амброзии. Передовые мыслители, наслаждающиеся прелестями хорошо организованной полигамии, отвели меня в сторону, чтобы объяснить, как пророки методизма опустошили эту прекрасную землю. Я читал

отчаянные призывы ко всем молодым людям духа сбросить с себя иго евангелистского филистерства путем эмиграции в более цивилизованные центры культуры.

Это смелые слова, исходящие, по большей части, от тех, кого никоим образом не смущают указания тиранов, проповедующих Евангелие, и кто принял соответствующие меры для отмены Восемнадцатой поправки. За всеми их жалобами стоит суеверие, что Европа свободна от той заразы, которая делает Америку невыносимой в их глазах. Они не знают, что война почти уничтожила Европу, к которой привязан цивилизованный человек. Социально, политически и интеллектуально этот обезумевший континент быстро угасает в руках спекулянтов и классово сознательных пролетариев, которые решили между собой не оставлять в живых ни единого куска культуры. Праздный класс, который редко был самым богатым, вытесняется с лица земли плутократией и пролетариатом. Это был класс, который сделал возможной старую Европу, и все же есть американцы, которые продолжают говорить так, как будто ее вымирание не выбило почву из-под ног их утопии. Большинство этих недовольных американцев - радикалы, которые стремятся продвигать замыслы простых людей и их защитников.

Тем не менее, каждый европеец знает, что если сухой закон продвигается вперед, то, несомненно, так оно и есть, главную причину следует искать в росте радикализма. От Бернарда Шоу до Троцкого наши революционеры “сухие”. Их общепризнанный идеал - это состояние общества, в котором соблазны любви сведены к евгенической операции, смягчающее влияние алкоголя отменено, и заменен принудительный труд по плану эффективности научного управления Тейлора. В целом, благодаря благотворному действию демократического прогресса Европа неуклонно движется к состоянию дел, которое разочарованные интеллектуалы приписывают здесь зловещим махинациям Уолл-стрит и евангелистов.

Несомненно, в 1620 году Америка была более чистым и счастливым местом, чем в 1920-м. Не требовался никакой Самнер, чтобы отвести взоры поселенцев от ямочек на коленях красавиц Зигфельда, и банальности вильсоновской эпохи были самыми яркими цветами мудрости в 1776 году. Увы! так и должно быть, и в каждой стране нашего Западного мира. Если бы Великая хартия вольностей была предложена сейчас на подпись в Лондоне, какой-нибудь мерзкий большевик наверняка доказал бы, что документ был составлен на закрытом совещании международных финансистов. Если бы Линкольн произнес свою геттисбергскую речь сегодня, мир непочтительно хихикнул бы, а ужасно высокомерная личность с кембриджским акцентом (как Джон Мейнард Кейнс, К.Б.) опубликовала бы “Экономические последствия гражданской войны”, полную сардонических насмешек над невинным евангелизмом Спрингфилда. Что касается Декларации независимости — что ж, во время “поздних неприятностей” мы видели, что случилось с такими неамериканскими подстрекателями к мятежу. Короче говоря, вещи уже не те, что были раньше; мы тоскуем по тому, чего нет, и так далее. Только в этом мы можем быть уверены, что Америка ни больше, ни меньше, чем любая другая страна, соответствует мечтам своих предков.

Действительно, если быть более убедительным в этом призыве в пользу Америки, то, вероятно, эта страна более точно следовала намерениям своих основателей, чем это признают критики. В отличие от большинства европейских стран, американцы с почти непостижимым почтением сохранили конституцию, разработанную для удовлетворения условий, совершенно отличных от условий 20 века. Поклонение предкам является главной добродетелью Америки и превосходит Китай и Японию, где произошли революционные изменения во всей социальной и

политической структуре. Америка была создана как политическая демократия в интересах убежденных индивидуалистов, и обе эти цели были достигнуты в совершенстве. Все, против чего возник сверхчувствительный бунт, *планировалось* существовало в зародыше с того дня, когда Отцы-пилигримы впервые принесли благословения англосаксонской цивилизации на берега Кейп-Кода.

Только на Юге были видны следы *мировоззрения*, которое могло бы дать импульс в другом направлении, но Юг пошел ко дну, повинувшись правилам демократического дарвинизма. Как только недовольный американец сможет заставить себя взглянуть фактам своей собственной истории и современной Европы в лицо, он может быть вынужден смягчиться. Он согласится, по крайней мере, с тем, что бесполезно лелеять идею о том, что болезни, унаследованные американским разумом, передаются другим народам. Возможно, он даже осознает положительные качества этой страны, где истории в Saturday Evening Post действительно становятся реальностью. Здесь человек может посмотреть своему ближнему прямо в глаза и подписаться — без улыбки — под романтическим кредо о том, что все люди равны, в той мере, в какой это возможно благодаря энергии, упорному труду и регулярному посещению богослужений достичь высшего поста в любой карьере. Классовые барьеры почти неизвестны, и со всех сторон ощущается бесконечно великодушное желание учиться, помогать и ободрять. Традиционный мальчик все еще может приехать из трущоб Европы и закончить жизнь в редакторском кресле богатой газеты. Если ему когда-нибудь это не удастся, то только потому, что он начнет с чтения "Освободителя" и посвятит расшифровке иероглифов социализма Торстейна Веблена время, которое следовало бы уделить освоению более прибыльной техники американизма.

Эрнест Бойд

III. КАК ЭТО ВИДИТ ИТАЛЬЯНЕЦ

В типичной форме первобытного общества, где институты и идеалы, коллективные представления и индивидуальные реакции совпадают, невозможно провести различие между культурой и цивилизацией. Каждый элемент практической культуры является духовным символом, и нет никакой другой логики или причины, кроме той, которая проявляется в структуре и привычках социальной группы. Жизнь - это религия в двух значениях этого слова: объединяющем людей и более глубоком — объединяющем многообразную деятельность индивида в одну компактную духовную массу. Мифические концепции, которые ограничивают и интегрируют данные опыта в сфере, которая не является ни чисто воображаемой, ни чисто интеллектуальной, представляют для индивидуального разума столь же непреодолимо, как и для разума группы, мир взаимодополняющих объектов, которые состоят из того же материала, что и воспринимаемые данные. Мышление — практическое, эстетическое, этическое — все еще недифференцировано, неиндивидуализировано, как если бы коллективный разум был активной реальностью, гигантской, неясной, целостной личностью, вступающей в определенные отношения с однородным с ней самой миром.

Такая абстрактная, идеальная схема жизни человеческого духа до того, как у него появится какая-либо история, до того, как он вообще станет способен к истории, в своей гипотетической неразличимости (внутри группы, внутри индивида) представляет собой прообраз определенных высших отношений культуры с цивилизацией, *humana civilitas*, в которых практическое должно быть соотнесено с духовным, природа - с разумом, в полном свете сознания, с совершенным осознанием процессов различения и индивидуализации. В сумерках и перспективе исторического знания, если не в их реальности, Греция до Сократа, Рим до Христа, Средние века до святого Франциска (каждое из них, до появления разрушающего и озаряющего элемента роста) являются последовательными попытками или *этапами* к созданию цивилизации такого рода — человеческой цивилизации.

Между этими двумя пределами — первобытным и человеческим — идеальным началом и идеальным концом — мы можем распознать в любой данный момент истории сегментацию и агрегацию множества культур, разных эпох и слоев культуры, сосуществующих в одной социальной группе; и индивидуальный разум возникает при слиянии практических культур с наукой, философией и этическими, внеплеменными идеалами, зародышами *инициациями* человеческой цивилизации, остающейся над данным обществом как душа, которая никогда полностью не оживляет свое собственное тело. История начинается там, где впервые появляется различие между цивилизацией и культурой, или, если взглянуть на тот же факт под другим углом, там, где зарождается индивидуальное сознание. В идеале это заканчивается там, где то же самое различие исчезает в Утопии, или смерти, или Царстве Небесном; где высшая форма индивидуального сознания ни на йоту не выше сознания группы, от которой оно первоначально отличалось.

* * * * *

Автор этих строк по рождению, образованию и избранничеству принадлежит к цивилизации Рима и культуре, или культурам, Италии. Цивилизация Рима, *latina civilitas*, представляет собой сложный разум, последовательными фазами развития которого являются абстрактный гуманизм древней Греции, гражданский и правовой гуманизм Рима, моральный и духовный гуманизм латинской церкви, эстетический и метафизический гуманизм эпохи Возрождения. Каждая фаза представляет собой интеграцию предыдущей и приобретение нового универсального принципа, ставшего независимым от конкретного социального организма, в котором он частично реализовал себя, прежде чем стать чистым, умопостигаемым идеалом, неотъемлемым элементом человеческого разума. Первые три фазы - Греция, Рим и Церковь - все еще более или менее тесно связаны в отношении форм гуманизма, которые свойственны каждой из них, с определенными культурами. Но последний, который в своем развитии с 13 века до наших дней ассимилировал, очищал и прояснял все предыдущие, в любой данный момент не связан напрямую с каким-либо определенным социальным органом. В своем зарождении, как чисто итальянский Ренессанс, он может казаться духовной формой итальянского общества с 13 по 15 век; но его появление совпадает с естественным ростом нескольких резко очерченных европейских национальностей, и очень скоро (и помимо очевидной недостаточности какой-либо отдельной нации для удовлетворения своих духовных потребностей) он проявляет свой внутренний характер универсальности, выходя за границы Италии и становясь законом всего западноевропейского мира.

История Европы за последние шесть столетий - это история постепенного проникновения этой идеи в круг пассивно или активно сопротивляющихся, или инертных местных национальных культур. Реформация, из всех активных форм сопротивления, является самой сильной и важной. Германские племена восстают против римского закона, потому что задержка от пяти до десяти веков в восприятии христианства, причем восприятие христианства должно осуществляться не на греко-римском, а на одиначеском фоне, создает в них духовную потребность в независимой разработке тех же универсальных принципов. Германия практически не была затронута духом Возрождения до 18 века, а сама Италия в течение двух столетий находилась в духовном и политическом рабстве из-за превосходящей материальной мощи, которая сопровождает и поддерживает духовное развитие народов Севера. На всем континенте, внутри отдельных национальных единиц, а также между нациями контраст и сотрудничество романических и германских элементов, возрождения и Реформации являются действительной диалектикой развития европейской цивилизации: последовательного сближения отдельных культур или групп культур во множестве более или менее расходящихся направлений, с чередующимися ускорениями и инволюциями, к общей форме, *humana civilitas*.

* * * * *

Из всех европейских стран Италия - единственная, которая, пусть случайно и несовершенно, на самом деле реализовала все четыре фазы гуманизма в череде исторических культур: Великой Греции, Римской империи, Католической церкви, Возрождения. И поскольку каждая из этих последовательных культур пыталась воплотить в себе универсальный, а не частный принцип, национальность в Италии - это не принятие, как для других наций, определенных духовных ограничений, выработанных изнутри социального организма, а реакция на давление соседних национальностей, которые даже в жизни самой Италии представляли собой препятствия на пути реализации сверхнационального принципа. Это процесс, посредством которого гуманизм эпохи Возрождения, получив свою абстрактную политическую форму в руках мыслителей и солдат Французской революции, становится активным и воинствующим в рамках принципа национальности Мадзини, который представляет собой героическое усилие, направленное на использование естественного роста европейских наций для целей универсальной цивилизации.

Расстояние между этой цивилизацией и реальными культурами народов Европы может быть легко измерено наблюдателем за европейскими событиями за последние семь лет. Этой цивилизации принадлежат идеалы, этим культурам, реалиям Великой войны. И у всех нас, кто думал и сражался в ней, души непоправимо разделены между этой цивилизацией и теми культурами. Если мы ограничимся рассмотрением нынешних фактов и условий, мы вполне можем впасть в отчаяние: в течение многих лет в прошлом нации не были настолько невосприимчивы к голосу общего духа, как сегодня в Европе. И резкий контраст между идеалами и реальностью, который стал виден даже слепому из-за последствий войны, породил дух насилия и цинизма даже среди тех редких людей и партий, которым удалось сохранить свои идеалы *до конца боевых действий*, и поэтому они не подверглись разрушительному испытанию обещанием, которое пришлось нарушить.

Моральная проблема, над которой каждой нации Европы придется поработать в ближайшем будущем, заключается в том, как соотносится ее историческая культура или культуры с требованиями *humana civilitas*. Это проблема, которая более или менее смутно представляется

самым серьезным и вдумчивым европейцам, когда они говорят о грядущей “гибели нашей цивилизации” или о “спасении цивилизации”. Для многих из них это все еще проблема институтов и технологий: их духовное качество, по сути, еще не до конца осознано. Но это также проблема, с которой сталкивается, менее трагично, с меньшей срочностью, но не менее неизбежно, это великое Европейское содружество, создавшее свою собственную жизнь на североамериканском континенте на протяжении последних трех столетий.

* * * * *

Это Европейское Содружество Америки обязано своим возникновением небольшому числу искателей приключений и паломников, которые принесли семена английской культуры в новый свет. Давайте очень быстро попытаемся охарактеризовать эту оригинальную культуру.

Англия занимает такое же особое положение среди европейских наций, как и Италия. Она является местом встречи романических и германских элементов в европейской истории; и если ее культура может показаться принадлежащей к семье средиземноморских культур (к тому, что мы называли *latina civilitas*), то для английского католика, такого как кардинал Ньюман, было время, и не очень отдаленное, когда протестанты могли гордиться своими тевтонскими ассоциациями. Из католической и франко-нормандской средневековой Англии логически возникает процесс, аналогичный тому, который проиллюстрирован Италией, Францией и Испанией, Англией Генриха VIII и Елизаветы, Шекспира и Кавалеров: Англия эпохи Возрождения. Она процветает в промежутках между подавлением монастырей и театров. Она формирует эстетический и политический склад ума английского народа на все последующие столетия. Но она носит в своем чреве зародыши совершенно иной культуры: она позаимствовала у них, уже в елизаветинскую эпоху, некоторые черты, которые отличают ее от всех других культур эпохи Возрождения. И эти микробы, медленно набирающие силу благодаря контрастированию и подавлению, в конечном итоге приведут к ее свержению с помощью недолгого триумфа Кромвеля и пуритан.

После 1688 года закон английской жизни - это компромисс между пуританином и Кавалером, между Возрождением и Реформацией, который высылает крайних представителей каждого типа из страны, строителей Империи авантюристов и пилигримов, в то время как дома умеренный Кавалер и умеренный пуританин, тори и виги устанавливают Республику с королем и парламентский феодальный режим. Но последовательные этапы английской культуры нас в данный момент не интересуют, за исключением того, что Америка всегда оставалась ближе к Англии, чем к любой другой европейской нации, и снова и снова переживала в своей собственной жизни социальный, политический и духовный опыт Метрополии.

Именно из двух основных направлений духовной жизни Англии Америка, проходя двойной процесс сегментации, - елизаветинской эпохи или эпохи Кавалеров на Юге, пуританской эпохи на Севере, - черпает истоки своей собственной жизни. Именно в Кавалерах и пуританах, все еще входящих в круг английской жизни, следует искать зародыши американской культуры. Особые отношения Кавалера и пуританина к общему замыслу европейской цивилизации определяют первоначальное отношение этого Заморского Содружества к другим европейским культурам и являются истоками кривых, которые, модифицированные в своем развитии добавлением новых элементов и действием новой, отличительной среды, американская культура описала и будет описывать в будущем.

Пуританство - это, по сути, культура, а не цивилизация. Пуританский ум в своем поиске оригинального христианского опыта опирается на Ветхий Завет и Древний Закон. Бог колен Израилевых становится их Богом, Богом, находящим полное выражение в законе, который управляет его избранным народом. Четкая, непоколебимая духовная логика, набор незыблемых стандартов, риторика добродетелей, отождествление любого элемента роста и изменений с силой зла, дуалистическая мораль и вытекающее из этого отрицание духовной свободы воли - таковы характеристики пуританства, составляющие в одно и то же время и с теми же элементами систему истины и систему поведения. В обоих значениях, в которых мы использовали слово "религия" в начале этого эссе, пуританизм является совершенной, окончательной религией. Перенесенный в Америку, когда Европа постепенно начинала осознавать метафизические последствия разрушения старой космологии, когда открытие бесконечной вселенной лишало чисто трансцендентную божественность места, отведенного ей за пределами конечной вселенной, — сама бесконечная вселенная проявлялась, по словам Бруно, как *specchio della infinita deita*, — он породил внутренне статичную культуру, выделяющуюся на фоне трансцендентальной мысли.

Принципы роста в пуританстве не были специфически пуританскими: это были те универсальные ценности, которые пуританской дисциплине удалось открыть заново, потому что любая моральная дисциплина, какой бы скованной ни были ее предпосылки, неизбежно будет вести к ним. Совсем недавно искренний и ярый апологет пуританства признал в документе, который он считает высшим выражением этой культуры в Америке, парафразу римского правила приличия. Иррациональность, которая прорывается через самую герметично закрытую систему логики в процессе жизни, утверждает себя, извлекая из узкоинституциональной религии ценности, которые не зависят от определенного набора институтов и не имеют силы только для одного народа. Но мы могли бы обнаружить зародыши этой иррациональности уже в самых зачатках системы, когда Мильтон добавляет весь вес римской традиции к пуританской концепции демократии, или в божественных словах Евангелий, в которых во все времена и в любом месте каждый *anima naturaliter christiana* услышит крик Любви, восстающий против буквы Древнего Закона.

То, что Кавалер привез в Америку, нам следовало бы исследовать, только если бы мы отслеживали историю расходящихся направлений, местных культур: потому что изначальной душой Америки, несомненно, является пуританская душа Новой Англии, а Юг, даже до Войны за отделение, по отношению к главному направлению, к общей культуре, имеет лишь эпизодическое значение. И все же, хотя основатели Новой Англии были всего лишь пуританами, определенные черты бесцеремонного духа, авантюриста в "пилигриме", неизбежно проявятся в их потомках, повторяя первоначальную дихотомию в поколениях, происходящих от явно чистокровного происхождения: отчасти потому, что разница в верованиях не всегда является признаком фундаментальной разницы в темпераментах, а отчасти потому, что эти черты соответствуют некоторым общечеловеческим импульсам, подавленным выбором пуританина.

Есть один элемент, который является общим для пуритан и кавалеров в Америке и о котором нельзя сказать, что он точно так же принадлежит их предкам в Англии. В Англии и остальной Европе это мифология, сформированная сходными надеждами и желаниями, сходной

необходимостью придавать воображаемое тело определенным мыслям и устремлениям, в духе Возрождения, а также в духе Реформации: мифология, которая в сознании европейца на протяжении веков между открытием Америки и Французской революцией населяла такие регионы, как остров Утопия, город Солнца и Американский континент. В этой мифологии утопизм и американская экзотика совпадают. Но искатель приключений и пилигрим действительно твердо ступали по одной из земель, нанесенных на карту в этой чисто идеальной географии, и мысли и устремления европейца, ограниченные континентом мечты, стали моральными требованиями нового Содружества. Таким образом, Америка противопоставила себя Европе как идеал реальному, как страна свободных и прибежище угнетенных; и утвердилась в таком положении благодаря своим естественным возможностям, условиям жизни первопроходцев, контрасту с европейским деспотизмом — наконец, благодаря Революции и Конституции, в которых, по ее мнению, были в конечном счете удовлетворены первоначальные моральные требования. Именно этому мифу о Земле Обетованной, который не является ни строго пуританским, ни строго бесцеремонным, и все же временами кажется, что он совпадает с менее статичными аспектами пуританства, своеобразный американский идеализм, непобедимый поражением и даже доказательствами фактов, абстрактный, самоуверенный, энергичный, юный и оптимистичный, обязан своей силой и мужеством: идеализм, который вряд ли осознает то, чему Европу научил многовековой печальный опыт - непоправимую случайность и несовершенство истории; и который верит, так же твердо, как верит в это пуританский законодатель, что такие институты должны быть созданы. был разработан или может быть разработан такой идеальный закон, благодаря которому он, будучи продуманным и записанным, непременно станет законом реальности на все грядущие времена.

Таким образом, из двух противоположных элементов, твердой веры в Закон, который существовал изначально, и романтической мифологии, возникает третья характеристика американского сознания: полная уверенность в силе интеллекта, понимаемого как механизм, способный разрабатывать практические схемы для достижения идеальных целей. Эта интеллектуальная вера по своей статичной природе подобна моральной вере пуританина: это материальное оружие пуританизма. Ему доступно совершенствование, но не реальные процессы эволюции. Интеллект, который воспринимает себя не как процесс или функцию, а как механизм, может стремиться к состоянию совершенства и теоретически обладать им, но будет возмущаться и осуждать попытки ощупывания и неудачи реального, несовершенного роста и изменений. Не без причины величайшей личной трагедией войны в типично американском сознании, столкнувшемся с грехами и страданиями Европы, была трагедия интеллектуальной гордыни: неспособности статичного интеллекта проявить милосердную активность в трагическом потоке европейской жизни; трагедия, которую немного морального и интеллектуального смирения вполне могло бы пощадить ради великодушных надежд Америки и детской мессианской веры, которая лишь на слишком короткое время озарила истекающую кровью душу Европы.

* * * * *

Если мы называли пуританство культурой, то какое название мы оставим для того обширного и сложного набора механических приспособлений, которые составляют материальную основу современного американского общества? Мы обладаем технологией, возможно, более высокоразвитой (за возможным исключением довоенной Германии), чем любая из когда-либо существовавших в мире. У технологий есть своя логика, и эта логика склонна занимать место

высших духовных построений; либо когда жизненные условия придают чудесный характер средствам поддержания самой жизни и придают практическим действиям по охоте или сельскому хозяйству религиозное значение; либо когда сложность их организации такова, что действие этой практической логики неизбежно превосходит наблюдательность отдельного агента, каким бы высокопоставленным ни был сам механизм, и моральные или интеллектуальные мифы рождаются из несовершенного знания. Так обстоит дело с Америкой, и в Америке эта технологическая или индустриальная мифология стерла с лица земли конкурирующие мифы о фермах и прериях, придав им чисто романтическую ценность и декоративную функцию благодаря промышленной власти прессы. Даже первопроходчество и завоевание Запада, процесс, в ходе которого американцы другой эпохи находили энергичное, хотя и частично опосредованное удовлетворение определенных моральных и идеальных устремлений, отошли в сознании современных американцев в тень сказочного и торжественного фона.

Промышленная революция в Америке следовала линиям развития ее ранней английской модели. Это заморское содружество, аграрное и демократическое, обнаружило в себе те же элементы, которые породили в первоначальной стране промышленный феодализм, привившись, без какого-либо решения о преемственности, к земельному феодализму. Неискоренимый оптимизм американца окутал весь процесс тем же ореолом моральной романтики, который окрасил эпоху первопроходцев, и принял в качестве полезной замены (или, скорее, в качестве нового содержания) пуританского морализма философию возможностей и успеха, постоянно соизмеримого с истинными заслугами. Концепция интеллекта как механизма, который должен использоваться для достижения моральных и идеальных целей, уступила место аналогичной, хотя и более сложной концепции, основанной не на методах чистой науки, с ранних завоеваний которой началась сама революция, а на методах прикладной науки или практического механизма.

Когда при естественном ходе событий узлы, удерживающие вместе чисто экономические элементы страны, стали более мощными и реальными, чем любая система политических институтов, когда фактически финансовый синдикализм стал структурой, лежащей в основе видимых органов управления, все первоначальные идеалы Америки уже собрались на защиту нового порядка. Отсюда необычайная прочность господствующей экономической системы в этой стране по сравнению с любой европейской страной. Экономические, так же как и политические системы, в конечном счете, опираются на убеждения, а не на чистую силу, и радикал в Америке, во всех сферах мышления, постоянно сталкивается с необходимостью бороться не просто с институтами, как в Европе, но с институционализированными идеалами, организмами и личностями, которые отстаивают свои права на основе тех же предпосылок, которые побуждают его к бунту. Фундаментальная разница между Карнеги и Debs меньше, чем между любыми двумя людьми, занимающими аналогичные должности в Европе.

Интересным побочным продуктом этого конкретного развития является миф о промышленном капитане, обладающем, в народном воображении, всеми добродетелями. И следствием этого мифа является неизбежный пересмотр каталога добродетелей, из которого были вычеркнуты некоторые, которые не ведут к промышленному успеху, а другие были допущены, потому что промышленный успех, как считается, невозможен без них. В этот миф верят не только честолюбивые массы, но и многие среди самих капитанов промышленности, которые

принимают свое богатство как общественное достояние и представляют свою функцию таким же образом, как у старого монарха милостью Божьей.

* * * * *

Такое перенесение идеалов из религиозной и моральной сферы в практическую и экономическую оставляет лишь очень слабую почву для личного благочестия и религии Церквей. И все же ни одна страна в мире (опять же, за единственным возможным исключением Северной Африки в первые века христианской эры) не произвела такого богатства и такого разнообразия религиозных движений, как Америка. Субстанцией этой очень тонкой основы является разбавленный пуританизм, пуританизм, который в подавляющем большинстве населения, как мы видели, достаточно странно превращается в социальный оптимизм, веру, достаточную для широких активных масс, но не для удовлетворения потребностей “сердца”, когда сердцу дается достаточно досуга, чтобы поразмыслить о себе, либо из-за слишком большого богатства, либо из-за слишком малой надежды: из-за открытия своей пустоты, когда обладание средствами делает очевидным отсутствие цели, или из-за спазмов его голода, когда средства недосыгаемы, в руках предполагаемого низший и недостойный. Во втором случае даже чисто чувственное влечение удостоивается названия Духа. Более или менее официальные Церкви, пытаясь сохранить преданность своих обширных паств, последовали за массами в их эволюции: они, по сути, гордятся своими социальными достижениями, возможно, с некоторым сомнением, зная, что у их конкретного Бога не больше причин обитать в церкви, чем на фабрике, и что наивысшим возможным воплощением их доктрины является упорядоченная промышленная организация, управляемая по-отечески.

Нуждам “сердца” служат бесчисленные секты (и здесь снова американская религиозная история повторяет, в увеличенных пропорциях, особенности английской религиозной жизни). Но из-за постепенного обеднения центральной религиозной традиции страны, из-за скудного культурного фона как апостолов, так и неофитов, трудно распознать во всем движении внутреннюю духовную диалектику, которая могла бы придать силу и значимость отдельным сектам. Туманный мистицизм присваивает себе случайным и капризным образом тени и призраки религиозных переживаний и мнений, зародыши истины которых находятся в других веках и в другом климате. Единственной общей чертой, по-видимому, является недоверие к интеллекту, проистекающее из изначального отделения интеллектуального от духовного в пуританах, недоверие, которое иногда проявляется в осуждении предполагаемых преступлений науки. Именно эта фундаментальная общая черта навсегда помешает любой из них стать тем, чем не могут быть все секты, - религией.

Два состояния ума, которые сегодня ближе всего к тому, чтобы быть истинными религиями, - это, с одной стороны, американизм (религия как общая связь), а с другой - радикализм (религия как личный опыт). Американизм - это более или менее совершенное выражение распространенного убеждения в том, что американские идеалы реализуются в американском обществе. Радикализм - это более или менее судорожный протест против такой веры, иногда в сочетании с индивидуальной попыткой реализовать эти идеалы в своей жизни и действиях. Самый резкий контраст между этими двумя установками прослеживается в их идеях политической и духовной свободы, которая для одного является условием, фактически существующим в силу самого факта существования американского общества таким, какое оно

есть, а для другого - динамичным принципом, который никогда не может быть постоянно связан с каким-либо конкретным набором институтов.

Вряд ли можно сказать, что изначальный дух пуританства жив сегодня в Америке. У некоторых интеллектуалов это смешивается с другими высокими формами моральной дисциплины в прошлом и вновь появляется со странной приверженностью форме, а не содержанию, как платонизм, классицизм, средневековье, католицизм или любой другой набор фиксированных стандартов, которые могут быть приняты как единое целое и могут дать душе то чувство безопасности, которое присуще иллюзии обладания окончательной истиной. Следствием такого отклонения является то, что эти истинно религиозные души, удовлетворившись достаточно обширной и красивой интерпретацией своего вероучения, возмущаются любой более грубой и опасной формой интеллектуального опыта гораздо острее, чем они возмущаются грубостью и опасностями, реально присутствующими в природе вещей. Они интеллектуалы, но, опять же, не верят в интеллект; они действительно изолированы среди своих соотечественников, и все же они верят в конформизм и предполагают, что конформизм американского общества - это конформизм их мечты.

Такое статичное восприятие истины, такое отождествление универсальных духовных ценностей с той или иной конкретной традицией на самом деле является таким же препятствием для новой жизни человеческого духа, как и внешний конформизм, навязываемый социальным оптимизмом. Но полемику против интеллектуалов старшего поколения ведут молодые люди, многие из которых недавно стали иммигрантами, но все они воспитаны в атмосфере американской культуры и отличаются от них скорее объектами своего предпочтения, чем широтой или глубиной своего мировоззрения. Есть способ цепляться за последнюю моду в философии или искусстве, что ни в коем случае не является прогрессом по сравнению с более старыми религиями; бороться с очевидной логической ошибкой, используя тот же софизм; принимать грех с тем же моральным энтузиазмом, который в менее просвещенные времена приберегался только для высших добродетелей.

Более важными по своему влиянию на определенные фазы американской жизни, чем эти интеллектуальные отголоски, являются моралистические пережитки пуританства. Для небольших групп людей, в значительной степени наделенных чувством долга перед другими людьми, всегда возможно запугать широкие слои общественного мнения, чтобы они приняли логические последствия определенных бесспорных моральных допущений, как бы сильно они ни отличались от реалий американской жизни. Именно при таких обстоятельствах добросердечный, покладистый американец расплачивается за свое отождествление реальности с идеалами, будучи лишенным какой-то очень дорогой реальности во имя идеала, который давным-давно перестал иметь для него какое-либо значение.

* * * * *

С какой бы стороны мы ни смотрели на американскую культуру, мы постоянно сталкиваемся лицом к лицу с пренебрежением, недоверием или узким представлением о чисто интеллектуальных ценностях, что, по-видимому, является общей характеристикой широко расходящихся духовных установок. Американец не хвалится, в отличие от англичанина, своей способностью все запутывать: он гордится определенными логическими достижениями и питает пристрастие к абстрактным схемам, искренне верит в их обоснованность и эффективность; но он не больше, чем англичанин, верит, что интеллект является неотъемлемой

частью человеческой личности. Он признает тождество добра и истины при условии, что истина может быть обнаружена иными средствами, кроме чисто интеллектуальных: здравым смыслом, откровением, инстинктом, воображением, но не интеллектом. Именно здесь даже защитники классической традиции среди американцев упускают из виду истинный смысл послания Сократа и Платона, основы гуманизма.

Что является специфически американским во взглядах американских философов, так это ясное и отчетливое выражение общей позиции. Официальная философия Америки на протяжении столетия повторяла взгляды английских эмпириков и немецких идеалистов, иногда с очень интересными и проливающими свет личными вариациями. Это даже, и это оригинальное достижение, привело к тому, что они утратили свои специфические акценты и совпали в новых теориях познания. Но сердце американской философии не там: оно в прагматизме, в инструментализме, в любой другой теории, ясно устанавливающей чисто функциональный характер истины, механический аспект интеллекта. Поставив критерий истины вне интеллекта и рассматривая интеллект просто как механизм веры, эти доктрины пытаются восстановить достоинство интеллекта, превращая его в машину для воспроизведения морально или социально полезных убеждений. Эта операция аналогична операции анатома, который, извлекая сердце из живого тела, предположил бы реконструировать тело, искусственно стимулируя движения сердца. Доктрина о чисто прагматической, или инструментальной, природе интеллекта, являющаяся логическим объяснением популярной концепции, является доктриной радикального скептицизма, что бы ни говорили об обратном конкретные заявления самих философов: она разрушает не только объекты познания, но и сам инструмент.

Американские философы пришли к этому учению через психологический и социологический подход к проблемам разума. Такой подход соответствует общей тенденции принимать форму естественных и математических наук, которой моральные науки в американских университетах подчинялись в течение последних тридцати или сорока лет, частично под влиянием определенного европейского позитивизма, а частично из-за престижа, который естественные и математические науки приобрели благодаря своим практическим применениям. Даже сейчас легче найти подлинно гуманистический склад ума, здравую концепцию интеллектуальных ценностей среди великих американских ученых, чем среди философов и филологов: но чистая наука стала самым уединенным занятием, а ученый - самым отстраненным человеком, поскольку его место в обществе заняли изобретатель и популяризатор. Психология и социология, эти полулитературные, полунаучные дисциплины, положили в основу философии не индивидуальные усилия понимать и мыслить, а позитивное наблюдение за более или менее произвольными процессами мышления у множества людей. Интеллект был принесен в жертву демократической идее равенства умов: как мог философ осмелиться мыслить, я не говорю лучше или эффективнее, чем толпа, но иначе, чем она? Европейской философии снова и снова, и не без основания, предъявлялся упрек в навязывании реальности законов, которые являются всего лишь законами индивидуального философского мышления; и все же, что еще в конечном счете делает ученый? Но и ученый, и философ находят свое оправдание в вере в действенность своих инструментов: в духе преданности и смирения, а не в беспричинных предположениях. Типичный американский философ продал свое право первородства не за чечевичную похлебку, а просто за любовь.

Я с болью осознаю тот факт, что сквозь сети этого неизбежно абстрактного и отрывочного анализа неизбежно ускользает значительная часть красоты и необъятности, энергии и добродушия американской жизни. Путешественник из старых стран испытывает здесь ощущение огромных пространств и практически безграничных возможностей, которое проявляется в несравненной веселости, открытости сердца и свободе общения. Истинное значение доктрины возможностей заключается гораздо больше в этих индивидуальных установках, чем в каких-либо различиях между структурами американского и европейского обществ. И я не верю, что единственное объяснение им кроется в процветании Америки по сравнению с нищетой Европы, потому что эта щедрость не имеет прямого отношения к индивидуальному богатству. Лесоруб и портовый грузчик ничем не хуже миллионера, если не лучше его.

Эти индивидуальные установки находят свое коллективное выражение в идее служения и готовности к нему, которые являются универсальными в этой стране. Церкви, политические партии, движения за социальные реформы, братские ордена, промышленные и деловые организации встречаются на этой общей почве. Нет такого материального интереса или духовного предубеждения, которые не уступили бы призыву к служению: и всякий раз, когда цель служения четко определена, действие следует импульсу, нетерпимому к любой задержке. Но Служение - это средство, а не цель: вы можете служить Богу, или человеку, или группе людей, и в этом человеке или группе людей есть то, что вы считаете его или их потребностью, но вы не можете служить Служению. И общая цель может быть достигнута только благодаря ясному интеллектуальному видению отношений между набором идеалов и реалиями жизни.

Эта врожденная щедрость американского народа является мотивом песни и сутью идеала единственного великого поэта, которого Америка добавила к небольшой семье европейских поэтов: Уолта Уитмена. В нем это чувство и этот импульс стали видением и пророчеством. У американских интеллектуалов вошло в привычку смотреть с легким презрением на восхищение европейцев поэзией Уолта Уитмена, как на еще один симптом их невежества в американских вещах. Но я, со своей стороны, признаюсь, что то, что я страстно любил, будучи чуть больше мальчика, в этой поэзии, - это то самое качество, присутствие которого я теперь распознал как человеческий цветок американской культуры, и которое заставляет меня любить эту страну так же страстно, как я любил эту поэзию.

Один из многих парадоксов американской интеллектуальной жизни заключается в том, что даже культурная подготовка Уолта Уитмена должна была быть более глубокой и содержательной, если не более систематической, чем у любого профессора или писателя его времени. Это были умы, которые так же полно впитали европейскую мысль и воображение, как любой профессор или писатель в Европе: но эта мысль, это воображение, перенесенные в новую страну, не имели реального отношения к новому практическому и моральному окружению и поэтому были тонкими и бесплодными. Уолт Уитмен знал и понимал великие традиции европейской цивилизации и пытался выразить их в оригинальной идиоме, моральной и литературной, своей Америки.

Но *нemo пророчествовать*, и требуются столетия, чтобы понять поэта. Уолт Уитмен все еще ждет свое собственное поколение. Современные школы американской поэзии, чуткие ко всем веяниям моды, работающие скорее на день, чем на время, еще не до конца постигли, я не говорю, дух его послания, но даже, несмотря на все их свободное стихосложение, тайну его

великолепных ритмов. Его преемниками являются, скорее, некоторые молодые романисты и несколько духовно связанных с ними людей, которые подходят к изучению американских условий с комбинированной экономической и психологической точек зрения. Романисты заняты раскрытием действительных черт американской физиономии с достаточной верой в будущее, чтобы описывать оттенки с такой же тщательностью, как и свет, и с более глубокой страстью; экономисты прокладывают дорогу самым высоким и чистым американским идеалам, раскрывая случайную и чисто психологическую основу якобы научных аксиом классической экономики.

* * * * *

Мой собственный опыт американской жизни в период с осени 1919 по лето 1921 года привел меня в соприкосновение со всеми видами людей и их манерами поведения от одного конца страны до другого, от Атлантики до Тихого океана. Именно из этого непосредственного общения с американцами, а не из моих чтений американской литературы, продолжавшихся в течение гораздо более длительного времени, у меня сформировались мнения, изложенные в этой статье. Но поскольку моя работа привела меня к более тесному общению с колледжами и университетами, чем с любыми другими учреждениями, я чувствую себя немного увереннее, когда пишу об образовательном аспекте американской проблемы.

Университет в любом случае - это скорее *студенческий университет*, чем корпорация профессоров. Мне нравилась моя жизнь на американских факультетах, и я многому научился у многих благородных душ и интеллектов, которых я встречал среди них; но всякий раз, когда это было возможно для меня, я сбегал с факультетов к студентам и пытался понять тенденции грядущих поколений.

Студенты американских колледжей или университетов, от сравнительно древних учебных заведений Востока до молодых школ совместного обучения на Среднем и Дальнем Западе, образуют довольно однородный, хотя и очень широко репрезентативный срез американского сообщества. Это, в очень точном и всеобъемлющем смысле, молодая Америка, Америка завтрашнего дня. Значительная часть их интеллектуальных и духовных характеристик является общими чертами американской культуры, которые мы изучали в предыдущих параграфах; и все же из-за социального разделения индивидов по возрасту, которое распространено в этой стране гораздо дальше, чем в любой европейской стране, у них развивается также ряд независимых черт, которые, в свою очередь, свойственны каждому из "молодых поколений". Жизнь американского юноши или девушки, вплоть до момента их поступления в колледж, - это в основном жизнь красивого и здорового молодого организма, не подчиняющегося какой-либо слишком строгой интеллектуальной или духовной дисциплине. Средние школы, по-видимому, понимают свою функцию в духе, который существенно отличается от духа европейских средних школ, особенно из-за определенных преобладающих образовательных доктрин, основанных на фикции, которая используется также во многих других сферах американской жизни, но которая в области образования нанесла больше вреда, чем в любой другой, фикции общественного спроса — в данном конкретном случае на тот или иной тип образования. Несомненно, это вымысел, который используется для придания престижа и авторитетности теориям отдельных педагогов, поскольку ни в одной стране и ни в одно время не существовало мнений в области образования вне круга самих педагогов. Но эта выдумка, к сожалению, имела практические последствия, потому что американские педагоги, подвластные крупному бизнесу в частных

учреждениях и политикам в государственных школах и университетах, не нашли в себе сил, за исключением нескольких единичных случаев, противостоять тому, что пришло к ним, усиленное таким покровительством. И саму публику было легко убедить, что она хочет того, о чем ей говорили, что она хочет. Студенты, против которых больше грешат, чем сами грешат, наслаждаются непринужденной атмосферой школы, и только когда они поступают в колледж, они осознают свою абсолютную неподготовленность к высшему образованию.

Это сознание своей неполноценности проявляется в позиции “низкопоклонства”, которая представляет собой не презрение к тому, что, по их мнению, находится за их пределами, а скорее нежелание притворяться тем, кем, как они знают, они не являются. Для них практически невозможно усвоить какие-либо стандарты в вопросах образования, и таким образом они насильно отбрасываются назад к тому, что они очень хорошо знают, к спорту и общественной жизни между собой. Мой китайский друг однажды оригинально определил американский университет как спортивную ассоциацию, в которой слаботелым предоставляются определенные возможности для учебы. Теперь, в легкой атлетике и общественной жизни, студент находит что-то реальное и, следовательно, является образованием: в футболе нет притворства или мошенничества, и в своих учреждениях внутри колледжа и университета студенты подчиняются определенным стандартам и правилам, которые не так четко обоснованы, как в легкой атлетике, но все же созданы ими самими и поэтому легко понятны. Это стандарты и правила, которые иногда странным образом напоминают нормы первобытного общества, поскольку это вполне естественно, когда почва, на которой они произрастают, - это сообщество только самых молодых, и все же, несомненно, они являются подготовкой к жизни после колледжа, в которой подобные черты отнюдь не являются исключением. И кроме того, в этой социальной жизни есть своя свобода и красота, очевидные по крайней мере в одном из ее самых священных институтов - танце. Американские танцы с теми пленительными и жизнерадостными ритмами, которые американская музыка переняла у негров, являются совершенным выражением простой радости жизни. Старшее поколение шокировано и озадачено этими танцами, а также многими другими способами и скрытым мнением молодежи; но так было во все века и в разных странах. Любопытному и страстному наблюдателю кажется, что молодежь Америки тайно трудится над освобождением сексуальной жизни от притворства и неоправданных запретов и, благодаря оригинальному познанию элементов любви, над созданием новых ценностей, возможно, новой морали.

Но студент вызывает недоумение у профессора, который обычно в конце концов очень серьезно, очень буквально, воспринимает свое отношение к спорту и общественной жизни колледжа как нечто, что изменить невозможно. Исходя из такого предположения, профессор начинает стесняться преподавать; то есть он оставляет для себя все, что у него может быть по-настоящему интеллектуального и духовных интересов, и раздает студентам в классе порции знаний, которые складываются в сложную систему единиц и зачетных единиц, символизирующих процесс образования. На мой взгляд, в американской жизни нет более трагического недоразумения.

Мой собственный опыт (и я делюсь им, чего бы он ни стоил) говорит мне, что занятия спортом и общественная жизнь являются опосредованным удовлетворением гораздо более глубоких духовных и интеллектуальных потребностей. Учащийся получает от общей американской традиции стремление к духовным ценностям; от своей индивидуальной реакции на эту традицию - тягу к интеллектуальной ясности. Но ему мешает его академическая

неподготовленность, и он разочарован отчужденностью профессора, запутанностью и сухостью учебной программы: тем фактом, для него слишком очевидным, что то, что ему дают, - это не наука или мышление, а их схоластическая версия. Всякий раз, когда человек стоит перед ним и, не пытаясь “поставить себя на его уровень”, разговаривает с ним так, как разговаривают с мужчиной, думая за него так, как думают за себя, нельзя получить более готового и восторженного ответа, чем от американского студента. Он не боится трудностей или опасностей, но он должен доверять своему проводнику и знать, что его проводник доверяет ему. Об этом свидетельствуют случаи, которые слишком часты, чтобы их можно было назвать простыми исключениями, с теми американскими профессорами, которые действительно популярны в колледжах и университетах. Но до тех пор, пока многие из них не поймут, какой великолепный материал находится в их руках, какую огромную жажду они должны утолить, и не вернуться к своей работе с этой новой верой, пропасть не будет преодолена, и молодой Америке придется пытаться решать свои проблемы самостоятельно, без помощи духовного опыта веков.

* * * * *

Такое положение в высших учебных заведениях является символом и зеркалом состояния страны. С обедненной религиозной традицией, с несовершенным знанием силы интеллекта Америка изголодалась по религиозной и интеллектуальной истине. Ни в одной другой стране мира нет, как говорится, сердца, более полного служения: сердца, которое постоянно *стремится к любви*. Во время войны и после войны Америка хотела посвятить себя миру и прекратила действовать только тогда, когда почувствовала, что не может доверять своим лидерам, тому, что должно было быть у нее на уме.

Через несколько лет дети недавних миллионов иммигрантов из всех регионов Европы проявят себя в американской жизни и попросят своей доли в общем наследии американских традиций, в общей работе американской цивилизации. Они не смогут внести большой вклад непосредственно из своей первоначальной культуры, но они привнесут в население Америки беспрецедентное разнообразие кровей, интеллектуальных и моральных качеств. Их американизация в привычках, языке и манерах - естественный процесс, который, будучи предоставлен сам себе, неизменно происходит во втором поколении. Америка должна прояснить и усилить для них свою традицию, моральную дисциплину пуритан, моральный энтузиазм Первооткрывателей и первопроходцев, и они с радостью примут ее наследие; но это прояснение и усиление возможно только через пересмотр первоначальных ценностей в свете центральной гуманистической традиции европейской мысли.

Мечты европейских основателей этого Утопического Содружества еще могут сбыться, как сбываются человеческие мечты, став активным, всепроникающим мотивом духовных усилий, сутью жизни. Изгнанники, добровольные или вынужденные, из Англии и Ирландии, из России и Италии, из Германии и Израиля, дети одной матери, объединенные в Америке так, как они не будут объединены в ближайшие столетия в Европе, таким образом, получают шанс предвидеть в "*civilitas americana*" будущее развитие "*humana civilitas*".

И если этому поколению нужен девиз, я бы предложил одну строчку из Данте:

luce intellettual piena d'amore:

свет интеллекта, в полноте любви.

Raffaello Piccoli

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ГОРОД

В Америке нет адекватной литературы о городах. В некоторых крупных городах есть путеводители и местные истории; но наиболее ценные сведения об истории и развитии американского города скрыты в современных газетах, рассказах о путешествиях и выступлениях. Читатель, желающий глубже изучить местность, должен погрузиться в тома и статьи, взятые из всех периодов. Недавние издания “Руководства Святого Валентина” должны быть интересны тем, кто не может ознакомиться с оригинальным “Руководством Общего совета Нью-Йорка”. За последние двадцать лет комиссиями городского планирования и другими органами было опубликовано огромное количество отчетов и обзоров: они ценны как тем, что показывают ограничения установленного режима, так и тем, что дают намеки на силы, которые более или менее работают над улучшением. “Питтсбургское исследование” (Фонд Рассела Сейджа) - великая классика в этой области. Краткий обзор развития американских городов за последнее поколение содержится в книге Чарльза Зуэблина “Муниципальный прогресс Америки” (Macmillan). Особняком в этой литературе стоит очень талантливая книга Пола Харлана Дугласа под названием “Маленький городок”, опубликованная издательством Macmillan. (Крайне необходима книга, которая аналогичным образом расскажет о Большом городе.) Лучший общий подход к городу - это подход профессора Патрика Геддеса в книге “Города в эволюции” (Уильямс и Норгейт, Лондон). Те, кто знаком с “Исследованием городского развития” профессора Геддеса или его вкладом в “Социологические статьи” (Macmillan, 1905, 1906, 1907), возможно, заметят, что я в долгу перед ним: я спешу от всего сердца признать это, а также свой долг, при личном общении, перед его коллегой, мистером Виктором В. Брэнфордом. Если непрофессиональный читатель больше ничему не может научиться у профессора Геддеса, он может понять полезность того, чтобы отбросить завесу знаний из вторых рук и изучать города и социальные институты путем непосредственного наблюдения. Неадекватность американской гражданской литературы не будет в полной мере препятствием, если она заставит читателя получать путем личных исследований впечатления, которые он в противном случае получил бы, несмотря на размытость печатной страницы. Каждый город и его регион - это в некотором смысле выставка естественной и социальной истории. Пусть читатель прогуляется по улицам наших городов, как по залам музея, и воспользуется книгами, которые были предложены только в виде билетов и этикеток. Американцы имеют в Европе репутацию ненасытных экскурсантов. Интересно, чего бы не произошло, если бы американцы начали осматривать достопримечательности у себя дома — не Большой Каньон и Йосемити, а “Бродвей” с его закоулками, а также трущобы и пригороды, простирающиеся за их пределами. Если наблюдение ведет к критике, а критика - к знанию, то куда может привести незнание?

Л. М.

Политика

Стандартные работы по истории американской политики настолько хорошо известны (и так малочисленны), что едва ли нуждаются в упоминании. Брайса, Острогорского и де Токвиля, я полагаю, читали все серьезные студенты, равно как и такие личные мемуары, как мемуары Блейна и Джона Шермана. Работа Брайса - любимая, но она страдает от неискренности этого человека. Книга доктора Чарльза А. Бирда "Экономическая интерпретация конституции" представляет собой не столько законченный трактат, сколько проспект истории, которую еще предстоит написать. Насколько я знаю, ценные предложения, содержащиеся в его предисловии, никогда не вдохновляли других американских историков на какие-либо исследования политических истоков, большинство из которых просто невежественные школьные учителя, как хорошо показывают их нынешние "истории" конца войны. Все подобные исследования блокируются робостью и глупостью, которые так характерны для американской науки. Наше обсуждение политики, как и наше обсуждение экономики, имеет дело главным образом с поверхностностями. Обе темы нуждаются в разъяснении психологами, не зависящими от зарплаты в колледже, и, следовательно, свободными в высказываниях. Безусловно, влияние религиозного энтузиазма на американскую политику заслуживает тщательного изучения; тем не менее, мне так и не удалось найти книгу по этому вопросу. Опять же, возникает сложный вопрос об отношениях между политикой и журналистикой. Я убежден, что растущая власть газет имеет тенденцию вытеснять умных и уважающих себя людей из политики, поскольку газетами в основном управляют CAD, и ни один такой человек не хочет оказаться в их власти. Но такого рода вещи никогда не изучаются в Соединенных Штатах. У нас даже нет достойной политической биографии, столь распространенной в Англии. Лучший свет на текущую политику можно получить из отчетов Конгресса. Это стоит 1,50 доллара в месяц и того стоит. Рано или поздно правда попадет в Протокол; она попала туда даже во время войны. Но это редко попадает в газеты и никогда не попадает в книги.

Х. Л. М.

ЖУРНАЛИСТИКА

Я не знаю ни одной вполне удовлетворительной книги об американской журналистике. "История журналистики в Соединенных Штатах" Джорджа Генри Пейна и "История американской журналистики" Джеймса Мелвина Ли довольно хороши в своей трактовке прошлого, но ни один из них не демонстрирует какого-либо проникновения в анализ нынешних условий. О невиновности мистера Пейна можно судить по его мнению, что "Канзас-Сити Стар" под руководством Нельсона является примером более здоровой "реформистской журналистики", чем "Пост" под руководством Годкина! "Свобода и новости" Уолтера Липпманна наводит на размышления, но не претендует на то, чтобы содержать какую-либо конкретную информацию. Более конкретно в названии имен и приведении современных примеров приводится краткое эссе Гамильтона Холта "Коммерциализм и журналистика". "Медный чек" Аптона Синклера содержит много ценного материала, и, возможно, то, что я сказал о нем, не отдает ему должного; безусловно, его следует прочитать всем, кто интересуется этой темой. Уилл Ирвин опубликовал в Collier's Weekly с января по июль 1911 года ценную серию статей "Американская газета: исследование журналистики". Я не могу найти, чтобы эти статьи были

переизданы в виде книги. Некоторая информация содержится в автобиографиях и биографиях известных журналистов, таких как “Воспоминания о напряженной жизни” Горация Грили, “Жизнь Уайтло Рида” Ройала Кортиссоза, “Жизнь и письма Э. Л. Годкина” Ролло Огдена, “Жизнь Чарльза А. Даны” Дж. Х. Уилсона, “Жизнь и письма Джона Хэя” Уильяма Роско Тайера, “Приключение с гением: воспоминания Джозефа Пулитцера” Аллейна Айрленда; также “История солнца” Фрэнка М. О'Брайен. Биографии, однако, прославляют людей и лишь косвенно объясняют институты. Полезной библиографией, включающей книги и журнальные статьи, является “Ежедневные газеты в США” Видера Калли из Школы журналистики Висконсинского университета. Но, в конце концов, лучший источник информации — ежедневная газета, если знать, как ее читать, и читать между строк.

Дж . М.

ЗАКОН

“Современные демократии Брайса”, глава XLIII, представляет собой недавний обзор американской правовой системы; Раймонд Фосдик, “Американские полицейские системы”, глава I, описывает действие уголовного права. О юридических процедурах см. Реджинальда Хиберы Смита, “Правосудие и бедные”, опубликованную Фондом Карнеги для улучшения преподавания и взаимодействия с обществами юридической помощи и другими методами обеспечения более адекватной правовой помощи; Чарльза У. Элиота и других, “Эффективность отправления правосудия”, опубликованную Национальной экономической лигой; Мурфилда Стори, “Реформа судопроизводства”; и многие другие книги и статьи; особую ценность представляют отчеты Ассоциаций адвокатов Америки и Нью-Йорка. Джон Х. Вигмор, “Доказательства”, том V (издание 1915 года), обсуждает недавний прогресс; смотрите его “Дела о деликтах, предисловие” по материальному праву. Очень широкий круг тем американского права, философских, исторических, процедурных и по существу, освещен в трудах Роско Паунда, список которых приведен в “Столетней истории Гарвардской школы права”. В той же книге рассматриваются многие этапы юридического образования; см. Также “Кейс-метод в американских юридических школах”, Джозеф Редлих, Фонд Карнеги. С точки зрения позиции юристов лучшей книгой является Чарльз Уоррен “История американской коллегии адвокатов”; недавнее обсуждение их работы - Симеон Э. Болдуин “Молодой человек и закон”. Каждый, кто интересуется этой областью, должен прочитать “Собрание юридических документов судьи Холмса”; смотрите также Джона Х. Вигмора “Судья Холмс и деликтное право” и Феликса Франкфуртера “Конституционные мнения судьи Холмса”, оба в Harvard Law Review, апрель 1916 г., и Роско Паунда “Вклад судьи Холмса в науку о праве”. Закон, там же., март 1921 г. Ценным эссе по истории колониального права является книга Пола С. Рейнша “Английское общее право в ранних американских колониях”. Массу материалов можно найти в юридических обзорах, которые индексируются до 1907 года Джонсом, “Указатель к юридическим периодическим изданиям”, 3 тома, а затем в журнале Law Library Journal, cumulative quarterly.

З. К. - младший .

Образование

Идеи, содержащиеся в статье, настолько банальны и пользуются таким всеобщим признанием среди педагогов, что невозможно придать им конкретный авторитет. В дополнение к упомянутым статьям следует сослаться на одну из последних статей доктора Д. С. Миллера

“Великая иллюзия колледжа” в New Republic за 22 июня 1921 года. В остальном можно процитировать отчет Комитета десяти Национальной ассоциации образования, а также отчеты президента Элиота и президента Лоуэлла из Гарварда, президента Мейклджона из Амхерста и президента Уилсона из Принстона с признанием того, что любой такой отбор вызывает зависть.

R. M. L.

НАУКА И КРИТИКА

Не было по-настоящему фундаментального обсуждения американской науки или американской критики. Те, кто просто ищет хороший исторический очерк нашей старой литературоведческой науки в общепринятом ключе, найдут его в четвертом томе “Кембриджской истории американской литературы”, который, во всяком случае, значительно превосходит аналогичные главы в “Кембриджской истории английской литературы”. Но более поучительными, чем любой формальный трактат, являются комментарии о наших научных идеалах и методах в знаменитом обращении Эмерсона к “Американскому ученому”, в “Образовании Генри Адамса” и в “Письмах” Уильяма Джеймса. “Кембриджская история американской литературы” не содержит отдельной главы, посвященной американской критике, и отношение к отдельным критикам патетически неадекватно. Вкус современной критики можно ощутить в интересной антологии Людвиг Льюисона “Современная книга критики”, где самые жизнерадостные и “современные” из наших молодых людей поставлены бок о бок со всеми их неакадемическими мастерами и коллегами современного европейского мира. Все, что можно сказать в пользу поблекшего морализма старой американской критики, изложено в статье “Национальный гений” в “Атлантик Мансли” за январь 1921 года, о характере которой можно судить по этому типичному отрывку: “Когда мистер Спингарн заявляет, что красота не имеет отношения к истине, морали или демократии, он проводит философское различие, которое, я не сомневаюсь, Карл Второй понял бы, одобрил и мог бы, при необходимости, проиллюстрировать. Но он говорит то, что, как известно американскому школьнику, противоречит истории красоты в этой стране. У красоты, нравится нам это или нет, сердце полно служения”. Доводы против консервативного и традиционного типа критики представлены с небрежной остротой в двух томах “Предрассудков” Х. Л. Менкена. Но каждый может убедиться в этом сам, прочитав работу любого американского классика рядом с книгой Гилберта Мюррея, или любую историю литературы американца рядом с “Историей итальянской литературы” Франческо де Санкитиса, или работу любого американского критика рядом с книгами великих критиков мира.

Дж. Эс.

ШКОЛЬНАЯ И СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

“Выдающийся англичанин”, к которому относится “Марсианин”, - это, конечно, виконт Брайс, в чьем “Американском содружестве” обсуждаются внешние аспекты нашего единообразия, сходство наших зданий, городов, обычаев и так далее. Наше духовное единодушие было наиболее тщательно исследовано Джорджем Сантаяной как в его более ранних эссе — в частности, в “Благородной традиции” — так и в его недавнем “Характере и мнении в Соединенных Штатах”.

Несмотря на все обилие публикаций о нашем учебном заведении, лишь изредка и эпизодически рассматривалось, как благоприятное, так и неблагоприятное, влияние его деятельности на полк. Как ответственные за непрерывность деятельности, преподаватели занимались ремонтом и заменой оборудования, а не правом проезда; а непрофессионалы-критики в значительной степени ограничились выбором между машинами, чьи слегка отличающиеся маршруты пролегают в одном общем направлении. Исключением, подтверждающим это правило, является “Юность в оковах” Эдварда Йоменса.

Но студенческая жизнь в Америке имеет свой собственный жанр - художественную литературу, известную как “рассказы о колледже”. Почти каждая крупная школа в какой-то момент написала о себе сборник рассказов, в которых используются ее своеобразные легенды, традиции и обычаи — по большей части это обычная литература о шалостях, скороговорках и спортивном мастерстве, мрачное и часто искаженное отражение взглядов учащихся в которой является совершенно случайным для ее развлекательного бизнеса. Лоуренсвилльские рассказы Оуэна Джонсона — “Потрясающий засос”, “Теннесси Шэд”, “Шалун”, “Колибри” — являются классикой жизни в подготовительной школе. В Гарварде есть “Перец” Х. Э. Портера, “Гарвардские эпизоды” и “Дневник первокурсника” Чарльза Флэндро, а также “Философия 4” Оуэна Вистера, лучшая из всех студенческих историй. В Йеле есть книги Ральфа Д. Пейна и других авторов. В западных университетах есть такие тома, как “Сказки Анн-Арбора” Карла Гарримана для Мичигана и “Бордовые сказки” У. Дж. Каппи для Чикаго. Джордж Фитч забавно пишет о жизни в небольших западных колледжах в книгах “Пити Симмонс в Сиваше” и “В старом добром Сиваше”.

Каталог серьезной студенческой литературы краток, и большинство романов настолько пропагандистские, что представляют ситуацию в ложном свете. Например, роман Оуэна Джонсона “Стовер в Йеле”, который на момент публикации устарел на несколько лет, почти в той же степени не отражает клубный дух Нью-Хейвена, в какой роман Артура Трейна “Мир и Томас Келли” отходит от нормальной клубной жизни в Кембридже; оба автора создали “соломенного человечка снобизма”, где снобы составляют незначительное меньшинство. Два недавних романа, однако, более точно описывают студенческую жизнь по той самой причине, что их авторов больше интересовали персонажи, чем обстановка: “По эту сторону рая” Скотта Фитцджеральда достаточно правдива, чтобы вызвать бесконечные споры в Принстоне; а “Солт: образование Гриффита Адамса” Чарльза Г. Норриса - запоминающаяся оценка идеалов студентов в типичном учреждении совместного обучения. “Согнутая веточка” Дороти Кэнфилд также заложена в колледже совместного обучения. “Рамзи Милхолланд” Бута Таркингтона учится в государственном университете; а герой “Золотых подков” Ньютона Фессла является разоблачительным провалом режима Чикагского университета. К ним следует добавить автобиографию “Становящийся американец, история жизни иммигранта” М. Э. Рэвиджа, чей откровенный отчет о своих коллегах по Университету штата Миссури является шедевром сочувственной критики.

К. Б.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Пытаться давать ссылки на конкретные книги по столь общей и всеобъемлющей теме было бы дерзостью. Но можно с полным основанием предположить, что направления расследования, которые хотелось бы видеть тщательно изученными. В моем собственном случае это были бы:

(1) изучение первопроходца с точки зрения его культурных и религиозных интересов, соотнесение этих интересов с его общим экономическим статусом; (2) изучение революционных чувств Америки (не формул) в психологическом плане и их продолжительности как эмоциональной движущей силы; (3) изучение влияния периода после Гражданской войны и промышленной экспансии на положение женщин высшего класса в Соединенных Штатах; (4) изучение сексуальной дезадаптации в американской семейной жизни, опять же соотнесенное с экономическим статусом успешного первопроходца; (5) очень тщательное изучение зарождения, расцвета и распространения женских клубов, их целей и достижений, хронологически связанных с развитием клубной жизни мужчин и масштабами порока, азартных игр и пьянства; (6) изучение американских религий в более или менее фрейдистских терминах как компенсации невротической дезадаптации; (7) изучение инструментализма в философии и его последствий для реформ; (8) серьезная попытка понять и оценить более или менее дезорганизованную молодежь, уделяя некоторое внимание сравнению интенсивности их горечи или оптимизма с местами рождения и воспитания. Мне кажется, не требуется никакого специального изучения американских образовательных систем или школьной или студенческой жизни, кроме, конечно, общих знаний. В конце концов, интеллектуальная жизнь нации имеет мало отношения к академической жизни.

Когда такие специальные исследования будут завершены сочувствующими исследователями, вероятно, кто-нибудь из нескольких авторов смог бы обобщить результаты и дать нам довольно подробный очерк интеллектуальной жизни Америки. Однако таких исследований еще не проводилось, и без них мне пришлось бы писать это эссе в определенной степени *на пленэре*. Таким образом, было невозможно полностью избежать впечатления догматического или интуитивного изложения вещей. Но на самом деле по всем темам, которые я предложил для изучения, я уже много думал и уделил времени, и, следовательно, какой бы ни была его литературная форма, эссе не является чистым импрессионизмом.

Его превосходительство

Естественные науки

Нет никакого связного отчета об американских достижениях в науке. Как ни странно, самая претенциозная американская книга по истории науки, "Краткая история науки" Седжвика и Тайлера (Нью-Йорк: Macmillan, 1917), игнорирует наиболее заметные фигуры среди соотечественников автора. Полезный биографический справочник под названием "Американские ученые" (New York Science Press, 1910, 2-е издание) был составлен профессором Джеймсом Маккином Кэттеллом; третье исправленное издание было подготовлено и выпущено в этом году до выхода настоящего тома.

О тенденциях, проявляющихся в Соединенных Штатах, есть несколько важных статей. Обращение Генри А. Роуланда, озаглавленное "Призыв к чистой науке" (Popular Science Monthly, vol. LIX, 1901, стр. 170-188), по-прежнему в высшей степени достойна прочтения. Внешние условия, в которых работают американские ученые, неоднократно обсуждались в последние годы в таких журналах, как "Наука" и "Школа и общество", оба под редакцией профессора Кэттелла, который сам включил очень важные обсуждения в приведенный выше биографический словарь. Профессор Уильям Мортон Уилер недавно опубликовал остроумный и энергичный протест против чрезмерной организованности ("Организация исследований", Science, 21 января 1921 г., N. S. vol. LIII, стр. 53-67).

Чтобы дать представление о сути научной деятельности, обычному читателю ничего не остается, как проследить процессы, с помощью которых великие умы прошлого вносили порядок в хаос, который на первый взгляд представляет мир реальности. В этом отношении труды покойного профессора Эрнста Маха непревзойденны, и даже наименее подготовленный в математическом отношении неспециалист может многое понять из отрывков его книги "Die Mechanik" (Лейпциг, 7-е издание, 1912), доступной в переводе Т. Дж. Маккормака под названием "Наука механики" (Чикаго: издательство Open Court Publishing Co.). Раздел о Галилее может быть особо рекомендован. Книга Маха "Erkenntnis und Irrtum" (Лейпциг, 1906) содержит наиболее наводящие на размышления обсуждения психологии исследования, касающиеся таких вопросов, как природа научной проблемы, экспериментирования, гипотетических допущений и т.д. Многое также можно почерпнуть из общих разделов книги П. Дюхема "Теория тела, объект и структура" (Париж, 1906). Книга Э. Дюкло "Пастер: история человеческого духа", к счастью, была доступна Эрвину Ф. Смиту и Флоренс Хеджес под названием "Пастер, история разума" (Филадельфия; Сондерс, 1920). В ней виртуозно раскрываются методы, с помощью которых великий мыслитель преодолевает не только внешнее противодействие, но и более пагубные препятствия научного фольклора.

R. H. L.

ФИЛОСОФИЯ

Отсутствие философии г-на Сантаяны в приведенном выше отчете не указывает на недостаточную оценку ее достоинств. Хотя она и написана в Гарварде, ее вряд ли можно назвать американской философией. С одной стороны, мистер Сантаяна свободен от мистических религиозных устремлений, которые дали жизнь нашему идеализму, а с другой, он слишком уверен в реальности культуры и ценности созерцательной жизни, чтобы санкционировать то господство практического, которое является оплотом инструментализма.

Единственные труды по истории американской философии - это труды профессора Вудбриджа Райли. Его "Ранние школы" (Dodd, Mead & Co., 1907) представляют собой полную трактовку рассматриваемого периода, но его "Американская мысль от пуританства к прагматизму" (H. Holt, 1915) читается лучше и более современно. Их лучше всего читать в связи с некоторыми историями американской литературы, такими как "Литературная история Америки" Барретта Венделла (Scribner's Sons, 1914). Система Ройса изложена в хорошей сжатой форме в последних четырех главах его "Духа современной философии" (Houghton Mifflin, 1899). Его исчерпывающее изложение - "Мир и индивид" (2 тома, Macmillan, 1900-1). "Философия лояльности" (Макмиллан, 1908) развивает этику, а "Проблема христианства" (2 тома, Макмиллан, 1913) связывает его философию с христианством. Религиозная философия Хокинга изложена в его книге "Значение Бога в человеческом опыте" (Издательство Йельского университета, 1912). С одной стороны, его общая позиция развита в книге "Природа человека и ее переделка" (Издательство Йельского университета, 1918). Все, что касается Джеймса, хорошо читается. Его главная работа - "Принципы психологии" (Х. Холт, 1890), но "Беседы с учителями о психологии и некоторых жизненных идеалах" (Х. Холт, 1907) и "Воля к вере" (Лонгманс, Грин и Ко., 1899) лучше иллюстрируют его отношение к жизни. "Прагматизм" (Longmans, Green & Co., 1907) знакомит с его техническим философствованием. О его религиозном отношении можно узнать из "Разновидностей религиозного опыта" (Longmans, Green & Co., 1902). Дьюи нигде не систематизировал свою философию. Его технические

моменты представлены в “Очерках экспериментальной логики” (Издательство Чикагского университета, 1916). В “Влиянии Дарвина на философию” (Х. Холт, 1910) есть два особенно удобочитаемых эссе, одно с названием “эссе”, другое на тему “Интеллект и мораль”. Полным изложением его этики является “Этика” (Дьюи и Тафтс, Х. Холт, 1908). Лучше всего он проявил себя в книге “Образование и демократия” (Macmillan, 1916). “Немецкая философия и политика” (Х. Холт, 1915) - это реакция военного времени, дающая интересную точку зрения на значение немецкой философии. “Новый реализм” (Macmillan, 1912) - это сборник технических исследований Шести реалистов. “Творческий интеллект” (Х. Холт, 1917) Джона Дьюи и других авторов представляет собой аналогичный том прагматических исследований. The reviews также анонсируют еще один совместный том “Эссе о критическом реализме” Сантаяны, Лавджоя и других. В техническом ключе Перри обсуждал “Современные тенденции в философии” (Longmans, Green & Co., 1912), но лучшей критической реакцией на американскую философию является реакция Сантаяны: “Характер и мнение в Соединенных Штатах” (Scribner's Sons, 1920). Главными философскими работами Сантаяны являются “Чувство красоты” (“Сыновья Скрибнера”, 1896) и “Жизнь разума” (5 томов, “Сыновья Скрибнера”, 1905-6). Первые две главы его “Ветров учения” (Scribner's Sons, 1913), посвященные “Интеллектуальному темпераменту эпохи” и “Модернизму и христианству”, также актуальны. Краткие, но превосходные экспозиции Ройса, Дьюи, Джеймса и Сантаяны Морриса Р. Козна появились в “Новой республике”, тома. XX-XXIII.

Х. К. Б.

ЛИТЕРАТУРА

Возможно, самыми поучительными книгами для любого, кто интересуется предметом эссе о литературе, являются личные воспоминания некоторых современных европейских писателей. Чтобы получить представление обо всем, чего *нет* в американской литературной жизни, можно прочитать, например, Письма Ибсена, Достоевского, Чехова, Флобера, Тэна и Леопарди — все они были опубликованы, полностью или частично, на английском языке.

В. В. Б.

Музыка

То немного, что стоит прочитать об американской музыке, разбросано по журнальным статьям и главам в книгах на другие музыкальные темы. У Дэниела Грегори Мейсона есть разумная и поучительная глава “Музыка в Америке” в его книге “Современные композиторы”. Раздел “Америка” в главе XVI “Истории музыки” Стэнфорда-Форсайта умудряется быть тактичным и в то же время справедливым. Две книги, которые следует прочитать каждому, кто интересуется местной композицией, - это “Музыка и национализм” Сесила Форсайта и “Эдвард Макдауэлл” Лоуренса Гилмана. Книге Руперта Хьюза “Современные американские композиторы” исполнилось двадцать лет, но она по—прежнему интересна; в ней содержатся сочувственные — если не сказать восторженные - рассказы о жизни и творчестве невероятно большого числа американцев, которые занимаются искусством музыкальной композиции. Чтобы узнать, что имеет в виду художник, когда просит, чтобы его поняли, прочтите страницы 240 и 241 “Юргена” Кейбелла — если сможете достать; а также том “Жана Кристофа на площади”.

Д. Т.

ПОЭЗИЯ

Боденхайм, Максвелл: “Минна и я” (издательство Pagan Publishing Co.); “Совет” (Альфред А. Кнопф).

“Х. Д.”: “Морской сад” (Хоутон Миффлин).

Элиот, Т. С.: “Стихи” (Альфред А. Кнопф).

Флетчер, Джон Гулд: “Облучение: песок и брызги” (Хоутон Миффлин); “Гоблины и пагоды” (Хоутон Миффлин); “Древо жизни” (Макмиллан); “Японские гравюры” (Four Seas Co.); “Буруны и гранит” (Макмиллан).

Фрост, Роберт: “К северу от Бостона” (Холт); “Завещание мальчика” (Холт); “Горный интервал” (Холт).

Креймборг, Альфред: “Пьесы для поэм-мимов” (Другие); “Кровь вещей” (Николас Браун); “Пьесы для Мерри Эндрюс” (Поворот по солнцу).

Линдси, Вашель: “Конго” (Макмиллан); “Китайский соловей” (Макмиллан).

Лоуэлл, Эми: “Мужчины, женщины и призраки” (Хоутон Миффлин); “Замок Кан Гранде” (Хоутон Миффлин); “Картины парящего мира” (Хоутон Миффлин); “Легенды” (Хоутон Миффлин).

Мастерс, Эдгар Ли: “Антология реки Спун” (Макмиллан); “Великая долина” (Макмиллан); “Книга страшного суда” (Макмиллан).

Паунд, Эзра: “Умбра” (Элкин Мэтьюз); “Люстра” (Альфред А. Кнопф).

Робинсон, Эдвин Арлингтон: “Дети ночи” (Скрибнерс); “Город за рекой” (Скрибнерс); “Человек на фоне неба” (Макмиллан); “Мерлин” (Макмиллан); “Капитан Крейг” (Макмиллан); “Три таверны” (Макмиллан); “Урожай Эйвона” (Макмиллан); “Ланселот” (Скотт и Зельцер).

Сэндберг, Карл: “Дым и сталь” (Harcourt, Brace & Co.).

Стивенс, Уоллес: Смотрите “Новую поэзию”; Антологию “Другие”.

Тисдейл, Сара: “Реки впадают в море” (Макмиллан).

Унтермейер, Луи: “Новый Адам” (Harcourt, Brace & Co.); “Включая Горация” (Harcourt, Brace & Co.).

Антологии: “Новая поэзия”. Под редакцией Харриет Монро и Элис Корбин Хендерсон (Macmillan); “Американский сборник” (Harcourt, Brace & Co.); “Другие за 1919 год” под редакцией Альфреда Креймборга (А. А. Кнопф); Первая, вторая и третья серии “Некоторые поэты-имажинисты” (Хоутон Миффлин).

Критика: Унтермейер, Луис, “Новая эра в американской поэзии” (Генри Холт), всеобъемлющий, живой, но иногда вводящий в заблуждение обзор.

С. А.

Рисунки

Читатель может почерпнуть большую часть сведений по истории американского искусства из “Истории американской живописи” Сэмюэля Ишама и “Истории американской живописи” Чарльза Х. Каффина. Американскому искусству было посвящено очень мало работ аналитического характера, и почти все они лишены чувства перспективы и чего-либо, приближающегося к осознанию того положения, которое занимает американское творчество по отношению к европейскому. Помимо текстов, которые написаны исключительно некомпетентно, есть книги и статьи мужчин, целью которых является “продвижение” домашнего продукта по националистическим или коммерческим соображениям. Контрастирует со всем этим эссе мистера Роджера Э. Фрая о Райдере, опубликованное в журнале “Берлингтон” за апрель 1908 года — мастерски оцененное художником.

В. П.

ТЕАТР

Библиография по этому предмету обширна, но в основном неинтересна. Она состоит главным образом в великодушном отмахивании от того, что есть, и оптимистической мечте о том, что должно быть. В эту категорию попадает большинство, если не все, из множества томов, написанных профессорами колледжа и теми их студентами, которые по окончании учебы принесли с собой в мир взгляд на вещи, присущий профессорам колледжа. Тем не менее, “Театр двадцатого века” профессора Уильяма Лайона Фелпса, при всех его отклонениях от фактов, и “Случай американской драмы” профессора Томаса Х. Дикинсона могут быть рассмотрены более любознательными. “Вторые ночи” мистера Артура Рула с его пронизательным юмором содержат несколько превосходных картин определенных этапов развития отечественного театра. Раздел IV “Пьесы и действующие лица” мистера Уолтера Причарда Итона, серия статей мистера Джорджа Бронсона-Ховарда “Что не так с театром” и, возможно, даже книги мистера Джорджа Джина Натана “Популярный театр”, “Театр, драма, девушки”, “Все комики” и “Мистер Джордж Джин Натан представляет” могут пролить некоторый свет на эту тему. “Папа” мисс Эйкинс и все пьесы мистера О’Нила доступны в виде книг. Большая часть низшей местной драматургии также доступна любознательным: в ближайшем книжном магазине можно увидеть сотни этих непритязательных экземпляров.

Дж. Дж. Н.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МНЕНИЕ

Литература, посвященная экономическим взглядам, в Америке почти такая же объемная, как печатное слово. Она варьируется от тяжеловесных трактатов профессиональных экономистов, где “экономические законы” выделены курсивом, до изощренных романов самоизбранных людей, в которых экономическое мнение является побочным продуктом умной беседы. Человек может не только найти экономическое мнение по своему вкусу, но и получить его в любой форме, которая ему нравится. Возможно, наиболее гуманное и разумное применение философии невмешательства к проблемам индустриального общества можно найти на страницах У. Г. Самнера. Особый интерес представляют эссе, содержащиеся в томах,

озаглавленных “Голод на земле”, “Вызов фактам” и “Забытый человек”. Наиболее тонким и четко сформулированным описанием экономического порядка как автоматического, саморегулирующегося механизма является Дж. Б. Кларк, “Распределение богатства”. Способным к чтению трактатом, характеризующимся как модифицированным классическим подходом, так и признанием фактов современного индустриального общества, является Ф. В. Тауссиг “Принципы экономики”. “Аргументы в пользу капитализма” никогда не излагались как четко сформулированное целое. Теоретические основы защиты можно найти в любом из старых трактатов по экономической теории. Официальную *апологию* можно найти в последней главе почти каждого текста по экономике под таким названием, как “Критика существующего порядка”, “Богатство и благосостояние” или “Экономический прогресс”. Защита “того, что есть”, каким бы оно ни было, характеризующаяся в равной степени блеском и невежеством, - это “Аристократия и справедливость” П. Э. Мора. Современное мнение, благоприятствующее капитализму, можно найти в любом необходимом количестве и подробностях в Wall Street Journal, Commercial and Financial Chronicle и публикациях Национальной ассоциации промышленников. Отчет Конгресса, настоящая сокровищница экономической логики, содержит горячие призывы как к безоговорочному капитализму, так и к капитализму с бесконечными модификациями. Литература по экономике “контроля” становится все более обширной. Эссе Х. К. Адамса “Отношение государства к промышленной деятельности”, развивающее тезис о том, что функция государства заключается в регулировании “уровня конкуренции”, стало классическим. Лучший отчет об экономических взглядах организованного труда можно найти в книге Р. Ф. Хокси “Профсоюзный процесс в Соединенных Штатах”. Типичными примерами превосходной работы, сделанной людьми, которые не называют себя экономистами, являются У. Липпманн, “Дрейф и мастерство”, мнения (часто противоположные), высказанные г-ном судьей Холмсом и г-ном судьей Брандейсом из Верховного суда Соединенных Штатов, а также статьи, часто публикуемые в периодических изданиях Т. Р. Пауэллом по конституционным аспектам экономических вопросов. Появление таких исследований, как отчет о сокращении рабочего дня по делу Бантинг против штата Орегон, подготовленный Ф. Франкфуртером и Дж. Голдмарком, и “Отчет о забастовке металлургов 1919 года” Комиссии по расследованию Межцерковного всемирного движения указывает на то, что мы начинаем основывать наши мнения и нашу политику на “фактах”. Среди значительных вкладов - статьи, регулярно появляющиеся в таких периодических изданиях, как The New Republic и The Nation. Наконец-то новая экономическая теория школ начинает приобретать форму четко сформулированной доктрины. Книги Т. Б. Веблена, в частности “Теория делового предпринимательства” и “Инстинкт мастерства”, содержат ценные исследования первопроходцев. В “Личном соревновании” и в главах, посвященных “Оценке” в “Социальном процессе”, Ч. Х. Кули показал, как следует относиться к экономическим институтам. Однако новая экономическая теория начинается с публикации в 1913 году книги У. К. Митчелла “Циклы деловой активности”. Это заменяет экономику процессов статикой и успешно объединяет теоретические и статистические исследования. Это знаменует начало новой эры в изучении экономики. Работа в области общей экономической теории продолжалась по указаниям Веблена, Кули и Митчелла. У. Х. Гамильтон в книге “Текущие экономические проблемы” разрабатывает теорию контроля промышленного развития, перемежающуюся чтениями многих авторов. Л. К. Маршалл в книге “Чтения в индустриальном обществе” пытается, посредством выборок, взятых из многих источников, дать оценку институтам, которые в совокупности составляют экономический порядок. Д. Фрайди в книге “Прибыль, заработная плата и цены” показывает, сколько смысла заключают в себе несколько

пригоршней цифр и сколько насилия они могут нанести по устоявшимся принципам. Национальное бюро экономических исследований вскоре опубликует результаты тщательного статистического исследования распределения доходов в Соединенных Штатах. По конкретным темам, таким как тресты, тарифы, железные дороги, профсоюзы и т.д., литература слишком велика, чтобы ее можно было здесь каталогизировать. В Соединенных Штатах нет удовлетворительной истории экономических взглядов. Книга Т. Б. Веблена "Место науки в современной цивилизации" содержит серию эссе, которые представляют собой наиболее убедительную атаку на классическую систему и указывают путь к институциональной экономике. Многие статьи, посвященные развитию экономических доктрин, можно найти в файлах *Quarterly Journal of Economics* и *Journal of Political Economy*. Прекрасным описанием нынешней ситуации в экономике является неопубликованное эссе У. К. Митчелла "Перспективы экономической науки".

В. Х. Х.

РАДИКАЛИЗМ

Для изложения ведущих радикальных теорий читателю рекомендуется обращаться не к авторитетным источникам из вторых рук, а к их передовым сторонникам. "Капитал" Карла Маркса (Чарльз Х. Керр), конечно, является главной основой социализма. Нет ничего лучше об анархизме, чем статья князя Кропоткина в "Британской энциклопедии". Для изучения революционного промышленного юнионизма важно ознакомиться с "Речами и передовицами" Даниэля де Леона (*New York Labour News Co.*). Де Леон был одним из основателей I.W.W., и его идеи повлияли не только на сепаратистские рабочие движения в Соединенных Штатах, но и на движение управляющих цехами в Англии и в Советской России. "Цеховой социализм" Г. Д. Х. Коула является лучшим изложением этой новейшей теории, в то время как "Государство и революция" Николая Ленина (Джордж Аллен и Анвин) объясняет принципы и тактику современного коммунизма. К ним следует добавить еще одну классику, "Прогресс и бедность" Генри Джорджа (*Doubleday Page*).

Об истоках американского правительства важно прочитать "Экономические истоки джефферсоновской демократии" и "Экономическую интерпретацию конституции" Чарльза А. Бирда (Макмиллана).

"История профсоюзного движения" Сиднея и Беатрис Уэбб (Лонгманс, Грин) - бесценный отчет о росте британского рабочего движения, которое имеет много общего с нашим собственным. "Промышленная демократия" тех же авторов, выпущенная тем же издательством, является лучшим изложением теорий профсоюзного движения. "История труда в Соединенных Штатах" Джона Р. Коммонса и партнеров (*Macmillan*) является научной работой, в то время как "Профсоюзный процесс в Соединенных Штатах" Роберта Ф. Хокси (*Appleton*) представляет собой более аналитическую трактовку. "I. W. W." Пола Ф. Бриссендена (Лонгманс, Грин) - это полная документальная история. Важные тенденции последнего времени зафиксированы в книге "Новый юнионизм в швейной промышленности" Будиша и Соула (Харкорт, Брейс). Последние главы "Великой стальной забастовки" Уильяма З. Фостера (Б. В. Хьюбш), излагающий свою интересную интерпретацию профсоюзов.

Чтобы узнать о функциональном отношении к общественным проблемам, следует прочитать "Власть, свободу и функцию" Рамиро де Маэсту (Гео. Аллен и Анвин). Для краткого и понятного

применения этого подхода к экономике следует рекомендовать “Общество приобретения” Р. Х. Тоуни (Харкорт, Брейс).

“Современные социальные движения” Савела Зиманда (Х. В. Уилсона) - авторитетный путеводитель по радикальным движениям по всему миру, содержащий отличную библиографию. И мы не должны забывать объемистый отчет Законодательного комитета штата Нью-Йорк по радикализму (the Lusk Committee), в котором не только собрано множество современной радикальной литературы, но и предлагается занимательный и поучительный пример нынешнего отношения американцев к подобным вопросам.

Г. С.

МАЛЕНЬКИЙ ГОРОДОК

Библиография: “Веселые каникулы” Теодора Драйзера. “Уайнсбург, Огайо” Шервуда Андерсона. “Главная улица” Синклера Льюиса.

Л. Р. Р.

история

Покойный Генри Адамс имел много общего с Сэмюэлем Батлером, другим искателем образования. Он знал, что написал очень хорошую книгу (его исследования по американской истории были в своем роде столь же превосходны, как “Эревон” в несколько ином жанре), и он также осознавал печальный факт, что его работу не читали. Учитывая всеобщее общественное безразличие к истории, удивительно, сколько отличной работы было проделано. При упоминании истории Америки напрашиваются три имени: Робинсон, Бирд и Брестед. Их работы для начальных школ не превзойдены ни в одной стране, а их истории (охватывающие весь период от древнего Египта до наших дней), несомненно, помогут преодолеть старый и прочно укоренившийся предрассудок о том, что “история скучна”, и помогут сформировать новое поколение, которое предпочтет хорошую биографию или историю литературе наших нынешних периодических изданий.

Группа эссе, опубликованных в прошлом году профессором Робинсоном — пионером нашего современного исторического мира — под названием “Новая история”, содержит несколько статей приятного наводящего на размышления характера, и мы особенно рекомендуем “Историю для обычного человека” для тех, кто хочет исследовать предмет более подробно, и “Новых союзников истории” для тех, кто хочет получить представление о борьбе, которая продолжается между Новым и старым движениями в нашем современном историческом мире.

Но невозможно предложить трех-четырёх- или пятифутовую книжную полку для тех, кто желает разобраться в проблемах происходящей битвы. Война между силами официальной школьной и университетской истории и теми, кто имеет совершенно иное видение, является всего лишь частью великой социальной, экономической и духовной борьбы, которая продолжается со времен энциклопедистов. Обстановка постоянно меняется. Лидеры едва ли понимают, что происходит. Солдаты, которые ведут настоящие боевые действия, слишком заняты текущей работой, чтобы тратить время на академические дискуссии о Высшей стратегии. И

общественности придется делать то, что она делала во время великой войны — изучать сообщения со всех сторон (важные и не относящиеся к делу — новости из Гельсингфорса через Женеву и из Копенгагена через Константинополь) и выносить собственное суждение относительно вероятного исхода конфликта.

Х. В. В. Л.

ПОЛ

Как можно было бы предположить, в этой стране мало писали о сексе — такое обсуждение, более или менее поверхностное, социальных аспектов, которое можно найти в книгах о семье, браке или проституции, в некоторых квазимедицинских трактатах и в последнее время в нескольких книгах по фрейдистской психологии, вот и все. Среди всех организаций страны нет общества, соответствующего Британскому обществу изучения секса. Я сомневаюсь, что такое общество или его публикации были бы терпимы, поскольку даже романисты, которые, подобно Драйзеру, проявляют интерес к сексу сравнительно напрямую, идут вразрез с общественным мнением, и такую книгу, как “Влюбленные женщины” Д. Х. Лоуренса, ее издатель счел своим долгом напечатать без его имени.

Поэтому неудивительно, что на английском языке наиболее адекватные рассуждения о сексе были сделаны англичанином Хэвелоком Эллисом в “Исследованиях по психологии секса”. Среди менее известных работ Эллиса на эту тему я бы особо отметил одну—две страницы из его эссе о Казанове (“Аффирмации”).

Обсуждение теорий различия между спариванием и отцовством, а также психологии кризиса можно найти в статьях автора в “Международном журнале этики”, июль 1915 г., январь 1916 г., октябрь 1917 г., и в “Американском антропологе”, март 1916 г., и в “Журнале философии, психологии и научных методов”, март 1918 г.

“Поведение толпы” Э. Д. Мартина и “Французские обычаи и их значение” Эдит Уортон - последние книги, которые заинтересуют читателя со сравнительным складом ума, и если он еще не знаком с трудами отцов раннего христианства, я рекомендую ему немного порыться в “Доникейской христианской библиотеке” и “Никейских и постникейских отцах церкви”.

Е. С. Р.

СЕМЬЯ

В поисках статистических фактов, имеющих отношение к семейным тенденциям в Соединенных Штатах, мы обратились к следующей группе источников:

“Резюме переписи населения 1910 года”; предварительные листы “Переписи 1920 года”; Отчет “О браке и разводе в 1916 году”, опубликованный Бюро переписи населения; Бюллетень Женского бюро Министерства труда США “Что стало с женщинами, которые пошли в военную промышленность”; Бюллетень Министерства сельского хозяйства США о “Фермерше”; Бюллетень Детского бюро США о “Стандартах социального обеспечения детей”. Экономические аспекты семьи и данные о доходах были взяты из “Условий труда в американской промышленности” Эдгара Сиденстрикера и “Богатства и доходов народа

Соединенных Штатов” Уилфорда И. Кинга. Что касается фактов, касающихся продолжительности жизни, то помощь Переписи была дополнена “Тенденцией продолжительности жизни в Соединенных Штатах” К. Х. Форсайта в журнале Американской статистической ассоциации, том 128. За долгосрочную биологическую перспективу, противодействующую близорукому взгляду на перепись населения, можно отдать должное книге Джона М. Тайлера “Новый каменный век в Северной Европе”. Психологические аспекты семейных отношений обсуждаются научным и стимулирующим образом в опубликованных “Материалах Международной конференции женщин-врачей 1919 года”.

К. А.

РАСОВЫЕ МЕНЬШИНСТВА

Ни один автор или группа авторов еще не пытались сколь-либо систематически и всесторонне осветить положение и проблему нескольких расовых меньшинств в Соединенных Штатах. Идеальная библиография существующих материалов по этому вопросу была бы весьма полезна, но она не смогла бы восполнить существующую нехватку фактов и вдумчивой интерпретации.

Антропологическая фаза предмета авторитетно обсуждается Францем Боасом в книге “Разум первобытного человека” (Macmillan, 1913) и Робертом Х. Лоуи в книге “Культура и этнология” (McMurtrie, 1917). Некоторую информацию о межрасовых браках можно найти в книге Дракслера “Демократия и ассимиляция — смешение наследий иммигрантов в Америке” (Macmillan, 1920). Среди недавних отчетов о психологических тестах на определение расовых различий особый интерес представляют следующие: “Исследование расовых различий в Нью-Йорке” Кэтрин Мердок (School and Society, vol. XI, № 266, стр. 147, 31 января 1920 г.); “Расовые различия в умственной усталости” Томаса Р. Гарта (Журнал прикладной психологии, том. IV, номер один. 2 и 3, стр. 235, июнь-сентябрь 1920 г.); “Сравнительное исследование интеллекта белых и цветных детей” Р. А. Швеглера и Эдит Винн (Journal of Educational Research, vol. II, № 5, стр. 838, декабрь 1920 г.); “Интеллект негритянских рекрутов” М. Р. Трабуэ (Естественная история, т. XIX, № 6, с. 680, 1919); “Интеллект негров в Кэмп Ли, Вирджиния” Джорджа Оскара Фергюсона-младшего (Школа и общество, т. IX, № 233, стр. 721, 14 июня 1919 г.); и официальный отчет правительства обо всех психологических тестах, проведенных в местах расквартирования (“Мемуары Национальной академии наук”, т. XV, Вашингтон, Правительственная типография, 1921).

Наиболее важным единственным источником информации о современном статусе цветной расы в Соединенных Штатах является “Ежегодник негров” под редакцией Монро Н. Ворка (Negro Year Book Pub. Co., Институт Таскиги, Алабама); издание за 1918-19 годы содержит обширную библиографию. “Краткая история американского негра” Броули (Macmillan, перераб. изд., 1919) представляет в виде учебника общее повествование вместе с дополнительными главами по таким темам, как религия и образование среди негров. Правительственный отчет “Негритянское население, 1790-1915” (Вашингтон, Бюро переписи населения, Правительственная типография, 1918) бесценен. Важные недавние события рассматриваются в статьях “Миграция негров в 1916-17 годах” и “Негр на работе во время мировой войны и во время реконструкции” (Вашингтон, Министерство труда, 1919 и 1920 соответственно). Некоторое представление о различных проявлениях предубеждения против негров можно почерпнуть из следующих источников: “Образование негров” (Бюллетень Бюро образования

США, 1916, nos. 38 и 39); “Белые и цветные школы Вирджинии, измеряемые индексом Эйреса” Джорджа Оскара Фергюсона-младшего (Школа и общество, т. XII, № 297, стр. 170, 4 сентября 1920 г.); “Тридцать лет линчевания в Соединенных Штатах, 1889-1918” и “Лишение избирательных прав цветных американцев на президентских выборах 1920 года” (Нью-Йорк, Национальная ассоциация содействия улучшению положения цветных людей, 1919 и 1921 соответственно). Вот несколько репрезентативных высказываний самих негров: “Автобиография” Букера Т. Вашингтона (Doubleday, 1901); “Даркуотер” У. Э. Бургхарда Дюбуа (Harcourt, 1920); “Вестник” (негритянский социалистическо-синдикалистский журнал, Седьмая авеню, 2305, Нью-Йорк); и “Всеобщий негритянский катехизис” (Всемирная ассоциация улучшения положения негров, Западная 135-я улица, 56, Нью-Йорк).

Большой объем ценной информации об индейцах собран в двух публикациях правительства, вторая из которых содержит очень обширную библиографию; “Население индейцев в Соединенных Штатах и на Аляске, 1910 год” (Вашингтон, Бюро переписи населения, правительственная типография, 1915) и “Справочник американских индейцев к северу от Мексики” под редакцией Фредерика Уэбба Ходжа (Вашингтон, Бюро этнологии, правительственная типография, 1907-10, 2 тома). Ежегодный отчет, содержащий текущие данные о состоянии индейцев, публикуется Комиссаром по делам индейцев. Фрэнсис Эллингтон Леупп, носивший этот титул с 1905 по 1909 год, был автором книги, в популярной форме излагающей результаты официального опыта (“Индеец и его проблема”, Скрибнер, 1910).

“Ежегодник американских евреев” (Филадельфия, Еврейское издательское общество Америки) - чрезвычайно полезный том, особенно потому, что к нему необходимо обращаться за статистической информацией, которая в случае с другими расовыми меньшинствами доступна в отчетах национальной переписи населения. В “Американском журнале” за апрель 1921 года Гарри Шнайдерман, редактор “Ежегодника”, собирает огромное количество фактов, касающихся отношения евреев к экономической, социальной, политической и интеллектуальной жизни страны (“Евреи Соединенных Штатов”, стр. 24). Особый интерес для изучающих семитскую проблему представляет книга Берксона “Теории американизации; критическое исследование с особым упором на еврейскую группу” (Педагогический колледж Колумбийского университета, 1920).

Стандартными работами по восточному вопросу являются “Китайская иммиграция” Кулиджа (Холт, 1909) и “Японская проблема в Соединенных Штатах” Миллиса (Макмиллан, 1915). Японская проблема в Калифорнии статистически рассматривается в брошюре, недавно подготовленной Государственным контрольным советом (“Калифорния и восток”, Сакраменто, Государственная типография, 1920), и на симпозиуме, опубликованном в Pacific Review за декабрь 1920 года (Сиэтл, Вашингтонский университет).

G. T. R.

Реклама

Не ждите от меня рекомендаций по “научным” трактатам о рекламе или профессиональному психологическому анализу инстинктов. Книги, книги тоннами, написаны о рекламе, и, насколько я могу судить, каждая из них верна. Прочтите это, если у вас хватит смелости, и

сохраняйте молчание. Прочтите их, я бы сказал, и будете навеки прокляты. Прочтите их и быстро удалитесь в маленькую комнату с удобными стенами и надежно запертую.

Дж. Т. С.

бизнес

В пределах этого пространства невозможна какая-либо адекватная ссылка на первоисточники фактов и мыслей. Все, что можно попытаться, — это предложить произвольный путь через всю тему - магистраль, с которой читатель может свернуть туда, куда он пожелает, по мере развития его собственных интересов. Чтобы получить основы экономического понимания, достаточно прочитать “Принципы политической экономии” Саймона Ньюкомба, американского астронома, который в состоянии интеллектуального раздражения обратил свой ум к этому приземленному вопросу и написал лучшую книгу такого рода в мире. Для грубого описания экономических явлений в Америке существует “Столетие роста населения”, Бюро переписи населения 1909 года, великолепный документ, подготовленный под руководством С. Н. Д. Норта. Книга Кэтрин Коман “Промышленная история Соединенных Штатов” сама по себе является важной работой и, кроме того, содержит превосходную и полную библиографию. “Кризисы и депрессии” и “Корпорации и государство” Теодора Э. Бертона; “Сорок лет американских финансов” Александра Д. Нойеса; “Железнодорожный транспорт, его история и законы” А. Т. Хэдли; “Трасты, пулы и корпорации” У. М. З. Рипли; и “Книга пшеницы” Питера Трейси Дондлинджера - это книги, в которых по существу рассматриваются отдельные этапы, указанные в названии. Что касается диссертации, интерпретации и универсального мышления, то каждый студент окажется в глубоком долгу перед “Торговой моралью, ее происхождением, ростом и областью применения” Эдварда Д. Пейджа; “Экономической интерпретацией истории” Джеймса Э. Торольда Роджерса; “Историей Нового Света под названием Америка” Э. Дж. Пейна; “Экономическими исследованиями” Уолтера Бейджхота; “Очерками по финансам” Р. Гиффена; “Недавними экономическими изменениями” Дэвида А. Уэллса и “Вызов фактам и другие очерки” Уильяма Грэма Самнера.

Г. Г.

ИНЖЕНЕРИЯ

Литература, освещающая функции инженера в обществе, особенно в Америке, очень ограничена по сравнению с информационными книгами по большинству предметов. Инженерная деятельность, которая обычно описывается, охватывает технические достижения профессии. Полезный материал, однако, можно найти в технической литературе и материалах инженерного общества, особенно среди обращений и статей ведущих инженеров, подготовленных для особых случаев. Всеобъемлющая история инженерного дела так и не была написана, хотя существует множество трактатов, посвященных конкретным разработкам в этой области. Among these may be mentioned Bright's “Engineering Science, 1837–1897”; Matschoss's “Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie” (“Jahrbuch des Vereines deutscher Ingenieure”); and Smiles's “Lives of the Engineers.” Что касается инженерного образования, то “Труды Общества содействия инженерному образованию” и Бюллетень № 11 Фонда Карнеги по развитию преподавания “Исследование инженерного образования” Чарльза Р. Манна предлагают полезную информацию. Что касается статуса инженера в экономическом порядке, то “Изобретатели и делатели денег” Тауссига, “Инженеры и система цен” Веблена, а также

“Введение в психологические факторы производства” Фрэнка Уоттса будут признаны ценными. Об отношениях между трудом и инженером многое можно найти в “Анналах Американской академии политических и социальных наук” за сентябрь 1920 года, посвященных теме “Труд, управление и производство”.

О. С. Б.- младший .

НЕРВЫ

Полное собрание сочинений Коттона Мазера, а также Джонатана Эдвардса. Полное собрание сочинений доктора Джорджа М. Бирда, в частности его “Американская нервозность”, Патнэм, 1881. Медицинские публикации доктора С. Вейра Митчелла. Доктор Джордж М. Паркер: “Неврастения в мусорной куче”, медицинский журнал Нью-Йорка, 22 октября 1910г. Доктор Уильям Браунинг: “Существует ли такая вещь, как неврастения?” Государственный медицинский журнал Нью-Йорка, январь 1911г. Доктор Мортон Принс: “Бессознательное”, Макмиллан, 1914. Профессор Эдвин Б. Холт: “Фрейдистское желание”. Доктор Эдвард Дж. Кемпф: “Автономная функция и личность”. Полное собрание сочинений профессора Фрейда в переводе и в оригинале.

Файлы журнала аномальной психологии, на сегодняшний день. Файлы Psychoanalytic Review, на сегодняшний день. Файлы Imago, на сегодняшний день. Files of Internationale Zeitschrift fuer Aertzliche Psychoanalyse, to date. Доктор А. А. Брилл, “Психоанализ”, третье издание. “Характер и общественное мнение в Соединенных Штатах” Джорджа Сантаяны. “Исследования американской нетерпимости” Альфреда Б. Каттнера, The Dial, 14 и 28 марта 1918 г.

А. Б. К.

МЕДИЦИНА

Здесь не делается попытки привести какую-либо исчерпывающую или хотя бы наводящую на размышления библиографию. Только конкретные ссылки в самом тексте приведены здесь полностью, чтобы читатель мог найти их сам, если он того пожелает. Но что касается общей темы “профессионализма”, хотя она больше касается профессии юриста, чем медицины, некоторые ценные и стимулирующие наблюдения можно найти в главе с таким названием в “Нашем социальном наследии” Грэма Уолласа (Издательство Йельского университета, 1921).

Беззола: Цитируется по книге “Профилактическая медицина и гигиена”, Розенау, 1920, стр. 340.

Клаустон: “Гигиена разума”, 1909.

Коул: “Медицинский факультет университета”, Наука, N. S., том. LI, № 1318, стр. 329.

Элдертон и Пирсон: “Первое исследование влияния родительского алкоголизма на телосложение и способности потомства”, Воспоминания евгенической лаборатории Фрэнсиса Гальтона, 1910, № 10.

Перл: “Влияние родительского алкоголизма на потомство домашней птицы”, Сборник научных трудов. Акад. наук., 1916, том. II, с. 380.

Петерсон: “Легковерие и способы лечения”, журнал. Амер. Мед. Ассн., 1919, том. LXXIII, стр. 1737.

Розенау: “Профилактическая медицина и гигиена”, 1920.

Стокард: Межгосударственный медицинский журнал, 1916, том. XXIII, № 6.

Вон: “Служение медицины цивилизации”, журнал. Амер. Мед. Ассн., 1914, том. LXII, стр. 2003.

Винсент: “Идеалы и их функция в медицинском образовании”, журнал. Амер. Мед. Ассн., 1920, том. LXXIV, с. 1065.

АНОНИМ.

СПОРТ И ЗАБАВЫ

Мистер Сполдинг, известный производитель спортивных товаров, также является издателем Спортивной библиотеки Сполдинга, которая содержит, помимо сборников правил и рекордов по различным видам спорта, серию учебников по десять центов за экземпляр с такими названиями, как “Как играть на дальнем поле”, “Как ловить мяч”, “Как играть в футбол”, “Как научиться играть в гольф” и т.д. Авторство этих работ приписывают известным аутфилдерам, кэтчерам, футболистам и игрокам в гольф, но поскольку последние могут выходить на поле, ловить мяч, играть в футбол и гольф гораздо лучше, чем писать, фактическое написание томов было мудро оставлено людям, зарабатывающим на жизнь пером. Книги рекомендуются, по крайней мере, как средство от бессонницы. Лучшая известная нам спортивная литература, практически единственная спортивная литература, которую взрослый человек может читать, не опасаясь проблем с желудком, содержится в собрании сочинений покойного Чарльза Э. Ван Лоана.

R. W. L.

АМЕРИКАНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ¹

Фрэнсис Милтон Троллоп: “Домашние манеры американцев”, Лондон, 1832.

Остальное - молчание ... или повторение.

Э. Б.

¹Взгляды иностранных путешественников в Соединенных Штатах кратко изложены в книге Джона Грэма Брукса “Какими нас видят другие”, Нью—Йорк, 1908 г. - Редактор.

КТО ЕСТЬ КТО ИЗ АВТОРОВ ЭТОГО ТОМА

Конрад Эйкен родился в Саванне, штат Джорджия, в 1889 году и окончил Гарвард в 1912 году. Среди его книг - несколько сборников стихов “Торжествующая земля”, “Повороты и фильмы”, “Джиг Форслина”, “Ноктюрн памятной весны”, “Могильная роза”, “Дом праха” и “Панч:

Бессмертный лжец”, а также один том критических эссе “Скептицизмы: заметки о современной поэзии”.

Аноним, автор эссе “Медицина”, - американский врач, добившийся известности в области медицинских исследований, но по очевидным причинам желающий, чтобы его имя было скрыто.

Кэтрин Энтони родилась в Арканзасе и получила образование в университетах Теннесси, Чикаго и Гейдельберга. Она занималась исследовательской и редакторской работой для Фонда Рассела Сейджа, Национальной лиги потребителей, Национального совета, YWCA и других национальных реформаторских организаций, а также является автором книг “Феминизм в Германии и Скандинавии”, “Маргарет Фуллер: психологическая биография” и других книг.

О. С. Бейер-младший окончил Технологический институт Стивенса по специальности инженер-механик в 1907 году и получил дипломную работу по экономике железных дорог и промышленности в университетах Пенсильвании и Нью-Йорка. Получив некоторый опыт работы ассистентом инженера и главным мастером на различных железных дорогах, а также инженером-исследователем в Университете Иллинойса, он помог организовать Школу военной авиации армии США во время войны, а позже возглавил кафедру самолетов. Впоследствии Департамент боеприпасов армии США обратился к нему с просьбой организовать и управлять школами для подготовки специалистов по боеприпасам и офицеров, и для выполнения этой работы он был произведен в капитаны. После окончания войны он помог продвигать, а впоследствии взял на себя ответственность в качестве начальника Отдела заказов на арсенал, за значительные промышленные разработки, проводимые на армейских арсеналах. Он опубликовал множество статей в технических периодических изданиях и трудах инженерных и других обществ.

Эрнест Бойд - ирландский критик и журналист, который прожил в этой стране несколько лет, а сейчас работает в New York Evening Post. Он получил образование во Франции, Германии и Швейцарии для работы на Британской консульской службе, на которую поступил в 1913 году. Отслужив в Соединенных Штатах, Испании и Дании, он ушел из официальной жизни, чтобы заняться более подходящей ему работой в области литературы и журналистики. Он редактировал “Избранные эссе” Стэндиша О'Грейди для библиотеки каждого ирландца и перевел “Der Untertan” Генриха Манна для Европейской библиотеки, а также является автором трех томов, посвященных современной англо-ирландской литературе: “Литературный ренессанс Ирландии”, “Современная драма Ирландии” и “Оценки и обесценивания”.

Кларенс Бриттен родился в Пелле, штат Айова, в 1887 году, а с 1910 года окончил Гарвард в 1912 году. Он был преподавателем английского языка в Сельскохозяйственном и механическом колледже Техаса, на факультете расширения возможностей университетов штата Массачусетс и в Университете Висконсина. Он был редактором Канадского музыкального журнала, а с 1918 по 1920 год был редактором журнала the Dial.

Ван Вик Брукс родился в Плейнфилде, штат Нью-Джерси, в 1886 году и окончил Гарвард в 1907 году, по состоянию на 1908 год. С 1911 по 1913 год он был преподавателем английского языка в Университете Лиланда Стэнфорда, а сейчас является заместителем редактора the Freeman.

Среди его книг - “Совершеннолетие Америки”, “Письма и лидерство” и “Испытание Марка Твена”.

Гарольд Чэпмен Браун родился в Спрингфилде, штат Массачусетс, в 1879 году и получил образование в Уильямсе и Гарварде, где в 1905 году получил степень доктора философии. До 1914 года он преподавал философию в Колумбийском университете, а с тех пор был преподавателем в Университете Лиланда Стэнфорда. Во время войны он служил в Американском Красном Кресте, служба на дому, в лагере Фремонт. Он опубликовал множество статей по философии в технических журналах и является соавтором книги “Творческий интеллект”.

Захария Чафи-младший родился в Провиденсе, штат Вирджиния, в 1885 году и получил образование в Университете Брауна и Гарвардской школе права. После нескольких лет юридической практики в Провиденсе и руководящей работы в различных отраслях промышленности он стал доцентом права в Гарвардском университете в 1916 году, а в 1919 году - профессором права. Он является автором книг “Дела об оборотных инструментах”, “Свобода слова” и различных статей в юридических обзорах и других периодических изданиях.

Фрэнк М. Колби родился в Вашингтоне, округ Колумбия, в 1865 году и окончил Колумбийский университет в 1888 году. Он был профессором экономики в Нью-Йоркском университете с 1895 по 1900 год, а с 1900 года был редактором “Новой международной энциклопедии” и “Нового международного ежегодника” с 1907 года. Он автор книг “Очерки всеобщей истории”, “Воображаемые обязательства”, “Ограниченные установки” и “Предел колебаний”.

Гарет Гарретт родился в Пане, штат Иллинойс, в 1878 году, а с 1900 по 1912 год был финансовым обозревателем в New York Sun, the Wall Street Journal, the New York Evening Post и New York Times. Он был первым редактором “Нью-Йорк Таймс анналист” в 1913-1914 годах и исполнительным редактором “Нью-Йорк Трибюн” с 1916 по 1919 год. Он автор книг “Водитель”, “Синяя рана”, “Осажденная империя”, “Безумный доллар” и различных экономических и политических эссе.

Уолтон Х. Гамильтон родился в Теннесси в 1881 году, окончил Техасский университет в 1907 году и получил степень доктора философии в Мичиганском университете в 1913 году. После преподавания в университетах Мичигана и Чикаго он стал старшим профессором экономики в колледже Амхерст в 1915 году. Ранее он был заместителем редактора журнала политической экономики и является заместителем редактора серии “Материалы для изучения экономики”, издаваемой издательством Чикагского университета. Во время войны он входил в состав Совета по военной политике в области труда. Вместе с Дж. М. Кларком и Х. Г. Моултоном он является соредактором “Чтений по экономике войны”, а также автором “Текущих экономических проблем” и различных статей в экономических журналах.

Фредерик К. Хоу родился в Мидвилле, штат Пенсильвания, в 1867 году и получил образование в колледже Аллегейни и Университете Джона Хопкинса, в последнем получив степень доктора философии в 1892 году. После учебы на юридическом факультете Мэрилендского университета и Нью-Йоркской юридической школе он был принят в коллегию адвокатов в 1894 году и практиковал в Кливленде до 1909 года. Он был директором Народного института Нью-Йорка с 1911 по 1914 год и комиссаром иммиграции в порту Нью-Йорка с 1914 по 1920 год. Он был

членом Сената штата Огайо, специальным уполномоченным США по расследованию муниципальной собственности в Великобритании, профессором права в юридическом колледже Кливленда и лектором по муниципальному управлению и политике в Университете Висконсина. Среди его книг "Город, надежда демократии", "Британский город", "Привилегии и демократия в Америке", "Висконсин: эксперимент в области демократии", "Европейские города за работой", "Социализированная Германия", "Почему война?" "Высокая стоимость жизни" и "Земля и солдат".

Альфред Бут Каттнер родился в 1886 году и окончил Гарвард в 1908 году. В течение двух лет он был драматическим критиком журнала International magazine и является автором статей в the New Republic, Seven Arts, Dial и др. Он изучал специальную психологию и перевел несколько книг Зигмунда Фрейда.

Ринг В. Ларднер родился в Найлсе, штат Мичиган, в 1885 году и получил образование в средней школе Найлса и Технологическом институте Армора в Чикаго. Он был спортивным обозревателем в Boston American, Chicago American, Chicago Examiner и Chicago Tribune, а также писателем в Bell Syndicate с 1919 года. Среди его книг - "Ты знаешь меня, Эл", "Симптомы тридцати пяти", "Обращайся с ними грубо" и "Большой город".

Роберт Морсс Ловетт родился в Бостоне в 1870 году и окончил Гарвард в 1892 году. Он был преподавателем английского языка на факультетах Гарварда и Чикагского университета, а также деканом младших колледжей последнего учебного заведения с 1907 по 1920 год. Ранее он был редактором "Циферблата", а в настоящее время работает в штате "Новой республики". Он является членом Национального института искусств и литературы и автором двух романов "Ричард Грешем" и "Крылатая победа", пьесы "Трусы" и совместно с Уильямом Вон Муди "Истории английской литературы".

Роберт Х. Лоуи родился в Вене в 1883 году и приехал в Нью-Йорк в возрасте десяти лет. Он получил образование в колледже города Нью-Йорка и Колумбийском университете, где в 1908 году получил степень доктора философии. Он совершил много этнологических поездок, особенно к кроу и другим индейцам Равнин. Он был младшим куратором отдела антропологии в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке до 1921 года, а с тех пор стал адъюнкт-профессором антропологии в Калифорнийском университете. Он является заместителем редактора журнала "Американский антрополог" и был секретарем Американского этнологического общества с 1910 по 1919 год, а в 1920-1921 годах - президентом. Он является автором книг "Культура и этнология" и "Первобытное общество", а также множества технических монографий, посвященных в основном социологии и мифологии аборигенов Северной Америки.

Джон Мэйси родился в Детройте в 1877 году и получил образование в Гарварде, где в 1899 году получил степень бакалавра, а в 1900 году - доктора философии. Проработав год ассистентом по английскому языку в Гарварде, он стал заместителем редактора журнала Youth's Companion, а позже литературным редактором Boston Herald. Среди его книг - "Жизнь По" (Beacon Biographies), "Руководство по чтению", "Дух американской литературы", "Социализм в Америке" и "Уолтер Джеймс Додд: биография".

Х. Л. Менкен родился в Балтиморе в 1880 году и получил образование в частных школах и в Балтиморском политехническом институте. Он занимался журналистикой до 1916 года, а

сейчас вместе с Джорджем Джином Натаном является редактором и совладельцем журнала Smart Set Magazine, а также ответственным редактором the Nation. Среди его книг - "Философия Фридриха Ницше", "Книга бурлесков", "Книга предисловий", "Американский язык" и два тома "Предрассудков". В сотрудничестве с Джорджем Джином Натаном он опубликовал "Американское кредо" и пьесу "Гелиогабал".

Льюис Мамфорд родился во Флашинге, Лонг-Айленд, в 1895 году. В 1919 году он был заместителем редактора the Dial, исполняющим обязанности редактора the Sociological Review (Лондон), лектором Летней школы гражданского общества в Хай-Уиком, Англия, а также вносил свой вклад в научные ежемесячники the Athenaeum, the Nation, the Freeman, Журнал американского института архитекторов и другие периодические издания. Во время войны он был радистом в военно-морском флоте Соединенных Штатов.

Джордж Джин Натан родился в Форт-Уэйне, штат Индиана, в 1882 году и окончил Корнельский университет в 1904 году. Он был резким критиком различных газет и периодических изданий, а в настоящее время является редактором и совладельцем совместно с Х. Л. Менкеном журнала Smart Set Magazine. Среди его книг "Популярный театр", "Все комедианты", "Еще одна книга о театре", "Мистер Джордж Джин Натан представляет", "Театр, драма, девушки" и, совместно с Х. Л. Менкеном, "Американское кредо" и "Гелиогабал".

Уолтер Пах родился в Нью-Йорке в 1883 году и окончил колледж города Нью-Йорка в 1903 году. Он изучал искусство у Ли Ханта, Уильяма М. Чейза и Роберта Генри и большую часть одиннадцати довоенных лет работал в Париже и других европейских художественных центрах, выставясь как здесь, так и за рубежом. Он был связан с работой Международной выставки 1913 года, а также с другими выставками современных мастеров в Америке, а также с основанием и продолжением деятельности Общества независимых художников. Он представлен картинами и офортами в различных государственных и частных коллекциях, читал лекции в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке, Калифорнийском университете, колледже Уэллсли и других учреждениях, публиковал статьи на художественную тематику в "Вестнике изящных искусств", "Искусстве и художниках", Scribner's, the Century, the Freeman и др., А также является переводчиком "Истории искусств" Эли Фора.

Элси Ключ Парсонс окончила Барнард-колледж в 1896 году и получила степень доктора философии в Колумбийском университете в 1899 году. Она была научным сотрудником и преподавателем социологии в колледже Барнард, преподавателем антропологии в Новой школе социальных исследований, помощником редактора журнала Американских фольклорных знаний, казначеем Американского этнологического общества и президентом Американского фольклорного общества. Она замужем и является матерью троих сыновей и одной дочери. Среди ее книг - "Семья", "Старомодная женщина", "Страх и условности", "Социальная свобода" и "Социальное правление".

Рафаэлло Пикколи, автор статьи "Американская цивилизация с итальянской точки зрения", родился в Неаполе в 1886 году и получил образование в университетах Падуи, Флоренции и Оксфорда. В 1913 году он был назначен преподавателем итальянской литературы в Кембриджском университете, а в 1916 году был избран иностранным корреспондентом Королевского литературного общества. Во время войны он был офицером Первого полка итальянских гренадер, был ранен и взят в плен при защите моста на реке Тальяменто и провел год в плену в Венгрии. После перемирия он был назначен на кафедру английской литературы в

Пизанском университете. В 1919-21 годах он работал профессором по обмену в различных американских университетах. Он опубликовал ряд книг, в том числе итальянские переводы Оскара Уайльда и нескольких драматургов елизаветинской эпохи.

Луи Рэймонд Рид родился в Варшаве, штат Нью-Йорк, и окончил Ратгерс-колледж в 1911 году. С тех пор он занимается газетной и журнальной работой в Нью-Йорке. В течение трех лет он был редактором the Dramatic Mirror.

Джероид Танкуари Робинсон родился в 1892 году в Чейз-Сити, штат Вирджиния, и учился в Стэнфорде, Калифорнийском университете и Колумбии. Он был членом редакционной коллегии журнала "Циферблат" в то время, когда тот выходил раз в две недели, а сейчас является членом редколлегии журнала "Фримен" и преподавателем современной европейской истории в Колумбийском университете. Во время войны он прослужил шестнадцать месяцев в звании первого лейтенанта (адъютанта) в Американской воздушной службе. Проживание в Вирджинии, Северной Каролине, Колорадо, Аризоне и Калифорнии дало ему возможность воочию понаблюдать за некоторыми проявлениями расовых предрассудков.

Дж. Торн Смит-младший родился в Аннаполисе, штат Мэриленд, в 1892 году и окончил Дартмутский колледж в 1914 году. Во время войны он был помощником старшего боцмана в военно-морском резерве США и редактором военно-морской газеты "Бродсайд". Он автор книг "Призраки, закоулки и другие стихотворения", "Билтмор Освальд" и "Не повезло".

Джордж Соул родился в Стэмфорде, штат Коннектикут, в 1887 году и окончил Йельский университет в 1908 году. Он был членом редакционного штаба New Republic с 1914 по 1918 год, а в 1919 году - редактором New York Evening Post. Он подготовил отчет о трудовой политике секций промышленного обслуживания, Департамента боеприпасов и Авиационной службы для Военного министерства и был произведен в чин младшего лейтенанта в корпус береговой артиллерии. Он является директором Бюро труда, Inc., которое занимается экономическими исследованиями для трудовых организаций, и является соавтором с Дж. М. Будишем книги "Новый юнионизм в швейной промышленности".

Дж. Э. Спингарн родился в Нью-Йорке в 1875 году, получил образование в Колумбии и Гарварде и был профессором сравнительного литературоведения в Колумбийском университете до 1911 года. Среди других своих занятий он был кандидатом в Конгресс, делегатом государственных и национальных съездов, председателем совета директоров Национальной ассоциации содействия улучшению положения цветных людей, вице-президентом издательской фирмы и редактором "Европейской библиотеки". Во время войны он был майором пехоты в ВВС. Его первая книга "Литературная критика в эпоху Возрождения" была переведена на итальянский в 1905 году с предисловием Бенедетто Кроче; он отредактировал три тома "Критических очерков 17 века" для оксфордского издательства Clarendon Press и написал главу для "Кембриджской истории английской литературы"; только что вышла его подборка "Литературных очерков" Гете с предисловием лорда Холдейна; и среди других его книг - "Новые Геспериды и другие стихотворения" и "Творческий подход". Критика".

Гарольд Э. Стернс родился в Барре, штат Массачусетс, в 1891 году и окончил Гарвард в 1913 году. С тех пор он занимается журналистикой в Нью-Йорке и является автором статей в New Republic, the Freeman, the Bookman и других журналах и газетах. Он был заместителем

редактора the Dial в течение последних шести месяцев после того, как она выходила раз в две недели в Чикаго. Среди его книг - “Либерализм в Америке” и “Америка и молодой интеллигент”.

Генри Лонган Стюарт - английский писатель и журналист, который с 1901 года провел значительную часть своей жизни в Соединенных Штатах. Он прослужил всю войну капитаном Королевской полевой артиллерии, был прикреплен к Третьей итальянской армии после Капоретто и был цензором прессы в Париже после перемирия и во время Мирной конференции. Он автор “Плачущего креста”, исследования о пуританской Новой Англии, “Фенеллы” и ряда беглых стихов и эссе.

Димс Тейлор родился в Нью-Йорке в 1885 году и окончил Нью-Йоркский университет в 1906 году. Он изучал музыку у Оскара Куна с 1908 по 1911 год. Он был связан с редакцией “Британской энциклопедии”, был помощником воскресного редактора New York Tribune и заместителем редактора Collier's Weekly, а в настоящее время является критиком New York World. Он сочинил множество музыкальных произведений, в том числе “Песнь сирен” (симфоническая поэма, удостоенная оркестровой премии Национальной федерации музыкальных клубов в 1912 году), “Камерный Наутилус” (кантата), “Разбойники с большой дороги” (кантата, написанная для фестиваля Макдауэлла) и “Зазеркалье” (сюита для симфонического оркестра).

Хендрик Виллем Ван Лун родился в Голландии в 1882 году и получил образование в голландских школах, в Корнелле и Гарварде, а также в Мюнхенском университете, где он получил степень доктора философии с отличием в 1911 году. Он был корреспондентом Associated Press в различных европейских столицах и некоторое время читал лекции по современной европейской истории в Корнельском университете. В настоящее время он профессор социальных наук в Антиохийском колледже и автор книг “Падение Голландской республики”, “Краткая история открытий”, “Древний человек”, “История человечества для мальчиков и девочек”, “Расцвет Голландского королевства” и др.

Примечания переписчика

Знаки препинания, переносы и орфография были приведены в соответствие в каждой статье, когда в этой статье было обнаружено преобладающее предпочтение; в остальном они не изменялись.

Были исправлены простые типографские ошибки; несбалансированные кавычки были исправлены, когда изменение было очевидным, и в противном случае оставлены несбалансированными.

Дублирующие заголовки были удалены.

Содержание: заменены те же пометки фактическими словами над ними.

Указатель систематически не проверялся на правильность расположения в алфавитном порядке или ссылок на страницы.

Страница 352: “выделено” было напечатано как “обозначено как исключенное”; здесь изменено.

Страница 388: “полноценный” было напечатано как “с полными краями”; здесь изменено.

Страница 573: “New York *Herald*” была напечатана с ошибкой как “New York *World*”; здесь изменено.

Страница 576: “посредственность” было напечатано именно так; возможно, это опечатка либо в слове “посредственность”, либо в слове “меритократия”.

Страница 576, в разделе “Государство, бизнес и”: “корпорации” было напечатано с ошибкой как “сотрудничество”; изменено здесь.